83
Х917

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ЗАПАДНО ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

СОСТАВИЛ В. М. ДУРИШИН

УЧПЕДГИЗ · 1939

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ЗАПАДНО ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ДЛЯ ВЫСШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРКОМПРОСА РСФСР

МОСКВА
1938

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ЗАПАДНО ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

СОСТАВИЛ
Б. И. ПУРИШЕВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРКОМПРОСА РСФСР
МОСКВА
1938

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящая хрестоматия представляет собой первый том расширенного издания моей «Хрестоматии по западно-европейской литературе эпохи Возрождения и XVII в.», выпущенной Учпедгизом в 1937 г. Второй том будет посвящен литературе XVII в. Выделение богатейшей литературы эпохи Возрождения в особый том не требует, как мне кажется, никаких принципиальных объяснений. Зато увеличение объема издания дает мне возможность более полно и равномерно осветить одну из самых замечательных эпох в истории мировой культуры. Я пополняю хрестоматию значительным количеством новых текстов, большая часть которых впервые появляется на русском языке. Моя задача — хотя бы в общих чертах ознакомить читателя с наиболее крупными и характерными явлениями литературы эпохи Возрождения, а также дать ему представление об основных жанрах и формах этой литературы. Впрочем, я не только добавляю новые тексты, но и опускаю кое-что из того, что было в первом издании. Уже в прежней хрестоматии отсутствовал «Дон-Кихот» Сервантеса, которого я считал нецелесообразным приводить в отрывках, так как студент советского вуза должен знать бессмертный роман Сервантеса в полном объеме. По тем же соображениям я решил исключить из настоящего издания драматургию Шекспира, с которой наши студенты не могут знакомиться по хрестоматии. Недоумение может вызвать отсутствие Лопе де Веги в томе, посвященном эпохе Возрождения. Лопе де Вега бесспорно самая яркая фигура испанской ренессансной драмы, тем не менее я включаю его в следующий том с тем, чтобы не разбивать на части испанскую драматургию «золотого века», в основном относящуюся уже к XVII в.

В заключение считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность всем товарищам, предоставившим мне свои переводы, а также В. С. Узину за ряд ценных указаний и советов.

Б. Пуришев.

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ЕГО ИСКУССТВО

Современное естествознание, которое одно лишь достигло всестороннего, систематического, научного развития, в противоположность гениальным натурфилософским догадкам древних и весьма важным, но спорадическим и оставшимся по большей части безрезультатными открытиями арабов,—современное естествознание, как и вся новейшая история, датирует от той знаменательной эпохи, которую мы, немцы, называем по приключившемуся с нами тогда национальному несчастью реформацией, французы — ренессансом, а итальянцы — квинквеченто, и содержание которой не исчерпывается ни одним из этих наименований. Это—эпоха, начинающаяся со второй половины XV столетия. Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и основала крупные, по существу национальные монархии, в которых получили свое развитие современные европейские нации и современное буржуазное общество; и в то время как буржуазия и дворянство еще ожесточенно боролись между собой, немецкая крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне, — в этом не было ничего нового, — но за ними показались начатки современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах. В спасенных при гибели Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир — греческая древность; перед (классическими... [...?...] пластическими) светлыми образами ее исчезли призраки средневековья; в Италии достигло неслыханного расцвета искусство, которое явилось точно отблеск классической древности и которое в дальнейшем никогда уже не подымалось до такой высоты. В Италии, Франции, Германии возникла новая, первая современная литература; Англия и Испания пережили вскоре затем свою классическую литературную эпоху. Рамки старого Orbis terrarum были разбиты; только теперь, собственно, была открыта земля и положены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, явившуюся, в свою очередь, исходным пунктом современной крупной промышленности. Духовная диктатура церкви была сломлена; германские народы в своем большинстве приняли протестантизм, между тем как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшее от

арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм XVIII столетия.

Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными. Наоборот, они были более или менее обвеяны авантюрным характером своего времени. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества (прекрасно, и именно не только в теоретической, но также и в практической жизни...); Леонардо да Винчи был не только великим художником, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики; Альбрехт Дюрер был художником, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации, содержащую в себе многие идеи, развитые значительно позже Монталамбером и новейшим немецким учением о крепостях. Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым, достойным упоминания, военным писателем нового времени. Лютер вычистил не только авгиевы конюшни церкви, но и конюшни немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того пропитанного чувством победы хорала, который стал Марсельезой XVI века. Люди того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, калечащее действие которого мы так часто наблюдаем на их преемниках. Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются, кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда та полнота и сила характера, которая делает из них цельных людей. Кабинетные ученые являлись тогда исключениями...

[К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том XIV, стр. 475—476].

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПЕТРАРКА

Франческо Петрарка (Francesco Petrarca, 1304—1374) — итальянский писатель, глава старшего поколения гуманистов. Родился в Ареццо, в семье нотариуса, изгнанного вместе с Данте в 1302 г. из Флоренции за принадлежность к партии белых гвельфов. Слушал право в Монпелье и Болонье. В Авиньоне (город на юге Франции, с 1309 г. резиденция пап) вступил после смерти родителей (1325 г.) в духовное звание. В 1330 г. поступил на службу к кардиналу Колонна. В 1332—1333 гг. совершил путешествие во Францию, Фландрию и Германию, во время которого (в Люттихе) открыл некоторые из неизвестных в то время речей Цицерона («De officiis»). В 1337 г. он покинул резиденцию папы и удалился в селение Воклюз (неподалеку от Авиньона), где провел в тишине и уединении четыре года. Здесь он начал писать латинскую поэму «Африка» (1338—1342 гг.), воспевающую деяния римского полководца Сципиона Африканского. Здесь же написаны многие из его лучших стихотворений, посвященных Лауре, с которой он впервые встретился в 1327 г. (Лаура умерла в 1348 г.). В 1341 г. Петрарка по обычаю поэтов древности коронуется лавровым венком на Капитолии в Риме и с этого времени становится признанным главой литературного мира Италии. Его слава выходит далеко за пределы родины. Его внимания домогаются многие итальянские и иноземные государи. Папа дает ему дипломатические поручения и осыпает его милостями (что не мешает Петрарке в ряде сонетов, эклогах и письмах беспощадно бичевать пороки папской курии).

Однако, когда до Петрарки доходит известие о восстании римского народа против власти аристократии и о возведении Кола ди Риенци в звание народного трибуна (1347 г.), он пишет последнему

Петрарка (по рисунку конца XIV в.)

пламенное послание, в котором приветствует римлян в их борьбе за свободу, а также посвящает Риенци патетическую канцону: «Новому правителю римского народа» («A un nuovo rettore del populo romano»), в которой приветствует в нем вождя обновленной Италии. К 1343 г. относится его знаменитый трактат, написанный в диалогической форме, «О презрении к миру» («De contemptu mundi»), раскрывающий внутренний мир Петрарки с его душевным разладом, метанием от нового к старому и его неспособностью заглушить в себе средневекового человека. В начале пятидесятых годов он сближается с Боккаччо, дружественная связь с которым продолжается в последующие годы. Последние двадцать лет своей жизни Петрарка проводит в Северной Италии. Живя в Милане, где ему покровительствует Джованни Висконти, он начинает писать трактат «О средствах против всякой фортуны» («De remediis utrisque fortunae», 1358—1366), в котором говорит об изменчивости судьбы, о быстротечности всего земного, о небесном благе, но также выявляет и новые ренессансные стороны своего мировоззрения. Помимо упомянутых произведений, перу Петрарки принадлежит еще ряд сочинений на латинском языке.

Величайшим созданием Петрарки явилась, однако, книга лирики на итальянском языке, известная под названием «Il Canzoniere» — собрание стихотворений: сонетов, канцон и пр., посвященных Лауре. Эта книга создала Петрарке заслуженную славу одного из величайших лириков европейской литературы. Образ Лауры выступает также в аллегорической поэме в терцинах «Триумфы», которую Петрарка начал писать в 1356 г.

На русском языке: «Автобиография, исповедь, сонеты», перевод М. Гершензона и Вяч. Иванова, изд. Сабашниковых, М., 1915 г. Ряд сонетов перевел Ю. Н. Верховский («Разные стихотворения», изд. «Скорпион», М., 1908 г.).

О ПРЕЗРЕНИИ К МИРУ

Книга состоит из трех диалогов. Беседу ведут Франциск (Франческо) Петрарка и блаженный Августин (353—430 гг. н. э., один из наиболее «прославленных отцов западной церкви», родоначальник средневековой схоластики, автор знаменитой «Исповеди», выдающийся оратор, чье «римское красноречие» глубоко импонировало Петрарке).

Франциск. Что ты называешь «глубоко проникать»? Хотя, как мне кажется, я понимаю тебя, но хотел бы, чтобы ты объяснил мне точнее.

Августин. Вот в чем дело. Общеизвестно и даже славнейшим из сонма философов засвидетельствовано, что среди вещей, наводящих страх, первенство принадлежит смерти, до такой степени, что самый звук слова «смерть» искони кажется человеку жестоким и отталкивающим; однако недостаточно воспринимать этот звук внешним слухом или мимолетно вспоминать о самой вещи: лучше изредка, но дольше помнить о ней и пристальным размышлением представлять себе отдельные члены умирающего, как уже холодеют конечности, а середина еще страдает и обливается предсмертным пóтом, как судорожно поднимается и опускается живот, как жизненная сила слабеет от близости смерти, и эти глубоко запавшие, гаснущие глаза, взор, полный слез, наморщенный, свинцово-серый лоб, впалые щеки, твердый, заостренный нос, бледные губы, на которых выступает пена,

цепенеющий и покрытый коркой язык, сухое нёбо, усталую голову, задыхающуюся грудь, хриплое бормотанье и тяжкие вздохи, смрадный запах всего тела и в особенности ужасный вид искаженного лица. Все это будет представляться легче и как бы наглядно во всей совокупности, если человек станет внимательно вдумываться в виденную им картину чьей-нибудь памятной смерти, ибо виденное прочнее запечатлевается в памяти, нежели слышанное. Поэтому в некоторых монашеских орденах, притом наиболее благочестивых, еще и в наше время, враждебное добрым обычаям, не без глубокой мудрости соблюдается правило, чтобы послушествующие этому строгому уставу созерцали тела усопших в то время, когда их моют и готовят к погребению, дабы воспоминание о горестном и плачевном зрелище, коего они были очевидцами, служило им вечным предостережением и удерживало страхом их души от всех надежд преходящего мира. Вот что я разумел под словами «глубоко проникать», а не так, как вы, случайно, по привычке, произносите слово «смерть», вроде того как вы изо дня в день повторяете, что ничего нет более достоверного, нежели смерть, и ничего менее достоверного, нежели час смерти, и тому подобное; все это проходит без следа и не укореняется в памяти.

Франциск. Тем легче соглашаюсь с тобою, что узнаю теперь в твоих словах многое такое, что́ я часто молча говорю сам себе. Однако напечатлей, если возможно, в моей памяти какой-нибудь знак, который бы отныне предостерегал меня, дабы я не лгал самому себе и не обольщался моими заблуждениями, ибо, сколько я вижу, от стези добродетели отклоняет умы именно то, что люди, признав цель достигнутой, не стремятся дальше.

Августин. Мне приятно слышать это от тебя, ибо это — речь не праздного и зависящего от случайностей, а многосторонне взвешивающего ума. Итак, даю тебе знак, который никогда тебя не обманет: каждый раз, когда, размышляя о смерти, ты останешься неподвижным, знай, что ты размышлял без пользы, как о любой другой вещи; но если во время самого размышления ты будешь цепенеть, дрожать и бледнеть, если тебе будет казаться, что ты уже терпишь смертные муки; если, сверх того, тебе придет на мысль, что лишь только душа выйдет из этих членов, она должна тотчас предстать на вечный суд и дать точнейший отчет в своих поступках и словах за всю протекшую жизнь; наконец, что более нечего надеяться ни на телесную красоту, ни на мирскую славу, ни на талант, ни на красноречие, ни на богатство или могущество, что судью нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни умилостивить, что сама смерть — не конец страданий, а лишь переход к новым; если к тому же ты представишь себе тысячи разнообразных истязаний и пыток, и треск и гул преисподней, и серные реки, и кромешную тьму, и мстительных фурий, наконец, весь ужас темного Орка[а] в целом и что́ превосходит все эти

[а] *Орк* — преисподняя.

беды — бесконечную непрерывность мучений, и отсутствие всякой надежды на их прекращение, и сознание, что господь уже более не сжалится и гнев его пребудет во-веки; если все это одновременно предстанет твоему взору не как выдумка, а как действительность, не как возможность, а как необходимость неминуемая и почти уже наступившая, и если ты будешь не мимоходом, а усердно предаваться этим тревогам, и не с отчаянием, а с полной надеждою, что божья десница властна и готова исторгнуть тебя из всех этих бед, лишь бы ты обнаружил способность к исправлению, и если ты искренно пожелаешь подняться и будешь стоек в своем желании, — тогда будь уверен, что ты размышлял не напрасно.

. . . . . .

Франциск. Благодарю тебя за столь жалостливое чувство; но чего еще я могу ждать от человеческой помощи?

Августин. От человеческой — ничего, но от божественной — очень многого. Воздержным может быть лишь тот, кого бог сподобит; следовательно, от него надо домогаться этой милости, притом в особенности со смирением и часто со слезами. Он обыкновенно не отказывает в том, чего у него просят пристойно.

Франциск. Я делал это так часто, что почти боюсь стать ему в тягость.

Августин. Но ты просил без достаточного смирения и без должной вдумчивости; ты всегда оставлял про запас местечко для будущих страстей, всегда предугадывал своим молитвам отдаленный срок. Говорю это на основании опыта, ибо так бывало и со мною; я говорил: дай мне целомудрие, но не сейчас; подожди немного, скоро наступит время; еще моя жизнь в цветущем возрасте, пусть она идет своими путями, повинуется своим законам, ибо больше срама будет, если она вернется к этим юношеским влечениям; поэтому лучше я откажусь от этого, когда с годами сделаюсь менее способным на это и когда, пресытившись наслаждениями, я буду обеспечен против возврата похоти. Разве ты не понимаешь, что, говоря так, ты просишь одного, а желаешь другого?

. . . . . .

Августин. Я еще не коснулся главных ран твоей души, и я с умыслом откладывал это, дабы сказанное под конец прочнее укоренилось в памяти. О другом из тех плотских влечений, которые мы здесь затронули, нам придется в дальнейшем говорить подробнее.

Франциск. Итак, веди меня, куда хочешь.

Августин. Если ты не будешь бесстыдно упрям, нам больше не о чем спорить.

Франциск. Ничто не радовало бы меня больше, как если бы с земли исчез всякий повод к спору. И сам я всегда лишь неохотно спорил даже о вещах, которые были мне как нельзя лучше известны,

ибо спор даже между друзьями имеет в себе что-то грубое, неприязненное и противное дружеским отношениям. Но перейдем к тому, насчет чего, по твоему мнению, я тотчас соглашусь с тобою.

Августин. Ты одержим какою-то убийственной душевной чумою, которую в новое время зовут тоскою (acidia), а в древности называли печалью (aegritudo).

Франциск. Самое имя этой болезни повергает меня в трепет.

Августин. Без сомнения потому, что она давно и тяжко терзает тебя.

Франциск. Каюсь, что так. К тому же, почти во всем, что меня мучает, есть примесь какой-то сладости, хотя и обманчивой; но в этой скорби все так сурово и горестно, и страшно, и путь к отчаянию открыт ежеминутно, и каждая мелочь толкает к гибели несчастную душу. Притом все прочие мои страсти сказываются хотя частыми, но краткими и скоропреходящими вспышками, эта же чума по временам схватывает меня так упорно, что без отдыха истязает меня целые дни и ночи; тогда для меня нет света, нет жизни: то время подобно кромешной ночи и жесточайшей смерти. И, что можно назвать верхом злополучия, я так упиваюсь своей душевной борьбою и мукою, с каким-то стесненным сладострастием, что лишь неохотно отрываюсь от них.

. . . . . .

Августин. Я тщательно обдумал все заранее; речь наша будет о смертной женщине, на обожание и угождение которой ты потратил большую часть твоей жизни. Я сожалею об этом и сильно дивлюсь столь глубокому и долговременному безумию в человеке такого ума.

Франциск. Останови свою бранную речь, прошу тебя. Смертными женщинами были и Фаида и Ливия. Притом известно ли тебе, что ты заговорил о женщине, чей дух, чуждый земных забот, горит небесной жаждою, в чьих чертах, если только есть правда в мире, сияет отблеск божественной красоты, чей характер — образец нравственного совершенства, в чьем голосе и взоре нет ничего смертного, чья походка обличает существо, высшее человека? Помни это хорошенько, и тогда, думаю, ты поймешь, какие слова ты должен употреблять.

Августин. О безумный! Так-то ты уже шестнадцатый год питаешь пламя своей души лживыми обольщениями? Поистине не дольше властвовал над Италией знаменитый Ганнибал, не чаще выдерживала она натиски вооруженных полчищ, не сильнее пылала в пожарах, нежели тебя за это время палила огнем и одолевала приступами неистовая страсть. Однако нашелся же человек, который, наконец, заставил Ганнибала удалиться; твоего же врага кто отвратит от твоей выи, раз ты запрещаешь ему уйти и даже сам, сознательно и добровольно, приглашаешь его оставаться у тебя? Несчастный! Ты радуешься собственной беде. Но когда

последний день закроет эти очи, чарующие тебя до гибели, когда ты увидишь ее лицо, искаженное смертью, и бледные члены, тебе будет стыдно, что ты приковал твою бессмертную душу к бренному, жалкому телу, и ты будешь краснеть, вспоминая о том, что ты теперь так упрямо утверждаешь.

О СРЕДСТВАХ ПРОТИВ ВСЯКОЙ ФОРТУНЫ [1]

ЧАСТЬ I

СЧАСТЬЕ

16. О благородном происхождении. Кровь всегда одного цвета. Но если одна светлее другой, это создает не благородство, а телесное здоровье. Истинно благородный человек не рождается с великой душой, но сам себя делает таковым великолепными своими делами.

53. О богатстве. У богатого больше завистливых чувств, чем радости. Большие богатства приобретаются с трудом, хранятся с хлопотами, тратятся с огорчением. Если ты расточителен, израсходуешь их быстро. Если ты скуп, превращаешься в сторожа, и богатство владеет тобою, а не ты богатством.

56. О даче в рост. Чем больше скупость, тем больше жестокость. Смерть приближается к тебе так, как к твоему должнику срок уплаты тебе. Ростовщики, как прокаженные, жили обыкновенно отдельно от других людей. Их избегали, как людей, больных прилипчивой болезнью. Ибо ростовщик по-настоящему убивает человека.

92. О славе. Ни один бедный человек не ищет репутации имущего кроме как для лучшего обмана других. Так и дурной человек ищет репутации хорошего только для обмана. Лучше не иметь славы, чем иметь ложную славу. Ибо и настоящая поддерживается с трудом. Завистливый народ ее ненавидит, а зависть добирается даже до вещей сокрытых. Люди редко бывают тем, чем кажутся. Присутствие уменьшает славу. Подобно тому, как тень не может родиться и держаться сама по себе, так и слава: если фундаментом ей не служит добродетель, она не может быть ни истинной, ни прочной. Похвала полезна умному, вредна глупому.

Хвала глупых у людей ученых почитается бесчестием, а уважение их — подозрительным.

117. О посмертной славе. Многие надеются заслужить славу, будучи достойны бесславия, и поступают, как заблудившиеся: думают, что идут вперед, а возвращаются назад. Слава никогда не помогает мертвым. Живым она много раз была гибельна. Что было причиною смерти Туллия [a], если не великая слава о его учености. То же можно сказать о Сократе и Зеноне.

---

[a] Имеется в виду Марк Туллий Цицерон.

ЧАСТЬ II

НЕСЧАСТЬЕ

5. О низком происхождении. Ты будешь тем знатнее, чем более низкородны и гадки твои родители, если ты оказался добродетельным. Все благородство будет твоим, и ты станешь предком благородного потомства. Гораздо похвальнее зачинать знатный род, чем найти его начатым другим. Достоинство не утрачивается от низкого происхождения человека, лишь бы он заслужил его своей жизнью. И, действительно, если добродетель дает истинное благородство, я не вижу, что может помешать кому бы то ни было стать благородным.

Ниже мы приводим ряд сонетов из сборника стихотворений, посвященных Лауре.

Сборник состоит из сонетов (всего их 317), канцон, баллад и пр. и делится на две части: «На жизнь Лауры» (227 сонетов) и «На смерть Лауры» (90 сонетов).

СОНЕТЫ НА ЖИЗНЬ ЛАУРЫ

3

Был день, в который, по Творце вселенной
Скорбя, померкло Солнце... Луч огня
Из ваших глаз врасплох настиг меня:
О госпожа, я стал их узник пленный.

Гадал ли я, чтоб в оный день священный
Была потребна крепкая броня
От нежных стрел, что скорбь страстно́го дня
С тех пор в душе пребудет неизменной.

Был рад стрелок. Открыл чрез ясный взгляд
Я к сердцу дверь, — беспечен, безоружен...
Ах, ныне слезы лью из этих врат!

Но честь ли богу — влить мне в жилы яд,
Когда, казалось, панцырь был не нужен,
Вам — под фатой таить железо лат.

38

Мгновенья счастья на подъем ленивы,
Когда зовет их алчный зов тоски;
Но, чтоб уйти, мелькнув, — как тигр, легки.
Я сны ловить устал. Надежды лживы.

Скорей снега согреются, разливы
Морей иссохнут, невод рыбаки
В горах закинут там, где две реки,
Евфрат и Тигр, влачат свои извивы

Из одного истока, Феб зайдет,
Чем я покой найду, иль от врагини,
С которой ковы на меня кует

Амур, мой бог, дождуся благостыни.
И мед скупой устам, огонь полыни
Изведавшим, не сладок, поздний мед!

78

Коль не любовь сей жар, какой недуг
Меня знобит? Коль он — любовь, то что же
Любовь? Добро́ ль? Но эти муки, боже!..
Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..

На что ропщу, коль сам вступил в сей круг?
Коль им пленен, напрасны стоны. То же,
Что́ в жизни смерть, — любовь. На боль похоже
Блаженство. «Страсть», «страданье» — тот же звук.

Призвал ли я иль принял поневоле
Чужую власть?.. Блуждает разум мой.
Я — утлый челн в стихийном произволе,

И кормщика над праздной нет кормой.
Чего хочу, — с самим собой в расколе, —
Не знаю. В зной — дрожу; горю — зимой.

90

И мира нет — и нет нигде врагов;
Страшусь — надеюсь, стыну — и пылаю;
В пыли влачусь — и в небесах витаю;
Всем в мире чужд — и мир обнять готов.

У ней в плену неволи я не знаю;
Мной не хотят владеть, а гнет суров;
Амур не губит и не рвет оков;
И жизни нет конца, и мукам — краю.

Я зряч — без глаз; нем — вопли испускаю;
Я жажду гибели — спасти молю;
Себе постыл — и всех других люблю;

Страданьем — жив; со смехом я — рыдаю;
И смерть и жизнь — с тоскою прокляты;
И этому виной, о донна, — ты.

163

Меж стройных жен, сияющих красою,
Она царит — одна во всей вселенной,
И пред ее улыбкой несравненной
Бледнеют все, как звезды пред зарею.

Амур как будто шепчет надо мною:
Она живет — и жизнь зовут бесценной;
Она исчезнет — счастье жизни бренной
И мощь мою навек возьмет с собою.

Как без луны и солнца свод небесный,
Без ветра воздух, почва без растений,
Как человек безумный, бессловесный,

Как океан без рыб и без волнений,
Так будет все недвижно в мраке ночи,
Когда она навек закроет очи.

СОНЕТЫ НА СМЕРТЬ ЛАУРЫ

2

Повержен Лавр зеленый[а]. Столп мой стройный
Обрушился. Дух обнищал и сир.
Чем он владел, вернуть не может мир
От Индии до Мавра. В полдень знойный

Где тень найду, скиталец беспокойный?
Отраду где? Где сердца гордый мир?
Все смерть взяла. Ни злато, ни сапфир,
Ни царский трон мздой не были б достойной

За дар двойной былого. Рок постиг!
Что делать мне? Повить чело кручиной —
И так нести тягчайшее из иг.

[а] Игра созвучий: Lauro («лавр») — Laura («Лаура»).

Прекрасна жизнь — на вид. Но день единый, —
Что долгих лет усильем ты воздвиг,
Вдруг по́ ветру развеет паутиной.

34

Восхитила мой дух за грань вселенной
Тоска по той, что́ от земли взята;
И я вступил чрез райские врата
В круг третий душ. Сколь менее надменной

Она предстала в красоте нетленной!
Мне руку дав, промолвила: «Я та,
Что страсть твою гнала. Но маета
Недолго длилась, и неизреченный

Мне дан покой. Тебя лишь возле нет, —
Но ты придешь, — у дольнего покрова,
Что ты любил. Будь верен; я — твой свет».

Что ж руку отняла, и смолкло слово?
Ах, если б сладкий все звучал привет,
Земного дня я б не увидел снова!

43

О чем так сладко плачет соловей
И летний мрак живит волшебной силой?
По милой ли тоскует он своей?
По чадам ли? Ни милых нет, ни милой.

Всю ночь он будит грусть мою живей,
Ответствуя, один, мечте унылой...
Так, вижу я: самих богинь сильней
Царица Смерть! И тем грозит могилой!

О, как легко чарует нас обман!
Не верил я, чтоб тех очей светила,
Те солнца два живых, затмил туман,

Но черная Земля их поглотила.
«Все тлен! — поет нам боль сердечных ран, —
Все, чем бы жизнь тебя ни обольстила».

44

Ни ясных звезд блуждающие станы,
Ни полные на взморье паруса,

Ни с пестрым зверем темные леса,
Ни всадники в доспехах средь поляны,

Ни гости, с вестью про чужие страны,
Ни рифм любовных сладкая краса,
Ни милых жен поющих голоса
Во мгле садов, где шепчутся фонтаны,

Ничто не тронет сердца моего.
Все погребло с собой мое светило,
Что сердцу было зеркалом всего.

Жизнь однозвучна. Зрелище уныло.
Лишь в смерти вновь увижу то, чего
Мне лучше б никогда не видеть было.

НА ПАПСКУЮ КУРИЮ В АВИНЬОНЕ

Огонь с небес тебе на косы, злая,
Падет: отвергнув желуди с водой,
В богатстве ты — народной нищетой,
В величии — злодейством промышляя.

Гнездо предательств, ты растишь, питая,
Все зло, что днесь разлито над землей,
Сыта вином, и ложем, и едой,
Бесстыдно тут всю похоть обнажая.

В твоих палатах стариков и дев
Кружится пляс; мчит Вельзевул проворных,
Огонь, мехи и зеркало воздев.

Но впредь тебе не ведать нег позорных,
Быть на ветру нагой, босой на тернах, —
Живи же так: в грязь грянет божий гнев.

НОВОМУ ПРАВИТЕЛЮ РИМСКОГО НАРОДА

Высокий дух, что тело устрояешь,
Где гостем в странствии тропой земною
Муж доблестный, премудрый, прозорливый;
Что учишь Рим, почётною лозою
Детей его заблудших исправляешь,
Зовешь его на древний путь счастливый, —
Тебе реку: в других погас нелживый
Луч доблести в сем мире; верх соблазна —
Никто свершенных зол не устыдится.
Не знаю, ждет чего, к чему стремится
Италия, лишь бормоча бессвязно,

Стара, слаба и праздна.
Ей спать ли век? Проснется ль? — вот вопросы.
Ее я взял бы и потряс за косы!

Я не надеюсь, чтобы сон постылый
С чела стряхнула и звала на дело:
Столь тяжким бременем она томима.
Но вручена тебе судьбою смело,
Чтоб ты встряхнул ее и поднял силой,
Отныне жизнь главы народной — Рима.
Пусть россыпь этих прядей свято чтима, —
Ты руку твердо ей взложи на темя
И спящую из тины вырви мощно.
Над ней рыдаю денно я и нощно,
В тебе ж моих надежд настало время.
Коль в силах Марса племя
Взор возвести на честь свою, то мнится,
Что милость эта в дни твои свершится.

Стен старина — благословенье света,
Любовь и страх, чуть памятью мгновенной
Ко временам минувшим обернется,
И камни те, что кроют прах священный
Мужей, чья память славою одета,
Пока весь мир во прах не распадется;
Все, что теперь развалиной зовется, —
В тебе искупит все грехи сторицей.
Величье Сципионов, верность Брута
За гробом озарит молва — минута
Свершенья долга — светлою денницей!
Я вижу — вот Фабриций [a]
При этой вести радостно трепещет
И говорит: мой Рим еще заблещет!

Об этом деле небеса пекутся,
А души, что их выси населяют,
Тела оставив с тленностью земною,
Тебя покончить с распрей умоляют,
Что людям не дает и оглянуться
На чтимое когда-то и мольбою,
И памятью, но что теперь, с войною,
В разбойничий вертеп вдруг обратилось
Без выхода для верных, тут плененных;
Меж алтарей и статуй обнаженных
Возможным жесточайшее помнилось.

[a] *Кай Люцин Фабриций* — знаменитый римский полководец и патриот (III в. до н. э.).

Как странно все смесилось!
Открылся натиск звоном колокольным, —
Недавно покаянным, богомольным.

И женщины в слезах, и молодые,
Но слабые, и старцы, полной мерой
Годов согбенные в изнеможенье,
И рой монахов черный, белый, серый,
И все измученные и больные
Гласят: Наш властелин, в тебе спасенье!
И бедный люд, растерян, в исступленье
Все язвы обнажает пред тобою, —
А их почтил сам Ганнибал когда-то.
Ты божий дом обережешь, объятый
Пожаром весь, лишь искрой небольшою,
Погашенной тобою,
Утихомирив мнимый пыл желаний,
В награду взяв дар высших воздаяний.

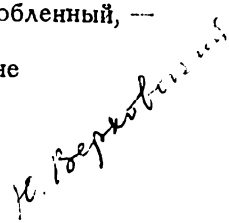
Медведи, волки, львы, орлы и змеи
Давно высокой мраморной колонне
В досаду, а себе на оскуденье [а]
Тебя призвавшей благородной донне,
Внушают слезы, как и те пигмеи,
Ее же отпрыски, но без цветенья.
Столетья шли, сменялись поколенья,
Но душ прекрасных не было меж ними,
Тех, этот край обретших ей всецело.
О, новый род, надменный без предела,
Продерзостный пред матерью такою!
Супруг, отец, рукою
Своей лишь ты помочь силен несчастью.
Святой отец [б] иною занят частью.

Так редко величайшим начинаньям
Обидная фортуна не перечит,
Встречая смелые дела враждою.
Сейчас она мои обиды лечит,
Меняя шаг перед твоим блистаньем;
И вот у ней разлад с самой собою:
Ведь памятью незнаемо людскою,
Чтоб смертный ведал путь тот величавый,
Где бы, как ты, стал памятен навечно;
Воздвигнешь ты, — коль я не слеп, конечно, —
Отчизну благороднейшей державой.

[а] Намек на вражду знатных родов — Колонна, Орсини, Савелли и др.
[б] Папа.

С великой молвишь славой:
Те ей служили, бывшей в полной силе,
Я — дряхлую не уступил могиле.

Канцона, зри: на высоте Тарпейской
Вот всадник, всей Италией вознесенный,
Не о себе, о людях помышляет.
Скажи ему, тебя вблизи не знает
Здесь некто; но, — как по молве влюбленный, —
Вещает: Рим склоненный
В слезах тоски к тебе взывает ныне
Со всех семи холмов о благостыне.



БОККАЧЧО

Джованни Боккаччо (Giovanni Boccaccio, 1313 - 1375) — великий итальянский писатель-гуманист. Сын флорентийского купца и француженки. Отец старался сделать из него коммерсанта. Боккаччо же влекло к науке и литературе. В 1330 г. он прибыл в Неаполь, чтобы изучить по настоянию отца право. Но и юриспруденция вовсе не привлекала Боккаччо. В Неаполе он сблизился с кружком гуманистов, начал изучать греческий язык и античную литературу. При посредстве своих новых друзей он попал ко двору короля Роберта Анжуйского, охотно покровительствовавшего наукам и искусствам. Здесь он встретил Марию Аквино — незаконную дочь короля, которую воспел под именем Фьяметты. Любовь к Фьяметте дала толчок его творческому развитию. Поэма в октавах «Филострато» (ок. 1338 г.) и венок сонетов сделали его знаменитым. В 1340 или 1341 г. Боккаччо вернулся во Флоренцию, где со временем занял видное общественное положение. С 1347 г. он выполнял ряд ответственных дипломатических поручений. Он поддерживал близкие отношения со многими видными учеными тогдашней Италии, особенно тесная дружественная связь у него установилась с Петраркой. Во Флоренции он оканчивает начатую в Неаполе поэму в октавах (Боккаччо — выдающийся мастер и создатель октавы) «Filocolo» («Филоколо») на сюжет одной византийской повести. Он пишет поэму «Teseide» («Тезеида»), пастораль «Ameto» («Амето»), поэму в терцинах «Amorosa visione» («Любовное видение», 1342 г.). На всех этих произведениях лежит печать средневековых традиций (аллегоризм и пр.). От этих традиций он отходит в психологической повести «Fiametta» («Фьямстта», ок. 1343 г.), открывающей период его творческой зрелости. Далее следует трагическая пастораль «Ninfale Fiesolano» («Фьезоланские нимфы», 1345—1346 гг.) и, наконец, книга новелл «Декамерон» (между 1350 и 1353 гг.) — вершина творчества писателя, одно из ярчайших созданий литературы европейского

Боккаччо (по рисунку рукописи 1397 г.)

рождения. Под конец жизни в мировоззрении Боккаччо вновь начали ть верх средневековые элементы. В 1355/56 г. он пишет «Корбаччо» ог Бассіо» — «Ворон») — книгу, пронизанную почти аскетической ненавистью женщине. С 1373 г., по поручению флорентийской Сеньории, он читал блічные лекции о Данте. Боккаччо принадлежит также ряд латинских чинений научного характера.

На русском языке: «Фьезоланские нимфы», перевод Ю. Н. Верховского, дакция и статья А. К. Дживелегова, «Academia», 1934 г.; «Фьяметта», ревод М. А. Кузмина, СПБ, 1913 г.; «Декамерон», мастерски перевенный А. Н. Веселовским (ряд изданий), полный текст в издании «Academia».

СОНЕТЫ

* * *

Сокрылась доблесть, честь угасла, стала
Италия всеобщею женой,
Кастальских муз не слышно ни одной,
О них не мыслят, их не чтут нимало.

На листья лавра вдруг цена упала
И на цветы; за скрюченной спиной
У всех стяжанья груз; и взмыв гурьбой,
Пороков тьма кругом возликовала.

Коль милый слог и прозы, и стихов
Меж нас почти что все забыли прочно,
Тогда и чудо остается втуне.

Плачь же со мною, — жребий наш таков:
В быту новейшем творчество порочно
При благосклонной нынешней фортуне.

* * *

Раз я уснул — и мнилось, к тверди синей
Меня на крыльях легких подымало
Вослед за той, чье в пепел покрывало
Рассыпалось, она ж взнеслась богиней.

И в радости все чище и невинней,
Казалось, жарким пламенем пылала,
Безвестным мне; горенье растопляло
В тоске меня сжимавший лед и иней.

И ангелоподобная, с улыбкой
Простерла руку, словно бы желая
Пожать мою. Но тут я пробудился.

Судьба моя такой предстала зыбкой!
Возьми тогда меня к себе, благая, —
О, я сюда б вовек не возвратился.

ДАНТЕ О СЕБЕ

Дант Алигьери я — Минерва, худо
Познавшая искусство; дал лишь гений
Изящность глубине всех откровений,
Великое явив природе чудо.

Фантазия вела меня отсюда
В глубь тартара и в высь иных селений;
Том благородный мой достоин чтений
Высоких душ, как и мирского люда.

Мне мать Флоренция — великий зодчий —
И мачеха сыновнему вниманью,
Вина наветов злых и муки прочей.

Равенна — постоялый двор изгнанью;
Ей — тело, а душа во власти отчей,
Где никнет зависть под всесильной дланью.

Из «ФЬЕЗОЛАНСКИХ НИМФ»

«Фьезоланские нимфы» — вторая по счету пастораль Боккаччо (ей предшествует «Амето», 1342 г.). В этом произведении, открывающем наряду с «Фьяметтой» период творческой зрелости писателя, Боккаччо, преодолевая сухой аллегоризм «Амето», выходит, наконец, на путь реализма. Пастораль характеризуется величавой простотой, подлинно классической скульптурностью образов. По своему замыслу поэма сходна с античными мифами о местностях (favole locali), которыми так обильны «Метаморфозы» Овидия, оказавшие несомненное влияние на пастораль Боккаччо.

Поэма рассказывает о том, как Африко и Мензола — две речки, текущие с холма Фьезоле близ Флоренции, получили свое наименование от двух любовников, павших жертвой суровых законов целомудренной богини Дианы.

Это было в те легендарные времена, когда еще не был основан город Фьезоле и по холмам бродила Диана со своими нимфами. В одну из этих нимф, юную Мензолу, влюбился молодой пастух Африко. Долгое время он тщетно пытался приблизиться к целомудренной деве. Тогда по наущению Венеры он облекся в женские одежды, вмешался неузнанный в толпу нимф и, улучив удобную минуту, силой овладел Мензолой. Совершив невольный проступок, Мензола преисполняется глубокой тревогой. Внезапно вспыхнувшая любовь к Африко борется в ней с раскаянием и страхом перед неумолимой богиней, жестоко карающей всех тех нимф, которые осмеливаются нарушить установленный ею закон целомудрия. Напрасно юноша ждет возвращения Мензолы, она сторонится своего возлюбленного, и, в конце концов, охваченный тоской и отчаянием, Африко пронзает свою грудь копьем, и его кровь окрашивает воды потока, близ которого он вкушал столь быстро минувшие радости любви. «С тех пор, как ныне, реку стали люди прозваньем Африко именовать». Но и Мензола не намного пережила своего возлюбленного. Однажды ее вместе с ее ребенком настигает Диана и в наказание за нарушение обета превращает в речку (см. приводимые октавы 157—163). Родители Африко с любовью воспитывают маленького Прунео (буквально «терновый», как назван младенец «по терню, в котором он сыскался»). Когда же мудрый Атлант (в греческой мифологии — сын титана Иапета), являющийся в Европу, чтобы насадить цивилизацию, основывает

од Фьезоле, изгоняя с фьезолапского холма нимф или выдавая их замуж, двору Атланта приходит отец Африко со своим внуком; Прунео становится сенешалем (высокая придворная должность), получает от Атланта в дар земли, впоследствии его род переселяется во Флоренцию.

1

Амур мне петь велит. Пора настала.
Он в сердце, как в дому, провел лета.
Великолепье сердце мне связало,
Блеск ослепил; я не нашел щита,
Когда лучами душу пронизало
Сиянье глаз. Владеет мною та,
Что ночь и день из слез и воздыханий
Сплетя, томит, — вина моих терзаний.

2

Амур меня ведет и побуждает
В труде, что я отважился начать!
Амур меня на подвиг укрепляет,
И дар и мощь — на всем его печать!
Амур меня ведет и просвещает,
Внушив мне долг о нем повествовать!
Амур меня подъял для воссозданья
Старинного любовного преданья!

. . . .

157

О Мензоле Диана вопрошала
Не раз ее подружек. Где она?
Ответ ближайших был, что не бывала
Давно в горах у них, что не видна
Нигде как будто, где всегда гуляла.
Иные говорили, что больна
Она, должно быть, оттого с другими
К ней не пришла подругами своими.

158

И раз ее найти расположилась
Диана — нимфа ей была мила —
И в обществе трех нимф туда пустилась,
Где бедная приют себе нашла.
К пещере тотчас же она явилась,
И впереди других туда вошла
Уверенно; но нет ее. И стали
Подруги звать ее, втроем кричали.

159

Она ж неподалеку тут, в долине,
С ребеночком своим пришла к реке,
В тепле играя, радуясь о сыне;
Вдруг слышит голоса невдалеке
Зовут, так громко, ясно, по-латыни.
Дивясь, глядит: Диана налегке
И с ней подруги. Сверху поспешают,
Но все еще ее не замечают.

160

Так Мензолу тогда ошеломило
Явление Дианы, что молчком,
Вся, вся от страха трепеща, укрыла
Дитя в кусту терновника густом,
Оставив одного; что силы было,
Взялась— куда глаза глядят — бегом,
Тайком, тайком вниз бережком пустилась,
Леском, леском неслышно устремилась.

161

Но скрыться не могла, как ни бежала:
Дианин взгляд беглянку настигал,
И тут она младенца услыхала,
Он плакал и пронзительно кричал;
Тогда Диана ей во след сказала,
И громкий голос грозно грохотал:
«Напрасно, Мензола, уйти хлопочешь!
Ведь захочу — ручья не перескочишь.

162

Вот выстрелю. От стрел моих не скрыться,
Хоть, грешница-простушка, ты смела!»
Но Мензоле уж не остановиться, —
По склону все бежала, как могла, —
Вот у ручья, вот переплыть стремится
Его скорей. Диана тут рекла
Такое слово — и реке велела,
Чтоб Мензолу та выпускать не смела.

163

Несчастная уж в воду погрузилась,
Вдруг чувствует, что ноги не идут —
И вот, как то Диане рассудилось,
Водою Мензола и стала тут.

И навсегда с рекой соединилось
То имя — и по ней кругом зовут
Везде ту реку Мензолой поныне, —
Я рассказал вам по какой причине.
. . . . . .

Из «ФЬЯМЕТТЫ»

Созданная в период творческой зрелости Боккаччо «Фьяметта» входит в новую европейскую литературу в качестве первого опыта психологического романа. Ее форма — исповедь, признание. Действия почти нет. Все сводится к детальному анализу переживаний женщины, покинутой возлюбленным.

Однажды в церкви Фьяметта (героиня произведения, от лица которой ведется повествование) увидела прекрасного юношу Памфило. Эта встреча решила ее судьбу. В ее сердце вспыхивает пламенная любовь к Памфило. Она замужем, но страсть превозмогает все. Юноша отвечает ей взаимностью, и вскоре наступает соединение влюбленных. Фьяметта опьянена своим счастьем, однако приближается роковой день разлуки. Памфило должен возвратиться к себе на родину, куда его призывает престарелый отец. Он клянется в своей безграничной любви к Фьяметте, обещает вскоре вернуться. И вот Фьяметта одна, она живет мыслями о Памфило. Однако время идет, а Памфило все нет. Фьяметту охватывает тревога, ее начинает мучить ревность, жестокая тоска овладевает всем ее существом. Ничто ее не радует, не развлекает, все ее мысли сосредоточены на обманувшем ее возлюбленном. Внезапная весть о женитьбе Памфило еще более усугубляет горечь ее переживаний. Впрочем, она еще не теряет надежд на грядущее соединение с возлюбленным, который мог ведь жениться и не по любви. Когда же Фьяметта узнает, что слух о женитьбе ложен, но Памфило полюбил у себя на родине другую женщину, она приходит в отчаяние и пытается наложить на себя руки. Отныне жизнь ее становится тяжким испытанием. Не в силах забыть козарного Памфило, она в то же время уже почти не верит в возможность нового соединения с возлюбленным. Жизнь теряет для нее краски. В заключение исповеди Фьяметта сравнивает свои мучения со страданиями многих женщин древности и доказывает, что ее муки были более тягостными, и на этом заключает свои жалобы.

ПРОЛОГ

Сострада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается,—мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу представить их себе по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливого смеха, чем жалостных лиц. Прочитать эту книгу прошу лишь вас, кого по себе знаю кроткими и благостными к несчастным: вы здесь не

найдете греческих басен, украшенных выдумкой, ни битв троянских, запятнанных кровью, но любовную повесть, полную нежной страсти. Через нее увидите вы жалкие слезы, порывистые вздохи, жалобные стоны и бурные мысли, которые, муча меня непрестанно, отняли прочь пищу, сон, веселые забавы и любезную красоту. При этом рассказе, прочтет ли его каждая из вас отдельно или все вместе собравшись, если вы обладаете женским сердцем, то уверена, нежные лица ваши зальете слезами, а мне, которая больше ничего и не ищет, будут они утешеньем в вечной скорби. Молю вас, не удерживайтесь от слез; думайте, что ваша любовь, как и моя, может быть не весьма прочной, если же они схожи (чего не дай бог), напоминая, я сделаю вам ее милой. Но так как рассказывать дольше, чем плакать, скорее приступлю к обещанной повести моей любви, более счастливой нежели прочной, начиная со счастливых дней, чтобы теперешнее мое положение явилось вам более несчастным, а затем слезным тоном доведу повествование, как могу, до дней несчастных, от которых справедливо плачу. Но раньше, если мольбы несчастных бывают услышаны, я — удрученная, заливаясь слезами, молю, если есть божество на небе, чей бы дух тронулся моей скорбью, молю укрепить мою скорбную память и трепещущую руку к предстоящему делу, чтобы печали, что в сердце я испытала и испытываю, дали памяти силу найти слова, руке же, более желающей, чем способной к такому труду, возможность их написать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой госпожа рассказывает, что она думала и как проводила время, после того как срок прошел, а Памфило ее не возвращался.

В таких для меня заботах, жалостливые дамы, не только наступил столь желанный и в тоске ожидаемый срок, но еще многие дни сверх него; и сама еще не зная, порицать ли его или нет, не потеряв окончательно надежды, я умерила радостные мысли, которым, может быть, излишне предавалась, новые мысли забродили у меня в голове, и, укрепившись прежде всего в желании узнать причину, почему он просрочил, я стала придумывать оправдания, какие он сам лично, будучи здесь, мог бы привести. Иногда я говорила: «Фьяметта, зачем ты думаешь, что Памфило твой не возвращается по другой причине, чем простая невозможность? Часто непредвиденные случайности постигают людей, а для будущих поступков нельзя так точно определять срок. Без сомненья, жалость к людям, с которыми мы находимся, сильнее сострадания к отсутствующим; я уверена, что он меня искренне любит и, побуждаемый любовью и жалостью к горькой моей жизни, хотел бы вернуться домой, но, может быть, старик-отец слезами и просьбами убедил его остаться дольше, чем тот хотел; когда сможет, он приедет». Эти оправдательные рассуждения часто побуждали меня к новым и более важным мыслям. Я думала так: «Кто знает, может быть,

у него желание приехать к сроку и видеть меня преодолело сострадание и он, пренебрегши всеми делами и сыновним долгом, отправился в путь и, не дождавшись тихой погоды, доверился морякам, смелым из выгоды и лживым, сел на судно и в бурю погиб? Ведь совершенно таким же образом Геро лишилась Леандра[1].

Кто может знать, не занесла ли его судьба на необитаемый остров, где, спасшись от утопления, он нашел голодную смерть или растерзан дикими зверями? Или просто забытый там, как Ахеменид, ждет, кто его возьмет оттуда? Кто не знает, как море коварно? Может быть, он взят в плен пиратами или другими врагами и закован в цепи». Все эти вполне возможные случаи я себе представляла. С другой стороны, и сухопутное путешествие мне представлялось не менее опасным, и там много случайностей могло его задержать. Переходя мысленно к худшим возможностям и тем более находя его заслуживающим извинения, чем более важны причины его отсутствия, я полагала, нередко думала я так:

«Теперь от более горячего солнца тает снег в горах, откуда стремятся неистовым и шумным потоком реки, которых немало ему придется переезжать; если он, желая переправиться, вступил в одну из них, упал вместе с лошадью, его закрутило, понесло и он утонул, то как он может приехать? А ведь не редкость такие случаи, что при переправах люди тонут. Избежав этой опасности, он мог попасть в разбойничью западню, обокраден ими и держится в плену, или заболел в дороге и приедет, когда выздоровеет». Думая об этом, я обливалась холодным потом и так боялась, что часто молилась богу, чтоб это прекратилось, как будто перед моими глазами он подвергался всем этим опасностям. Помню, я часто плакала, будучи вполне уверена, что одно из воображаемых мною несчастий с ним случилось. Но потом говорила себе: «Что рисуют мне жалкие мысли? Боже, не допусти, пусть он не возвращается, живет там, сколько хочет, только бы не случилось с ним тех несчастий, мысли о которых меня, конечно, вводят в заблуждение. Потому что, если, допустим, они и возможны, но невозможно, чтобы они оставались скрытыми, гораздо правдоподобней, что смерть такого юноши сделалась бы известна, особенно мне, которая, в беспокойстве, наводила непрерывные и очень ловкие о нем справки».

Несомненно, что если б какое-нибудь из воображаемых мною несчастий было на самом деле, то молва, быстрейшая вестница бед, донесла бы слух об этом; а случай, столь неблагоприятный для меня теперь, открыл бы широкую дорогу этим слухам, чтоб еще более меня опечалить. Скорей, я думаю, он к большому горю для себя (как и для меня, если он не придет) задержан против воли и скоро вернется или в утешенье мне пришлет извинительное письмо о причинах своей задержки; конечно, я и эти мысли, столь сильно меня обуревавшие, довольно легко преодолевала, и все старалась удержать надежду, готовую улететь, когда срок возвращения был просрочен, больше значения придавая нашей взаимной любви, обетам, клятве и горьким его слезам; мне казалось, что измена не

может побороть всего этого. Не в моей было власти, чтобы надежда, так удерживаемая, не уступила места оставленным было мыслям, которые, медленно и молча вытесняя ее понемногу из моего сердца, водворились на прежние места, приводя мне на память дурные предзнаменования и другие явления, и я заметила это уже тогда, когда почувствовала себя в их власти, надежда же почти совсем исчезла. Но более всего (в течение многих дней не слыша ничего о возвращении Памфило) я ревностью была томима.

Она язвила меня против моей воли, она все оправдания, что ему я находила, как будто зная его вину, уничтожала, она опять забытые уже мысли на память мне приводила, говоря: «О, как можешь ты быть так неразумна, чтобы не знать, что ни сыновняя любовь, ни важные дела, ни развлечения не могли бы удержать Памфило, если бы он тебя так любил, как говорит. Не знаешь разве ты, что любовь все побеждает? Конечно, он, позабывши тебя, влюбился в другую, и эта новая любовь его там держит, как здесь держала любовь к тебе. Эти женщины, как ты уже сказала, всячески способны любить, он сам имеет к этому наклонность и весьма достоин любви любой из них, и они снова влюбят его для обоюдного счастья. Что же ты думаешь, что не у всех женщин глаза на лбу, как у тебя, и что они не знают, что ты знаешь? Отлично знают. А ему, ты думаешь, ни одна из них не может понравиться? Конечно, полагаю, что если бы он мог тебя видеть, он бы не полюбил другой; но теперь он тебя не может видеть и сколько месяцев уже не видал. Должна ты знать, что ни одно мирское явление не вечно; как он в тебя влюбился и ты ему нравилась, так может ему понравиться другая, и он, любовь к тебе забывши, ее полюбил.

Новое всегда больше нравится, нежели виденное, и всегда человек сильнее желает того, чего не имеет, чем того, чем обладает, и нет ничего, что бы от времени становилось милее. И кто не предпочтет любовь новой дамы в своей стране любви старинной на чужбине. Может быть, он тебя вовсе не так горячо любил, как показывал, и ничьи слезы не могут служить залогом такой любви, какую ты ему приписывала. Ведь случается, что люди, побыв вместе всего несколько дней, уже мучатся и горько плачут, клянутся, обещают то, что, наверное, думают исполнить, потом случится что-нибудь новое, — и все клятвы вылетают вон из головы. Разве так редко, что молодые люди слезами, клятвами и обещаниями обманывают женщин? Они умеют это раньше, чем любить, непостоянство этому их учит: всякий из них предпочтет в один месяц переменить десять женщин, чем десять месяцев любить одну и ту же; они всегда ищут новые лица и характеры и хвастаются, что многих любят. На что надеешься? Зачем напрасно предаешься пустой доверчивости? Ты не в силах отвлечь его, перестань любить и покажи, что таким же способом, как ты была обманута, ты сама можешь обмануть». Такие речи возбуждали во мне неистовый гнев, ужасным жаром воспламеняли душу и побуждали к бешеным поступкам. Но тотчас ярость сменялась горькими слезами (иногда очень

продолжительными), из груди вырывались тяжкие вздохи; чтоб успокоиться, гнала я вещие мысли и насильно надежду возвращала. И так долгое время провела, то надеясь, то отчаиваясь, но непрерывно стараясь узнать, что с ним случилось, почему он не едет.

Из «ДЕКАМЕРОНА»

«Декамерон» Боккаччо — книга, положившая основы европейской новеллы. Боккаччо впервые создал здесь жанр новеллы, ее язык, типы, круг сюжетов. К числу характерных черт «Декамерона» следует также отнести и прием сюжетного обрамления книги новелл, прочно удержавшийся в позднейшей европейской новеллистике (Сер Джованни Фиорентино, Франсуа, Граццини-Ласка, Джиральди Чинтио, Парабоско, Маргарита Наваррская, Чосер и др.). Прием этот сложился еще в античной и древневосточной литературах и пользовался широким распространением в литературе средневекового Востока, откуда и перешел в литературу новой Европы.

«Декамерон» открывается замечательным по своему реализму описанием чумы, свирепствовавшей в 1348 г. во Флоренции. В это грозное время семь молодых девушек и трое юношей из патрицианских семей города встретились однажды в церкви Санта Мария Новелла и решили покинуть зачумленный город. Они удаляются в одну из загородных вилл. Здесь они проводят время в играх, забавах и беседах. В течение десяти дней они занимают друг друга рассказыванием новелл, причем каждый рассказывает в день по одной новелле (отсюда и греческое название книги «Декамерон», что означает десятидневник). Для руководства загородной жизнью ежедневно из числа собеседников избирался король или королева.

НОВЕЛЛА ВТОРАЯ ПЕРВОГО ДНЯ

Еврей Авраам

Новелла Памфило, вызывавшая иногда смех у дам, в общем была одобрена. Ее выслушали со вниманием, и когда она была окончена, королева велела Неифиле, сидевшей рядом с Памфило, рассказать и свою новеллу, следуя установленному порядку развлечения. Неифила, отличавшаяся столько же приятностью обхождения, сколько красотой, весело отвечала, что сделает это охотно, и начала так:

— Памфило в своем рассказе показал нам, что благость божия не взирает на наши заблуждения, если они исходят из причин, ускользающих от нашего ведения; я же хочу своим рассказом показать, что эта благость, терпеливо перенося недостатки тех, которые должны были бы всеми своими действиями и словами свидетельствовать о ней истинно, а поступает наоборот, тем самым дает нам доказательство своей непреложности, дабы мы с тем большей твердостью духа следовали тому, во что веруем.

Мне рассказывали, любезные дамы, что в Париже жил один богатый купец и хороший человек, по прозванию Джианнотто ди Чивиньи, ведший обширную торговлю сукнами. Он был в большой дружбе с одним очень богатым евреем, по имени Авраамом, также купцом и очень честным и прямым человеком. Джианнотто, зная его честность и прямоту, сильно сокрушался о том, что душа этого достойного, мудрого и хорошего человека, по недостатку веры, будет

осуждена. Поэтому он принялся дружески просить его оставить заблуждения иудейской веры и обратиться к истинной христианской, которая, как он сам мог видеть, будучи святой и совершенной, постоянно преуспевает и множится, тогда как, наоборот, его религия умаляется и приходит в запустение, в чем он сам мог убедиться. Еврей отвечал, что он не знает более совершенной и святой религии, чем иудейская, и что он в ней родился, в ней намерен жить и умереть, и нет ничего, что бы могло отвратить его от этого намерения. Это, однако, не остановило Джианнотто, и через несколько дней он снова обратился к нему с подобными же речами, доказывая ему попросту, как это умеют делать купцы, по каким причинам наша религия лучше иудейской. Хотя еврей был большим знатоком иудейского закона, тем не менее, по большой ли дружбе, которую он питал к Джианнотто, или повлияли на него речи, вложенные св. духом в уста простого человека, только ему стали очень нравиться доводы Джианнотто, хотя, продолжая упорствовать в своей вере, он не позволял обратить себя. Как он упорствовал, так и Джианнотто не переставал убеждать его, пока, наконец, еврей, побежденный этой настойчивостью, сказал: «Хорошо, Джианнотто, ты хочешь, чтобы я сделался христианином, и я готов на это, но с тем, что сперва отправлюсь в Рим, дабы там увидеть того, кого ты называешь наместником бога на земле, увидеть его нравы и образ жизни, а также его братьев-кардиналов; если они представятся мне таковыми, что по ним и из твоих слов я убеждусь в преимуществе твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал; коли нет, я как был, так и останусь евреем».

Выслушав это, Джианнотто был крайне опечален, говоря про себя: «Пропали мои труды даром, а между тем я думал употребить их с пользой, воображая, что уже обратил его. И в самом деле, если он отправится к римскому двору и насмотрится на порочную и нечестивую жизнь духовенства, то не только не сделается из еврея христианином, но если бы и стал христианином, наверно, перешел бы снова в иудейство». Затем, обратясь к Аврааму, Джианнотто сказал: «Друг мой, зачем хочешь ты подвергать себя такому труду и большим издержкам, сопряженным с путешествием в Рим? Не говоря уже о том, что для такого богатого человека, как ты, каждое путешествие, морем или сухим путем, исполнено опасностей, уж не думаешь ли ты, что здесь не найдется никого, кто бы окрестил тебя? Если у тебя есть сомнения по вопросу о вере, которую я тебе разъяснил, где, как не здесь, найдешь ты больших ученых и более мудрых людей, которые растолкуют тебе, что пожелаешь, или то, о чем спросишь? Вот почему, по моему мнению, это путешествие излишне. Представь себе, что там прелаты такие же, каких ты мог видеть и здесь, и даже лучше, потому что ближе к верховному пастырю. Итак, по моему совету, приберегi этот труд до другого раза, для какого-нибудь хождения к святым местам; тогда, быть может, и я буду тебе спутником». На это еврей отвечал: «Я верю, Джианнотто, что все так, как ты говоришь, но, сводя многое в одно слово,

скажу тебе (если ты хочешь, чтобы я сделал, о чем ты меня так просил), что я окончательно решил ехать; иначе я не сделаю ничего». Видя его решимость, Джианнотто сказал: «Поезжай с богом», — а в то же время подумал про себя, что если он увидит римский двор, никогда не сделается христианином. На этом он успокоился, так как теперь ему делать было нечего.

Еврей сел на коня и поспешно отправился ко двору в Рим. Прибыв туда, он был с почетом принят своими единоверцами-евреями и жил там, не говоря никому о цели своего путешествия, осмотрительно наблюдая образ жизни папы, кардиналов и других прелатов и всех придворных. Из того, что он заметил сам, будучи человеком очень наблюдательным, и того, что слышал от других, он заключил, что все они вообще прискорбно грешат сладострастием не только в его естественном виде, но и в виде содомии, не стесняясь ни укорами совести, ни стыдом, почему для получения милостей влияние куртизанок и мальчиков было не малой силой. К тому же он ясно увидел, что все они были обжоры, опивалы, пьяницы, наподобие животных, служившие не только сладострастию, но и чреву, более чем чему-либо другому. Всматриваясь ближе, он убедился, что все они были так стяжательны и жадны до денег, что продавали и покупали человеческую, даже христианскую кровь и божественные предметы, какие бы ни были, относились ли они до таинства или до церковных должностей. Всем этим они пуще торговали, и было на то больше маклеров, чем в Париже для торговли сукнами, либо чем иным. Открытой симонии они давали название заступничества, объядение называли подкреплением, как будто богу не известны, не скажу, значения слов, но намерения развращенных умов, и его можно, подобно людям, обмануть названием вещей. Все это, вместе со многим другим, о чем следует умолчать, сильно не нравилось еврею как человеку умеренному и скромному, и потому, полагая, что он достаточно насмотрелся, он решился возвратиться в Париж, что и сделал.

Едва Джианнотто узнал, что он приехал, он пошел к нему, ни на что столь мало не рассчитывая, как на то, что он стал христианином. Они радостно приветствовали друг друга, а когда еврей отдохнул несколько дней, Джианнотто спросил его, какого он мнения о святом отце, кардиналах и других придворных. На это еврей тотчас же ответил: «Худого я мнения, пошли им бог всякого худа! Говорю тебе так потому, что, если мои наблюдения верны, я не видел там ни в одном клирике ни святости, ни благочестия, ни добрых дел, ни образца для жизни или чего другого, а любострастие, обжорство, любостяжание, обман, зависть, гордыня и тому подобные и худшие пороки (если может быть что-либо хуже этого) показались мне в такой чести у всех, что Рим представился мне местом скорее дьявольских, чем божьих начинаний. Насколько я понимаю, ваш пастырь, а следовательно и все остальные со всяким тщаньем, измышлением и ухищрением стараются обратить в ничто и изгнать из мира христианскую религию, тогда как они должны были бы быть

ее основой и опорой. И так как я вижу, что выходит не то, к чему они стремятся, а что ваша религия непрестанно ширится, являясь все в большем блеске и славе, то мне становится ясно, что дух святой составляет ее основу и опору, как религии более истинной и святой, чем всякая другая. А потому я, твердо упорствовавший твоим увещаниям и не желавший сделаться христианином, теперь говорю откровенно, что ничего не остановит меня от принятия христианства. Итак, идем в церковь, и там, следуя обрядам вашей святой веры, окрести меня». Джианнотто, ожидавший совершенно противоположной развязки, услышав эти слова, был так доволен, как никогда. Отправясь с ним в собор Парижской богоматери, он попросил тамошних клириков окрестить Авраама. Услышав требование, они тотчас же это и сделали. Джианнотто был его восприемником и дал ему имя Джованни. Впоследствии он поручил знающим людям наставить его вполне в нашей вере, которую он вскоре усвоил, оказавшись потом человеком добрым, достойным и святой жизни.

НОВЕЛЛА ПЯТАЯ ВТОРОГО ДНЯ

Похождение Андреуччио

Камни, найденные Ландольфо,—так начала Фьяметта, до которой дошла очередь рассказа,—привели мне на память новеллу, не менее полную опасностей, чем новелла Лауретты, но тем от нее отличающуюся, что в той эти опасности приключались, быть может, в течение нескольких лет, в этой, как вы услышите, в пределах одной ночи.

Жил, слыхала я, в Перуджии юноша по имени Андреуччио ди Пьетро, торговец лошадьми; услышав, что в Неаполе они дешевы, он, до тех пор никогда не выезжавший, положил в карман пятьсот золотых флоринов и отправился туда вместе с другими купцами. Прибыв в воскресенье под вечер и осведомившись у своего хозяина, он на другое утро пошел на торг, увидел множество лошадей, многие ему приглянулись, и он приценялся к тем и другим, но ни на одной не сошелся в цене, а чтобы показать, что он в самом деле покупатель, как человек неопытный и мало осторожный, он не раз вытаскивал свой кошелек с флоринами напоказ всем проходившим и уходившим. Пока он так торговался и уже успел показать свой кошелек, случилось, что одна молодая сицилианка, красавица, но готовая услужить всякому за недорогую цену, прошла мимо него, так что он ее не видел, а она увидала его кошелек и тотчас же сказала про себя: «Кому бы жилось лучше меня, если бы эти деньги были моими?» И она пошла далее. Была с этой девушкой старуха, также сицилианка, когда она увидела Андреуччио, отстав от девушки и подбежав к нему, нежно его поцеловала; как заметила это девушка, не говоря ни слова, стала в стороне и начала поджидать старуху. Обратившись к ней и признав ее, Андреуччио радушно приветствовал ее; пообещав ему зайти к нему в гостиницу и не заводя долгих

речей, она ушла, а Андреуччио вернулся торговать, но в то утро ничего не купил.

Девушка, заметив кошелек Андреуччио, а затем его знакомство с своей старухой, желая попытать, нет ли какого средства завладеть теми деньгами совсем или отчасти, принялась осторожно выпытывать, кто он и откуда, что здесь делает и как она с ним познакомилась. Та рассказала ей об обстоятельствах Андреуччио почти столь же подробно, как бы он сам рассказал о себе, так как долго жила в Сицилии у отца его, а потом и в Перуджии; она сообщила ей также, где он пристал и зачем приехал. Вполне осведомившись о его родственниках и их именах, девушка с тонким коварством основала на этом свой расчет—удовлетворить своему желанию; вернувшись домой, она дала старухе работы на весь день, дабы она не могла зайти к Андреуччио, и, позвав свою служанку, которую отлично приучила к такого рода послугам, под вечер послала ее в гостиницу, где остановился Андреуччио. Придя туда, она случайно увидела его самого, одного, стоявшего у двери, и спросила у него о нем самом. Когда он ответил, что он самый и есть, она, отведя его в сторону, сказала: «Мессере, одна благородная дама этого города желала бы поговорить с вами, если вам то угодно». Услышав это, он задумался и, считая себя красивым парнем, вообразил, что та дама в него влюбилась, точно в Неаполе не было, кроме него, другого красивого юноши; он тотчас же ответил, что готов, и спросил, где и когда та дама желает поговорить с ним. На это девушка ответила: «Мессере, если вам угодно пойти, она ожидает вас у себя». Ничего не объявив о том в гостинице, Андреуччио поспешно сказал: «Так иди же вперед, я пойду за тобою».

Таким образом, служанка привела его к дому той девушки, жившей в улице, называемой Мальпертуджио (Скверная Дыра), каковое прозвище показывает, насколько улица была благопристойна. Ничего о том не зная и не подозревая, воображая, что он идет в приличнейшее место и к милой даме, Андреуччио развязно вступил в дом за шедшей впереди служанкой, поднялся по лестнице, и когда служанка позвала свою госпожу, сказав: «Вот Андреуччио!» — увидел ее, вышешую к началу лестницы в ожидании его. Она была еще очень молода, высокая, с красивым лицом, одетая и убранная очень пристойно. Когда Андреуччио подошел ближе, она сошла к нему навстречу три ступеньки, с распростертыми объятиями, обвила шею руками и так осталась некоторое время, не говоря ни слова, точно тому мешал избыток нежного чувства; затем в слезах она поцеловала его в лоб и прерывающимся голосом сказала: «О мой Андреуччио, добро пожаловать!» Изумленный столь нежными ласками, совсем пораженный, он отвечал: «Мадонна, я рад, что вижу вас!» Затем, взяв его за руку, она повела его наверх в свою залу, а оттуда, не говоря с ним ни слова, в свою комнату, благоухающую розами, цветом померанца и другими ароматами; здесь он увидел прекрасную постель с пологом, много платьев, висевших, по тамошнему обычаю, на вешалках, и другую красивую и богатую утварь;

почему, как человек неопытный, он твердо уверился, что имеет дело по меньшей мере с важной дамой.

Когда они уселись вместе на скамье у подножья кровати, она принялась так говорить: «Я вполне уверена, Андреуччио, что ты удивляешься и ласкам, которые я тебе расточаю, и моим слезам, так как ты меня не знаешь и, быть может, никогда обо мне не слышал. Но ты тотчас услышишь нечто, имеющее привести тебя в еще большее изумление: это то, что я — сестра твоя. Говорю тебе: так как господь сделал мне такую милость, что я до моей смерти увидела одного из моих братьев (а как бы желала я увидеть их всех!), нет того часа, в который я не готова была бы умереть, так я утешена. Если ты, быть может, ничего не слыхал о том, я расскажу тебе. Пьетро, мой и твой отец, долгое время жил в Палермо, как ты, думаю я, сам мог проведать; и были там и еще есть люди, очень любившие его за его доброту и приветливость; но изо всех, так любивших его, мать моя, женщина хорошего рода и тогда вдова, любила его более всех, так что, отложив страх перед отцом и братьями и боязнь за свою честь, настолько сошлась с ним, что родилась я, — ты видишь, какая. Затем, когда по обстоятельствам Пьетро покинул Палермо и вернулся в Перуджию, он оставил меня, еще девочкой, с моей матерью и никогда, насколько я слышала, ни обо мне, ни о ней более не вспомнил. Не будь он мне отцом, я сильно попрекнула бы его за то, имея в виду неблагодарность, оказанную им моей матери (я оставлю в стороне любовь, которую ему следовало питать ко мне, как к своей дочери, прижитой не от служанки или негодной женщины), которая отдала в его руки все свое достояние и себя самое, не зная даже, кто он такой, и побуждаемая преданнейшею любовью. Но к чему говорить о том? Что дурно сделано да и давно прошло, то гораздо легче порицать, чем поправить; так или иначе, но случилось именно так. Еще девочкой он оставил меня в Палермо, и когда я выросла почти такой, как меня видишь, моя мать, женщина богатая, выдала меня замуж за родовитого, хорошего человека из Джирженти, который, из любви к моей матери и ко мне, переехал на житье в Палермо. Там, как рьяный гвельф, он завел некие сношения с нашим королем Карлом, о чем, прежде чем они возымели действие, доведался король Федериго, и это было причиной нашего бегства из Сицилии — в то время, как я надеялась стать знатнейшей дамой, какие только были на том острове. Итак, захватив немногое, что могли взять (говорю: немногое по отношению к многому, что было нашим), покинув имения и дворцы, мы удалились в этот город, где нашли короля Карла столь признательным к нам, что он вознаградил отчасти за убытки, понесенные нами ради него, дал нам поместье и дома и постоянно дает моему мужу, а твоему зятю большие средства, как ты еще увидишь. Таким образом, я здесь, где, по милости божией, не твоей, вижу и тебя, мой милый братец». Так сказав, она снова обняла его и, проливая сладкие слезы, опять поцеловала его в лоб.

Когда Андреуччио выслушал эту басню, так связно и естественно

рассказанную, причем у рассказчицы ни одно слово ни разу не вязло в зубах и не запинался язык; когда он вспомнил, что его отец в самом деле был в Палермо, зная по себе нравы юношей, охотно в молодости предающихся любви, видя нежные слезы и скромные объятия и поцелуи, он принял все, что она рассказала ему, более чем за истину и, когда она умолкла, ответил: «Мадонна, вам не должно показаться странным, если я удивлен, потому что в самом деле мой отец, почему бы то ни было, никогда не говорил о вашей матери, ни о вас, либо если и говорил, то до моего сведения это не дошло, и я ничего не знал о вас, как будто вас и не было; тем милее мне было обрести в вас сестру, чем более я здесь одинок и чем менее того чаял. По правде, я не знаю такого высокопоставленного человека, которому вы не были бы дороги, не то что мне, мелкому торговцу. Но разъясните мне, пожалуйста, как вы узнали, что я здесь?» На это она отвечала: «Сегодня утром мне рассказала о том одна бедная женщина, часто ходящая ко мне, ибо, по ее словам, она долгое время была при нашем отце в Палермо и Перуджии; и, если бы мне не казалось более пристойным, чтобы ты явился в мой дом, чем я к тебе в чужой, я давно бы пришла к тебе». После этих речей она принялась подробно и поименно расспрашивать его о его родных, и Андреуччио о всех ответил; и это еще пуще побудило его поверить тому, во что верить следовало всего менее. Так как беседа была долгая и жара большая, она велела подать греческого вина и лакомств и поднести Андреуччио; когда после того он собрался уходить, ибо было время ужина, она никоим образом не допустила до того и, притворившись сильно огорченной, сказала, обнимая его: «Увы мне! Теперь я вижу ясно, как мало ты меня любишь; кто бы мог поверить, что ты у сестры, никогда тобою дотоле невиданной, в ее доме, где должен был бы и остановиться по приезде, — а хочешь уйти отсюда и отправиться ужинать в гостиницу! Не правда ли, ты поужинаешь со мной? И хотя моего мужа нет дома, что мне очень неприятно, я сумею, по мере женских сил, учествовать тебя хотя чем-нибудь». Не зная, что другое ответить, Андреуччио сказал: «Я люблю тебя, как подобает любить сестру, но если я не пойду туда, меня прождут целый вечер, и я сделаю невежливость». Тогда она сказала: «Боже мой, точно у меня дома нет никого, с кем бы я могла послать сказать, чтобы тебя не дожидались? Хотя большею любезностью с твоей стороны и даже долгом было бы послать сказать твоим товарищам, чтобы они пришли сюда поужинать; а там, если бы ты все-таки захотел уйти, вы могли бы отправиться вместе». Андреуччио ответил, что без товарищей он в этот вечер обойдется, а что коли ей так угодно, пусть располагает им по своему желанию. Тогда она показала вид, будто послала в гостиницу, дабы его не ждали к ужину; затем, после разных других разговоров, они уселись за роскошный ужин из нескольких блюд, который она хитро затянула до темной ночи. Когда встали из-за стола и Андреуччио пожелал удалиться, она сказала, что не такой город Неаполь, чтобы ходить по нем ночью,

особливо иностранцам, и что, посылая сказать, чтобы его не ждали к ужину, она сделала то же и относительно ночлега. Он поверил этому и, так как, вследствие ложного о ней представления, ему было приятно быть с нею, остался. После ужина завелись многие и долгие, не без причины, разговоры; уже прошла часть ночи, когда, оставив Андреуччио на ночлег в своей комнате и при нем мальчика, чтобы указать ему, коли что потребуется, она с своими служанками удалилась в другой покой.

Жар стоял сильный, потому Андреуччио, оставшись один, тотчас же разделся до сорочки, снял штаны, которые положил у изголовья, и, так как у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, спросил у мальчика, где это совершается; тот показал ему в одном из углов комнаты дверцу, сказав: «Войдите туда». Андреуччио пошел уверенно, но случайно ступил ногою на доску, другой конец которой оторван был от перекладины, на которой он стоял, вследствие чего доска поднялась, а вместе с нею провалился и он; так милостив был к нему господь, что он не потерпел при падении, хотя упал с некоторой высоты, зато весь выпачкался в нечистотах, которыми полно было то место.

Как оно было устроено, это я расскажу вам, дабы вы лучше поняли рассказанное и то, что последовало: в узком проходе на двух перекладинах, шедших от одного дома к другому, прибито было, как то мы часто видим между двумя домами, несколько досок и на них устроено сиденье; одна из этих досок и свалилась вместе с Андреуччио. Обретясь в глубине прохода, опечаленный этим происшествием, он стал звать мальчика; но мальчик, услышав, как он упал, побежал сказать о том своей госпоже; та бросилась в комнату Андреуччио и тотчас же принялась искать, тут ли его платье; найдя его и в нем деньги, которые он, никому не доверяя, по глупости всегда носил с собою, и получив то, чему расставила западню, став из палермитянки сестрою перуджинца, она, более о нем не заботясь, поспешила запереть дверь, которой он вышел, когда упал. Когда мальчик не отвечал, Андреуччио стал звать его громче; но это не вело ни к чему. Потому в нем уже зародилось подозрение, и он начал, хотя и поздно, догадываться об обмане; вскарабкавшись на низкую стену, замыкавшую проход с улицы, и спустившись на нее, он направился к двери дома, хорошо ему знакомой, и здесь долго и напрасно звал, рвался и стучал. Пустившись в слезы, как человек, ясно понявший свое несчастие, он стал так говорить: «Увы мне бедному, в какое короткое время лишился я пятисот флоринов и сестры!». После многих других слов он снова принялся стучать в дверь и кричать, да так, что многие из ближайших соседей, проснувшись, встали, не будучи в силах вынести такой докуки, а одна из служанок той женщины, с виду совсем заспанная, подойдя к окну, сказала бранчливо: «Кто там стучится внизу?» «Разве ты не узнаешь меня? — сказал Андреуччио. — Я Андреуччио, брат мадонны Фьордализо!» А она ему в ответ: «Если ты слишком выпил, дружок, пойди и проспись, завтра

вернешься; я не знаю, какой там Андреуччио и какой вздор ты несешь; ступай в добрый час и дай нам, пожалуйста, спать». «Как — сказал Андреуччио, — ты будто не знаешь, о чем я говорю? Наверно, знаешь; но, уж если таково сицилианское родство, что забывается в столь короткое время, так отдай мне по крайней мере мое платье, которое я у вас оставил, и я готов уйти с богом». На это она сказала, чуть не смеясь: «Милый мой, мне кажется, ты бредишь». Сказать это, отойти и запереть окно было делом одного мига. Это окончательно убедило Андреуччио в его утратах; горе едва не обратило его великий гнев в ярость, и он решился добыть насилием, чего не мог вернуть словами; потому, схватив большой камень, он снова принялся бешено колотить в дверь, нанося гораздо бо́льшие удары, чем прежде. По этой причине многие из соседей, уже прежде разбуженные и вставшие, полагали, что какой-нибудь невежа выдумывает небылицы, чтобы досадить порядочной женщине, и, рассерженные стуком, который он производил, высунулись в окна и принялись голосить, точно собаки с другой улицы лают на чужую: «Большое невежество — явиться в такой час к дому честных женщин с такою болтовней! Ступай-ка с богом, любезный, дай нам, пожалуйста, спать; если у тебя есть до нее дело, придешь завтра, а сегодня ночью не учиняй нам такого беспокойства». Подбодренный, быть может, этими словами, кто-то бывший в доме, сводник той женщины, которого Андреуччио не видел и о котором не слыхал, подошел к окну и голосом сильным, страшным и грозным сказал: «Кто там внизу?» Андреуччио, подняв голову на голос, увидел кого-то, показавшегося ему, насколько он мог разглядеть, ражим детиной, с черной густой бородой; точно он встал с с постели после глубокого сна, он зевал и протирал глаза. Андреуччио отвечал не без некоторого страха: «Я — брат дамы, что в этом доме». Но тот не выждал конца ответа Андреуччио, напротив — грознее прежнего сказал: «Не понимаю, что меня удерживает сойти и дать тебе столько ударов палкой, сколько нужно, чтобы ты не двинулся. Осел ты надоедливый, видно, что пьяница, не даешь нам поспать в эту ночь». И, отойдя, он захлопнул окно. Некоторые из соседей, лучше знавшие, что то был за человек, дружески сказали Андреуччио: «Бога ради, любезный, уходи с богом, не напрашивайся быть здесь убитым ночью; уходи, лучше будет». Вследствие этого, испуганный голосом и видом того человека и побуждаемый убеждениями людей, говоривших, казалось, из сострадания к нему, огорченный, как только может быть человек, и отчаявшись в деньгах, Андреуччио, идя в направлении, по которому днем, сам не зная куда, следовал за служанкой, пошел по дороге к гостинице. Так как ему самому неприятен был запах, от него исходивший, и он задумал повернуть к морю, дабы омыться, он взял влево и пошел по улице, называемой Каталонской. Когда он шел в верхней части города, случайно увидел впереди двух человек, направлявшихся к нему с фонарями в руках. Опасаясь, что это сыщики, либо какие злономеренные люди, он, избегая их, тихонько спрятался в пустом

строении, которое увидел поблизости; но те, точно посланные нарочно, вошли в тот же дом, и здесь один из них, свалив с плеч какие-то железные орудия, принялся вместе с другим осматривать их и говорить о них то и другое. Когда они беседовали, один из них сказал: «Что бы это значило? Я чувствую такую сильную вонь, какую никогда не чувствовал». Сказав это, он поднял немного фонарь, и они увидели беднягу Андреуччио и в изумлении окликнули: «Кто там?» Андреуччио смолчал, но они, приблизившись к нему с фонарем, спросили, что он тут делает такой запачканный. Андреуччио объяснил им в полноте все, что с ним приключилось. Те, сообразив, где это могло с ним статься, сказали друг другу: «Наверно, это было в доме Скарабоне Буттафуоко». Обратившись к Андреуччио, один из них сказал: «Хотя ты и потерял деньги, любезный, но тебе следует много возблагодарить господа, что случайно ты упал и не мог потом вернуться в дом, ибо если бы ты не свалился, будь уверен, что как только ты заснул бы, тебя бы убили, и вместе с деньгами ты утратил бы и жизнь. Но теперь плакаться не поможет; вернуть копейку — то же, что достать звезд с неба; а убить тебя могут, если тот прослышит, что ты когда-нибудь обронишь о том слово». Сказав это и немного посоветовавшись друг с другом, они обратились к нему: «Вот видишь ли, у нас явилась к тебе жалость; потому, если бы ты помог нам в одном деле, на которое мы снарядились, мы вполне уверены, что на твою долю придется нечто гораздо более ценное, чем то, что ты утратил». Андреуччио, как человек отчаявшийся, ответил, что он готов.

В тот день похоронили неаполитанского архиепископа по имени мессер Филиппо Минутоло, — похоронили в богатейших украшениях и с рубином в перстне, стоившим более пятисот флоринов; они и хотели пойти ограбить покойника и так разъяснили Андреуччио свой замысел. И вот Андреуччио, более из жадности, чем по разуму, отправился вместе с ними; когда они шли к главной церкви, а от Андреуччио сильно пахло, один из них сказал: «Как бы нам устроить, чтобы он немного помылся где бы то ни было, дабы от него не несло так страшно?» Другой сказал: «Да вот у нас поблизости колодезь, при нем обыкновенно блок и большая бадья, пойдем туда и вымоем его поскорее». Придя к колодцу, они нашли веревку, но бадья была унесена, потому они решились привязать его к веревке и спустить в колодец: пусть вымоется внизу и, когда это сделает, дернет за веревку, они его и поднимут. Так и сделали. Случилось так, что когда они спустили его в колодец, несколько служителей синьории, ощутив жажду от жары или потому, что гонялись за кем-нибудь, направились к колодцу, чтобы напиться. Когда те двое увидели их, тотчас же бросились бежать, так что сыщики, шедшие, чтобы напиться, их не заметили. Когда Андреуччио обмылся в глубине колодца, дернул за веревку, томимые жаждой, те люди сложили свои щиты, оружие и плащи и начали тянуть веревку, полагая, что на конце прицеплена бадья, полная воды. Когда Андреуччио увидел себя у краев колодца, он

ухватился за них руками, отпустив веревку; увидев это, объятые внезапным страхом, те, не говоря ни слова, бросили веревку и принялись изо всех сил бежать. Сильно удивился тому Андреуччио, и если бы хорошенько не удержался, упал бы на самое дно, быть может не без вреда для себя или смертного случая; выйдя и увидя оружие, которого, как ему было известно, у его товарищей не было, он пришел в еще большее изумление. Сомневаясь и недоумевая и сетуя на свою судьбу, не тронув ничего, он решился уйти и пошел, сам не зная куда. На пути встретился с двумя своими товарищами, шедшими вытащить его из колодца; увидев его и сильно удивившись, они спросили его, кто его из колодца вытянул. Андреуччио отвечал, что не знает, и рассказал по порядку все, как было, и что́ он нашел у колодца. Догадавшись в чем дело, те, смеясь, рассказали ему, почему они убежали и кто те люди, которые его вытащили; не тратя более слов, ибо была уже полночь, они отправились к главной церкви, куда легко проникли и, подойдя к гробнице, мраморной и больших размеров, своим железным инструментом настолько приподняли тяжелую крышку, что можно было пролезть человеку, и подперли ее. Когда это было сделано, один из них начал говорить: «Кому туда полезть?» Другой отвечал: «Не мне» «И не мне, — сказал тот, — пусть полезет Андреуччио». «Этого я не сделаю», — сказал Андреуччио, но те, обратившись к нему вдвоем, сказали: «Как не полезешь? Ей-богу, коли ты не пойдешь, мы так наколотим тебе голову этими железными кольями, что уложим мертвым». Андреуччио из страха полез и, влезая, подумал про себя: «Эти люди велят мне войти, чтобы обмануть меня, потому что, когда я передам им все и с трудом буду выбираться из гробницы, они уйдут себе по своим делам, а я останусь ни с чем». И вот он надумал заблаговременно взять свою долю; вспомнив о драгоценном перстне, о котором, он слышал, они говорили, как только спустился, снял его с пальца архиепископа и надел на свой; затем подал им посох и митру, и перчатки; раздев покойника до сорочки, все им передал, говоря, что более ничего нет. Те утверждали, что там должен быть и перстень, пусть поищет повсюду; но он отвечал, что не находит его, и, показывая вид, будто ищет, продержал их некоторое время в ожидании. Они, с своей стороны, не менее хитрые, чем он, велели ему поискать хорошенько и, улучив время, выдернули подпорку, на которой держалась крышка, и убежали, оставив его в гробнице.

Каково было Андреуччио, когда он это услышал, всякий может себе представить. Несколько раз пытался он головой и плечами как бы ему приподнять крышку, но труд был напрасен; потому, удрученный тяжелым горем, он в обмороке упал на труп архиепископа; и кто бы их тогда увидел, с трудом распознал бы, кто из них более мертв, архиепископ или он. Когда он пришел в себя, начал плакать навзрыд, увидев, что ему, без сомнения, не миновать одного из двух: либо умереть с голода и от вони среди червей мертвого тела, если никто более не придет открыть гробницу, либо,

если придут и найдут его в ней, быть повешенным как грабитель. Когда он был в таких мыслях и сильной печали, услышал, что по церкви ходят и говорят многие, пришедшие, как он догадался, за тем же делом, за каким приходил и он с своими товарищами. Его страх от того усилился. Но когда те вскрыли гробницу и подставили подпорку, стали спорить, кому туда войти, и никто не решался; наконец, после долгого препирательства, один священник сказал: «Чего вы боитесь? Не думаете ли вы, что он вас съест? Мертвецы не едят живых; я войду туда». Так сказав, опершись грудью на край гробницы и отведя голову вне, он спустил ноги внутрь, чтобы влезть. Увидя это, Андреуччио приподнялся и схватил священника за ногу, как бы желая стащить его вниз. Почувствовав это, священник испустил сильнейший крик и быстро выскочил из гробницы; все остальные, испуганные этим, оставили ее открытой и пустились бежать, как будто за ними гналось сто тысяч дьяволов. Увидав это, обрадованный сверх ожидания, Андреуччио тотчас же выскочил и вышел из церкви тем же путем, каким вошел. Между тем наступил и день; идя наудачу, с перстнем на пальце, Андреуччио добрался до морского берега, а затем набрел и на свою гостиницу, где нашел, что и его товарищи и хозяин всю ночь беспокоились о том, что с ним сталось. Когда он рассказал им, что с ним было, совет хозяина был—немедленно покинуть Неаполь, что он тотчас же и сделал и вернулся в Перуджию, обратив перстень в деньги, с которыми отправился покупать лошадей.

НОВЕЛЛА ПЕРВАЯ ТРЕТЬЕГО ДНЯ

Монастырский садовник

Прелестнейшие дамы, много есть неразумных мужчин и женщин, вполне уверенных, что лишь только на голову девушки возложат белую повязку, а на нее черную рясу, она более не женщина и не ощущает женских вожделений, точно, став монахиней, она превращается в камень; и когда они случайно слышат нечто, противное этой их уверенности, они так смущаются, как будто совершился какой-нибудь великий и преступный грех против природы, не думая и не принимая в расчет ни самих себя, которых не в состоянии удовлетворить полная свобода делать все, что пожелают, ни великие силы праздности и одиночества. Есть также много и таких, которые вполне уверены, что лопата и заступ, и грубая пища, и труд, и нужда лишают земледельцев всяких похотливых вожделений, делая грубыми их ум и понятливость. Насколько все, так думающие, заблуждаются, это я и желаю разъяснить вам, по приказанию королевы и не выходя из данного ею урока, небольшой новеллой.

В наших местах был и еще существует женский монастырь, весьма славившийся своею святостью (я не называю его, дабы не умалить чем-либо его славы), в котором не так давно тому назад, когда там было не более восьми женщин с аббатисой, и все молодые, жил один добрый малый, ходивший за их прекрасным огородом; недо-

вольный своим жалованьем, он, сведя счеты с управляющим монастыря, вернулся в Лампореккио, откуда был родом. Здесь в числе прочих, дружественно его встретивших, некий молодой крестьянин, сильный и здоровый и, для крестьянина, красивый, по имени Мазетто, спросил его, где он так долго был. Добрый малый, которого звали Нуто, объяснил ему. Мазетто спросил, какую службу он нес в монастыре. На это Нуто ответил: «Я ходил за их прекрасным большим садом, да кроме того ходил иногда в лес по дрова, доставал воду и справлял другие такие же службишки; но монахини давали мне так мало жалованья, что мне едва хватало на башмаки. К тому же все они молоды, и у них точно чорт сидит в теле: ничего по них не сделаешь; например, бывало, работаю в саду, одни говорят: положи сюда это, другие — положи сюда вот то; иная брала у меня из рук лопату и говорила: это неладно. Так они мне надоели, что я кидал работу и уходил из сада; так вот, по той и другой причине я и не захотел более оставаться там и пришел сюда. Да еще просил меня их управляющий, когда я уходил, что если у меня будет под рукою кто-нибудь годный на это дело, я направил бы к нему, я и обещал; но пошли ему господь здоровую поясницу, если найду ему и пошлю кого-нибудь». У Мазетто, пока он слушал речи Нуто, явилось в душе столь сильное желание попасть к тем монахиням, что он совсем истомился, поняв из слов Нуто, что ему удастся сделать то, чего он желал. Сообразив, что это не устроится, если он ничего не ответит Нуто, он сказал: «И хорошо ты сделал, что ушел! Разве мужское дело жить с бабами? Лучше жить с дьяволами: из семи раз они шесть не знают, чего сами хотят». Но едва покончилась их беседа, как Мазетто принялся обдумывать, какого способа ему держаться, чтобы ему можно было пройти к ним; зная, что он хорошо сумеет справиться с той обязанностью, о которой говорил Нуто, он не сомневался, что из-за этого ему не откажут, но боялся, что его не примут, потому что он был слишком молод и видный собою. Потому, поразмыслив о многом, он надумал: до того места очень далеко отсюда, и никто там меня не знает; я умею притворяться немым и, наверно, буду там принят. Остановившись на этой мысли, с топором на плече, никому не сказав, куда он идет, он под видом бедняка отправился в монастырь. Придя туда, вошел и случайно встретил на дворе управляющего, которому показал знаками, как то делают немые, что просит у него поесть бога ради, а он, коли нужно, нарубит ему дров. Управляющий охотно покормил его и затем повел его к колодам, которые Нуто не сумел расколоть, а этот, будучи очень сильным, в короткое время все расколол. Управляющий, которому надо было пойти в лес, повел его с собою и здесь велел нарубить дров, затем, поместив впереди осла, показал знаками, чтобы он повез дрова домой. Тот все это отлично исполнил; тогда управляющий удержал его на несколько дней для некоторых работ, в которых ему была надобность.

В один из этих дней увидела его аббатиса и спросила управляющего, кто он такой. Тот сказал ей: «Мадонна, это бедняк, немой и

глухой, пришедший сюда недавно за милостыней, я его ублаготворил и заставил его сделать многое, что было нужно. Если бы он умел работать в саду и пожелал бы остаться здесь за плату, мы нашли бы в нем хорошего слугу, а нам такой надобен; он же силен, и можно его употреблять, на что угодно; к тому же нечего было бы опасаться, что он станет баловаться с вашими девицами». На что аббатиса сказала: «В самом деле, ты прав; узнай-ка, умеет ли он работать и постарайся удержать его у нас; дай ему пару каких-нибудь башмаков, какой-нибудь старый плащ, приласкай и приголубь его и накорми хорошенько». Управляющий сказал, что исполнит это. Мазетто, бывший неподалеку, показывая вид, что метет двор, слышал все эти речи и весело говорил про себя: «Если вы пустите меня сюда, я так обработаю ваш сад, как еще никогда в нем не работали».

Когда управляющий увидел, что он отлично умеет работать, и знаками спросил его, желает ли он здесь остаться, а тот знаками же отвечал, что готов исполнить, что ему угодно, — управляющий, приняв его, велел ему работать в саду и показал, что ему надлежит делать; затем ушел по другим монастырским делам, а его оставил. Когда он стал работать день за днем, монахини начали приставать к нему и издеваться над ним, как иные часто делают с немыми, и говорили ему самые неприличные слова в свете, не ожидая, что он их услышит; а аббатиса, предполагавшая, вероятно, что он без хвоста, как и без языка, мало или и вовсе о том не заботилась. Случилось, между тем, что, когда он однажды отдыхал, много поработав, две молодые монашенки, ходя по саду, подошли к месту, где он был, и принялись разглядывать его, притворившегося спящим. Почему одна из них, несколько более смелая, сказала другой: «Если бы я была убеждена, что могу тебе доверяться, я высказала бы тебе мысль, которая приходила мне не раз, а, быть может, и тебе пришлась бы на пользу». Та отвечала: «Говори, не бойся, ибо я наверно никому и никогда о том не скажу». Тогда смелая начала: «Не знаю, подумала ли ты когда, насколько нас строго держат и что сюда не смеет войти ни один мужчина, кроме старика-управляющего да этого немого; а я много раз слышала от женщин, приходивших к нам, что все другие сладости в свете пустяки в сравнении с той, когда женщина имеет дело с мужчиной. Потому я несколько раз задумывала, коли не могу с другим, попытать с этим немым, так ли это. А для этого дела лучше его нет на свете, ибо если бы он и захотел, не мог бы и не сумел бы о том рассказать: видать, что это глупый детина, выросший не по уму. Я охотно послушала бы, что ты на это скажешь». «Ахти мне! — сказала другая, — что это ты такое говоришь? Разве ты не знаешь, что мы дали богу обет в своей девственности?» «Эх! — отвечала та, — сколько вещей обещают ему за день и ни одной не исполняют; коли мы обещали ее ему, найдется другая или другой, которые этот обет исполнят». На это ее подруга сказала: «А что если ты забеременеешь, как тогда быть?» Тогда та ответила: «Ты начинаешь задумы-

ваться о беде прежде, чем она тебя посетила; если бы это случилось, будет время подумать, будут тысячи средств устроить так, что об этом ничего никогда не узнают, если мы сами не проговоримся». Услышав это, другая, у которой явилось еще большее желание испытать, что такое за животное — мужчина, сказала: «Ну, хорошо, как же нам быть?» На это та ответила: «Ты видишь, что теперь около девяти часов, я думаю, что все сестры спят, кроме нас; поглядим-ка по саду, нет ли кого, и если нет, как нам иначе устроить, как не взять его за руку и повести в тот шалаш, где он прячется от дождя? Там пусть одна останется с ним, а другая будет настороже. Он так глуп, что приладится ко всему, что мы захотим».

Мазетто слышал все эти рассуждения и, готовый к услугам, ничего иного не ожидал, как чтобы одна из них взяла его за руку. Хорошенько все осмотрев и увидев, что их ниоткуда нельзя увидать, та, что первая начала эти речи, подошла к Мазетто, разбудила его, и он тотчас встал на ноги; потом, взяв его с ласковым видом за руку, повела его, разражавшегося дурацким смехом, в шалаш, где Мазетто, не заставив себя долго приглашать, совершил, что она хотела. Она же, как честная подруга, получив, чего желала, уступила место другой, а Мазетто, все представляясь простаком, исполнял их желание. Поэтому, прежде чем уйти, каждая захотела испытать свыше одного раза, каков наездник их немой; впоследствии, часто рассуждая друг с другом, они говорили, что действительно это такая приятная вещь, как они слышали, и даже более, и, выбирая время, в подходящие часы, ходили забавляться с немым.

Случилось однажды, что одна их подруга, заметив это дело из окошка своей кельи, указала на него другим. Вначале они сговаривались вместе обвинить их перед аббатисой; затем, переменив намерение и стакнувшись с ними, сами стали участницами силы Мазетто. К ним по разным поводам присоединились в разное время и три остальных. Наконец, аббатиса, еще не догадывавшаяся об этом деле, гуляя однажды совсем одна по саду, когда жара была большая, нашла Мазетто (которому, при небольшой работе днем, много доставалось от усиленных поездок ночью), совершенно растянувшегося и спавшего в тени миндального дерева; ветер поднял ему платье спереди назад, и он был совсем открыт. Когда она увидела это, зная, что она одна, вошла в такое же вожделение, в какое вошли и ее монахини; разбудив Мазетто, она повела его в свою горницу, где, к великому сетованию монахинь, что садовник не является обрабатывать огород, держала его несколько дней, испытывая и переиспытывая ту сладость, в которой она прежде привыкла укорять других. Наконец, когда она отослала его из своей горницы в его собственную и очень часто желала видеть его снова, требуя кроме того более, чем приходилось на ее долю, а Мазетто был не в силах удовлетворить стольких, он решил, что роль немого, если бы он в ней дольше остался, была бы ему в большой вред. Потому однажды ночью, когда он был с аббатисой, он, разрешив свое немотство, начал говорить: «Мадонна, я слышал, что

дного петуха совершенно достаточно на десять кур, но что десять ужчин плохо или с трудом удовлетворят одну женщину, тогда как не приходится служить девяти, чего я не в состоянии выдержать ни за что на свете; напротив, благодаря тому, что я совершал доколе, я дошел до того, что не в состоянии сделать ни мало, ни много; потому — либо позвольте мне удалиться с богом, либо найдите средство устранить это». Услышав его говорящим, аббатиса, считавшая его немым, совсем обомлев, сказала: «Что это такое? Я думала, что ты нем». «Мадонна, — сказал Мазетто, — я и был таковым, но не от природы, а по болезни, отнявшей у меня язык, и это первая ночь, что я чувствую, что он вернулся ко мне, за что по мере сил прославляю бога». Аббатиса поверила ему в том и спросила, что значит, что ему приходится служить девятерым. Мазетто рассказал ей, в чем дело. Услышав это, аббатиса догадалась, что нет у ней монахини, которая не была бы много ее умнее; потому, как женщина рассудительная, не отпустив Мазетто, она решила уладиться с своими монахинями относительно этих дел, дабы монастырь не был опозорен Мазетто. Так как в ту пору умер их управляющий, они, открывшись друг другу в том, что все они перед тем совершали, с общего согласия и с согласия Мазетто устроили так, что соседи поверили, будто ихними молитвами и по милости святого, которому посвящен был монастырь, возвращена была речь долго немотствовавшему Мазетто, которого они сделали своим управляющим, и так распределили его работу, что он мог ее переносить. И хотя ею он произвел на свет много монашков, дело велось так осторожно, что о нем услышали лишь по смерти аббатисы, когда Мазетто был уже стариком и пожелал воротиться домой богатым человеком; когда это дело узналось, оно все ему облегчило. Таким-то образом вернулся Мазетто старым, отцом семейства и богачом, не имея нужды ни кормить детей, ни тратиться на них, успев благодаря своей догадливости хорошо воспользоваться своей молодостью; вернулся богачом туда, откуда вышел с топором на плече.

САККЕТТИ

Франко Саккетти (Franco Sacchetti, 1335—1400) — итальянский новеллист и поэт. Родился во Флоренции в старинной гвельфской семье. В молодости был купцом, с 1370 г. принимал активное участие в политической жизни республики, был послом в Болонье и Милане, подестою, градоправителем в городах Тосканы. Одно время близкий к народной партии, Саккетти отходит от нее после восстания чомпи (1378), вождя которого, Сильвестро Медичи, он пламенно приветствовал в сонете: «Ты именем Сильвестра нареченный» («Non gia' Salvestro»). Основное произведение Саккетти — сборник новелл «Trecento novelle» (300 новелл), не дошедший до нас в полном объеме (сохранилось около двухсот новелл). Новеллы Саккетти не знают цветистого стиля «Декамерона». Это обычно небольшие и несложные реалистические зарисовки жизни XIV в. Помимо новелл, перу Саккетти принадлежат также многочисленные стихотворения; из них наиболее удачны те, в которых Саккетти приближается к народной поэзии, например его баллады (песни для танцев), подчас удивительно живые и непосредственные (например прославленная баллада «горные пастушки», неоднократно приписывавшаяся Полициано).

ЧИТАТЕЛЬ ТИТА ЛИВИЯ

Был некогда во Флоренции гражданин довольно благоразумный и зажиточный, по имени Коппо ди Боргезе Доменики, который жил прямо напротив того места, где теперь помещены львы. Каменщики работали у него в доме, а он однажды в субботу перед вечером сидел и читал Тита Ливия [а] и дошел до той истории, где рассказывается, как римские женщины, когда был издан закон против ношения драгоценностей, сбежались на Капитолий и стали кричать и требовать, чтобы этот закон был отменен. Коппо, как справедливый человек, вспыльчивый притом и немного странный, пришел в такой гнев, как будто бы это случилось на его глазах. Он хлопнул по столу книгой, а другой рукой стукнул по книге и стал говорить: «Римляне, как довели вы себя до этого, вы, которые не подчинялись ни царям, ни императорам». И так он стал бесноваться, точно кто бы захотел выгнать его из дома. В то время как он был в таком состоянии, пришли к нему каменщики, которые

[а] *Тит Ливий* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — знаменитый римский историк, современник Августа, автор монументальной «Римской истории от основания города», пронизанной республиканскими тенденциями.

кончили работу и, поздоровавшись, попросили расчета, хотя и видели, что он чем-то сильно раздражен. Коппо, точно змей, набросился на них и стал кричать: «Вы здороваетесь со мной, а я бы лучше ушел отсюда к чорту. Вы спрашиваете деньги за мои постройки, а по мне провались они все и обвались на мою голову». Те поглядели друг на друга, удивились, говоря между собой «Что с с ним?» и сказали ему: «Коппо, нам очень досадно, что вы на что-то гневаетесь. Скажите, если надо что сделать, мы сделаем все с удовольствием». Ответил Коппо: «Э, ступайте вы прочь, чорт побери! Лучше бы я вовсе на свет не рождался. Как подумаю только, что эти бесстыдницы, эти распутницы, эти дряни возымели такую дерзость, что побежали на Капитолий требовать назад свои побрякушки! Каково это было римлянам? Я, Коппо, и то не могу теперь успокоиться; если бы я мог, я всех их велел бы сжечь, чтобы навсегда помнили об этом. Ступайте и оставьте меня». Каменщики, не найдя ничего лучше сделать, ушли, говоря между собой: «Что за дьявол в нем сидит? Говорит что-то такое о каких-то римлянах, рассказывает про каких-то распутниц; должно быть, его женщина обманула. Что бы там ни было, надо сказать ему все-таки, пусть он заплатит деньги, а потом делай, что хочешь». И так решили: в тот день к нему больше не ходить, но вернуться в воскресенье утром. Коппо же, которого они оставили в такой запальчивости, остыл от нее к утру и, когда каменщики пришли, заплатил им, что следовало, говоря что вечером на него нашла меланхолия. *(Новелла XVI.)*

СОНЕТ

Ты, именем Сильвестра [a] наречённый,
Спасителем великим стал для нас.
От горькой доли родину ты спас,
Отвел ее от пропасти бездонной.

Катона доблестью вооруженный,
Ты выступил в благословенный час:
Основы власти гордецов потряс
И люд возвысил, ими униженный.

Фабриций новый, твой бессмертен труд.
Ты овладел землей и небесами,
Стал славен там и чтим высоко тут.

Всех страждущих твое собрало знамя,
И робко жавшийся доселе люд
Заговорил, как равный, с господами.

Сирот, калек — всех тех, чей рок уныл,
От мук и немощей ты исцелил.

[a] В оригинале игра слов: Salvestro и Salvatore (спаситель).

ГОРНЫЕ ПАСТУШКИ

О, горные бродячие пастушки,
Откуда вы, прелестные резвушки?

Где родились? В какой земле берется
Таких плодов невиданных награда?
Амуром вы сотворены, сдается,
Так светит в вашем облике отрада.
Вам золота и серебра не надо,
Впрямь ангелочки вы, хоть и чернушки.

— У рощицы в горах мы проживаем
В привычном месте, в хижинке убогой,
Ночлег с родителями разделяем,
Домой придя цветущею дорогой;
В долине днем природа нам помогой,
Заботою — овечки и телушки.

— Не мало вашей красоте страданий,
Чуть ею в долах и горах блеснете:
Земля такая для нее желанней,
Где были б вы и в холе, и в почете;
Скажите, разве счастливо живете,
Бедняжки, у своей лесной опушки?

— Довольней каждая из нас, беспечно
Бредя со стадом злачными лугами,
Чем торопясь любой из вас, конечно,
На празднества за вашими стенами;
Не гонимся за бóльшими благами,
Чем песни, пляски да цветов плетушки.

— Баллада! Будь таким я, как бывало,
Я пастухом и горцем стал бы смело;
Еще душа б живая не узнала,
А я — сосед их милого предела,
Взывал бы то Мартино, то Бьонделла —
И брел туда, куда бы шли подружки.

МАЗУЧЧО

Мазуччо (Masuccio — Томазо Гвардато, даты рождения и смерти неизвестны) — виднейший итальянский новеллист XV в. Биографические данные о Мазуччо крайне скудны. Он родился в Салерно (городок близ Неаполя), происходил из дворянского рода. Жил при неаполитанском дворе, находясь на службе у салернского князя Роберто Сансеверино. Перу Мазуччо принадлежит сборник, содержащий пятьдесят новелл и изданный в Неаполе в 1476 г. под названием «Новеллино». Это единственная книга новелл XV в. «Новеллино» лишено традиционного со времени Боккаччо обрамления и распадается на 5 частей (по 10 новелл в каждой), причем каждая часть связана определенной темой (1-я — нападки на монахов, 3-я — нападки на женщин, 5-я — новеллы о великих щедротах и пр.). Характерная черта Мазуччо — его резкий антиклерикализм. Его новеллам свойствен также несколько суровый и даже мрачный колорит. В 1564 г., в эпоху католической реакции, «Новеллино» попадает в «индекс запрещенных книг». Шекспир использовал две новеллы Мазуччо в «Ромео и Джульетте» и в «Венецианском купце».

На русском языке: «Новеллино», перевод С. С. Мокульского и М. М. Рындина, под редакцией А. А. Смирнова, со вступительной статьей А. Дживелегова и С. Мокульского, «Academia» М.-Л., 1931 г.

Из «НОВЕЛЛИНО»

НОВЕЛЛА ПЕРВАЯ

Приключения мертвеца

Славному королю дон Фернандо Арагонскому

Приступая к повествованию моему, благочестивейший король, скажу, что в ту пору, когда блаженной и славной памяти король и повелитель дон Фернандо Аррагонский [1], достойнейший дед твой, на благо и преуспеяние подданных своих, мирно правил, королевством Кастильским, — в Саламанке, одном из древних и славнейших городов этого королевства жил некий минорит конвентуал [2], которого звали магистром Диэго да Ревало. Не менее сведущий в доктрине святого Фомы, чем в учении Скотта [3], которого они придерживаются, удостоился он, в числе прочих, быть избранным преподавать за немалое вознаграждение в пре-

восходных школах столь знаменитого университета этого города. И он с таким поразительным успехом вел свое преподавание, что слава об его учености распространилась по всему королевству.

Говорил он иногда и небольшие проповеди; но это было скорее делом необходимости или выгоды, чем проявлением истинного благочестия. Был же он юн, очень красив и изящен и подвержен пламени любовных увлечений; и вот однажды во время проповеди случилось ему увидать молодую женщину поразительной красоты. Имя ее было Катарина, и была она женой одного из виднейших дворян этого города, которого звали мессер Родерико д'Анджайа. Как только магистр увидел даму, которая понравилась ему с первого взгляда, владыка Амур, запечатлев в душе его образ красавицы, глубоко поразил тронутое уже любовным недугом сердце. Сойдя с кафедры, магистр прошел в свою келью и там, отбросив в сторону все свои теологические рассуждения и софистические доказательства, всецело отдался мыслям о понравившейся ему женщине.

Он знал, какое высокое положение занимала эта дама и чьей она была женой, и, видя безумие предприятия, на которое готов был отважиться, много раз убеждал себя не впутываться в такое опасное дело; и все же, несмотря на все это, он говорил себе порой: «Там, где любовь захочет явить свои силы, она отнюдь не ищет равенства по происхождению; держись она подобных требований, высокие князья не стремились бы ежечасно совершать набеги на наши берега. А посему Амур должен уравнять наши права, предоставив и нам любить высокопоставленных дам, раз он разрешает великим мира сего опускать свои взоры до мест низких. Ран, наносимых любовью, никто не получает, заранее подготовившись к ним, но застигают они нас врасплох; однако, если безоружным нашел меня этот владыка, против ударов которого бесполезно в таких случаях защищаться, то, как неспособный к сопротивлению, я по справедливости побежден; и как его подданный, — пусть будет, что будет, — вступлю я в страшную битву; и если суждено мне принять в ней смерть, которая избавит меня во всяком случае от страданий, то, по крайней мере, дух мой пойдет навстречу ей с отважно подъятым челом, гордясь тем, что так высоко занес свои когти».

Сказав это и не возвращаясь более к первым своим отрицательным доводам, он взял лист бумаги и, не переставая глубоко и часто вздыхать и проливать горячие слезы, написал любимой даме с большим уменьем изящное письмо, в котором восхвалял ее прелести, скорее небесные, чем земные. Затем он говорил о том, до чего пленен ею, и что не остается ему иного выхода, как только надеяться на ее милость или ждать смерти. Признавая себя недостойным добиваться свидания со столь высокой дамой, он все же почтительнейше просил ее назначить ему время и указать способ, каким он мог бы побеседовать с ней тайно; или, по крайней мере, пусть примет она его служение, так как он избрал ее единственной властительницей своей жизни.

Закончив послание рядом подобных же изящных слов, магистр сложил его и, многократно облобызав, передал одному из своих клириков, которому объяснил, куда следовало отнести письмо. Клирик этот, смысливший немало в такого рода услугах, спрятал письмо в потайном месте, подмышкой левой руки, и пошел туда, куда ему было указано. Придя в дом, он нашел благородную и юную даму окруженною своими многочисленными прислужницами, и, обратившись к ней с умелым приветствием, сказал ей: «Мой господин препоручает себя вашей милости и просит, чтобы вы дали ему отсеянной муки для святых даров, как о том написано подробно в этом письме».

Дама отличилась большой проницательностью, и когда она увидела письмо, то была близка к уверенности, что догадывается об истинном его содержании. Взяв и прочтя его, она, хоть и была честнейшей женщиной, все же не возмутилась при мысли, что этот монах так ее любит, считая ее прекраснейшей на свете; читая письмо, в котором так прославлялась ее красота, она ликовала подобно той, что некогда, вместе с первородным грехом, первая подпала действию страсти, переданной ею по наследству остальной части женского рода; в силу чего женщины все свое достоинство, честь и славу полагают в том всецело, чтобы быть любимыми, желанными и превозносимыми за свою красоту, и потому каждая из них предпочитает сойти за порочную красавицу, чем прослыть добродетельной дурнушкой. Однако эта дама, недаром питавшая сильное и вполне основательное отвращение ко всем монахам, решила не только ничем не потворствовать магистру, но и в ответе, который готовилась дать ему, не показать себя вежливой. Вместе с тем она решила на этот раз ни о чем не рассказывать мужу. Остановившись на таком решении, она обернулась к монашку и без малейшего признака смущения сказала ему:

— Передай твоему магистру, что хозяин моей муки всю ее хочет оставить для своего пользования, а потому пусть твой господин раздобывает муку в другом месте; на письмо же другого ответа не нужно. А если бы все же он захотел ответа, то пусть сообщит мне о том, и когда вернется домой мой синьор, то я попрошу, чтобы твоему господину ответили так, как подобает отвечать на подобные предложения.

Несмотря на суровую отповедь, полученную магистром от дамы, пыл его ничуть не унялся; напротив, его любовь, вместе с вожделением, разгорелась еще более сильным пламенем; и, не желая отступать ни на шаг от начатого предприятия, он, пользуясь тем, что дом синьоры находился очень близко от монастыря, с такою назойливостью стал за ней волочиться, что она не могла ни подойти к окну, ни войти в церковь или в какое-либо иное место, чтобы, гонимый стрекалом желания, магистр не оказался где-нибудь поблизости от нее. А потому на поведение монаха обратили внимание не только в околотке, где жила дама, но стало о том известно почти

во всем городе. Вследствие этого сама дама убедилась, что этого дела нельзя долее скрывать от мужа, так как, кроме грозившей ей отсюда опасности, она боялась и того уже, что, узнав обо всем от кого-либо из посторонних, он перестанет считать ее порядочной женщиной. И, укрепившись в этой мысли, однажды ночью, когда она находилась вместе с мужем, она точнейшим образом рассказала ему все происшедшее. Рыцарь, ревниво оберегавший свою честь и отличавшийся неукротимостью нрава, воспылал таким буйным гневом, что малого недоставало, чтобы он пошел и предал огню и мечу монастырь и всю братию. Однако, немного укротив свои чувства и произнеся целую речь, в которой он похвалил достойное поведение своей жены, он затем приказал ей, чтобы, пообещав магистру исполнить его желание и избрав к тому наиболее подходящие по ее мнению средства, она пригласила его

Страница из «Новеллино» Мазуччо (Венеция, 1492 г.)

притти к ней ближайшей ночью; ибо, желая удовлетворить требованиям своей чести, рыцарь, вместе с тем, хотел предохранить от всякого поругания доброе имя своей дорогой, любимой супруги. Что касается остального, то пусть она предоставит позаботиться ему одному. Хотя даму смущала мысль о той развязке, которую она предвидела, однако, желая быть покорной воле мужа, она сказала, что исполнит приказание и так как монашек, прибегая к новым уловкам, постоянно возобновлял свои попытки разбить твердый камень, то она сказала ему:

— Передай от меня привет твоему господину и скажи ему, что великая любовь, питаемая им ко мне, и горячие слезы, которые, по его словам, он беспрестанно из-за меня проливает, нашли, наконец, доступ в мое сердце, так что я в большей мере стала принадлежать ему, чем себе самой. И так как сулящая нам радости судьба пожелала, чтобы мессер Родерико отправился в деревню, где он и заночует, то пусть магистр, как только пробьет три часа [9], приходит ко мне тайком, и я дам ему свидание, которого он добивается. Только попроси его, чтобы он в этом деле не доверялся никому, даже самому близкому другу и приятелю.

Монашек ушел, до крайности обрадованный, и, когда он передал магистру благоприятное известие, тот почувствовал себя самым счастливым человеком. Но как ни был краток назначенный срок, ему казалось, что придется прождать тысячелетия, когда же время пришло, он старательно надушился, чтобы не разило от него монахом, и, полагая, что для победы в предстоящем беге ему придется нестись во весь опор, поужинал на этот раз самыми тонкими и изысканными кушаньями. Захватив свою обычную утварь, он направился к двери дамы и, найдя ее открытой, вошел в дом и затем впотьмах, как слепой, был проведен служанкой в залу, где, вопреки ожиданию, вместо радостно идущей ему навстречу дамы, нашел рыцаря с одним из его верных слуг; те схватили его голыми руками и придушили, не произведя ни малейшего шума.

Когда рыцарь убедился в смерти магистра Диэго, он стал было раскаиваться в том, что запятнал свои могучие руки убийством минорита. Но видя, что раскаянием делу не поможешь, он решил, опасаясь за честь свою и боясь королевского гнева, убрать мертвеца из дома. Итак, ему пришло на ум отнести труп в монастырь. Он взвалил его на спину слуги, и они направились в монастырский сад и, без труда проникнув отсюда в монастырь, отнесли мертвеца туда, куда братья ходили по своим нуждам; а так как случилось, что только одно из седалищ было пригодно, все же другие были разрушены (ведь, как постоянно приходится видеть, монастырские помещения походят скорее на разбойничьи притоны, чем на обители слуг божьих), они посадили его туда, как если бы он был занят отправлением своих нужд, и, оставив мертвеца, вернулись домой.

В то время как синьор магистр оставался там, будто с целью освободиться от излишнего, случилось, что другой монах, молодой и здоровенный, почувствовал в полночь крайнюю необходимость пойти в упомянутое место для отправления своих естественных надобностей. Он зажег светильник и пошел туда, где восседал мертвый магистр Диэго; узнав его и думая, что он жив, монах, не сказав ни слова, отошел назад, потому что из-за монашеского недоброжелательства и зависти они находились в смертельной и яростной вражде. Итак, он решил подождать в сторонке, пока магистр свершит то, что он сам собирался сделать. Обождав же, согласно

[9] По нашему времяисчислению — 9 часов вечера.

своим расчетам, достаточно долго и видя, что магистр не шевелится, монах, испытывавший неотложную нужду, повторял себе неоднократно:

— Как бог свят, этот негодяй застрял здесь и не хочет пустить меня на свое место ради того лишь, чтобы гнусной этой проделкой выказать мне свою вражду; но это ему не удастся, так как я потерплю, пока могу, а потом, если увижу, что он упорствует, не пойду, хотя и мог бы это сделать, в другое место, а вытащу его отсюда, даже против его воли.

Магистр, однако, ставший уже на мертвый якорь, упорно не двигался с места, и монах, которому терпеть дольше было невмочь, вскричал в бешенстве:

— Не допусти этого, господи! Не бывать тому, чтобы он причинял мне такой позор, а я бы не мог постоять за себя!

Схватив огромный булыжник и подойдя поближе, он с такой силой запустил камнем магистру в грудь, что опрокинул его навзничь, причем тот, однако, не пошевельнул ни одним членом. Монах заметил, с какой силой пришелся его удар, и потому, видя, что магистр не поднимается, стал опасаться, не убил ли он его камнем; выждав немного и то веря, то не веря своему предположению, он, наконец, подошел к мертвецу и, осмотрев его при свете светильника и убедившись в том, что магистр действительно мертв, он и впрямь счел себя убийцей, решив, что все так и произошло, как ему показалось. Он впал в смертельную тоску, так как опасался, что будет, вследствие вражды своей к магистру, заподозрен в нанесении ему смертельного удара, и предвидя, что придется ему расстаться с жизнью, несколько раз собирался уже повеситься. Но, хорошенько обдумав дело, он решил вынести труп из монастыря и бросить на улицу, чтобы избавиться в будущем от всяких подозрений и обвинений, которые, по указанной причине, могли бы быть на него взведены. И, когда он уже намеревался осуществить задуманное, ему пришло на ум постыдное и всем известное ухаживание магистра за донной Катариной, которую тот непрестанно преследовал, и он сказал себе:

— Куда мне отнести его, как не к дому мессера Родерико? Это очень легко, так как дом его по соседству, и таким образом я меньше всего навлеку на себя подозрение, так как, наверно, подумают, что магистр был убит по приказанию рыцаря в то время, как пробирался к его жене.

Сказав это и твердо держась своего решения, монах с превеликим трудом взвалил себе на плечи покойника и отнес его к той самой двери, откуда за несколько часов перед тем магистр был вынесен мертвым. Оставив его здесь, он вернулся никем не замеченный в монастырь. И хотя монаху казалось, что средство, к которому он прибег, обеспечивало ему безопасность, тем не менее он решил под каким-либо вымышленным предлогом покинуть город; и, остановившись на этой мысли, он пошел к настоятелю и сказал ему:

— Отче, позавчера, за отсутствием вьючных животных, я оставил бо́льшую часть нашего сбора неподалеку от Медины в доме одного преданного нам человека, а потому я бы хотел отправиться за нашим добром, захватив с собой нашу монастырскую кобылу. С божьей помощью я возвращусь оттуда завтра или послезавтра.

Настоятель не только дал ему разрешение, но и весьма похвалил его за усердие. Получив этот ответ, справив свои делишки и взнуздав кобылу, монах стал дожидаться зари, чтобы пуститься в путь.

Мессер Родерико, почти или совсем даже не спавший ночью, — так как он сомневался в исходе дела, — с приближением дня остановился на мысли послать своего слугу, чтобы тот, обойдя кругом монастырь, послушал и разузнал, не нашли ли монахи мертвого магистра и что они говорят по этому поводу. Слуга, выходя из дому, чтобы исполнить приказание, нашел магистра Диэго сидящим перед входной дверью, словно на диспуте; зрелище это внушило слуге немалый страх, какой обычно вызывает вид мертвецов; возвратясь в дом, он тотчас же позвал своего синьора и, едва владея языком, рассказал ему, что тело магистра принесено к ним обратно. Рыцарь премного удивился такому случаю, повергшему его в еще большее смущение; однако, ободрив себя мыслью о том, что дело его, как он думал, правое, он решил со спокойной душой ждать исхода и, обернувшись к мертвецу, сказал:

— Итак, тебе суждено быть язвой моего дома, от которой я не могу уберечься, — все равно, жив ты или мертв. Но назло тому, кто притащил тебя сюда, ты вернешься к себе обратно не иначе, как верхом на таком животном, каким ты сам был при жизни.

И, сказав это, он приказал слуге привести из конюшни жеребца одного из соседей, которого хозяин держал для господских кобыл и ослиц и который пребывал тем наподобие ослицы иерусалимской. Слуга пошел весьма поспешно и привел жеребца с седлом и уздой и всей прочей сбруей, находившейся в полной исправности; и, как уже решил рыцарь, они посадили мертвеца на лошадь, подперев его и привязав как следует и снабдив его копьем, которое они укрепили на башмаке мертвеца; они вложили ему в руки поводья, так что можно было подумать, что они собирались отправить его на бой. Снарядив его таким образом, они отвезли магистра к паперти монастырской церкви и, привязав его там, возвратились домой.

Когда монаху показалось, что ему уже пора отправиться в задуманное путешествие, он открыл ворота и затем, сев на кобылу, выехал на улицу. Здесь перед ним оказался магистр, снаряженный так, как уже было о том рассказано; казалось, он угрожал монаху копьем и готовился поразить его на-смерть. При виде такого зрелища монаху пришла в голову дикая и страшная мысль, именно — что дух магистра, как верят тому некоторые глупцы, возвратился в свое тело и в наказание за грехи обречен преследовать своего убийцу. А потому монах был поражен таким ужасом, что едва не свалился замертво. И в то время как он стоял так словно громом пораженный, от страха не зная в какую сторону повернуть, до

жеребца донесся запах кобылы, и он извлек свою стальную булаву и, заржав, хотел к ней приблизиться. Такое поведение жеребца еще более испугало монаха; однако он пришел в себя и хотел направить кобылу на настоящую дорогу, но она повернула корму в сторону жеребца и начала лягаться. Монах отнюдь не был лучшим наездником на свете и чуть было не свалился. Не дожидаясь второй подобной встряски, он крепко сжал лошади бока, вонзил в них шпоры, вцепился обеими руками в седло и, бросив поводья, пустил животное по воле судьбы. Кобыла, почувствовав, что шпоры сильно врезаются в ее бока, оказалась вынуждена бежать наугад по первой попавшейся дороге. Жеребец же, видя, что добыча его ускользает, в ярости порвал слабые узы и буйно понесся за нею вслед. Бедный монашек, чувствуя позади себя врага, обернулся и увидел его плотно сидящим в седле с копьем на-перевес, словно он был отменным бойцом. Эта новая опасность прогнала страх перед первой, и монах стал кричать:

— На помощь, на помощь!

Так как уже рассвело, то на его крики и шум, производимый мчавшимися без узды скакунами, все стали выглядывать в окна и в двери; и каждому казалось, что он лопнет от смеха при виде столь нового и необычайного зрелища, каким было это преследование вскачь одного минорита другим, причем оба они в равной мере походили на покойников. Кобыла, предоставленная самой себе, неслась по улицам то туда, то сюда, в ту сторону, куда ей заблагорассудится; жеребец же скакал за ней, не переставая яростно ее преследовать, так что не приходится даже спрашивать, не грозила ли монаху опасность быть раненным копьем. Огромная толпа испускала вслед им крики, свист и вой, и повсюду слышно было, как кричали: «Стой, хватай!» Одни бросали в них камни, другие ударяли жеребца палками, и каждый изощрялся, стараясь разъединить их, но не столько из сострадания к несущимся вскачь, сколько из желания узнать, кто они такие, так как вследствие быстрого бега лошадей нельзя было разглядеть всадников.

Наконец, злосчастные наездники случайно повернули к одним из городских ворот. Там их обступили и схватили обоих — и мертвого и живого; и велико было общее удивление, когда их узнали. И как сидели они на лошадях, так и были отведены в монастырь, где их встретили с неописуемой скорбью настоятель и вся братия. Мертвого похоронили, а для живого приготовили веревку. После того как монаха связали, он, не желая подвергаться пытке, чистосердечно сознался в том, что убил магистра. Правда, однако, что он не мог догадаться, кто посадил мертвеца на лошадь. Благодаря этому признанию его не вздернули на дыбу, однако подвергли жестокому заключению; затем было сделано распоряжение о том, чтобы епископ города лишил его монашеского сана и передал светским властям, дабы те судили его как убийцу согласно обычным законам.

Случайно в те дни прибыл в Саламанку король Фернандо, и

когда ему рассказали о происшедшем, то, несмотря на всю свою сдержанность и на то, что он очень скорбел по поводу смерти столь знаменитого ученого, он все же не в силах был устоять против забавности этого происшествия и стал вместе со своими баронами так сильно над ним смеяться, что едва мог удержаться на ногах. Когда уже наступил срок исполнения несправедливого приговора над монахом, мессер Родерико, который был доблестным рыцарем и любимцем короля, рассудил, что его молчание будет единственной причиной столь великой несправедливости. Побуждаемый любовью к правде, он решил скорее умереть, чем скрыть истину в столь важном деле. И, придя к королю, он в присутствии баронов и множества народа сказал ему:

— Синьор мой, с одной стороны, суровый и несправедливый приговор, вынесенный неповинному францисканцу, с другой стороны, желание не скрывать истину, заставляют меня вмешаться в это дело. И потому, если ваше величество пожелаете простить настоящего убийцу магистра Диэго, я сейчас призову его сюда и заставлю рассказать по правде, со всеми доказательствами и во всех подробностях, как это на самом деле произошло.

Король, будучи милостивым государем и желая узнать истину, не поскупился на просимое прощение. Получив его, мессер Родерико в присутствии короля и всех окружающих рассказал точнейшим образом с самого начала и до рокового и последнего часа жизни магистра все подробности, относящиеся к ухаживанию монаха за его женой, а также обо всех письмах, посланиях и прочих проделках минорита. Король уже ранее выслушал показания монаха и, так как они, по его мнению, сходились с показаниями мессера Родерико, то, зная его за честного и превосходного рыцаря, он отказался от дальнейших допросов и дал полную веру его словам; но, раздумывая о подробностях этого запутанного и странного случая, он и удивлялся и скорбел, а иногда и искренно смеялся. Однако, чтобы воспрепятствовать исполнению несправедливого приговора над невинным, король призвал настоятеля и вместе с ним также и бедного монаха и рассказал им в присутствии баронов, прочих дворян и представителей народа о том, как на самом деле все произошло; на основании этих данных он приказал тотчас же освободить монаха, приговоренного к жестокой смертной казни. И когда приказ был исполнен, то монах, доброе имя которого было теперь восстановлено, вернулся домой в самом веселом настроении. Мессер же Родерико, получив прощение, удостоился сверх того и самых высоких похвал за свое поведение в этом деле. И, таким образом, весть о случившемся, возбуждая немалую радость, была разнесена быстрою молвою по всему Кастильскому королевству, а затем рассказ об этом достиг и наших краев и был передан в кратких словах тебе, могущественнейший король и господин наш; и я задумал, чтобы изъявить покорность твоим повелениям, сделать этот рассказ достойным вечной памяти.

ПОДЖО

Поджо Браччолини (Poggio Bracciolini Gianfrancesca, 1380—1459) — итальянский писатель-гуманист. Родился в городе Терранова в семье аптекаря. Юношей пришел во Флоренцию, выдержав экзамен на нотариуса (1402 г.), поступил писцом в канцелярию канцлера Коллуччо Салутати, видного гуманиста. Последний ввел его в кружок гуманистов. В 1403 г. Поджо переехал в Рим, где в папской канцелярии занял должность писца, а затем — апостолического секретаря. В Риме при папской курии и протекала основная деятельность Поджо. В 1453 г. его избрали канцлером во Флоренции. Умер он в своем родном городке. Путешествуя по Европе, Поджо открыл много не известных до того рукописей античных писателей (сочинения Плавта, Стация, Лукреция и др.). Помимо «Истории Флоренции с 1350 по 1453», написал ряд гуманистических трактатов («О скупости», «О знатности» — защита личных достоинств как истинного источника благородства, «О несчастье государей» — нападки на монархический принцип и пр.). В историю мировой литературы Поджо входит своей книгой «Фацетии» («Liber facetiarum» — 1452 г.), написанной им на латинском языке. Это собрание анекдотов, острых бытовых зарисовок, чаще всего комического содержания (facetia означает шутка, насмешка, острое слово); в ряде фацетий отчетливо звучат мотивы антиклерикальной сатиры. «Фацетии» Поджо — классический образец этого жанра, быстро распространившегося в европейской литературе эпохи Возрождения [1].

На русском языке: «Фацетии», перевод, комментарии и вступительная статья А. К. Дживелегова, предисловие А. В. Луначарского, «Academia», 1934 г.

ФАЦЕТИИ

ЖАЛОБА, ПРИНЕСЕННАЯ ФАЧИНО КАНЕ ПО ПОВОДУ ГРАБЕЖА

екто принес жалобу Фачино Кане [a], который был человеком чрезвычайно жестоким и в то же время одним из лучших полководцев нашего времени, по поводу того, что один из солдат Фачино отнял у него на улице плащ. Фачино, посмотрев на него и увидев, что на нем надета очень хорошая куртка, спросил, был ли он в момент грабежа в этой одежде. Тот отвечал утвердительно. «Иди вон,— сказал Фачино,— тот, о ком ты говоришь, никак не может быть моим солдатом. Ибо ни один из моих не оставил бы на тебе такой хорошей куртки».

Фачино Кане — один из кондотьеров (вождей наемных дружин в Италии) XV в.

О СВЯЩЕННИКЕ, КОТОРЫЙ ПОХОРОНИЛ СОБАЧКУ

Был в Тоскане деревенский священник, очень богатый. Когда у него умерла любимая собачка, он похоронил ее на кладбище. Об этом услышал епископ и, покушаясь на деньги священника, вызвал его к себе, чтобы наказать его, как если бы он совершил большое преступление. Священник, который хорошо знал характер своего епископа, отправился к нему, захватив с собою пятьдесят золотых дукатов. Епископ, сурово упрекая его за то, что он похоронил собаку, приказал вести его в тюрьму. Но хитрый священник сказал епископу: «Отец, если бы вы знали, какая умная была моя собачка, вы бы не удивлялись, что она заслужила погребения среди людей. Ибо она обладала умом более чем человеческим как при жизни, так и в момент смерти». «Что это значит?» — спросил епископ. «Под конец жизни, — сказал священник, — она составила завещание и, зная вашу нужду, отказала вам согласно этому завещанию пятьдесят золотых дукатов. Я их привез с собою». Тогда епископ, одобрив и завещание и погребение, принял деньги и отпустил священника.

О СВЯЩЕННИКЕ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ ОШИБСЯ В ЧИСЛАХ

А вот случай с другим священником. Он объяснял народу евангелие и, рассказывая, как наш спаситель накормил пятью хлебами пять тысяч человек, оговорился и сказал не «пять тысяч», а «пятьсот». Его причетник тихо заметил ему, что он ошибся в числе и что евангелие говорит о пяти тысячах. «Молчи, дурак, — зашипел на него священник. — Хорошо будет, если они поверят и тому числу, которое я сказал».

О РОСТОВЩИКЕ ИЗ ВИЧЕНЦЫ

В Виченце один ростовщик много раз просил некоего монаха, пользовавшегося очень большим влиянием и постоянно произносившего проповеди о нравах, выступить со всей силою против ростовщиков, чтобы заклеймить как можно красноречивее этот порок, сильно распространенный в городе. Он повторял эту просьбу с такой настойчивостью, что это уже становилось монаху в тягость. Когда кто-то стал выражать свое удивление, что он так упорно настаивает на осуждении того промысла, которым он сам существует, и спросил, почему он так часто об этом напоминает, ростовщик ответил: «В нашем городе много людей, которые дают деньги в рост. Поэтому ко мне приходят немногие, и я ничего не зарабатываю. Если проповедь убедит других оставить занятие ростовщичеством, заработки всех остальных попадут ко мне». Об этом монах потом сам рассказывал, смеясь.

БУРКЬЕЛЛО

Доменико Буркьелло (Burchiello, 1404—1448) — крупнейший представитель итальянской бурлескной поэзии XV в. Родился в семье бедного плотника, был цирюльником во Флоренции, за свои смелые нападки на диктатуру Медичи поплатился изгнанием и тюремным заключением, умер в Риме. В противовес поэтам ученой школы, тяготевшим к выспренной отвлеченной тематике, Буркьелло охотно трактует в своих стихотворениях о мелочах повседневной жизни, а также горько подсмеивается над своими злоключениями (бедность, болезни, тюрьма). Его сатирические и шуточные сонеты (как и другие бурлескные поэты, Буркьелло широко разрабатывает форму «хвостатого» сонета) написаны на особом жаргоне, состоящем из игры слов и забавных нелепиц — манера, получившая наименование «буркьелловской» (burchiellesca) и усвоенная рядом итальянских поэтов XV в.

МУРАВЕЙ-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Полз муравей, куда глаза глядели.
И вот набрел на череп лошадиный;
Не видя в нем щербинки ни единой,
Он думал: белый замок, в самом деле.

А дальше — больше: как кристалл, светлели
Палаты в нем по мерке муравьиной;
«На свете, — молвил, — этакой гостиной
И богачи бы, верно, захотели».

Но скоро он осмотром утомился
И приуныл, от голода тоскуя:
Искал еды и, не найдя, смутился;

«Чем помирать, уж лучше побегу я
В знакомый лес, откуда притащился», —
Сказал — и в путь, ног под собой не чуя.

Так вот что вам скажу я:
Прекрасен дом, где нет забот о пище;
Голодному утешно ли жилище?

STRAMBOTTO [a]

Братец, хочешь горькой доли,
Так женись по доброй воле.

С дельным я к тебе советом,
Хоть и знаю, что напрасно:
Не женись, прошу об этом, —
Проживешь свой век прекрасно;
Это страшно и опасно,
Гибнут лучшие желанья;
Нету большего страданья
На земле — женатой доли.

Братец, хочешь горькой доли,
Так женись по доброй воле.

Бог зачем же так устроил?
Воля уж его такая, —
Смех и песни успокоил
Он для всех достойных рая,
И поверь, здесь мука злая
Ждет блаженные созданья;
Нет тяжеле воздаянья
На земле — женатой доли.

Братец, хочешь горькой доли,
Так женись по доброй воле.

Хочешь видеть, правда ль это?
Вспомни праотца людского:
Не послушавшись запрета,
Ублажил врага мирского;
Скушал плод, — ну что ж такого!
Ведь супруга виновата;
Нет, тяжелая расплата
На земле в женатой доле.

Братец, хочешь горькой доли,
Так женись по доброй воле.

Прав я, прав, — ты убедился,
Каждый миг тебе порукой:
Кто женился, породнился
С горьким горем, с тяжкой мукой.
Сердца грезой не баюкай!
Братец, брось же, ради бога,
Рассуди, подумай строго,
Образумься поневоле.

Братец, хочешь горькой доли,
Так женись по доброй воле.

Погляди, как был я гладок,
Важен, чист, красив собою,
Ныне ж слаб, и тощ, и гадок,
Ошарашенный судьбою, —
Отчего? Живу с женою.
Это слово в полной силе:
Не женили — уморили,
Так всегда в женатой доле.

Братец, хочешь горькой доли,
Так женись по доброй воле.

Выжала жена все соки,
Каково мне — сам ты знаешь;
Так дела мои жестоки!
Хоть себя и укрощаешь, —
Прямо смерти пожелаешь:
В три погибели я скручен,
Так устал я, так измучен, —
Хнычу, плачу поневоле.

Братец, хочешь горькой доли,
Так женись по доброй воле.

---

[a] *Strambotto* — популярная форма итальянской народной поэзии, состоящая из строф из 8 или 6 стихов.

ПОЛИЦИАНО

Анджело Полициано (Angelo Poliziano, 1454—1494) — итальянский поэт-гуманист. Родился в гор. Монтепульчано в семье юриста. Окончил высшую школу во Флоренции, где сблизился с Лоренцо Медичи. Рано обнаружил литературные и научные способности. Блестящее знание античной литературы помогло ему стать профессором латинского и греческого красноречия во Флорентийском университете. Опубликовал несколько работ на литературные и филологические темы (критические этюды о Гомере, Аристотеле, Вергилии и др.). Будучи своего рода придворным поэтом Лоренцо Великолепного, Полициано воспевает блеск дома Медичи и жизнь высокопоставленных слоев города. Античность, перед которой он с энтузиазмом преклоняется, подсказывает ему сюжеты, мотивы и формы. В 1471 г. он пишет по заказу Кардинала Гонзага пьесу «Сказание об Орфее» («La favolo di Orfeo»), начинающую собой историю гуманистической драмы в Италии. В пьесе он выступает как большой художник слова, виртуоз стихотворной формы Самое созершенное создание Полициано — поэма в октавах (неоконченная) «Стансы на турнир» («La Giostra»), в честь турнира, устроенного в 1475 г. Джулиано Медичи (братом Лоренцо). Полициано оставил также ряд превосходных лирических стихотворений.

На русском языке: Полициано, «Сказание об Орфее», перевод С. В. Шервинского, статьи А. К. Дживелегова и М. Н. Розанова, «Academia», 1933 г.

Из «СКАЗАНИЯ ОБ ОРФЕЕ»

. . . . . .

Пастух

возвещает Орфею о смерти Эвридики[1]:

Жестокой вестью встречу я Орфея,
Что нимфа та прекрасная скончалась.
Она бежала прочь от Аристея[1].
И в миг, когда к потоку приближалась,
В пяту впилась ей жалом, не жалея,
Змея, которая в цветах скрывалась.
И сильно так и остро было жало,
Что сразу бег и жизнь ее прервало.

Орфей

сокрушается о смерти Эвридики:

О, безутешная, заплачем, лира!
Иную песнь теперь нам петь приспело.

---

[1] *Аристей* — молодой пастух, преследующий Эвридику своей любовью.

Кружитесь, небеса, вкруг оси мира,
Услыша нас, замолкни, Филомела[а]!
О небо! О земля! Ужели сиро
В тоске влачить измученное тело?
Краса моя, о жизнь, о Эвридика,
Как жить мне, твоего не видя лика?
К воротам Тартара[б] моя дорога:
Узнать, туда проникло ль сожаленье?
Судьбу смягчат ли у его порога
И слезные стихи и струн моленья?
Быть может, Смерть приклонит слух не строго.
Ведь пеньем я уже сдвигал каменья.
Олень и тигр, внимая мне, сближались,
И шли леса, и реки обращались.

Орфей и звери. Иллюстрация к «Сказанию об Орфее» Полициано (Флоренция, 1543 г.)

[а] *Филомела* — соловей.

[б] *Тартар* — подземное царство (точнее: одна из частей подземного царства), где властвует брат Зевса, третий сын Сатурна и Реи — Плутон; он похитил дочь богини плодородия Деметры Прозерпину и сделал ее своей женой. В подземном царстве мертвых судят: Минос, Радаманг и Эак. Вход в Тартар сторожит трехголовый пес Цербер.

Орфей

с пением подходит к Аду:

Увы! Увы! О, пожалейте в горе
Любовника, юдолей адских тени!
Вождя единого я знал в Аморе [а],
И он меня домчал до сих селений.
О Цербер, укроти свой гнев! Ты вскоре
Мои услышишь жалобы и пени,
И не один, услышав, надо мною
Заплачешь ты, — но с адскою толпою.
О Фурии, напрасно вы рычали,
Напрасно змеи корчились лихие.
Когда б вы знали все мои печали,
Вы разделили б жалобы глухие.
Несчастного задержите ль вначале,
Кому враги — и небо и стихии?
Иду просить я милости у Смерти.
Откройте двери. Страннику поверьте.

Плутон

полный удивления, говорит так:

Откуда звук столь сладостного звона?
Кто Ад смутил кифарой [б] изощренной?
Вот: колесо недвижно Иксиона,
Сизиф сидит, на камень свой склоненный,
И к Танталу не льнут струи затона,
Белиды стали с урною бездонной [2],
Внимателен и Цербер трехголовый
И Фурии смягчили гнев суровый.

Минос

Плутону:

Тот, кто идет, противен воле Рока;
Не место здесь телам, не знавшим тленья.
Быть может, умысел тая глубоко,
Твоей он власти ищет низверженья.
Все, кто сюда, Плутон, входил до срока,
Как этот, в темные твои владенья,
Встречали наказанье роковое.
Будь осторожен. Он замыслил злое.

а Амур.

б *Кифара* — струнный инструмент древних греков.

Орфей

коленопреклоненный, говорит Плутону так:

О всемогущий тех краев властитель,
Что лишены навек земного света,
Куда спускается вселенной житель
И все, что солнцем на земле согрето,
Сказать тоски причину разрешите ль?
Вослед Амору шла дорога эта.
Не цепью Цербера вязать железной, —
Я только шел вослед своей любезной.
Змея, рожденная между цветами,
Меня и милой и души лишила.
Я дни влачу, подавленный скорбями,
Сразить тоску моя не может сила.
Но коль любви прославленной меж вами
Воспоминанья время не затмило,
Коль древний жар еще в душе храните,
Мне Эвридику милую верните!
Пред вами вещи разнствуют в немногом,
И в ваш предел все смертные стекутся.
Все, что луна своим обходит рогом,
Предметы все во мрак ваш повлекутся.
Кто доле ходит по земным дорогам,
Кто менее, но все сюда сойдутся
В предел последний жизни быстротечной.
И нами впредь владычествуйте вечно.
Так, будет нимфа пусть моя меж вами,
Когда ей смерть сама пошлет природа.
Иль терпкий грозд под снежными листами
Обрежет серп жестокий садовода?
О, кто поля усеет семенами
И ждать не станет раннего их всхода?
С души моей тоски сложите бремя.
О, возвращенье будет лишь на время!
Во имя вод, которыми покрылось
Стигийское болото Ахеронта,
И хаоса, откуда все родилось,
И бурности звенящей Флегетонта
И яблока, которым ты пленилась,
Как нашего лишилась горизонта [б]!
Коль мне откажешь ты, к земной отчизне
Я не вернусь, но здесь лишусь жизни.

[а] *Стикс, Ахеронт* и *Флегетонт* (а также *Коцит*) — реки подземного царства.

[б] Вступив в подземное царство, Прозерпина вкусила яблока, тем самым закрыв себе возможность когда-либо вернуться на землю.

Прозерпина

Плутону говорит так:

О сладостный супруг мой! Я не знала,
Что жалость проникает к сей равнине.
Но вот наш двор она завоевала,
Мое лишь ею сердце полно ныне.
Со страждущими вместе застонала
И Смерть сама о горестной кончине.
Изменят пусть суровые законы
Любовь и песнь и праведные стоны.

Плутон

Орфею отвечает и говорит так:

Тебе верну ее, но по условью
Вослед тебе выходит пусть из Ада.
А ты до выхода, горя любовью,
Не обращай на Эвридику взгляда.
Итак, Орфей, предайся хладнокровью,
Чтоб не исчезла вновь твоя награда.
Все ж счастлив я, что сладостная лира
Склонила скиптр отверженного мира.

Орфей

возвращается, уводит Эвридику с пением радостных стихов, принадлежащих Овидию и приспособленных к случаю:

О, окружите виски мои, триумфальные лавры!
Я Эвридику обрел. Жизнь возвратилась ко мне.
Эта победа достойна великим венчаться триумфом.
Так совершись же, триумф, добытый стараньем моим!

Эвридика

жалуется Орфею, что насильственно отнята у него:

Увы, чрезмерной страстью
Разлучены мы оба.
Я уношусь. Меня ты, чуждый счастью,
Не узришь вновь до гроба.
К тебе я тщетно простираю руки.
Прости, Орфей, иду в обитель муки...

Орфей

следуя за Эвридикою, говорит так:

Увы! Иль Эвридики
Прекрасной нет со мной? О беспримерно
Враждующее небо! Рок жестокий!
О наша страсть, несчастная чрезмерно!
. . . . . .

Из поэмы «СТАНСЫ НА ТУРНИР»

ОПИСАНИЕ КИПРА

1

Киприда гору дивную лелеет,
Ту, что поутру зрит семь устьев Нила,
Едва лишь горизонт зарозовеет.
Там смертного нога не проходила.
Подняв чело, вершина зеленеет,
Под ней лужок на солнце млеет мило,
И меж цветов воздушные дыханья
Травинок тонких зыблят колыханья.

2

Увенчан край стеною золотою,
Кустистый дол под ней уходит в горы,
Где, скрытые весеннею листвою,
Поют любовь птиц сладостные хоры;
С прохладною, прозрачною водою
Двух ручейков там слышны разговоры:
Тот — сладкий ток, а этот — горький точит.
В них бог любви златые стрелы мочит.

3

Тот вечный сад, где ручейки и птицы,
Ни снег ни иней убелить не может;
Лихой зиме не перейти границы;
Кустов и трав там вихрь не потревожит;
Там годы не перевернут страницы, —
Одна Весна свои утехи множит:
Гуляет, тысячи цветов сплетая,
И в ветре прядь трепещет золотая.

4

Вдоль побережья братцы Купидона,
Которых там одних страшны прицелы,
Резвясь, крича, для нежного урона
На оселках оттачивают стрелы.
Блаженство с Кознью у морского лона
Колес кровавых ось ведут, умелы;
Надежда зыбкая с Желаньем тщетным
Дробят струю по камням самоцветным.

5

Там нежный Страх с Утехой боязливой,
Гнев нежный с нежным Миром вместе ходят;
Всю грудь слезой Плач залил сиротливый;
Со смертной Бледностью там Пыл ревнивый,
И с Худобой, томясь, Тревога бродит;
Бдит Подозренье, где ни ступят ноги,
Веселье пляшет посреди дороги.

6

Там Наслажденье с Красотой резвится,
Прочь мчится Радость, Грусть сидит с ней розно;
Слепое заблужденье прямо мчится;
Бьет по бедру рукою Ярость грозно;
Раскаянье несчастное крушится,
Заметив заблужденья слишком поздно;
Стоит Жестокость — ей в крови услада;
Повеситься Отчаяние радо.

7

Обман безмолвный, рядом Смех притворный
И Знаки, вестники сердец в полоне;
И с нежным выраженьем Взгляд упорный,
Что ставит сеть, за Юностью в погоне;
И Жалоба, соседка Муки черной,
Сидит, лицо оперши о ладони;
Туда, сюда, все позабыв законы,
Летает Вольность, — там ей нет препоны.

8

Вот каковы твоих сынов дружины,
Прекрасная Венера, мать крылатых.
Зефир росой купает луговины,
Они искрятся в зыбких ароматах;
Куда ни полетит, цветут долины, —
Фиалки, розы, лилии пестрят их,
Трава своей изумлена красою,
Багряной, белой, блеклой, голубою.

9

Девчоночка-фиалка в робкой дрожи
Склонила взор, стыдлива и сурова.
Но радостней, улыбчивей, пригожей
Грудь солнцу роза приоткрыть готова:
Та кроется еще в зеленом ложе,
Та глянула лукаво из покрова,
Та, не остыв от сладостного пыла,
Упала ниц, красами луг покрыла.

БАЛЛАДА

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Зеленым садом, в середине мая.

Фиалок, лилий много на поляне
Цвело, да и других цветов немало,
Лазурных, бледных, снежных и багряных.
Я, руку протянув, срывать их стала,
Для золотых волос убор сплетала —
Прядь вольную сдержать, венком венчая.

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Зеленым садом, в середине мая.

Уже успела много их нарвать я,
Но увидала разных роз собранье
И побежала к ним — наполнить платье.
Так сладко было их благоуханье,
Что сердце вдруг встревожило желанье,
Страсть нежная и радость неземная.

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Зеленым садом, в середине мая.

Разобрала их все, поодиночке, —
Не скажешь словом, как прекрасны были:
Те вылупились только что из почки,
Те блекли, те цветы едва раскрыли.
Амур сказал: срывай их в полной силе,
Пока еще не сникли, увядая.

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Зеленым садом, в середине мая.

Едва лишь роза лепестки раскроет,
Пока она прекрасна и приятна,
Ее ввивать нам в плетеницы стоит, —
Нето краса исчезнет безвозвратно.
Так, девушки: доколе ароматна,
Прекрасную срывайте розу мая.

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Зеленым садом, в середине мая.

МЕДИЧИ

Лоренцо Медичи (Lorenzo di Medici 1448—1492), прозванный Великолепным, — итальянский государственный деятель и поэт, глава банкирского дома Медичи, некоронованный государь Флоренции. Он сделал Флоренцию средоточием поэтов, художников и ученых, поддерживая тесную дружбу с рядом видных писателей-гуманистов. В качестве поэта он испробовал свои силы в самых разнообразных формах и жанрах. Он отстаивал права итальянского языка, использовал в своей поэзии наряду с античными и народные мотивы. К числу лучших его произведений принадлежат «Карнавальные песни» («Canti carnascialeschi»), написанные с высоким поэтическим мастерством. Эти песни распевались во время карнавальных шествий, которым так покровительствовал Лоренцо Медичи. Особенно знаменита карнавальная песнь «Триумф Вакха и Ариадны» («Trionfo di Bacco e d'Arianna»), приводимая нами в переводе В. Я. Брюсова (перевод сделан в 1920 г.).

ТРИУМФ ВАКХА И АРИАДНЫ [1]

КАРНАВАЛЬНАЯ ПЕСНЬ

Юность, юность, ты чудесна,
Хоть проходишь быстро путь.
Счастья хочешь, — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Вакх с прекрасной Ариадной [a]
Сходят радостно вдвоем.
Так как время мчится жадно,
Мы лишь этот миг поем.
Нимфам с фавнами отрадно
Совершать за Вакхом путь.
Счастья хочешь, — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Сонмы вольных козлоногих
Мчат веселых сатиресс
К мураве холмов отлогих,
В глубь пещер и в темный лес.
Что им до укоров строгих,
Горы, дебри — всюду путь.
Счастья хочешь, — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Этим нимфам также сладко,
Что так пылко ищут их,
Что любовь их ждет украдкой
Под листвой дубов густых.
Уловляй миг жизни краткой —
Всем на праздник верный путь.
Счастья хочешь, — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

---

[a] *Ариадна* — дочь критского царя Миноса; влюбившись в Тезея, помогла ему убить Минотавра и выбраться из лабиринта, вместе с Тезеем бежала с острова Крита, но была на острове Наксосе коварно покинута возлюбленным; здесь ее спящую увидел Вакх, пленился ее красотой и сделал своей супругой.

За ослом и за Силеном
Пьяный вот бредет старик,
В долгой жизни к вечным сменам
Лет бессчетных он привык,
Но с усердьем неизменным
К страсти проторяет путь.
Счастья хочешь, — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Вот с лицом своим сердитым
И старуха вслед бредет,
Озирая с гневом скрытым
Весь беспечный хоровод.
Человек не будет сытым,
Хоть прошел он длинный путь.
Счастья хочешь, — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

День сегодняшний дороже
Всех других грядущих дней.
Юность — нынче, старость — тоже!
Девы, юноши, смелей
Жгите жизнь на каждом ложе!
Путь к унынью — ложный путь.
Счастья хочешь, — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.

Все мы здесь в желаньи ласки
Славим Вакха и Любовь,
Славим песни, славим пляски!
Пусть бежит по жилам кровь.
Пусть живем мы в вечной сказке,
В этом нашей жизни суть,
Счастья хочешь, — счастлив будь
Нынче, завтра — неизвестно.
Юность, юность, ты чудесна,
Хоть проходишь быстро путь!

К ФИАЛКЕ

Прекрасная фиалка, рождена ты
Там, где давно мое пристрастье живо.
Ток грустных и прекрасных слез ревниво
Тебя кропил, его росу пила ты.

В блаженной той земле желанья святы,
Где ждал прекрасный кустик молчаливо.
Рукой прекрасной сорвана, — счастливой
Моей руке — прекрасный дар — дана ты.

Боюсь, умчишься в некое мгновенье
К прекрасной той руке: тебя держу я
На голой груди, хоть сжимать и жалко.

На голой груди, ибо скорбь и мленье
В груди, а сердце прочь ушло тоскуя —
Жить там, откуда ты пришла, фиалка.

АКВИЛАНО

Серафино Аквилано (Serafino Aquilano, 1466—1500) — видный представитель галантной лирики конца XV в., развившейся в Неаполе, а затем получившей значительное распространение и в других культурных центрах Италии. Характерными чертами этого поэтического направления является его большая вычурность и манерность, во многом предвосхищающая аффектированный стиль маринизма (XVII в.). Опираясь на прециозные элементы лирики Петрарки, поэты стремятся поразить читателя изысканностью образов, галантной игрою ума, блеском антитез, гипербол и материализованных метафор (огонь любви воспламеняет одежды на теле; слезы влюбленного вздувают реку, а его вздохи заставляют лодку лететь, как перышко; белизна дамы настолько превосходит белизну снега, что он даже перестает падать, и т. п.). Главными представителями этого направления были: Бенедетто Каритео (около 1468—1514), Антонио Тебальдео (1456—1537) и Серафино Аквилано, доведший стиль галантной лирики до особой изощренности. В то же время ряд стихотворений Аквилано приближается к простоте и грации народной поэзии. В начале XVI в. модное направление встретило решительный отпор со стороны Пьетро Бембо, ревностного почитателя Петрарки и создателя итальянской классической поэтики.

СОНЕТ В ДИАЛОГЕ О ПРИРОДЕ ЛЮБВИ

Амур, когда родился ты? — С землею
Зеленою, расцветшей в красках милых.
Кем создан? — Пылом, мощным не для хилых,
Что сладострастьем сжаты, как тюрьмою.

Кто на меня подъял тебя войною? —
Надежды жар и холод страха в жилах. —
Где жил? — В сердцах нежнейших, — но сразил их,
Поверг на землю под моей пятою.

И кем ты вскормлен? — Юностью живою
И окруженной верными рабами:
Изяществом, тщеславьем, красотою.

А чем ты жив? — Прекрасными глазами. —
Сильна ли смерть иль старость над тобою? —
Нет! В миге вновь рождаюсь — дни за днями.

РЫЦАРСКАЯ ПОЭМА ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ПУЛЬЧИ

Луиджи Пульчи (Luigi Pulci, 1432—1484) — итальянский поэт. Родился во Флоренции, был приближенным Лоренцо Медичи, выполнял его дипломатические поручения в различных городах Италии. Как поэт Пульчи во многом близок народной поэзии, формы и мотивы которой он культивировал с большим искусством. Подобно Буркьелло, он тяготел к буфонному реализму, его плебейски-сочный грубоватый юмор во многом предвосхищает манеру Ф. Рабле, на которого Пульчи оказал несомненное влияние. Сюжет своего крупнейшего создания — поэмы в 28 песнях «Большой Моргант» (Morgante Maggiore, 1482—1483), Пульчи в значительной мере заимствовал из произведений итальянских уличных сказителей, так называемых кантасториев, развлекавших народ рассказами о подвигах героев каролингского эпоса и романов артурова цикла. Вслед за народными певцами Пульчи повествует о вражде между родом Кьяромонте, к которому принадлежат Роланд (Орландо) и его двоюродный брат Ринальдо, и родом Маганца, представителем которого выступает презренный предатель Гано (Ганелон). Поэма завершается описанием Ронсевальской битвы и мести Карла за гибель Роланда. Наряду с образами традиционных эпических героев, в характеристики которых подчас внесены буфонно-юмористические черты (император Карл рисуется глуповатым стариком, Ринальдо — болтуном и кутилой и пр.), Пульчи выводит комические фигуры преданного Роланду добродушного великана Морганта и его неразлучного спутника Маргутта, плута, развратника, обжоры и богохульника, на совести которого лежат все семь смертных грехов. С этими фигурами и связан преимущественно буфонный элемент поэмы, который, впрочем, неизменно проявляется и в самой художественной манере Пульчи, склонного к гротескной гиперболизации изображаемых событий или к разрушению иллюзии читателя путем введения в серьезное повествование неожиданной насмешки, задорной шутки. Нагнетение буфонного элемента в поэме связано как с ироническим отношением Пульчи к феодально-католическим ценностям, так и с тем радостным жизнелюбием, которое у Пульчи, как и у Рабле, выступает в формах веселой народной буффонады.

Из «БОЛЬШОГО МОРГАНТА»

[Рождество, император Карл со своими паладинами находится в Париже. Из зависти к высокому положению Роланда, Гано чернит его в глазах императора. Лишенный возможности отомстить клеветнику, Роланд в гневе покидает двор и отправляется в страну неверных. На границе он встречает трех великанов, напавших на монастырь, двух из них он убивает, а третьего — Морганта — обращает в христианство и делает своим боевым спутником, после того как Моргант облачается в шлем, панцырь и берет в руки язык от колокола, заменяющий ему палицу. В то время как названные герои ведут жизнь, исполненную всевозможных приключений, Ринальдо в сопровождении

двух витязей отправляется на поиски Роланда, сам переживает ряд приключений, но, наконец, вместе с Роландом возвращается во Францию, где они освобождают императора Карла от нашествия неверных, которых изменнически призвал в страну Гано. Тем не менее последний не оставляет своих низких происков, направленных против Роланда, и доблестный паладин вновь решает покинуть Францию и устремляется на Восток. Ринальдо подвергается изгнанию, но вскоре свергает Карла и завладевает его троном. Когда же до него доходит весть о пленении Роланда на Востоке, он возвращает трон Карлу и спешит на выручку героя. Освобожденный Роланд становится властителем Вавилона, однако вскоре возвращается на родину. Тем временем на выручку Роланда спешит также Моргант, отделившийся было от Роланда. На пути он встречает полувеликана Маргутта, который задорно повествует ему о всех своих неисчислимых пороках. Моргант делает его своим спутником. Однажды вечером прибывают они в таверну, где пожирают к ужасу хозяина огромное количество всякой снеди (см. приводимый отрывок «Моргант и Маргутт в таверне»). Ночью Маргутт забирает в доме все, что там находит, нагружает добро на хозяйского верблюда и, запалив таверну, отправляется с Моргантом в путь-дорогу. Но дружба великанов продолжается недолго. Однажды Маргутт, проснувшись после хорошей выпивки, увидел, как обезьяна надевала его сапоги, и это зрелище до такой степени распотешило его, что он не выдержал и от смеха лопнул. Вскоре и Моргант расстался с жизнью от укуса в пятку маленького рака. Тем временем Гано продолжал строить козни. Он уговорил сарацинского короля Марсилия напасть на христианское войско, стоявшее под предводительством Роланда в Ронсевальском ущелье. Об этом узнает, однако, брат Ринальдо, опытный в делах чародейства. С помощью двух дьяволов — Астарота и Фарфарелло — он переносит Ринальдо и витязя Ричардетто в Ронсевальское ущелье. По пути дьявол Астарот беседует с рыцарями на богословские и географические темы, красноречиво защищая догматы христианской веры, в чем явственно проявляется насмешливое отношение Пульчи к католицизму. После ряда забавных похождений рыцари прибывают в назначенное место, где они неохотно расстаются с любезными дьяволами, с которыми они так приятно провели время. Битва в самом разгаре, и ничто уже не может спасти Роланда (см. приводимый отрывок «Роланд в Ронсевальском ущелье»). Но Ринальдо и Карл жестоко мстят за гибель героя. Архиепископ Турпин собственноручно вешает в Сарагоссе короля Марсилия, Гано пытают и четвертуют в Париже. Завершается поэма смертью Карла.]

МОРГАНТ И МАРГУТТ В ТАВЕРНЕ

1

«... Другой еды запросишь поневоле:
Мы к доброму столу привыкли, дядя!
Не видишь, ростом он каков, тем боле?
Червя не заморишь, с крупинкой сладя».
Хозяин им: «Дать желудей вам, что ли?
Чего я вам добуду, на ночь глядя?»
И начал изъясняться горделиво,
Так что Моргант сидел нетерпеливо.

2

Он колокольным языком ударил
Его разок-другой. Тот в крик, — не шутка!
Маргутт же молвил: «Надо, чтоб обшарил
Я сам весь этот дом, — одна минутка...

Ты нам, хозяин, буйвола б поджарил,
Во двор, я вижу, входит он. А ну-тка,
Раздуй очаг; едва моргнем, ты слушай.
Ну, угощай нас буйволовьей тушей».

3

Тот в страхе вздул огонь, боясь ответа.
Маргутт схватил одну из перекладин.
Хозяин заворчал. Маргутт на это:
«А вижу я, ты до побоев жаден.
Что ж класть в огонь для этого предмета?
Не ручку ж от лопаты? — то-то складен!
Позволь уж мне распорядиться пиром».
На этом буйвол был изжарен с миром.

4

Не думайте, что зверя свежевали:
Он брюхо лишь вспорол у туши дюжей.
Как будто в доме все его уж знали, —
Приказывал, кричал, серчал к тому же.
Вот доску длинную нашел он в зале
И приспособил вмиг ее снаружи,
Стол мясом загрузил, вином и хлебом:
Моргант ведь помещался лишь под небом.

5

Был буйвол съеден весь на этом пире,
Вин выпита немалая толика,
Исчез весь хлеб — четверика четыре.
Маргутт позвал хозяина: «Скажи-ка,
Подумал ты о фруктах и о сыре?
Ведь это скушать — дело не велико.
Все волоки, что спрятано по дырам!» —
Послушайте ж, как было дело с сыром.

6

Хозяин отыскал круг сыра где-то,
Примерно, форму шестифунтовую;
Да яблок вынес, благо было лето,
Корзиночку, и то полупустую.
Маргутт, как только оглядел все это,
Сказал: «Видали бестию такую?
Язык взять колокольный вновь придется,
Коль иначе обеда не найдется.

7

Пить по глоточкам при его ли росте?
Пока я возвращусь, ты без обману
Кати нам бочки, раз пришли мы в гости, —
Чтобы вина достало великану,
Иль он тебе пересчитает кости.
Я как мышонок, всюду шарить стану,
И если что найду про нашу долю,
Увидишь, принесу ль припасов вволю!»

8

Тут начал рыскать по́ дому повсюду
Маргутт, все сундуки в дому калечит;
Бьет и ломает утварь всю, посуду, —
Что ни разыщет, то и изувечит;
Последнюю кастрюлю валит в груду;
И сыр, и фрукты, все наружу мечет.
Морганту приволок мешок громадный.
Вновь исчезает все в гортани жадной.

9

Хозяин, слуги — все дрожат до пота,
Хоть и усердствуют служить прилично.
Хозяин тут подумал: не охота
Молодчиков таких кормить вторично.
Заплатят нам, когда дойдет до счета,
Своим пестом, — бери деньгой наличной.
А съели столько, что за месяц времени
Не проглотить и целому бы племени.

10

Моргант, когда наелись, и помногу,
Хозяину сказал: «Пойди проспаться!
А завтра, как обычно, в путь-дорогу
Отправимся, — так надо сосчитаться.
Не обочтем тебя, оставь тревогу,
Сумеем все довольными остаться».
Хозяин же возьми да и ответь им,
Что эту ночь сочтет — тысячелетьем.

РОЛАНД В РОНСЕВАЛЬСКОМ УЩЕЛЬЕ

1

...С Роландом таковой урон случился,
Что шлем держать не мог он головою, —
Столь много он за день тот потрудился.

Меж тем как он томился жаждой злою,
Припомнилось ему, что раз напился,
Он из ключа здесь где-то, под горою.
И вскоре ключ знакомый отыскался:
Один там отдыхал он и плескался.

2

Конь Вельянтин, — лишь тот сойти изволил, —
Стал на колени и пред ним пал мертвый,
Как бы моля, чтоб тот его уволил,
Промолвил: «я тебя довел до порта».
Граф руки протянул и друга полил
Водою, чтобы сил набрал простертый, —
Но так как верный конь был без движенья,
Стал сетовать в великом сокрушенье.

3

«О Вельянтин, мне послужил ты много!
О Вельянтин, где вся твоя отвага?
О Вельянтин, славна твоя дорога!
О Вельянтин, теперь не ступим шага!
О Вельянтин, растет моя тревога!
О Вельянтин, не ждешь узды, бедняга!
О Вельянтин, — коль я тебя обидел,
Прости меня ты в час, как смерть увидел».

4

Со слов Турпина [а] — есть чему дивиться! –
Как только попросил Роланд прощенья,
Конь будто бы чуть приоткрыл ресницы
И рыцарю кивнул в знак отпущенья.
Роланд хотел коснуться узденицы
Надеялся: то жизни возвращенье.
Так, — что Пирам и Фисба [б], — у потока
Там граф и конь виднелись одиноко.

5

Когда Роланд ждать перестал ответа,
Он обернулся и взглянул на поле.
Не увидал Ринальда с Ричардетто

[а] *Турпин* — мнимый автор «Песни о Роланде».
[б] *Пирам и Фисба* — несчастные любовники в «Метаморфозах» Овидия (кн. IV).

И мертвым ужаснулся против воли.
Кровь лужами покрыла поле это,
А Рончисваль[а] — мрачнее нет юдоли.
Подумал он: вся от нее невзгода, —
Увидев столько павшего народа.

6

Сказал: «O terque quaterque beati[б], —
Того троянца памятное слово.
Несчастные все те, кто жив некстати,
Как я вот жив до часа рокового!
Пусть труп лежит среди побитой рати, —
Дух удостоен царствия Христова.
Счастливец Оливьер, вы живы ныне!
О, все молитесь о моей кончине.

7

Теперь Морглейса[в] звон услышат ближе,
Теперь всей Франции быть в платье черном,
Теперь начнется стон и плач в Париже,
Теперь жене моей быть в духе скорбном,
Теперь упасть сен-Дионису ниже,
Теперь погибнуть христианства зернам,
Теперь держава Карла сокрушится,
Теперь граф Ганелон возвеселится».

9

Есть быль: Роланд на камень замахнулся,
Ударил Дурлинданою прекрасной,
Но меч не преломлялся и не гнулся, —
Со всею силой граф разил напрасно.
И некой щелью камень распахнулся.
Паломники Галисии всечасно
Сюда приходят с вестью нарочитой,
Что зрели камень тот, мечем разбитый.

10

И говорит Роланд: «О Дурлиндана,
Когда бы ранее тебя узнал я,
Не в час кончины, о моя охрана, —

а Ронсеваль.
б О трижды, четырежды блаженные!
в *Морглейс* — меч изменника Гано (Ганелона).

Всем миром бы тогда пренебрегал я,
Час роковой не встретил бы так рано.
Но я, когда все подвиги свершал я,
Не зная доблести, в тебе таимой,
Щадил тебя, о меч мой досточтимый!»

11

Теперь идут печалящие строки:
Как стал Роланд на землю, на колени,
Слезой обильной омочились щеки.
Просил он у Турпина[а] отпущенья;
Благочестиво на духу пороки
Свои припоминал и согрешенья,
Все вины — покаянью предавался
И в трех деяньях грешных сознавался...

[а] *Турпин* — архиепископ.

БОЯРДО

Маттео Боярдо, граф Скандиано (Matteo Maria Bojardo, 1434—1494) — итальянский поэт, жил при феррарском дворе, занимал высокие гражданские, военные и придворные должности в герцогстве. Писал латинские эклоги, итальянские канцоны и сонеты, в которых подражал Петрарке, испробовал свои силы в комедиографии, переводил античных писателей. Его главное произведение — неоконченная рыцарская поэма в трех книгах «Влюбленный Роланд» (Orlando Innamorato, 1487), вызывавшая восхищение современников. Заимствуя фабулу своей поэмы из французского каролингского эпоса, Боярдо вместе с тем обрабатывает ее в духе куртуазных романов, преображая суровых героев chansons de geste в галантных рыцарей, во имя прекрасной дамы готовых на любые подвиги и приключения. Отныне влюблен и Роланд. Его пленила прекрасная Анджелика, дочь Галафрона, короля Катая. Ради нее он отправляется на Восток, где сражается с царем Татарии Агриканом, ведущим войну с отцом Анджелики. Роланд убивает Агрикана и освобождает столицу Катая Альбракку от осады (см. приводимый отрывок «Поединок Роланда с Агриканом»). Однако все усилия Роланда тщетны. Жестокосердая красавица не любит его, ей мил двоюродный брат Роланда — Ринальдо, но испив нечаянно из волшебного источника Ненависти, протекающего по Арденнскому лесу, она проникается ненавистью к рыцарю, которого только что так обожала. Как и в романах бретонского цикла, в поэме Боярдо одно приключение громоздится на другое, сюжетные линии прихотливо переплетаются, автор широко использует пестрый реквизит куртуазной фантастики (феи, великаны, волшебники, драконы, зачарованные кони, заколдованное оружие и т. п.), с мягкой иронией повествует он об удивительных и занятных похождениях своих героев, живущих по воле поэта в «блестящем и эфемерном мире любви и учтивости» (Гаспари), куда нет доступа плебейской буфонаде Пульчи, где все изысканно и аристократично.

Из «ВЛЮБЛЕННОГО РОЛАНДА»

ПОЕДИНОК РОЛАНДА С АГРИКАНОМ (кн. I, песня 18)

1

«Прошу тебя, как человека чести [1],
Скажи, — я жду правдивого ответа:
Ты ль тот Роланд, которого без лести
Высоко чтут во всех пределах света?
Как ты пришел? зачем ты в этом месте?
Влюблен ли так же, как в былые лета?
Ведь рыцарь без любовного порыва
Лишь с виду жив, но сердце в нем не живо».

---

[1] Говорит Агрикан, царь Татарии, влюбленный в Анджелику, обращаясь к Роланду, в котором он предчувствует своего грозного соперника.

2

Ответил граф: «я тот Роланд, которым
Убит Альмонт с Трояном, — было дело.
Всем пренебречь я вынужден Амором, —
Он вел меня до чуждого предела.
Раз занялись мы длинным разговором,
Узнай об этом сердце, — что всецело
Им ныне дочь владеет Галафрона,
Живущего в Альбракке без урона.

3

С ее отцом воюешь, хочешь кровью
Залить поля и сокрушить бойницы.
А я сюда был приведен любовью,
Единственно во славу той девицы.
По верности, по чести и условью
Я много раз касался узденицы.
Чтоб путь завоевать к прекрасной даме,
Я бьюсь, — иными не пленен мечтами».

4

Лишь Агрикан из речи убедился,
Что то — Роланд, в Анджéлику влюбленный,
В лице превыше меры изменился, —
Но скрыл волненье, ночью защищенный.
Душой, умом и сердцем распалился,
Стонал и плакал, как умалишенный, —
Удары сердца так в груди стучали,
Что чуть не умер он в своей печали.

5

Потом сказал Роланду: «Сам с собою
Поразмышляй, — едва лишь солнце глянет,
Мы выйдем в поле и приступим к бою,
И кто-нибудь из нас уже не встанет.
Так обращаюсь с просьбою одною:
Чтоб раньше, нежель этот суд настанет,
Желанную души своей царицу
Ты бы отверг и отдал мне девицу.

6

Не потерплю я, жизнь доколе длится,
Чтобы другой любил тот лик прелестный.
На утре дня один из нас лишится
Души своей и дамы в битве честной.

Никто, — один ручей, что здесь струится, —
Об этом будет знать, — да лес окрестный:
Что ты отверг ее в таком-то месте,
В какой-то срок, — не долог он, по чести».

7

Роланд ответил: «Не сдержать обета
Мне не случалось, если обещаю.
Но если я пообещаю это,
Хоть клятвенно, — не выполню, я знаю.
Глаза свои скорей лишу я света,
Сам собственное тело искромсаю, —
Без сердца и души мне легче влечься,
Чем от любви к Анджéлике отречься».

8

Царь Агрикан, пылавший свыше мочи,
Не потерпел такого возраженья,
И хоть была лишь середина ночи,
Сел на Баярда и в вооруженье,
Уверенно и гордо вскинув очи,
Вскричал и графа вызвал на сраженье,
Сказав: «Ты, рыцарь, о желанной даме
Теперь забудь иль ратоборствуй с нами».

9

Уже и граф схватил арчак рукою,
Лишь только царь задвигался, ревнуя;
Быть преданным языческой душою
Боялся он, и на коне гарцуя,
Отважной речью отвечал такою:
«Ее никак отвергнуть не могу я, —
И еслиб мог, все ж не отверг бы милой, —
А ты ее получишь — за могилой».

10

Как в море вихрь вдруг зашумит жестоко, —
Два рыцаря напали друг на друга,
На травяном лугу, в ночи глубокой;
Пришпорили коней, зажали туго,
Врага при свете лунном ищет око,
Безжалостны удары архалуга,
Затем, что каждый — доблестный боец...
Но замолкаю: песни здесь конец.

АРИОСТО

Лодовико Ариосто (Lodovico Ariosto, 1474—1533) — великий итальянский поэт. По воле отца (коменданта крепости в Реджо), посвятил себя изучению права, но вскоре оставил юриспруденцию и занялся литературой. Рано обнаружил творческие способности: писал стихотворения на итальянском и латинском языках, комедии. В 1503 г. поступил на службу к кардиналу Ипполиту д'Эсте, после смерти кардинала (1520 г.) перешел на службу феррарского герцога Альфонса. В 1522 г. был назначен губернатором Гарфаньяны, а в 1524 г. — директором феррарского театра. В Ферраре (с которой Ариосто был тесно связан всю жизнь) он провел остаток своих дней в довольстве и спокойствии, в маленьком домике, окруженном садом. Главное создание Ариосто — поэма в октавах «Неистовый Роланд» («Orlando fusioso», *46 песен*), над которой он работал в продолжение двадцати пяти лет (1507—1532 гг.), одно из наиболее красочных явлений литературы высокого итальянского Ренессанса. В поэме прихотливо переплетаются мотивы, почерпнутые из феодального эпоса (Каролинский цикл), куртуазного романа, античных поэтов (Вергилий, Овидий) и произведений писателей-новеллистов. Попутно (в образах Руджиеро и Брадаманты) прославляется величие дома д'Эсте. Служа как бы непосредственным продолжением рыцарской поэмы феррарского аристократа Боярдо (1434—1494 гг.) «Влюбленный Роланд» (в которой повествуется о любви Роланда к прекрасной Анджелике), поэма Ариосто по своим художественным достоинствам неизмеримо превосходит произведение Боярдо. Помимо «Неистового Роланда", Ариосто оставил еще ряд стихотворений, семь сатир в духе Горация, несколько комедий в манере Плавта и Теренция.

На русский язык «Неистовый Роланд» прозой переведен В. Зотовым, стихотворные переводы см. в кн. «Неистовый Роландо (в серии «Русская классная библиотека», под редак-

Ариосто (с гравюры по рисунку Тициана)

цией А. Н. Чудинова, СПБ, 1898 г.). Перевод избранных мест, пересказы и комментарии А. И. Курошевой под редакцией А. А. Смирнова, ГИХЛ, 1938 г. Перевод А. С. Пушкина, включенный в хрестоматию, при всех своих художественных достоинствах не является точным переводом, но скорее вольным пересказом поэмы Ариосто (отсутствие октав и пр.).

Из «НЕИСТОВОГО РОЛАНДА»

В центре поэмы Ариосто (представляющей собой сплетение ряда сюжетных линий, восходящих к неоконченной поэме Боярдо «Влюбленный Роланд») стоит эпизод, дающий произведению его заглавие: безумие Роланда (итал. Орландо, ср. перевод Пушкина). Боярдо изобразил знаменитого паладина влюбленным в катайскую принцессу Анджелику: Ариосто рисует роковые последствия этой любви.

«Анджелика, чарующая красота которой вызвала соперничество Ринальдо и Роланда, ускользнула из-под стражи мудрого герцога Немона, на попечение которого оставил ее Карл Великий; она идет по свету, продолжая обманывать своими хитростями рыцарей, которые ее преследуют, оспаривают друг у друга и иногда спасают от величайших опасностей. Тем не менее, однажды она в свою очередь попадает в сети любви: один сарацинский воин, смертельно раненый, которого она находит на своем пути, заинтересовал ее своей молодостью, героизмом и красотой; она заботится о нем, выхаживает его; но в то же время гордая вероломная кокетка побеждена сама. В скромном жилище пастуха, где Медоро вернулся к жизни и где Анджелика сдалась любви, совершилось соединение влюбленных, и в соседней долине кора всех деревьев, поверхность всех скал свидетельствуют о их взаимной нежности пламенными надписями, в которых переплетаются имена Анджелики и Медоро. Роланд, с своей стороны неустанно преследующий неуловимую красавицу, приходит в эти края, когда влюбленная пара уже улетела оттуда: его глаза повсюду видят неопровержимые доказательства любви, соединившей мятежницу с неизвестным воином. Это выше его сил; от удивления, печали, бешенства и ненависти он теряет рассудок: разоряет долину, сокрушает скалы, валит деревья, бывшие свидетелями его несчастья; по мере возрастания его безумия силы его удесятеряются; он бросает оружие, рвет на себе одежду и поднимается, все еще страшный и величественный в своей наготе наподобие сорвавшегося с цепи зверя, все сокрушая на своем пути, грабя города и деревни, убивая всех, кто ему сопротивляется. Так он проходит Францию, идет вдоль берегов Испании и, переправившись вплавь через Гибралтарский пролив, выходит в Африку, отвратительный и жалкий.

Около этого центрального эпизода, десятки раз прерываемого и опять возобновляемого, вырастает целый лес эпизодов второстепенных, закрывающих и заглушающих эпизод центральный. Из них выдается особенно один, который поэт обработал с заметным удовольствием: это — любовь, уже намеченная Боярдо в конце поэмы, между молодым сарацинским героем Руджиеро и воинственной девой Брадамантой, сестрой Ринальдо. От их сочетания должна произойти фамилия д'Эсте, к этим объясняется обстоятельность, с которой развивается этот эпизод, особенно в последних песнях. Уведенный во Францию завоевателями-сарацинами Руджиеро, за которым ревниво следит волшебник Атлант, старающийся отнять у него предназначенную ему судьбу, сначала заключен в заколдованный замок. При помощи волшебницы Мелиссы Брадаманта его освобождает, но Руджиеро улетает на гиппогрифе (крылатый конь) с глаз своей плачущей красавицы и переносится на остров волшебницы Альцины, откуда Мелиссе удается его освободить. Однако Атлант вновь расставляет ему сети, и Брадаманта, у которой единственная мечта — соединиться со своим возлюбленным, дает себя также заключить в замке хитрого волшебника; каждый день она встречает там Руд-

жиеро, они разговаривают, но не узнают друг друга, пока, наконец, Астольфо, рыцарь пустой и легкомысленный, забавный силуэт которого начертил уже Боярдо, не разрушил чар».

Но тут влюбленную пару ожидают новые испытания, которые связаны с происшествиями, образующими основу картины, — с войною, внесенною сарацинами в недра французского королевства. «Рассказ Боярдо остановился на том, что войско Аграманта (сарацинского короля), победив христиан, готово осадить Париж и произвести последний приступ на город. Ариосто рассказал с большим количеством деталей эту решительную фазу войны (песнь XIV и след.); после некоторых актов героизма с той и другой стороны смерть Дардинелло, которого убил Ринальдо, является сигналом к отступлению. Сарацины, которым удалось спастись, сосредоточиваются в Провансе, где Аграмант пытается создать новое войско около Арля. Руджиеро, давший присягу Аграманту, не может, не обесчестив себя, оставить свой пост в минуту опасности; поэтому он сообщает Брадаманте, что он видит себя обязанным отложить на время свой переход в христианство, чтобы стать ее супругом. Брадаманта огорчена, а кроме того ее сердце мучит ревность, когда она узнает, что Руджиеро охотно сражается в компании с некой Марфизой, столь же прекрасной, как и мужественной. Воинственная дева, выбивавшая из седла столько раз лучших рыцарей, теперь плачет в своей одинокой комнате. Однако впоследствии она узнает, что Марфиза — родная сестра Руджиеро; последний, желая следовать в Африку за Агрmaнтом, побежденным и вынужденным переправиться обратно через море, терпит кораблекрушение и пристает к острову, где пустынник его крестит. Разные случайности заставляют еще откладывать брак; и прославление юного героя становится полным лишь тогда, когда он во время самой свадьбы своей, вызванный на бой Родомонтом (знаменитый сарацинский витязь), который называет его клятвопреступником и вероломным, убивает в единоборстве этого последнего оставшегося в живых сарацинского борца».

Между тем Роланд «исцелился чудесным образом от своего безумия благодаря вмешательству веселого Астольфо. Последний после чудесных путешествий на гиппогрифе и не менее изумительных приключений в Нубии посещает ад, земной рай и даже луну, где, между прочим, в одной долине находятся все предметы, которые теряют люди на земле: слезы и вздохи влюбленных, неисполнившиеся предположения, тщетные желания, подарки, поднесенные государям и вельможам, милостыня, оставляемая по смерти, дар Константина папам и пр., а «также то, что чаще всего теряется: человеческий разум». Астольфо без труда узнает разум Роланда, содержащийся в большем и более тяжелом флаконе, чем разум других людей; ему остается только дать несчастному паладину подышать содержимым этого флакона. Тогда Роланд опять начинает принимать участие в деле: именно он убивает Аграманта. Но все-таки он отходит на второй план и оставляет первое место Руджиеро» (Оветт). Наряду с указанными эпизодами в поэме Ариосто имеется еще огромное количество эпизодов «частью трогательных и романтических, частью комических и нескромных», изложение которых не является в данном случае необходимым.

НАЧАЛЬНЫЕ ОКТАВЫ

ПЕСНЬ I

1

Дам, рыцарей, оружие, влюбленность
И подвиги и доблесть я пою
Времен, когда, презревши отдаленность,
Стремили мавры за ладьей ладью
На Францию; вела их разъяренность

Владыки Аграманта, чтоб в бою
Смять Карла императора и рьяно
Отмстить ему за смерть отца — Трояна

2

И о Роланде в песне расскажу я
Безвестное и прозе и стихам:
Как от любви безумствовал, бушуя,
Еще недавно равный мудрецам, —
Все это я исполню, торжествуя,
Коль бедный разум сохраню я сам,
Уже едва ль оставленный мне тою,
Что не Роландом завладела — мною.

3

Потомок Геркулеса благородный,
Краса и гордость века — Ипполит[a],
Прими сей труд, не пышный, но свободный,
Твой верный раб тебе его дарит.
Моя да будет воля не бесплодной:
Пусть долг великий песня возместит
Не до конца; но я борзт лишь ею —
И все тебе несу, чем сам владею.

4

Среди достойнейших к тому герою
Хвалебной песнью скоро воззову,
Кого зовешь Руджьером, чтя душою
В нем славных предков ветхого главу.
Его дела бряцать я лиру строю;
Склони же слух к благому торжеству,
И дум твоих — как думы ни высоки —
Да не смутят моих напевов строки.

РУДЖИЕРО НА ОСТРОВЕ АЛЬЦИНЫ[1]

ПЕСНЬ VI

57

К коню крылатому подходит рыцарь,
Ведет его за повод, отвязав,
Но уж в седло, как прежде, не садится,
Чтоб не унес опять его стремглав.
Как в царство Лоджистиллы возвратиться,

[a] *Ипполит д'Эсте* — герцог Феррары.

Он думает, коня смиряя нрав.
Все предпринять готов он был бы ныне —
Не хочет лишь подвластным быть Альцине.

58

Хотел он вновь поставить ногу в стремя
И в воздух путь направить, как тогда;
Но конь его смущает в то же время:
Ему несносна узкая узда.
«Пробьюсь я силой — мне не страшно бремя»
(Так думал он). Увы — опять беда:
Пути он не свершил и половины,
Как увидал прекрасный град Альцины.

59

Издалека увидел он: стеною
По кругу местность вся обведена;
С небесною сравнявшись вышиною,
Вплоть до зубцов из золота она.
Иль скажет кто, не согласясь со мною:
«Алхимиком устроена стена?»
Быть может, он и лучше смыслит дело,
Но та стена, как золото, блестела.

60

Едва сверкнула перед ним твердыня,
Которой на земле подобной нет,
Покинул он тропу, что на равнине
К воротам прямо пролагала след,
И в горы путь направил, где в теснине
Укрыться легче от нежданных бед.
Толпа его, однако, обступила
И дальше путь со злобой преградила.

61

Страшнее и причудливей созданий
Не видел до сих пор никто живой:
Здесь карла с головою обезьяньей,
Там исполин с кошачьей головой;
Вот козлоногих стая, легче ланей,
Кентавры скачут,, слышен гам и вой;
Юнцы бесстыдные, шуты седые,
Те в редкостных мехах, а те нагие.

62

Повсюду топот конский иль ослиный
Тех на себе везет ленивый вол,
Одни кентаврам взобрались на спины,
Тем служит цапля, страус иль орел.
Есть женщины средь них и есть мужчины,
А те являют мужеженский пол.
Те лестницу веревочную, эти
Напилок держат, и отмычку — третьи.

63

Затем и предводитель показался —
Пузатый, с раскрасневшимся лицом;
Он шагом еле-еле подвигался —
На черепахе он сидел верхом.
Его держала свита; он шатался,
И взор его был отягчен вином.
Лицо ему иные утирали
И тканями прохладу навевали.

64

Чудовище с собачьей головою
И с телом человеческим от пят
Залаяло, чтоб тою же тропою
Вернулся Руджиеро в дивный град.
Но тот в ответ: «Пока своей рукою
Держу я это — не ступлю назад».
И тут он обнажил свой меч булатный
Пред самой пастью чудища отвратной.

65

Чудовище мгновенно отступает
И хочет в рыцаря метнуть копье,
Но тот ему живот мечом пронзает,
Так что насквозь выходит острие.
Щитом закрылся он, толпа смыкает
Вокруг него тесней кольцо свое.
Секирой тот разит, а этот — пикой;
Но рыцарь отражает натиск дикий.

66

Один рассечен до зубов сурово,
Другой заколот прямо в грудь лежит —
Затем, что выдержать меча такого

Не может ни броня, ни шлем, ни щит.
Расчистил Руджиеро путь, но снова
Его толпа несметная теснит.
И надо, чтоб успешно биться с нею,
Сторуким быть, подобно Бриарею [а].

67

Но если б щит раскрыл он в то мгновенье,
Что был у Чародея на руке, —
Чудесный щит, что омрачает зренье [б]
(Атлант его оставил на луке) —
Навел бы он на чудищ ослепленье,
И тотчас бы пред ним упали все.
Однако он пускает в ход не чары,
А только своего меча удары.

68

Но пленным стать у гнусного народа
Не хочет он, скорей погибнуть рад,
Но тут в стене раскрылись двери входа
(Как я сказал, слепил он златом взгляд),
Две вышли девы — не худого рода,
О том твердит осанка и наряд —
Воспитанные не в пастушьих хатах,
А, верно, в пышных царственных палатах.

69

И та и эта — на единороге,
Что с горностаем спорит белизной.
И та и эта столь прекрасно строги
И с женщиной несхожи ни с одной,
Что надобно всезрящим быть, как боги,
Чтоб оценить их истинной ценой:
Подобною предстали бы четою
Лишь Прелесть с воплощенной Красотою.

70

И та и эта путь свой направляют
Туда, где рыцаря толпа теснит,
Чудовища мгновенно исчезают,

[а] *Бриарей* — сторукий великан, помогавший олимпийским богам в их борьбе с гигантами.

[б] Волшебный щит, с помощью которого чародей Атлант ослеплял своих противников. Победив чародея, Брадаманта наряду с гиппогрифом овладела и этим щитом. См. примечания в конце книги.

А рыцарь (чье лицо зарей горит)
Протянутую руку принимает
И дев за доброту благодарит.
Прекрасным он готов теперь в угоду
Вернуться с ними к золотому входу.

71

Там выступ в вышине над воротами,
Украшенный резьбою, возведен.
Востока драгоценными камнями
Усеян щедро он со всех сторон
И четырьмя огромными столпами
Из цельного алмаза утвержден.
И подлинен иль ложен блеск алмаза,
Нет ничего отраднее для глаза.

72

Толпою резвой всюду — слева, справа —
Мелькают девушки среди колонн;
Когда б они хранили строгость нрава,
Красой их был бы рыцарь восхищен.
Их платья зеленее, чем дубрава.
Венок на каждой из листвы сплетен.
Встречают Руджиеро милым смехом
И манят в рай, к веселью и к утехам.

73

Уместно дать название такое.
Сама Любовь здесь, верно, родилась.
Тут пляски, ликование большое
И в празднествах проходит каждый час.
Ничто во век не возмутит покоя,
Не омрачит докучной думой глаз.
Нужда и страх остались за порогом.
Царит здесь Изобилье с полным рогом.

74

С безоблачным челом Апрель веселый
Глядит всегда на юношей и дев.
Здесь у ручья звучит игра виолы
И раздается сладостный напев,
Там стройный танец оживляет долы,
Ведут беседу здесь в тени дерев,
А там один влюбленный в отдаленье
Наперснику вверяет огорченье.

Иллюстрация XVI в. к поэме Ариосто «Неистовый Роланд».

75

Меж сосен, елей темных и косматых,
Высоких буков, лавровых ветвей,
Амуров рой, беспечных и крылатых,
Скользит, победе радуясь своей;
Иные для сердец, огнем объятых,
Украдкой расставляют ряд сетей;
Тот стрелы закалить в потоке хочет,
А тот на камне их искусно точит.

76

Скакун огнисто-рыжий, с ярым взором
Был к Руджиеро приведен сюда.
Седло расшито золотым узором,
Украшена каменьями узда.
А гиппогриф оставлен под надзором
Оруженосца. Тот за повода
Берет коня и, совладав с упрямым,
Ведет его вслед рыцарю и дамам.

77

Две юных девы, красотой сияя
(Те, что пришли спасительной четой,
Когда, себе дорогу пролагая,
Сражался рыцарь с мерзкою толпой),
Ему сказали: «О синьор! Нет края,
Где не слыхали бы, что вы — герой.
Теперь для своего мы просим блага:
Пусть ваша нам содействует отвага.

78

Увидите вы, топкою ложбиной
Равнина поперек разделена.
Там, хитростью иль силою звериной,
Злодейка, Эрифилой прозвана,
Всем преграждает путь чрез мост пустынный;
И роста исполинского она,
С когтями, страшными своей длиною,
И с ядом напоенною слюною.

79

И ей в неукротимой злобе мало
Всем по дороге возбранять проход —
В наш сад она нередко проникала,
Рубя нещадно все, что в нем цветет.
В толпе ужасной, что на вас напала,
Когда вы очутились близ ворот,
Немало сыновей, рожденных ею
И ей подобных яростью своею».

80

«Не битву, нет, — ответил Руджиеро,
Сто битв для вас я выдержать готов.
Обманута не будет ваша вера;
Располагайте мной — жду ваших слов.
С корыстных душ я не беру примера,
Не злата я ищу, не городов,
Но меч готов поднять за всех несчастных,
Тем более — за дам, как вы, прекрасных».

81

Его благодарят они учтиво;
Достоин рыцарь этого вполне.
Беседуя, идут неторопливо

И видят берег, мост и в глубине
Той великанши образ горделивый
В сапфирами украшенной броне.
Но кто в опасной схватке был сильнейшим,
Об этом я поведаю в дальнейшем.

БЕЗУМИЕ РОЛАНДА

ПЕСНЬ XXIII

100

Пред рыцарем блестит водами
Ручей прозрачнее стекла.
Природа милыми цветами
Тенистый берег убрала
И обсадила древесами.

101

Луга палит полдневный зной,
Пастух убогий спит у стада;
Устал под латами герой:
Его манит ручья прохлада.
Здесь мыслит он найти покой.
О черный день, о день несчастный!
Приют несносный и ужасный
Он здесь нашел...

102

Гуляя, он на деревах
Повсюду надписи встречает;
Он с изумленьем в сих чертах
Знакомый почерк замечает.
Невольный страх его влечет:
Он руку милой узнает.
И в самом деле, в жар полдневный
Медор с катайскою царевной
Из хаты пастыря сюда
Сам-друг являлся иногда.

103

Орланд их имена читает,
Соединенны вензелем;
Их буква каждая гвоздем
Герою сердце пробивает.
Стараясь разум усыпить,

Он сам с собою лицемерит,
Не верить хочет он, хоть верит:
Он силится вообразить,
Что вензеля в сей роще дикой
Начертаны все, может быть,
Другой, не этой Анджеликой.

104

Но вскоре витязь молвил так:
«Однако ж, эти мне черты
Знакомы очень... разумею:
Медор сей выдуман лишь ею.
Под этим прозвищем меня
Царевна славила, быть может...»
Так, басней правду заменя,
Он мыслит, что судьбе поможет.

105

Но чем он более хитрит,
Чтоб утушить свое мученье,
Тем пуще злое подозренье
Возобновляется, горит.
Так в сетке птичка, друг свободы,
Чем больше бьется, тем сильней,
Тем крепче путается в ней;
Орланд идет туда, где своды
Гора склонила на ручей.

106

Кривой, бродящей повиликой
Завешан был тенистый вход.
Медор с прелестной Анджеликой
Любили здесь, у свежих вод,
В день жаркий, в тихий час досуга,
Дышать в объятиях друг друга.
И здесь их имена кругом
Древа и камни сохраняли:
Их мелом, углем иль ножом
Везде счастливцы написали.

107

Туда пешком печальный граф
Идет, и над пещерой темной
Зрит надпись — в похвалу забав
Медор ее рукою томной

В те дни стихами начертал.
Стихи, чувств нежных вдохновенье,
Он по-арабски написал
И вот их точное значенье:

108

«Цветы, луга, ручей живой,
Счастливый грот, прохладны тени —
Приют любви, забав и лени,
Где с Анджеликой молодой,
С прелестной дщерью Голофрона,
Любимой многими, порой
Я знал утехи Купидона!..
Чем, бедный, вас я награжу,
Так часто вами охраненный?
Одним лишь только услужу —
Хвалой и просьбою смиренной.

109

Господ любовников молю,
Дам, рыцарей и всевозможных
Пришельцев здешних иль дорожных,
Которых в сторону сию
Фортуна заведет случайно,
На воды, луг, на тень и лес
Зовите благодать небес:
Чтоб нимфы их любили тайно,
Чтоб пастухи к ним никогда
Не гнали жадные стада».

110

Граф точно так, как по-латыни,
Знал по-арабски; он не раз
Спасался тем от злых проказ,
Но от беды не спасся ныне!

111

Два, три раза, и пять, и шесть
Он хочет надпись перечесть;
Несчастный силится напрасно
Сказать, что нет того, что есть.
Он правду видит, видит ясно,
И нестерпимая тоска,
Как бы холодная рука,

Сжимает сердце в нем ужасно,
И, наконец, на свой позор
Вперил он равнодушный взор.

112

Готов он в горести безгласной
Лишиться чувств, оставить свет;
Ах, верьте мне, что муки нет,
Подобной муке сей ужасной!
На грудь опершись бородой,
Склонив чело, убитый, бледный,
Найти не может рыцарь бедный
Ни вопля, ни слезы одной.

129

Всю ночь в лесу бесцельно рыцарь бродит,
Но вот заря проникла в темный бор,
И вновь судьба туда его приводит,
Где написал стихи свои Медор;
Он тот же грот и тот же ключ находит,
Вновь на скале читает свой позор.
Роланд стоит безмолвен, грозен, мрачен,
Он яростью, он бешенством охвачен.

130

Он вырвал меч; он рубит надпись, рубит
Несчастный грот — обломки к небесам,
Как пыль летят; он все деревья губит,
Где вензель есть; он все ломает там.
Отныне пусть тот грот никто не любит, —
Там не найти пристанища стадам,
Там тени нет, там больше нет прохлады,
Там даже ключ не получил пощады.

131

В него Роланд, безумным гневом полный,
Бросал стволы и камни; и тогда
Взмущенные вмиг потемнели волны
И мутными остались навсегда,
А сам Роланд, угрюмый, недовольный,
Победою, не стоившей труда,
На светлый луг упал и смотрит смутно
И в небеса вздыхает поминутно.

132

На светлый луг упал, тоской томимый,
И смутный взор вперил он в небеса;
И три дня так, без пищи, недвижимо
Он здесь лежал и не смыкал глаза.
И солнце жгло, и проходило мимо,
И падала вечерняя роса,
Но вот настал четвертый день, и шумно
Роланд встает, неистовый, безумный.

133

Роланд встает; нагрудник золоченый
Ломает он, ломает крепкий щит
И все с себя срывает, исступленный,
Там брошен меч, там грозный шлем лежит.
. .

САННАДЗАРО

Джакопо Саннадзаро (Jacopo Sannazaro, 1458—1530) — неаполитанский поэт. Родился в Неаполе. Был близок с гуманистом Понтано, являлся членом понтановской академии. В течение многих лет преданно служил государям Аррагонского дома. Когда Испания подчинила себе Неаполь, Саннадзаро добровольно сопровождал последнего из аррагонских королей в изгнание во Францию. Лишь после смерти своего господина (1504 г.) он вернулся на родину. Здесь он вел уединенную жизнь, отдавая всю свою энергию литературе и науке.

В качестве придворного поэта он писал «фарсы», комические монологи, развлекавшие придворное общество, любовные стихотворения во вкусе Петрарки, эклоги и пр. Значительную известность в гуманистических кругах ему доставили стихотворения на латинском языке. Однако его европейская известность покоится на пасторальном романе «Аркадия» («Arcadia», написан между 1481 и 1486 гг., дополнен между 1502 и 1504 гг., издан в 1504 г.), оказавшем решающее влияние на развитие пасторального жанра в европейской литературе XVI—XVII вв. («Диана» Монтемайора, 1559 г., «Галатея» Сервантеса, 1585 г., «Аркадия» Лопе де Вега, 1598 г., «Аркадия» Сиднея, 1580 г., «Астрея» д'Юрфе, 1610—1619 гг. и др.). Прозаический текст романа перемежается стихотворными эклогами, и в нем сказываются влияния Феокрита, Вергилия, Овидия, Кальпурния и «Аметo» Боккаччо.

ЭРАСТ НАД МОГИЛОЙ ПАСТУХА АНДРОДЖЕО

ЭКЛОГА

Душа блаженная, тобою
Земные сброшены покровы,
Ты вознеслась на небеса нагая;
Там вместе со своей звездою
Ликуешь ты в одежде новой,
Все помыслы земные презирая;
Сверкаешь ты меж духов рая
Вовек немеркнущим светилом;
Незримых нам путей вселенной
Касаешься стопой священной;
Средь миртов, у ключей с журчаньем милым,
Блуждая с черными стадами,
Любовным взором ты следишь за нами.

Другие рощи, долы, горы
Ты зришь в обители небесной
И дивные цветы другой окраски;

Другие фавны жадно взоры
Вперяют в нимф, чей бег прелестный
Лишь ненадолго отдаляет ласки.
Наш Андроджео, словно в сказке,
Сидит среди благоуханий
Меж Дафною и Мелибеем,
Склонившись к розам и лилеям,
С певучею своей волынкой в длани;
Его напевы неземные
Смиряют непокорные стихии.

Как старый вяз без прутьев хмеля,
Иль стадо без быка, иль поле
Без злака, что колышется волнами,
Мы словно все осиротели
С тех пор, как не пасешь ты боле
Своих овечек, Андроджео, с нами.
Нет от тебя, о смерти пламя,
Пощады никому на свете!
Другого пастуха такого
Нам встретить доведется ль снова?
Когда он пел, листвою рощи эти
Вдруг покрывались, и под тенью
Скрывалось звонкое ручьев теченье.

Узнавши о твоей кончине,
Святые нимфы возрыдали;
Грустят поляны, буки и пещеры;
Ручьи застыли в злой кручине,
Поникли травы от печали,
И солнце светит из-под дымки серой.
Лесная дичь в тоске без меры
Скрывается в глубокой чаще,
Стада пастись не идут в горы,
Трава не радует их взоры,
Исполненные жалостью щемящей.
Стенает эхо без ответа:
«О Андроджео, Андроджео, где ты?»

Отныне поселяне края
С дарами у твоей могилы
Сходиться будут, свято чтимой ими.
От уст к устам перелетая,
Как некий голубь легкокрылый,
Средь них твое бессмертно будет имя,
Всех остальных имен любимей.
Не поглощен жестокой Летой,
Покуда рыбы в струях плещут,
Пока средь терна змеи блещут,

Ты будешь жить не только в песне этой,
Но в тысяче пастушьих песен,
Чей голос благостен и полновесен.

Дубы густые, проявите ласку,
Склонитесь над святой могилой,
Ее накройте вашей сенью милой.

Из «АРКАДИИ»

ПОДЗЕМНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ АРКАДИИ В НЕАПОЛЬ

[Огорченный презрением красавицы к своей любви, герой произведения покидает Неаполь и ищет убежища в благословенной Аркадии. Там он живет одной жизнью с пастухами, буколические нравы которых Саннадзаро описывает в ряде живых картин. Любовные жалобы поселян, их поэтические состязания, игры, празднества, охоты и погребения проходят в романе пестрой чередою. Наконец некая нимфа проводит героя пасторали по таинственным путям подземного мира на родину (см. приводимый отрывок «Подземное путешествие из Аркадии в Неаполь»). Здесь он узнает о смерти своей красавицы. Пастораль завершается горестным обращением несчастного любовника к пастушеской флейте.]

...Я не мог больше спать, и, чтобы облегчить свои муки, я был вынужден встать, и хотя еще была ночь, я вышел через туманные поля. Таким образом, шаг за шагом, не зная сам, куда мне следует пойти, руководствуясь фортуной, я пришел, наконец, к подошве горы, откуда двигался большой поток с удивительным гулом и грохотом, особенно в этот час, когда не слышно было никакого другого шума. Я стоял там довольно долго, пока Аврора не начала розоветь на небе, пробуждая повсюду смертных к их трудам; после того, как я обратился к ней с униженной просьбой поспешествовать моим снам, мне показалось, что она меня мало слушала и еще менее заботилась о моих словах. Но от соседнего потока, — без того, чтобы я заметил, каким образом, — мне вдруг предстала молодая девушка, весьма красивая с виду, с действительно божественными телодвижениями и походкой. Ее одежда была из тончайшего шелка, столь светящегося, что, если бы я не видел его нежности, то сказал бы, наверное, что она из кристалла; на голове она носила зеленую гирлянду, в руке у нее была ваза из белейшего мрамора. Подойдя ко мне и сказавши мне: «Следуй за моими шагами, ибо я Нимфа здешних мест», она внушила мне одновременно такое почтение и страх, что я остался пораженным, ничего не ответив ей и не зная сам, бодрствую ли я или еще сплю, я пошел вслед за ней. И подошедши с ней к потоку, я увидел вдруг, как воды сжимаются с той и другой стороны, оставляя свободное место в середине: вещь действительно странная для виду, ужасная для мысли, чудовищная и, может быть, невероятная для слуха. Я колебался, пойти ли мне рядом с ней, и я со страху уже остановился на берегу; но она любезно придала мне смелости, взяла меня за руку и, ведя меня с величайшей любовью, привела к середине

реки; там, следуя за ней, не омочив ног, я увидел себя окруженным со всех сторон водами, как будто я шел по узкой долине и видел, как надо мною возвышаются две крутые плотины или два низких холма. Мы, наконец, пришли к гроту, откуда истекала вся эта вода, а затем к другому, своды которого, как мне казалось, были целиком сделаны из шероховатой пемзы; во многих местах там висели капли замороженного кристалла, а внутри стен были поставлены, в виде украшения, морские раковины; земная почва была вся покрыта мелкой и густой зеленью, с каждой стороны были весьма красивые седалища и колонны из прозрачного стекла, поддерживающие невысокую крышу. И там внутри, на зеленых коврах, мы нашли нескольких Нимф, сестер ее, которые через белые и тончайшие сита просеивали золото, отделяя его от мельчайшего песку; другие пряли и вводили его в мягчайшую шерсть, которую они вместе с разноцветным шелком сплетали в полотно с удивительным искусством; но для меня содержание его служило несчастнейшим предвещанием будущих слез. Ибо, войдя туда, я нашел случайно между многими вышивками, которые они держали в руках, злосчастные события печальной Эвридики: как, будучи укушена ядовитым аспидом в белую ногу, она принуждена была испустить свою прекрасную душу и как потом, чтобы получить ее обратно, сошел в Ад и найденную потерял второй раз ее забывчивый муж. Увы, увидев это, какое потрясение я почувствовал в своей душе, вспомнив прошедшие сны, и мое сердце стало предвещать мне, не знаю что; так что, не желая этого, я нашел, что мои очи омочены слезами, и когда я увидел это, я истолковал это в зловещем смысле. Но Нимфа, ведшая меня, может быть, сжалясь надо мною, вывела меня оттуда и заставила меня пройти дальше в более обширное и пространное место, где видны были многие озера, многие источники, многие пещеры, источавшие воды, откуда берут свое начало потоки, бегущие по земле. О, удивительное искусство великого бога! Земля, которую я считал твердой, заключает в своем чреве столько углублений. Я тогда перестал изумляться тому, что потоки столь изобильны и что они сохраняют вечно свои русла при недостатке жидкости. Так, продвигаясь все дальше, изумленный и ошеломленный великим шумом вод, я шел, удивляясь и не без некоторого страха рассматривая характер местности, где я находился. Заметив это, моя Нимфа сказала мне: «Оставь эти мысли и прогони от себя всякий страх: ибо не без воли неба ты делаешь ныне этот путь. Потоки, названия которых ты слышал столько раз, я хочу, чтобы ты теперь увидел, откуда они берут свое начало. Тот, который бежит столь далеко отсюда, это — холодный Дон; этот другой — великий Дунай, этот — славный Меандр; этот другой — старый Пеней; ты видишь Каистр; ты видишь Ахелой; ты видишь блаженный Эврот, которому позволено было столько раз слушать поющего Аполлона. И так как я знаю, что желаешь видеть свои потоки, которые, может быть, ближе к тебе, чем ты думаешь, то знай, что тот, которому все другие оказывают такой почет, это — триумфальный Тибр, который, в отличие от

других, увенчан не ивами и камышами, а вечнозелеными лаврами благодаря непрерывным победам его сынов; другие два, которые ближе к нему, это—Лирис и Вультурн, которые счастливо пробегают по плодоносным царствам твоих древних предков». Эти слова пробудили в моей душе такое сильное желание, что я не мог больше хранить молчание и сказал так: «О, моя верная спутница, прекраснейшая Нимфа, если между столькими великими потоками мой маленький Себет может иметь какое-либо имя, то я прошу тебя, чтобы ты указала мне его». «Ты его хорошо увидишь, — сказала она, — когда ты будешь к нему ближе: ибо теперь ты не можешь видеть его ввиду его низкого уровня». И желая сказать еще что-то, она замолчала. Со всем тем, наши шаги не замедлились, но, продолжая наш путь, мы шли через эту великую пустыню, которая то сужалась в самые тесные тропинки, то расширялась в открытые и широкие равнины, где мы находили горы и долины, подобно тому, как мы это видим здесь, на земле. «Ты бы удивился, — сказала мне Нимфа, — если бы я тебе сказала, что теперь над твоей головой находится море и что здесь влюбленный Алфей, не смешиваясь с ним, по тайному пути находит сладкие объятия сицилийской Аретузы». Говоря так, мы начали издали замечать большой огонь и чувствовать зловоние серы. Увидя, что я остановился изумленный, она мне сказала: «Муки пораженных молнией гигантов, которые хотели взять приступом небо, — причина этого; придавленные массивными горами, они все еще выдыхают небесный огонь, которым они были поражены: отсюда происходит, что, в то время как в других местах пещеры изобилуют жидкими водами, они здесь горят живым пламенем; и если бы я не опасалась, что ты, может быть, слишком испугаешься, то я бы тебе показала гордого Энцелада, распростертого под великой Тринакрией и изрыгающего огонь через расселины Этны; точно так же пылающую кузницу Вулкана, где обнаженные Циклопы над звучными наковальнями изготовляют громы для Юпитера; и затем, под славной Энарией, которую вы, смертные, называете Искией, я бы тебе показала яростного Тифея, от которого берут свой жар кипящие воды Байи и ваши горы из серы; точно так же под великим Везувием я бы заставила тебя почувствовать ужасный рев гиганта Алционея, хотя я думаю, что ты его услышишь, когда мы приблизимся к твоему Себету. Было время, когда к своему ущербу его почувствовали все окрестности, когда он покрыл прилегающие страны бурным пламенем и пеплом, как об этом свидетельствуют ясно сожженные и расплавленные камни; кто бы поверил, что под ними погребены народы, виллы и знатнейшие города, как это случилось в действительности не только с теми местами, которые были покрыты горящей лемзой и обломками горы, но и с тем местом, которое мы видим перед нами. Этот, без всякого сомнения, славный город, называвшийся некогда в твоих странах Помпеями и орошавшийся волнами прохладнейшего Салерна, был, вследствие внезапного землетрясения, поглощен землей, потеряв, я думаю, под собой твердь, на которой он был основан. Странный,

действительно, и ужасный способ смерти, увидеть, как в одно мгновение живые люди уносятся из числа живых!» При этих словах мы уже были близко к городу, о котором она говорила; уже можно было почти целиком различать его башни и дома, и театры, и храмы. Я удивился нашему быстрому хождению, что в столь краткий промежуток времени мы смогли прибыть из Аркадии сюда: но можно было ясно узнать, что нас толкала сверхчеловеческая сила. Таким образом, мы начали понемногу различать мелкие волны Себета. Нимфа, увидев, что я обрадовался, испустила глубокий вздох и с жалостью, обратившись ко мне, сказала: «Теперь ты можешь сам пойти»; сказавши это, она исчезла и не появлялась больше перед моими очами. Я остался в этом одиночестве испуганный и грустный и, увидев себя без спутницы, едва бы имел духу двинуться хотя на шаг, если бы не увидел перед моими глазами возлюбленного ручейка. Приблизившись к нему после краткого промежутка времени, я пошел вперед, жадно ища глазами, не сумею ли увидеть начало, откуда движется вода: ибо казалось, что с каждым шагом течение ручейка увеличивается и приобретает большую силу. Таким образом, направляясь по скрытому каналу, я ходил туда и сюда, пока, наконец, не дошел до грота, вырытого в суровом туфе, где увидел сидящего на земле почтенного бога, опирающегося левым боком на каменную вазу, выбрасывающую воду; эту последнюю он увеличивал струей, непрерывно падавшей с его лица, волос, головы и влажной бороды. Его одежды, казалось, состояли из зеленого ила; в правой руке он держал тонкую трость, на голове его была корона, сплетенная из камыша и других трав, растущих на тех же водах; он был окружен Нимфами, которые все плакали и без всякого порядка и достоинства, бросившись на землю, не подымали своих лиц. Когда я увидел это, то печальное зрелище открылось перед моими глазами; я уже начал понимать, по какой причине меня покинула моя спутница. Но, находясь здесь, не решаясь вернуться назад и не принимая никакого другого решения, грустный и полный подозрений, я наклонился, чтобы сперва поцеловать землю, а затем начал говорить следующие слова: «О, жидкий поток, о, царь моей страны, о, приятный и милый Себет, который орошает своими ясными и прохладнейшими водами мое прекрасное отечество, пусть бог тебя вознесет; пусть бог вас вознесет, о, Нимфы, благородные потомки вашего отца; будьте, прошу вас, благосклонны к моему приходу; примите меня приветливо и благосклонно среди ваших лесов. А ты, жестокая фортуна, ты, что привела меня сюда через различные испытания, примирившаяся со мной или насытившаяся моими трудами, сложи, наконец, оружие».

БЕМБО

Пьетро Бембо (Pietro Bembo, 1470—1547) — писатель-гуманист, законодатель итальянской поэзии начала XVI в. Родился в Венеции, получил гуманистическое образование, в 1506 г. был при урбинском дворе, в 1513 г. сделался секретарем папы Льва X, в 1529 г. получил должность историографа Венецианской республики, в 1539 г. принял кардинальский сан. Бембо оказал большое влияние на развитие итальянской литературы XVI в. Он боролся за чистоту итальянского литературного языка, указывая как на образец, достойный подражания, на творчество великих писателей-флорентийцев XIV в. Особенно высоко он ценил Петрарку, и Боккаччо, от языковых канонов которых он предлагал не уклоняться в сторону живой разговорной речи. Опираясь на авторитет Петрарки, которого он почитал высшим проявлением «хорошего вкуса» в поэзии, Бембо повел также борьбу с прециозным стилем галантной лирики конца XV в. Как поэт и теоретик Бембо канонизировал поэтическую манеру Петрарки, его лирические жанры, образы, эпитеты и пр., положив таким образом основание для широкого развития поэзии петраркистов XVI в., видевших в Бембо своего признанного главу. Большое влияние на современников оказала его книга диалогов, посвященная Лукреции Борджиа, «Азоланские беседы» (Gli Asolani, 1505), в которой он развивает идею высокой спиритуалистической любви, почерпнутую им из лирики Петрарки, сочинений Платона и итальянских неоплатоников XV в. Беседу ведут трое венецианских юношей и три придворных дамы в пышном саду, в прохладной тени лавровых деревьев. Один из юношей Джисмондо предлагает обсудить вопрос — является ли любовь благом или злом. Перотгино начинает говорить против любви (см. приводимый отрывок «Против любви»), Джисмондо произносит пространную речь в защиту любви (см. приводимый отрывок «В защиту любви»), третий юноша, Лавинелло, говорит об истинной платонической любви, которая обращается к божественному и вечному, по сравнению с которой земная красота — лишь бледный отсвет и мимолетная тень (о взглядах Бембо на платоническую любовь см. приводимый отрывок из «Книги о придворном» Кастильоне). На стиле «Азоланских бесед» ясно сказывается влияние украшенной прозы Боккаччо.

ПО СЛУЧАЮ ВТОРЖЕНИЯ КАРЛА VIII[a]

О край, которому подобных нет,
Блистающий средь вод красой нетленной,
Чьи долы гранью делит несравненной
Роскошный Аппенинских гор хребет!

---

[a] Французский король Карл VIII (1470—1498) в 1494 г. вторгся в пределы Италии по призыву Лодовико Морс, миланского регента, надеявшегося с помощью иноземных войск упрочить свою власть.

Ужель затем от баловней побед
Ты унаследовал весь круг вселенной,
Чтоб ныне на тебя грозой военной
Шел трепетавший некогда сосед?

Нашлись и меж сынов твоих — о горе! —
Предатели, готовые вонзить
Свой меч в твое пленительное тело.

Такого ли достоин ты удела?
Знать, разучились люди бога чтить.
О выродки, погрязшие в позоре!

КАНЦОНА

Не устает перо мое всечасно
Тебя, любовь, благодарить,
Тебе хваленья возносить,
Владычица, за мой удел прекрасный.
Не будь тебя, дышал бы я напрасно;
Теперь же радостно мне жить.
Тебя хочу боготворить
И век тебе служить душою страстной.

Ты, госпожа, мне душу прояснила,
Меня на крыльях подняла,
В обитель неба вознесла,
Моим словам дала святую силу;
И к той, чей несравнен образ милый,
Меня, любовь, ты привела
И в сердце мне забвенье зла
И помыслы чистейшие вселила.

Благодаря тебе одной живу я,
Сгорая в сладостном огне,
В котором так отрадно мне
Питать надежду, без границ благую,
А если день, который я взыскую
Во время бденья и во сне,
Наступит, — ах, об этом дне
Писать — любовь, поверь, мне! — не смогу я.

Безрадостным умрет,
Кому, любовь, ты жизнь не осветила.

Из «АЗОЛАНСКИХ БЕСЕД»

1. ПРОТИВ ЛЮБВИ

Итак, донны, наиболее несомненным является то, что из всех возмущений души нет ни одного столь досадливого, столь тяжелого, столь настойчивого и неистового, такого, которое бы так волновало и кружило, как то, которое мы называем любовью: писатели иногда называют его огнем, ибо, подобно тому, как огонь пожирает вещи, в которые он входит, так и нас пожирает и разрушает любовь, иногда же — яростью, желая уподобить любящего тем, которые были возбуждаемы фуриями, как пишут об Оресте, Аяксе и других. И так как вследствие долгого опыта они заметили, что ничто не является более несомненным несчастием и бедствием, чем любовь, то они преимущественно обозначили жизнь любящих этими двумя прозвищами, как преимущественно им принадлежащими, так что во всякой книге, во всяком листке всегда читается и пишется о жалком любящем, о несчастном любящем. Без сомнения, то не любовь, что называют приятным; никто не называл ее чем-либо сладким, чем-либо гуманным; все страницы полны таких названий, как жестокая, горькая, свирепая. Прочтите о любви, как ее описывают на тысячах страниц, вы не найдете ничего иного или же найдете очень мало, кроме печали. Вздыхают в некоторых стихи, жалуются во многих целые книги, рифмы; чернила, записки и самые томы — огонь. Во всякой канцоне, в которой рассуждают о любви, рассказывается о подозрениях, оскорблениях, вражде, войнах, а это еще в любви не самые большие страдания. Кто может пройти с беспечальной душой или с сухими глазами мимо отчаяния, возмущений, мщений, цепей, ран, язв, смертей? Ими наполнены не только легкие, распространенные рассказы поэтов или же те, которые стали наиболее полезными благодаря примеру описанной в них жизни, но ими запятнаны также наиболее важные истории и летописи о самых таинственных событиях. Мы не говорим о несчастной любви Пирама и Фисбы, о необузданном и запретном пламени Мирры и Библи, о преступном и долгом заблуждении Медеи, о всех их печальных смертях, но если мы даже предположим, что все эти истории неверны, то они во всяком случае были рассказаны древними сочинителями для того, чтобы научить нас, какою может быть истинная любовь; но о Паоло и Франческе уже никто не сомневается, что в самом пылу их желаний оба они умерли одной и той же смертью, пораженные одним и тем же железом, как бы пронзенные одной и той же любовью. И то, что говорится о Тарквинии, не выдумано писателями, любовь которого к Лукреции была причиной лишения его трона, а вместе с тем и изгнания и самой его смерти. Нет никого, кто считал бы неверным, что искры троянца и гречанки зажгли всю Азию и всю Европу. Я не говорю о тысяче других подобных примеров, о которых каждая из вас могла прочесть много раз и в старых и в новых

писаниях. Отсюда, очевидно, явствует, что любовь является причиной не только вздохов, и слез, и смертей частных лиц, но также и разрушения древних тронов, могущественнейших городов и целых провинций. Вот какие деяния, о донны, вот какие воспоминания оставила она по себе, для того чтобы о них рассуждал всякий, кто пишет о ней.

2. В ЗАЩИТУ ЛЮБВИ

Благодеяния любви, о донны, о которых я сейчас буду рассуждать, без сомнения, бесконечны, но тому, кто об этом спорит, они никогда не открываются сразу. Тем не менее, кто, говоря о них, сумеет их заметить, тот поймет их тем легче, если мы покажем, насколько она полезна, ибо, без сомнения, каждая вещь тем более полезна, чем более она причиняет благ и чем больше эти блага. Но так как любовь является причиной и началом не только многих и величайших вещей, но также и всех благ, которые встречаются под небом, то надо верить, что она является самой полезной вещью из всех других полезных вещей в мире. Я думаю, мои рассудительные донны, вы находите, что я беру на себя слишком много, когда я начинаю говорить о любви: я делаю свою голову слишком большой, как будто бы я желал возложить голову Атланта на плечи среднего человека. Но я говорю поистине, сколько нужно, и, может быть, нисколько не больше того, что нужно. Ибо обратите внимание, прекрасные девушки, на все вокруг и посмотрите, как обширен мир, сколько в нем живых существ и как они различны. Среди стольких существ нет ни одного, которое не имело бы своего начала и порождения в любви, как в первом и святейшем отце. Ибо, если бы любовь не соединила двух раздельных тел, способных порождать себе подобных, то ничего не было бы порождено, ничего бы не родилось. Ибо, если бы можно было насильно сложить и соединить два живых существа, способных к порождению, — если бы любовь их не смешала и не расположила души обоих к одному и тому же желанию, то они могли бы оставаться так тысячу лет, ничего не порождая. В проточных водах в определенное время самцы рыб преследуются страстными самками, и они им охотно уступают, и, таким образом, желая того же самого, способствуют распространению своего вида. Прелестные птицы преследуют в обширном воздухе одни других. Точно так же преследуют в таинственных лесах и в их обиталищах друг друга похотливые звери. Согласно тому же самому закону все любящие друг друга делают вечною свою краткую жизнь. Не только любящие друг друга, которые имеют чувства, не могут вступить в жизнь без любви, но и все деревья в лесах не могут получить без нее ни какой-либо формы и ни какого-либо качества. Если бы деревья не любили земли, а земля их, то эти лавры, о которых я говорю, не могли бы никаким способом ни получить

ствола, ни зеленеть. Эти самые травы, на которых мы сидим, и эти цветы не родились бы на этой столь прелестной почве, которая, может быть, зеленеет для того, чтобы дать нам сейчас тем более прекрасный ковер, — если бы самая естественная любовь не соединила их семена и корни таким образом с почвой, что они от нее ожидают получить нежные соки, а она им их охотно предоставляет, если бы они не обнимали страстно друг друга, согласившись между собою порождать. Но зачем я говорю об этих цветах, об этих травах? Несомненно, что если бы наши родители не любили друг друга, нас не было бы сейчас ни здесь и ни где бы то ни было, меня не было бы на свете, где я существую, если не для чего-либо иного, то хотя бы для того, чтобы защищать сейчас нашу невинную любовь от свирепых клевет Пероттино. Любовь, о донны, дает людям не только рождение, которое есть первое бытие и первая жизнь, но она дает им еще и вторую жизнь: я даже не знаю, не надо ли назвать ее первой жизнью, а это есть благосостояние и хорошая жизнь, без которой, может быть, было бы лучше не родиться, а родившись, тотчас же умереть. Ибо люди еще до сих пор, — как они это делали, по словам Пероттино, сначала, — бродили бы по горам и лесам, обнаженные, мохнатые и дикие, наподобие зверей без крова, без человеческого образа жизни, без какого-либо домашнего обычая, если бы любовь, соединяя их вместе, не внушила им мысли об общей жизни. Благодаря этому язык освободился от своих первых звуков при выражении желаний, люди перестали шипеть и начали говорить. Люди стали рассуждать между собой и, сразу бросив в качестве обиталищ стволы деревьев и суровые пещеры, воздвигли хижины и, перестав питаться жесткими желудями, прогнали дикие орды. Вместе с новым миром выросла понемногу и любовь у первых людей, а вместе с ростом ее выросли и искусства. Тогда сознательные отцы стали различать своих детей от других, а выросшие дети приветствовали своих отцов; под сладким игом жены и мужа люди шествовали, свято связанные стыдливою честью. Тогда деревни наполнились новыми домами, города окружили себя защитной стеной, и похвальные обычаи вооружились крепкими законами. Тогда святое имя почтенной дружбы, которое, где только рождается, там само себя разъясняет, начало распространяться по уже умиротворенной земле; распускаясь и возрастая, оно произвело столь нежные цветы и увенчало землю столь сладкими плодами, что и до сих пор пленен им свет: так что и теперь, когда оно выродилось в наш злобный век, все еще истинное древнее благовоние и первая чистая сладость этого имени не прошли. В те времена родились те женщины, которые смело прыгали в пламень, пожиравший их умерших мужей, и стоящая выше всяких похвал Альцеста: и эти пары были окружены столь верными и столь дорогими товарищами; и перед очами гордой Дианы произошло великодушное и прекрасное состязание между Пиладом и Орестом. В те времена получили свое начало священные письмена, и любящие, воспла-

мененные своими возлюбленными, запели первые стихи. Но зачем долго рассуждать об этих легких и слабых вещах, когда мы говорим о колоссальных силах любви? Самая эта махина мира, столь великая и столь прекрасная, которую мы видим более полно душою, чем очами, в которой заключены все вещи, если бы не была наполнена любовью, которая связывает ее своими узами, то никогда не могла бы существовать и долго сохраняться. Следовательно, донны, как вы видите, любовь есть причина всех вещей; поскольку она является таковой, нам необходимо говорить, что она является также причиной всех благ, встречающихся во всех вещах. И так как, как я говорил, что́ причиняет больше всего благ, то и наиболее полезно, то вы можете уже и сами заключить, что из всех наиболее полезных вещей любовь — самая полезная.

КАСТИЛЬОНЕ

Бальдасар Кастильоне (Baldassare Castiglione, 1478—1529) — политический деятель и писатель. В историю литературы вошел своей «Книгой о придворном» («Il libro del Cortegiano», написанной между 1514—1518 гг.), в которой изображается беседа блестящего придворного общества в Урбино. В живых диалогах Кастильоне стремится обрисовать образ идеального придворного, который представляется ему наделенным чертами «универсального человека» Возрождения. В числе беседующих мы находим и Пьетро Бембо, который в заключение книги произносит пламенный панегирик чистой любви в духе платоновской философии (см. приводимый отрывок).

Из «КНИГИ О ПРИДВОРНОМ»

О ЛЮБВИ

(Заключительная речь Бембо)

...Каков же будет, о, Амур святейший, тот смертный язык, который будет в состоянии достойным образом воздать тебе хвалу. Ты — прекраснейший, мудрейший, ты происходишь от красоты, от добра, от мудрости божественной: в ней пребываешь, к ней, через нее, как в некий круг, возвращаешься. Ты, сладчайшая цепь мира, связь между небесным и земным, мягко склоняешь высшие добродетели к управлению низшими и, обращая дух смертных к его Началу, соединяешь его с ним. Ты собираешь воедино элементы согласия. Ты побуждаешь природу творить, а то, что рождается, — развиваться в жизни. Вещи разъединенные связуешь, несовершенным даешь совершенство, несходным — сходство, враждебным — дружбу, земле — плоды, морю — покой, небу — свет жизненный. Ты — отец истинных наслаждений, изящества, мира, кротости, доброжелательства, враг грубой дикости, невежества, в целом — начало и конец всякого блага. И так как ты любишь обитать в цветке прекрасного тела и в душе прекрасной и оттуда иногда показываться немного глазам и умам тех, которые достойны тебя видеть, — то я думаю, что сейчас, здесь, среди нас — твоя светлица[а]. Поэтому соблаговоли, господин, услышать наши молитвы, влейся в наши сердца, блеском твоего священного огня освети наши потемки и, как надежный проводник, в этом слепом лабиринте укажи нам истинный путь. Исправь обманчивость наших

[а] В комнате Елизаветы Гонзага, герцогини Урбинской, где собрался цвет итальянской интеллигенции, согласно замыслу диалога.

чувств и после долгого бреда дай нам истинное и твердое благо. Дай нам почувствовать те духовные благоухания, которые оживляют добродетели ума, дай нам услышать небесную гармонию, столь созвучную, чтобы в нас не осталось больше места ни для какого раздора страстей. Опьяни нас в том неиссякаемом источнике довольства, который дает радость постоянную и не пресыщает никогда, который тому, кто пьет его живительную и чистую влагу, вливает ощущение истинного блаженства. Очисти лучами света твоего глаза наши от мрака невежества, чтобы впредь не преклонялись мы перед красотой преходящей, чтобы мы познали, что вещи, которые они как будто бы видят, не существуют, а те, которых не видят, существуют. Прими души наши, которые сами отдаются тебе в жертву. Испепели их в том живительном пламени, которое сжигает всякую материальную грубость, чтобы, во всем отделенные от тела, вечной и сладчайшей связью соединились они с красотою божественной. И чтобы мы, отделенные от самих себя, как истинные влюбленные, в предмет любви нашей могли превратиться и вознестись над землею и чтобы мы могли быть допущены к пиру ангелов. Там дай нам напитаться амброзией и нектаром бессмертным и в заключение умереть смертью счастливейшей и живой, как уже умерли те древние отцы, души которых ты пламенной силой созерцания похитил из тел и соединил с богом.

ПОЭТЫ-ПЕТРАРКИСТЫ XVI в.

Под влиянием П. Бембо в итальянской лирике XVI в. прочно утверждается культ Петрарки. Поэты, стремящиеся к изящному совершенству форм, усердно подражают певцу Лауры, произведения которого получают значение универсального образца. Петраркизм становится достоянием множества поэтов, сочиняющих любовные, панегирические, религиозные и политические стихи. Они культивируют мотивы платонической любви, изысканные метафоры и антитезы, не выходящие обычно за пределы эстетических представлений Петрарки (пламя любви, антитеза снега и огня, уподобление возлюбленной солнцу, которое затмевает блеск небесного светила и пр.). Из массы поэтов-петраркистов выделяются: Франческо Мария Мольца (1489—1544); Аннибал Каро (1507—1566), одаренный поэт, прозаик и переводчик; Джованни делла Каза (1503—1556), биограф Бембо, основоположник возвышенного и величественного стиля в итальянской поэзии XVI в., прославленный лирик, оказавший значительное влияние на Торквато Тассо; Луиджи Тансилло (1510—1568) и др. Следует также назвать ряд женских имен. Эпоха Возрождения создает тип просвещенной женщины, играющей значительную роль в культурной жизни Европы. В XVI в. в Италии многие женщины входят в литературу. Знатная римлянка Виттория Колонна (1492—1547), воспетая великим Микель Анджело, в ряде изысканных сонетов оплакивает смерть своего горячо любимого мужа (маркиз Пескара, главнокомандующий императорского войска, победитель при Павии, умер в 1525 г.), историю своей неудачной любви с большой силой и лирической непосредственностью запечатлевает в сборнике стихов Гаспара Стампа (1523—1554) (она полюбила одного знатного аристократа, некоторое время была счастлива, но возлюбленный ее отправился на войну во Францию и вскоре забыл ее). Стихотворения пишут также знатные дамы: Вероника Гамбара, Джулия Гонзага и куртизанки — Туллия Арагона и Вероника Франко.

АННИБАЛ КАРО

* * *

Был воздух тих на волновом просторе,
Вздыхал Фавон [а], Хлорида [б] убегала,
Киприйская душа, смеясь, шуршала
В ветвях, любовью полня брег и море.

Росистая Аврора в звездном хоре
Огни гасила и живописала

[а] *Фавон* (Фавоний) — весенний ветерок, римское название Зефира.

[б] *Хлорида* — в греческой мифологии богиня весны и цветов, супруга Зефира.

Там облачка, здесь горы; как бывало,
Лучистый в Дельфах, Феб вставал в просторе.

И отворяла тут заря другая
Родной чертог в сиянье чистом, скромном, —
Пред этим солнцем слепну, исчезая.

Взглянул назад, — мне показался темным —
Как даже ты, страна небес святая, —
Восток, что цвел за миг, в красе сияя.

ДЖОВАННИ ДЕЛЛА КАЗА

СОН

О сон, о милосердный сын тенистой
И влажной ночи! Нам даря покой,
Ты нас от мук в приют уводишь свой
С дороги жизни, тяжкой и кремнистой.

О, прилети ко мне из дали мглистой!
Моя душа охвачена тоской;
Мой утомленный взор, о сон, прикрой
Твоих воскрылий гладью серебристой.

Где тишина, в которой гаснет свет?
Где, милый сон, нестройный стан видений,
Что за тобой всегда бредет во след?

Увы! Напрасно кличу эти тени;
Мне благодатной их прохлады нет!
И снова ночь моя полна мучений.

ВИТТОРИА КОЛОННА

КОМНАТА СУПРУГА

Сюда вернулся он, мое светило,
Добычей царской нагружен богато.
Ах, мука вновь зреть место, где когда-то
Для глаз моих день солнцем озарило.

Тысяча слав его здесь окружила,
Почет от самых знатных; в час возврата.
О слышанном свидетельствовал свято
Изысканный рассказ и взоров сила.

Он, побежденный просьбами моими,
Мне показал рубцы, сам повествуя
Про ряд побед, столь многих и бесспорных.

Грущу о них, как веселилась ими.
В различных мыслях радуюсь, тоскуя,
Лью мало сладких слез и много скорбных.

ГАСПАРА СТАМПА

СЛАВА И ЛЮБОВЬ

Синьор, не тратьте ваших юных лет
На беспокойный труд погони страстной
За славой и почетом по опасной
Стезе отличий всяких и побед.

Исполните любви благой совет:
Давайте жить четой во всем согласной
В долине этой тихой и прекрасной,
Покуда нам сияет солнца свет.

Плоды честолюбивых всех усилий
Всегда горьки. И слава и почет
Навек забудутся в сырой могиле.

А тут, средь птиц, чей звонкий хор поет
Хвалу любви, мы радостно бы жили,
Сбирая розы и плоды весь год.

МАДРИГАЛ

Я сердцем за тобою —
Любыми бы путями;
Но разлучил со мною
Его Амур твоими же очами.

С тобой вспорхнут мои лишь воздыханья,
Что мне остались верны
И дружбою примерны,
Да скорби восклицанья;
Коль спутник тебе не слышны эти,
Знай: нет меня на свете.

МИКЕЛЬАНДЖЕЛО БУОНАРОТИ

Микельанджело Буонароти (Michelangelo Buonarroti, 1475—1564) — великий итальянский ваятель, зодчий и живописец. Его лирика занимает особое место в итальянской поэзии XVI в. В отличие от массы петраркистов, для которых изящная форма являлась нередко самоцелью, он был поэтом мысли, сильным и самобытным, стремившимся облечь свои идеи в сжатую и энергичную форму. Его кумиром был Данте. Он преклонялся перед мощью его гения, перед силой его личности. Как и Данте, он скорбел о падении Италии, был исполнен негодования против различных проявлений несправедливости и низости. Значительный интерес представляют также стихотворения Микельанджело, в которых он касается вопросов художественного творчества.

ДАНТЕ АЛИГИЕРИ

Сказать о нем не можем с должной славой,
Столь ярок он в тех сферах, где светила.
Ту чернь клясть легче, что его язвила,
Чем досягать до выси величавой.

Сойдя туда, где грех казнен лукавый,
Вновь видел рай — все нам на пользу было.
Врата, что небо перед ним раскрыло,
Замкнула родина пред волей правой.

Неблагодарная, — его судьбины
Себе в ущерб кормилица: без спора,
То знак, что лучшим больше бед досталось.

Меж тысяч довод приведу единый:
Он изгнан здесь, и нет сильней позора, —
Зато нигде подобных не рождалось.

БЕРНИ

Франческо Берни (Francesco Berni, 1498—1535) — крупнейший представитель итальянской бурлескно-сатирической поэзии XVI в. Состоял на службе у кардинала Биббиены, с 1524 г. был секретарем епископа Веронского, в 1533 г. обосновался во Флоренции, где вскоре и умер, видимо, от яда, который ему был дан по приказу герцога Алессандро за то, что Берни отказался отравить в интересах герцога кардинала Сальвиати. Продолжая традицию итальянской бурлескной лирики XIV—XV вв., Берни придает бурлескной поэзии совершенство форм, ясность, естественность и своего рода грацию. В ряде забавных стихотворений он воспевает возвышенным слогом низменные вещи (описание скверной гостиницы, ослицы, безобразной старухи), большой известностью у современников пользовались его причудливые capitoli в терцинах (эта форма возникла как пародия на «Божественную комедию» Данте) в честь персиков, угрей, чумы и пр. Выдающегося успеха Берни достиг и в области сатирической поэзии. Едким сарказмом проникнуты его capitoli и «хвостатые» сонеты (Берни развил традиционную в бурлескной поэзии форму хвостатого сонета, доведя количество строк до двадцати), направленные против пап Адриана VI, Климента VII и современного духовенства, погрязшего в пороках. Перу Берни принадлежала также переделка «Влюбленного Роланда» Боярдо (изд. в 1541 г.). Берни имел многочисленных последователей. По его имени бурлескно-сатирическая поэзия в Италии получила наименование poesia bernesca.

ПАПСТВО КЛИМЕНТА VII [а]

Теперешнее папство все — приветы,
Да речи, да высокоуваженья,
«Потом», «но», «да», «быть может», «вне сомненья» —
Словечки без влиянья на предметы.

Сужденья, мненья, замыслы, советы,
Загадки, для которых нет решенья,
Беседы, остроумные реченья,
Приемы... лишь бы не платить монеты.

Ступающая сторожко пята,
Нейтралитет, терпение, призывы,
Надежда, вера, — словом, — доброта

[а] Юмористическое изображение медлительной и шаткой политики Климента VII (1523—1534).

С невинностью, прекрасные порывы
И — скажем так — святая простота
(Чтоб не были истолкованья кривы).

Когда б позволить мне могли вы,
Я все ж сказал бы: поздно или рано
К святым причтут и папу Адриана [а].

НА БОЛЕЗНЬ ПАПЫ КЛИМЕНТА в 1529 г.

Поесть — у папы нет иного дела,
Поспать — у папы нет иной заботы:
Возможно дать такие лишь отчеты
Любому, кто о папе спросит смело.

Хороший взгляд, хороший вид и тело,
Язык хорош и качество мокроты.
Нет, с жизнью он порвать не хочет счеты, —
Но рать врачей сжить папу захотела.

И, в самом деле честь их пострадает,
Коль он живым уйдет от их атаки,
Раз сказано: конец, он умирает.

И страшные выдумывают враки:
Что в два часа припадок с ним бывает, —
Сегодня нет, а завтра будет паки.

От них подохнут и собаки,
Не то что папа. В общем же похоже,
Что как ни как его прихлопнут все же.

СЕР ЧЕККО И ДВОР

Сер Чекко сам не свой, лишь бросит двор, —
Двор тоже сам не свой без сера Чекко.
Для сера Чекко очень нужен двор,
И очень нужен для двора сер Чекко.

Кто хочет знать, каков таков сер Чекко,
Пускай посмотрит, что за штука двор.
Сер Чекко сам похож собой на двор,
А двор собой похож на сера Чекко.

[а] *Адриан VI* (1522—1523) — ненавистный писателям-гуманистам сумрачный преемник просвещенного папы Льва X, стремившийся реформировать итальянскую церковь по образцу и идеям испанской.

И столько лет просуществует двор,
Сколь долго жизнь продлится сера Чекко, —
Сер Чекко то же самое, что двор.

Всяк, по дороге встретив сера Чекко,
Подумает, что повстречал он двор.
В обоих двор, в обоих и сер Чекко.

Бог милуй сера Чекко
Он при смерти: немилостив стал двор.
Погиб сер Чекко, но погиб и двор.

Умрет он, но с тех пор
Уж тем одним он утешаться сможет,
Что Трифона никто не потревожит [a].

---

[a] Имеются в виду Франческо Бенчи из Ассиза и его племянник Трифон Бенич. Первый был секретарем папского двора, второй находился в Риме в качестве помощника своего дяди. Оба вели себя как крупные вельможи,

ДРАМАТУРГИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

МАКЬЯВЕЛЛИ

Никколо Макьявелли (Niccolo Machiavelli, 1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель. Родился во Флоренции в патрицианской семье. Долгое время был на службе у флорентийской республики, занимая (с 1498 г.) должность секретаря коллегии Десяти, ведавшей иностранными и военными делами. Когда в 1512 г. во Флоренцию вернулись Медичи, Макьявелли был отставлен от должности, обвинен в участии в заговоре против Медичи, заключен в тюрьму и подвергнут пытке. Остаток жизни он провел в своем поместье вблизи Флоренции, посвящая свое время литературным и научным трудам. Им написан ряд сочинений на исторические и политические темы (трактат «Князь» — «Il Principe», 1513 г., «Рассуждения о первых десяти главах Тита Ливия», 1514—1516 гг., «История Флоренции», 1521—1527 гг. и др.). Перу Макьявелли также принадлежат новелла «Бельфагор», сюжет которой почерпнут из восточной литературы, и комедии: «Клиция» (в значительной мере составленная из текстов Плавта и Теренция) и «Мандрагора» («Mandragola», ок. 1513 г.). Последняя — ярчайшее создание драматургии итальянского Ренессанса (так называемой «ученой комедии» — comedia erudita). Следует подчеркнуть антиклерикальную заостренность комедии.

На русский язык переведен ряд произведений Макьявелли, в том числе «Бельфагор» (перевод А. К. Дживелегова) и «Мандрагора» (переводы Н. А. Островского, А. В. Амфитеатрова, В. Н. Ракинта и А. Г. Габричевского).

Из комедии «МАНДРАГОРА»

Действие комедии происходит во Флоренции. Молодой Каллимако влюблен в прекрасную Лукрецию, целомудренную жену престарелого правоведа мессера Нича. Последний бездетен и давно мечтает о ребенке. Пользуясь этим его желанием, а также недалеким умом Нича, Каллимако по совету лукавого паразита Лигурио выдает себя за знаменитого парижского врача, обладающего верным средством излечить мадонну Лукрецию от бесплодия. Это средство — чудодейственная настойка мандрагоры. Однако «первый мужчина, с которым она будет иметь дело, после того как примет этот напиток, умрет в течение восьми дней, и ничто на свете не сможет спасти его». Мессер Нича уже готов ото всего отказаться, но Каллимако указывает ему хитроумный выход: как только мадонна Лукреция выпьет напиток, «тотчас же» следует «положить к ней другого, который, проведя с ней ночь, впитал бы в себя всю отраву мандрагоры» и тем спас бы мессера Нича от неизбежной гибели. После некоторого сопротивления мессер Нича соглашается внять советам мнимого врача. Решено схватить на улице первого попавшегося мужчину (этим мужчиной, понятно, оказывается переодетый Каллимако) и препроводить его в спальню мадонны Лукреции. Но для того чтобы добродетельная Лукреция согласилась разделить ложе с посторонним мужчиной, к ней подсылается ее духовник, монах фра Тимотео, готовый за деньги на любые услуги.

АКТ III

ЯВЛЕНИЕ 8

Фра Тимотео, Лигурио и мессер Нича

Фра Тимотео. Пришлите ко мне женщину — я знаю, что мне делать, и если слово мое что-нибудь да значит, мы сведем кого нужно сегодня же вечером.

Лигурио. Мессер Нича, фра Тимотео готов на все; надо позаботиться, чтобы женщины пришли.

Нича. Ты обновляешь меня всего с ног до головы. Мальчик будет?

Лигурио. Мальчик.

Нича. Я плачу от умиления.

Фра Тимотео. Идите в церковь, я подожду женщин здесь. Стойте в сторонке, чтобы они вас не видели. А когда они уйдут, я сообщу вам, что они сказали.

Фра Тимотео один

Фра Тимотео. Не знаю, кто кого надул. Этот мошенник Лигурио подъехал ко мне с первой небылицей, чтобы меня испытать. Если бы я не согласился, он не сказал бы мне больше ничего, чтобы зря не раскрывать их замыслы. А до первой враки им никакого дела не было. Правда, я на этом попался, однако это пойдет мне в пользу. Мессер Нича и Каллимако богаты; и с каждого можно сорвать достаточно под разными предлогами. Это дело должно оставаться в тайне, тем более, что им столько же нужно об этом болтать, сколько и мне. Будь что будет, я не раскаиваюсь. Правда, я боюсь, как бы не было затруднения, потому что мадонна Лукреция благоразумна и добра. Но я поймаю ее на ее доброте, а у женщин у всех мало мозга, и достаточно, чтобы она умела связать два слова, как о ней идет молва: ведь в царстве слепых кривой — уже король. А вот и она с матерью. Та — сущая дрянь и будет мне великой помощью, чтобы уговорить ее.

Состратa и Лукреция

Состратa. Я знаю, что ты уверена, дочь моя, что я ценю твою честь больше, чем кто-либо на свете, и что я не посоветовала бы тебе ничего нехорошего. Я говорила тебе и повторяю: если фра Тимотео скажет, что это не обременит твоей совести, делай это, не думая ни о чем.

Лукреция. Я всегда боялась, как бы желание мессера Нича иметь детей не заставило нас сделать какую-нибудь ошибку, и потому всякий раз, как он мне о чем-нибудь говорил, это вызывало во мне сомнения и колебания, в особенности после того, как со мной приключилось то, что вы знаете, при посещении монастыря серви-

тов [а], Но из всего, что было испробовано, это мне кажется самым странным. Подвергать мое тело такому осквернению и быть причиной, что мужчина умрет за то, что меня осквернит! Ведь даже если бы я осталась одна на целом свете и от меня зависело возрождение рода человеческого, я не думаю, чтобы мне было позволено решиться на такое дело.

Сострата. Я не сумею на все это тебе ответить. Ты поговоришь с фрате [б], увидишь, что он тебе скажет, и сделаешь то, что тебе посоветует он, мы и всякий, кто хочет тебе добра.

Лукреция. Я вся в огне от этой муки.

Титульный лист комедии Макьявелли «Мандрагора» (1550)

Фра Тимотео, Лукреция и Сострата

Фра Тимотео. Добро пожаловать. Я знаю, что вы хотите узнать от меня, ибо мессер Нича уже со мной говорил. Поистине я больше двух часов провел над книгами, дабы изучить этот случай, и после долгих изысканий я нашел многое, что и в частности и в общем говорит в нашу пользу.

Лукреция. Вы говорите всерьез или шутите?

Фра Тимотео. Ах, мадонна Лукреция, разве этим можно шутить? Неужто вы меня узнали только сегодня?

Лукреция. Нет, отец, но это мне кажется самым странным, что когда-либо было слыхано.

[а] Желая забеременеть, мадонна Лукреция по совету одной соседки, дала обет простоять сорок ранних обедень у сервитов (монашеский орден). Но в то время, как она посещала монастырь, ее начал там «обхаживать» «один из этих жирных монахов так, что она больше не пожелала туда возвращаться».

[б] *Фрате* (итал.) — монах.

Фра Тимотео. Верю вам, мадонна, но я не хочу, чтобы вы это повторяли. Много существует вещей, которые издали кажутся ужасными, невыносимыми, странными, а когда подойдешь к ним поближе, они оказываются человечными, сносными, привычными. Потому и говорится, что у страха глаза велики. Таково и наше дело.

Лукреция. Дай-то бог.

Фра Тимотео. Я хочу вернуться к тому, что я говорил вначале. Что касается вашей совести, вы должны принять общее положение, что там, где есть верное благо и неверное зло, никогда не следует отказываться от блага из боязни зла. Здесь есть верное благо, а именно: вы забеременеете, приобретете лишнюю душу господу богу. Неверное зло—это то, что человек, который после напитка проведет с вами ночь, умрет. Но ведь бывают и такие, которые от этого не умирают. Однако, поскольку дело это сомнительное, все же лучше, чтобы мессер Нича не подвергался этой опасности. Что же касается самого действия, будто оно греховно,—это басня, ибо грешит воля, а не плоть. Грех — не угодить мужу, вы ему угождаете; грех—получать от этого удовольствие, вы получаете неудовольствие. К тому же цель—вот что надо иметь в виду при всех обстоятельствах. Ваша цель—заполнить седалище в раю и ублаготворить вашего супруга. В Библии сказано, что дочери Лота, думая, что они остались одни на свете, совокупились с отцом, а так как намерение у них было благое, они не согрешили.

Лукреция. В чем же вы меня убеждаете?

Сострата. Дай себя убедить, дочь моя. Как ты не понимаешь, что у женщины, у которой нет детей, нет и дома. Умирает муж,—она остается, как животное, всеми покинутое.

Фра Тимотео. Клянусь своим саном, мадонна, что повиноваться в данном случае вашему мужу не более предосудительно, чем съесть мясо в среду, а это грех, который смывается святой водой.

Лукреция. К чему же вы меня склоняете, отец?

Фра Тимотео. Склоняю вас к тому, за что вы всегда будете иметь причину молить за меня бога. И будущий год удовлетворит вас больше, чем этот.

Сострата. Она сделает все, что захотите. Я уложу ее в постель сама. Чего ты боишься, дурочка? С полсотни женщин в этом городе благодарили бы за это небо с воздетыми руками.

Лукреция. Я согласна, но думаю, что никогда не доживу до завтрашнего утра.

Фра Тимотео. Не сомневайся, дочь моя, я буду молить господа за тебя. Я буду читать молитву ангела Рафаила, дабы он сопутствовал тебе. Ступайте в добрый час и приготовьтесь к этому таинству, ибо уже вечереет.

Сострата. Оставайтесь с миром, отец.

Лукреция. Помоги мне, господи, и, пречистая дева, сохрани меня от зла.

АКТ IV

ЯВЛЕНИЕ 2

Каллимако. Лигурио идет и глядит в эту сторону. Он, верно, ищет меня. Что же я стою и не окликну его? У него как будто веселый вид. Эй, Лигурио, Лигурио!

Лигурио. О Каллимако, где же ты был?

Каллимако. Какие новости?

Лигурио. Хорошие.

Каллимако. Правда?

Лигурио. Самые лучшие.

Каллимако. Лукреция согласна?

Лигурио. Да.

Каллимако. Монах свое дело сделал?

Лигурио. Сделал.

Каллимако. О благословенный фрате! Я всегда буду молить господа за него.

Лигурио. Хорош ты! Как будто бог воздаст за зло, как за добро! Монах потребует не молитв, а совсем другого.

Каллимако. Что же он потребует?

Лигурио. Денег.

Каллимако. Дадим ему. Сколько ты ему обещал?

Лигурио. Триста дукатов.

Каллимако. Хорошо сделал.

Лигурио. Доктор уже выложил двадцать пять.

Каллимако. Как?

Лигурио. Довольно с тебя, что он их выложил.

Каллимако. А мать Лукреции что сделала?

Лигурио. Почти все. Как только она узнала, что дочка ее должна провести приятную ночь и без греха, она не переставая просила, приказывала, одобряла Лукрецию, пока не отвела ее к монаху, а затем уже сделала так, что та согласилась.

Каллимако. О боже! За какие мои заслуги даруется мне столько счастья? Я готов умереть от радости.

Лигурио. Что за народ! То от радости, то от горя—так или иначе он хочет умереть. Напиток ты приготовил?

Каллимако. Да, приготовил.

Лигурио. Что ты ей пошлешь?

Каллимако. Стакан ипокраса, который отлично помогает желудку и веселит голову. О, горе мне! Я пропал!

Лигурио. Что такое, в чем дело?

Каллимако. Здесь уж ничто не поможет.

Лигурио. Что за чорт?

Каллимако. Все погибло. Я попал в тупик.

Лигурио. Почему? Почему ты не говоришь? Отними руки от лица.

Каллимако. Разве ты не знаешь, что я сказал мессеру Нича,

что ты, он, Сиро[a] и я схватим человека, чтобы положить его рядом с женой?

Лигурио. Что же из этого?

Каллимако. Как что из этого? Если я буду с вами, я не смогу быть тем, кого схватят, если я не буду с вами, они догадаются об обмане.

Лигурио. Ты прав. Но разве нет средств помочь этому?

Каллимако. Я не вижу.

Лигурио. Глупости. Должно быть.

Каллимако. Какое?

Лигурио. Дай подумать.

Каллимако. Нечего сказать — убедил. Хорош я буду, если ты только сейчас должен придумывать.

Лигурио. Нашел.

Каллимако. Что?

Лигурио. Я сделаю так, что монах, который до сих пор нам помогал, сделает и остальное.

Каллимако. Каким образом?

Лигурио. Мы все должны перерядиться; я заставлю перерядиться и монаха, он изменит голос, лицо, одежду, и я скажу доктору, что это ты, и он поверит.

Каллимако. Мне это нравится. Но что же я буду делать?

Лигурио. Ты наденешь дырявый плащ и с лютней в руках выйдешь там из-за угла его дома, напевая песенку.

Каллимако. С открытым лицом?

Лигурио. Если бы на тебе была маска, у него зародилось бы сомнение.

Каллимако. Тогда он узнает меня.

Лигурио. Не узнает. Потому что я хочу, чтобы ты скривил на сторону лицо, раскрыл, выпятил или оскалил рот, зажмурил один глаз. Попробуй-ка.

Каллимако. Так я делаю?

Лигурио. Нет.

Каллимако. Так?

Лигурио. Мало.

Каллимако. Вот эдак?

Лигурио. Так, так, запомни это. У меня есть дома приставной нос. Ты его нацепишь.

Каллимако. Хорошо. Что же будет дальше?

Лигурио. Когда ты покажешься из-за угла, мы будем стоять здесь, отнимем у тебя лютню, схватим тебя, скрутим, поведем в дом, положим в постель. Остальное тебе придется делать самому.

Каллимако. Только бы попасть туда.

Лигурио. Туда-то ты попадешь. Но добиться того, чтобы ты мог вернуться, зависит от тебя, а не от нас.

Каллимако. Каким образом?

---

[a] *Сиро* — слуга Каллимако.

Лигурио. А так, что ты должен в эту ночь расположить ее к себе и прежде чем уйти, открыться ей. Признайся ей в обмане, выкажи любовь, которую ты к ней питаешь, скажи, как она тебе дорога и как она без всякого сраму может быть твоей подругой, а подвергаясь величайшему сраму — твоим врагом. Немыслимо, чтобы она с тобой не спелась и захотела, чтобы эта ночь осталась единственной.

Каллимако. Ты думаешь?

Лигурио. Убежден. Но не будем больше терять времени; уже восемь часов. Позови Сиро, пошли напиток мессеру Нича и жди меня дома. Я пойду за монахом; заставим его переодеться и приведем сюда, разыщем доктора[a] и сделаем все остальное.

Каллимако. Ты хорошо придумал. Ступай.

[План Лигурио блестяще осуществляется. Каллимако завоевывает сердце мадонны Лукреции и становится ее любовником. В заключение Лукреция говорит ему:]

«Раз твоя хитрость, глупость моего мужа, простоватость моей матери и низость моего духовника заставили меня сделать то, чего бы я никогда не сделала по собственному почину, я готова признать, что это случилось по соизволению неба, которое распорядилось так, а не иначе, и я не вправе отказаться от того, что небо повелевает мне принять. Поэтому я выбираю тебя своим господином, повелителем и руководителем. Ты — мой отец, мой заступник, и я хочу, чтобы ты был моим единственным благом. И то, чего мой муж захотел на один вечер, я хочу, чтобы было у него всегда. Итак, ты сделаешься его кумом, пойдешь сегодня утром в церковь, а оттуда обедать вместе с нами, и в твоей воле будет приходить к нам и оставаться у нас, сколько тебе захочется, и мы можем видеться, когда угодно, не возбуждая никаких подозрений».

---

[a] Доктора (прав), т. е. мессера Нича.

ТРИССИНО

Джан Джорджо Триссино (Gian Giorgio Trissino, 1478—1550) — поэт, драматург и ученый. Родился в Виченце, в патрицианской семье, изучал греческий язык, был папским нунцием в Венеции и Вене. Известен как автор «Софонисбы» (Sophonisbe, 1515), первой итальянской классической трагедии, в которой он, опираясь на правила Аристотеля, подражает не Сенеке, как это было обычно в XVI в., но Софоклу и Эврипиду. В трагедии соблюдены аристотелевские единства, большое место отведено хору, вестники повествуют о событиях, происходящих за сценой. Пространные диалоги и рассказы заменяют интенсивность сценического действия. Стремясь передать метрическое многообразие греческой трагедии, Триссино наряду с одиннадцатисложным белым стихом, которым преимущественно написана «Софонисба», применяет в лирических местах рифмованную канцону, использует рифмованный стих в некоторых хорах, которые по античному образцу распадаются у него на строфу, антистрофу и эпод. Один хор им написан даже в балладной форме. Сюжет своей трагедии Триссино почерпнул из Тита Ливия (XXVIII—XXX). Героиня трагедии — карфагенская царица Софонисба, дочь Гасдрубала, жена нумидийского царя Сифакса, без трепета вышивающая яд, чтобы не стать рабою римлян, завоевавших Карфаген. Перу Триссино принадлежит также комедия «Близнецы» (1548 г.), в которой он близко следует за Плавтом. Неудачную попытку возродить традиции античного эпоса он сделал в обширной поэме «Италия, освобожденная от готтов» (1548 г.), носящей чрезмерно сухой, ученый характер. Он много писал по вопросам языка и поэзии, в частности сделал попытку создания первой итальянской классической поэтики.

Из «СОФОНИСБЫ»

ПРОЩАНИЕ СОФОНИСБЫ

Приближенный Софонисбы.

О жены скорбные! С тоской во взоре
Не стойте в стороне!
Стопы направьте в город, где царица,
Вся в белое с рассвета облачась
И глаз не подымая,
Идет молитвы к небу вознести
И хочет, чтобы в храме вместе с нею
Молились нынче также вы.

Хор.

Не знаешь, видно, ты, какое горе
Терзает душу мне.
Ужель и та, чья жизнь преобразиться
Чрез миг должна, спокойна в этот час?
Как зла судьба людская!
Да, мы готовы с госпожей пойти
Богов умилостивить. Поскорее!
Не опоздать бы нам, увы!

Когда придет к покою
Злосчастный этот род,
Достойный состраданья?
Надеждою какою
Доселе он живет
Средь пыток без названья?
Мы в черном одеянье
Все поспешить должны
Почтить душою верной
Скорбь госпожи примерной,
Владычицы страны,
Чей дух, вовек нетленный
Сияет над вселенной.

Слуга Софонисбы.

О жены, тяжела
Десница злого рока
И тяжких мук полна.
Теперь, увы, легла
Всей тяжестью жестокой
На госпожу она.
О солнце, о луна,
И ты, господь, который,
Им указуя путь,
Все можешь повернуть!
Твои святые взоры
К царице обрати, —
К ней смерть уже в пути.

Софонисба.

Прощайте же, о солнца свет прелестный,
И ты, простор земной,
Навек прощайте! Суждено мне роком
В могильный мрак сойти.

Эрминия.

И я с тобою в гроб улягусь тесный,
Не разлучусь с тобой!

Софонисба.

Мои слабеют силы...
Я чувствую дыхание могилы.
О милые, я покидаю вас!
Пускай другой владыка
Счастливей правит этою страною.
Прошу вас: о любви моей великой
Не забывайте, и подчас
Ваш взор пусть увлажняется слезою.
О, если бы конец печальный мой
Вам всем покой принес и мир благой!
Эрминия, пусть будет этот мальчик
Тобой воспитан, как дитя родное.
Так воспитай его, чтоб он отрадой
Мог сделаться для подданных своих.
Потом — надеюсь, этот день наступит, —
В родную землю нашу возвратившись,
Моим родителям расскажешь ты,
Как умерла их дочь и почему;
Расскажешь им, что стать боясь рабыней
И нашу кровь позором обесчестить,
Яд приняла я в цвете лет моих.
Оставшись в доме, будешь ты опорой
Старухе-матери моей несчастной.
Она тебя в невестки избрала,
А ты ей дочь любимую заменишь.
Сестра моя, коль дорога тебе я, —
А в этом я уверена, — надежды
На жизнь твою меня ты не лишай,
И я тогда спокойным взором встречу
Последний час и смерть сочту желанной.
Не вся умру я, если ты живешь;
Часть лучшая моя в живых пребудет.
О, подойдите! Дайте опереться!
Мутнеет в голове, и ночь густая
Мои глаза уже заволокла.

АРЕТИНО

Пьетро Аретино (Pietro Aretino, 1492—1556) — знаменитый итальянский публицист и памфлетист, прозванный «бичом королей». Родился в Ареццо в семье сапожника. Благодаря своей неукротимой энергии, литературному таланту и неразборчивости в средствах достиг славы, богатства и независимого положения. С 1527 г. обосновался в Венеции, где его друзьями были знаменитые художники Тициан, Сансовино, Вазари, Джулио Романо и др. Отсюда он рассылал во все стороны ядовитые стрелы своих памфлетов. Охотнее всего он поражал тиранию итальянских князей. Его острого пера боялись, перед ним заискивали, император Карл V стремился привлечь его на свою сторону. Свой публицистический талант Аретино раскрывает в стихотворениях, многочисленных письмах, сборники которых он впервые начинает публиковать в печати, а также в так называемых «Giudizii» — сатирических предсказаниях на тот или иной год, по форме представляющих пародию на астрологические гороскопы (предсказания будущего). Обладая неисчерпаемым запасом остроумия, злой насмешки и сарказма, Аретино был бесспорно одним из наиболее блестящих публицистов европейского Возрождения. Как писатель Аретино восставал против литературного академизма и классицистического педантизма. Он стремился черпать из действительной жизни, игнорируя школьные образцы. Так, реалистическим характером отличаются его комедии, в которых он дает зарисовки современного итальянского быта (например, обличение распутной жизни папского двора в комедии «Куртизанка» — Cortigiana, 1534 г., см. приводимые отрывки); в трагедии «Горация» (1546 г.) реалистически очерчены характеры, большое место отведено народу. В иронико-комической поэме «Орландино» он осмеивает рыцарство. Аретино страстно любил искусство, в юные годы он даже испробовал свои силы в живописи и навсегда сохранил талант живописного пластического изображения природы и мира. Об этом свидетельствует его знаменитое письмо к Тициану (см. стр. 139).

Пьетро Аретино, с гравюры М. А. Раймонди

Из комедии «КУРТИЗАНКА»

АКТ ПЕРВЫЙ

СЦЕНА I

Мессер Мако и сиенец (его слуга).

Мако. В конце концов Рим есть coda mundi [а].

Сиенец. Caput[б], хотите вы сказать.

Мако. Да. И если бы я не пришел сюда...

Сиенец. То плесневел бы в хлебе.

Мако. Я говорю, что если бы я не пришел сюда, то я бы никогда не поверил, что он красивее Сиены.

Сиенец. Разве я Вам не говорил, что Рим это Рим? А вы: в Сиене гвардия из храбрых, занятия с докторами, источник Бранда, источник Бенчи, площадь полна людей, праздник в месяце августе, кареты с большими алтарными свечами, с бантами, струйки, бои быков, епископская мантия, сотни уличных мальчишек с марципанами из Сиены.

Мако. Да, но ты не говоришь, что к нему относится благосклонно император.

Сиенец. Вы отвечаете некстати.

Мако. Тише. Бесхвостая обезьяна там наверху, в этом окне. Мона, а Мона?

Сиенец. Как вам не стыдно громко звать обезьян на улице? Вы лопнете, если только вас не сочтут за сумасшедшего, не зная, что вы пришли из Сиены.

Мако. Послушай, попугай говорит.

Сиенец. Это — дятел, патрон.

Мако. Это попугай, несмотря на то, что ты говоришь.

Сиенец. Это одно из тех пестрых животных, которые ваш дед купил в обмен на попугая.

Мако. Я показывал перья золотых дел мастеру, и он говорит, что они похожи на наиболее тонкие перья попугая.

Сиенец. Вы осел, простите меня, если вы верите золотых дел мастеру.

Мако. Вот, я тебя накажу.

Сиенец. Не сердитесь.

Мако. Я желаю злиться, я желаю. И если ты меня не ценишь, тем хуже для тебя.

Сиенец. Я вас ценю.

Мако. Во сколько?

Сиенец. В дукат.

Мако. Ну, теперь я тебя люблю, знаешь.

[а] Хвост мира.

[б] Голова.

СЦЕНА II

Маэстро Андреа, художник. Мако и сиенец.

Андреа. Вы ищете патрона.

Мако. Вы хорошо знаете, что я патрон.

Сиенец. Дайте говорить мне, так как я понимаю римский говор.

Мако. Прочь.

Андреа. Отвечайте, желаете ли вы устроиться?

Сиенец. Мессер Мако, ученый в книжном деле, богатый, и из Сиены...

Андреа. Кстати. Я говорю, что я вам дам пять карлино в месяц. А у вас не будет другого дела, как только чистить скребницей пять лошадей и двух мулов, носить на кухню воду и дрова, подметать квартиру, поддерживать стремя, чистить одежду, а остальное время можете проводить для своей потехи.

Мако. Сказать вам правду, я приехал сюда с тем намерением, чтобы...

Сиенец. Стать кардиналом и примириться с...

Мако. С королем Франции.

Сиенец. А также и с папой. Разве я вам не сказал, дайте говорить мне.

Андреа. Ха, ха, ха.

Мако. Чего вы смеетесь, господин человек?

Андреа. Я смеюсь тому, что вы гоняетесь за химерой. Верно, что сначала надо стать придворным, а потом кардиналом. И я тот маэстро, который учит, как стать придворным. Я сделал монсиньора де-ла Сторту, достопочтенного ди Баккано, настоятеля Монте Мари, патриарха мальянского и тысячу других. И я с удовольствием сделаю также вашу милость, так как у вас такой вид, что вы составите честь страны.

Мако. Что ты скажешь, сиенец?

Сиенец. Это подходит, да, да, это идет, это мне нравится.

Мако. Когда же мы ударим по рукам?

Андреа. Сегодня, завтра, или когда угодно будет вашей милости.

Мако. Мне угодно сейчас.

Андреа. Пожалуйста. Я пойду за книгой, которая учит, как стать придворным, и мигом вернусь к вашей милости. Где вы обитаете?

Мако и сиенец. В доме Чекотто генуэзца.

Андреа. Говорите в одиночку; говорить вместе не рекомендуется.

Мако. Этот бездельник заставляет меня блуждать.

Сиенец. Я не бездельник, и вы знаете, что я хотел пойти в наемники, и вы не хотели, чтобы я подвергался такой опасности.

Андреа. Успокойтесь; «бездельник» это имя, которым называют в Риме человека в праздничный день. Я теперь ухожу и тотчас же вернусь.

Мако. Как вы называетесь?

Андреа. Маэстро Андреа, больше, чем ясное небо. Я прошу прощения у вашей милости.

Мако. Будьте здоровы.

Сиенец. Возвращайтесь скоро.

Андреа. Я тотчас буду у вас.

СЦЕНА III

Мако и сиенец.

Мако. Sic volunt fata [a]!

Сиенец. Теперь вы станете утонченнее в пророчествах.

Мако. Что ты там трещишь?

Сиенец. Скажите, ваша милость, вы не слышали, как маэстро говорил: прошу прощения у вашей милости.

Мако. Прошу прощения у вашей милости. С беретом в руке, правильно?

Сиенец. Так, синьор. Ходите бойко, старайтесь, чтобы платье на вас хорошо сидело, плюйте широко и хорошо; шагайте широко: хорошо, отлично.

СЦЕНА IV

Оборванец, который продает истории, М. Мако и сиенец.

Оборванец. Прекрасные истории, прекрасные истории!

Мако. Тише, что он там кричит?

Сиенец. Это, должно быть, сумасшедший.

Оборванец. Прекрасные истории, истории, истории! Война турок с Венгрией! Предсказания брата Мартина! Собор! Истории, истории, английские дела! Пышная встреча папы и императора! Обрезание воеводы! Опустошение Рима! Осада Флоренции! Свидание в Марсели с заключением! Истории, истории!

Мако. Беги, лети, рысью, сиенец, вот тебе монета, купи мне рассказ о придворных. Я хочу стать придворным еще до того, как придет маэстро. Но не становись придворным раньше меня, а?

Сиенец. Нет, диавол. Дай мне книги, дай мне речи, дай мне листки. О там, ты, вы, чтоб сломить ему шею: он повернул за угол, я пойду за ним.

Мако. Иди, говорю, иди.

СЦЕНА V

Мако *(один)*. О, что за улицы, вряд ли наткнешься здесь даже на один камень. Я вижу здесь наверху, в этом окне, прекрасную синьору, это, должно быть, римская княгиня. Я чувствую себя влюбленным. Если я стану кардиналом, если я стану придворным,

---

[a] Так желают судьбы.

она не уйдет из моих рук. Она меня видит, она на меня пристально смотрит. Если так, то я захвачу ее крючком. Вот и сиенец, где речь, сиенец?

СЦЕНА XXII

Андреа и Мако.

Андреа. На здоровье и утешение.

Мако. Добрый день и добрый год. А где книга?

Андреа. Вот, в угоду вашей милости.

Мако. Я умру, если вы мне не прочтете сейчас одной лекции.

Андреа. Вы шутник.

Мако. Вы неправы, говоря мне грубости.

Андреа. Разве я говорю грубости, называя вас шутником?

Мако. Да, так как никогда не были шутниками ни я, ни кто-либо в моем доме. Ну, начните.

Андреа. Главное дело для того, чтобы стать придворным, — это уметь богохульствовать, быть игроком, завистником, бабником, еретиком, льстецом, злословцем, неблагодарным, невеждой, ослом; уметь обманывать, быть нимфой, быть деятельным и страдательным.

Мако. Тихо, медленно, твердо. Что это значит: деятельным и страдательным. Я не понимаю этой загадки.

Андреа. Это значит — быть женщиной и мужчиной.

Мако. Мне кажется, я способен к этому. Но каким образом стать еретиком? Вот вопрос.

Андреа. Замечайте.

Мако. Я замечаю очень хорошо.

Андреа. Когда кто-нибудь вам говорит, что при дворе существуют доброта, благоразумие, любовь или совесть, то говорите: я не верю.

Мако. Я не верю.

Андреа. Спасибо. Кто хочет заставить вас верить, что является грехом нарушить великий пост, скажите: мне плевать на это.

Мако. Мне плевать на это.

Андреа. И вообще, кто вам скажет что либо хорошее о дворе, скажите ему: ты лжец.

Мако. Было бы лучше, если бы я ему сказал: ты врешь посредством горла.

Андреа. Это было бы понятнее и короче.

Мако. Почему богохульствуют придворные, маэстро?

Андреа. Для того, чтобы они казались опытными и вследствие жестокости Акурсия, который пользуется своей властью при дворе таким образом, что дает свободный доступ бездельникам и заставляет бедствовать добрых служителей; придворные поэтому впадают в такое уныние, что отказываются от крещения.

Мако. Каким образом стать невежественным?

Андреа. Оставаясь буйволом.

Мако. А завистливым?

Андреа. Портя имущество другого.

Мако. Как становятся льстецом?

Андреа. Расхваливая всякое мошенничество.

Мако. Как обманывают?

Андреа. Рассказывая чудеса.

Мако. Каким образом становятся нимфой?

Андреа. Этому вас научит всякий придворный мошенник, который, подобно куропатке, простаивает с вечера до вечера для того, чтобы ему вычистили плащ, для того, чтобы ему сделали узорный кафтан; он проводит свои часы перед зеркалом, завивая свои локоны, намазывая голову, говоря по-тоскански, с маленьким Петраркой в руке; когда он говорит: «да, честное слово», «клянусь богом», «целую руку», то ему кажется, что он totum contines [а].

Мако. Как злословят?

Андреа. Говоря правду, говоря правду.

Мако. Как становятся неблагодарным?

Андреа. Делая вид, что никогда не видел того, кто оказал тебе услугу.

Мако. Как становятся ослом?

Андреа. Спросите у лестниц дворцов. Но для первой части достаточно: во второй будем говорить о Колизее.

Мако. Подождите. Колизей, что это такое?

Андреа. Казна, утешение Рима.

Мако. Каким образом?

Андреа. Я тебе скажу завтра, после того как увидим маэстро Пасквино [б].

Мако. Кто такой маэстро Пасквино?

Андреа. Один из тех, кто законопатил сзади синьоров и монсиньоров.

Мако. Каким искусством он занимается?

Андреа. Он возится с поэзией.

Мако. Я так же поэт и по-латинскому, и по-народному и знаю прекрасную эпиграмму в мою честь.

Андреа. Кто ее составил?

Мако. Честный человек.

Андреа. Кто этот честный человек?

Мако. Я сам.

Андреа. Ха, ха, скажите ее, чтобы я ее ощутил.

[а] Вся сущность.

[б] *Пасквино* — обломок античной статуи, стоявшей в XVI в. на одном из людных мест Рима, сделавшийся излюбленным местом приклеивания сатирических стихов, получавших таким образом всеобщую известность.

Мако. Hanc tua Penelope musam meditaris avena
Nil mihi rescribas, nimium ne crede colori
Cornua cum lunae recubans sub tegmine fagi
Tityre tu patulae lento tibi mittit Ulysses [а].

Андреа. На улицу, на улицу, лови вора, лови вора.
Мако. Чего вы так кричите о помощи?
Андреа. Потому что героический сумасброд их украл.
Мако. Кто этот логический сумасброд?
Андреа. Храбрый человек, подвергающий канонаде своего хозяина. Продолжайте дальше.

Мако. Arma virumque cano vaccinia nigra leguntur
Italiam fato numerum sine viribus uxor.
Omnia vincit amor nobis ut carmina dicunt
Silvestrem tenui et nos cedamus amori [б].

Андреа. Это можно отпечатать и озаглавить по настроению Болоньи. А я опишу жизнь автора, очень гнусного.
Мако. Ago vobis gratias [в].
Андреа. Пусть наверху в доме все приведут в порядок. Но где слуга?
Мако. Сиенец — бездельник, а Грилло — честный человек, и я желаю Грилло, а не сиенца. Войдите внутрь.

Отрывки из «САТИРИЧЕСКИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ» НА 1531 г.

Вступление... «Объявляю Вашему Величеству [г] и выражаю уверенность, что Рак, Скорпион, Весы и Близнецы при содействии книжников и фарисеев Зодиака вольют в меня секреты неба, как вливают в зверинец князей все пороки: коварство, трусость, неблагодарность, невежество, подлость, хитрость и ереси, solum, чтобы сделать вас великодушным, храбрым, благодарным, доблестным, благородным, добрым и христианнейшим. А если небу угодно сделать их ослами, грубиянами (plebei) и преступниками, почему

[а] Стихотворение мессера Мако представляет собой бессмысленный набор полустиший, надерганных из различных произведений Вергилия и Овидия: первая строка — Овидий, Героиды, послание I, 1; Вергилий, Буколики, эклоги, эклога II, 17. Третья строка — Овидий, Героиды, послание II, 3; Вергилий, Буколики, эклога I, 1. Четвертая строка — Вергилий, Буколики, эклога I, 1; Овидий, Героиды, послание I, 1.

[б] Вергилий, Энеида, I, 1; Вергилий, Буколики, эклога II, 18; Вергилий, Энеида I, 2; Овидий, Героиды, послание I, 97 и т. д. (Примечание В. С. Узина.)

[в] Очень вам благодарен.

[г] Франциск I, король Франции.

именно мне хотят зла герцоги Феррары, Милана, Мантуи, Флоренции и Савойи, герцоги только по имени. Разве я несу вину за молчаливую скаредность императора? Я побуждал короля Англии к перемене ложа [а]? Если Венера заставляет злоупотреблять косметиками маркиза дель Васто [б] что я могу с этим поделать? Если Марс отказывает в воинской доблести Федерико Гонзага, зачем сваливать это на меня? Если Рыбы побуждают Альфонсо д'Эсте солить угрей [в] пусть он пеняет на себя, а не на Аретино. Если Близнецы сводят кардинала Чибо с невесткою, за что дуется на меня славный сеньор Лоренцо [г]? Если Весы побуждают герцога Савойи вешать мясо и масло [д], при чем тут я? Если Козерог украшает голову такому-то князю, такому-то герцогу, такому-то маркизу, ведь не я же был сводником...»

«Зима. Так как движение солнца через квадрант луны зажжет все небесные светила, зима будет более холодною, чем цветущая весна и чем зрелая осень [е]. Поэтому все владетели Ломбардии, чтобы не умереть от холода, будут, согласно местному обычаю, спать со своими кузинами, невестками и сестрами. И если кто станет вменять им это в преступление, они будут ссылаться на lex imperia, ибо император в Болонье занимался любовью со своей свояченицей, герцогиней Савойской, с папского благословения [ж]. А потом столько идет разговоров об английском короле, который amore Dei et bonae voluntatis посадил в монастырь одну женщину, за 16 лет не сумевшую снести ему яичко [з]. Благо нашим, которые несут в году по пяти и по шести, наподобие ферраресок, миланок, мантуанок и неаполитанок. Все знаки, все звезды, все планеты, после вычисления их квадрантом, утверждают, что уродливая маркиза Мантуанская, у которой зубы черны, как черное дерево, а брови белы, как слоновая кость, подло безобразная (dishonestamente brutta) и еще более подло накрашенная, родит на старости лет без супружеского оплодотворения. И такое же явит чудо синьора Вероника Гамбара, увенчанная лавром блудница [и]».

[а] Развод Генриха с Екатериной Арагонской из-за Анны Болейн.

[б] Легкий выпад по адресу приятеля Альфонса де Авалос.

[в] Альфонсо д'Эсте завел в это время крупную рыбную торговлю от феррарской казны.

[г] Отношения кардинала Чибо к жене его брата Лоренцо были притчею во языцех.

[д] Речь снова идет о торговле от имени казны.

[е] Смесь нелепости и трюизма, пародирующая обычные астрологические предсказания.

[ж] Герцогиня Савойская, Беатриче, отличавшаяся замечательной красотою, была сестра супруги Карла V. «Папское благословение», конечно, приплетено здесь для вящего посрамления папы Климента, с которым Аретино в это время был в ссоре.

[з] Опять про Екатерину Арагонскую.

[и] Изабелла д'Эсте в молодости считалась красавицей. Написанный Тицианом портрет ее в зрелые годы, быть может, и подтверждает оценку ее наружности, данную здесь. Намеки на ее распутство — чистая клевета. Такая же клевета то, что говорится про Веронику Гамбара.

ПИСЬМО К ТИЦИАНУ

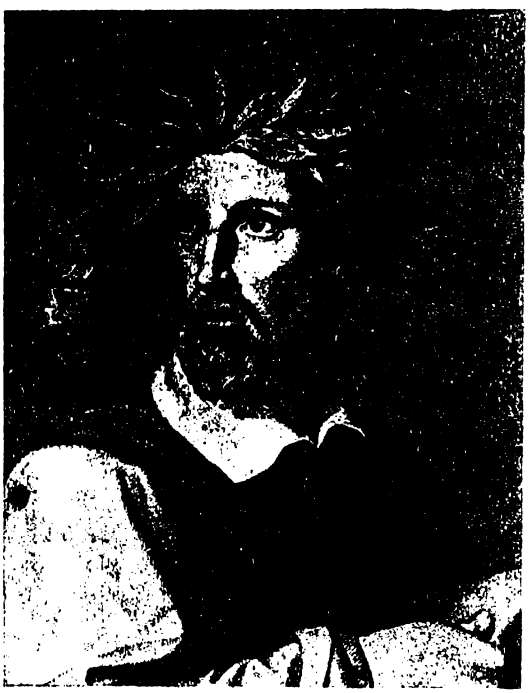
«Синьор и кум. Вопреки моим превосходным привычкам, я пообедал сегодня один, или, лучше сказать, в компании с перемежающейся лихорадкой (quartana), которая не покидает меня и отбивает у меня вкус ко всем кушаньям. Представляете вы меня, как я встаю из-за стола, сытый тоской и отчаянием, не прикоснувшись почти ни к чему? Скрестив руки, я опираюсь ими на подоконник — грудь и туловище почти наружу. И я любуюсь великолепным зрелищем, милый кум.

Бесконечная вереница лодок, переполненных иностранцами и венецианцами, двигается по Canal Grande. Вода, вид которой радует тех, кто ее бороздит, как будто радуется сама, что несет на себе такую необычную толпу. Вот две гондолы, которыми правят известнейшие в городе гребцы, состязаются в быстроте. Множество народу, чтобы полюбоваться состязанием, собралось на мосту Риальто, теснится на Riva de Camerleghi, устраивает давку на Pescaria, занимает весь Traghetto di Sofia, громоздится по ступенькам Casa di Mose [1]. И пока с двух сторон проходила толпа и каждый торопился по своему делу, посылая каналу свой хлопок, я, как человек, ставший в тягость себе самому, не знающий, что делать со своими мыслями, поднимаю свои глаза к небу. С того дня, как господь сотворил это небо, оно никогда не было расцвечено такой дивной картиной света и теней. Воздух был такой, каким его хотели бы изобразить те, кто вам завидует и не может быть вами. Прежде всего дома, каменные дома, кажутся сделанными из какого-то материала, преображенного волшебством. Потом свет — здесь чистый и живой, там рассеянный и потускневший. А вот, смотрите, другое чудо: облака, которые на главном плане почти касаются крыш, наполовину скрываются за домами на предпоследнем. Вся правая сторона теряется из виду целиком и тонет в серо-коричневой мгле. Я дивился различным оттенкам, которые облака являли взору, когда самые близкие так и горели и искрились пламенем солнечного диска, а более отдаленные румянились багрянцем более мягким. Чудесные мазки, которые окрашивали с одной стороны воздух и заставляли его удаляться от дворцов, как это делает Тициан в своих пейзажах! Там и сям показывались синие тона, отдающие зеленым, в другом месте — зеленые с синим оттенком, как будто смешанные капризной (bizarra) природой, учительницею учителей. Она тонами светлыми и темными заставляла тонуть и выделяться то, что ей нужно было сгладить или оттенить. Так как я знаю, что ваша кисть — дух от духа природы, то я воскликнул три или четыре раза: «Тициан, Тициан, где вы сейчас? Клянусь, если бы вы нарисовали то, что я вам рассказываю, вы повергли бы всех в такое же очарование (stupore), каким охвачен я...»

[1] Все это различные пункты Венеции, хорошо известные всякому туристу, около Риальто и Fondaco dei Tedeschi.

ТАССО

Торквато Тассо (Torquato Tasso, 1544—1595) — наряду с Ариосто крупнейший эпический поэт итальянского Ренессанса. Родился в Сорренто в семье поэта Бернардо Тассо. В Падуе и Болонье слушал курсы философии и красноречия (в 1562—1564 гг.). Живя в Венеции, опубликовал рыцарскую поэму в 12 песнях «Ринальдо» (1561 г.). В «Рассуждении об эпической поэзии» он выступил против «разбросанной» манеры Ариосто, за стройный порядок эпических поэм классической древности. С 1565 г. Тассо переезжает в Феррару. Он состоит сперва при кардинале Луиджи д'Эсте, несколько позднее — при герцоге Альфонсе II. Молодой поэт втягивается в придворную жизнь. Его отмечают своим вниманием сестры герцога — Лукреция и Элеонора. В 1572 г. он пишет пастораль «Аминта» («Aminta») — наиболее совершенный образец итальянской пастушеской драмы эпохи позднего Возрождения. Пастораль была тотчас же поставлена на сцену и имела огромный успех. В 1575 г. Тассо заканчивает первую редакцию своего величайшего создания—эпоса о первом крестовом походе, поэму «Освобожденный Иерусалим», которую он называет первоначально по имени вождя крестоносцев: «Il Goffredo». С этого времени начинается трагический период его жизни. В нем пробуждается болезненная религиозность. Боясь впасть в ересь, он не может отрешиться от мысли, что осужден на муки ада; только что оконченная поэма представляется ему чрезмерно светской. Им овладевает мания преследования, в частности страх перед духовной цензурой, он начинает впадать в безумие, принимающее со временем грозный характер. Стечение обстоятельств, дворцовые интриги только усиливают его болезнь. Он бежит из Феррары и вновь возвращается в нее; в 1579 г. происходит его столкновение с герцогом, завершающееся тем, что последний на семь лет запирает поэта в госпиталь св. Анны. Здесь Тассо пишет около 30 философских диалогов, большое количество лирических стихотворений и писем. В 1586 г. Тассо



Тассо

выходит на свободу. Нигде не уживаясь, он бродит по Италии; его жизнь завершается в Риме. Папа Климент VIII назначил ему пенсию и пригласил его венчаться лавровым венком на Капитолии. Но Тассо не дожил до венчания — он умер в 1595 г. Незадолго до смерти он закончил последнюю редакцию своей поэмы, из которой удалил все слишком «светские» эпизоды. Переделка нанесла значительный ущерб художественным достоинствам произведения. Потомство отвергло последнюю редакцию поэмы. Признанный текст поэмы был издан (без согласия на то Тассо) в 1581 г. другом поэта (Фебо Бонна), располагавшим манускриптом автора (под заглавием «Gerusalemme liberata»).

На русском языке лучшие переводы «Освобожденного Иерусалима» принадлежат Д. Мину (изд. «Дешевой библиотеки») и О. Головнину (М., 1912 г.); «Аминта» переведена М. Столяровым и М. Эйхенгольцем (Гиз, 1921 г., то же, Academia, 1937 г.).

Из «АМИНТЫ»

Пастух Аминта («сын Сильвана, отцом которого был Пан, великий бог пастухов») томится любовью к целомудренной нимфе Сильвии, но она, верная культу Дианы, отвергает его любовь, предпочитая радостям Амура утехи охоты и вольной жизни в лесу. «Я ненавижу любовь, которая мою невинность ненавидит», — восклицает она, беседуя с пастушкой Дафной, красноречиво отстаивающей права любви и стремящейся пробудить в сердце непреклонной красавицы нежное чувство к Аминте (акт I). Но вот Аминта оказывает ценную услугу нимфе: однажды она купалась в источнике Дианы, и на нее напал похотливый сатир, Аминта спасает нагую нимфу из рук насильника, но целомудренная красавица, не сказав ни одного слова благодарности своему спасителю, скрывается в чаще леса. «К чему, Аминта, отчаиваться? Сильвию я знаю: лишь стыд, а не жестокость побудил ее бежать», — успокаивает Аминту Дафна. Однако Аминта в отчаянии от нового проявления холодности обожаемой нимфы, он ищет успокоения в смерти, и если бы не расторопная Дафна, остановившая его руку, он пронзил бы свое сердце смертоносной сталью. Тем временем Аминту ожидает новый удар — приходит весть о гибели Сильвии: бежав от источника Дианы, она вместе с другими нимфами отправилась на охоту, и все как будто свидетельствует о том, что юную охотницу растерзали волки (акты II и III). Услышав о гибели возлюбленной, безутешный Аминта в порыве отчаяния бросается со скалы со словами: «О несчастная Сильвия, за тобой я иду». Между тем известие о гибели Сильвии оказывается ложным: Сильвия счастливо избежала пасти диких зверей, и вот в свой черед она узнает о смерти Аминты. В ее сердце вспыхивает запоздалое пламя любви к несчастному пастуху. «До сих пор я, жестокая, для себя лишь жила, а теперь для Аминты прожить остальную жизнь я хотела; но коль этого сделать уж нельзя, буду жить я для холодного тела его...» В твердом намерении расстаться с жизнью после того, как она предаст земле тело Аминты, Сильвия спешит к месту, где разразилась катастрофа (акт IV). Ниже приводятся пролог и заключительный пятый акт пасторали.

ПРОЛОГ

Амур в пастушеской одежде

Амур.

Скажите, кто бы мог из вас подумать,
Чтоб в человечьем облике, под этой
Пастушеской одеждой, бог скрывался?
И не божок иль дикий бог дубрав,

А самый мощный из богов небесных,
По манию которого ронял
Марс — меч окровавленный, потрясатель
Земли, Нептун, — огромный свой трезубец,
И молнии нетленные — Юпитер!
Наверное не так-то уж легко
Во мне теперь узнает мать-Венера
Амура-сына. Принужден порою
Я от нее скрываться, потому что
Она, распоряжаясь самовластно
И мной и стрелами моими, хочет,
Тщеславная, чтоб жил я при дворах,
Чтоб только там, среди корон и скиптров,
Я силу проявлял свою. Лишь братьям
Моим меньшим, прислужникам моим [а],
На сельских и простых сердцах она
Оружье испытать их дозволяет.
Но, несмотря на резвые поступки,
На детский вид мой, — не ребенок я!
Мне, а не ей, дарованы судьбою
Лук золотой и факел всемогущий!
Желаю я располагать собою,
Как захочу, и вот скрываюсь (правда,
Не от могущества ее: не властна
Мать надо мной, — но лишь от просьб ее);
И ныне здесь, среди дубрав, в жилищах
Простых людей я спрятаться намерен.
Она меня разыскивает всюду,
Суля тому, кто ей укажет, где я,
И поцелуи сладкие и то,
Что слаще поцелуя. Да как будто
Не дам тому я, кто меня не выдаст,
И поцелуев сладких и того,
Что слаще поцелуя, и не будет
Награда слаще вдвое: что такое
Любовь, ведь знаю я, я бог любви!
Поэтому-то смертные охотно
Меня скрывают и молчат, и мать
Меня еще ни разу не поймала
Чтоб по приметам не могла меня
Найти она, как видите, не взял я
Ни лука, ни колчана, спрятал крылья.
Но все же я не безоружен: в эту

[а] В античной поэзии Амур (греч. Эрот) окружен множеством подобных ему существ (эроты, амуры, купидоны). Греческая мифология наделила его братом (Антэрот — олицетворение ответной любви) и рядом спутников (Гимер — олицетворение страсти, Поф — страстного желания, а также Пифо — убедительного красноречия).

Лозу я факел свой преобразил,
И светит пламенем она, незримым
Ни для кого из смертных; этот дротик,
Хоть острия лишен он золотого,
Божественным закалом зарождает
Любовь во всех, кого коснется он.
Замыслил я невидимую рану,
Ничем неизлечимую, нанесть
Им сердцу целомудренному нимфы,
Жесточе нет которой средь сопутниц
Охотницы-Дианы. Тяжела
Пусть будет рана Сильвии (то имя
С жестокостью красавицы в согласьи)[а],
Как рана та, что уж давно стрелою
Нанес я груди пастуха Аминты
В те дни, когда на играх и охоте
Проворною стопой спешил он, нежный,
За нежной Сильвией. А чтобы глубже
Проникло острие, я подожду,
Пока смягчит внезапно состраданье
Тот твердый лед, которым сердце ей
Суровость сжала, гордости девичьей
И добродетели. Тогда свой дротик
На этом самом месте я метну,
С толпою пастухов смешавшись тайно,
Которые, увенчаны цветами,
Здесь празднуют торжественные дни,
Собравшие сюда их отовсюду.
Как хорошо, что сам я здесь, не братья
Мои меньшие! Новые слова
Услышат о любви дубравы эти.
Я чувства благородные вдохну
В сердца простые, сделаю нежнее
Звук речи безыскусственной. Ведь слава
То высшая моя, мое то чудо
Великое — в одном и том же чувстве
Уравниваю грубых пастухов я
С героями и сельские свирели
Из бузины тогда поют, как цитры
Искуснейшие. И коль угадать
Мать гордая мой замысел не сможет,
Слепой она уж будет, а не я,
Которого в веках несправедливо
Ославила слепым толпа слепая!

[а] *Сильвия* — обитательница лесов, от лат. Silva — лес (ср. слова Сатира во II акте: «Знай, Сильвия, ты и лесов жесточе, которые в своей скрывают чаще медведей, львов и тигров...»).

АКТ V

Эльпино [a], *хор*

Эльпино.

Поистине, законы, по которым
Своим от века управляет царством
Амур, не жестоки! Его деянья,
Что мудрости исполнены незримой,
Напрасно осуждают. О, с каким
Искусством по неведомым путям
Ведет он человека, чтобы в рай
Любви его привесть, — и там его
Он окружает радостью, тогда как
Лишь гибели несчастный ожидал.
Так и Аминта горестный вершины
Достиг блаженства, бросившись с обрыва.
Счастливец! И тем более ты счастлив,
Что мнил дотоль себя несчастней всех.
И мне питать надежду, значит, можно,
Что все же та красавица, в улыбке
Которой скрыт жестокости ее
Клинок смертельный, — можно лишь мечтать,
Что состраданьем истинным она
Сердечные те раны исцелит,
Которые притворным милосердьем
Давно уже она мне нанесла.

Хор.

Сюда идет Эльпино мудрый. Он
Так об Аминте говорит, как будто
Тот жив и даже счастлив. Как судьба
Влюбленных жестока! Иль он, быть может,
Считает, что влюбленных счастье в том,
Чтоб пробудить в груди любимой жалость
Своею смертью; значит, ты, Эльпино,
Любви блаженством это называешь!
Того же ты желаешь и себе?

Эльпино.

Да успокойтесь же, друзья. Известье
О том, что нет в живых Аминты, ложно.

Хор.

Ужели это верно? Как ты нас
Утешил! Так неправда, что с обрыва
Он бросился?

---

[a] *Эльпино* и *Тирсид* — пастухи.

Эльпино.

Нет, правда; но счастливым
Его паденье оказалось. Ныне
Покоится в объятиях он нимфы
Возлюбленной, что столь же милосерда
Теперь к нему, сколь ранее была
Немилосерда. Слезы на глазах
Она его прекрасных осушает
Своими поцелуями. Теперь
Иду я за Монтано, чтобы к ним
Его привесть; ведь лишь его согласья
Недостает, чтоб навсегда скрепить
Союз их.

Хор.

Одинаковы года их,
Как и желанья. Добрый же Монтано
Давно хотел иметь внучат, чтоб их
Веселием свою украсить старость.
Однако ж, расскажи, Эльпино, что
Спасло Аминту?

Эльпино.

Расскажу охотно
Я обо всем. Недавно вдоль подножья
Крутого и высокого холма
С Тирсидом шел я из моей пещеры,
О той мы размышляли с ним, что сетью
Своею нас обоих уловила,
Сперва — его и уж затем — меня;
И сравнивал тогда его свободу
Со сладким я пленением своим.
Вдруг крик над нами прозвучал, и мы
Увидели, поднявши взор, как кто-то
С вершины бросился и через миг
Упал на землю. Но у склона рос
Терновник и, с растеньями другими
Переплетясь ветвями, как бы сеть
Широкую вдоль кручи протянул.
В нее-то незнакомец и упал,
И хоть ее он тяжестью своею
Прорвал, она его паденье все же
Смягчила. Поспешив к нему, узнали
Мы в нем Аминту и оцепенели
От ужаса и горя, так как он
Как мертвый распростерт был меж кустов.
Но убедившись в том, что он не умер,

А, может быть, и не умрет, мы скорбь
Свою умерили. Здесь рассказал
Мне мой сопутник о любви несчастной
Аминты. Привести его в себя
Час целый мы старались тщетно. Тут
К нам подошел Альфесибей, что Фебом
Искусству врачеванья был научен
(За ним послать успели мы уж раньше).
Пришли с Альфесибеем вместе Дафна
И Сильвия: они искали труп
Аминты, как потом от них узнал я.
Как только Сильвия перед собой
Увидела Аминту, что недвижно
В траве лежал бледней фиалки белой,
То как вакханка бросилась к нему,
Крича и в грудь прекрасную себе
Удары нанося, а добежавши,
На тело бедного она упала,
Своим лицом к его лицу приникнув,
К его устам прижав свои уста.

Хор.

Стыдливость, значит, удержать ее
Уж не могла.

Эльпино.

Лишь слабую любовь
Стыдливость может удержать; но слабой
Уздой она бывает для любви
Могучей. Принялась лицо Аминты
Холодное слезами орошать
Тут Сильвия, и, возвращенный к жизни
Их нежной силой, он открыл глаза.
Но вырвалось из уст его одно
Печальное: «О горе!» Этот возглас,
С дыханьем Сильвии смешавшись, принят
Ее устами был, и прояснилось
Тут вмиг лицо Аминты. Кто бы мог
Влюбленных счастье описать, когда
Один другим они, казалось, жили!
Его поймет лишь тот, кто испытал
Амура мощь, но рассказать о нем
Нельзя.

Хор.

Аминта, стало быть, здоров?

Эльпино.

Вполне здоров, коль не считать ушибов
И ссадин нескольких; но не о том
Аминта думает. Он, доказавший
На деле, как сильна его любовь,
Любви вкушает сладостную негу,
Что прежние страдания его
Лишь сладостнее сделали. Прощайте ж,
Ведь должен я Монтано отыскать.

Хор.

Действительно ли можно
Все, что Аминта выстрадал, любя,
И плача и скорбя,
Соделать сладким сладкою наградой?
Не знаю. Все ж мне большего не надо,
Амур, когда не ложно,
Что после тяжких дней
Нам счастие дороже и милей.
Других влюбленных награждай страданья
Ты счастием таким;
Моленьям же моим
Моя доступней нимфа, ожиданья
Лишь милосердный назначая срок.
Не омрачает рок
Нег наших темной тучею мученья:
Сначала нежное пренебреженье
И нежностью исполненный отказ,
Там — миг сопротивленья —
И мира возродительного час
Венчает наслажденье.

Из «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»

Поэма в октавах Тассо (ход действия которой во многом напоминает «Илиаду» Гомера при наличии реминисценций из «Энеиды» Вергилия) повествует об осаде Иерусалима войском крестоносцев под предводительством Готфрида Бульонского (Готфрид IV Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, предводитель первого крестового похода, умер в 1100 г., вскоре после взятия Иерусалима крестоносцами в 1099 г.). Последний «решается, наконец, сломить долгое сопротивление неверных. Но вследствие разных случайностей лучшие рыцари уходят из лагеря его, и, несмотря на все усилия, несмотря на геройство своих соратников, он не может отбить сарацин, которые угрожают христианам даже внутри линии их окопов. Наконец, божья воля призывает борцов за веру обратно на их пост, и победа переходит к крестоносцам» (Овсетт). Таков основной сюжетный фон поэмы, на котором развертываются многочисленные эпизоды, окрашенные чаще всего в куртуазно-романтические тона (любовь рыцаря Танкреда к воительнице неверных принцессе Клоринде и гибель последней от руки Танкреда, слишком поздно узнающего в храбром воине, с которым он бьется на поединке, свою возлюбленную;

любовь к Танкреду сарацинской пленницы Эрминии, эпические подвиги сарацинских и христианских витязей — черкеса Арганта, никейского султана Солимана, вождя крестоносцев Готфрида, престарелого рыцаря Раймонда и др.; волшебство и знамения — околдованный лес, подземное жилище волшебника, явление райского вестника и пр.). К числу наиболее блестящих эпизодов поэмы относятся эпизоды, связанные с историей рыцаря Ринальдо (легендарного предка феррарских герцогов д'Эсте), попадающего в сети к прекрасной волшебнице Армиде, племяннице дамасского царя мага Идроата. Осуществляя волю своего дяди, стремящегося подорвать боеспособность христианского войска, Армида, явившись в лагерь крестоносцев, влюбляет в себя многих доблестных рыцарей и увлекает их за собой из лагеря к великой печали Готфрида Бульонского. В результате ряда перипетий в сети Армиды попадает и Ринальдо — оплот крестоносцев. Армида переносит его на далекий остров, затерявшийся среди океана, где проводит с ним время в любовных утехах. Тем временем крестоносцы переживают тяжелые времена. По словам небесного вестника, конечная победа христиан зависит от возвращения Ринальдо. Тогда Готфрид отправляет на розыски исчезнувшего героя несколько витязей. Добрый волшебник наставляет их, как им добраться до Ринальдо и как освободить его. Он им вручает золотой прут, смиряющий чудовищ, и адамантовый щит, гладкий, как зеркало, посмотревшись в который Ринальдо излечится от любви к Армиде. Под водительством вещей девы витязи на быстролетном судне пересекают океан, достигают островов Армиды, минуют опасности (дикие звери — стражи острова) и соблазны (нагие девы), проходят дворец-лабиринт и попадают в дивный сад, где находят Ринальдо возле Армиды (следует приводимый отрывок, относящийся к числу наиболее прославленных эпизодов поэмы Тассо). Вернувшись в лагерь крестоносцев, Ринальдо помогает христианам одолеть неверных и овладеть Иерусалимом. Вновь встретив Армиду (в сердце которой ярость покинутой женщины боролась с любовью к Ринальдо), он удерживает ее от самоубийства и вновь заявляет себя ее рыцарем и супругом.

РИНАЛЬДО В ВОЛШЕБНЫХ САДАХ АРМИДЫ

ПЕСНЬ XVI

9

Пройдя путей запутанных преграды,
Вдруг видят сад неслыханных красот.
Гладь сонных вод, кристальных волн каскады,
Древа, цветы и травы всех пород,
Луга, холмы, леса полны прохлады,
Здесь светлый дол, а там тенистый грот —
Все сад вмещал и — к большему там чуду —
Все сотворив, искусство скрыто всюду:

10

Искусство так с природою там слилось,
Что вкруг на всем природы лишь печать.
Мать всех искусств, сама природа, мнилось,
Искусству там хотела подражать.
По воле чар, все в том саду творилось:
Такую лил там воздух благодать,
Что все цвело и зрело год там целый;
Был рядом с зрелым виден плод незрелый.

11

На том же пне, в одной листве, дряхлеет
Меж юных смокв плодов созревших ряд;
На яблони, где плод златистый спеет,
Там рядом с ним и завязи висят.
Разросшийся на солнце пышно зреет
И вверх ползет, вияся, виноград:
Там кисть еще в цвету; а здесь в янтарной
Созрелой грозди влаги сок нектарный.

12

Там сладостным вкруг пеньем оглашает
Наперерыв хор птичек целый бор,
И, шелестя листочками, вступает
Сам воздух там с волнами в разговор.
Умолкнет хор, петь ветер начинает;
Умолкнет ветр, уж начинает хор:
Случайно ли, иль с умыслом, то вторит
Ветр хору птиц, то с ними в пеньи спорит.

13

Одна ж из них там огненным покровом
И клювом пурпурным, как жар, горит
И гласом, сходным с человечьим словом,
Так явственно и внятно говорит,
Что рыцари, в своем смущеньи новом,
Подумали, что взор их чудо зрит.
Услыша песнь, все смолкло — птички, ропот
Игривых волн и тихий ветров шопот.

14

Она поет: «Вот роза, прелесть лета,
Цветет в тиши, девически чиста,
И в зелени, еще полураздета;
Но чем скромней, тем чище красота.
Вдруг смело грудь открыла взорам света,
И вянет вдруг и боле уж не та, —
Уже не та, чьей прелестью, о девы
И юноши, так восхищались все вы!

15

Так с быстротой дня быстрого уходит
И цвет младой, и свежесть юных лет.
Весна грядет, но снова не приводит
К нам юности и негу чувств вослед.

На утре дня, покуда взор находит
Всю прелесть в ней, сорвемте розы цвет:
Цветок любви пусть мы теперь погубим,
Пока нас любят и пока мы любим».

16

Замолк певец, и птичек хор нескромный,
Песнь одобряя, начал пенье вновь.
Целуется с голубкой голубь томный,
И всех зверей сдружила вдруг любовь.
Казалось, лавр священный, дуб огромный
И вся семья развесистых дерев,
Земля и воздух — все помолодело
И в неге чувств от сладострастья млело.

17

Но посреди мелодии столь нежной
И сладостных приманок злых отрав,
Два рыцаря душою безмятежной
Противятся зазывам всех забав.
Из-за ветвей глядят на луг прибрежный
И вот им мнится — там в тени дубрав...
И точно — то Ринальд и с ним подруга,
Он к ней припал, она — на бархат луга.

18

Покров упал у девы с груди страстной,
И летний зной раскинул ей власы.
Она вся млеет; лик ее прекрасный
Зной увлажнил как бы дождем росы.
Как луч в волнах, улыбкой сладострастной
Во влаге глаз трепещет блеск красы.
Она над ним поникла; мир забывши,
Он к ней на грудь, ей в очи взор вперивши.

19

И взор ее так взор ему чарует,
Что он горит и к деве страстно льнет;
Склонясь, она то в очи поцелует,
То с уст его лобзанья жадно пьет.
И грудь ему так вздох любви волнует,
Что, кажется, в нем дух сейчас замрет
И перейдет в грудь милой. Из дубравы
Те скрытые глядят на их забавы.

20

Близ них висел кристалл блестящий в раме.
И, встав, она таинственный снаряд
Дает тому, кто, словно жрец во храме
Кипридином[а] служить ей вечно рад.
Он, весь горя, она, смеясь очами,
Один предмет в различном виде зрят:
Она в стекле отражена; он в свете
Ее очей сам зрится в том предмете.

21

Он рабством горд, она — гордится властью;
Она в себе, он видит радость в ней.
Он говорит: «О, не завидуй счастью
Моей души — не отвращай очей!
И знай: огонь, во мне зажженный страстью,
Есть верный образ красоты твоей:
Ясней, чем в зеркале, в груди сей страстной
Изображен во мне твой лик прекрасный.

22

Но если ты и мной пренебрегаешь, —
То ты во мне на образ свой взирай,
И если все ты в мире презираешь,
То полюбуйся хоть собой и знай,
Ты в зеркале очей не отражаешь:
Вместится ли в стекле столь малом рай.
Нет! Свод небес, нет, звезды только в праве
Быть зеркалом — явить твой лик во славе».

23

Армида внемлет юноше с улыбкой,
Глядясь в стекло как чудо красоты.
В порядок вновь приводит, где ошибкой
Власы у ней остались развиты;
Свивает в кольца каждый локон гибкий
И, как эмаль на золоте, цветы
Вплетает в них и, с розами дубровы
Слив персей снег, кладет на грудь покровы.

24

Стоокий хвост раскинувши спесиво,
Не так гордится сам собой павлин;

[а] *Киприда* — прозвище богини любви Афродиты (Венеры) по острову Кипру, где особенно процветал ее культ.

Не так блестит пред солнцем в день дождливый
Цвет радуги весь в пурпуре с вышин,
Но пояс был на ней прямое диво:
Не сходит с ней он и на миг один.
В чем тела нет, то в нем согрето чувством
И слито вместе лишь ее искусством.

25

Улыбки уст, притворные отказы,
И прелесть ласк, и тихий, нежный гнев,
И томный вздох, и страстных слез алмазы,
И сладкий мир, и поцелуи дев, —

Ринальдо и Армида в волшебном саду (с картины Аннибала Караччи, 1560—1609)

Все входит в смесь погибельной заразы
И, на огне несильном разогрев,
Она тот пояс соткала, вкруг стана
Обвив себе для сладкого обмана.

26

Уж туалет окончен и, супруга
Поцеловав, Армида скрылась вмиг.
Так каждый день она, в часы досуга,
Скрывается для чтенья черных книг.
И остается он один, из круга

Волшебного не выходя на миг,
И меж зверей, цветов и трав, в разлуке
С прекрасною, в саду он бродит в скуке.

27

Но только лишь влюбленных в час урочный
Молчаньем ночь к свиданью призовет,
Они вдвоем вкушают мир полночный,
Укрывшися под той же рощи свод.
И вот ушла лишь фея, чтоб непрочной
Любви своей дать силу и оплот,
Как витязи, что меж кустов стояли,
Ринальду вдруг в оружии предстали.

28

Как бурный конь, давно уже средь бою
Не бившийся за славу и за честь,
Но грозною прикованный судьбою
Меж кобылиц жизнь в праздной лени весть,
Вдруг, видя сталь, иль пробужден трубою,
Ржет, весь огонь, кипит, горящий несть
В бой всадника, свирепый и суровый,
И отражать, и нападать готовый, —

29

Так и Ринальд: едва сверкнула в очи
Герою сталь, как в нем вскипела кровь.
Дух пламенный, дух, полный бурной мочи,
Проснулся в нем от молний стали вновь,
Тот юный дух, что в неге дни и ночи
Как пьяный спал, вкушая лишь любовь.
Меж тем Убальд к Ринальду шаг направил
И на него алмазный щит уставил.

30

В алмазный щит Ринальд вперяет взоры
И видит в нем не ратный свой доспех,
Но женщины изнеженной уборы,
Облитые духами как на-смех,
Он зрит свой меч, разить когда-то скорый,
Разубранный цветами для потех,
Уж не оружьем был на нем железным,
Но украшеньем жалко бесполезным.

31

Как человек, сном тяжким удрученный,
От грез приходит сам в себя опять, —
Так юноша очнулся вдруг, смущенный;
Но на себя нет сил ему взирать.
Очами вниз поник он, пристыженный,
И со стыда не может их поднять:
Хотел бы он сквозь землю провалиться,
Сгореть в огне иль в море утопиться.

32

Тогда Убальд: «Уже войной кровавой
С Европою вся Азия кипит.
Почтить Христа, себя украсить славой
Всяк в Сирию в оружии спешит.
Один лишь сын Бертольда величавый
Здесь в праздности, вдали от мира, спит.
В войне всемирной он один спокоен,
Коварной девы жалкий раб, — не воин!

33

В каком же сне, в чаду какого бреда
Ты здесь поник отважною главой?
Проснись! К тебе и счастье и победа,
К тебе, Готфред, и стан взывает твой.
Не покидай начатого там следа;
Воспрянь на подвиг, витязь роковой!
И град падет с злым племенем мятежным
Перед твоим булатом неизбежным».

34

Он замолчал и, вняв его воззванью,
Стоит герой безгласен, недвижим.
Когда же стыд дал путь негодованью,
Воителю рассудка, — он палим
Уж не стыдом в лице; но, по призванью,
В нем бранный пыл горит, неукротим.
И рвет с себя он роскошь, все убранства,
Неволи след, плоды ее тиранства.

35

И быть скорей он хочет на свободе
И лабиринт коварный миновать...
. . . . . .

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОКТАВЫ ПОЭМЫ

ПЕСНЬ XX

137

Тем временем свой царский стяг во прахе
Увидел вождь египетских племен[a].
И вместе с тем увидя, как при взмахе
Меча Готфредова пал Римедон
И как вся рать, разбита, мчится в страхе —
Уж умереть не хочет трусом он.
Он ищет (и не тщетно) смерти славной
Лишь от руки, во всем с ним в славе равной.

138

Он на Готфреда бег коня торопит.
Вот, мнит, мне враг, какого выше нет.
И где промчится, все в крови он топит,
Кладя везде последней злобы след.
Уж издали к Готфреду в злобе вопит:
«Пусть от руки твоей паду, Готфред!
Но прежде чем умру, — с ожесточеньем
Я увлеку тебя своим паденьем».

139

Сказал, и разом копья оба мужа
Склонили вниз, друг в друга наводя.
Разбив весь щит и длань обезоружа,
Враг ранил в шуйцу франкского вождя.
Но тут Готфред, всю силу обнаружа,
В лицо врагу так грянул, что с коня
Свалил во прах и в миг, как, полный гнева,
Тот встать хотел, пронзил его во чрево.

140

Так дерзкий Эмирен погиб с позором.
Остатки рати гнал во весь опор
Готфред и вдруг сдержал коня: перед взором
Предстал ему в крови весь Альтамор.
С полумечом, в полшлеме, он с напором

---

[a] Армянин *Эмирен* — ренегат христовой веры, назначенный властителем Египта вождем огромной армии, пришедшей на помощь к иерусалимскому царю. *Римедон* — один из доблестнейших витязей египетской рати. *Альтамор* — царь Самарканда, явившийся на призыв египетского султана.

Ста франкских копий вел напрасный спор.
«Конец борьбе! — вождь крикнул подчиненным; —
Царь, я — Готфред; герой, сдавайся пленным».

141

И тот, чей дух надменный унижаться
Еще не мог доныне в шуме сечь,
При имени того, чей гром промчаться
От севера успел до южных веч, —
Ему в ответ: «Готов повиноваться.
Того ты стоишь (и вручает меч).
Но не одной лишь славой, но и златом
Возблещешь ты победой над собратом.

142

Меня из плена выкупит супруга
За золото, за блеск моих камней».
А тот ему: «С небесного мне круга
Дан дух, не ищущий богатств царей.
Владей же всем, что получаешь с Юга
Ты с Индии и с Персии твоей.
Смотрю на брань не как на злата ловлю:
Брань с Азией веду я, не торговлю».

143

Сказал и пленника он отдал страже,
А сам летит за теми, что вдали
За вал неслись, но и за валом даже
От гибели спасенья не нашли.
Вал тотчас взят, и гибель там все та же;
Потоки крови меж шатров текли,
Победные трофеи обагряя,
В крови ковры, одежда дорогая.

144

Так победил Готфред, и дня так много
Еще осталось, что герой вошел
В освобожденный Град, в обитель бога,
Где свой приют спаситель наш обрел.
И, лат не сняв кровавых, внутрь чертога
Верховный вождь с собой и прочих ввел,
Повесил здесь оружье и, смиренный,
Пред гробом пав, свершил обет священный.

ГЕРЦОГУ ВИНЧЕНЦО ГОНЗАГЕ[a]

Винченцо славный, я томлюсь жестоко,
В тюрьму суровой заточен рукой;
Тупая чернь глумится надо мной,
Беспомощной игрушкой злого рока.

Ах! Ада моего в мгновенье ока
Захлопнулись врата в день брака той,
Которая по матери с тобой
И по отцу — единого истока.

Меж тем давно ли ласковый твой взор
Был обращен ко мне? О, неужели
Нельзя надеяться и на тебя?

В твоей душе все чувства омертвели,
Коль обо мне не вспомнишь ты, любя.
Бездушный век, позор тебе, позор!

---

[a] *Винческо Гонзага* — наследный герцог Мантуанский, содействовавший освобождению Тассо из заключения в госпитале св. Анны (1586 г.). По просьбе герцога Альфонсо согласился отпустить Тассо в Мантую.

ГВАРИНИ

Джамбаттиста Гварини (Giambattista Guarini, 1538—1612) — итальянский поэт. Родился в Ферраре в знатной семье. Слушал университетский курс в Падуанском университете. По возвращении на родину стал профессором красноречия в феррарском Атенее. Приглашенный ко двору феррарского герцога Альфонса II д'Эсте, Гварини вошел в число придворных, был возведен в рыцарское достоинство, исполнял ряд дипломатических поручений герцога.

Его наиболее прославленное произведение — драматическая пастораль «Верный пастух» («Pastor Fido», 1581—1590), которую Гварини писал, соревнуясь с «Аминтой» Тассо. Пьеса имела исключительный успех и оказала очень большое влияние на развитие европейской пастушеской драмы эпохи Барокко (XVI—XVII вв.). Значительный художественный интерес представляют также лирические стихотворения Гварини («Rime», изд. в Венеции в 1598 г.), из которых выделяются мадригалы, отмеченные печатью тонкого поэтического мастерства.

Из «ВЕРНОГО ПАСТУХА»

СОН ПАСТУХА МОНТАНА

Было как раз то время,
Когда ни день, ни ночь, и тьму со светом
Еще сливает луч зари неяркий.
Когда я, размышляя
О предстоящей свадьбе,
Прободрствовал до половины ночи,
И, наконец, усталость
Мне тихий сон навеяла на очи,
И было мне столь четкое виденье,
Что я бы мог подумать,
Что бодрствую, заснув.
На берегу преславного Алфея
Сижу я, снилось мне, под сенью
Зеленого платана
И удочкой приманиваю рыбу.
Вдруг в этот миг выходит
Из вод речных старик нагой и важный, —
Струится борода, струятся кудри;
Обеими руками
Он протянул мне ласково ребенка
Нагого — лил он слезы —
Сказав: вот твой ребенок.

Смотри, чтоб не погиб он.
И, так сказав, вновь погрузился в волны.
И вот внезапно небо
Густыми тучами заволновалось:
Ужасная мне угрожала буря, —
Настолько, что в испуге
Прижав ребенка к груди,
Вскричал я: час единый
Иль, дав его, отымет?
И тут мне показалось,
Что небо все как будто просветлело,
И стали падать в реку
Испепеленных молний
Надломленные стрелы, много тысяч.
И ствол платана дрогнул,
И из него явился
Легчайший дух и тоненькою речью
На языке своем сказал мне ясно:
Монтан, Аркадия твоя взрастет прекрасной.

ОБ ОЧАХ ГОСПОЖИ

МАДРИГАЛ

Вам, очи, грозные светила,
Мое дыхание немило;
Жестокие, вы и во сне
Погибели хотите мне;
Смеженные, меня разите, —
Открывшись, что вы сотворите?

ПЕРНАТЫЙ СЧАСТЛИВЕЦ

МАДРИГАЛ

Мой друг пернатый, песнь твоя
Мне по душе. С тобой мы так похожи:
Мы оба узники, и ты и я;
Ты целый день поешь, пою я тоже;
И оба мы поем для той,
Чью власть признали над собой.
Но между нами то различье,
Что изливаешь ты веселье птичье,
Когда поешь, а я, когда пою,
Влагаю в песнь одну тоску свою.

БРУНО

Джордано Бруно (Giordano Bruno, 1548—1600) — знаменитый ученый и философ эпохи Возрождения, единомышленник Коперника, один из основоположников нового естествознания, страстный борец с феодально-католическим мракобесием, сожженный на костре в Риме папской инквизицией. В историю литературы Бруно входит своей блестящей комедией («Il candelaio», 1582), бичующей суеверие и ученый педантизм, одной из наиболее замечательных комедий итальянского Возрождения, сатирической (антиклерикальной) аллегорией «Изгнание торжествующего зверя» (русский перевод 1914 г.) и рядом стихотворений на философские темы. Приводимые стихотворения: латинские дистихи взяты из книги Бруно «О причине, начале и едином» («De causa, principio e uno»), Соцэкгиз, 1934 г., сонет — из книги «О бесконечности, вселенной и мирах», Соцэкгиз, 1936 г.

К НАЧАЛАМ ВСЕЛЕННОЙ

Вновь направляя свой бег в высоту из Летейских [а] пределов,
Ты появись, о Титан [б] в круге светил, я молю.
Хоры блуждающих звезд, я к вам свой полет направлю,
К вам поднимусь, если вы верный укажете путь.
Ввысь увлекая меня, ваши смены и чередованья
Пусть вдохновляют мой взлет в бездны далеких миров.
То, что так долго от нас время скупое скрывало,
Я обнаружить хочу в темных его тайниках.
Что же мешает твоим, ум озабоченный, родам?
Следует ли эту дань грубому веку отдать?
Если потоки теней покрывают землю — вершину,
Все же ты, о наш Олимп, к яркому солнцу вздымай.

К СВОЕМУ ДУХУ

Ты глубоко, гора, в земле залегаешь корнями,
Но неудержно стремишь к звездам вершину свою.
Ум, высочайший предел ты всех вещей постигаешь,
Солнечный свет оттенив мраком подземных глубин.
Так не теряй своих прав и понапрасну не медли
Там, где потоки свои мрачный стремит Ахеронт —
Смело стремись в высоту, в отдаленные сферы природы,
Ибо вблизи божества ты запылаешь огнем.

[а] *Лета* и *Ахеронт* — реки в подземном царстве.
[б] *Титан* — солнце.

СОНЕТ

Кто дух зажег, кто дал мне легкость крылий?
Кто устранил страх смерти или рока?
Кто цепь разбил, кто распахнул широко
Врата, что лишь немногие открыли?

Века ль, года, недели, дни ль, часы ли
(Твое оружье, время!) — их потока
Алмаз, ни сталь не сдержат, но жестокой
Отныне их я не подвластен силе.

Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,
Кристалл небес мне не преграда боле,
Но, вскрывши их, подъемлюсь в бесконечность.

И между тем как все в другие сферы
Я проникаю сквозь эфира поле,
Внизу — другим — я оставляю Млечность.

Из комедии «ПОДСВЕЧНИК»

ПРОПРОЛОГ

Куда же он пошел, этот плут, удары ему в спину, который должен был составлять пролог? Синьоры, комедия будет без пролога; да это и неважно, ибо нет нужды, чтобы он был: материя, сюжет, способ и порядок обстоятельств ее, я говорю вам, что они будут представлены перед вами в порядке и будут поставлены перед вашими очами в порядке: это гораздо лучше, чем если бы они были рассказаны по порядку. Это такой род полотна, который имеет вместе замысел и ткань: кто может его понять, тот поймет, кто хочет уразуметь, тот уразумеет. Но я должен вас предупредить, что вы должны думать, будто вы находитесь в великолепнейшем городе Неаполе, около квартала Нила. Этот дом, который вы видите здесь, будет эту ночь служить некоторым мошенникам, плутам, шулерам, — берегитесь, с вашей стороны, чтобы они у вас не похитили кое-чего, что вы носите на спине, — они будут распростирать свои сети, и пропал тот, кто в них попадется. С этой стороны проходят в комнату свеченосца, то есть мессера Бонифацио и его жены Карубины, а с той стороны — мессера Бартоломео, с другой стороны проходят в комнаты синьоры Виттории, художника Джоана Бернардо и Скарамуре, выдающего себя за некроманта. По этим окрестностям очень часто возвращается, не знаю, по какому поводу, торжественнейший педант называемый Манфурио. Я уверен, что вы все его увидите: а сводница Лючия очень часто проходит туда и обратно по своим делам; вы увидите Поллюлу, чаще всего с его магистром, вы

увидите пажа Бонифацио, Асканио, который служит ему и при солнце и при свечах. Мокион, мальчик Бартоломео, не горячий и не холодный, не благоухает и не воняет; в Сангвино, Барре, Марке и Корковиццо вы увидите, какой ловкостью отличается школа мошенников; вы узнаете, какие формы принимают плутни алхимиков в лице Ченчио; а для препровождения времени вам будет представлен аптекарь Консальво, Марта, жена Бартоломео, и остроумнейший синьор Оттавиано. Вы рассмотрите, кто приходит и кто уходит, что делают и что говорят, как понимают и как надо понимать: несомненно, что, созерцая эти действия и речи глазами Гераклита или Демокрита, вы получите много поводов смеяться или плакать.

Вот перед вашими глазами: бесполезные принципы, слабые замыслы, пустые помыслы, тщетные надежды, взрывы души, разрывы веревок, ложные предположения, помешательство ума, поэтические восторги, затмение чувств, расстройство фантазии, смущенное странствование ума, необузданная вера, безумные заботы, неопределенные занятия, несвоевременные посевы и славные плоды безумия.

Вы увидите, как любовник вздыхает, слезы, рассеянность, содрогания, становится дыбом, сердце, поджаренное на огне любви; мысли, отвлечения, гнев, меланхолию, зависть, жалобы, тем меньше надежд, чем больше желаний. Вы найдете в душе колодки, связки, цепи, порабощение, темницы, и еще вечные муки, мучения и смерть; в убежище души — стрелы, дротики, копья, огни, пламень, жар, ревность, подозрение, презрение, упорство, ярость и забвение, раны, язвы, узы, мехи, клещи, молоты и наковальни; стрелка с луком, слепого и нагого; предмет сердца, мое сердце, мое благо, моя жизнь, моя сладкая рана и смерть, бог, божество, холм, успокоение, надежда, фонтан, дух, заходящая звезда, и прекрасное солнце, которое никогда не заходит в душе; и еще столкновение, жестокое сердце, крепкая колонна, твердый камень, алмазная грудь, и суровая рука, которая держит ключи моего сердца, и моя неприятельница, и моя сладкая воительница, единственная мишень всех моих мыслей, и хороша моя любовь, а не другого...

...Вы увидите еще прозопопею[1] и величественность человека мужского рода: подносящего вам ароматы, способные возбудить отвращение в желудке свиньи или курицы, восстановителя древнего Лациума, соперника Демосфена, поднимающего Туллия с наиболее глубокого и мрачного центра, воспевателя подвигов героев. Вот вам остроумие, способное вызвать слезы из очей, поставить волосы дыбом, заставляющее человека скрежетать зубами, стать дыбом, кашлять и чихать. Вот вам один из составителей книг, хорошо вознаграждаемых республикой; толкователи, глоссаторы, изготовители, методики, указатели, объяснители, переводчики, комментаторы, составители компендиев, новые диалектики; появляющиеся с новой грамматикой, новым словарем, лексиконом, разночтением; одобритель авторов, подлинно одоб-

ренный, с греческими, еврейскими, латинскими, итальянскими, испанскими, французскими эпиграммами, поставленными на заглавном листе. Откуда и тот, и другой, и второй, и первый удостоились бессмертия, как благодетели этого века и будущих веков; которые ввиду этого обязаны посвятить им статуи и колоссы в средиземных морях, в океане и в других необитаемых местах земли. Этот вечный свет заставляет приветствовать их, и с глубоким почтением преклоняются перед ними веки веков; слава распространяет их голоса до одного и другого полюса и оглушает своим криком, шумом и треском Борея и Австра, индийское и мавританское моря. Как здесь хорошо умещается, — мне кажется, что я вижу столько перлов и жемчугов в золотом поле, — латинская речь среди итальянской, греческая среди латинской; здесь нет ни одной страницы, где не было бы хотя бы одного изреченьица, стишка, странного мнения, выраженного причудливым языком. Ах, они дают мне жизнь, когда неволей или волей, в устной или письменной речи приводят кстати стишок из Гомера и Гезиода, отрывочек из Платона или грека Демосфена. Как хорошо они доказывают, что они единственные, в головы которых Сатурн обмочился суждением, между наружной и внутренней оболочкой мозга которых новые фрейлины Паллады выгрузили рог изобилия вокабул; и поэтому для них вполне пристойно, чтобы они расхаживали с этой своей прозопопеей, этой своей тяжеловесной поступью, выпрямив стан, поднявши голову и очи, со скромной и горделивой осторожностью. Вы увидите одного из тех, которые жуют доктрины, нюхают мнения, выплевывают сентенции, мочатся авторитетами, отрыгают тайны, изливаются ясными и капризными чернилами, сеют амброзию и нектар суждений, оказывают доверие Ганимеду и после чокаются с гремящим Юпитером. Вы увидите молодчика синонимического, эпитетического, близлежащего, подлежащего, педеля Минервы, управляющего Паллады, трубача Меркурия, патриарха муз и дофина в аполлоновском царстве.

Вы увидите подвиги мошенников, уловки плутов, предприятия негодяев... В заключение, вы увидите, что во всем этом нет ничего достоверного, но много действия, достаточно недостатков, мало прекрасного и ничего хорошего. Мне кажется, я слышу исполнителей; до свидания.

АКТ I

СЦЕНА I

Бонифацио, Асканио.

Бонифацио. Пойди, найди его тотчас же и постарайся привести его сюда. Иди, делай и приходи скорее.

Асканио. Я постараюсь сделать быстро и хорошо. Лучше немного поздно, чем немного плохо. Sat cito, si sat bene[a].

[a] «Достаточно быстро, если достаточно хорошо».

Бонифацио. Слава богу: я думал иметь только служителя, а имею служителя, домоправителя, сатрапа, доктора и советника; и говорят еще, что я бедный дворянин. Я говорю тебе, во имя благословенного ослиного хвоста, которому поклоняются генуэзцы в Замке[2]: делай быстро, печально и неохотно. И остерегись войти в дом, понимаешь ли ты? Позови его, чтобы он подошел к окну, и скажи ему то, что я тебе говорил: понимаешь ли ты?

Асканио. Да, синьор; я иду.

СЦЕНА II

Бонифацио (один).

Искусство восполняет недостатки природы, Бонифацио. После того, как, к несчастью, не могу сделать, чтобы эта изменница меня полюбила или, по крайней мере, делала вид, что смотрит на меня влюбленными глазами, кто знает, — может быть ту, которую не могли тронуть слова Бонифацио, любовь Бонифацио, вид мучений Бонифацио, можно будет принудить посредством этой тайной философии. Говорят, что магическое искусство имеет такое значение, что может, вопреки природе, повернуть реки вспять, остановить море, заставить реветь горы, петь бездну, запретить движение солнцу, развязать луну, сорвать звезды, похитить день и закрыть ночь: поэтому академик ни одной академии в своей забытой поэме под ненавистным заглавием говорит[3]:

Потоки быстрые оно отводит вспять,
Златые звезды с тверди низвергает;
День превращает в ночь, ночь в день опять,
Луну с ее орбиты совлекает,
Рог правый в левый в силах превращать[4],
Валы морские, вздувши, укрощает;
Перемещает воду, воздух, огнь и прах
И волны движет на иных крылах.

Во всем этом можно сомневаться; но опыт каждый день подтверждает нам то, что он говорит в последнем стихе относительно аффекта любви. Я не говорю уже о том, что слышу действительно удивительные вещи об этом магистре Скарамуре. Вот: я вижу одного из тех, которые похищают корову и потом дают вам рога бога ради[5]. Посмотрим, какие хорошие новости он принесет.

СЦЕНА V

Манфурио, Поллюла, Сангвино.

Манфурио. Bene repperiaris bonae, melioris, optimaeque indolis, adolescentule: quomodo tecum agitur? ut vales?[a]

Поллюла. Bene[6].

Манфурио. Gaudeo sanè gratulorque satis; si vales bene est, ego quidem valeo[в] — марко-туллиевская элегантность[6], сохраненная им во всех его посланиях к домашним.

[а] Хорошо ли себя чувствуешь, молодой человек хорошего, лучшего, самого лучшего характера: как твои дела? как поживаешь? [6] Хорошо. [в] Весьма радуюсь и поздравляю тебя; если ты здравствуешь, это хорошо, я себя чувствую хорошо.

Поллюла. Приказывайте другим, domine Magister [а]. Я иду, чтобы закончить одно дело с Сангвино и не могу мешкать здесь с вами.

Манфурио. О, выброшены напрасно мои правила, извлеченные из моей плодоносной гимназии Минервы. Посредством остроты моего Марса я заставлял тебя заполнять ими твои белые страницы пером, обмакнутым в черные attramento intincto, exarare [б]; выброшены, говорю я, incassum cum sit [в], так как ты не умеешь пользоваться ими во-время в подходящем месте, eorum servata ratione [г]. А между тем твой наставник воэбуждал тебя к изучению этого латинского наречия, знаменитого apud omnes, etiam barbaras nationes [д]. Ты же dum persistendo в commercio bestiis similitudinario [е] с невежественной чернью, abdicaris a theatro literarum [ж] и даешь мне ответ, составленный из слов, которые ты воспринял от кормилицы, et obstetrice in incunabulis; vel ut melius dicam suscepti [з]. Скажи мне, слепец, когда ты хочешь dispuerascere [и].

Сангвино. Магистр, этим вашим диавольским непонятным разговором, или catacumbaro [к], вашей делегантной латрынью [7] вы портите небо, и весь свет над вами смеется.

Ман. Да, если этот мегалокосмос, или вселенская махина, безбожный и невежливый, подобен тебе.

Сан. Что вы мне говорите о божественном и вежливом Козьме? Говорите, чтобы я вас понял, если хотите, чтобы я вам ответил.

Ман. Vade ergo in infaustam nefastamque crucem, sinistroque Hercule [л]. Музы не хотят выносить свинятник вашего товарищества, vel haram colloqii vestri [м]. Какое суждение имеешь ты об этом злодее, о Поллюла? Поллюла, appositorie fructus eruditi onum mearum [н], восприемник моего ученого семени, ne te moveant modo a nobis dicta [о], ибо, quia, namque, quandoquidem-particulae causae redditivae [п] я хотел тебя сделать соучастником этой фразы, посредством которой, lepidissime eloquentissimeque [р], составляем порицания, которым вы posthac, deinceps [с], если небожители щедро одарят вас тем, что они уступили нам, сумеете подражать, в противоположность вашим ученикам.

Пол. Хорошо, но надо говорить кстати, в зависимости от обстоятельств.

Ман. Причиной моей excandescentia [т], было то, что вы сказали: «Не могу мешкать здесь с вами». Debuisses dicere, vel elegantius, infinitivo antecedente subjunctivum, — dicere debuisses: «Excellentia tua, eruditione tua, non datur, non conceditur mihi cum tuis dulcissi-

---

[а] Господин магистр. [б] Чернила, писать. [в] Поскольку они тщетны. [г] Сохранивши их смысл. [д] У всех, даже варварских наций. [е] Упорствуя в звероподобном обращении. [ж] Отказался от поприща наук. [з] Повивальной бабки при колыбели, или, говоря лучше, подхватил. [и] Выйти из младенческого состояния. [к] Надгробной речью. [л] Отправляйся к проклятому чорту, клянусь зловещим Геркулесом. [м] Или хлев вашего разговора. [н] Близлежащий плод моих поучений. [о] Пусть тебя не трогает изреченное нами. [п] Потому что, ибо, так как частицы последующей причины. [р] Весьма остроумно и красноречиво. [с] После того, непосредственно за тем. [т] Вспыльчивости.

mis musis ocium. [а] И потом это обращение «с вами»: nec bene dicitur latine respectu unius, nec urbane [б] по отношению к одетым в тогу и гимнасиархам.

Сан. Смотрите, смотрите, какой оборот принимает дело: вы сговорились, а я остаюсь снаружи, как задвижка. Пожалуйста, domine Magister [в], будемте также друзьями, ибо, хотя я не способен находиться под вашей ферулей, id-est [г], стать вашим учеником, тем не менее, я могу вам служить в другом отношении.

Ман. Nil mihi vobiscum.

Сан. Et con spirito to [д].

Ман. Ах, ах, ах, Поллюла, каким образом ты подружился с этим зверем?

Сан. Скверный или прекрасный, я к услугам вашего величества, почтеннейший синьор мой.

Ман. Этот мне кажется очень послушным и не в такой степени невежливым, каким он казался сначала, ибо он мне дает очень вежливые и подходящие эпитеты.

Пол. Sed a principo videbatur tibi homo nequam [е].

Ман. Убери это «nequam» [ж]: хотя оно и принято в священных страницах, однако это не dictio ciceroniana. «Tu vivendo bonos, scribendo sequare peritos [з]», — говорит нинивит Джованни Диспаутеро, за которым следует мой наставник Алоизио Антонио Сидечино и сарменто Салано, преемник Лючио Джованни Скоппы [8] tex voluntate heredis [и].

Dicas igitur; «non aeaquum» [9] prima dictionis litera diphtongata ad differentiam от quadrupede substantia animata sensitiva, quae diphtongum non admittit in principio [к].

Сан. Ученейший синьор магистр, мы просим у вас разрешения удалиться, ибо нам сейчас нужно встретиться с мессером Джованьом Бернардо, художником. До свидания.

Ман. Ступайте же, при благоприятных предзнаменованиях. Но кто это с calatho in brachiis [л] идет мне obvia [м]? Это muliercula quod est, per ethimologiam, mollis Hercules; opposita juxta se posita [н] [10]: мягкий, подвижный, хрупкий и непостоянный пол, в противоположность Геркулесу. О прекрасная этимология! это теперь deprompta [о]

[а] Ты должен был бы сказать, или более элегантно, — при сослагательном наклонении неопределенное предшествует, — сказать ты должен был бы: «Твое превосходительство, с позволения твоей учености, мне не дан, не уступлен досуг с твоими сладчайшими музами. [б] Не употребляется в хорошей латыни по отношению к одному, невежливо. [в] Господин магистр. [г] То есть. [д] *Ман.* У меня нет ничего общего с вами. *Сан.* И с твоим духом. [е] Но сначала он казался тебе негодным человеком. [ж] Негодный. [з] Цицероновский слог. «Ты в жизни следуй за добрыми, в писании — за опытными». [и] По воле наследника. [к] Итак, ты скажешь: «несправедливо», первая буква изречения двусложная, в отличие от четырехногой, одушевленной чувствительной субстанции, которая не допускает двугласной буквы в начале. [л] С корзинкой на руках. [м] Навстречу. [н] Женочка, что значит этимологически мягкий Геркулес, противоположное поставлено рядом. [о] Извлечено.

моим собственным Марсом [11]. А теперь отсюда propriam versus [а] двину свой шаг, ибо хочу отметить majoribus literis [б] в моей propriarum elucubrationum libro. Nulla dies sine linea [в] [12].

СЦЕНА X

Скарамуре, Бонифацио, Асканио.

Скар. Добро пожаловать, мессер Бонифацио.

Бон. Вы пришли весьма кстати, синьор Скарамуре, надежда моей горестной жизни.

Скар. Signum affecti animi [г].

Бон. Если ваша милость не поможет моему бедствию, то я умру.

Скар. Как я вижу, вы влюблены.

Бон. Да, так: нет нужды, чтобы я вам говорил больше.

Скар. Как я познаю по вашей физиономии жизни[13], счету вашего имени[14], ваших родителей и предков, синьора вашего рождения была «Venus retrograda, in signo masculino. Et hoc fortasse in Geminibus, vigesimo septimo grado» [д]; это обозначает известную перемену и превращение в возрасте сорока шести лет, в котором вы теперь находитесь.

Бон. Точно я не помню, когда я родился; но, судя по тому, что я слышал от других, мне сейчас приблизительно сорок пять лет.

Скар. Месяцы, дни и часы я сосчитаю более точно, когда измерю циркулем пропорцию между шириной большого ногтя и жизненной линией и расстояние от вершины безымянного пальца до центра руки, где обозначено пространство Марса; но пока достаточно этого общего суждения et in communi [е]. Скажите, когда вы были ужалены любовью к той, на которую вы посмотрели, в каком положении она находилась относительно вас, справа или слева?

Бон. Слева.

Скар. Arduo opere nanciscenda [ж]. К югу или северу, востоку или западу, или в других местах между ними?

Бон. По направлению к югу.

Скар. Oportet advocare septentrionales [з]. Довольно, довольно. Здесь не нужно другого: я хочу выполнить твое дело при помощи естественной магии, оставляя до более удобного времени операции более глубокого искусства.

Бон. Сделайте таким образом, чтобы я завершил свое предприятие, и пусть будет, что угодно.

Скар. Не беспокойтесь. Оставьте заботу об этом мне. Имело ли здесь место очарование?

Бон. Как, очарование? Я не понимаю.

[а] К собственному дому. [б] Большими буквами. [в] Книге собственных трудов. Ни одного дня без строчки. Признак душевного волнения. [г] Венера, идущая назад, в мужском созвездии. Это, может быть, в созвездии Близнецов, в двадцать седьмом градусе. [е] И в общих чертах. [ж] Находится в трудных обстоятельствах. [з] «Следует призвать на помощь северных».

Скар. Id est[а] когда вы на нее смотрели, она смотрела также на вас.

Бон. Да, синьор, да, посредством очарования.

Скар. Очарование бывает вследствие деятельности блестящего и тонкого духа, теплоты, порожденной сердцем из наиболее чистой крови. Эта теплота, вроде лучей, посылается наружу посредством открытых глаз, которые, глядя при помощи сильного воображения, поражают ту вещь, на которую они смотрят; они трогают сердце, аффицируют тело и дух другого аффектом любви или ненависти, или зависти, или меланхолии, или какой-либо другой страстью подобного же рода. Очарование любовью происходит тогда, когда весьма частым, или (будучи мгновенным) весьма интенсивным взглядом один глаз встречается с другим; и обоюдно встречается один зрительный луч с другим, и свет соединяется со светом. Тогда дух соединяется с духом; и высший свет проникает в низший; и они начинают сверкать через глаза, пробегая и проникая во внутренний дух, пустивший корни в сердце; и таким образом они причиняют любовный пожар. Поэтому, кто не хочет быть очарованным, должен быть весьма осмотрительным и ставить сильный караул в глазах, которые, особенно в любви, являются окнами души: откуда это изречение: «Averte, averte oculos tuos»[б]. Этого пока довольно. Мы увидимся в более удобное время, приняв необходимые меры.

Бон. Синьор, если вы доведете это дело до конца, то увидите, что оказали услугу не неблагодарной личности.

Скар. Мессер Бонифацио, я хочу, чтобы вы поняли следующее: я хочу быть раньше приятным вам, а затем, я уверен, если вы не будете мне благодарным, вы должны будете им стать.

Бон. Приказывайте, я к вам питаю живейшее расположение и сильно надеюсь на ваше благоразумие.

Аск. Живее, до свидания всем. Прощайте.

Бон. Пойдемте; я вижу, что сюда идет человек, наиболее тягостный для меня, которого могла произвести природа. Я не хочу иметь повода разговаривать с ним. Я приду к вам, синьор Скарамуре.

Скар. Приходите, я вас жду. Прощайте.

СЦЕНА XI

Ченчио, Джоан Бернардо.

Чен. Так надо вести это дело, согласно доктрине Гермеса и Гебера. Материя всех металлов — Меркурий. Сатурну принадлежит свинец, Юпитеру — олово, Марсу — железо, Солнцу — золото, Венере — бронза, Луне — серебро. Ртуть приписывается, в частности, Меркурию и находится в субстанции всех остальных металлов. Поэтому он называется послом богов, мужчиной с мужчинами,

---

[а] То есть.

[б] «Отклони очи твои от меня». (Песня Песней, гл. 5 и 6.)

женщиной с женщинами. Из этих металлов Меркурий Трисмегист называл небо отцом, а землю матерью, и говорил, что эта мать то бывает беременна горами, то долинами, то полями, то морем, то безднами и пещерами: я тебе говорил, что обозначает эта загадка. Ученейший Авиценна в письме, написанном к Хацеду, утверждает, что в лоне земли материей всех металлов является ртуть вместе с серой. Этому мнению я противопоставляю мнение Гермеса, который считает, что материей металлов являются все элементы; и вместе с Альбертом Великим считает смешным мнение, приписываемое Демокриту алхимиками, будто бы известь и щелочь (под которой они понимают крепкую воду) составляют материю всех металлов. Не могу также одобрить мнение Гильгиля, который в своей книге «О тайнах», утверждает, что metallorum materiam esse cinerem infusum [а], ибо он видит, что cinis liquatur in vitrum et congelatur frigido [б]. Эту ошибку тонко опровергает великий Альберт...

Дж. Б. Эти диавольские рассуждения нисколько не убеждают мой разум. Я бы хотел видеть готовое золото, а вас лучше одетым, чем теперь. Я думаю, что если бы ты знал, как делать золото, то ты не продавал бы рецепта, как делать золото, а делал бы его сам. И в то время, как ты делаешь золото для другого, для того, чтобы убедить его в твоем опыте, я бы делал его для себя, чтобы не иметь нужды продавать секрет.

Чен. Вы прервали мое рассуждение. Вы думаете, что только вы обладаете рассудком и что вы привели великий аргумент. Благодаря гарантиям, которые взял у меня мессер Бартоломео, он доказал, что он гораздо более осмотрителен, чем вы думаете. Он знает, что на меня напали разбойники, которые ограбили меня в лесу Канчелло, когда я шел из Айролы.

Дж. Б. Я верю, что он знает больше из ваших разговоров, чем из моих.

Чен. И поэтому я, не имея возможности покупать травы и минералы, нужные для этого дела, сделал так, как вы знаете.

Дж. Б. Ты должен был заложить его и сказать: мессер, я сделаю золото для себя и для тебя и, конечно, как он, так и другой тебе бы помогли; и то золото, которое ты ищешь в кошельках, ты получил бы из своей печи, имея лучшую репутацию и славу.

Чен. А мне было угодно сделать так. Когда я умру, какое мне дело, что весь мир будет знать, как делать золото? Какое мне дело, если весь мир будет полон золотом?

Дж. Б. Я сомневаюсь, чтобы серебро и олово стоили теперь дороже, чем золото.

Чен. Вы должны знать, во-первых, что мессер Бартоломео имел весь рецепт в руке, где описан и способ работы и те вещи, которые нужны для этого; для покупки тех вещей, которые нужны, он посылал к аптекарю своего мальчика, он присутствовал при всем

[а] Материя металлов — расплавленный пепел.
[б] Пепел расплавляется в стекле и сгущается при холоде.

том, что делалось; он делал все; и от меня он не требовал ничего иного, как только объяснений, говоря: сделай таким образом, сделай иным образом, не делай так, делай то, приложи это, бери это; так что к концу он с великой радостью нашел цельное и чистопробное золото на дне реторты, припаянной luto sapientiae [а]...

Дж. Б. Грязью пудры потеющих женщин по дороге из Педигротты.

Чен. И таким образом, будучи в высшей степени обеспечен, он заплатил мне шестьсот скудо за секрет, который я ему дал, согласно нашим условиям.

Дж. Б. Теперь, после того, как вы сделали одну вещь, сделайте другую, и все предприятие будет закончено без промаха.

Чен. Что вы хотите, чтобы мы сделали?

Дж. Б. Так как он теперь столь же беден, как были вы, имея на шестьсот скудо меньше, а вы столь же зажиточны, как был он, имея лишних шестьсот скудо: то, подобно тому, как вы поменялись фортуной, поменяйтесь также плащами и беретами, ибо в конце концов не подобает, чтобы он ходил в той одежде, а ты в этой.

Чен. О, вы всегда шутите!

Дж. Б. Так, так, шучу. В первый раз, как я увидел вас вместе, я сказал: вот здесь твой плащ, Ченчио, а здесь твой плащ, Бартоломео. Но скажи мне, как честный человек, не поступил ли ты с ним, как Джиджио с Перротино?

Чен. А что он сделал с ним?

Дж. Б. Ты не знаешь, что он сделал? Я тебе скажу. Он выдолбил кусок дерева, положил внутрь его золото, затем обжег его снаружи, так что он стал похож на другие угли; в свое время он с великою ловкостью вытащил его из кармана и, положивши руки на два других угля около печи, всунул туда этот уголь с золотом; когда он, вследствие силы огня, превратился в пепел, он выцедил золото, превратившееся в порошок, через отверстия снизу.

Чен. Упаси меня господь! Никогда я не мог бы себе вообразить подобного рода мошенничество. Чтобы я обманывал? Обманывал мессера Бартоломео? Я думаю, что он был осведомлен об этом поступке. Он не только не хотел, чтобы я трогал какую-либо вещь; но он заставил меня сидеть в шести шагах от печи, в первый раз, когда он работал в моем присутствии, действуя согласно объяснениям, данным в рецепте; во второй же раз он хотел быть совершенно один, заставив меня отсутствовать и руководствуясь только моим рецептом. Так что, после того, как опыт был повторен два раза с небольшим количеством материи и с наималейшими издержками, он решился на эту ставку и, как я вам сказал, делает большой посев, чтобы собрать большой урожай.

Дж. Б. Как! Он увеличил дозы?

Чен. В такой степени, что в этой первой постановке он получит пятьсот скудо, как пятьдесят сольдов.

[а] Глиною мудрости...

Дж. Б. Я думаю скорее, как пятьдесят сольдов, чем как пятьдесят других скудо. Так что ты пророчествовал лучше, чем Каиафа. Но подождем родов, и тогда мы увидим, будет ли это мальчик или девочка. До свидания.

Чен. До свидания, до свидания: довольно того, что вы верите в символ веры.

СЦЕНА XII

Ченчио (один).

В самом деле, если бы Бартоломео имел ум этого, и все были бы так хорошо осведомлены, то я напрасно протягивал бы свою сеть в этой стране. Но сделаем это хорошим образом, после того как птичка оказалась внутри; не будем подобны тому, который сам ловит ее в сеть и потом сам выпускает из руки. Я никогда не буду считать себя владельцем этих скудо и не буду называть их моими, пока я не буду за пределами королевства. Я отдал приказ на почту, и сейчас отправлюсь туда: мне не нужно брать другого багажа. Когда хозяин откроет чемодан, который он имеет на руках, он найдет его наполненным камнями; он увидит, что то, что находится снаружи, стоит больше, чем то, что находится внутри. Я думаю, что он также не задержится слишком долго, чтобы просмотреть свой счет. Нет нужды, чтобы я задержался здесь до того времени, пока Бартоломео пошлет за pulvis Christi [a]. Мне кажется, что я вижу женщину: я не хочу, чтобы она увидела, что у меня уже все упаковано.

СЦЕНА XIII

Марта (одна).

Я думаю, что Савтанассо, Барзабукко и все прочие адские духи возьмут его в товарищи; ибо он умеет разжигать адский огонь, чтобы поджаривать на нем осужденные души. Лицо моего мужа стало похоже на того, который в течение тридцати лет готовит угли на горе Скарваите, которая находится по ту сторону горы Чикалы. Рыба не стоит так охотно в воде, как он около этих живых углей, коптясь в дыму целый день, — я не хочу его проклинать! Потом он приходит с красноватыми и обожженными глазами, так что напоминает Люцифера. В конце концов, нет такого тяжелого труда, который любовь не делала бы не только легким, но даже приятным. Вот он, забравши себе в голову надежду сделать философский камень, стал таким, что его тоской стало кушать, его беспокойством — находиться в кровати; ночь всегда кажется ему долгой, как это бывает с детьми, которые должны одеть какое-либо новое платье. Всякая вещь причиняет ему скуку, всякое другое время для него огорчительно, и его единственный рай — это печь. Его жемчуги и драгоценные камни — это угли, его ангелы — реторты, подвешенные в горнах, со стеклянными носами, повернутыми сюда; и оттуда

[a] Порошком христа.

столько перегонных кубов из железа, более крупных, более мелких и средних. И как прыгает, и как пляшет, и как поет этот несчастный, который напоминает мне осла. Недавно, чтобы увидеть, что он делает, я подсмотрела сквозь щелочку в двери, и я увидела, что он сидит на стуле, как на кафедре, с одной ногой, вытянутой сюда, а другой — туда, и смотрит на балки потолка камеры, которым, кивнув три раза головой, он сказал: «Вы, я вас замажу звездами, сделанными из массивного золота». Потом он пробормотал что-то невразумительное, глядя на сундуки и обратившись лицом к ларцам. «Честное слово, — сказала я, — я думаю, что они скоро будут наполнены дублонами». А, вот Сангвино.

СЦЕНА XIV

Сангвино, Марта.

Сан. *(распевая)*. Кому нужен трубочист? Кто хочет чинить оловянные вещи, подсвечники, баночки, котлы?

Марта. Что так рано, Сангвино? Что это за новость, что ты с ума сошел? Что ты поешь посреди улицы? Какое из двух твое ремесло?

Сан. Я не знаю; или одно, или другое. А вы не знаете?

Марта. Если вы мне не скажете, я не знаю, какое.

Сан. Я слуга, ученик и товарищ вашего мужа, который или трубочист, или чинит оловянные вещи, латает сковороды и запаивает кастрюли. Если ты мне не веришь, погляди на его лицо и посмотри на его руки. Какого чорта он делает? Почему он жарится в дыму, подобно сосискам или вяленой говядине апулийского барана?

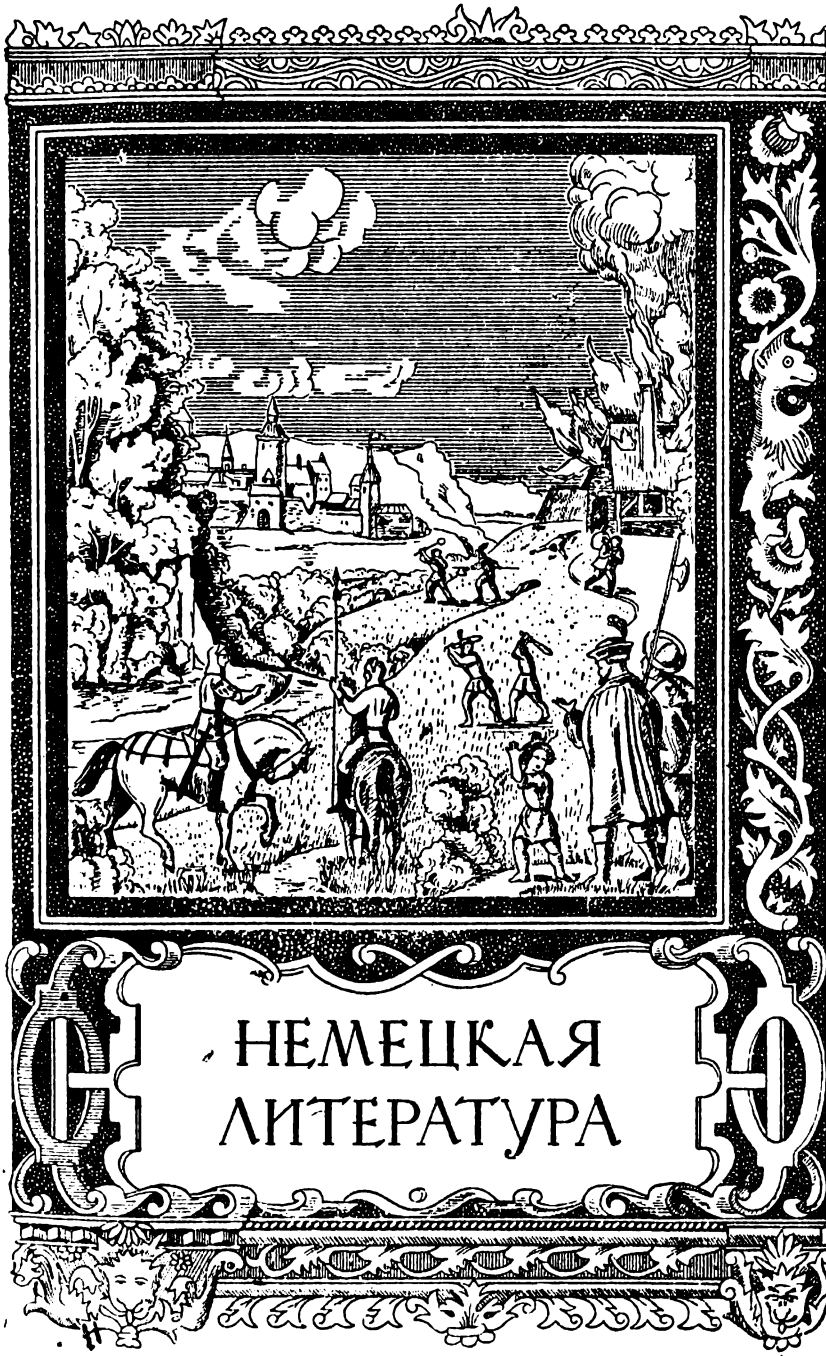
Марта. Ах, я несчастная! Из-за него на меня указывают пальцами, и всякий бездельник издевается надо мной. Ты понимаешь, Сангвино, пойди и скажи это ему, а не мне.

Сан. Говорят, что наш господь исцелил все другие роды болезней, но никогда не хотел приблизиться к сумасшедшим.

Марта. А ты поэтому уходи, так как я не хочу приблизиться к тебе, сумасбродный.

Сан. Так, приближайся к нему, дорогая госпожа, и берегись предложить ему язык, ибо блюдо будет дымное.

Конец первого акта.



НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БРАНТ

Себастиан Брант (Sebastian Brant, 1457—1521) — писатель-гуманист. С 1489 г.—доктор прав в Базеле; с 1501 г. — городской секретарь (канцлер) Страсбурга в Эльзасе. Автор многочисленных научных, публицистических и поэтических произведений на немецком и латинском языках. Его наиболее значительное создание: сатира в стихах «Корабль дураков» (Das Narrenschiff, 1494), имевшая огромный успех и вызвавшая ряд подражаний. В сатире дано пространное обозрение всевозможных пороков современности. Глупцы садятся на корабль, чтобы ехать в Наррагонию (страну глупости). Идет поочередная характеристика глупцов, подкрепляемая многочисленными гравюрами на дереве, исполненными по рисункам Себастиана Бранта.

Себастиан Брант — с гравюры XVI в.

Из «КОРАБЛЯ ДУРАКОВ»

О БЕСПОЛЕЗНЫХ КНИГАХ

1.

Я пляску дурней возглавляю:
Чту книги я, но не читаю,
В них ничего не понимаю.

Я первый на корабль всхожу,
А почему, сейчас скажу.
Искать причину надо в том,
Что полон книгами мой дом,
Которые коплю усердно.
Книг не читаю — это верно, —
Но чту сокрытый в книгах дух,
Оберегаю их от мух.
Да, эти кладези науки
В достойные попали руки!
Свой книжный озирая клад,
Я нахожу, что всем богат.

Передают про Птоломея
Что он, собраньем книг владея,
Его сокровищем считал,
Но редко книги он читал,
У них учиться не привык.
И у меня тьма разных книг,
Но я их не читаю, нет!
К чему? Плод многочтенья—
бред.
Зачем мне голову ломать?
Могу кого-нибудь нанять,
Чтоб он учился за меня,—
В конце концов не нищий я.
Среди ученых находясь,
Хоть неуч, не ударю в грязь.
Сказать сумею: ita—так,
Шрифту латинскому я враг,
Но мне известно уж давно,
Что vinum—то же, что вино,
Что stultus—тот, кто мелет
вздор,
Что сам я—domine doctor [a].
Чтоб не узнали по ушам,
Их не показываю вам.

Гравюра на дереве из первого издания «Корабля дураков» (Базель, 1914 г.). Ученый в очках и ночном колпаке сидит за книжным пультом и метелкой отгоняет мух от раскрытой книги. На спине у него—откинутый дурацкий колпак с бубенцами.

[a] Господин доктор.

ПИСЕЦ И РАЗБОЙНИК

69

Писец и разбойник насилье творят
Над богатым крестьянином и потом говорят:
Он первый начал, сам виноват.

[На гравюре изображен глупец в образе стряпчего за конторкой. Перед ним — путешественник с накинутой на шею веревкой, которую держит закованный в латы человек. Путешественник показывает стряпчему охранную грамоту, на которую он по глупости легкомысленно положился. Все трое украшены дурацкими колпаками. Под гравюрой — вышеприведенное трехстишие.]

Писец и разбойник без дальних слов
Должны попасть на корабль дураков.
Питаются оба они грабежом:
Один открыто, а другой тайком.
Одного не страшат ни дождь, ни зной,
В чернильницу душу упрятал другой.
Разбойник творит за поджогом поджог,
А писцу идет крестьянин в прок,
Который настолько оброс жирком,
Что можно отлично нажиться на нем.
Направь они силы свои на дело,
И каждый долг исполнил бы свой, —
Пером один и мечом другой.
Почтенна бы их работа была,
Когда б не корыстны их были дела,
Когда б не теснили они народ,
Когда б не пускали насилие в ход.
Однако оба, — и в этом беда, —
Лишь о себе пекутся всегда.
Поэтому их прошу не пенять,
Что я на корабль свой решил их взять.
А впрочем, я им не навязывал мест,
Попросились оба сами в отъезд
И обещали ко дню отчала
Знакомых с собой привести не мало.
Не перевелись еще писцы,
Что на всякую кривду молодцы,
И вымогают последний грош.
А разве, по правде сказать, не позор,
Что купцу и паломнику до сих пор
На дорогах везде засады грозят?
Да в чем же тут дело? Разгадка легка:
Подорожная пошлина страсть как сладка.

97

Лень мы найдем повсюду вокруг,
Как у служанок, так и у слуг.
Они никакой недовольны платой,
Хотя на труд не весьма тароваты.

О НЕРАДИВОСТИ И ЛЕНОСТИ

[На гравюре изображена служанка, заснувшая над пряжей возле пылающего очага; в руке она еще продолжает держать полено, которое намеревалась подложить в огонь. За ней стоит слуга, беспечно глядящий в пространство. Под гравюрой — вышеприведенное четырехстишие.]

Во всяком деле глупее всех тот,
Кто превыше всего свой покой блюдет
И предпочитает, ленивый дурак,
Обгореть, чем сделать в сторону шаг.
Как вреден едкий дым глазам,
А уксус боль причиняет зубам,
Так и ленивец невыносим
Для того, кто на горе связался с ним.
От ленивца прока нет никому:
Весь день у печки сидеть бы ему,
Как можно дольше и слаще спать
Иль в виде чучела птиц пугать.
Блажен, кто с киркою проводит день;
Порока нет гнуснее, чем лень.
Господь награждает охотно труд,
А ленивца кары небесные ждут.
Лукавый встретить ленивца рад,
Он в душу ему вливает свой яд.
Губительна лень: по ее причине
Возроптали Израиля дети в пустыне,
А царь Давид человека убил
И прелюбодеяние совершил.
Рим превратился в прах и тлен
Оттого, что с землей был сравнен Карфаген.
С тех пор как был разрушен он,
Рим терпел за уроном урон:
Карфаген не такой нанес ему вред
В течение ста шестнадцати лет.
Ленивцу дома всего милей;
Он утверждает: «Лев у дверей».
Ему выйти взбесившийся пес не дает.
Отговорку ленивец легко найдет.
Как дверь на петлях, так и лень всегда
На месте движется без труда.

МУРНЕР

Томас Мурнер (Thomas Murner, 1475—1537) — поэт-сатирик, талантливый представитель так называемой Narrenlitteratur (литературы о дураках), широко развившейся в Германии XVI в. под непосредственным влиянием «Корабля дураков» Себастиана Бранта. Родился в Эльзасе около г. Страсбурга. Был монахом, священником, посещал ряд европейских университетов, получил во Фрейбурге степень доктора теологии. Из многочисленных произведений Мурнера наибольший интерес представляют стихотворные сатиры, написанные им незадолго до реформации: «Заклятие дураков» (Die Narrenbeschwörung, 1512 г.), «Цех плутов» (Die Schelmenzunft, 1512 г.) и «Луг дураков» (Die Gäuchmatt, 1514 г.). В них он, по примеру Бранта, бичует различные пороки современности. Во всех сословиях находит он плутов и дурней: прелатов, алчных до мирских благ, ленивых, распутных, сребролюбивых попов и монахов, рыцарей, живущих грабежом на большой дороге, обирающих и угнетающих крестьян, невежественных ученых, пьяниц, лъстецов, расточителей, модников, шарлатанов и многих других. Сам римский папа, кесарь и князья выступают у него в числе дурней. Его рифмованный книттельферз течет легко и плавно, а острые, по-народному меткие слова без промаха попадают в цель. Несмотря, однако, на свою резкую критику католического духовенства, Мурнер не принял реформации и вскоре стал одним из наиболее ожесточенных противников М. Лютера, ненависть к которому он выразил в язвительной сатире в стихах: «О большом лютеровском дураке и о том, как его заклял д-р Мурнер» (1522 г.). Прозаические сочинения Мурнера не представляют литературного интереса.

Из «ЗАКЛЯТИЯ ДУРАКОВ»

Вступление.

Не спал я ночи напролет,
Все изучал кругом народ;
Слепней и оводов не мало
Меня пребольно искусало,
Пока не заслужил я честь
Всех дураков, какие есть,
Заклятьем изгонять из края.
Потоки пота проливая,
Трудился я, что было сил,
Пока народ не изучил.
Я бездну книг перечитал,
Все указаний в них искал
На то, как дурней заклинать,
Чтоб их из края изгонять;
Пространствовал не мало лет,
Ища на свой вопрос ответ,
И, наконец, достиг я цели,
Стал мастером в нелегком деле.
Ведь орден дурней превелик,
Во все-то щели он проник,
На нашей расселясь земле.
Их на дурацком корабле
Привез к нам Брант Себастиан,
Он думал, что не всем-то дан
Дар всяких дураков творить,
Что надо дурнем Брантом быть,
Чтоб делать их, — да не спроста,
А всем указывать места.
Но если, правда, дурень он,
То я не знаю, кто ж умен.
Мне очень жаль, что к дуракам
Себя он сопричислил сам;

А я-то мудрость вижу в том,
Что он назвался дураком.
Корабль свой снарядил он так,
Что там себя узнает всяк,
И дурь свою постигнет тот,
Кто книгу до конца прочтет.
Был беспощаден Бранта смех:
Он многих осмеял из тех,
Кто был бы заплатить готов,
Чтоб не попасть в число ослов.
Но трудно ль дурней создавать?
И так бесчисленна их рать;
На каждом дереве растут,
Увидишь их и там и тут.
Недаром Соломон изрек:
«Никто бы дурней счесть не мог».
Поэтому, отнюдь не чудо,
Что Брант их находил повсюду.
Где дурни хлеба не едят,
Там рожь дешевле во сто крат.
Жить с дурнями мученье всем.
Чтоб их искоренить совсем,
Я научился всю их рать
Реченьем тайным заклинать
И очищать наш край родимый
От всякой дури нестерпимой.
Моя наука глубока,
Насквозь я вижу дурака.
Меня ценнее человека
Не знала родина от века.
Мое искусство нынче ей
Другого многого нужней.
Повсюду виден дурней след,
Проникли дураки в совет,
В монастыри, в ряды князей.
На Брантовом оравой всей
Они приплыли корабле,
Чтоб на немецкой жить земле.
От дураков прохода нет,
И каждый нам наносит вред.
Коль дурня пригласишь на сутки,
Тебе уж будет не до шутки.
От стариков идет рассказ
О том, как двинулась на нас
Рать заграничная хлыщей[1]
И как расправились мы с ней.
Хлыщи прибыли к нам опять,
С собой не позабывши взять
Тьму дурней; яковитский брат[2]
Не так ракушками богат,
Как дураками рать хлыщей.
Так помогите ж поскорей
От них очистить край родной
И сбросить их с себя долой.

Из «ЦЕХА ПЛУТОВ»

1. СТЯЖАНИЕ

Что я на злое испытанье
Вступаю со старухой в брак,
Увядшей, точно чахлый злак,
Но с полной гульденов мошною, —
Тому причину вам открою.
Кто встарь жениться замышлял,
Деньгами тот пренебрегал,
На то лишь обращал вниманье,
Чтобы невесты воспитанье
Было как надобно во всем
И чтоб родительский был дом
С хорошей славой искони.
Тогда вступали в брак они.
А ныне все переменилось;
Кому теперь, скажи на милость,
Нужны хороший нрав и честь?
Все ладно, если деньги есть
И переполнена мошна.
Что до невесты, пусть она
Уродливою будет, вшивой,
Косой, крикливой и паршивой;
Что за беда? Коль деньги есть,
В ней всяких прелестей не счесть.
Пусть охромела с год назад,
Пусть весь уже в морщинах зад,

Моя владычица она,
Наидражайшая жена,
Особенно с той стороны,
Где платье пучит от мошны.
С какою нежностью отменной
Он стонет: «Ах, мой клад
бесценный!»
О, если б каждого плута,
В чьем сердце хлад и суета,
А на устах медвяный сок,
Тотчас же я заставить мог
Признаться искренно, сполна:
«Меня принес к вам сатана».

2. САТАНА-НАСТОЯТЕЛЬ

Обитель, спора нет, чудна,
Где настоятель Сатана;
Крест изгнан из нее святой,
Чтоб настоятеля покой
Не нарушал он никогда;
Исчез и требник без следа.
Вы, кажется, изумлены
Таким аббатством Сатаны?
Но мало ли прелатов тут,
Которые себя ведут
Почище, чем владыка тьмы.
Частенько ведь встречаем мы
Прелата, что со сворой
псиной,
Трубя в свой рог, через
лощины
За крупным зверем в поле
мчится
Предав крестьянскую пшеницу
Копытам сорока коней.
Такому пастырю милей
Собачье слушать песнопенье,
Чем совершать богослуженье.
В монастырях не лучше, нет!
Ни для кого ведь не секрет,
Как там ведут себя аббаты!
Они пороками богаты,
Живут, как светские князья.
В миру — уверен в этом я —
В нужде бы жили
нестерпимой,
А тут, нечистым одержимы,
Они на подаянье вдов
Разводят больше гончих псов,
Чем сколько есть духовных
чад,
Что под их властью состоят.
Они обитель отравили,
Средь псов приход
распределили.
Придет ужо ваш час
последний,
И братья вам споют обедню,
Какая вам и надлежит,
И дьявол вас благословит.
Уже давно он стал аббатом
В вертепе вашем
распроклятом.

БЕБЕЛЬ

Генрих Бебель (Henricus Bebelius — ок. 1472 — ок. 1518 гг.) — немецкий гуманист, писавший на латинском языке. Родился и вырос в бедной крестьянской семье в Швабии. Был профессором поэзии и красноречия в Тюбингенском университете. Как писатель Бебель отличался большой разносторонностью. Его перу, помимо произведений научного характера, принадлежат латинские дистихи, оды, гимны, эклоги, комедии и пр. Он первый собрал и перевел на латинский язык немецкие народные пословицы и поговорки, сделав их, таким образом, достоянием всего культурного мира Европы. Интерес к народному творчеству — характерная черта литературной деятельности Бебеля. Его главные произведения: «Три книги фацетий» (Libri facetiarum, 1506—1512 гг.), осмеивающие преимущественно попов и монахов, и сатирическая поэма в гекзаметрах «Триумф Венеры» (Triumphus Veneris) — едкая сатира на современные светские и духовные нравы. «Фацетии» Бебеля пользовались большой популярностью и выдержали много изданий. В них он выступает смелым борцом с церковным обскурантизмом и схоластикой, обнаруживая подчас редкостное для этого времени свободомыслие. Он осмеивает порочную жизнь духовенства, его невежество, алчность, пьянство, ростовщичество, ханжество, а также не щадит представителей и других сословий: рыцарей, чинящих насилие над крестьянами, князей, купцов, юристов и т. п. Зато он сочувствует бедному угнетенному народу, понимает его нужды и горести. Бебель не был первым, обратившимся к жанру фацетий в Германии, уже до него существовали сборники фацетий на немецком (Авг. Тюнгер, 1486 г.) и латинском языках (С. Брант, 1501 г.), но он, несомненно, был наиболее талантливым и блестящим мастером этого жанра в Германии и оказал значительное влияние на последующее развитие немецкой повествовательной литературы XVI в. (Паули, Викрам и др.). Сюжеты своих фацетий Бебель черпал из сочинений Боккаччо, Саккети, Поджо, немецких народных шванков, французских фабльо и т. п., создавая на их основе произведения самобытные и художественно полноценные.

ФАЦЕТИИ

О ФИЗИЛИНЕ

Когда священник, по имени Физилин, захотел как-то вынуть из своего мешка святыню, которой он обычно обманывал крестьян, не нашел он ничего, кроме сена, так как крестьяне прошлой ночью святыню потихоньку вытащили и, доброй шутки ради, напихали туда сена. Достал Физилин сено и сказал, быстро сообразив, будто бы это сено, на котором отдыхал в день своего рождения наш спаситель, и обладает оно тем свойством, что как распутники, так и распутницы не имеют права входить туда, где оно находится. Тут толпами вбежали муж-

чины и женщины, чтобы чествовать сено своими пожертвованиями и тем снять с себя подозрения, несмотря на то, что многие думали, что это обман.

ОБ ОДНОМ КУПЦЕ И ДВОРЯНИНЕ

Недавно я был в одном трактире, где мы весело шутили и смеялись. Между нами был дворянин, который высмеивал одного купца: как он часто ездит в чужие страны и должен поэтому оставлять свою жену дома, в городе, где такое множество красивых молодых учеников; как он поэтому огорчается и пугается, как бы она не свихнулась с пути истинного. У дворян это будто бы выглядит совсем иначе, жены которых должны оставаться в замках, уединенные от людей. На это купец ответил весьма учтиво: «Подождите, прошу, и позвольте мне одно мгновенье побеседовать с вами. Вы знаете, какая у нас есть поговорка: «Дворянин безобразен, и безобразие следует за ним на чужбине; дети бюргеров, однако, красивее». Когда дворянин с этим согласился, сказал снова купец: «В отсутствие тех, кто живет в городах, приходят к их женам красивые ученики, благодаря чему они приносят красивых детей; однако в отсутствие дворян должны ваши жены заглядываться на поваров и кучеров, отчего впоследствии получается такое безобразие». Так смехом и шутками закончилась эта перепалка.

О МОНАШЕСКОЙ ЖАДНОСТИ

Один монах нищенствующего ордена выслушивал исповедь одного весьма богатого человека, который лежал на своем смертном ложе при последнем издыхании. После исповеди приводит он, однако, одного из сыновей умирающего и рассказывает ему о многих дарах, что его отец завещал его ордену на похоронную процессию, погребение, поминки, на утварь и облачения для обедни и многое иное, и спрашивает отца при упоминании каждой вещи, так ли это. Отвечает больной: «да», однако было заметно, он кивает лишь от слабости. Сын приметил, однако, слабость отца, который больше уже и не беспокоился о преходящем богатстве, и зная при этом монашескую жадность и скупость, спрашивает поэтому сам: «Отец, должен я брата спустить с лестницы?» Отец отвечает или, вернее, кивает: «да». Нет нужды описывать, что тогда произошло.

О КРЕСТЬЯНИНЕ В ДЕРЕНДИНГЕНЕ, ЧТО БОГУ СМЕРТЬ ПОЖЕЛАЛ

Когда однажды град чуть было не побил весь виноград, сказал кто-то из толпы крестьян, что это, вероятно, злое дело колдуний. На это другие: «Эй, пусть все они тогда злой смертью погибнут». Однако старейший между ними сказал, что это, ве-

роятнее, дело господа бога. Выскочил тогда вперед один из середки и сказал: «Эй, пусть тогда и он помрет, да недоброй смертью».

ПОЧЕМУ ДОЖДИТ, КОГДА МОНАХИ БЫВАЮТ В ПОЛЕ

У нас есть пословица, что когда монахи путешествуют по стране, тогда сильно дождит. Этому недавно нашел остроумную причину один философ в Тюбингене: «Из-за неумеренного питья вина», говорит он, «в голову стриженых[a] подымается много паров, которые благодаря жаре легко испаряются через тонзуру, из чего и образуются дожди».

ОСТРОУМНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ ПРОТИВ РИМА

Наши говорят: когда кто-нибудь в первый раз посетит Рим, то познакомится он с плутовством, в другой раз научится он плутовству и в третий раз принесет он плутовство и обман домой.

КАКИЕ ВЕЩИ БЕСПОЛЕЗНЫ

Польские мосты, богемский монах, швабская монахиня, австрийский солдат, итальянская набожность и немецкие посты не стоят и боба.

ДУХ СВЯТОЙ ИЗОБРАЖАЕТСЯ В ОБРАЗЕ ГОЛУБЯ

Когда Христос в день вознесения прибыл на небо, сказал ему бог отец: «Добро пожаловать, сын мой!» Ответил ему сын: «Слава богу, дорогой отец!» На это отец, смеясь: «Сын, я хочу тебя опять послать вниз, на землю, чтоб ты снова помучился». Сказал сын: «О отец, пошли святого духа, он сможет, если вы хотите сильно его помучить, прилететь тогда назад». Потому-то он изображается в образе голубя.

ОБ ОДНОМ АДВОКАТЕ

Некий адвокат после того, как он выиграл много дел, стал монахом. И когда ему были доверены дела монастыря, большинство из них было проиграно. Спрашивает его аббат, почему он проигрывает все дела. Отвечает он: «Я не должен больше лгать как раньше, поэтому я и проигрываю».

---

[a] Католические монахи обязаны выбривать себе макушку.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

Дезидерий Эразм, прозванный Роттердамским (Deziderius Erasmus, 1466—1536) — знаменитый гуманист. Родился в Нидерландах, в г. Роттердаме. Рано потеряв своих родителей (он был «незаконным» сыном одного голландского бюргера), поступил в монастырь, где занялся изучением античных писателей. С 1496 г. учился в Париже. С этого времени начались его странствования по Европе. Он посещает Англию, Нидерланды, Италию, повсюду вступая в дружеское общение с образованнейшими людьми того времени. В Англии его другом становится великий гуманист Томас Мор. Эразм преподает в Кембриджском университете греческий язык и богословие, затем живет в Германии на службе у императора Карла V; наконец, на склоне лет, он поселяется в Базеле (Швейцария). Слава его гремит по Европе, с его мнением считаются различные государи и даже римский папа.

Литературное наследие Эразма весьма значительно и многообразно. Ему принадлежит ряд сочинений на философские и богословские темы. Огромный успех имели его сатирико-дидактические «Домашние беседы» (Colloquia familiaria). Значительной известностью пользовалось также крупное произведение Эразма «Adagia» — сборник изречений и анекдотов, почерпнутых из различных античных писателей. Сам Эразм основным трудом своей жизни склонен был считать исправленный греческий текст евангелия и комментарии к нему. Однако в историю мировой литературы он вошел как автор сатирического памфлета «Похвальное слово глупости» («Enkomion moriae», 1509 г.). По своему замыслу «Похвальное слово» примыкает к популярной в то время, особенно в Германии, литературе о глупости и глупцах (так наз. «Narrenlitteratur»), в частности к знаменитому «Кораблю дураков» (1494 г.) немецкого гуманиста Себастиана Бранта. В жанровом отношении оно близко также шуточным «Похвальным словам», культивировавшимся в гуманистической среде (ср., например, «Похвальное слово подагре» В. Пиркгеймера и др.). Огромное влияние на Эразма оказал Лукиан. Книга имела исключительный успех, хотя сам автор и не придавал ей особенно большого значения, расценивая ее как своего рода литературную безделку. В «Похвальном слове глупости» (книга представляет собой монолог глупости, которая сама себе произносит похваль-

Эразм Роттердамский (с портрета Г. Гольбейна, 1495—1534)

ное слово) Эразм набрасывает широкую сатирическую картину современной ему европейской жизни, бичует различные суеверия, религиозный обскурантизм, пережитки феодализма и пр.

На русском языке: «Похвала глупости», перевод, предисловие и примечания П. Н. Ардашева, Юрьев, 1902 г.; «Похвальное слово глупости» перевод и примечания П. К. Губера, «Домашние беседы» М. М. Покровского, ГИХЛ, М., 1938 г.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ГЛУПОСТИ

ГЛУПОСТЬ ГОВОРИТ:

Родословная глупости, место ее рождения, ее кормилицы и спутники

Итак, мужи... каким бы эпитетом вас почтить? Конечно, мужи глупейшие! Ибо какое более почетное прозвище может даровать богиня Глупость сопричастникам ее таинств? Но поскольку лишь немногим известно, из какого рода я происхожу, то и попытаюсь изложить это здесь при помощи муз. Родителем моим был не Хаос, не Орк, не Сатурн, не Иапет [а] и никто другой из устарелых, полуистлевших богов, но Плутос [б], который, не во гнев будь сказано Гомеру, Гесиоду и самому Юпитеру, есть единственный настоящий «отец богов и людей» [в]. По его мановению в древности, как и ныне, совершалось и совершается все — и священное и мирское. От его приговоров зависят войны, мир, государственная власть, советы, суды, народные собрания, браки, договоры, союзы, законы, искусства, игрища, ученые труды...—духу даже нехватает,—коротко говоря, все общественные и частные дела смертных. Без его содействия всего этого племени поэтических божеств, — скажу смелее: даже самих верховных богов — вовсе не было бы на свете или они прозябали бы жалчайшим образом. На кого он прогневается, того не выручит и сама Паллада [г]. Напротив, кому он благоволит, тот может пренебрегать Юпитером с его громами. Таков мой отец. И породил он меня не из головы своей, как некогда Юпитер эту хмурую чопорную Палладу, но от Неотиты (Юности), прекраснейшей и шутливейшей нимфы. И не в узах унылого брака, как тот хромой кузнец [д], родилась я, но — что не в пример сладостнее — «от вожде-

---

[а] *Хаос* — согласно древним теогоническим воззрениям, весь мир, в том числе сами верховные боги, родились из первобытного хаоса. *Орк* — бог подземного мира. *Сатурн* (у греков *Хронос*) — олицетворение Времени, отец Зевса-Юпитера. *Иапет* — отец титанов Атланта, Прометея и Эпиметея.

[б] *Плутос* (г р е ч.) — бог богатства.

[в] «Отец богов и людей» — обычный эпитет Зевса (Юпитера).

[г] *Паллада-Афина* — дева-воительница, богиня доблести, разума и высшей мудрости. Согласно мифу, Паллада появилась на свет во всеоружии из головы Зевса.

[д] Хромой кузнец — *Гефест* (Вулкан), сын Зевса и Геры, родившийся хромым, бог-покровитель кузнечного мастерства.

ления свободной любви», как говорит наш милый Гомер. И сам отец мой был тогда не дряхлым полуслепым Плутосом Аристофана [4], но бодрым и ловким юношей, охмелевшим от нектара, которого хлебнул он изрядно на пиру у богов.

Ежели вы спросите о месте моего рождения, ибо в наши дни благородство зависит прежде всего от того, где издал ты свой первый младенческий крик, — то я отвечу, что не на блуждающем Делосе, и не в волнующемся море, и не под сенью пещеры родилась я, но на тех Счастливых островах, где все растет несеянное и непаханное. Там нет ни труда, ни старости, ни болезней, там на полях не увидишь асфоделий, мальв, морского луку, волчцов, бобов и тому подобной дряни, но повсеместно глаза и обоняние твое ласкают молия, пананцея, непента, аморант, амврозия, лотосы, розы, фиалки и гиацинты, достойные садов Адонисовых [6]. Рожденная посреди этих услад, не с плачем вступила я в жизнь, но ласково засмеялась на руках у матери. Воистину не завидую я верховному Крониду [8], вскормленному козой, ибо меня питали своими сосцами две прелестные нимфы — Мете (Опьянение), рожденная Вакхом, и Апедия (Невоспитанность), дочь Пана. Их вы можете видеть в толпе моих спутниц и наперсниц. А ежели вам угодно узнать имена прочих, то — клянусь Гераклом! — я назову их не иначе, как по-гречески.

СПУТНИКИ ГЛУПОСТИ

Вот эта — с горделиво поднятыми бровями — Филавтия (Самолюбие). Та, что помавает глазами и плещет в ладоши, носит имя Колакии (Лесть). А эта, полусонная, словно дремлющая, зовется Мисопонией (Лень). Эта, увитая розами и опрысканная благовониями, — Гедонэ (Наслаждение). Эта с дерзкими блуждающими взорами называется Анойя (Безумие). Эта с лоснящейся кожей и раскормленным телом носит имя Трюфэ (Чревоугодие). Взгляните также на этих двух богов, затерявшихся среди девушек: одного из них зовут Комос (Разгул) и другого — Нигретос-Гипнос (Непробудный сон). При помощи этих верных союзников я подчиняю моей власти весь род людской, отдаю приказы и самим императорам.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ГЛУПОСТИ

Иному из вас, быть может, покажется, что в словах моих больше дерзости, нежели правды. Но приглядимся немного к жизни людской и тотчас увидим, сколь многие мне обязаны и как усердно чтут меня

---

[4] Намек на комедию Аристофана «Плутос», в которой автор выводит олицетворенное богатство в виде расслабленного и выжившего из ума старика.

[6] *Адонис* — в греческой мифологии — юноша дивной красоты, возлюбленный Афродиты. Садами Адониса назывались сосуды, в которых перед наступлением праздника Адониса сажались различные растения.

[8] *Кронид* — Зевс-Юпитер, сын Хронсса (отсюда и его прозвище Кронид) — был вскормлен на острове Крите козой Амалтеей.

великие и малые мира сего. Я не стану разбирать здесь одно за другим все состояния и сословия, это было бы слишком долго. Я буду говорить лишь о тех, кто поважней; об остальных вы сами рассудите. В самом деле, к чему заниматься чернью, которая без всякого спора вся целиком мне подвластна? Люди простого звания сообщают глупости столь разнообразные формы, они ежедневно изобретают по этой части такие новизны, что для осмеяния их не хватило бы и тысячи Демокритов[а], ибо самим Демокритам этим понадобился бы новый Демокрит...

...В общем, ежели поглядеть с луны, по примеру Мениппа [б], на людскую суматоху, то можно подумать, будто видишь стаю мух или комаров, дерущихся, воюющих, строящих козни, грабящих, обманывающих, развратничающих, рождающихся, падающих, умирающих. Нельзя представить себе, сколько движения, сколько трагедий в жизни этих недолговечных тварей, ибо сплошь да рядом военная буря или чума губит и уничтожает их целыми тысячами.

ГРАММАТИКИ

...Знавала я одного полигистра [в], эллиниста, латиниста, математика, философа, медика, настоящего царя всех наук, человека уже лет шестидесяти, который, позабыв все на свете, лет двадцать корпит и мучается над грамматикой, утешая себя мыслью, что доведется ему дожить до того дня, когда он научится безошибочно различать все восемь частей речи. Чего, как известно, не мог вполне достигнуть никто из греков и латинян. Как будто стоит заводить войну, ежели кто примет иной раз союз за наречие. Как известно, грамматик у нас столько же, сколько грамматиков, и даже больше, ибо один мой милый Альд [1] издал их целых пять. И вот старик не пропускает ни одной грамматики, даже самой варварской и нелепой, не изучив и не прощупав ее досконально. Среди этих несносных трудов он жалко трусит, как бы не похитил у него кто вожделенную славу, как бы не пропали усилия стольких лет понапрасну.

ПИСАТЕЛИ

Все они очень многим мне обязаны, особливо же те, которые марают бумагу разной чушью, ибо кто пишет по-ученому и ждет приговора немногих знатоков, не опасаясь даже таких судей, как Персий и Лелий [г], тот кажется мне более достойным сожаления,

---

[а] *Демокрит Абдерский* (ок. 470 г. — ок. 380 г. до н. э.) — выдающийся древнегреческий философ-материалист. О нем сложилась легенда, будто он все подвергал осмеянию; в качестве «Смеющегося философа» Демокрит вошел в мировую литературу (ср., например, «Историю абдеритян» Виланда и др.).

[б] *Менипп* — персонаж древнегреческой народной сказки, забрался на луну по стеблю бобового дерева.

[в] *Полигистр* (греч.) — «многознающий», энциклопедически образованный ученый.

[г] В трактате Цицерона об ораторском искусстве Персий и Лелий (II в. до н. э.) названы как безусловные знатоки, мнением которых обязан дорожить всякий оратор.

нежели зависти. Поглядите, как мучаются такие люди: прибавляют, изменяют, вычеркивают, переставляют, переделывают заново, показывают своим друзьям, затем печатают лет эдак через девять, все еще недовольные собственным трудом, и покупают ценой стольких бдений (а сон всего слаще), стольких жертв и стольких мук лишь ничтожную награду в виде одобрения нескольких тонких ценителей. Прибавьте к этому расстроенное здоровье, увядшую телесную красоту, близорукость, а то и совершенную слепоту, бедность, зависть,

Эразм Роттердамский со своим секретарем за рабочим столом (с гравюры 1553 г.)

воздержание от всех наслаждений, раннюю старость, преждевременную кончину и еще многое в том же роде. И наш мудролюб мнит себя вознагражденным за все эти тяготы, ежели похвалят его два-три таких же ученых слепца. Напротив, сколь счастлив сочинитель, послушный моим внушениям. Он не станет корпеть по ночам, он записывает все, что ему взбредет на ум, хотя бы даже собственные свои сны, зная заранее, что, чем больше будет вздорной чепухи в его писаниях, тем вернее угодит он большинству, т. е. всем дуракам и невеждам. Что ему за дело, ежели два-три ученых, случайно прочитавших его книгу, отнесутся к нему с презрением? Что значит голос немногих умных людей в этой огромной и шумной толпе? Но еще хитрее те, которые под видом своего издают чужое, присваивая себе славу чужих трудов, в той надежде, что ежели и уличат их когда-нибудь в литературном воровстве, то все же в течение

некоторого времени они смогут пользоваться выгодами от своей проделки. Стоит посмотреть, с каким самодовольством они выступают, когда слышат похвалы себе и когда в толпе на них указывают пальцами—это, мол, такой-то, знаменитость, когда видят они свои книги в книжных лавках и читают на каждой странице свое имя, сопровождаемое двумя или тремя прозвищами, по большей части чужеземными или заимствованными из старинных книг. Так, один тщеславится именем Телемака, другой — Стелена или Лаэрта, этот Поликрата, тот — Тразимаха [а]. С равным успехом иной мог бы назваться Хамелеоном или Тыквой, либо обозначить свои книги по обычаю философов буквами альфа, бета и т. д. Но всего забавнее, когда глупцы начинают восхвалять глупцов, невежды — невежд, когда они взаимно прославляют друг друга в льстивых посланиях, стихах и панегириках. Один производит своего приятеля в Алкея, другой — в Каллимаха [б], этот возвышеннее Цицерона, тот ученее Платона. Иные ищут себе соперников, дабы соревнованием умножить собственную славу:

Замерев, расступилась толпа
И с волнением ждет состязанья [2],

пока бойцы, довольные своими успехами, не разойдутся с победоносным видом, каждый приписывая себе славу триумфа. Мудрецы смеются над этим, как над великой глупостью. Нет спора, это воистину глупо. Но зато, по моей милости, живут эти люди в свое удовольствие и не променяют мнимого своего торжества даже на Сципионовы триумфы [3]. Впрочем, и сами ученые, которые так потешаются над чужой глупостью, мне премного обязаны, чего отрицать не посмеют, ежели не захотят прослыть чудовищами неблагодарности.

ФИЛОСОФЫ

За ними следуют философы, уважаемые за длинную бороду и широкий плащ. Эти себя одних полагают мудрыми, всех же прочих смертных мнят блуждающими во мраке. Сколь сладостно бредят они, воздвигая бесчисленные миры, вычисляя объем солнца, звезд, луны и орбит, как будто успели измерить их указательным пальцем и бечевкой; они толкуют о причинах молний, ветров, затмений и прочих необъяснимых явлений и никогда ни в чем не сомневаются, как будто они посвящены во все тайны природы и только что воротились из совета богов. А между тем природа горделиво смеется над всеми их догадками, и нет в их науке ничего достоверного. Тому лучшее доказательство — их постоянные споры друг с другом.

[а] *Телемак* — сын Одиссея, *Лаэрт* — его отец, *Стелен* — товарищ царя Диомеда, упоминаемый в «Илиаде», *Поликрат* — тиран острова Самоса, *Тразимах* — афинский софист V в. до н. э.

[б] *Каллимах* (род. ок. 310 г. — ум. ок. 235 г. до н. э.) — греческий ученый, критик и поэт, хранитель знаменитой александрийской библиотеки.

Ничего в действительности не зная, они тем не менее воображают себя всезнайками. Между тем они даже самих себя не в силах познать и часто не замечают по телесной близорукости или по рассеянности ям и камней у себя под ногами. Это, однако, не мешает им проповедывать, будто они созерцают идеи, всеобщности, формы, отделенные от вещей, первичную материю, сущности, самости и тому подобные предметы, до такой степени тонкие, что сам Линкей [а], как я полагаю, не смог бы их заметить. Зато с каким презрением смотрят они на простаков, нагромождая один на другой треугольники, окружности, квадраты и другие математические чертежи, построяя из них некое подобие лабиринта, огражденного со всех сторон буквами, словно воинским строем, и напуская таким образом туману в глаза людям неопытным. Есть среди них и такие, которые предсказывают будущее по течению звезд, обещают чудеса, невозможные даже в магии, и на счастье свое находят людей, которые всему этому верят.

БОГОСЛОВЫ

Что до богословов, то, может быть, лучше было бы обойти их здесь молчанием, не трогать этого смрадного болота, не прикасаться к этому ядовитому растению. Люди этой породы весьма щекотливы и раздражительны. Того и гляди, набросятся они на меня сотней своих конклюзий и потребуют отречения от моих слов, а ежели я откажусь, вмиг объявят меня еретичкой. Они ведь привыкли стращать этими громами всякого, кого не взлюбят. Конечно, они неохотно признают мои благодеяния, однако и они мне немало обязаны. Обольщаемые Филавтией, они мнят себя обитающими на третьем небе, а на прочих смертных глядят свысока, как на пресмыкающийся по земле скот. Окруженные, словно воинским строем, магистральными дефинициями, конклюзиями, колларіями, доказуемыми и подразумеваемыми пропозициями [б] стали они нынче такие увертливые, что не сдержать их и Вулкановыми узами [в]. Своими различиями и затейливо придуманными словечками они разрубают всякий узел быстрее, чем Тенедосской секирой [г]. По своему произволу они толкуют и объясняют сокровеннейшие тайны. Им известно, по какому плану создан и устроен мир, по каким каналам порча первородного греха распространяется на позднее потомство, какими способами, какой мерой и в какое время зачат был предвечный

[а] *Линкей* — участник похода аргонавтов в Колхиду за золотым руном, кормчий корабля Арго; славился своей необычной зоркостью.

[б] *Дефиниции* — определения, *конклюзии* — заключения, *колларии* — соотносительные выводы, *пропозиции* — утверждения или предложения.

[в] Бог Вулкан, желавший уличить в неверности свою супругу Венеру, которая изменяла ему с богом войны Марсом, соорудил железные тенета, куда и попались любовники, возлежавшие на ложе в объятиях друг у друга.

[г] Обоюдоострая секира, хранившаяся в храме Зевса на острове Тенедосе. В древности пословица о Тенедосской секире применялась к людям, склонным категорически разрешать самые запутанные вопросы.

Христос в ложеснах девы, в каком смысле должно понимать пресуществление, совершающееся при евхаристии [а]. Но это еще все известные и избитые вопросы. Вот другие вопросы, достойные знаменитых и великих теологов. Они немедленно оживляются, едва речь зайдет о чем-нибудь в этом роде. В какой именно миг совершилось божественное рождение? Является ли сыновство Христа однократным или многократным? Возможно ли предположить и доказать, будто бы отец возненавидел сына? Может ли бог превратиться в женщину, дьявола, осла, тыкву или кремень? Если б он действительно превратился в тыкву, могла ли бы эта тыква проповедывать, творить чудеса, быть распятой? Что случилось бы, если бы св. Петр отслужил обедню в то время, когда тело Христово висело на кресте? Можно ли сказать, что Христос еще оставался тогда человеком? Позволительно ли есть и пить после воскресения? Ибо эти господа заранее хотят обеспечить себя от голода и жажды на том свете...

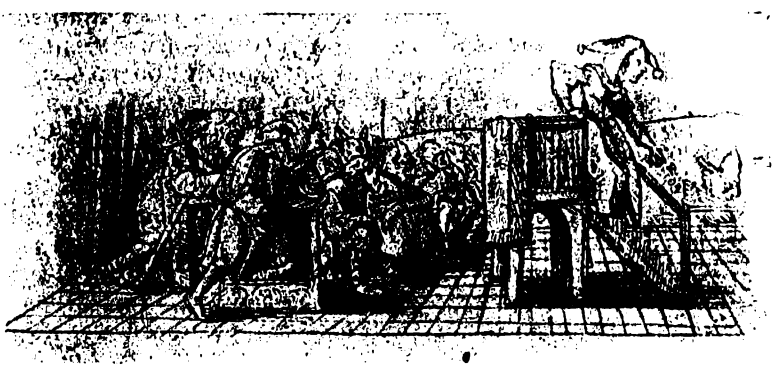
...Во всем этом столько учености и столько трудности, что, я полагаю, самим апостолам потребовалась бы помощь некоего иного, отнюдь не святого духа, если б они вздумали вступить в спор обо всех этих предметах с нашими новыми богословами. Павел делами засвидетельствовал свою веру, но вместе с тем дал ей недостаточно ученое определение, сказав: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» [4]. Равным образом, преуспевая в милосердии, он не сумел диалектически расчленить и точно ограничить милосердие в XIII главе первого послания к Коринфянам. Конечно, апостолы совершали евхаристию, но если бы вопросить их de termino a quo et termino ad quem [б] о пресуществлении, о том, каким образом тело Христово может одновременно находиться в различных местах, об особенностях названного тела на небе, на кресте и в хлебе, освящаемом при богослужении; если далее спросить их о том, в какой именно момент совершается пресуществление, поскольку слова, его вызывающие, произносятся в течение некоторого промежутка времени, — то, я полагаю, апостолы вряд ли ответили бы с такой точностью и определенностью, с какой отвечают и предлагают свои различения скотиды [в]. Апостолы знали мать Иисуса. Но кто из них философски доказал по примеру наших теологов, что она должна быть свободна от Адамова греха? Петр получил ключи райские от того, кто не мог сделать недостойного выбора. И, однако, я не знаю, уразумел ли бы Петр тонкое различие, каким образом можно держать в своих руках ключи от знания, не обладая самым знанием. Апостолы многих окрестили и, однако, ни разу не обмолвились ни единым словом о том, какова

[а] «Таинство» причащения в христианском культе.

[б] Terminus a quo — исходный пункт логического рассуждения; terminus ad quem — конечный пункт логического рассуждения.

[в] *Скотиды* — вместо *скотисты* (т. е. последователи средневекового философа-богослова Дунса Скота). Здесь греческий каламбур: skótos — мрак; поэтому skotidai значит — мракобесы, обскуранты.

формальная, материальная, действующая и конечная причина крещения и каков его изгладимый или неизгладимый характер. Молились они также, но молились в духе, следуя слову евангельскому: «Бог есть дух, и поклоняться ему должно в духе и истине» [5]. Им, повидимому, не было открыто, что надлежит также молиться образку, начертанному углем на дощечке, как самому Христу, ежели только он представлен с двумя вытянутыми перстами, с неостриженными волосами и с тремя завитками на пряди, спускающейся с затылка. Да и кто мог бы постичь это, не просидев тридцать шесть лет над физикой и метафизикой Аристотеля и Дунса Скота? Наделяли и благодатью апостолы, но никогда не делали подобающего различия между благодатью благоданной и благодатью благодательной. Увещевали они творить добрые дела, но не замечали разницы между просто добрым делом, добрым делом дей-



Глупость на кафедре (из иллюстраций Г. Гольбейна к «Похвальному слову глупости» Эразма Роттердамского

ственным и добрым делом деемым. Говорили они о христианской любви, но не отделяли любви внедренной от любви приобретенной, и не объясняли, является ли любовь акциденцией или субстанцией *, вещью созданной или несозданной. Ненавидели апостолы грех, но — помереть мне на этом самом месте — ежели, необученные в духе скотистов, могли они дать научное определение того, что есть грех. Никто не убедит меня, будто Павел, превосходивший ученостью остальных апостолов, позволил бы себе столько раз осуждать состязания, прекословия, родословия, прочие, как он выражается, логомахии, будь он посвящен во все ухищрения диалектики. Здесь и то еще надо принять в расчет, что все словопрения того времени были очень грубы и мужиковаты сравнительно

* *Субстанция* — сущность, обладающая самостоятельным бытием; *акциденция* — случайный признак субстанции, не имеющий самостоятельного бытия.

с более чем Хрисипповскими [4] тонкостями наших нынешних магистров богословия...

...Но, по моему суждению, весьма умно поступили бы христиане, если бы вместо мощных воинских когорт, которые ныне с переменным успехом ведут войну с турками, они послали в бой крикливейших скотистов, упрямейших оккамистов, непобедимейших альбертистов [5] и всю прочую рать софистов.

Полагаю, что весьма приятно было бы полюбоваться на такую схватку и никогда невиданную победу. Ибо кто настолько холоден, чтобы не воспламениться от этих ученых тонкостей? Кто столь тупоумен, чтобы не оценить всей их остроты? Кто довольно глазаст, дабы различить что-либо в этом непроглядном мраке?

ИНОКИ И МОНАХИ

К богословам по благополучию своему всего ближе так называемые в народе благочестивые монахи-пустынножители [6], хотя это прозвище не слишком им пристало, поскольку большинство их далеко от всякого благочестия, и никто чаще их не попадается вам навстречу во всех людных местах. Не знаю, кто был бы несчастнее монахов, если б я не приходила им на помощь столь многими способами. Они навлекли на себя такую единодушную ненависть, что даже случайная встреча с монахом почитается за худую примету, а между тем сами они вполне собою довольны. Во-первых, они уверены, что наивысшее благочестие состоит в воздержании от всех наук, так что лучше даже вовсе не знать грамоты. Засим, читая в церквах ослиными голосами размеченные, но непонятные им псалмы, они пребывают в убеждении, что доставляют этим великую усладу святым. Иные из них бахвалятся своим неряшеством и попрошайничеством и с громким мычанием требуют милостыни у дверей. Назойливой толпой окружают они гостиницы, повозки и корабли к немалому ущербу для прочих нищих. Своей грязью, невежеством, грубостью и бесстыдством эти милые люди, по их собственным словам, уподобляются в глазах наших апостолам.

...Какой комедиант, какой скоморох сравнится с ними, когда они разглагольствуют с кафедры, забавно подражая ухваткам древних риторов? Боже бессмертный, как они кривляются, как повышают кстати голос, как гнусавят, как бахвалятся, какие рожи строят, как воют на разные лады! Это ораторское искусство с великой таинственностью передается от одного братца-монаха к другому.

...Слыхала я также про другого восьмидесятилетнего богослова, до такой степени ученого, что его можно принять за самого Дунса Скота, воскресшего из мертвых. Изъясняя тайну имени Иисусова,

[4] *Хрисипп* (282—208 гг. до н. э.) — греческий философ-стоик, славился в качестве тонкого диалектика.

[5] *Оккамисты* (ученики Вильгельма Оккама, ум. в 1347 г.), *альбертисты* (сторонники взглядов Альберта Великого, 1193—1280) — представители влиятельных в средние века богословско-схоластических школ.

[6] По-гречески «монах» означает «отшельник» (от monos — один, уединенный).

он с изумительной тонкостью доказал, что в самых буквах этого имени содержится все, что только можно сказать о нем. Ибо имя это имеет лишь три изменяемых падежа — явственный прообраз божественной троичности. Засим — первый падеж Jesus оканчивается на *s*, второй — Jesu — на *u*, третий Jesum — на *m*, и в этом неизреченная тайна, а именно: сказанные три буквы означают, что Иисус есть Summus, Medius et Ultimus, т. е. верхний, средний и нижний. Оставалось разъяснить при помощи математики другую, еще более сокровенную тайну: ежели разделить имя «Иисус» на две равные части, то посредине останется буква *c*. Эта буква у евреев называется *син*, а на языке шотландцев слово syn означает грех. Отселе явствует, что Иисус есть тот, кто понес на себе грехи мира.

...Теперь, я полагаю, вы сами видите, сколь многим обязана мне эта порода, которая при помощи обрядов, вздорных выдумок и диких воплей подчиняет смертных своей тирании, а сама мнит себя новыми Павлами и Антониями [а].

КОРОЛИ И ПРИДВОРНЫЕ ВЕЛЬМОЖИ

Охотно покидаю я этих лицедеев, которые черной неблагодарностью платят мне за мою благостыню, а сами бесчестно прикидываются набожными, и с истинной усладой завожу правдивую, неприкрашенную речь о королях и о знатных придворных. Говорить о них я буду с откровенностью и прямотой, достойной людей благородных. Что, если бы у этих господ завелось хотя бы на полунции здравого смысла? Как печальна и незавидна была бы их жизнь! Конечно, никто не решился бы добиваться власти ценою клятвопреступления и убийства, если бы предварительно взвесил, какое тяжелое бремя возлагает на свои плечи всякий, желающий быть государем. Кто взял в свои руки кормило правления, тот обязан отныне помышлять лишь об общественных, а отнюдь не о своих приватных делах, не отступать ни на вершок от законов, коих он и автор и исполнитель, следить постоянно за неподкупностью должностных лиц и судей, вечно быть у всех перед глазами, как благодетельная звезда, охраняющая своим чудодейственным влиянием род человеческий, или как зловещая комета, всем несущая гибель. Пороки частных лиц приносят мало вреда и по большей части остаются скрытыми. Но государь поставлен так высоко, что если он позволит себе хотя бы малейшее уклонение от путей чести, тотчас же словно чума распространяется среди его подданных. Богатство и могущество государей умножают для них поводы свернуть с прямой дороги. Чем больше вокруг них наслаждений, лести, роскоши, тем бдительнее вынуждены они следить за собой, дабы не погрешить в чем-либо против обязанностей своего звания. Наконец, какие западни, какая ненависть, какие опасности

[а] *Св. Антоний Египетский* (ум. в 356 г. н. э.) — основатель пустынножительствующего монашества.

окружают их, не говоря уже о страхе перед тем неизбежным мгновением, когда в присутствии единого истинного царя у них истребован будет отчет даже в малейшем проступке, и истребован с тем большею строгостью, чем шире была предоставленная им власть! Если бы государь взвесил в уме своем все это и многое другое в том же роде, то, я полагаю, не было бы ему отрады ни в сне, ни в пище. И однако нынче, благодаря моим дарам, государи возлагают все заботы на богов, живут в довольстве и веселии и, дабы не смущать своего спокойствия, допускают к себе только таких людей, которые привыкли говорить исключительно приятные вещи. Они уверены, что честно исполняют свой долг, если усердно охотятся, разводят породистых жеребцов, продают себе в прибыток судебные должности и чины и измышляют ежедневно новые способы, как бы отнять у граждан их достояние и перевести его в свою казну. Правда, для последнего всегда требуется некий благовидный предлог, так что даже несправедливейшее дело должно иметь внешнее подобие справедливости. Получив требуемое, государи не жалеют льстивых слов с целью привлечь к себе души подданных. Теперь вообразите — а ведь это встретишь на каждом шагу — человека невежественного в законах, едва ли не открытого врага общего блага, преследующего единственно свои личные выгоды, преданного сладострастию, ненавистника учености, ненавистника истины и свободы, отнюдь не помышляющего о пользах общественных, но все меряющего на аршин собственных своих прибытков и вожделений. Наденьте на такого человека золотую цепь, знаменующую соединение всех добродетелей, возложите ему на голову корону, усыпанную дорогими каменьями, как видимое напоминание о том, что носитель ее должен превышать всех героической доблестью, вручите ему скипетр, символ правосудия и неподкупной справедливости, наконец, облеките его в пурпур — прообраз возвышенной любви к отечеству. Ежели государь сопоставит эти видимые знаки своего величия со своей повседневной жизнью, то, я уверена, он устыдится своих украшений, и ему станет страшно, как бы какой-нибудь шутник не сделал предметом посмеяния этот торжественный театральный наряд.

ПРИДВОРНЫЕ

Поминать ли мне здесь придворных вельмож? Нет ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее, нежели подавляющее большинство их, а между тем они во всех делах хотят быть первыми. Лишь в одном отношении они весьма скромны: довольствуются тем, что украшают свое тело золотом, дорогими каменьями, пурпуром и прочими внешними знаками доблести и мудрости, но самую суть этих двух прекрасных вещей целиком уступают другим людям. Они чрезвычайно тщеславятся тем, что им позволено называть короля своим «хозяином», говорить ему при всяком удобном случае комплименты, рассыпая в изобилии льстивые титулы, как-то: «ба-

ша светлость», «ваше великолепие», «ваше величество». Какие подобострастные строят они при этом лица, как ловко льстят! Оба эти искусства как нельзя более приличны знатному барину и придворному. Но всмотрись поближе и увидишь, что это настоящие феаки [а] женихи Пенелопы. Это подскажет вам окончание этого стиха лучше, чем я. Спят они до полудня. Наемный попик стоит наготове возле постели и, лишь только барин проснется, тотчас же наспех служит обедню. Засим следует завтрак, по окончании которого почти немедленно подают обед. Затем, кости, бирюльки, пари, девки, шуты, скоморохи, забавы и потехи. В промежутках раза два закуска с выпивкой. Затем наступает время ужина, за которым, клянусь Юпитером, осушается не одна бутылка. Таким образом, без малейшей скуки проходят часы, дни, месяцы, годы, века...

ВЕРХОВНЫЕ ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ

А верховные первосвященники, которые заступают место самого Христа? Что, если бы они попробовали подражать его жизни, т. е. бедности, трудам, чистоте учения, крестной смерти, презрению к жизни? Что, если бы они задумались над значением своих титулов — папы, иначе говоря, отца, и святейшества? Чья участь в целом мире была бы печальнее? Кто стал бы добиваться этого места всевозможными способами или, однажды добившись, посмел бы отстаивать его посредством меча, яда и всяческих насилий? Сколь многих прибытков лишился бы папский престол, если б на него хоть однажды вступила Мудрость? Мудрость, сказала я? Пусть не Мудрость даже, а хотя бы крупица той соли, о которой проповедывал Христос. Что осталось бы тогда от всех этих богатств, почестей, доходов, побед, должностей, диспенсаций [б], приношений, индульгенций, коней, мулов и наслаждений? Их место заняли бы бдения, посты, слезы, проповеди, ученые занятия, покаянные вздохи и тысяча других столь же горестных трудностей. Не следует также забывать об участи, которая постигла бы все это множество чиновников, копиистов, нотариусов, адвокатов, промоторов, секретарей, погонщиков мулов, конюших, банкиров, сводников... Прибавила бы я еще словечка два покрепче, да боюсь, слишком жестки покажутся они ушам вашим. В общем вся эта огромная толпа, которая отягощает, — или нет, прошу прощения, — которая украшает нынче римский престол, была бы обречена на голод. Но еще бесчеловечнее, еще ужаснее, еще ненавистнее для очень многих было бы пожелание, чтобы верховные князья церкви, эти истинные светочи мира, снова взялись за суму и посох. Теперь, напротив, все труды возлагаются на Петра и Павла, у которых довольно досуга, а блеск и наслаждение папы берут себе. При моей помощи никому в целом роде людском не живется так привольно и беззa-

[а] *Феаки* — одно из племен древней Греции. Эразм намекает на стих Горация («Послания», кн. первая, II, 23), в котором женихи Пенелопы характеризуются как лентяи и бездельники.

[б] *Диспенсация* — отпущение грехов.

ботно, как им. Они мнят, будто в совершенстве исполняют закон Христа, появляясь перед народом в своем мистическом и почти театральном уборе, присваивая себе титулы блаженства, преподобия и святейшества, раздавая благословения и проклятия и разыгрывая верховных епископов. Смешно, старомодно и совсем не пристало нашему времени творить чудеса. Поучать народ — трудно; толковать священное писание — схоластично; молиться — бесполезно; лить слезы — лицемерно и женоподобно; жить в бедности — грязно; признать свое поражение — постыдно и недостойно того, кто и королей едва допускает лобызать свои блаженные ноги; умирать — неприятно; быть распятым — позорно. Остается уповать на оружие, да на те сладкие словеса, о которых упоминает апостол Павел [6] и которых никогда не жалели папы в своем милосердии, а именно — на интердикты [a], на разрешения подданных от присяги, на повторные отлучения, на анафемы, на картинки с изображениями чертей и, наконец, на те грозные молнии, при помощи которых души смертных низвергаются в самую глубину Тартара. Святейшие отцы и христовы наместники немедленно поражают этими молниями тех, кто, наученный дьяволом, пытается умалить или расхитить достояние св. Петра. Хотя, по свидетельству евангелия, Петр сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою» [7] однако его достоянием именуются поля, города, селения, налоги, пошлины, владельческие права. Ревнуя о Христе, папы отстаивают все это огнем и железом с немалым пролитием христианской крови и свято верят, что они по завету апостольскому охраняют невесту христову — церковь — и доблестно сокрушают ее врагов. Как будто могут быть у церкви более зловредные враги, нежели нечестивые первосвященники, которые своим молчанием о Христе позволяют забыть о нем, которые связывают его своими каверзными законами, искажают его учение своими натянутыми толкованиями и убивают его своей гнусной жизнью! Поскольку церковь основана на крови, кровью скреплена и кровью расширилась, они по сей день продолжают действовать железом, как будто погиб Христос, могущий защитить своих верных. Хотя война есть дело до того жестокое, что подобает скорее хищным зверям, нежели людям, до того безумное, что поэты считают ее порождением фурий, до того зловредное, что разлагает нравы наподобие дурной болезни, до того несправедливое, что лучше всего предоставить ее ведение отъявленным разбойникам, до того нечестивое, что ничего общего не имеет с Христом, — однако папы, забывая обо всем на свете, то и дело начинают войны.

Порой увидишь даже дряхлых старцев [6], одушевленных чисто юношеским жаром, которых никакие расходы не страшат и никакие труды не утомляют, которые бывают готовы поставить вверх

---

[a] *Интердикты* — в католической церкви запрещение совершения богослужения и отправления различных церковных обрядов, налагаемое в виде наказания на какую-либо страну папой или епископом.

[6] Намек на Юлия II, занимавшего папский престол в эпоху написания «Похвального слова глупости».

дном законы, религию, мир и все вообще дела человеческие, ежели им представится в том нужда. И находятся у них ученые льстецы, которые именуют это явное безумие святой ревностью, благочестием, мужеством, которые пускаются во всевозможные тонкости с целью доказать, что можно пронзать железом утробу брата своего, нисколько не погрешая в то же время против высшей заповеди Христа о любви к ближнему.

ИЗ «ДОМАШНИХ БЕСЕД»

РАЗГОВОР АББАТА И ОБРАЗОВАННОЙ ДАМЫ[1]

Антропий. Магдалия.

Антропий. Что это за обстановку я здесь вижу?

Магдалия. Разве не изящную?

Антропий. Не знаю, насколько изящную, но, во всяком случае, мало приличную как для девушки, так и для женщины.

Магдалия. Почему?

Антропий. Потому, что все полно книгами.

Магдалия. Ты, такой пожилой, да еще аббат и придворный, никогда не видал книг в домах знатных женщин?

Антропий. Видал, но только французские, а здесь я вижу греческие и латинские.

Магдалия. А разве только французские книги учат мудрости?

Антропий. Но знатным женщинам прилично держать у себя лишь то, что может услаждать их досуг.

Магдалия. Или одним только знатным женщинам позволительно быть мудрыми и жить приятно?

Антропий. Дурно соединяешь — быть мудрым и жить приятно.

Магдалия. А разве не всем свойственно жить хорошо?

Антропий. Полагаю.

Магдалия. Но как может жить приятно тот, кто не живет хорошо?

Антропий. Наоборот, как может приятно жить тот, кто живет хорошо?

Магдалия. Значит, ты одобряешь тех, которые живут дурно, лишь бы им жилось приятно.

Антропий. Я полагаю, что хорошо живут те, которые живут приятно.

Магдалия. Но эта самая приятность откуда проистекает — из внешних обстоятельств или из духовной жизни?

Антропий. Из внешних обстоятельств.

Магдалия. О, тонкий аббат, но тучный философ![2] Скажи мне, чем ты измеряешь понятие «приятное»?

Антропий. Сном, пирами, свободой делать, что захочется, деньгами, почестями.

Магдалия. Хорошо. А если ко всему этому бог прибавит мудрость, будешь ли ты жить приятно?

Антропий. Что ты называешь мудростью?

Магдалия. Это значило бы понимать, что человек может быть счастлив только благодаря духовным благам и что богатство, почести, происхождение не делают никого ни счастливее, ни лучше.

Антропий. Ну ее, такую мудрость!

Магдалия. Ну, а если мне приятнее читать хорошего автора, чем охотиться, пьянствовать или играть в азартные игры, неужели ты не найдешь, что я живу приятно?

Антропий. Я так не стал бы жить.

Магдалия. Я не спрашиваю, что тебе приятнее всего, но что должно считаться приятным.

Антропий. Я, по крайней мере, не желал бы, чтобы мои монахи были охотниками до книг.

Магдалия. А мой муж именно это и одобряет больше всего. Но почему же ты в конце концов не одобряешь этого в своих монахах?

Антропий. Потому что я по опыту знаю, что от чтения они становятся менее послушными, они любят отвечать из декретов[2], из декреталий, из посланий апостола Петра, апостола Павла.

Магдалия. Стало быть, ты приказываешь им то, что противоречит Петру и Павлу?

Антропий. Чему они учат, — я не знаю; но, во всяком случае, я не люблю монаха, который любит отвечать, и вообще я не желал бы, чтобы кто-либо из моих подчиненных был более мудр, чем я.

Магдалия. Но именно этого можно было бы избегнуть, если б ты сам постарался сделаться как можно более мудрым.

Антропий. Мне некогда.

Магдалия. Как так?

Антропий. Потому что нет свободного времени.

Магдалия. Нет свободного времени быть мудрым?

Антропий. Нет.

Магдалия. Что же мешает?

Антропий. Продолжительные молитвы, хозяйственные заботы, охота, лошади, придворная жизнь.

Магдалия. Так это для тебя важнее мудрости?

Антропий. Такая уж наша жизнь.

Магдалия. Теперь скажи мне вот что: если бы какой-нибудь Юпитер дал тебе власть превратить своих монахов и себя самого в какое угодно животное, ты, конечно, обратил бы их в свиней, а себя — в коня?

Антропий. Никоим образом.

Магдалия. Но ведь только так ты мог бы избегнуть того, чтобы кто-либо оказался мудрее тебя одного.

Антропий. Для меня было бы неважно, к какой породе животных принадлежат мои монахи, лишь бы сам я был человеком.

Магдалия. Ты, может быть, считаешь человеком того, кто не имеет мудрости и не желает ее иметь?

Антропий. Для себя я мудр.

Магдалия. Но и свинья для себя мудра.

Антропий. Ты мне кажешься софисткой, — уж очень ты речиста!

Магдалия. Я не буду говорить, чем ты мне кажешься. Но почему тебе не нравится моя обстановка?

Антропий. Потому что женское орудие — прялка и веретено.

Магдалия. А разве замужняя женщина не должна вести домашнее хозяйство и давать образование детям?

Антропий. Должна.

Магдалия. А можно, по твоему мнению, заведывать такими важными делами без мудрости?

Антропий. Не думаю.

Магдалия. Но именно этой мудрости и учат меня мои книги.

Антропий. У меня дома шестьдесят два монаха, но ты не найдешь ни одной книги в моей комнате.

Магдалия. Хорошо, должно быть, заботятся об этих монахах!

Антропий. Я готов выносить книги, но не выношу латинских.

Магдалия. Почему?

Антропий. Потому что этот язык не подходит для женщин.

Магдалия. Жду объяснения.

Антропий. Он мало содействует сохранению их целомудрия.

Магдалия. Следовательно, содействуют целомудрию французские книги, переполненные пустыми анекдотами?

Антропий. Это — другое дело.

Магдалия. Скажи мне откровенно все, что ты думаешь.

Антропий. Женщинам, если они не знают по-латыни, меньше опасности со стороны священников.

Магдалия. Но именно с этой стороны меньше всего опасности благодаря вам самим, так как вы всячески стараетесь не знать по-латыни.

Антропий. Простой народ так думает, потому что редкое и необычное дело, чтобы женщина знала по-латыни.

Магдалия. Что ты ссылаешься на простой народ? Ведь это очень плохой учитель в хорошем деле. Что ты ссылаешься и на привычку — наставницу всех зол? Надо привыкать к луч-

шему, и тогда сделается обычным то, что было необычно, сделается приятным то, что было неприятным, сделается приличным то, что казалось неприличным.

Антропий. Я слушаю.

Магдалия. Разве неприлично женщине, родившейся в Германии, учиться по-французски?

Антропий. Вполне прилично.

Магдалия. Зачем?

Антропий. Чтобы говорить с теми, кто знает по-французски.

Магдалия. А для меня ты считаешь неприличным учиться по-латыни, чтобы ежедневно беседовать со столькими авторами, столь красноречивыми, столь образованными, столь мудрыми, столь верными советниками?

Антропий. Книги отнимают у женщин много мозгу, а его у них и так нехватает.

Магдалия. Насколько у вас хватает, — я не знаю. Но, по крайней мере, я, как бы мало его ни было, предпочла бы тратить его на полезные занятия, чем на произнесение без смысла молитв, на ночные попойки, на осушение объемистых кубков.

Антропий. Дружба с книгами порождает безумие.

Магдалия. А разговоры с собутыльниками, лизоблюдами и шутами не порождают у тебя безумия?

Антропий. Наоборот, они разгоняют скуку.

Магдалия. Каким же образом может случиться, чтобы столь увлекательные собеседники породили во мне безумие?

Антропий. А так говорят.

Магдалия. Но самое дело говорит иное. Насколько больше мы видим таких людей, у которых неумеренное пьянство, кутежи не во-время, пьяные ночи, необузданное возбуждение порождали безумие.

Антропий. Я, по крайней мере, не желал бы иметь ученой жены.

Магдалия. А я поздравляю себя с тем, что мне достался муж, не похожий на тебя. И его мне и меня ему делает дороже образование.

Антропий. С огромным трудом приобретается образование, а после все-таки придется умереть.

Магдалия. Скажи мне, умнейший человек, если бы тебе пришлось умереть завтра, предпочел бы ты умереть более глупым или более мудрым?

Антропий. Да, если бы мудрость давалась без труда.

Магдалия. Но ничего человеку не дается без труда в этой жизни; и, однако, все им приобретенное, с каким бы трудом оно ни приобреталось, приходится оставить здесь. Почему же нам тяготиться затратой на дело самое драгоценное самого небольшого труда, плоды которого сопровождают нас и в другую жизнь?

Антропий. Часто слыхал я поговорку, что мудрые женщины вдвойне глупы.

Магдалия. Да, так обыкновенно говорят, но только дураки. Женщина истинно мудрая не считает себя мудрой; наоборот, та, которая, не имея нисколько мудрости, считает себя мудрой, вот эта-то вдвойне глупа.

Антропий. Не знаю, почему, но как корове не пристало седло, так и женщине — наука.

Магдалия. Но ведь не можешь же ты отрицать того, что седло пристало корове больше, чем митра ослу или свинье? Какого же ты мнения о матери-деве?

Антропий. Самого лучшего.

Магдалия. Не любила ли она читать книги?

Антропий. Любила, но не ваши.

Магдалия. Что же она читала?

Антропий. Церковные часы.

Магдалия. Для чего?

Антропий. Для пользы бенедиктинского ордена.

Магдалия. Пусть так. Ну, а Павла и Евстахия[2] не любили читать священных книг?

Антропий. Но это теперь редко.

Магдалия. В такой же степени некогда редкой птицей был неученый аббат, а теперь нет ничего чаще; некогда государи и императоры превосходили других не менее образованием, чем властью. И все-таки это не так редко, как ты думаешь; есть в Испании, есть и в Италии немало знатных женщин, которые могут состязаться с любыми мужчинами. В Англии есть ученицы Мора, в Германии — Биллибальда и Блаурера[3]. И если вы не примете мер, то дело кончится тем, что мы будем управлять богословскими школами, мы будем проповедывать в храмах, мы заберем себе ваши митры.

Антропий. Боже от этого избави!

Магдалия. Нет, вы сами должны от этого избавиться. Если же вы будете продолжать, как начали, то скорее гусаки примутся проповедывать, чем будут терпеть таких нелепых пастырей, как вы. Вы видите, что уже изменяется мировая сцена: надо или снять с себя маску, или каждому играть свою роль.

Антропий. Как я попал на такую женщину? Если ты когда-нибудь посетишь нас, я тебя хорошо приму.

Магдалия. Как?

Антропий. Мы попляшем, выпьем, поохотимся, пошутим, посмеемся.

Магдалия. Мне уже и теперь хочется смеяться.

ПИСЬМА ТЕМНЫХ ЛЮДЕЙ

«Письма темных людей» («Epistolae obscurorum virorum», часть I — 1515 г., часть II — 1517 г.) — знаменитый памфлет начала XVI в. выдающийся памятник немецкой гуманистической литературы. Авторы памфлета — Крот Рубиан и Ульрих фон-Гуттен, а также, повидимому, и некоторые другие гуманисты, авторство которых с точностью не установлено. По замыслу авторов, «Письма темных людей» образуют своего рода аналогию к «Письмам знаменитых людей» («Clarorum virorum epistolae»), опубликованным в 1514 г. гуманистом Рейхлином. В «Письмах знаменитых людей» ряд видных гуманистов солидаризировался с Рейхлином в его столкновении с Кельнским университетом. Это столкновение возникло вследствие заступничества Рейхлина за древнееврейские книги, которые предлагал сжечь обскурант (мракобес) Пфефферкорн, поддержанный обскурантами из Кельнского и других университетов, а также монахами-доминиканцами во главе с инквизитором Гоогстратеном. «Письма темных людей» адресованы якобы от имени врагов Рейхлина и его единомышленников иезуиту Ортуину Грацию, одному из столпов кельнской теологии возглавившему движение обскурантов. Перед читателем длинной вереницей проходят резко очерченные образы адептов мракобесия: теологи, магистры, баккалавры, монахи — невежественные, несмотря на свою кичливость, развратные, несмотря на внешнее благочестие, пропитанные звериным фанатизмом, лютой ненавистью ко всему «ренессансному», прогрессивному.

Титульный лист 1-го изд. II части «Писем темных людей» (1517)

«Письма темных людей» нанесли сокрушительный удар противникам гуманизма и имели общеевропейский резонанс. Вторая часть «Писем», вышедшая в свет в год Реформации (написана главным образом, повидимому, Ульрихом фон-Гуттеном), особенно резко заострена против католического монашества. На русском языке: «Письма темных людей», перевод и комментарии Н. Куна („Источники по истории реформации», вып. II., М., 1907 г.). В том же переводе (исправленном) новейшее издание — «Academia», 1935 г.

1

ФОМА ЛАНГШНЕЙДЕРИУС

признанный баккалавром теологии, хотя он этого и не достоин, шлет привет наивыдающемуся и ученейшему мужу, господину Ортуину Грацию Девентерскому, поэту, оратору и теологу и еще того больше, если он только пожелает [1]

Так как «не бесполезно сомневаться в отдельных предметах», как говорит Аристотель и как мы читаем в Экклезиасте [а] (1, 10 ст.): «И предам я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать все, что делается под небом», то я хочу предложить вам, благороднейший, решить один вопрос, который для меня весьма сомнителен. Но сперва призываю в свидетели бога святого, что я вовсе не желаю испытывать вас, благороднейший и почтеннейший, а только от всего сердца и совершенно искренно желаю, чтобы вы снабдили меня правильными сведениями, касающимися этого сомнения. Сказано бо в Евангелии: «не искушай господа бога твоего» (Матф. IV, гл. 7), а Соломон говорит: «Всякая премудрость от бога» («Притчи Соломоновы» II, 6), вы же дали мне все то знание, которым я теперь обладаю, а всякое благое знание есть начало премудрости, следовательно, вы — как бы мой бог, ибо, говоря поэтически, вы дали мне начало премудрости. Вопрос же сей был поставлен при следующих обстоятельствах. Был здесь как-то «пир Аристотеля» [б]; доктора́, лиценциаты и магистры очень ликовали; я был тоже на этом пиру. Выпили мы для начала по три кружки мальвазий и на первую перемену взяли свежеиспеченных булок, а кроме того сделали мы себе клёцки; потом было у нас еще шесть блюд мясных, куры и каплуны и одно блюдо рыбное. И вот, переходя от одного блюда к другому, мы все время пили вино кобленцское и рейнское, а также пиво эмбское, торгауское и наумбургское. Магистры были весьма довольны и говорили, что новоиспеченные магистры очень отличились и притом вели себя весьма почтительно. Тут-то магистры, развеселившись, стали толковать с великим мастерством о важных вопросах, и один из них спросил: как подобает называть человека, который способен получить степень магистра

[а] *Экклезиаст*, ниже — *притчи Соломоновы* — церковные книги.

[б] *Пир Аристотеля* устраивали лица, получившие ученую степень, всему факультету. Доктор, магистр, лиценциат, баккалавр — ученые степени.

теологии, — «magister nostrandus» или «noster magistrandus» [а] например проживающего в Кельне монаха из ордена кармелитов, брата Теодориха фон-Ганда, медоречивого, высокопреподобного легата благодатного Кельнского университета, весьма проницательного знатока искусств, философа, аргументатора и выдающегося тео. ога. Тотчас же ответил магистр Вармземмель, мой земляк, самый тонкий знаток Скотта [б], и уже восемнадцать лет как магистр. Два раза в свое время его не допускали к соисканию степени магистра, три раза он проваливался, но все же твердо стоял на своем, пока к чести университета не был возведен в степень магистра. Он отлично устроил теперь свои дела, и у него много учеников больших и маленьких «старцев и отроков» (Псал. CXLVIII, 12). С большой зрелостью ума начал он говорить и держался того мнения, что надо говорить nostermagistrandus, потому что это одно слово, так как magistrare значит magistrum facere, а baccalauriare значит baccalaurium facere, а doctorare — doctorem facere. Отсюда-то и произошли термины magistrandus, baccalauriandus и doctorandus. Но так как доктора святой теологии не называются докторами, а называются ради уничижения, святости и отличия magistri nostri и так как в католической религии они занимают место господа нашего Иисуса Христа, который есть источник жизни, а Христос — к тому же учитель всех нас, то они называются magistri nostri, ибо они должны направлять нас на путь истины, а бог есть истина. Поэтому-то и называются они magistri nostri, и все мы, т. е. христиане, должны слушать их проповеди, и никто не должен говорить против них; а стало быть, они нам всем учителя. Да и глагол nostrotras — trare не употребляется и его нет в словарях «Exquo», «Catholicon», Breviloquium», «Gemma gemmarum» [в], хотя в них много терминов. Итак, мы должны говорить noster magistrandus, а не magister nostrandus. Тогда против магистра Вармземмеля выступил оппонентом магистр Андрей Делич, человек тонкого ума; он отчасти поэт, отчасти же артист, он медик, юрист, читает публично «Метаморфозы» Овидия [г] и объясняет их аллегорически и метафизически, а на дому у себя он читает Квинтилиана и Ювенка [2]. Он сказал, что должно говорить magister nostrandus. Как есть разница между magister noster и noster magister, так есть разница и между magister nostrandus и noster magistrandus. Magister noster говорят о докторе теологии и это одно слово, но noster magister это два слова, и означают магистра какой-нибудь свободной науки или же механического искусства ручного или головного. А что nostro

---

[а] Конечно, нельзя сказать ни «magister nostrandus», ни «noster magistrandus», единственная правильная форма — «magister noster».

[б] *Дунс Скотт* (1275—1308) — знаменитый средневековый философ-богослов, пользовавшийся огромной популярностью среди схоластиков (см. также примечание к новеллам Мазуччо).

[в] Все эти словари пользовались особым авторитетом среди схоластиков.

[г] В средние века из латинских поэтов читали главным образом Вергилия и Овидия, схоластики обыкновенно держались этого обычая.

tras — trare не употребляется, то это ничего не значит, так как мы можем выдумывать новые слова, — и тут же сослался на Горация. Много дивились магистры его остроумию, и один из них поднес ему на здоровье кружку наумбургского пива, а сам Делич сказал: «Я хочу обождать, простите меня». Он прикоснулся к берету, весело засмеялся и поднес кружку на здоровье магистру Вармземмелю со следующими словами: «Господин магистр, не думайте, что я ваш враг», — и единым духом осушил кружку. Вармземмель храбро ответил ему тем же в честь силезианцев. Все магистры были очень веселы. Тут зазвонили к вечерне.

Вот поэтому-то, молю я вас, превосходнейший, изложите вы мне мнение ваше, так как вы весьма глубоко учены. Я еще тогда сказал: «Магистр Ортуин напишет мне истину, так как он был моим наставником в Девентре, когда я был в третьем классе». Вы должны также уведомить меня, в каком положении находится ваша распря с доктором Иоанном Рейхлином. Узнал я, что этот негодяй (хотя он доктор и юрист) не хочет взять обратно своих слов. А также пришлите-ка мне книгу «нашего магистра» Арнольда Тонгрского [3], которую он весьма доступно написал, эта книга весьма остроумна и трактует о многих глубочайших вопросах теологии. Будьте здоровы и не считайте дурным, что я пишу вам так запросто, по-товарищески; ведь вы сами говорили мне раньше, что любите меня, как брата, и хотите мне содействовать во всем, если бы даже вам пришлось ссудить мне большую сумму денег. Писано в Лейпциге.

8

ФРАНЦИСК ГЕНЗЕЛИНУС

магистру Ортуину Грацию

Шлю столько поклонов, что их не могут перевесить своей тяжестью и тысяча талантов [a]. Почтеннейший господин магистр, да будет вам известно, что здесь много толкуют о вас, и теологи вас очень хвалят за то, что вы, не обращая внимания ни на кого, пишете в защиту веры против доктора Рейхлина. Но некоторые члены университета, не обладающие благоразумием, а с ними и юристы, не осененные верой христовой, презирают вас и много говорят против вас; но взять перевес они не могут, так как теологический факультет стоит на вашей стороне. Когда недавно были получены здесь книги, озаглавленные «Acta Parrhisiensum» [4], тогда почти все теологи купили себе эти книги и были очень этому рады. Я тогда тоже купил себе «Acta Parrhisiensum» и послал их в Гейдельберг для того, чтобы там их просмотрели. Я думаю, что, просмотрев их, гейдельбергцы очень жалели, что не приняли одинакового решения с благодатным Кельнским университетом относительно доктора Рейхлина. Я слышал также, что Кельнский университет принял решение: не удостаивать во

[a] *Талант* — у древних греков высшая весовая и денежная единица (преимущественно для серебра), равная 60 минам, или 6 тыс. драхм; аттический талант равнялся 26,2 *кг* серебра.

веки веков степени баккалавра или магистра того, кто подготовился в Гейдельберге получить эти ученые степени. Это дело весьма хорошее, потому что они должны учиться так, как учатся в Кельнском университете, и должны быть заодно с ним. Я бы очень желал, чтобы так же поступили и в отношении других университетов. Однако я думаю, что другие университеты не ведали этого, а потому простите их ради их неведения. Дал мне один товарищ ваши прекрасные стихи, вы должны их опубликовать во всем Кельнском университете. Я их показывал магистрам и «нашим магистрам», и они их очень одобряли. Чтобы прославить вас, я послал их во многие города, так как я вам очень сочувствую. Вот эти стихи, чтобы вы знали, о чем я говорю:

Кто лживость всю еретиков захочет знать
Да и латынью чудной хочет обладать,
Парижские пусть купит «Acta» он себе
И о делах парижских сочиненья все:
От веры как от истинной Рейхлин отпал,
Магистр Тонгерский сие нам доказал.
Об этом в Кельне даром курс Ортвин прочтет,
При этом текст весьма подробно разберет.
Он будет также все, что важно, выделять
И даже в диспуте все это защищать.
Так и теологи в Париже поступали,
Когда «Глазное зеркало» все разбирали,
И доктора Рейхлина строго осудили.
И знают ведь все это братья кармелиты,
И те, которых называют якобиты[5].

Я весьма дивлюсь, как вы можете сочинять столь замечательные вещи. Вы весьма искусны в ваших произведениях и обладаете весьма сладостным слогом, так что я всегда смеюсь от удовольствия, когда читаю что-нибудь, сочиненное вами. Я всегда желаю вам, чтобы вы еще долго прожили и чтобы слава ваша все росла, как это и было до сих пор, а этого я желаю потому, что ваши произведения весьма полезны. Да сохранит вас господь и да сбережет он вам жизнь, и да не предаст вас в руки врагов ваших; и, как говорит псалмопевец: «Да даст тебе господь по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит» (Псал. X, 3). Напишите мне также о делах ваших, так как я с удовольствием слышу о ваших делах и поступках. Итак, будьте здоровы! Из Фрейбурга.

15

ВИЛЬГЕЛЬМ ШЕРШЛЕЙФЕРУС

приветствует магистра Ортуина[6]

Я очень удивляюсь, достопочтеннейший муж, что вы мне не пишете, однако вот другим вы пишете, хотя они пишут не так часто, как я вам пишу. Если вы враг мой и поэтому не хотите мне больше писать, то напишите мне, почему вы не хотите мне больше писать, чтобы я знал, почему вы не пишете мне, хотя я всегда пишу вам, подобно тому, как я теперь вам пишу, хотя и знаю, что

вы не пишете мне ответа на мое писание. Но я все-таки умоляю вас от всего сердца; все-таки напишите мне, и если вы один раз напишете мне, тогда я напишу вам десять раз, так как я охотно пишу моим друзьям, и хочу кроме того поупражняться в искусстве писать, для того чтобы уметь писать изящные сочинения и письма. Я не могу понять, какая тому причина, что вы мне не пишете. Я также жаловался на это недавно, когда были здесь кельнцы: «Что это делает магистр Ортуин: он мне совсем не пишет? Он не пишет мне уже два года; скажите-ка ему, чтобы он мне написал, я читал бы его письма с такой же охотой, с каксй бы ел мед. Он был раньше моим первейшим другом». Также спросил я, как обстоят ваши дела в споре с Рейхлином. Тогда сказали мне они, что этот юрист умеет благодаря своему искусству водить вас ловко за нос. Но я очень желаю, чтобы господь бог был бы к вам милосерд и вы вышли бы победителем. Если вы напишете мне, то напишите мне и об этом, мне очень бы хотелось обо всем этом знать. Эти юристы шляются здесь и говорят: «Дела доктора Рейхлина идут хорошо, и теологи в Кельне поступают с ним несправедливо». И видит бог, я боюсь, что в церкви произойдет великая смута, если не будет сожжена эта книга — «Глазное зеркало»: уж очень в ней много клеветы, и она противна католической вере. А если этот юрист не будет принужден отказаться от своих слов, то и другие будут пытаться писать о теологии так же, как и он, хотя они ее и не понимают и не штудировали, следуя по стопам Фомы или Альберта или Скотта [7], хотя не просветлены верой и не осенены истинной благодатью святого духа. Каждый должен оставаться на своей полосе, и никто не должен повергать серп свой на чужую жатву [8]: сапожник должен оставаться сапожником, портной — портным, всякий мастеровой — мастеровым. Было бы очень плохо, если бы портной стал шить сапоги или туфли. Вы должны храбро защищать и себя и святую теологию, я тоже молю бога, да ниспошлет он вам милосердие свое и да просветит он разум ваш, как сделал он это в древности с праотцами, чтобы не преодолел бес со слугами своими истины. Но напишите мне, ради бога, как обстоят дела ваши. Вы заставляете меня много грустить, а зачем вам это? Но теперь поручаю вас господу богу. Будьте здоровы, благослови вас Христос. Писано в Франкфурте.

34

МАГИСТР ОРТУИН ГРАЦИЙ,

в высшей степени дружественно расположенный, шлет привет своему глубоко-ученому другу, магистру Маммотректусу

Так как святое писание говорит: «Любит господь ходящих непорочно» [9], то я хвалю вас, благороднейший и остроумнейший господин магистр, за то, что вы изложили мне так просто ход мыслей

ваших, хотя и с риторическими украшениями, так как вы владеете хорошим латинским стилем. Я буду писать вам тоже просто, то есть риторически, а не поэтически. Любезнейший господин магистр, вы оповещаете меня о вашей либви; я очень удивляюсь, что вы настолько неблагоразумны, что хотите любить девиц. Я должен вам сказать, что вы поступаете скверно, что у вас греховные помыслы и что они могут повести вас в ад. Я думал, что вы разумны и не помышляете о легкомысленном, так как это всегда имеет плохой исход. Но я, согласно вашей просьбе, дам вам все-таки мой совет, так как в священном писании сказано: «Просите и получите» (Иоанн, XVI, 24). Вы должны прежде всего покинуть эти пустые помыслы о вашей Маргарите, которые внушил вам диавол, отец всех пороков, по свидетельству Рихарда о четырех книгах. Всякий раз, когда вы будете думать о Маргарите, творите крестное знамение, прочтите раз «Отче наш» и стих из псалтири: «И диавол да станет одесную его» (Псал. CVIII, 6). Ешьте также по воскресеньям освященную соль и окропляйте себя святой водой, которую святит назначенный для этого священник у святого Рупрехта. Таким образом вы можете побороть того диавола, который внушил вам столь великую любовь к вашей Маргарите, которая совсем не так красива, как вы думаете. У ней на лбу бородавка, длинные и красные голени, неуклюжие и черные руки и к тому же у нее пахнет изо рта, потому что у нее плохие зубы... Но вы ослеплены бесовской любовью, а потому и не видите ее недостатков... У меня в Кельне была одна получше вашей Маргариты, однако я бросил ее. Когда она вышла замуж, она часто, когда ее мужа не было дома, звала меня к себе через одну старую бабу, но я не ходил к ней; пошел как-то раз, да только я был тогда пьян. Я убеждаю вас: поститесь дважды в субботу, а после этого исповедуйтесь у какого-нибудь «нашего магистра» из ордена проповедников, он может вас направить на путь истинный. После того как вы отисповедуетесь, помолитесь святому Христофору, чтобы он нес вас на плечах своих [a], дабы вы снова не пали и не погрузились «в море великое и просторное: там пресмыкающиеся, которым нет числа» (Псал. CIII, 25), то есть бесчисленные грехи...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (1517 г.)

18

БРАТ СИМОН ВОРСТ [10],

доктор святой теологии, шлет привет магистру Ортуину Грацию

С тех пор как была сюда доставлена книга Иоанна Пфефферкорна [11] «Защита от клеветы», написанная им на латинском языке,

[a] Согласно легенде, св. Христофор перенес на своих плечах через реку младенца Христа, вследствие чего он и получил свое имя (Христофор означает «христоносец»).

мы слышим каждый день что-нибудь новенькое. Одни говорят одно, другие другое; одни на его стороне, другие на стороне Рейхлина; одни его защищают, другие его обвиняют. Идет великий спор, и дело доходит чуть не до драки. Если бы я вздумал вам написать обо всех ссорах, то у меня нехватило бы на это даже целой олимпиады [а]. Но, впрочем, я расскажу вам вкратце кое о чем. Конечно, большинство, главным образом светские поэты, священники и братья ордена миноритов [б], уверяет, что Пфефферкорн ни в коем случае не может быть автором этой книги, так как он сроду ни одному слову не научился по-латыни. Я же возразил, что это доказательство ровно ничего не значит. Пфефферкорн все время сталкивается с великими людьми; кроме того, он всегда носит с собой перо и чернильницу и записывает все, что слышит во время обыкновенных разговоров в частных собраниях, когда к нему в дом приходят студенты и братья проповедники, а также когда он идет в баню. Господи боже, сколько одних проповедей выслушал он за двенадцать лет! Сколько поучений! Сколько изречений святых отцов! Все это он сам мог запомнить или же мог передать своей жене, или же записать на стенке, наконец, занести себе в записную книжку. Я также сказал, что Иоанн Пфефферкорн говорит о самом себе, притом совершенно не хвастаясь, что он может на всякий случай — хороший ли, плохой ли — по-еврейски или по-немецки привести изречение из всей библии или же из святого евангелия. Он знает также все евангелия, читающиеся в течение года наизусть, и может их пересчитать по пальцам, чего все эти юристы и поэты не умеют. У него есть, кроме того, сын, по имени Лаврентий; это действительно талантливейший юноша, — он даже побледнел от постоянных занятий. Одно меня удивляет, зачем он позволяет ему заниматься у этих чортовых поэтов [в]? Он выбирает своему отцу на каждую тему и на всякий случай изречения ораторов и поэтов как сам, так и со слов своих учителей; он даже может ссылаться на Гугона [12]. Очень много знаний приобрел Иоанн Пфефферкорн благодаря столь талантливому юноше, и то, что он не может сделать вследствие того, что сам не учен, то делает ему его сын. Поэтому горе всем, которые распространяют ложный слух, что Пфефферкорн не сам написал свои книги, а что их написали кельнские доктора и магистры. Пусть же Иоанн Рейхлин вечно краснеет и вздыхает, вспоминая, что он уверял, будто Пфефферкорн не сам написал даже свое «Ручное зеркало», о котором часто возникал спор между учеными. Ведь три человека дали ему все те доводы, которые он приводит в этой книге. Когда же один такой спросил: «кто же эти три человека?», — я ответил: «Не знаю, право, но думаю, что это те же самые три мужа [г], которые явились Аврааму, как сказано в книге бытия, XVIII, глава 2». Когда

[а] *Олимпиада* — у древних греков промежуток в четыре года между двумя празднованиями олимпийских игр.

[б] *Минориты* — монахи-францисканцы.

[в] Т. е. гуманистов.

[г] Три мужа — ангелы.

я это сказал, то они стали надо мной смеяться, как над каким-то дураком. Я им желаю, чтобы дьяволы поразили их тяжкими ранами, как написано в книге Иова [13], которую мы как раз теперь читаем в нашем монастыре за трапезой. Итак, скажите Иоанну Пфефферкорну, чтобы он все сносил терпеливо, так как я надеюсь, что бог уже совершит как-нибудь чудо. Поклонитесь ему от меня. Поклонитесь также, — но только тайком, — его жене, с которой вы очень близко знакомы. Будьте здоровы! Написано очень спешно и как следует не обдумано. Из Антверпена.

26

ГЕНРИХ ШАФСМУЛИУС [14]

шлет магистру Ортуину Грацию множество приветов

Вы, прежде чем мне отправиться к римской курии, сказали, что я почаще должен писать вам и обращаться к вам иногда с теологическими вопросами, которые вы разрешите мне лучше, чем члены римской курии; вот поэтому я и обращаюсь к вам, благороднейший, со следующим вопросом: какого вы мнения о том, если кто-нибудь съест в день Венеры, то есть в шестой день недели, или же вообще в постный день яйцо, в котором есть зародыш? Мы недавно сидели в одной гостинице на Кампо-де-фиори [а], обедали там и ели яйца. Я разбил яйцо и увидал, что в нем уже маленький цыпленок, я показал это моему товарищу. Он же мне сказал: «Ешьте скорее яйцо, чтобы не увидал хозяин, если он увидит, придется заплатить ему карлин или юлий [6] за курицу. Здесь уже такой обычай, что раз хозяин подал что-нибудь на стол, то за это надо и платить, так как назад они уже не берут. Если же хозяин увидит в яйце цыпленка, то, конечно, скажет: «Заплатите мне за курицу», так как он берет за малое и за большое одинаково. Я скорее выпил яйцо, а вместе с ним проглотил и цыпленка; только уж потом я сообразил, что тогда был день Венеры, и сказал своему товарищу: «Что вы сделали! Ведь я совершил из-за вас смертный грех — съел мяса в постный день». Он же сказал мне, что это не смертный грех и даже вовсе не грех, так как этого цыпленка следует считать за яйцо до тех пор, пока он не вылупится из яйца. Он даже сказал мне, что это совершенно то же, что, например, сыр, в котором иногда бывают черви, или же в вишнях, горохе, а также в свежих бобах, — ведь едят же их по пятницам и в дни вигилий святых апостолов [в], хозяева же плуты и говорят, что это — мясо, дабы получить побольше денег. После этого я ушел и раздумывал об этом. Клянусь

[а] На *Кампо-де-фиори* (в Риме) находились папские канцелярии, куда стекалась масса алчных просителей.

[б] Итальянские монеты: 10 юлиев = 12 карлинов = 1 дукат (золотая монета).

[в] *Вигилии* — день, предшествующий празднику в честь одного из апостолов; день этот постный.

богом, господин Ортуин, я совсем спутался и окончательно не знаю, как мне быть. Я очень хотел посоветоваться с одним членом курии, однако знаю, что он не обладает в достаточной степени знанием. Кажется мне, что цыплята в яйцах—мясо: ведь материя уже сформировалась и приняла очертания членов и тела животного, и у ней уже есть живая душа. Иначе, например, черви в сыре: ведь червей причисляют к рыбам, что я слышал от одного медика, а он очень хороший физик. Я вас прошу от всего сердца, ответьте мне на этот предложенный мною вопрос. Если вы считаете это смертным грехом, то прежде чем вернуться в Германию, я добуду себе здесь отпущение этого греха. Кроме того, да будет вам известно, что «наш магистр» Яков Гоотстратен получил из банка тысячу гульденов. Я надеюсь, что он теперь выиграл дело, и чорт поберет этого Иоанна Рейхлина и всех других поэтов и юристов за то, что они идут против церкви божией, то есть против теологов. Ведь теологи — основа церкви, так как Христос сказал: «Ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою» (Матф. XVI, 19). Итак, поручаю вас господу богу. Будьте здоровы. Писано в городе Риме.

44

ПЕТР ВОРМССКИЙ

шлет множество приветов
магистру Ортуину Грацию

Превосходнейший муж! Раз вы действительно расположены ко мне и во многом мне споспешествуете, то я и хочу сделать для вас все, что только в моих силах. Вы ведь сказали мне: «Петр, когда вы придете в Рим, посмотрите, нет ли там новых книг, а если есть, то пришлите мне что-нибудь». Так вот, я вам и присылаю новую книгу, она напечатана здесь. Так как вы поэт, то думается мне, вы можете с помощью этой книги еще более усовершенствоваться. Я слышал здесь от одного нотариуса в суде, который очень силен в этом искусстве, что эта книга — источник всякой поэзии; автор этой книги называется Гомером, и он отец всех поэтов [а]. Он сказал мне также, что есть еще другой Гомер на греческом языке. Я же ответил ему: «Что мне за дело до греческого Гомера? Латинский, конечно, много лучше. Я хочу послать его в Германию магистру Ортуину, а он не занимается всем этим греческим вздором». Я спросил также нотариуса: «Что же написано в этой книге?» Он же сказал мне, что в ней говорится о каких-то людях, которых называли греками, они вели войну с другими людьми, которых называли троянцами; я уже не раз слышал это имя. У этих троянцев был очень большой город, греки же расположились перед этим городом и простояли там целых десять лет. Троянцы

[а] Имеется в виду латинский перевод «Илиады» Гомера, изданный в Риме в 1474 г.

несколько раз выходили против греков, здорово с ними дрались и ужаснейшим образом убивали друг друга, так что все поле было залито кровью. Была там также какая-то речка, она вся окрасилась кровью, стала совсем красная и текла, словно была вся из крови. Крик там был слышен даже на небе. Кто-то бросил такой камень, что его не могли поднять двенадцать человек. Одна лошадь заговорила и стала пророчествовать. Но я не верю всему этому, так как мне кажется это невозможным. По правде сказать, я не знаю даже, достойна ли эта книга особенного доверия. Прошу вас, напишите мне, пожалуйста, об этой книге и уведомьте меня, какого вы мнения о ней. А засим будьте здоровы. Писано в Риме.

УЛЬРИХ ФОН-ГУТТЕН

Ульрих фон-Гуттен (Ulrich von Hutten, 1488—1523) — писатель-гуманист и политический деятель. Происходил из старинного рыцарского рода. Вел деятельную, полную приключений жизнь. Воспитывался в Фульдском монастыре, бежал оттуда в Эрфурт, где учился в университете, затем перешел в Франкфуртский университет, в котором и получил степень баккалавра: был странствующим поэтом, придворным, воином. В качестве франкского рыцаря принимал деятельное участие в восстании рыцарства 1522 г., которое возглавлял Франц фон-Зиккинген. Когда же восстание окончилось неудачей и Зиккинген пал в битве, Гуттен бежал в Швейцарию, где вскоре и умер.

Гуттен рано обнаружил гуманистические склонности. В одном из первых своих произведений, в стихотворении «Nemo» («Никто»), он громил схоластическую науку; когда же возгорелась борьба между Рейхлином и обскурантами, Гуттен решительно стал на сторону знаменитого гуманиста, написав в прославление последнего стихотворение «Триумф Капниона» (1517 г.), и принял участие в составлении «Писем темных людей» (1515—1517 гг.), главным образом их второй части. В 1515 г. герцог Ульрих Вюртембергский убил двоюродного брата Гуттена. В ответ на это Гуттен публикует против герцога «Речи» и диалог «Phalarismus» (1517 г.). В диалоге «О придворной жизни» он в мрачных красках рисует жизнь мелкого тирана и его приближенных. К 1520—1521 гг. относятся самые замечательные произведения Гуттена — его знаменитые сатирические диалоги в стиле Лукиана: «Фортуна», «Лихорадка», «Вадиск или римская троица» и др., в которых он обрушивается на папский Рим. Особенно знаменит диалог «Вадиск», принадлежащий к лучшим образцам немецкой сатирической литературы эпохи Реформации.

На русском языке: помимо «Писем темных людей» (см. стр. 204), «Диалоги», перевод и пересказ В. Протопопова (в «Источниках по истории Реформации», вып. I, М., 1906 г.).

Ульрих фон-Гуттен (с немецкой гравюры XVI в.)

ВАДИСК ИЛИ РИМСКАЯ ТРОИЦА

Действующие лица: *Гуттен и Эрнгольд*[1].

§ 147.

Гуттен. Нет исцеления от яда, выдыхаемого папой из своего сердца, и нет нигде лучшего покровительства преступлению. Им прикрываются все те, кому не удались другие обманы: различные клеветы, хитрости, обольщения и, наконец, всевозможные лукавства и козни.

Эрнгольд. Бессмертные боги! О каких обманах повествуешь ты? Это целая Илиада несчастий!

Гуттен. Мне тяжело даже говорить об этом. Неужели кто-либо считает легким переносить нечто подобное?!

§ 148.

Эрнгольд. Так в чем задержка? Разве у Германии нет оружия? Разве нет у ней огня?

Гуттен. Если нет у нее, будет у турок.

Эрнгольд. Но лучше отомстить за эти обиды нам самим, чем какой-нибудь посторонней силе.

Гуттен. Лучше. Но требуется быстрое мщение, так как уже неимоверно увеличилась римская наглость. Ты видел буллу Юлия, ту благородную буллу, крайне расхваленную куртизанами [a], подтверждающую экстраваганту Пия II против тех, которые апеллируют на папу собору[2].

§ 149.

Какое наглое преступление как со стороны того, кто первым издал подобное постановление, так и со стороны того, кто его одобрил, таким образом издеваться над глазами и сердцами верующих! Это папы сделали, чтобы раз навсегда освободиться от страха перед теми, которые прибегают к собору для защиты от папских несправедливостей, а этого приходится Риму бояться. Но эта булла, какова бы она ни была, находится в числе церковных законов и исторгла у венецианцев города и области[3].

§ 150.

Эрнгольд. Если меня не обманывает память, то дело не в булле, а в оружии французов и немцев. Ведь как поступили бы, по твоему мнению, с этим наглым вздором люди, которых никто не превзошел умом, и государство, предвидевшее все, если бы не было против них столько королей, столько государств, столько войск? Они показали бы этой пустой выдумке шиш.

[a] *Куртизан* — придворный льстец.

§ 151.

Гуттен. Пусть будет так. Но каково, этот обманщик смеет утверждать, что написал буллу с помощью духа святого?! Как будто бы дух мудрости и божественного знания мог принять участие на совете подобной злобы, и сборище этого разбойника называется «церковью», а не «жесточайшим из всех когда-либо бывших гонений на церковь»!

§ 152.

Язычники, преследовавшие христиан, убивали только людей, в этом все их преступление! А эти, затемняя своими законами, гибельными исчадиями ада, свет истины, умерщвляют христово учение, на котором основана христианская вера, на котором стоит вся церковь и покоится спасение рода человеческого! Другие гонения стойкостью и мужеством мучеников усиливали и укрепляли веру, а это поддержкой пагубнейших преступлений губит и разрушает ее.

§ 153.

Эрнгольд. Исчезни, Рим! Ты, который не имеешь христовой веры, но почитаешь сатанинское учреждение — корыстолюбие! Исчезни, корень преступлений и пороков, исчезни ты, откуда распространяется общая погибель для христианского мира!

Гуттен. Как полагаешь ты, если придется положить душу за паству, то скажутся ли подобные пастыри мужественными?

Эрнгольд. Неужели положат свою душу и подвергнут свою жизнь опасности те пастыри, которые из-за денег убивают овец?!

§ 154.

Если бы сегодня турки обложили Рим, так что следовало бы защищать Италию, то первым убежит, первым при виде опасности покинет Италию и даже, если я не обманываюсь, самую веру оставит как раз тот, который требует у немцев денег для ведения турецкой войны [4]. Сколько раз были обмануты этим вымыслом христиане! Они не желают вести войны с турками, хотя и требуют денег под этим предлогом, но хотят сами жить и наслаждаться удовольствиями...

...Следующими триадами будут: три вещи могут исправить Рим: строгость немецких князей, нетерпение христиан и войско турок под стенами Города [a]. Три вещи не позволили поумнеть Германии: беспечность князей, незнание наук и суеверие народа. Тремя вещами подчиняет себе Рим все: насилием, хитростью и лицемерием. Три вещи изобретены, чтобы выжимать золото из чужих стран: торговля индульгенциями, несуществующая война с турками и власть папских легатов в варварских землях. Тремя вещами постоянно заняты в Риме, но никогда не доводят их до конца: спасением душ, реставра-

[a] Т. е. Рима.

цией развалившихся храмов и турецким походом. О трех вещах нельзя говорить правду: о папе, об индульгенциях и о безбожии. Три вещи, по словам самих римлян, защищают Рим: неглубокие рвы, разрушенные стены и низкие башни. Три рода князей управляют Римом: сводники, куртизаны и ростовщики. Три вещи неохотно делают в Риме: держат свое слово, помогают другому и уступают дорогу. Три вещи в избытке в Риме: проститутки, священники и писцы. Трех вещей желает всякий в Риме: коротких обеден, старого золота и жизнь, полную наслаждений. Три вещи составляют отличительную черту Рима: папа, старые здания и корыстолюбие. Три вещи отличают Рим от других городов: люди из всех городов, всевозможные деньги и разговоры на всех языках. Три вещи ненавидят в Риме: право патроната, свободные выборы на священнические и епископские места и трезвость немцев, в особенности последнее. Три вещи видны повсюду в Риме (и все встречают их): едущие верхом, письмоносцы и благословляющие людей. Три вещи одеты великолепно в Риме: священники, мулы и проститутки. Три вещи запрещено вывозить из Рима: мощи святых (подлинность коих сомнительна), большие камни (которые трудно увезти) и благочестие (которого там нет совершенно). В три вещи верят крайне немногие в Риме: в бессмертие души, в общение святых и в адские муки. Три вещи совершенно не ценятся в Риме: благочестие, вера и ненависть, хотя их и выставляют напоказ, как нигде...

§ 225.

Гуттен. ...Зато три вещи, хотя и находятся постоянно в Риме, но видны крайне редко: старое золото (его прячут к себе там куртизаны, священники и ростовщики), редко показывается народу папа (чтобы его вид внушал большее почтение людям) и красивые жены (их мужья, из ревности и боясь свободы прелюбодеяний, держат под запором).

Три вещи считаются самыми дорогими в Риме: заслуга, справедливость и дружба, так как встречаются очень редко.

§ 227.

Гуттен. Три вещи, по словам Вадиска, целуют люди в Риме: руки, алтари и щеки.

Эрнгольд. Разве они не целуют также и ноги?

Гуттен. Целуют ноги только у папы, но это делают весьма немногие: или магнаты, или те, к кому расположен святейший.

§ 228.

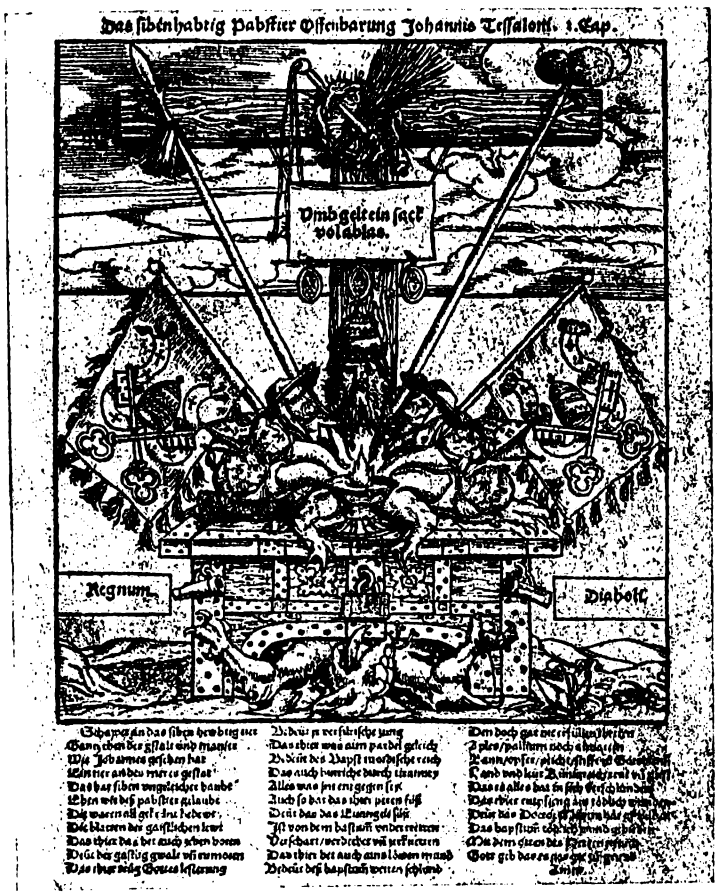
Эрнгольд. Я вижу большое число триад, говорящих о злых делах или о пустых и суеверных, но неужели Вадиск не нашел ничего хорошего?

Гуттен. Нашел и хорошее, но его оказалось так мало, что он не мог составить триады. Правда, некоторое время он продержал меня в недоумении, утверждая, что в Риме существуют

трсякого рода дела милосердия; я ожидал, что он сообщит о чем-нибудь святом.

Эрнгольд. А о чем сообщил он?

Гуттен. Делами милосердия являются в Риме: отдача в так называемую комендацию[a] кардиналам доходов с более богатых монастырей, предоставление в пользу папы доходов с каноникатов



Сатира на папство (с немецкой гравюры XVI в.)

и богатых церковных мест, подкрепление отпущениями и прощениями душ верных, доведенных до отчаяния невозможным суеверием и магическими ужасами.

[a] *Комендация* — право кардиналов пользоваться доходами монастырей (хотя бы иностранных), оставаясь в Риме.

§ 229.

Эрнгольд. В этом я не вижу милосердия, но корыстолюбие и нетерпимый обман.

Гуттен. То же вижу и я.

Эрнгольд. Так что же мир терпит это обморачивание? Почему тотчас не истребят тех, которые все терпят? Какое несчастие происходит от убеждения, что нельзя удалить больную голову для исцеления всего тела!

§ 230.

Гуттен. Нельзя удалить папу, каким бы образом ни захотел выполнить это мир, благодаря постановлениям декретов и канонического права, которые легко отражают всякое нападение на папу, даже собор.

Эрнгольд. Несчастное положение христиан, если они полагают, что не следует ничего предпринимать и не следует бороться против столь многих и столь значительных непристойностей! Но я надеюсь, что всеблагий и всемогущий Христос изменит образ мыслей людей, так что они совершенно истребят и уничтожат сперва эти декреты, а затем самих составителей и изобретателей декретов, кописто в и нотариусов, князей римской церкви.

§ 231.

Гуттен. А будет ли отнято также и то, что дал Константин?[5]

Эрнгольд. А что он дал?

Гуттен. Во-первых, телохранителей, лошадей, короны из чистого золота, чепраки, колесницы, шарфы, пурпур мантии, диадемы, застежки и тому подобное, затем царство, города и империю.

Эрнгольд. Эта старая басня не кажется мне правдоподобной. Поэтому я полагаю, если даже у римлян и есть все это, то все-таки следует уничтожить это вместе с остальным, а самого папу с кардиналами привести к древней умеренности и невинности и, как говорится, к старым яслям.

Гуттен. Однако они еще ничего подобного не опасаются, и нечто придает им особую уверенность.

Эрнгольд. Что именно?

§ 232.

Гуттен. В Риме хорошо знают о существовании трех вещей: силе римлян, хитрости итальянцев и лености немцев...

МАРТИН ЛЮТЕР

Мартин Лютер (Martin Luther, 1483—1546) — виднейший деятель немецкой церковной реформации XVI в., профессор теологии Виттенбергского университета. По происхождению — сын рудокопа. С историей литературы Лютер связан главным образом своим переводом Библии (оконч. в 1522 г., переработка перевода при участии Меланхтона и др. — в 1541 г.), который оказал огромное влияние на развитие немецкого литературного языка. Выдающуюся роль в реформационном движении сыграли его евангелические песни, являющиеся классическими памятниками названного жанра. Перу Лютера принадлежит также сборник басен («Etliche Fabeln aus Esopo», 1530 г.) и ряд стихотворений. «Лютер вычистил не только авгиевы конюшни церкви, — писал о нем Ф. Энгельс, — но и конюшни немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того пропитанного чувством добеды хорала, который стал марсельезой XVI в.» («Диалектика природы»).

Ниже мы печатаем одну из басен Лютера и извлечения из «Застольных бесед» (Tischreden oder Colloquia), — сборника высказываний Лютера, записанных его друзьями, изданного в 1566 г. «Застольные беседы» представляют определенный литературный интерес, поскольку включают в себя ряд шванков, парабол и изречений, пронизанных ярким комизмом, обычно сатирически заостренных.

О ЛЬВЕ И ОСЛЕ

Новая басня Эзопова,
недавно в немецком переводе обретенная

(1528 г.)

Старый Лев занедужил и потребовал к себе всех зверей на последний свой имперский собор, дабы наследника, молодого Льва, вместо себя поставить на царство. Звери послушно явились, приняли предсмертную волю Старого Льва. Когда же Старый Лев скончался и был, как подобает королю, с пышностью похоронен, тут выступили некие коварные, лживые советники старого короля, коим старый король много добра сделал и довел до высоких почестей. Они-то и возжаждали для себя раздольной жизни, чтобы по своей воле распоряжаться в стране, и не хотели себе в короли никакого льва, а говорили так: «Nolumus hunc regnare super nos» [а], всячески доказывали, какое жестокое было при доселешних львах управление, как они невинных зверей терзали и пожирали, так что никто от них не мог быть в безопасности, словом (как в таких

[а] «Не желаем, чтобы он царствовал над нами».

случаях обычно бывает), обо всем хорошем умалчивали и одно только зло говорили о владыках.

От этих речей пошел в государстве большой ропот среди всех чинов и званий: одни хотели Молодого Льва сохранить, но большинство не прочь было попытать счастье на ком-нибудь другом. Под конец созвали их всех, чтобы сделать выбор по голосу большинства и тем дело уладить. Тут лживые, коварные советники выбрали Лиса витией, дабы он повел речь перед земскими чинами, и дали ему хитрую инструкцию и наставление — предложить в короли Осла. Спервоначала самому Лису смешно показалось, как это, мол, Осел будет королем; но, выслушав их рассуждения о том, как привольно они при Осле заживут, как будут им помыкать, вошел плут во вкус и стал ревностно помогать и обмозговал дело, чтобы как следует его провести.

Вот выступил он перед лицом земских чинов, прокашлялся и потребовал молчания, а затем заговорил о нуждах и невзгодах государства, но всю речь клонил к тому, будто во всем виноваты короли, и до того очернил львиную породу, что громада сразу от них отпала. Но так как возникло большое несогласие насчет того, какого же зверя выбрать, то Лис вторично приказал молчать и слушать, заговорил об ослином племени и почитай что целый час убил, расхваливая Осла: Осел-де не гордец и не утеснитель, работу несет большую, сам терпелив и смиренномудр, других зверей с грязью не мешает, корму немного требует, нравом не жесток, зверей не пожирает, малыми почестями и налогами удовольствуется. Чуть только Лис заметил, что такие речи пришлись черни по шерстке и очень понравились, как выпустил самый главный заряд и сказал:

— О том, господа хорошие, надлежит нам поразмыслить, не предназначен ли он к сему самим богом и не для сего ли создан, ибо по тому уже можете вы об этом судить, что он на спине своей постоянно носит крест.

Не успел Лис упомянуть про крест, как примкнули к нему все звери и громким криком выразили согласие:

— Вот теперь обрели мы настоящего короля, который и мирскими и духовными делами управлять может!

И стал тут каждый находить в Осле что-нибудь похвальное. Один говорит: уши у него длинные; годятся исповедь слушать. Другой добавляет: голос у него громок; как раз хорош, чтоб в церкви проповедывать и на клиросе петь. И не было в Осле ни одной черточки, не заслуживавшей королевских либо папских почестей. Но превыше всех его качеств сиял крест наспинный. Так-то избрали Осла в короли над скотами.

Бедный Молодой Лев побрел бесприютным и печальным, как изгнанный сирота, из своей вотчины, пока некие старые, верные, благочестивые советники, которым вся эта возня претила, над ним сжалились и стали между собой поговаривать, какое, мол, это злодейское непотребство оставлять молодого короля в столь

позорном изгнании: его-де родитель не того от них заслужил. И не должно-де в стране все твориться по прихоти Лиса и его товарищей, у коих на уме одно своеволие, а не честь державы. Они набрались мужества и созвали земские чины для некоего важного сообщения. И выступил их старшой — то был маститый Пес, верный советник Старого Льва, — и прекрасною речью разъяснил, что избрание Осла было уж чересчур торопливо и опрометчиво, а Молодому Льву учинена великая кривда; не все, мол, золото, что блестит. А Осел, хоть и носит крест на спине, легко может оказаться одной видимостью, за коей ничего не таится, поелику свет всегда обманывается приятною внешностью и пустым блеском. Лев доблесть свою доказал многими деяниями; Осел же деяниями ничего не доказал. А посему да будут они осмотрительны, как бы им не избрать такого короля, который окажется всего только резным деревянным истуканом, на коем ведь тоже может быть изображен крест. А ежели вспыхнет война, они не будут знать, на что им голый крест, за которым ничего иного нет.

Такою рассудительной, смелою речью Пес всех тронул. Лису же и коварным советчикам стало страшно, и начали они утверждать, что решение собора должно оставаться в силе. Однакоже вся громада была смущена тем, что Осел ничем себя не проявил на деле; но избрания своего отменить не решались. Наконец, так как Пес сильно настаивал на подвигах и на обманчивости креста, все по его предложению сошлись на том, что Осел со Львом должны состязаться за обладание престолом. Кто победит, тому и быть королем. Иначе уж им теперь поступить было нельзя, потому что избрание состоялось на имперском соборе. Тут Молодой Лев опять окрылился бодростью, а все верноподданные — великой надеждой. Лис же и товарищи его повесили хвосты: не чаяли они от нового своего короля рыцарского боя, разве что состязаться будут в ветропускании или в пожирании терновника. Назначили день поединка, и все звери сошлись на то место. Лис крепко стоял за Осла, Пес — за Льва.

Осел предоставил Льву выбор поединка. Лев сказал:

— Ладно! Кто перепрыгнет через этот ручей, не замочивши ни одной ноги, тот выиграл.

Ручей же был широк. Лев разбежался, перескочил, словно птица, перепорхнул. Осел с Лисом подумали:

— Ладно! Мы и допреж того не были королями. Либо пан, либо пропал.

Должен был он прыгнуть и прыгнул — и бултых прямо в ручей, словно колода грохнулась. Тут Лев запрыгал на берегу и сказал:

— Сдается мне, нога-то замочена!

Но подумайте только, что делает счастье и лукавство! У Осла под водой запуталась и застряла в ухе маленькая рыбка. Когда же Осел вылез из ручья и звери вдоволь насмеялись над его прыжком, видит Лис, как Осел вытряхивает рыбу из уха. Тут он заговорил и молвил:

Молчите и слушайте! Где они теперь те, что презирали крест за то, что он никакими делами себя не проявляет? Государь мой, Осел, говорит, что и он собирался прыгнуть через ручей; но только для него это было бы слабым способом доказать могущество своего креста, раз Льву и прочим зверям и без креста это удается; он же увидал на лету в ручейке рыбку, прыгнул за ней; и дабы чудотворность его креста паче воссияла, не пожелал словить ее ни мордой, ни копытом, а одними только ушами. Пусть-ка Лев такое совершит и да будет затем государем. Я же утверждаю, что он даже пастью и всеми четырьмя лапами не изловит рыбы, пусть даже шажком за ней пойдет, а не то что прыгнет.

Такой болтовней Лис опять произвел смуту, и крест едва не победил. Этой его удачей Пес был весьма раздосадован, а наипаче тем, что коварный Лис своими уловками так потешается над народом; начал он лаять, что все это вышло ненароком и чуда, мол, тут никакого нет.

Но дабы от этой перебранки Лиса и Пса не поднялся мятеж, рассудили звери за благо, что Лев и Осел одни пойдут на некое место и там сразятся.

Вот отправились они в лес под защитой и покровительством имперского мира.

— Посмотрим, — сказал Лев, — кто поймает проворнейшего зверя.

И побежал в лес и охотился до тех пор, пока не изловил зайца. Ленивый Осел подумал: «Этак мне престол слишком дорого обойдется: никакого покоя не будет». Ложится он тут же на солнышке и от сильной жары язык высунул. Откуда ни возьмись ворон, и думает, что это падаль, и садится ему на губу и собирается налакомиться. Тут Осел — хап! и словил ворона. Когда же Лев весело прибежал со своим зайцем, увидал он ворона в ослиной пасти и сразу перетрусил. Игру он проиграл, и самого уж его жуть берет от ослиного креста. Однакоже жаль ему было отказаться от престола, и он сказал:

— Голубчик-Осел! Надо еще раз схватиться для ровного счета: бог троицу любит!

Осел наполовину из страха (потому что он был наедине со Львом) на то согласился. Лев сказал:

— Там за горой стоит мельница. Кто первый добежит, тот и выиграл. Ты как пойдешь: низом или горой?

Осел отвечал:

— Беги ты через гору.

Лев, ради последнего состязания, пустился бежать, что было мочи. Осел остался на месте и думал про себя: «Все равно меня насмех подымут, а бегаючи, я только ноги обобью. Вижу уж я, что Лев не уступит мне своей чести; так нечего и трудиться задаром».

Лев же, перемахнув через гору, видит — около мельницы Осел стоит.

— Ого! — говорит, — не чорт ли тебя сюда притащил? А ну-ка, еще раз сбегаем на старое место.

Прибежавши обратно, снова видит Осла.

— А ну же, в третий раз, айда к мельнице!

И в третий раз видит стоящего Осла; и вынужден он уступить Ослу победу и признать, что с крестом шутки плохи.

Так-то остался Осел королем, а род его и поныне властно государит в мире над всеми скотами.

Из «ЗАСТОЛЬНЫХ БЕСЕД»

ОБ ОБМАНУТОМ ПРОДАВЦЕ ИНДУЛЬГЕНЦИЙ

В некое место явился монах, говоривший, что он может посредством своей святости и индульгенций, которые ему вручил святой отец — папа, освобождать души из чистилища. Тогда пришел к нему ландскнехт и молвил: «Отче, если бы я точно знал, что души моих родителей и друзей будут спасены, то я бы охотно отдал вам два гульдена, которые у меня еще есть». Монах его спросил: «А что за человек был твой отец?» Ландскнехт сказал: «Это был благочестивый человек». И молвил на это монах: «Тогда он не в аду». И далее спросил: «Ну, а творит ли он чудеса?» «Нет», — сказал ландскнехт. И молвил монах: «Тогда он в чистилище». И воин дал ему два бацена[a] и тем спас своего отца. Вслед за этим спросил он о своей матери, не может ли и она быть спасена. Монах так же, как об отце, начал расспрашивать его и о матери, что за женщина была она, и решил, что она в чистилище. И снова дал ему воин один бацен. И так за четырнадцать баценов одного за другим извлек он из чистилища четырнадцать душ своих друзей. Тогда он сказал: «Отче, а могу ль я быть уверен, что все они спасены и вкушают блаженство?» «Да, — молвил монах, — клянусь тебе, что они приобрели вечное блаженство». «Так! — сказал ландскнехт, — кстати, отче, вы ведь с особой охотой берете золото, так отдайте мне мои четырнадцать баценов, а я дам взамен вам гульден». Когда же продавец индульгенций вручил ему деньги, взял их ландскнехт и молвил: «Души теперь на небе и уж никогда не покинут его, а мне денежки нужней, чем вам, отче!» И пошел своей дорогой.

ЛОЖЬ

Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли она или лежит в покое; лишь когда она мертва, она пряма и непритворна.

[a] *Бацен* — старинная немецкая и швейцарская монета, равная 16 пфеннигам.

ПОЭЗИЯ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ

Великая крестьянская война 1525 г. наложила глубокую печать на развитие немецкой народной поэзии XVI в. Уже с начала XVI в. начали появляться рифмованные и прозаические листовки, связанные с мятежными выступлениями крестьянства (например движение «Бедного Конрада» 1514 г. и др.). Число подобных листовок сильно возрастает в период Великой крестьянской войны 1525 г., завершающейся героической эпопеей Мюнстерской коммуны. В среде анабаптистов (перекрещенцев) складываются духовные песни, отражающие мятежный пафос сторонников Томаса Мюнцера. Новое революционное содержание утверждается и в собственно народной песне, живо откликающейся на бурные события того времени.

До нас, однако, дошли лишь немногочисленные памятники этого революционного фольклора. Ниже мы печатаем три песни из эпохи Великой крестьянской войны: две песни о рыцарях-разбойниках, из которых одна сочинена самими рыцарями, а другая представляет собой ответную песнь восставших крестьян. Третья песнь посвящена падению Мюльгаузена — вольного имперского города, главного центра революционного движения в Тюрингии. В организации Мюльгаузенской революционной общины деятельное участие принимал Томас Мюнцер. Восстание в городе вспыхнуло 17 марта 1525 г., 19 мая началась осада города объединенными княжескими войсками (12 мая Т. Мюнцер покинул город), 25 мая Мюльгаузен сдался князьям. Последние казнили ряд активных участников восстания, наложили на город контрибуцию и лишили его былой самостоятельности. Приводимая песнь является одним из двух дошедших до нас памятников народной поэзии, отображающих события, связанные с историей Мюльгаузенского восстания, вдохновлявшегося Т. Мюнцером.

Восставшие крестьяне (из листовки времен Великой крестьянской войны 1525 г.)

В «Хрестоматии по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время», под ред. В. Волгина, Гиз, 1929 г., приводится стихотворный перевод одной листовки, связанной с движением «Бедного Конрада».

1. ПЕСНЯ РЫЦАРЕЙ-РАЗБОЙНИКОВ — ИЗ ВОЛЬНИЦЫ ШЕНКЕНБАХА

1

Тебе воздать хваленья,
Пречистая, спешим.
Мария! Все моленья
Несем к стопам твоим!
На конях наши роты
Сидят, полны заботы;
Щадить нам нет охоты,
Лишь ты, христова мать,
Не устаешь внимать.

2

Свят Юрий благородный,
Хорунжим будь у нас!
Дай нам денек погодный,
Даруй счастливый час,
Чтоб мы не оплошали,
Крестьян в силки забрали,
Что нас взнуздать мечтали,
Не им в дворянстве быть!
Им лиса не словить.

3

Купцы с дворянской спесью
Сроднились, мнят, вполне.
Так грянем по полесью,
Мы на борзом коне.
Почешем ихни спины!
Из темных нор дубиной,
Зажженной хворостиной
Начнем зверье травить,
Чтоб ихню спесь посбить.

4

Да знает каждый рыцарь
Наш орденский статут;
Нам от нужды не скрыться,
Нам яств не нанесут,
Нас голод мучил с детства.
Но есть другое средство:
Сорвать с купца наследство,
Все, чем нажился плут.
Пускай себе ревут!

5

Ну, как себе на пищу
Доходы соберу?
Но эту дичь мы сыщем
Залетную в бору:
Франконцев с их сумою,
Что, не готовясь к бою,
Сидели за стеною.
Вот эта дичь — по мне,
В глухом бору — вдвойне.

6

Как птицу мы подымем,
Так не устанем гнать.
Со всех сторон нахлынем
Мы, рыцарская рать.
Пошлем ребят дозором
По рощам, косогорам.
Того прославим хором,
Кто вечный даст покой
Певунье городской [а].

7

Рыбачить мы умеем
И на сухой земле.
Мы ветерочком веем
Вдоль рощи. На седле
Не будем мы гнусавить:
«Как одежонку справить?»
Иль не вподъем заставить
Платить того, кто в лес
С тугой сумой полез?

8

В Франконии нам любо
Ни год, ни два сновать.
Крестьяне точат зубы
На рыцарскую знать.
Господь от бед избави!
По полю, по дубраве
Дай волю всей ораве
Гулять, пока петлей
Не стянут ворот мой.

[а] Имеется в виду купечество.

Крестьянская жизнь (с немецкой гравюры XVI в.)

9

Дай покарать нам, боже,
Лихих бунтовщиков!
Иль молодец пригожий
Не стоит ста голов?
Их спесь навеки скрутим,
Смерть братьев не забудем.
В них страх такой пробудим,
Что с трепетом в сердцах
Поймут, кто Шенкенбах.

2. ОТВЕТНАЯ ПЕСНЯ КРЕСТЬЯН

1

Такой лихой печали,
Таких великих бед
Сыздетства не видали
Ни я, ни мой сосед.
И господа и слуги
На покаянье туги.
Живут по всей округе
Без бога, без узды,
Смирению чужды.

2

Не рыцарскому роду
Бить, грабить, жечь, пытать!
Торговцам нет проходу:
Всех тщатся обобрать.
Легко ль от бед укрыться?
Как лих в разбое рыцарь,
И в песне говорится,
Что лютая семья
Сложила про себя.

3

Свят Юрий, божий витязь,
Водитель ваших орд?
Эх, подлые, стыдитесь —
Над ним не властен чорт!
Свят Юрий вас оставит,
Сразит мечом, удавит,
Иль сам топор направит
В загривок гордый твой
На площади большой.

4

Вы пели о затраве
Охотничьей в лесу?
Не всякий час забаве,
Приходит смерть и псу.
Качнется в дреме вечной
Под балкой поперечной
Охотничек беспечный,
Что по лесу гулял,
Не заслужив похвал.

5

Хвалились вы заране
Ухлопать дичь в упор.
Эх, господа-дворяне,
Не крепок ваш дозор,
Не медлим мы с расправой
Сведем свой счет кровавый.
А суд не знает правый
Ни смердов, ни господ,
На плаху всех сведет.

6

Дозорных ваших любо
В темнице зреть, в цепях,
Под одежонкой грубой.
В тревоге и мольбах.
Иную песню птахи
Поют при виде плахи.
«О, сударь!—молят в страхе, —
Хоть мессу нам пропой
Душе на упокой».

7

Мы рассказать могли бы
Про муки, крики, плач;
Невинного на дыбы
С виновным взвил палач,
Так вор-разбойник губит
И тех, кого он любит;
Он жизнь под корень рубит
Супруги и детей.
А это мук больней.

8

Вы плутовством, нахрапом
Позорили свой род;
Нас звали «сиволапым»,
Брань чести не берет.
А вас — которых чтили
С младенчества не мы ли? —
Дворянства-то лишили.
В кого всадили клин,
Уж тот не дворянин.

9

Дворянству денег мало,
На то и господа!
А слугам-то пристало
За них платить всегда?
Иссякнут все колодцы,
А коли сердце бьется,
Садись на иноходца
Да мчись в шумливый бор,
А там виси, как вор.

10

Максимилиану славу
Мы, кесарю, поем
За твердую расправу
С сиятельным жульем.
Петля пришлася впору
И Гогенкранцу вору.
Колите песью свору,
Что кесаря хулит,
В них божий глас молчит!

ПЕСНЯ ОБ УСМИРЕНИИ МЮЛЬГАУЗЕНА

Хотите песенке внимать,
Что пелась про князей да знать,
Высокоблагородных
Теснителей народных?

Им христианскую-то кровь
Пивать за трапезой не вновь,
Им миловать не гоже.
Спаси нас, бедных, боже!

В четверг стряслась у нас беда.
Сошлись князья и господа
Под Шлотгейм всей оравой,
Грозили нам расправой.

Как герцог Юрий [1] зол и лют,
Расскажет эббелейдский люд;
К князьям он едет в поле,
Чтоб благ стяжать поболе.

Мюльгаузен — крепость хоть куда,
Но взяли город господа,
В том доктор был виною
С багряной бородою.

Ты, доктор, признанный злодей,
Ты худо сделал, ей же ей!
Но мы тебя отвадим,
На кол тебя посадим.

И Генрих Баумгард был из тех,
Кого не устрашает грех,
Он знал, что доктор хочет,
О чем злодей хлопочет.

Их плутни Кенемунд открыл.
Зато и голову сложил
В угоду барам злобным
У нас, на месте лобном.

Был Пфейфер [2] честен и учен,
Славней не сыщется имен.
В пути его схватили
Навеки уложили.

Так нам Мюльгаузенский совет
Не мало понаделал бед,
Из злобы и из мести
Нас бьют на лобном месте.

И даже тех, кому князья
Свободу дали, видел я,
Прислужники хватали
И насмерть убивали.

Людей не милуют они.
Господь, теснителей казни!
Пусть черти в хворостины
Их примут в час кончины.
Нам Ламгарт, воевода-плут,
Сказал: на Попперекский пруд
Идите всей толпою
С повинной головою.

И жены, бедные гурьбой,
Ведомы докторской женой,
Пошли молить злодеев...
Спусти на ведьму змеев!

Кто эту песенку сложил,
Тот на земле недолго жил.
Он выпил злую чашу.
Ты песню слышал нашу?

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Наряду с народными песнями и печатными стихотворениями политического и публицистического характера в Германии XV и XVI вв. огромного подъема достигла народная песенная лирика. Уже Лимбургская хроника (XIV в.) сообщает о песнях, распеваемых на улицах и постоялых дворах. В первую же половину XVI в. немецкая народная лирика достигает своего высшего расцвета. Земплепашец и пастух, рудокоп и охотник, школяр и ландскнехт, подмастерье и бродяга звонко пели о своих радостях и горестях, о сказаниях седой старины, о современных событиях или о событиях недавнего прошлого, почему либо поразивших сознание народа. Особенно многочисленны дошедшие до нас любовные песни, включающие в себя страннические песни, песни и романсы о верности и неверности, о разлуке и расставании, о свидании после разлуки и о вечной разлуке, приветствия возлюбленной и сетования по поводу смерти дорогого существа и пр. Особый цикл образуют застольные песни, песни, рисующие быт и воззрения отдельных сословий и профессий (например песни ландскнехтов), а также шуточные и сатирические песни. К исходу XVI в., отчасти благодаря стараниям идеологов реформации, а также в связи с общим состоянием немецкой культуры, народная лирика Германии скудеет, утрачивая свою былую силу и яркость. Приводимые нами песни восходят в основном к редакциям XVI в., встречаемым либо на летучих листках, либо в сборниках указанного столетия.

ПЕСНЬ О ГРАФЕ ФАЛЬКЕНШТЕЙН

Чрез поле скачет граф Фалькенштейн,
А солнце только что село;
У края дороги вдруг видит он,
Стоит девица вся в белом.

«Куда, красавица, держишь путь?
Как тут очутилась одна ты?
Не хочешь ли ночь провести у меня,
В моей постели богатой?»

«Нет, с вами ехать я не хочу,
При том же я вас не знаю».
«Граф Фалькенштейн пред тобой; тебе
Я сам себя называю».

«Владыка Фалькенштейна вы,
Где в узах жених мой томится?
Я вас прошу, отпустите его,
Верните его из темницы».

«Он узник мой, и его сгною
Я в башне высокой и темной;
Она со всех сторон стеной
Обнесена огромной».

«Под этой высокой стеной стоять
Готова я дни и ночи,
Чтоб вместе с милым делить тоску,
Которая там его точит».

Вкруг башни ходит и ходит она,
«Все там сидишь ты, мой милый?
Я без тебя схожу с ума
И жажду только могилы».

Вкруг башни ходит и ходит она,
Ей нипочем непогода:
«Не жалуюсь я, хотя бы ночь
Была длиннее года.

О если б, как слуги графские, я
За поясом нож имела,
Я б вызвала этого графа на бой,
За милого билась бы смело».

«С девицей биться не стану я,
Позорить себя не желаю.
Бери же узника своего
И с ним убирайся из края».

«Нет, край не покину! Да разве же я
Кого-нибудь обокрала?
Я только то беру, что моим
С самого было начала».

ПРОЩАНИЕ МЕЛЬНИКА

На той горе высокой
Красуется дом золотой,
С балкона глядят в долину
Три девушки ранней порой.

Мария и Елизавета —
Двух старших сестер имена,
А третью назвать не могу я:
Мне жизни дороже она.

Под тою горой, в долине, —
Там мельницу гонит вода,
И все о любви лепечет
Веселых волн череда.

Но, ах, колесо сломалось,
Любви отлетели дни,
Любовникам надо расстаться,
Прощаются молча они.

Разлука, злая разлука,
Откуда ты в мир пришла?
Мое молодое сердце
Сожгла ты, сожгла до тла.

Печальную песенку эту
Несчастный мельник сложил,
Который рыцаря дочку
Себе на печаль полюбил.

МИЛЕЙШИЙ ДРУЖОК

Дружок мой в кафтан деревянный одет,
В подвале корчмы обитает;
Ему подобного в мире нет,
Мушкатом его называют.
Меня опьянял он всю ночь напролет,
И сейчас в голове все кругом идет.
Храни его в добром здравье господь!
Тебя познакомить хочу давно
С дружком несравненным этим:
Ведь он — превосходнейшее вино,
Веселящее всех на свете.
Знакомство с ним нам служит на прок,
Ведь он освежает крови поток.
Привет тебе, пьяных гроздий сок!

СТРАХ ПЕРЕД МОНАСТЫРЕМ

Ячмень я ем с отвращеньем,
С зарею вставать не люблю;
Меня в монахини прочат,
А я в монастырь не хочу.
Уже примеряли мне рясу,
На мне она словно висит.
Меня остригли коротко,
И сердце тоска томит.
Когда ложатся подруги
Приходится мне вставать,
Спешить приходится в церковь
К заутрене в колокол бить.
Пошли, всевышний, много
Несчастий всяких и мук
Тому, кто меня, молодую,
Под черный прячет клобук.

РОДНИК ЖИЗНИ

У изголовья любимой
Златая скрыня стоит;
Мое влюбленное сердце
Та скрыня златая хранит.
Где ключ от нее, не знаю,
Его бы мне в Рейн метнуть!
Еще бы лучше склониться
К моей любимой на грудь!
У ног возлюбленной тихо
Журчит студеный родник,
И тот никогда не стареет,
Кто к влаге его приник.
Я пил из него не мало,
Глоткам потерял я счет,
Но, ах, целовать мне слаще
Моей возлюбленной рот.
В саду у моей любимой
Так много свежих цветов,
И ей послужить усердно
От всей души я готов.
Гляди, распустились розы,
Сорвать их пришла пора.
Любимая станет моею,
Коль будет судьбина добра.
В саду у любимой к небу
Возносятся три деревца:
Одно — все в цвету мускатном,
Гвоздик на другом без конца.
Как сладок запах мускатный,
Прелестен гвоздики вид!
Кто милого друга имеет,
Тот бодро на жизнь глядит.
Пропели песенку эту,
Черед соблюдая свой,
Из Фрейбурга два рудокопа
В харчевне вечерней порой.
Пропели ее отлично
За доброю чаркой вина,
И в это время сидела
Хозяйская дочь у окна.

НАРОДНАЯ КНИГА О ТИЛЛЕ ЭЙЛЕНШПИГЕЛЕ

Старейший из дошедших до нас вариантов (на верхненемецком языке) «народной книги» о похождениях лукавого бродяги Тилля Эйленшпигеля, популярной в XVI в., восходит к 1519 г. (страсбургское издание, озаглавленное «Ein Kurtzweilig lesen von Til Eulenspiegel», etc.).

Единственный сохранившийся экземпляр этого издания хранится в б. княжеской библиотеке в Гоше. До этого на верхненемецком языке книга появилась в 1515 г. Древнейшая редакция книги (не сохранившаяся) впервые увидела свет в конце XV в. (на нижненемецком языке).

Тилль Эйленшпигель, герой «народной книги», — лицо историческое. По имеющимся сведениям, он родился в Кнейтлингене (Брауншвейг) в 1350 г. В Мёльне (Шлезвиг) уже в XVI в. как местную достопримечательность показывали его надгробие. Ведя жизнь бродяги, Эйленшпигель в различных частях Германии выкидывал свои шутовские проделки. Постепенно биография Эйленшпигеля начала приобретать легендарный характер. Его образ становится собирательным. К нему приурочивают эпизоды, почерпнутые из различных старинных немецких и иноземных источников (шванки о попе Амисе и попе Каленберге, анекдоты о шуте Генелле и др.). Первый печатный свод шванков об Эйленшпигеле, как указано выше, появился в конце XV в. Образ плутоватого бродяги, крестьянского сына Тилля Эйленшпигеля, оставляющего в дураках всех, с кем ему приходится сталкиваться, прочно вошел в историю европейской литературы (Шарль де Костер и др.). В XVI в. «народная книга» пользовалась огромным успехом. В Германии она выдержала множество изданий, около 10 изданий вышло на фламандском и голландском языках, книгу переводили на французский, английский, датский, польский и даже латинский языки (изд. 1558 и 1572 гг.).

В конце XVII в. она была переведена с польского на русский язык под названием: «Похождение ожившего нового увеселительного и великого в делах любовных плута и шута совестдрала, большого носа» (1781 г., 2-е изд. 1793 г., 3-е — 1798 г.).

ГЛАВА 2

повествующая о том, как все крестьяне и крестьянки жаловались на молодого Эйленшпигеля и говорили, что он озорник и плут, и как он ехал на лошади позади своего отца и молча показывал народу свой зад

Когда Эйленшпигель подрос настолько, что мог свободно стоять и ходить, он много играл с маленькими детьми, так как был еще послушным ребенком. Подобно обезьяне, скакал он средь подушек и травы, пока ему не исполнилось трех лет. Тогда начал заниматься он всякого рода проделками, так что все соседи обычно жаловались на него отцу, говоря ему, что его сын Тилль Эйленшпигель — ужасный озорник. Тогда отец пришел к сыну и сказал ему: «Как это ты так ведешь

себя, что все наши соседи называют тебя озорником?» Эйленшпигель отвечал: «Дорогой отец, я никого не трогаю, это я тебе могу хоть тотчас доказать. Пойди сядь на лошадь, а я сяду позади тебя и буду молча за тобой ехать по улицам, и все же будут они на меня клеветать и говорить, что им придет на ум, вот увидишь!» Отец так и сделал, посадил его за собой на лошадь.

Тогда Эйленшпигель оголил зад, показал его всем людям и затем вновь сел на место. И стали на него указывать соседи и соседки и говорить: «Тьфу, что это за безобразник!» И сказал Эйленшпигель: «Послушай, отец, ты же видишь, что я молчу и никого не задираю, и все же говорят люди, что я безобразник». Тогда решил отец посадить Эйленшпигеля, свое любимое чадо, впереди себя на лошадь. И Эйленшпигель сидел молча, но он разинул рот, скалил на мужиков зубы и высовывал язык. И люди сбегались и говорили: «Глядите, что это за озорной мальчишка!» И молвил отец: «Ты, наверное, родился в недобрый час, ты сидишь спокойно и молчишь, никого не задираешь, и все же говорят люди, что ты озорник».

ГЛАВА 56

о том, как Эйленшпигель нанялся к портному и шил под кадкой

Явился однажды Эйленшпигель в Берлин, где и нанялся работником к портному. И вот, когда он сидел в мастерской, молвил мастер: «Работник, коли ты намерен шить, так шей ладно и шей так, чтобы не было видно». Эйленшпигель сказал «хорошо» и, взяв иголку и одежду, забрался под кадку и, прострочив у себя на коленях шов, принялся его зашивать. Портной постоял, поглядел на него и сказал: «Что это ты намереваешься делать? Это диковинное шитье». Эйленшпигель сказал: «Мастер, вы ведь сказали, чтобы я шил, чтоб не было видно: ну вот, так никто и не видит». Портной молвил: «Нет, милейший, перестань и не шей больше подобным образом, а начни шить, чтобы это можно было видеть». Так продолжалось день или три, и вот однажды работали они до самой ночи. Портной устал и решил отправиться спать. Лежал там серый крестьянский кафтан, наполовину несшитый, он его кинул Эйленшпигелю и сказал: «Послушай, приведи-ка в надлежащий вид волка, а потом также отправляйся спать». Эйленшпигель сказал: «Хорошо, идите и будьте спокойны, я все как следует исполню». Мастер пошел спать, не ожидая ничего дурного. Эйленшпигель взял кафтан, разрезал его и смастерил из него голову наподобие волчьей, затем туловище и ноги, напялил все это на палки, так что получилась фигура волка, и в свой черед отправился спать.

Утром мастер встал и разбудил Эйленшпигеля и увидел этого волка, стоявшим в комнате. Удивился портной, но тотчас же смекнул, чьих это рук дело. Между тем явился Эйленшпигель. И сказал портной: «Что же это ты, чорт возьми, смастерил из кафтана?»

Тот ответил: «Волка, как вы мне приказали». Портной сказал: «Но подобного волка я не имел в виду, я разумел серый крестьянский кафтан, его я назвал волком». Эйленшпигель сказал: «Дорогой мастер, я этого не знал. Знай я, что вы имеете в виду, я бы лучше сделал кафтан, чем волка». Ну, раз дело было сделано, пришлось портному примириться на этом.

Тигульный лист старейшего издания «Тилля Эйленшпигеля»

Но вот случилось, что по прошествии примерно четырех дней почувствовал мастер вечером такую усталость, что охотно бы отправился спать раньше обыкновенного; однако ему казалось, что еще слишком рано, чтобы также и работник завалился в постель. И лежал там кафтан, который был почти готов, нехватало только рукавов. Портной взял кафтан и невшитые рукава, кинул их Эйленшпигелю и сказал: «Прикинь рукава к кафтану и иди потом спать». Эйленшпигель сказал: «Хорошо». Мастер отправился спать, а Эйленшпигель повесил кафтан на крючок, зажег две свечи, с каждого бока кафтана по свече, и взял один рукав и кинул его в кафтан и, зайдя с другого бока, кинул в него также и другой рукав. А когда обе свечи догорели, зажег он пару новых и всю ночь напролет до самого утра все кидал рукава в кафтан. Но вот поднялся мастер и пришел в мастерскую, но Эйленшпигель даже не обернулся в его сторону, а все продолжал кидать перед собой рукава. Портной постоял, посмотрел на это и сказал: «Чорт возьми, что это за забава?» Эйленшпигель отвечал вполне серьезно: «Для меня это вовсе не забава. Всю эту ночь простоял я на ногах и все кидал эти дурацкие рукава в этот кафтан, а они никак не желают к нему пристать. Было бы куда лучше, если бы вы послали меня спать, вместо того чтоб приказать их прикидывать, зная хорошо, что это все равно потерянный труд». Портной сказал: «Разве это моя вина? Разве я знал, что ты так поймешь мои слова? Я имел в виду совсем дру-

гое, я имел в виду, чтобы ты пришил рукава к кафтану». Тогда сказал Эйленшпигель: «Пусть чорт отблагодарит вас за это! Когда у вас в обычае все называть навыворот, как же можно во всем этом разобраться? Кабы я знал, чего вы от меня хотите, я бы пришил рукава как следует да еще поспал бы часок-другой. Ну, а теперь вы можете сидеть и шить целый день, я же намерен пойти, наконец, прилечь и выспаться». Мастер сказал: «Вот еще! я вовсе не желаю тебя содержать за то, что ты будешь дрыхнуть». И возгорелась между ними, таким образом, ссора, и во время ссоры портной в сердцах потребовал от Эйленшпигеля, чтобы он заплатил ему за свечи, которые тот сжег накануне. В ответ на это собрал Эйленшпигель поспешно свои пожитки и отправился в путь-дорогу.

НАРОДНАЯ КНИГА О ДОКТОРЕ ИОГАННЕ ФАУСТЕ, ЗНАМЕНИТОМ ВОЛШЕБНИКЕ И ЧЕРНОКНИЖНИКЕ

Так называемая «Народная книга» о д-ре Фаусте, вышедшая в Германии в 1587 г. под заглавием «Historia von Dr. Johann Fausten, dem Weitbeschreyten Zauberer und Schwartzkünstler», etc. («История о д-ре Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике»), является первой литературной обработкой легендарной биографии д-ра Иоганна Фауста, жившего в первой половине XVI в. в Германии. Данные о жизни исторического Фауста крайне скудны. Известно, однако, что он родился, повидимому, около 1480 г. в гор. Книтлингене; в 1508 г., при посредстве Франца фон-Зиккингена, получил место учителя в Крейцнахе, но должен был бежать оттуда ввиду преследований своих сограждан. В качестве чернокнижника и астролога он разъезжал по Европе. С 1535 г. след его теряется. Он был хвастун и шарлатан, выдавал себя за великого ученого, похвалялся, что может сотворить все чудеса Иисуса Христа и т. п. В эпоху столкновения средневековья с новым временем, когда еще была жива вера в волшебство и чудесное, а с другой стороны, выдающиеся победы одерживала раскрепощенная от схоластических оков наука, многим рисовавшаяся плодом союза дерзновенного ума с нечистой силой, фигура д-ра Фауста быстро приобрела легендарные очертания и широкую популярность. В «Народной книге», принадлежащей, повидимому, перу лютеранского клирика, д-р Фауст изображен дерзким нечестивцем, вступившим в союз с дьяволом ради приобретения великого знания и силы. У него пытливый, ищущий ум, он исполнен жажды славы, чувственных удовольствий. Заключительная глава книги повествует о «страшном и ужасающем конце» Фауста: бесы разрывают его на части, и душа его идет в ад. Характерно при этом, что Фаусту приданы черты гуманиста (особенно ясно проступающие в расширенном издании 1589 г.). «Народной книгой» о д-ре Фаусте воспользовался английский драматург XVI в. Кристофер Марло, создавший первую драматическую обработку легенды. В XVIII в. легендой о Фаусте воспользовался ряд немецких писателей, главным образом деятелей периода «Бури и натиска» (Лессинг, Клингер, Мюллер, Гете). В XIX в. тему о Фаусте разрабатывали романтики (Ленау и др.). В наше время А. В. Луначарский сделал Фауста героем своей драмы «Фауст и город».

О том, как д-р Фауст спускался в преисподнюю

Прошло уже семь лет со дня заключения договора между чортом и д-ром Фаустом, начался восьмой год, и ближе еще подвинулся Фауст к положенному пределу, и он бо́льшую часть своего времени продолжал уделять исследованиям, учению, расспросам и спорам. Между тем вновь начала ему мерещиться и наводить на него страх преисподняя, и поэтому он потребовал от своего слуги, беса

Мефистофеля, чтобы тот потребовал и вызвал к нему своих повелителей Велиала или Люцифера. Однако они послали ему беса, который назвался Вельзевулом и который спросил Фауста, каково его желание или требование. Не может ли какой-нибудь демон ввести его в преисподнюю, а затем вывести оттуда, чтобы он мог увидеть и познать ее свойства, основания, проявления, а также субстанцию? «Хорошо, — отвечал Вельзевул, — в полночь я явлюсь и тебя возьму». И вот, когда настала ночь и воцарился мрак, явился Вельзевул, на спине у него был костяной стул, замкнутый со всех сторон, в него сел д-р Фауст и отправился в путь. А теперь послушайте, как ослепил чорт Фауста, обморочил его настолько, что тот и впрямь вообразил, что побывал в преисподней. Он взлетел с ним на воздух, и от этого Фауст задремал, как если бы он сидел в теплой воде или ванне. Вскоре после этого поднимается он на высокую гору, огромную, как остров, из которой вырывались сера, смола и огненные языки и с таким неистовством и грохотом, что д-р Фауст от этого проснулся. Чортов гад ринулся в эту пропасть вместе с д-ром Фаустом. И хотя Фауста со всех сторон охватывало ужасное пламя, однако он не почувствовал ни жара, ни ожогов, но лишь ветерок, какой бывает в мае или весной; доносились до него также звуки различных инструментов, весьма нежные и приятные, все же, несмотря на яркое пламя, не мог он увидеть ни одного инструмента или понять, какого рода они были. При этом не мог он даже и спросить о том, что́ вокруг него происходит, так как было ему наперед запрещено бесом вести разговоры или задавать вопросы. Между тем к чортову гаду и Вельзевулу подскочили еще трое, схожие с ним видом. Когда д-р Фауст еще ниже спустился в пропасть, а трое упомянутых бесов летели впереди Вельзевула, повстречался там д-ру Фаусту огромный крылатый олень с могучими ветвистыми рогами, он вознамерился сбросить д-ра Фауста в бездну, чем его до крайности испугал. Однако трое впереди летевших гадов прогнали оленя. И вот,

Образы ада. Сцена из духовной драмы, игранной в Цюрихе в 1539 г. (с современной гравюры)

когда д-р Фауст еще ниже опустился в пропасть, он увидел, что со всех сторон окружен густым роем мерзких насекомых и змей. При этом змеи были непомерных размеров. Но ему на помощь явились крылатые медведи, они начали биться и сражаться со змеями, победили их, так что он благополучно миновал опасное место; но лишь только он опустился несколько глубже, увидел он гигантского крылатого быка, выходившего из каких-то старинных ворот или расселины; чудовище яростно и с ревом набросилось на д-ра Фауста и с такой силой толкнуло его стул, что стул перевернулся вместе с бесом и Фаустом. Д-р Фауст выпал из стула и стремглав полетел в бездну, громко крича и стеная, так как он не видел возле себя своего демона и решил, что пришел его смертный час. Однако не прошло много времени, как его на лету подхватила старая морщинистая обезьяна, она его удержала и спасла. Тем временем преисподнюю заволокло густым непроницаемым туманом, так что Фауст перестал что-либо видеть, как вдруг разверзлось облако, вышли из него два огромных дракона, подкатили они к ним колесницу, в которую старая обезьяна и посадила д-ра Фауста. Тут воцарился примерно на четверть часа густой мрак, так что д-р Фауст потерял из виду и колесницу и драконов и никак не мог разобраться во всем происходящем, между тем он все продолжал опускаться в бездну. Однако, как только рассеялся этот густой смрадный и мрачный туман, он вновь увидел своих коней и повозку. Но тут с высоты устремилось на д-ра Фауста такое множество огненных языков и молний, что не только д-р Фауст, но даже самый закаленный храбрец пришел бы в содрогание и ужас; в это время д-р Фауст приблизился к широкому и бурному потоку, драконы вошли в него и начали вместе с Фаустом погружаться в его волны, но вместо воды охватила его со всех сторон нестерпимая жара и зной, волны же и течение с такой силой обрушивались на д-ра Фауста, что он вскоре лишился коней и повозки и начал стремительно падать на дно свирепой пучины, пока в своем падении он не достиг высокой и остроконечной расселины. Едва живой уселся он на ее краю, но тщетно смотрел он по сторонам, нигде никого не было видно либо слышно. Он все заглядывал в расселину, из недр которой струился ветерок, вокруг себя он видел только воду. «Что же ты теперь будешь делать, — подумал про себя д-р Фауст, — раз ты покинут адскими духами? или ты должен броситься в расселину, или погрузиться в воду, или погибнуть здесь на высоте». И напала на него ярость, и в безумном страхе ринулся он в огненную пропасть, восклицая: «Ну, что же, демоны, получайте заслуженную вами жертву, ее же подготовила для вас моя душа!» Но лишь только он очутился в расселине, как раздался такой ужасный шум и грохот, что сильно заколебались горы и скалы, и Фауст решил, что то, наверное, началась пальба из самых больших пушек. Когда он, наконец, достиг земли, увидел он множество осанистых мужей, императоров, королей, князей и

дворян, а также много тысяч латников, объятых пламенем. Неподалеку протекал студеный ручей, иные пили из него, тешились в нем и купались, иные, прозябнув, бежали от него погреться в пламя. Д-р Фауст вошел в пламя и попытался было схватить душу одного из грешников, и вот, когда ему казалось, что он уже крепко держит ее, она вдруг исчезла из его рук. Однако из-за жары он не мог дольше здесь оставаться, и когда он оглянулся, глядь, идет к нему вновь со стулом на спине его демон или Вельзевул, и он сел на стул и опять полетел ввысь. Ибо д-р Фауст не в силах был больше переносить гром, вихрь, туман, серу, дым, пламя, мороз и зной, особенно после того как он послушал вопли, жалобы, скрежет зубовный, поглядел на страдания и муки и т. п. Между тем отлучка д-ра Фауста продолжалась уже довольно долго, и его фамулус [а] ничего другого не мог предположить и подумать, как то, что его учитель, который так стремился увидеть преисподнюю, не выдержал зрелища адских ужасов и остался там на вечные времена. Но вот однажды ночью д-р Фауст возвратился к себе домой, и как он был спящим, так как все это время он проспал в стуле, таким и сбросил его бес на кровать. Когда же наступил день и д-р Фауст пробудился от сна и увидел дневной свет, почувствовал он себя так, будто некоторый срок просидел он в темной башне. Ибо с самого начала не видел он в преисподней ничего иного, как только потоки пламени да те образы, которые принимал огонь. Итак, лежа в постели, размышлял д-р Фауст о преисподней; и то казалось ему, что и впрямь побывал он в аду и обозрел его, то находило на него сомнение, и начинал он думать, что бес подшутил над ним, околдовав и обольстив его глаза миражем и призраками, как оно на самом деле и было, ибо он не разглядел по-настоящему преисподней; когда бы он увидел ее, он бы перестал желать ее и уж, наверное бы, думал, как ему избежать этого бедствия, ужаса и несказанной муки.

Эту историю, повествующую о том, что́ он в ослеплении увидел в преисподней, записал д-р Фауст собственноручно, и найдено было это писание после его смерти в рукописи, вложенной в книгу наряду с другими его произведениями.

О том, как д-р Фауст читал в Эрфурте о Гомере и как он своим слушателям показал и представил греческих героев [б]

Много лет провел д-р Фауст также в Эрфурте, читая лекции в местном университете, много проделок совершил он в этом городе,

[а] *Фамулус* (лат.) — в средние века ассистент при профессоре, обыкновенно из студентов, состоявший часто на личной службе у учителя.

[б] Впервые эта глава наряду с другими «эрфуртскими» эпизодами появилась в издании 1589. г., по тексту которого и сделан перевод приводимых глав «Народной книги» о Фаусте.

чему есть немалое количество свидетелей из числа людей, которые его хорошо знали, с ним вместе пили и ели и близко наблюдали его проказы. Читал он однажды своим слушателям о превосходном греческом поэте Гомере, который наряду с прочими событиями описывает также десятилетнюю войну под Троей, начатую греческими князьями из-за прекрасной Елены; при этом ему так часто приходилось упоминать о доблестных героях: Менелае, Ахилле, Гекторе, Приаме, Александре, Улиссе, Аяксе, Агамемноне и пр. и он так живо описывал их нравы и внешний их облик, что у студентов появилось непреодолимое желание воочию увидеть всех этих героев, о чем они неоднократно говорили своему учителю, прося его, если это в его силах, показать им греческих витязей. Фауст внял их просьбам и обещал во время следующей лекции представить им всех тех, кого они так жаждали увидеть, вследствие чего произошло чрезвычайное стечение и наплыв студентов. Ибо ведь юношество всегда более склонно и пристрастно к пустым забавам и скоморошеству, чем к подлинно достойным вещам. И вот, когда настал положенный час и д-р Фауст, приступив к лекции, заметил, что слушателей, благодаря его обещанию, набралось больше обыкновенного, он прервал лекцию, едва доведя ее до середины, и молвил: «Дорогие слушатели, так как вы очень хотите увидеть перед собой подлинные образы знаменитых греческих военачальников, о которых повествует наш поэт, а наряду с ним и другие писатели, то пусть сейчас и исполнится ваше желание», — и как только он произнес эти слова, вошли один за другим в лекторий упомянутые герои, каждый в своих некогда обычных доспехах; живо осмотревшись, принялись они потрясать головами, словно их обуял припадок ярости; шествие же замыкал чудовищный великан Полифем, у которого был лишь один глаз посредине лба и длинная косматая огненнорыжая борода; из его пасти еще торчал ляжками наружу какой-то человек, которого он пожрал, и был он так ужасен, что у зрителей волосы стали дыбом, и, охваченные страхом и дрожью, они едва не позабыли дороги к выходу. Фауст много смеялся над их испугом, а затем стал называть по имени каждого героя, повелевая им удалиться в том же порядке, в каком они явились на его зов, что и было ими исполнено; один только одноглазый циклоп, или Полифем, сделал вид, что он не намерен покинуть зала, прежде чем еще не сожрет одного или двух; это усугубило ужас студентов, но он еще более возрос, когда своим огромным, толстым, вылитым из сплошного железа копьем, схожим с гигантским веретеном, великан ударил об пол, так что весь коллегиум затрясся и зашатался. Но д-р Фауст сделал ему знак пальцем, и он также вышел за дверь. На этом закончил д-р Фауст свою лекцию, которой все студенты остались весьма довольны, однако в дальнейшем они уже больше никогда не просили его о вызове призраков, так как по опыту узнали, с какой опасностью сопряжены подобные забавы.

Приключение с пьяными мужиками

Однажды д-р Фауст пировал в трактире, в котором много столов было занято мужиками; они основательно нагрузились вином и подняли такой ужасающий галдеж, начали так оглушительно петь, хохотать и орать, что за общим ревом никто не мог разобрать даже своих собственных слов. Д-р Фауст сказал своему собутыльнику: «Примечайте, скоро я прекращу этот галдеж». И вот, когда пьяный рев еще усилился, напустил он на мужиков колдовство, и как были у них рты широко раскрыты, так и остались, и закрыть их не было никакой возможности. И наступила вдруг полная тишина, и один мужик глядел на другого, и никто не мог понять, что же это такое с ними приключилось, и принялись они один за другим выбираться за дверь, и как только кто-нибудь из них выходил на улицу, так тотчас же возвращался к нему дар слова, и он, обрадованный этим, немедля бежал к себе домой.

НАРОДНАЯ КНИГА О ШИЛЬДБЮРГЕРАХ

«Народная книга» о шильдбюргерах появилась в 1598 г. под занятным заглавием: «Шильдбюргеры, удивительные, причудливые, неслыханные и доселе неописанные похождения и деяния вышеупомянутых шильдбюргеров из Миснопотамии, что позади Утопии». К 1598 г. относится первая редакция этого произведения — «Книга болтунов» (Lalenbuch), — собрание забавных побасенок о проделках и причудах горожан, почерпнутых из разных сборников шванков XVI в. В издании 1598 г. эти побасенки были приурочены к жителям саксонского селения Шильды, так возникла «народная книга» о шильдбюргерах, стяжавшая себе широкую популярность. Ф. Энгельс замечает по поводу «Шильдбюргеров», «Тилля Эйленшпигеля» и других немецких комических «народных книг» XVI в.: «Это остроумие, эта естественность замысла и исполнения, добродушный юмор, сопровождающий всегда едкую насмешку, чтобы она не стала слишком злой, поразительная комичность положений — все это, по правде сказать, способно заткнуть за пояс значительную часть нашей литературы. У какого из современных авторов хватило бы выдумки, чтобы создать такую книгу, как «Шильдбюргеры»? (Собр. соч., т. II, стр. 30).

Шильдбюргеры происходили от одного из семи мудрецов и отличались первоначально большой мудростью. В силу этого их охотно призывали к себе князья и вельможи, весьма ценившие их совет и помощь в делах управления. Но на жизни родного селения их длительное отсутствие сказывалось самым губительным образом. Наконец, женщинам Шильды наскучило одиночество, и они решительно потребовали немедленного возвращения мужчин. Последние возвратились и, по совету старейших, решили искоренить в себе мудрость и превратиться в глупцов, чтобы никто уже больше не вызывал их к себе для помощи и совета и они могли бы безмятежно жить в своем родном селении. Так они и поступили, и вскоре глупость воцарилась в Шильде. Далее следует длинный ряд самых удивительных по своей нелепости и причудливости «похождений и деяний» шильдбюргеров, в результате которых прославленное селение сгорает дотла. Оставшись без крова, шильдбюргеры с женами и детьми расселяются по миру, повсюду насаждая глупость.

ИЗ НАРОДНОЙ КНИГИ О ШИЛЬДБЮРГЕРАХ

О том, как шильдбюргеры, налакавшись цесарева угощения, перепутали ноги, и никто своих распознать не мог

Тем временем, однако, настал цесарю срок с ними распрощаться и ведать дела имперские. Итак, шильдбюргеры со всем своим конным рыцарством [а] вышли его провожать, за что и выставил он

[а] Шильдбюргеры встречали и провожали цесаря, заезжавшего в Шильду, сидя верхом на деревянных лошадках.

им изрядное угощение. Сие последнее порешили они уписать еще до возвращения домой в какой-нибудь деревне. Итак, поскакали они на деревянных своих лошадках в ближайшее сельцо и запировали на славу. Когда же все были сыты и пьяны, а кое-что все-таки еще оставалось и требовало выпивки, пришла им охота выйти прогуляться по зеленому, уветливому лугу, дабы там, по обычаю прочих рыцарей, позабавиться, жратву переварить и к новому пиршеству изготовиться. Итак, вышли они всею гурьбою, однакоже не позабыли прихватить добрую сулею вина и малую толику хлеба (дабы от такой жары у них животы не свернулись) и принялись вечерять — выпивать, ни дать ни взять, как заправские бюргеры, хоть слыли они всего на всего мужиками.

Поелику же штаны на них были одного цвета, а ноги они (как обычно на попойках бывает), сидя в кружок, перемешали, то, когда настало им время возвращаться, никто не мог распознать своих ног и ступней, ибо все были одинаковой краски. Итак, сидят они и друг на дружку глазеют, и каждый боится, что другой у него пятки уворует или сам он чужую ногу возьмет. И были оттого в превеликом страхе. И вот, пока они так друг на друга пялились и не знали, как им быть, — глянь! едет мимо них ненароком человек на коне. Его-то они подозвали и печаловались ему о своем горе с просьбою, ежели знает он средство, как опять каждому до своих ног дорваться, то не поскупился бы оное применить, а они, мол, отблагодарят его великою благодарностью. Он отвечал, что может это спроворить. Тут он сходит с коня и, срезав здоровую крепкую дубину, становится по середке между мужиками и начинает лупить по ногам кого попало. А в кого он угодит, тот сразу и вскочит, и ноги его — при нем, потому что тот молодец ему их разыскал.

Один только все еще сидел и говорил:

Добрый господин! почему бы и мне не вернуть своих ног? Или вы от меня не желаете, как от них, заработать? А может, вот это и есть мои ноги?

А тот ответил:

Погоди! дай-ка, посмотрим.

И при этом полоснул его так, что искры посыпались. Тут и последний вскочил, и каждый мужик снова при своих ногах оказался. Все были радешеньки, дали молодцу на водку, воротились домой и решили в другой раз быть осторожнее.

О том, как шильдбюргеры собирались при помощи скотины свести траву со старинной стены

Шильдбюргеры во всех своих делах были благоразумны, особливо же в рассуждении пользы общественной, дабы сия повсеместно процветала и умножалась и ни в чем бы не терпела урона. Однажды вышли они посмотреть старую стену, от старинной храмины оставшуюся, дабы решить, нельзя ли употребить камни

на пользу. А стена, надо сказать, уж давно сверху травой поросла. Показалось это мужикам в обиду, что, дескать, трава пропадет и никому в пользу не послужит. Стали они о том держать совет, нельзя ли ту траву пустить в дело. Одни полагали, что недурно бы скосить, да только никто не решался на стену-то взобраться, другие говорили, что будь между ними стрелки, то всего бы лучше стрелой траву сострелить.

Наконец, выступил вперед старшина и посоветовал пустить туда скотину: она-де траву приест, и ни косить ни стрелять не придется.

Таковой совет вся община одобрила, как наилучший, и в благодарность тут же постановили, чтобы корова старшины первая получила пользу от мудрого совета, поданного старшиной по доброй воле. Итак, накинули они крепкую веревку корове на шею, перебросили конец через стену и принялись тянуть с другой стороны. Когда канат натянулся, стала коровка задыхаться, а дойдя доверху, и язык высунула. Увидал это один здоровенный шильдбюргер и закричал:

— Тащите, тащите! душа к телу привязана!

— Тащите, тащите еще! — сказал старшина.

— Она уже почуяла траву и язык к ней протянула. Тащите, тащите: она почти что доверху доехала. Такая уж она неуклюжая и разлапая, что сама себе помочь не может. Пусть кто-ниудь из вас ее совсем наверх протолкнет.

Однакоже все напрасно! Не сумели шильдбюргеры втащить корову, спустили ее вниз, а она уже подохла. Тут они обрадовались: будет, дескать, что обдирать и что резать.

Шильдбюргеры пожалели бедный орешник

Неподалеку от Шильды протекает речка, на берегу коей разросся большой ореховый куст. С оного свешивалась густая ветка над самой рекою и мало-мало не доставала до воды. Шильдбюргеры однажды это заметили, а поелику были они людьми простыми, благодушными и благочестивыми (каких среди поселян мало нынче обретается), то и прониклись они к доброму орешнику сердечною жалостию и великим состраданием. Стали они по сему случаю держать совет и раздумывать о том, какая такая тяжкая забота у этого доброго орешника, что он этак наклоняется до самой воды.

Когда уже много было высказано суждений об этом предмете, под конец заговорил господин старшина и сказал: «Ну разве же вы не дурачье?» Ясно, мол, видно, что куст стоит на сухом месте и потому к воде клонится, что хочет пить. Сам он, старшина, думает, что этот нижний сук не что иное, как морда того куста, которую он протягивает за пойлом. Тут шильдбюргеры немедля приняли решение и задумали свершить дело милосердия, давши тому кусту напиться. Для сего привязали они большой канат к верхушке орешника, сами стали на другом берегу и принялись изо всех

сил тащить куст книзу: думали, что таким манером дадут ему напиться. Дотянувши его почти до воды, велели они одному взобраться на орешник и совсем окунуть его морду в реку.

Пока же тот влезал и собирался окунать ветку, лопается у мужиков веревка, и куст вздергивается кверху, и крепкий сук сносит мужику голову напрочь. Голова упала в воду, а мужики того не видали. Тело же свалилось с куста и было без головы. Тут мужики сильно перепугались, учинили суд, не сходя с места, и стали опрашивать, подлинно ли была у того голова, когда он лез на дерево. Но этого никто из них не ведал. Старшина сказал, что надо полагать, никакой головы уже не было, когда покойный вышел вместе со всеми, ибо он, старшина, три-четыре раза его окликал, но ответа ни разу не добился. Из сего же следует вывод: раз он ничего не слыхал, значит, у него не было ушей; а раз не было ушей, то не было и головы, ибо ведь уши на голове торчат. Однакоже ручаться он, старшина, за это не может; а посему совет его таков, чтобы послать кого-нибудь к вдове и спросить, была ли у ее мужа голова еще нынче поутру, когда он вышел вместе с другими.

Женщина отвечала, что ей это доподлинно неизвестно, но только она хорошо помнит, что в прошлую субботу, когда она его мыла, голова была еще при нем, и за ушами куча грязи. С тех пор она не так уж внимательно к нему присматривалась.

— Вот там на стене, — говорила она, — висит его старый брыль. Ежели в нем головы нет, стало быть, муж взял ее с собой или куда-нибудь в другое место сунул; а я о том не знаю.

Итак, заглянули они под шляпу, что висела на стене; но там ничего не оказалось. И по сей день во всем местечке никто не может сказать точно, как было дело с головой того шильдбюргера: оставил ли он ее дома или взял с собой.

ИЗ НЕМЕЦКИХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ШВАНКОВ XVI ВЕКА

Шванк (Schwank) — небольшой веселый рассказ о забавном происшествии, смешной затее и т. п. нередко скабрезного содержания. Принадлежа к основным жанрам бюргерской немецкой повествовательной литературы эпохи позднего средневековья (зарождение жанра падает на XIII в., когда появляется и первое собрание шванков — книжка о лукавом попе Амисе, составленная Стрикером), шванк достигает особенного распространения в XVI в. К этому времени он в значительной мере теряет свою былую стихотворную форму, которая его сближала с французскими средневековыми фабльо, оказавшими заметное влияние на формирование шванка. Переход к прозе закрепляется влиянием гуманистических фацетий. Фацетии Поджо и немецкого гуманиста Генриха Бебеля («Facetiae», 1506 г.) становятся образцами, которым охотно подражают многочисленные мастера немецкого прозаического шванка XVI в. Ряд шванков представляет собой лишь пересказ отдельных фацетий названных писателей-гуманистов. В поисках за сюжетами обращаются и к Боккаччо. Наряду с литературными источниками широко используются фольклор, а также церковные проповеди, которые к исходу средних веков стали обильно уснащаться анекдотическими «примерами». Из таких «примеров» («Predigtmärlein») францисканский монах Иоганнес Паули (1458—1530) и составил свой популярный сборник шванков «Смех и дело» («Schimpf und Ernst», 1552 г.), в котором попеременно рассказываются то серьезные, то потешные истории, содержащие правила морали и житейской мудрости. За Паули следует Йорг Викрам («Das Rollwagenbüchlein», 1555 г.), Я. Фрей («Die Gartengesellschaft», 1556 г.), М. Монтанус («Der Wegkürtzer», 1557 г.) и др.

ПАУЛИ

СМЕХ И ДЕЛО

ШВАНК 74

Жил однажды священник, было у него много денег, был он богат и, как водится меж духовенством, постоянно терзался заботами о своем богатстве. Куда бы он ни положил, куда бы ни спрятал свои деньги, всегда ему казалось, что их украдут. В конце-концов надумал он их спрятать в ларец для святых даров, там-де они будут всего сохраннее. Он положил их к св. дарам и написал на ларце «Dominus est isto loco» (господь пребывает в сем месте); об этом проведал один смышленный пройдоха, взломал ларец, взял деньги и написал сверху: «Surrexit, non est hic» (он воскрес и здесь его больше нет). Говорят, что священник умер от огорчения.

ШВАНК 83

Двое горожан шли однажды из одного города в Рим, чтобы получить там буллу об отпущении грехов. Один был очень богат и имел много денег и мог хорошо заплатить за буллу и посредством последней освободиться от мук и прегрешений. Бедняк всего только исповедывался в Риме, и они отправились вместе назад. По дороге богач похвалялся своим богатством и своими буллами и много шумел по этому поводу. Но вот через несколько лет случилось так, что бедняк умер, умер и богач, и они встретились в аду. Бедняк сказал богачу: «Как, и ты здесь? Где же твои буллы, которыми ты так похвалялся, почему они не помогли тебе?» Богач отвечал: «Послушай, приятель, что со мной приключилось: когда пробил час моей смерти, явился ко мне бес, совсем невежественный, он забрал меня и мою буллу и никак не мог ее прочесть, и все мои буллы сгорели, вот я и попал сюда».

ШВАНК 138

Однажды некий человек вместе с женой плыл на корабле, корабль был перегружен, так что каждый принужден был кидать за борт все, что у него было самого тяжелого, вещь за вещью, и когда очередь дошла до него, он сказал: «Самое тяжелое из всего, что у меня есть, это язык моей жены, его не в состоянии снести ни я, ни все мои соседи».

ВИКРАМ

ДОРОЖНАЯ КНИЖЕЧКА

Откуда пошли поговорки: «Ах ты, бедняга бес», а также «Вот она, благодарность беса»

Жил в свое время достойный, но простоватый человек, зашел он как-то раз в церковь, в которой стоял очень красиво написанный образ Христа, он затеплил перед ним восковую свечу и помолился на него. И когда он обходил церковь, желая осмотреть ее, так как прежде никогда в ней не бывал, набрел он в темном углу на изображение беса, и было оно таким отталкивающим, что он даже испугался; и молвил он неосторожно: «Ах ты, бедняга бес, как ты здесь стоишь сиротливо. Ну, хорошо, я тебе также поставлю свечку». Вскоре после этого приснилось этому доброму человеку, будто в лесу его встретил бес и ему сказал: «Дорогой друг, недавно ты мне поставил свечу, поэтому будет справедливо, если я на воздаяние отвечу воздаянием и достойно отблагодарю тебя. А посему следуй за мной, я тебе укажу место, где зарыт богатый клад, ты его вырой и прокути за мое здоровье». И с этими словами повел он его к дуплистому дереву и сказал:

«Сходи домой и принеси мотыгу, лопату и косарь, чтобы ты мог вырыть клад». И мнится доброму человеку, что он отвечает во сне: «Да, но я не сумею вновь разыскать это дерево». Бес молвил: «Наворотн поблизости кучу, по этой примете ты его вновь разыщешь». Человек последовал совету нечистого, и казалось ему, что он сидит возле дерева; когда же он проснулся, то и постель была замарана, и он лежал в дерьме. За это жена его сильно ругала, так как ей нужно было заново стирать постель. И сказал тогда этот благочестивый человек: «Вот она, благодарность беса». И поведал жене о том, что с ним произошло. И она посмеялась над ним, и поделом был ему ее смех.

О том, как некий поп похвалялся, что войдет в рай, сказав пять слов

В одной деревне проживал однажды сумасбродный, пьяный, ленивый, беспутный, безбожный поп, чувства и мысли которого всегда были более обращены в сторону кабака, чем церкви, подобного которому едва ли скоро сыщешь в наши дни. Этот поп весьма усердно опекал и пас своих овец, дабы с ними не стряслось беды, ибо в летнее время лежал он с ними обычно в тени кабака, зимой же — в теплой горнице, опасаясь, как бы они не прозябли в церкви. И вот случилось однажды, что был он приглашен на храмовой праздник другим сельским попом, человеком почтенным и преклонного возраста. Были туда же приглашены и другие почтенные гости из числа знакомых и родственников хозяина, многим из которых вовсе не были по вкусу дикие причуды нашего попа. Ибо как только он очутился за столом, начал он свои озорные выходки, принялся шуметь, орать и хохотать, всем и каждому мешая разговаривать или даже просто перебрасываться словами. И каждый раз, когда он осушал стакан, кубок или кружку, принимался он кричать громким голосом: «О дорогой хозяин, подноси, не робей!», подбрасывал вверх посудину и потом вновь ловил ее. И эти грубые забавы он продолжал так долго, что они, наконец, начали выводить из себя других попов. И тот, кто пригласил его, принялся его укорять и молвил: «Ах, мой дорогой собрат, ну как это вы себя ведете? Вы ведь пастор и духовный отец своей общины; какой же отчет о своих действиях вы дадите богу? В то время как вы ведете такую постыдную жизнь, уж наверное ваши прихожане берут с вас печальный пример. Недаром говорят: каков пастух, таковы и овцы. Посему следует вам воздержаться от подобных греховных обычаев, в противном случае не избежать вам великой опасности пред лицом вашего земного конца». «Ха, ха, — ответствовал поп, — мой господь бог милостив и милосерден; если в минуту кончины будет у меня времени не больше того, чем требуется, чтобы я мог сказать ему пять слов, рай будет мне открыт; чего же мне особенно горевать? К тому же никого из своих мужиков я вовсе не намерен насильно тащить в рай; коли они не желают войти в него, так пусть не входят. Ведь когда

я договаривался с ними, я им не обещал царствия небесного, так же как и вы своим». Долго они препирались подобным образом, и на все слова увещевания отвечал поп насмешками и издевательством, так что другой поп решил его, наконец, оставить в покое; тем временем поп окончательно опьянел. И когда пригласивший его старый поп умолк, он распрощался с ним и отправился во-свояси. А чтобы на возвратном пути с ним не случилось ничего худого, дал ему старик в провожатые пономаря. Между тем путь попа лежал через очень глубокий ручей, был через него переброшен узкий мосток, по которому и должен был пройти пьяный поп. И вот, когда он дошел до середины мостка, ноги его подкосились, и он бултыхнулся в воду. И как только он заметил, что помощи ему ждать неоткуда, так как вода начала заливать ему уже рот, принялся он кричать жалобным голосом: «О дорогой хозяин, подноси, не робей!» Ибо как раз эти слова вертелись у него на кончике языка, заветные же пять слов он так и не смог произнести в минуту своей кончины.

ГАНС САКС

Ганс Сакс (Hans Sachs, 1494—1576) — наиболее значительный немецкий поэт-мейстерзингер XVI в. Родился в Нюрнберге (в котором прожил всю жизнь) в семье портняжного мастера. До пятнадцати лет посещал латинскую школу. С 1509 г. занялся башмачным ремеслом. У ткача-мейстерзингера усваивал первые правила стихосложения. К концу жизни достиг значительного материального благополучия, остаток лет провел в мире и довольстве, до самой кончины не оставляя занятий поэзией.

Литературное наследие Сакса огромно — им оставлено свыше 6 тысяч различных произведений: мейстерзингерских, духовных и светских песен, около 2 тысяч стихотворений, написанных в форме шпруха (рифмованными двустишиями), свыше двухсот пьес для театра и пр. Он разрабатывает духовную и светскую тематику, охотно черпает сюжеты из библии, переведенной Лютером, из сочинений античных и новых писателей. Особенного мастерства он достигает в своих стихотворных шванках, пронизанных мягким несколько наивным юмором, а также в своих многочисленных «масленичных представлениях» (фастнахтшпилях), которые под его пером достигают большой художественной выразительности. Особенно ему удаются бытовые сценки, выхваченные из окружающей жизни. Значительной известностью пользовались его стихотворения, посвященные реформационному движению, особенно стихотворение «Виттенбергский соловей», прославлявшее М. Лютера. Множество шпрухов Сакса при жизни поэта было издано в виде отдельных «летучих листков», украшенных гравюрой на дереве.

Ганс Сакс (с гравюры XVI в.).

На русском языке: «Школяр в раю», перевод Е. Полонской. Гиз, 1930 г. Приводимый перевод «Фюнзингенского конокрада» напечатан в журнале «Красная новь» № 5 (9).

ПРИМЕТЫ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ ДОЖДЯ

(ИЗ МЕЙСТЕРЗИНГЕРСКОЙ ПЕСНИ) [1]

Да будет вам известно,
Что скоро дождь пойдет,
Коль залит повсеместно
Зарею небосвод;
Иль с запада потянет
Прохладным ветерком;

Или с небесной кручи
Гряда полос блестит;
Иль солнца лик за тучей
И облаками скрыт;
Иль бледным солнце встанет,
Едва борясь со сном;

Еще когда густою
Закрыты пеленою
И звезды и луна;
Когда холмы в тумане,
А воздух — как парной,
И травы на поляне
Душистой пахнут мглой, —
Заметьте: очень скоро
Обильный дождь польет.

ФЮНЗИНГЕНСКИЙ КОНОКРАД

ФАСТНАХТШПИЛЬ 1553 [2]

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

1. Гангель Дёч
2. Штеффель Лёль
3. Линдль Фриц

} *фюнзингенские мужики*

4. Уль из Фризинга, конокрад.

(Входят три мужика.)

Гангель Дёч

Почтеннейшие! Сельский сход
Большой нам оказал почет.
Дано нам обсудить и взвесить,
Когда злодея нам повесить,
Что всем вредил, а у меня
Угнал солового коня.
Теперь он в башню заперт, вор.

Штеффель Лёль.

Со мной недолог разговор:
Не ждав поимки, конокрада
Уже повесить было надо.
И не пришлось кормить бы нам.

Линдль Фриц.

Тьфу, чорт, Штеффль Лёль, — ведь я и сам
За то ж. На языке вертелось.
Ты то сказал, что мне хотелось, —
Трех геллеров не стоит вор.

Гангель Дёч.

По мне, так вынесть приговор,
Чтоб в понедельник был повешен.

Штеффель Лёль.

Соседушки, ваш суд поспешен:
У виселицы мой ячмень.
Коль вора вешать в этот день,
Толпой сойдутся в ячмене
И урожай потопчут мне.

Линдль Фриц.

По чести, правда ведь его.
Тут и мое прощай жнитво:
Ведь рядом с виселицей, слева, —
Сообразил, — мои посевы.
Отца надельное наследье.
Как станут вверх глазеть соседи,
Потопчут, знаю наперед.

Гангель Дёч.

Тогда один у нас исход.
Отсрочить казнь до лучших дней,
Как будет убран хлеб с полей.

Штеффель Лёль.

А правда ведь его, — смотри:
Недолгий срок: недельки три.

Линдль Фриц.

Ну, нет! Коль жить его оставить,
Кто будет харч на вора править?
Кто-кто, а вор — ненасытим:
Ведь за неделю эту им
На десять крейцеров уперто.

Гангель Дёч.

А кто неволит нянчить чорта?
Чем зря толстить его без толку,
Заложим корм повыше полкой,
Пусть с тела поспадет пока:
Поди, не выдержит пенька.

Штеффель Лёль.

А что, скажу, соседи, коли
На время дать нам вору волю,
Чтоб зря не тратиться на жратву,

Но только лишь под страшной клятвой,
Что только месяц истечет,
Он к сроку вешаться придет?
Тем временем вкруг костыля
Убрать успели бы поля, —
Чистехоньки б кругом стояли.

Линдль Фриц.

Умней исход найти едва ли,
Мы так и жатву сохраним,
И нянчиться не надо с ним,
И казнь, как это все смекнешь,
Не обойдется нам ни в грош.
А, Гангель, какова затея?

Гангель Дёч.

Осталось лишь спросить злодея,
Подходят ли ему условия,
А то не выдумать толковей.
Пускай гуляет той порой,
Покамест хлеб поснимем свой.
Штеффль Лёль, сходи за ним, а мы
Пождем обоих из тюрьмы.
Придете, — спросим самого.
Держи, как будешь весть его.

(Штеффель Лёль уходит.)

Линдль Фриц.

А, Гангель, что скажешь, какова
У Штеффеля Лёля голова?

Гангель Дёч.

Допреж никак бы не сказал,
А что за мудрость показал?

Линдель Фриц.

Гангель Дёч, тебе пора бы знать,
Что Штеффель не чета, не стать
Деревни нашей дуралеям.
Он подал мысль столярным клеем
Скреплять накаты в храме божьем.
Живи он в Мюнхене, положим,
Он там бы даром не пропал:
Давно б в совете заседал.

(Штеффель Лёль приводит вора на веревке.)

Гангель Дёч.

Уль Фризинг, ратуша села
К такому выводу пришла:
Пустить тебя пока на волю
На месяц — до уборки поля.
Тебе ж не пропадать в пути,
Но после жатвы в срок притти
И в пору дать себя повесить.
Подумай, Уль, ты должен взвесить.

Штеффель Лёль.

Уль, уговор наш будет строг.
Подумай, обернешься ль в срок.

Мужики удаляются, вор разговаривает с собой.)

Вор.

Ну и надзор! Божиться смею,
Ни в жизнь не видывал глупее.
Недаром сказывали слово,
Что фюнзингенцы безголо́вы.
За то, что угнана скотина,
Повесили б меня чин-чином;
Да вот, пускают, вишь, на время.
Я поклянусь святыми всеми;
И то — язык от клятв не сохнет,
И слово пуху не шелохнет,
Дам клятву — в клятве нет труда —
Да и не покажусь сюда.
А, впрочем, ночью, что ж, приду,
Что плохо клали, украду,
Теперь же, по такой их дури,
Я с ними чуть побалагурю
И так глупцов их одурачу,
Что денег мне дадут в придачу.

(Мужики возвращаются.)

Гангель Дёч.

Ну, Уль, по совести, без лжи,
Свое решенье изложи.

Конокрад.

Вот, сельской ратуши мужи,
Скажу вам, милые, без лжи.
Я повинуюсь вам во всем,
А как управитесь с овсом,
Вернусь к дню казни аккурат,
В чем нынче вам поклясться рад.

Но вот примите в рассужденье:
На чьем я буду иждивеньи?
День за день просит есть душа,
А за душою ни гроша.
Когда я снова стал бы красть,
В ином селе иная власть,
Меня схватила б, уличила,
И к виселице присудила.
Уж я б не мог притти обратно
По слову клятвы аккуратно.
Про Уля стали б думать худо,
А мне один позор отсюда.
Опять же, например, начни
Я побираться в эти дни,
Деревне было бы бесчестье:
Вас знает всяк, во всяком месте.

Линдль Фриц.

Соседушки, прошу вас, взвесьте.
Он верно говорит, по чести.
Коль вор от нас пойдет с сумой,
Позор для общины самой.
Поддержим парня, братцы, ну-ка.
Ведь крейцер на душу не штука,
А нас, земельных, тридцать тут.
Коль все по крейцеру дадут,
Вот и полгульдена. Покуда
Даю я эти деньги в ссуду.
Вот, братец, деньги. Получай
И вверх два пальца подымай
В знак клятвы, что вернешься вспять
Чрез месяц, чтобы казнь принять.

Конокрад *(подымает два пальца и говорит).*

Приду, всего дороже честь,
Но и верней порука есть —
Возьмите красный мой картуз
В залог того, что я вернусь
Днем, ночью ли, но в срок, не долее,
И дам себя повесить в поле.

Гангель Дёч.

Мы вот что, Уль, предполагаем:
Как уберемся с урожаем,
И ты, хитрец, да не придешь,
Тогда всей общиной за ложь
Тебе на месте том разъезжем
Мы уши наперед отрежем,

И лишь с увечием таким
Урочной казни предадим.
Прими к вниманью эту пеню.

Конокрад.

Да что вы, бросьте опасенья!
Не дорог, что ли, мне картуз?
Я раньше времени вернусь.

Гангель Дёч.

Ну вот, мы и пришли к согласью.
Беги ж, дружок, желаем счастья,
Да только ворочайся в срок.

(Конокрад убегает.)

Линдль Фриц.

Как уговор наш ни был строг,
А слово вора вышло строже.
Такая вещь не шутка тоже,
Ей девять крейцеров цена.
Картуз, как сельский старшина,
Себе возьму я в сохраненье.
И грех ли, если в воскресенье
Он будет раз на мне надет.
Но в будний день, даю обет,
Носить всегда свою другую.
Когда ж вернется вор, сторгую.

Гангель Дёч.

Доложим миру договор,
В который с ним вступает вор.
Придется мужикам по нраву.
Из них и самый прелукавый
Не мог бы сам своим умом
Распутаться в узле таком.

(Мужики уходят. Вор входит, крадучись, в голубом камзоле и говорит.)

Вор.

Боялись эти дуралеи,
Что я вернуться не поспею.
А у меня настолько чести,
Что сделал поворот на месте.
Еще и солнце не зашло,
Как я вернулся к ним в село.

У Линделя пропал козел,
У Штеффеля — голубой камзол.
До завтрашнего их скандала
Мне дела нет, и горя мало.
Я с этим в Мюнхен побегу
И там, на рыночном торгу,
Спущу попутную добычу,
Как у меня на то обычай.
С крестьян довольно картуза —
Залог хороший, за глаза.
Крестьяне очень неопрятны,
Не стану требовать обратно —
Пусть треплют вещь и Уля ждут
До жатвы и когда сожнут.
Мой хлеб — разбойничья потеха,
К другому не причислен цеху.
Из всякой потасовки вдруг,
Как из воды, я выйду сух.
К тому и поговорка клонит:
Тот, говорят, в воде не тонет,
Кому на виселице быть.
А с тем и нечего тужить.

(Конокрад уходит. Входят Линдль Фриц и Гангель Дёч.)

Линдль Фриц.

Уж жатва кончена почти,
А вор не думает итти.
Коль в пору он не возвратится,
То может с шапкой распроститься,
Мы картуза не отдадим,
Кого б ни посылал за ним.

Гангель Дёч.

А, вот и Штеффель! Ах, как скоро!
Приехал, знать, домой вечор.
Он в Мюнхен ездил, и с путей
Расспросим, нет ли новостей.

Линдль Фриц.

Откеле, Штеффель Лёль, откель?
Не слышал там про вора, Лёль?

Штеффель Лёль.

А как же! Виделись вчера.

Линдль Фриц.

Что ж не позвал его? Пора.
Вчерашний день, поди, истек
Весь льготный конокрадов срок.

Штеффель Лёль.

Подумал было, не посмел:
У вора куча всяких дел.

Гангель Дёч.

Какая же такая куча?

Штеффель Лёль.

Выходит на базар толкучий,
Старье и рухлядь продает
И честным промыслом живет.
Цены не ломит, — знает меру.
Я у него купил, к примеру,
Вот этот голубой камзол.
И полюбился мне козел,
Купил бы по своей охоте,
Да только не сошлись мы в счете:
Двенадцать крейцеров просил,
А то точь в точь как твой трусил
И тоже нехватало рога.

Линдль Фриц.

Тьфу, чорт, ведь мой пропал! Ей-богу!
Не так давно: порукой честь.
И если смысл в стеченьи есть,
То это моего козла
Увел он в город из села.
Что ж ты не сдал его властям?

Штеффель Лёль.

Тогда бы вешать стали там.
Мы б головы его лишились.
Уж он из петли вряд ли б вылез.

Линдль Фриц.

А ты не пособил немножко?
Я, чай, устроили дележку.
Ему достался мой козел,
Тебе же голубой камзол?
Ты тоже праведник лишь с виду.

Штеффель Лёль.

Не ври! ответишь за обиду.
Тринадцать крейцеров отчел!

Гангель Дёч.

И залит пивом же камзол.
С плеча кабатчика похоже,
А пуху, перьев что в одеже!
Ты б малость пообмел метлой.

Штеффель Лёль.

Зато как раз по мне покрой.
Я буду в нем ходить почаще:
Не гоже в праздник — заваляющий.
Для праздников есть дома свой,
Точь в точь как этот, голубой.
Пойти взглянуть, на много ль лучше.
Тьфу, провались ты, что за случай?
Ведь это он! Да как знаком!
Украден, знать, с твоим козлом.

Гангель Дёч.

Взгляни-ка лучше. Нет примет ли?

Штеффель Лёль.

Да вот, нет пуговицы к петле,
И как же надо мной, пострел,
Он посмеяться так посмел!
Своей одежи не признал.
Ведь знал, чем взять, разбойник, знал.
Ведь взял, дешовкой огорошив,
Взял тем, что синь камзол и дешев.
Ну, что ж, я тратить слов не стал,
Скорее денег отсчитал
И шмыг в толпу. На этот раз он
За дело, значит, мной наказан.

Гангель Дёч.

А чем ты вора наказал?

Штеффель Лёль.

Он за толпой не поспевал.
Стояла целая орава —
Сдавал налево и направо.
Прохода не было меж них.
Я улучил удобный миг, —
Вот тут-то и понес он кару —
Я взял тайком перчаток пару.
Подумалось — переплатил,
В приклад к камзолу прихватил.

Линдль Фриц.

Выходит, ты украл у вора.

Штеффель Лёль.

Да что ты? — Взял лишь для добору,
Чтоб тем камзол дешевле стал.

Линдль Фриц.

Я это кражей и назвал.

Штеффель Лёль.

Тогда послушай-ка, мой милый,
Тебе не памятны ли вилы,
Которыми слоил навоз, —
Не у меня ль ты их унес?
И точно. Брать и отдавать,
Известно, вору не подстать.
Что это с толком говорится,
Видать по Линделю по Фрицу.

Линдль Фриц.

Коль, Штеффель, ты на этот счет,
Так поздно, — делу скоро год.
А станешь трогать честь мою,
Я как собаку изобью.
Молчать, охальник меднолобый!

Штеффель Лёль.

Ну, что ж ты? Бить, так бить. Попробуй!
Дам сдачи, чтоб тебя чума...

Гангель Дёч *(вбегает с колодкой)*.

Никак совсем сошли с ума!
Чего сцепились вы, мужчины,
Как дети, сдуру, без причины?
Платить придется костоправу,
Потом начальству штраф в управу,
Потом присудят к кандалам.
Ну, след ли драться по скулам
За слово, хоть бы и с укором?

Линдль Фриц.

Зачем меня зовет он вором?
Чем звать, вперед спроси людей:
А может я тебя честней.

Гангель Дёч.

Как скажешь, кто кого достойней?
Соседи, вы прямая двойня
И оба на один покрой.

Штеффель Лёль.

Глядико-сь, праведник какой!
За честность, знать, у нас ославлен.

Гангель Дёч.

На что намек твой, Штеффль, направлен?
Не про железную ль ты шину?
Тогда нет лаяться причины:
Не сам ли ты меня силом
Заставил заплатить за лом?
Чай были, — помнишь, — очевидцы.
Да чтоб те шиной подавиться!
Отстань, а то поколочу.

Штеффель Лёль.

Ну, что ж, я тем же отплачу.
Валяй, не очень беспокоюсь.

Линдль Фриц.

Пущу-ка в ход и я свой пояс,
И грешным душам от небес
Устрою ременной навес.

(Все втроем снимают кушаки и с боем выгоняют друг друга из комнаты. Входит со своим картузом в руках конокрад и говорит.)

Конокрад.

И ловки рвать же мужики
Чубы и бороды в клоки.
Давно уж наблюдаю склоку
За городьбой, неподалеку.
Ни в жизнь не видывал разгульней.
Теперь их повели в цирюльню.
У Линдля Фрица под спиной
Рубец в три пальца шириной.
Не мал и Гангля Дёча вред:
Двумя ремнями приугрет.
Два друга в губы лобызали, —
Все зубы Гангля видны стали.
У Лёля брадобрей не мог
Остановить кровопоток —
Решил заняться кровопуском.

Но лишь забила кровь огузком,
Как Лёля носом тем же часом
Два зуба вышли вместе с мясом.
Меж тем как бой у них кипел,
Я свой картуз найти успел.
Знать, Линдель в драке потерял,
Вот с полу я и подобрал.
Так я и заявился в срок
И получил назад залог.
Сдержал обет, что был им дан.
Могу по праву у крестьян
По чести по моей, без чванства
Просить принять меня в крестьянство.
Что стойло, бают, то и скот.
Пускай обсудит сельский сход.
Достоин жить ли с ними вместе?
По свойственному благочестью
Мне не откажут тут, сдается,
От фюнзингенцев все стается.
Еще мы пить деревней станем
За то, что ту же лямку тянем,
Что с фюнзингенской дурью впрягся
И плут в хомут, по Гансу Саксу.

САТАНА НЕ ПУСКАЕТ БОЛЬШЕ В АД ЛАНДСКНЕХТОВ

(ШВАНК, 1557 г.)

Раз Люцифер — князь адских сил,
Как только вечер наступил,
В преисподней бесов созвал
И так им, помолчав, сказал:
«На земле — к нам молва проникла —
Племя лютых вояк возникло,
Ландскнехтами их кличет люд[а].
Пусть нескольких мне приведут,
Чтоб мог на них я поглядеть!
Говорят, им не любо гоженть,
Зато пьяны они всегда,
Кутеж им в радость и гульба.
На молитвы не тратя сил,
Они меж игроков и кутил

[а] *Ландскнехты* — наемные солдаты XVI в.

Божбой и дракой тешат друг друга,
Милостыню подают они туго,
Взять сами вечно норовят,
Жрут часто скверно, да жестко спят;
Зато всегда готовы служить
Тому, кто вздумает им платить,
А прав их вождь иль, может, не прав,
Им дела нет, таков их нрав.
Ну, Вельзевул, сбирайся в путь,
Проворным и ловким в деле будь,
Лети на землю, прямо в трактир,
В котором ландскнехты справляют пир,
Там неприметно для гостей
За печкой спрятаться сумей,
Будь зорок, не вертись без цели.
Когда ж на каком-нибудь слове иль деле
Ландскнехта изловишь по праву,
В ад тащи его чертям на расправу.
А притащишь их штук пять или шесть,
Окажу я тебе, бесу, большую честь:
Сделаю тебя князем, окружу почтеньем,
Буду давать лишь благородные порученья».
Тут Вельзевул — косматый пострел —
Плащ-невидимку быстро одел,
Взвился прямым путем в трактир,
В котором ландскнехты справляли пир,
Бражничали шумной оравой.
Присел за печку бес лукавый,
И слышит он солдатские речи
Про вражьи станы, стычки, сечи,
Про то, как каждый, сбиваясь с ног,
Без времени грабил, буянил и жег;
И так был страшен каждый рассказ,
Что шерсть на бесе вся поднялась.
Решил он тайком бежать из трактира,
Да зорче приглядевшись к пиру,
Приметил он, как за столом
Ландскнехты лихо угощались вином;
Всяк за стаканом стакан вздымал
И разом, не мешкая, выпивал.
Тут бес решил в кого-нибудь
Неприметно для всех юркнуть
С вином, что дружно пили солдаты,
Да просчитался бес хвостатый.
Если кто кого начинал угощать,
«С тобой господня благодать!» —
В ответ ему орал пьянчуга;
Благословляя так друг друга,

Все преграждали бесу путь,
Он ни в кого не сумел нырнуть.
Весь вечер даром бес провел,
В углу простоял он, как осел.
Случись, в трактире воин был,
Он где-то петуха добыл,
Зарезал да за печь повесил.

Титульный лист стихотворного шванка Ганса Сакса: «Сатана не пускает больше в ад ландскнехтов» (Нюренберг, 1556)

Вот в поздний час и молвит весел
Ландскнехт: «Хозяин, друг хороший!
Слезай за печку, там найдешь ты
Бесенка, лишь в углу пошарь,
Его ты ощипи, зажарь,
Уж мы сумеем сожрать жаркое!»
При этом указал рукою

На петуха и подмигнул.
Когда же хозяин к печке шагнул,
А там и в угол за петухом полез,
Света не взвидел бедный бес,
Решил, что хотят его поймать,
Ободрать, изжарить и растерзать.
В страхе вышиб он изразец печной,
Метнулся в устье, сам не свой,
И прибыл, спасению рад,
С диким шумом обратно в ад,
И ну стучать, что было сил.
Когда ж привратник его впустил,
Люцифер спросил его: «Как! Ты один?»
Вельзевул отвечал: «Да, господин!
Не чаял я, что возвращусь так скоро,
Но это такая лютая свора!
Благочестивыми ландскнехтов зовут,
Напрасно только люди врут!
Готов поклясться, что вояки эти
Всех лютее на белом свете.
Одежда и та у них выглядит дико,
Вся искромсана, изрезана лихо,
Ляшки у одних совсем неприкрыты,
Зато у других штаны так сшиты,
Что мешками до пят свисают,
Уж не знаю, как в них ландскнехты шагают.
На лицах шрамы, борода щетиной,
Взгляд у них самый неукротимый,
Короче, вид у ландскнехтов таков,
Какими нас малюют спокон веков.
В кости играли они меж собой,
Вдруг крик поднялся, гам и вой,
Полезли в драку, топочут, орут,
Друг друга в рыло и брюхо бьют,
При этом так сквернословят погано,
Словно турки они или басурманы.
И тут уж сразу увидел я,
Что ландскнехты куда лютей меня,
Напасть на злодеев я не решился,
Постоял да вскоре и возвратился».
Сказал Люцифер: «Напрасно, брат,
Хотя бы одного приволок ты в ад,
Мы бы живо молодчика обуздали!»
На это молвил бес: «Едва ли!
И разве не ясно я сказал,
Почему открыто на них не напал?
Надумал хитрость пустить я в ход, —
Залезть неприметно ландскнехту в рот,

Когда вином он угощался.
Но и этот план мне не удался.
Лишь только соседу ландскнехт подливал,
Тот в ответ ему: «Братец! — кричал, —
С тобой господне благословенье!»
Так целый вечер, без промедленья,
Ландскнехт ландскнехта благословлял,
А я в углу, как болван, стоял.
И вдруг эта свора буйных рубак
Обо мне проведала, уж не знаю как;
И молвил хозяину один злодей:
«Хозяин, за печку пройди поскорей,
Схвати там беса, что с адом дружен,
Ощипи его и зажарь нам на ужин».
Хозяин пошел приказ исполнять,
А я из трактира поспешил удрать,
Не то б они меня поймали,
Свернули мне шею, ощипали,
Изжарили и сожрали б без дальних слов;
И вот я присягнуть готов,
Что ждем мы ландскнехтов себе на беду,
Все дыбом поставят они в аду;
Они надменны, своенравны, злы,
Драчливы, горласты, как ослы,
Посему мой совет (прошу взять в толк!) —
В покое оставить ландскнехтов полк,
Не пойдет нам этот товарец впрок,
Согнут они нас в бараний рог,
Ад взбудоражат до самого дна».
И молвил на это сатана:
«Мой Вельзевул, коль все это так,
То, чтобы нам не попасть впросак,
Навек о ландскнехтах забудем,
Зато хватать, как прежде, будем
Разбойников, пьяниц и блудодеев,
Воров, ростовщиков-злодеев,
Игроков, убийц и юристов;
Чтоб стало по всей земле чисто
От всяческой нечести: блудниц,
Лживых монахов и черниц,
Вредного люда разных стран —
Презревших веру христиан,
Не чтущих правду божьих слов,
Язычников, еретиков
И тех, кто гневом и злобой палим, —
Всем по грехам их воздадим.
И чтобы беда не постигла нас
От ландскнехтов, желает Ганс Сакс».

ФИШАРТ

Иоганн Фишарт (Iohann Fischart, ок. 1548 — ок. 1590 гг.) — выдающийся сатирик эпохи Реформации. Родился в Страсбурге, обучался в Вормсе у поэта и педагога Каспара Шейдта, путешествовал по Европе, в 1574 г. получил в Базеле степень доктора прав. Фишарт дебютировал памфлетами, направленными против католического монашества. Своей вершины антикатолическая сатира в творчестве Фишарта достигла в прозаическом памфлете «Улей святой римской церкви» (1579 г.) и особенно в стихотворном памфлете «Легенда о происхождении четырехрогой иезуитской шапочки» (1580 г.), наиболее ядовитом и остроумном произведении когда-либо написанном против иезуитов. В этом памфлете автор с неистощимым сарказмом и речевой изобретательностью изображает ухищрения князя тьмы Люцифера, на погибель людей создающего орден иезуитов. В пространной комической поэме «Травля блох» (Flöhhatz, 1573 г.), повествующей о борьбе между женщинами и блохами и относящейся к лучшим созданиям Фишарта, поэт отдает дань популярным в XVI в. мотивам гробианизма (гробианизм, от слова grob — грубый, невежливый, был особым пародийно сатирическим течением в немецкой бюргерской литературе XVI в., возникшим как реакция на изысканный стиль рыцарской поэзии. Его характерная черта — обычно ироническая разработка «грубых», антиэстетических мотивов, например откровенное описание нечистоплотных нравов и обычаев, пристрастие к сюжетам, в которых фигурируют вши, блохи и т. п.).

Перу Фишарта принадлежит также ряд стихотворных и прозаических произведений на духовные и светские темы, стихотворная обработка народной книги об Эйленшпигеле и пр. Наиболее монументальное создание Фишарта — вольная обработка первой книги романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (Die Affentheurlich naupengeheurliche Geschichtklitterung..., 1575 г.), в которой Фишарт заметно усиливает гротескный элемент оригинала. В названном произведении сатира на католицизм сочетается с широкой сатирой на различные пороки того времени. Однако Фишарт не поднимается до гуманистического вольномыслия Рабле. Его сатира ограничена рамками протестантского мировоззрения. Следует отметить выдающееся языковое мастерство Фишарта. Подобно Рабле, он неистощим на смелые и причудливые словообразования, словарь его отличается огромным богатством, он любит яркие и выразительные слова, которые охотно черпает из живой народной речи.

Фишарт (с гравюры XVI в.)

Из «ТРАВЛИ БЛОХ»

ЦАРЬ И БЛОХА

Ты ошибаешься, блоха!
Как наша слава ни плоха,
Нередко нас заносят боги
И в государевы чертоги.
Ты знаешь про царя рассказ,
По чьей порфире алой раз,
Не чуя никакого зла,
Откормленная вошь ползла?
Она вползала на рукав,
Когда, вдруг это увидав,
Слуга, стоявший близ царя,
Излишних слов не говоря,
Ее преосторожно снял,
Так чтобы царь и не видал.
Но тот велел ему тотчас
Поведать точно, не таясь,
Что снято им так осторожно.
Слуга считал, что невозможно
При всех открыть такой позор.
Но крикнул царь, нахмурив взор:
«Ты мне наперекор идешь?»
Его величеству тут вошь
Слуга поднес в большом смущенье
И стал просить себе прощенье.
Тогда промолвил мудрый царь:
«Ах, эта крохотная тварь
Напоминает нам о том,
Что в жалком мире мы живем,
Что тленна государей плоть,
Хоть их на власть венчал господь.
Я вижу, что мне жить не век,
Что я лишь смертный человек».
Слуге по царскому указу
Богатый дар был выдан сразу.
Увидевши, как царь был благ,
Один прохвост подумал так:
«Я знаю, что мне сделать надо;
Щедрее ждет меня награда».
Когда однажды царь сидел
При исполненье неких дел,
К нему прохвост наш подошел
И сделал вид, что он нашел
На платье что-то, что и снял.
Царь тут же строго приказал

Поведать, что им с платья снято.
«Я снял, — промолвил плут завзятый, —
Сейчас проворною рукой
С тебя блоху, владыка мой».
«Что? — крикнул царь; — смотри, однако!
По твоему я, что ж, собака,
К которой блохи так и льнут?
Прочь с глаз моих, презренный шут!»
Так за свою услугу он
Немилостью был награжден.
Царь этим показать хотел,
Что вечный подлых блох удел
Быть паразитами у псов.
Наш вшивый жребий не таков.
Нам, вшам, а также людям впрок —
С людьми соединил нас рок,
Чтоб нас могли они кормить,
А мы их мудрости учить:
Тому учить, что не годится
Им, чадам праха, возноситься.
Недаром честная та вошь
Вогнала государя в дрожь,
И он слугу вознаградил,
Который вошь ему вручил.
Прохвост же из-за подлых блох
В немилости так и подох.
Ты видишь: драгоценна вошь,
Блохе ж цена — дырявый грош.

Из «ЛЕГЕНДЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕТЫРЕХРОГОЙ ИЕЗУИТСКОЙ ШАПОЧКИ»

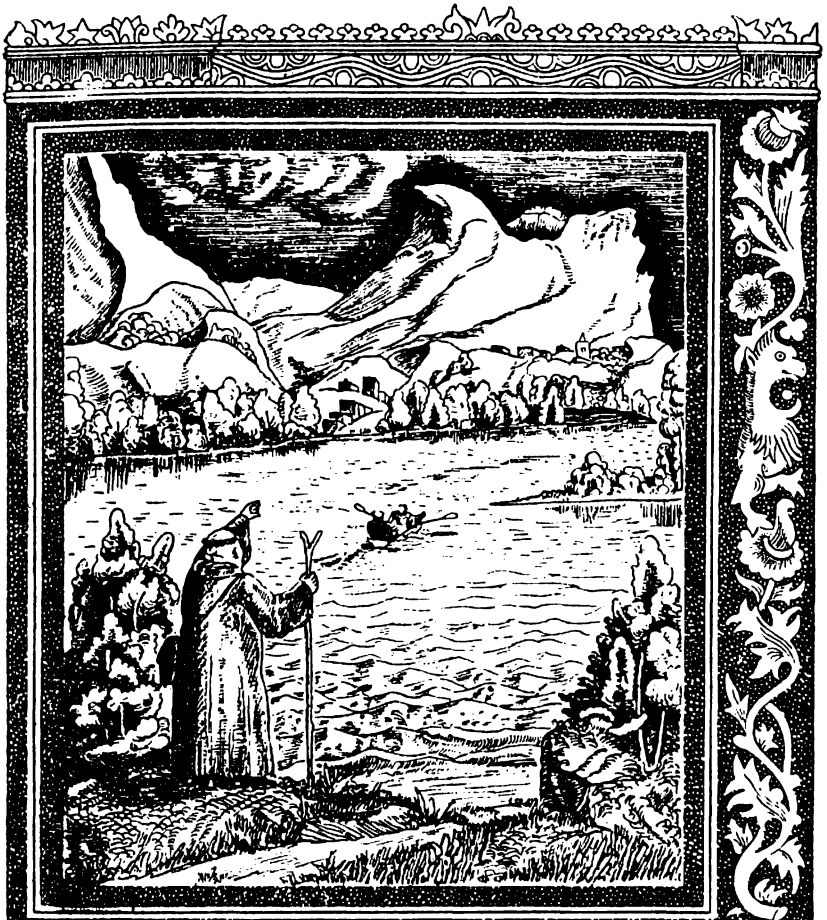
[Люцифер опечален тем, что со времени пришествия христа его власть в мире сломлена, и вот он задумывает вновь неприметно воздвигнуть на земле рог символ ада. С этой целью по его приказу бесы шьют однорогий монашеский капюшон из «напускного благочиния и лени», иглой ханжества и ниткой обмана (см. приводимый отрывок). Вслед за этим появляется двурогий епископский клобук, сшитый из духовного тщеславия иглой земного властолюбия и нитками обирания верующих и украшенный камнем беспамятства. Но сатана все еще не удовлетворен. Он изобретает трехрогую тиару и шьет ее из мошны Иуды, симонии, мстительности, зависти, сладострастия, вероломства, яда, измены, содомии и колдовства иглой преследования, кровожадности и церковного проклятия, украшая ее разным жемчугом, как дар Константина, торговлей индульгенциями и прочими церковными доходами. Так возникает тиара римского папы. Наконец, силы преисподней создают четырехрогую шапочку иезуитов, которая является венцом дьявольской изобретательности. В ней соединяется все зло, которое несет с собой ад: обман, лукавство, мстительность, зависть, яд, гнев, кровавые преступления, раздор, подстрекательство, оскорбления и ложь.]

МОНАШИЙ КАПЮШОН

...«Задумал я коварный ход,
Весь мир он за нос проведет.
Ввиду того, что у людей
В презрении рога чертей
Иль вызывают в них испуг,
Когда представятся им вдруг
(В одной Калькутте поклоненье
Встречает наше украшенье), —
Рога решил я освятить,
Чтоб тем верней их сохранить:
Такую форму им придать,
Чтоб ею всех очаровать.
Под нею спрячем мы рога,
Чья мощь для нас так дорога.
Ведь без рогов нам всем пропасть,
На них свою мы зиждем власть.
Однако келья — хоть одна —
При божьей церкви нам нужна.
А так как всемогущий бог —
Спасения единорог
И агнец божий был с рогами, —
Мы, сохраняя гнева пламя
В своих рогах, покажем вид,
Что благочестье в них горит.
Так вот: сошьем единый рог,
С куском соединив кусок
Разнообразного сукна;
Пусть будет полоса черна,
Другая же желта иль синя;
Из напускного благочинья
И лени мы сошьем его,
Иглой соделав ханжество.
Монашьим капюшоном он
Да будет нами наречен.
Покрывшись им, при божьем сыне
Стоял я некогда в пустыне,
Когда его я искушал
И так голодному сказал:
В хлеб этот камень преврати!
Ну, черти, можете итти
И приниматься за работу».
И те с огромною охотой
Тотчас же принялись кроить,
Полоски складывать и шить,
И очень скоро Абаддон [a]
Узрел готовый капюшон.
Он нацепил его на темя,
И было признано тут всеми,
Что очень он ему идет.
Тогда он, задом наперед
К синклиту обернувшись вдруг,
Издал громоподобный звук.
Был этим гласом капюшон
По сатанински освящен,
Чтоб превратился он в покров
Для самых мерзостных плутов.
И сатана издал приказ,
Чтоб стая чертенят тотчас,
Как саранча, по всем дорогам
С монашеским помчалась рогом
И мигом сей рассадник зла
По градам, весям разнесла.

---

[a] *Абаддон* — в Апокалипсисе имя главы дьяволов и предводителя их сил.



ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«СТО НОВЫХ НОВЕЛЛ»

«Сто новых новелл» (Cent nouvelles nouvelles) — яркий памятник раннего французского Возрождения, первый сборник новелл на французском языке, написанный для бургундского двора в середине XV в. (1450—1461). Автор новелл неизвестен. Сборник дошел до нас только в одной анонимной рукописи библиотеки в Глазго, старейшее печатное издание — 1486 г. Сборник отображает сдвиги, наметившиеся в культурном развитии Франции (возросшее влияние горожан, сниженное по сравнению с рыцарскими романами изображение рыцарства), значительное место уделено в нем сатире на духовенство (осмеяние сладострастия, корыстолюбия, чревоугодия и невежества попов и монахов). Большой яркостью и богатством отличается стиль сборника, в котором элементы книжной речи прихотливо сочетаются с живым народным говором. Лафонтен заимствовал из «Ста новых новелл» ряд своих гривуазных «сказочек».

Из «СТА НОВЫХ НОВЕЛЛ»

НОВЕЛЛА XIV

Рассказана монсеньёром де Креки, кавалером ордена государя герцога

Великая и обширная бургундская земля не так уж бедна памятными и записи достойными происшествиями, чтобы (для пополнения запаса ныне рассказываемых историй) я не решился огласить и вниманью препоручить то, что в недавнее время там приключилось.

Невдалеке от большой и богатой деревни, на берегу реки Уша, стояла и по сей день стоит гора, где расположился на жилье некий, бог его знает какой, отшельник и, под сладостно-тенистым покровом лицемерия, творил всяческие чудеса, которые не дошли до общего сведения и всенародной огласки до тех пор, пока господь не захотел больше ни терпеть, ни допускать омерзительного надувательства.

Этот святой пустынник, уже одной ногой стоявший в могиле, был, однакоже, весьма злокознен, а похотлив не меньше старой обезьяны, но ухватки у него были такие хитрые, что далеко выходили за пределы обычных плутней. Вот послушайте, что он проделал.

Вспало ему на ум, что среди соседских молодок и пригожих девиц больше всего достойна любви и вожделенья дочка одной

простоватой вдовицы, очень богомольной и к милостыне прилежавшей. И решил он про себя, что ежели сметка ему верно послужит, то отлично он тут полакомится.

Однажды около полуночи, в темную и бурную погоду, спустился он со своей горы в оную деревню и так кружил стезями и тропинками, что один-одинешенек, никем не услышанный, добрался до жилища матери и дочки. Домик был невелик и часто тем пустынником по благочестию его посещаем, так что знал он все ходы и выходы. Тут он взял и просверлил в стене дырочку (не слишком широкую) в том самом месте, где стояла кровать немудрящей оной вдовицы. И берет он длинную и полую тростинку, загодя им припасенную, и, не разбудивши вдовы, над самым ее ухом ту тростинку просунул, а затем тихим голосом произнес троекратно:

— Внемли мне, божья душа. Я — ангел от господа, иже меня к тебе посылает, дабы возвестить тебе и поведать, яко по великой милости, им на тебя ниспосланной, восхотел он приплодом от твоего колена, сиречь от дщери твоей, святую Церковь, невесту свою, воссоединить, укрепить и в подобающем ей величии восстановить — и вот каким способом. Пойдешь ты на гору к святому пустыннику и отведешь к нему дочь и объявишь все, что бог тебе ныне устами моими повелевает. Познает он дщерь твою и от них народится сын, богом отмеченный и к святому римскому престолу предназначенный, коий столько добра сотворит, что вполне его можно будет приравнять к святым апостолам Петру и Павлу. Ныне я вспять возвращаюсь, а ты повинуйся господу.

Простая женщина, превесьма удивившись и наполовину уже духом своим восхитившись, поверила, будто в самом деле бог ей весть посылает. Посему крепко она про себя порешила, что не вздумает ослушаться. Но, спустя немалое время, снова она задремала, хоть и не очень крепко, ожидая и сердечно желая наступления утра. А тем временем честный отшельник воротился в горное свое уединение.

Сей вожделенный день, наконец, был возвещен солнечными лучами, каковые, сквозь оконные стекла в горницу спустившись, быстро подняли с постели и мать и дочь. Когда они оделись и на ноги встали и с немудреным хозяйством своим управились, спрашивает мать у дочери, не слыхала ли она чего нынче ночью, а та отвечает:

— Право, матушка, ничего не слыхала.

— И вправь, — отвечает та, — не к тебе в первую голову обращена сладостная сия весть, хоть и сильно тебя касается.

И тут передает она ей от слова до слова ангельское благовещение, нынешнею ночью свыше ей ниспосланное, и спрашивает, что дочка на то скажет. А добрая девушка, вся в мать, простоватая и благочестивая, ответствует:

— Благословен господь, да свершится, матушка, все по вашему желанию.

— Отлично сказано, — отвечает мать. — Так пойдем же на гору к божьему человеку по слову всеблагого ангела.

Честной отшельник, поджидавший, когда старуха приведет ему дочку, завидел их издали. Тут приоткрывает он дверь наполовину и становится на молитву посреди кельи, дабы они застали его за благочестивым делом. И произошло все так, как ему хотелось, ибо мать и дочь, увидя приоткрытую дверь, не спроси ни что, ни как, внедрились в келью. И застав отшельника в глубоком созерцании, почтили его, как бога. Пустынник же, потупив очи долу, гласом смиренным и надломленным приветствует гостей. А старушка, желая поведать ему причину своего прихода, отводит его в сторонку и с начала до конца пересказывает ему все, что сам он лучше ее знает. Покуда она с превеликим благоговением вела свой рассказ, честной отшельник то и дело упирал очи в потолок и простирал руки к небу, а старуха плакала от великой радости и умиления.

Когда же доклад был окончен и старушка дожидалась ответа, тот, кому ответить надлежало, не стал торопиться, но все же, наконец, заговорил и сказал следующее:

— Благословен господь! Но думаете ли вы, голубушка, по правде и чистой совести, что все, о чем вы мне сейчас поведали, не есть призрак и обманное привидение? Что вам подсказывает сердце? Знайте, что это дело не шуточное.

— Поистине, святой отец, я слышала глас, что принес радостную эту весть, так же ясно, как вот теперь все слышу, и будьте уверены, что я не спала.

— Хорошо, — сказал он. — Не то чтобы я думал противиться воле создавшего меня; но все же сдается мне, что лучше нам с вами еще эту ночь переждать, и ежели сызнова вам привидится, приходите ко мне, и господь подаст нам совет и указание. Не следует, матушка, слишком легко доверяться: порою диавол, людской завистник, так ухищряется, что может прикинуться ангелом света. Поверьте, мать моя, что это дело — не безделка. И ежели я не сразу соглашаюсь, то дивиться тут нечему: ведь я же дал создателю обет целомудрия; а вы мне именем его объявляете расторжение оного. Возвратитесь же в дом свой и молитесь богу, а назавтра увидим, что будет. Пребывайте со господом.

После множества всяких выкрутасов распростились гости с пустынником и, разговаривая промеж себя, вернулись во-свояси.

Коротко сказать, наш отшельник в час обычный и урочный, вооружившись полой тростинкой заместо посошка, вновь припал к уху той простушки и провещал ей те же или по сути сходные словеса; и, учинивши сие, поспешно укрылся в свое обиталище. Старушка, не помня себя от радости и воображая, будто уже бога за ноги схватила, вскакивает ни свет ни заря и уже безо всякого сомнения сообщает дочери новость, подтверждая намеднишнее видение. Одним словом:

— Идем к божьему человеку.

Вот они пошли, а он, завидев их издали, хватает требник, становится на молитву и в таком виде перед своею кельей принимает от добрых женщин поклон. Ежели вчера она вела о первом своем видении долгую рацею, так нынешняя вышла ничуть не короче; а свят муж, знай, дивится и, наконец, восклицает:

— Ей, господи! За что мне сие? Сотвори со мной по воле своей, хоть и не достоин был бы я без пространной твоей милости сотворить столь великое дело.

Ну, вот, батюшка мой, — говорит добрая женщина, — сами вы теперь видите, что это не в шутку, раз что ангел вдругоряд мне объявился.

— Поистине, голубушка, — ответствовал пустынник, — материя сия столь возвышенная и трудная и необычайная, что ответ я могу вам дать только условный. Не подумайте, будто я велю вам, дожидаясь третьего видения, искушать творца. Но, как говорится, бог троицу любит. А посему прошу вас и умоляю, чтобы еще и эта ночь протекла в одном лишь ожидании милости божией; и ежели ныне он по милосердию своему объявит нам то же, что в прошлые ночи, то мы сотворим во славу его.

Не по душе было доброй старушке сие промедление в послушании создателю, но, в конце концов, решила повиноваться отшельнику, яко мудрейшему.

Когда же она улеглась, погруженная в думы о великом деле, которое ей все время в голову лезло, распутный лицемер сошел с горы, подводит ей к уху тростинку, приказывая раз навсегда, яко ангел, во имя господне, чтобы она отвела свою дочь к отшельнику ради объявленной ранее причины. Когда рассвело, она не запамятовала сего приказания, но, купно с дочерью возблагодарив господа, направилась с нею к келье; а пустынник, выйдя к ним навстречу, приветствовал и благословил их во имя божие. И добрая мать, ликуя больше всех на свете, не скрыла от него нового своего откровения, после чего отшельник, взяв ее за руку, проводил в свою часовенку, а дочь последовала за ними. И там принялись они воссылать всеусерднейшие моления к творцу и вседержителю, сего великого чуда их сподобившему. После краткой отшельниковой проповеди касательно снов, видений, явлений и откровений, нередко людям даруемых, он перешел к делу, ради коего они собрались. И, видит бог, красно и благочестиво увещевал их пустынник, как самим вам нетрудно догадаться.

— Коль скоро господь желает и приказывает, чтобы от меня пошло апостольское потомство, и открыл нам волю свою не раз и не два, а еще в третий напридачу, то следует подумать, сказать и заключить, что великое благо из сего деяния проистечет. А посему я полагаю, что лучше и нельзя сделать, как ускорить выполнение приказа, ибо вряд ли не излишне я промешкал, не давая веры небесному откровению.

— Правду вы сказали, святой отец, отвечала старуха.—Как же соизволите вы поступить?

— Вы теперь же оставите дочь вашу здесь, — сказал отшельник, — мы с нею станем на молитву, а затем сотворим, что укажет нам господь.

Добрая старушка с этим согласилась, а дочь поступила так же из послушания. Едва отец пустынножитель очутился наедине с девицей, как немедля раздел ее донага, словно собирался сызнова крестить; и поверьте, что сам он не остался одетым. Что тут долго рассказывать? Столь часто и подолгу держал он ее у себя заместо диакона, а нето из боязни пересудов захаживал к ней на дом, что, наконец, чрево ее начало вздуваться, чему она так была рада, что и сказать невозможно. Но ежели дочь радовалась своей беременности, так мать ликовала во сто раз больше. А проклятый ханжа тоже делал вид, будто доволен, на самом же деле готов был взбеситься со злости.

Бедная одураченная мать, взаправду думая, что пригожая ее дочка породит красавца-сына, предназначенного со временем сделаться папою римским, не удержалась, чтоб не рассказать о том ближайшей своей соседке, которая так изумилась, словно у нее рога выросли, однакоже слегка заподозрила обман. Недолго скрывала она от прочих соседей и соседок; что дескать дочь такой-то от трудов святого отшельника тяжела сыном, которому на роду написано стать римским папою.

— Знаю же я все, — говорила она, — со слов самой матери, а ей открыл господь бог.

Эта весть сейчас же распространилась по окрестным весям.

А тем временем дочка в добрый час разрешилась... красивой и здоровой девочкой, чем была весьма удивлена и раздосадована и простушка-мать — тоже, равно как и соседки, готовившиеся стать восприемницами его святейшества папы.

Новость эта узналась так же скоро, как и предыдущая, и, между прочим, одним из первых проведал о том отшельник, который сейчас же убежал в другую землю, не знаю, в какую; затем ли, чтоб обмануть другую молодицу или девицу, или же во пустынях египетских с сокрушенным сердцем принести в грехе своем покаяние.

Как бы то ни было, бедная девушка осталась опозоренной, что весьма прискорбно, ибо была она пригожа, мила и добросердечна.

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

Наряду с литературой, создававшейся писателями-гуманистами, во Франции XVI в. существовала многообразная народная литература, в значительной мере связанная с эстетическими традициями доренессансного периода. Это были, во-первых: «народные книги» (Livres populaires), представлявшие собой лубочную обработку средневековых героических, фантастических и любовных историй («Гюон Бордосский», «Роберт Дьявол», «Мелюзина» и др.), далее — фаблъо, фарсы и соти (sotie — «дурачество», комедийно-сатирический жанр французского театра XV—XVI вв.), буфонная, дидактическая и сатирическая поэзия, во многом близкая поэзии вагантов, и, наконец, народные песни, старейшие собрания которых (тексты и мелодии) восходят к XV в. В этой пестрой литературе жил языческий дух «старой веселой Франции», идеи освобождения плоти, пробивавшиеся сквозь толщу церковной схоластики, стихийный протест против аскетизма и феодального гнета. Площадная буфонада сочеталась здесь с живым галльским юмором, шутовской задор масляничных гуляний — с тонкой грацией песенной лирики. На почве именно этой литературы выросло творчество Ф. Рабле, не случайно почерпнувшего сюжет своего гениального романа из лубочной «Хроники великана Гаргантюа» (1532 г.). Выдающийся художественный интерес представляют народные песни. Они подчас удивительно изящны и красивы. Особую прелесть придает им легкая шутка, светлый юмор, проникающий, например, многие любовные песни. Большой раздел французской народной лирики образуют так называемые исторические песни (Chants historiques), повествующие о различных замечательных событиях отечественной истории (мы приводим песнь о злополучном для французов сражении при Павии 1525 г., глубоко поразившем народное сознание Франции). Образцом буфонно-лубочной поэзии может служить популярная в XVI в. во Франции шуточная книга «Искусство врачевания» (Le vraye medecine, изд. 1540, 1575 и 1602 гг., ср. в русской литературе конца XVII в. «Лечебник, как лечить иноземцев»), которую мы приводим в извлечениях. К традициям поэзии вагантов близка «Развеселая проповедь святой лозы» (Sermon de S. Raisin), прославляющая винопитие в форме, пародирующей церковную проповедь. Народную ненависть к феодальной и церковной знати отражают сатирические стихотворения знаменитого французского комедианта начала XVI в. Жана дю Понтале, который даже поплатился тюремным заключением за свое пристрастие к политической сатире, — в одном из своих соти он зло осмеял вдовствующую королеву, мать Франциска I, изобразив её в виде «дурацкой матери», грабящей народ. Буфонные образы «дураков» получают в конце XV — начале XVI в. широкое распространение во французской литературе (ср. немецкую Narrenlitteratur). Они наполняют поэзию и театр; в обличии «дураков» выступают действующие лица фарсов и главным образом соти. Буфонно-шутовской элемент играет в соти огромную роль. Самый жанр зародился в Париже в среде «Беззаботных ребят», — самодеятельного кружка горожан, члены которого носили дурацкий колпак и двуцветный костюм, напоминавший одежду шутов, и возглавлялись «принцем дураков» и его ближайшей помощницей — «дурацкой матерью». Под маской шутовства соти задорно обличали всевозможные пороки и злоупотребления современной общественной жизни. Ниже мы приводим рифмованный «Клич принца дураков»

(Le cry du prince des sotz), принадлежащий перу крупнейшего мастера соти — Пьера Гренгора (ок. 1470 — ок. 1539 гг.). «Клич» обращен к публике, которую автор приглашает посетить представление.

* * *

Мул Бодуэн красотку ждет,
Ее на мельницу везет:
Зерно смолоть ей надо.
Ланфрен, ланфра, ла-ти-та-та,
Ла-дон-ден, ла-ри-та.
Зерно смолоть ей надо
В саду, в тени куста.

Красотку мельник увидал,
И громко он захохотал:
«Вот женщина на муле!»

«Ты смелешь, мельник, мне зерно?»
«Да, госпожа, пойдет оно
В помол без промедленья».

Пока зерно ворочал вал,
Красотку мельник целовал,
А волки съели мула.

«О мельник, помогите вы!
Проклятье мельнице, увы!
Ведь волки съели мула».

«Вот в сумке несколько монет,
Возьмите два экю, мой свет,
Купите снова мула.

На рынок нужно ей спешить,
Чтоб мула нового купить,
Купила же — ослицу.

Идет навстречу ей супруг.
Ее увидев, крикнул вдруг:
«Куда девала мула?»

«Ты молодое пил вино, —
Затмило разум твой оно,
И не узнал ты мула.

Чудесный месяц май сейчас,
И зверь меняет шерсть как раз:
Слиняла шерсть у мула».

* * *

Высоко в лесу
Проживал отшельник.
За душою нет
Хворосту вязанки.
Маргарита — ха-ха-ха,
Маргарита — ха.

За душою нет
Хворосту вязанки,
Но красотка-дочь
В старости утеха.
Маргарита — ха-ха-ха,
Маргарита — ха.

Ей велит в лесу
Насбирать орехов.
Но она в лесу
Тихо задремала.

Трое молодцов
По лесу шагало.

Первый говорит:
«Хороша девица».
Говорит второй:
«Лучших не бывало».
Третий говорит:
«С ней хочу слюбиться».
Маргарита — ха-ха-ха,
Маргарита — ха.

* * *

Отец мой, отец мой,
Вы сделали зло,

Де-ри-ра,
Отдав меня в жены,
Увы! — старику,
Де-ри-рет,
Увы! — старику,
Де-ри-ра.
Отдав меня в жены,
Увы! — старику,
Де-ри-ра.

Ведь первой же ночью,
Что лег он со мной,
Де-ри-рет,
Что лег он со мной,
Де-ри-ра.
Заснув, повернулся
Ко мне он спиной.

Я юбку надела
Порою ночной,
И, платье накинув,
Пошла я домой.

Отец мой, отец мой,
Вы сделали зло,
Отдав меня в жены,
Увы! — старику.

— О дочь моя, дочка,
Он с полной мошной.

— Отец мой, отец мой,
Что будет со мной?
Богатство не в радость,
Коль быть мне одной.

Ах, старость и младость —
Союз преплохой,

А младость и младость,
Дружны меж собой,
Де-ри-рет,
Дружны меж собой,
Де-ри-ра.

* * *

Соловушка в тени ветвей,
Снеси веселому ты другу
Привет мой нежный поскорей,
Скажи, чтоб не забыл подругу.

Тебя я, соловей, молю —
Исполни вмиг мое желанье:
Скажи тому, кого люблю,
Что в рощице я жду
свиданья.

Пускай придет он поболтать
Я с ним так счастлива бываю:
Его мне стоит увидать —
Я все невзгоды забываю.

Ночами плохо спится мне,
Я просыпаюсь от испуга:
Мне часто кажется во сне,
Что я держу в объятьях друга.

Ему, кто честно полюбил,
Верна я буду до могилы:
Ведь, чтоб злословец ни
твердил,
Одну меня избрал мой милый.

* * *

В рощице, брюнетка,
К встрече будь готова.
Милой дал я слово,
Что приеду снова.
(В рощице, брюнетка,
К встрече будь готова.)
Не сдержу я слова:
Конь, увы, раскован.
— Будет он подкован
Золотой подковой.
— Кузнеца такого
Целовать готова
За его подковы.

ПЕСНЯ ПО ПОВОДУ СРАЖЕНИЯ ПОД ПАВИЕЙ

1525 г.

I.

Восплачемте, солдаты, о горестной судьбе.
Пою я о Франциске, о славном короле.

II.

Король наш знаменитый; он несравним вполне.
Он побеждал повсюду пешой и на коне.

III.

В Матвеев день ужасный созвал к оружью нас
Король наш знаменитый. Недобрый был тот час.

IV.

Из королей всех выше Франциск, король побед.
Горюйте же, солдаты, случилось много бед.

V.

Предателям — проклятье, проклятье навсегда,
Но подлости предела не будет никогда.

VI.

О лживые канальи! Обманут был герой.
Они ушли позорно, покинув жаркий бой.
Оставили Франциска, живот спасая свой.

VII.

Тремойль наш благородный, а также Ла Палисс,
Они не обманули, с отвагою дрались,
Они в бою погибли, погибли, не сдались.

VIII.

Отважные ландскнехты и цвет французских сил
Сражались вы упорно, но рок вас поразил.
Не правда ли печально? Час смерти ваш пробил.

IX.

О рыцари и принцы, властители страны,
О павших не забудьте, погибших в дни войны,
И, знайте, за Франциска вы отомстить должны.

X.

Коль герцог Альбани на помощь подоспел,
Тогда бы не достался Франциску плен в удел.

Из «ИСКУССТВА ВРАЧЕВАНИЯ»

АВТОР

Я практикую много лет,
Велик мой опыт в медицине,
И эту книжку ныне в свет
Я издаю по сей причине.

Чтоб славились везде отныне
Мои рецепты, — всю ее
Словами кухонной латыни
Я разукрасил. Вот и все.

ПРОТИВ ЗУБНОЙ БОЛИ

Зубная боль, что говорить,
Приносит людям муки ада.
Но нужно так ее лечить:
Наполнить ухо ветром надо.

В другое же полфунта хлада
Как можно глубже запихать,
Бочонок выпить лимонада
И, захмелев, улечься спать.

ПРОТИВ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Malum testus — боль головная.
Чтоб излечить ее, нужна
Вина бутылка — и большая.
Всю осушив ее до дна,

Больной за полчаса до сна
Уляжется пусть кверху задом,
И он излечится сполна.
Не верите? Ну, что ж, не надо.

ПРОТИВ ВЛЮБЛЕННОСТИ

Amourois — те, которых в дрожь
Любовная кидает рана;
Таких немало ты найдешь
В домах Эврэ, в домах Руана.

Им трое суток, вставши рано,
Не надобно очей смыкать
И то и дело очень рьяно
Дверную ручку целовать.

ПРОТИВ РЕВНОСТИ

Отлично знают все вокруг,
Что ревность выносить
геройство,
Что это — тягостный недуг
Сверххолерического свойства.

Так вот: полмеры беспокойства
И пара милых женских глаз
От пыток этого расстройства
Больного исцелят тотчас.

ПРОТИВ БЕССОННИЦЫ

Maudamus — значит сон плохой
С бессонницей бороться сложно.
Всегда тревожа наш покой,
Она терзает нас безбожно.

Ужа головку осторожно
Глотнув, на землю животом
Улечься надо: непреложно
Тогда заснете мертвым сном.

РАЗВЕСЕЛАЯ ПРОПОВЕДЬ СВЯТОЙ ЛОЗЫ

«Hoc bibe quot possis,
Si vivere sanus tu vis»;
Hec verba scribuntur
In Cathone, ultimo capitulo [а].

Правильно сказал Катон,
Мудрецом не зря был он.
Жизнь уныла без вина,
Трезвому к чему она?

Каждый должен быть готов
Исполнять завет Христов.
Ведь на свадьбе он давно
Воду превратил в вино.

От воды велик ли прок?
Сколь милее гроздий сок!
Потому спаситель наш
Им наполнил сотню чаш.

Ежели бессильны вы
Чудеса творить, увы,
То старайтесь подражать
В том, на что вас может стать.

Пить водичку ни к чему.
По совету моему
Пейте сок чудесных лоз—
Пил его и сам Христос.

А чтоб каждый, каждый дом
Был всегда богат вином,
В день Мартина [б] нужно нам
Пасть к его святым стопам,

Как и девы пресвятой,
Что была на свадьбе той,
Где ее небесный сын
Бить заставил винный крин,

Чтоб замолвила она,
И послал он нам вина
Столько, сколько нужно тут,
Где французы век живут.

Чтоб она была добрей,
Лишний раз напомним ей,
Грянув cum corda nostra:
«Vinum facit leticia;
Hoc bibe cum possis,
Si vivere sanus tu vis [в].

ПОНТАЛЕ

Жан дю Понтале (Jehan du Pontalais) — французский комический актер и драматург начала XVI в. Как и Гренгор, он принадлежал к «Беззаботным ребятам». В 1512 г. он участвовал в представлении гренгоровского соти «Игра о принце дураков и о дурацкой матери». В 1516 г. он был брошен в темницу за то, что осмелился изобразить мать короля Франциска I в обличии «Дурацкой матери», грабящей и разоряющей Францию. Популярность его была огромной. «В наше время очень мало найдется таких людей, которые не слыхали бы про мастера Жана Понтале, — писал гуманист Бонавентура Деперье, — память о нем еще очень жива; не забылись еще его остроты, шутки и прибаутки и его замечательные представления» («Новые забавы», XXX). Из произведений Понтале до нас, видимо, дошла только книга сти-

[а] «Пей, сколько можешь, если желаешь жить здоровым», — так сказано у Катона в последней главе.

[б] Праздник св. Мартина — 11 ноября.

[в] От всего сердца: «вино рождает радость, пей, сколько можешь, если хочешь жить здоровым».

хов и прозы под заглавием «Contreditz de Songecreux» (1529 г.), в которой мы, между прочим, находим ряд ярких сатирических стихотворений, отражающих ненависть народа к господствующим сословиям.

ДВОРЯНСТВО

«Столетнее знамя
Валяется в хламе»,
Народ говорит.
В породе нет прока,
Коль волею рока
Она лишь смердит.

. .

Кто девушек не соблазнял,
Кто не плодил детей вне брака,
Кто в карты дом не проиграл,
Кто не сходился с бабой всякой,
Кто руки не позорил дракой,
Кто не распух от крепких вин,
Тот в наши дни не дворянин.

Кто не громил, не поджигал,
Кто не топтал на нивах злака,
Быков, свиней не воровал,
Кто не кидался, как собака,
На бедняка под сенью мрака,
Не обирал его овин,
Тот в наши дни не дворянин.

Всем этим подлецам пристал
Колпак дурацкий, и однако
С мошнами дворяне
С гербами мещане —
Чванливый народ.
Лишь тот благороден
И богу угоден,
Кто честно живет.

. . . . .

Молчи, крестьянин и вассал,
Пред тем, кто пьяница, гуляка,
Распутник, вор и забияка.
Кто не совсем собачий сын,
Тот в наши дни не дворянин.

Когда-то те, что зачинали
Роды дворянские, питали
Дух вольности в груди своей.
Их люди жили без печали
И верой в бога освящали
Труды своих смиренных дней.
А нынче дворянин — злодей!
Громит и губит он людей,
Безжалостней чумы и мора.
Клянусь вам, надобно скорей
Их всех повесить без разбора.

ПРИДВОРНОЕ ДУХОВЕНСТВО

Монахи, клирики и доктора,
Что состоят на службе у двора,
Не думают о саване христовом,
Божественным пренебрегают словом,
Ничуть не дорожат святым покровом.
Иосифу, Матфею, Иоанну
Навек оставить их они готовы.
А требник? Им не нужно никакого.
Самаритянке грешной служат рьяно,
Сосуду всех пороков и обмана,
Торговке сладострастья окаянной.
Однако же двору они нужны,
Чтоб мог во всю грешить он невозбранно.
Пусть будет так! Одно лишь мне желанно:
Чтоб бог платил им из своей казны.

ГРЕНГОР

Пьер Гренгор (Pierre Gringore, ок. 1470 — ок. 1539 гг.), или Гренгуар (Gringoire), как он позднее называл себя (под именем Гренгуара В. Гюго выводит его в романе «Собор Парижской богоматери») — видный драматург, актер и режиссер начала XVI в. Будучи «Дурацкой матерью» у «Беззаботных ребят», Гренгор сочинял язвительные соти, в которых живо откликался на политическую злобу дня. Так, в период напряженных отношений между французским королем Людовиком XII и папским Римом он выступил со своей знаменитой «Игрой о принце дураков и дурацкой матери» (поставлена в Париже в начале 1512 г.), в которой беспощадно осмеивал главу католической церкви. В пьесе выступала «Дурацкая мать» (ее, как обычно, играл сам Гренгор) в одеждах римского папы. По ходу пьесы с нее срывались священные одежды и, таким образом, наместник св. Петра в Риме представал в своем «дурацком» обличии. Спектакль предварялся забавным «Кличем принца дураков», в «гробианской» манере призывавшим парижан посетить имеющее быть на масляницу представление.

КЛИЧ ПРИНЦА ДУРАКОВ

Сюда все дурни, — толстые, худые,
Седоволосые и молодые,
Премудрые и вовсе без мозгов;
Сюда печальные и удалые,
Распутные и всякие иные
Из замков, деревень и городов!
Я объявляю вам без лишних слов:
На масляной неделе в воскресенье
Ваш принц дает на рынке представленье.

Сюда, все дуры — дамы и девицы,
Старухи, жены и отроковицы,
Все те, кого прельщает пол мужской,
Уроды, феи, умницы, тупицы,
Румяные и те, что бледнолицы,
Все, шляющиеся по мостовой!
К вам, дуры, клич я обращаю свой:
На масляной неделе в воскресенье
Ваш принц дает на рынке представленье.

Всех дураков — приятелей стакана,
Блюющих преобильно утром рано,
Любителей трактиров, игр и драк;
Мужей, что жен своих ревнуют рьяно,
И тех, что в грех не ставят им обмана,
Всех прощалыг, распутников, гуляк
Зову сюда скорей направить шаг.
На масляной неделе в воскресенье
Ваш принц дает на рынке представленье.

Всех дур своих скликает Дурья матка;
Святош, хлебающих вино украдкой,
Веселых девок, элегантных фей,
Суровых дур и дур с улыбкой сладкой,
Дур, преданных мужчинам без остатка,
Кормилиц, горничных с округи всей
Скликаю я. Сюда, сюда, скорей!
На масляной неделе в воскресенье
Ваш принц дает на рынке представленье.

Владыкой дураков сие дано
В корчме средь шума пьяного и гама,
И возгласом согласья скр[illegible]зно
Из задницы весьма почтенной дамы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЭЗИИ ФРАНЦУЗСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

МАРО

Клеман Маро (Clément Marot, 1495—1544)— наиболее видный предшественник Плеяды. Родился в Кагоре в семье поэта Жана Маро. Был пажем Маргариты Наваррской, затем перешел на службу к Франциску I; в битве при Павии был ранен и вместе с королем взят в плен. Несмотря на близость ко двору и заступничество короля и его сестры, не раз подвергался преследованиям. По обвинению в ереси (протестантизме) был заключен в тюрьму. В конце концов принужден был бежать из Франции и скитаться по городам Италии и Швейцарии. Умер изгнанником в Турине (Сев. Италия).

Маро писал в переходную эпоху. Еще не сложилась французская ренессансная поэзия в ее классическом выражении, хотя Маро, внимательно изучавший и переводивший античных поэтов (Вергилия, Овидия, Лукиана), уже культивирует по образцу древних поэтов классические формы эпиграммы, идиллии и эклоги. Вместе с тем еще не утратила своего обаяния и средневековая поэзия (традиционные формы баллады, рондо, песни и др.), в которой Маро привлекают преимущественно те ее проявления, в которых заключался протест против церковного аскетизма, либо проклamация прав чувственного человека (народно сатирическая, антиклерикальная или застольная поэзия, куртуазная поэзия). При этом Маро смягчает «гробианские» элементы средневековой поэзии, освобождает ее от аллегоризма и мистицизма школы «Великих риторов», вносит в поэзию чувство меры, черты высокого артистизма. Мастер изящной формы, грациозной шутки, Маро особенно охотно культивировал малые поэтические формы, в которых достиг замечательного совершенства. Основным жанром его творчества была эпиграмма, созданная под влиянием Марциала, то галантная, то ироническая, живо откликавшаяся на текущие события, иногда пронизанная тонким лиризмом и, как вся поэзия Маро, овеянная духом жизнерадостного вольномыслия.

На русском языке: ряд стихотворений переведен С. Пинусом (в его антологии «Французские поэты», СПБ, 1914 г.). См. так же — антологию В. М. Блюменфельда, «Поэты французского Возрождения», Л., 1938 г.

БРАТ ЛЮБЕН

Чтоб на почтовых в город ехать —
Пять раз, сто раз, по делу ль, так,
Для плутней низких или смеха, —
На это брат Любен мастак.
Но христианской жизни стяг
Нести высоко, бросив страсти, —
Бесед степенных ярый враг,
На это брат Любен не мастер.

У вас здесь совесть не помеха —
Последний выманит пятак,
В мошне останется прореха, —
На это брат Любен мастак.
Вам не поймать его никак,
Чтоб возместить хотя б отчасти
Потерю, — малый не дурак,
На это брат Любен не мастер.

Чтоб тонко совратить к утехам
Невинность девы — дайте знак:
Не нужно сводни для успеха —
На это брат Любен мастак.
Он в проповеди царь и маг,
Воды ж прекрасной, — рви на части, —
Не станет пить, — пои собак.
На это брат Любен не мастер.

Чтоб сделать зло, ускорит шаг, —
На это брат Любен мастак,
Но ближнему доставить счастье —
На это брат Любен не мастер.

ГОСПОДИН АББАТ И ЕГО СЛУГА

Аббат почтенный со своим слугой —
Как слепка два, что сделаны из воска;
Один шалун, — проказник и другой,
Один шутник, — другой злословит плоско,
Тот пьяница, — пьянчужка и второй.
Но зол их спор вечернею порой:
Без чарки ночь аббат сочтет бедою
(Без лекаря нам смерть вдвойне страшна),
Слуга ж не спит: ему не до покою,
Пока на дне — хоть капелька вина.

СУДЬЯ И САМБЛАНСЭ [а]

Когда Майар, палач наш, в Монфокон
Вел Самблансэ на смертные страданья,
Скажите, кто по виду угнетен
Был более? Скажу без колебанья:
Майар казался шедшим на закланье,
А старец Самблансэ так бодро шел,

[а] Главный казначей Франциска I, казненный в 1527 г. по навету католических кругов.

Что мнилось: в Монфокон для наказанья
Он палача Майара вешать вел.

СОВЕРШЕННОЕ РОНДО

Друзья, теперь на воле я гуляю,
А все же я темницу испытал;
Что за судьбу, живя, претерпеваю!
Но бог велик: я зло и благо знал!

Шептал завистник (чорт его бы взял) —
Моей тюрьмы я не увижу краю, —
Пусть он зубаст! Я узел разгрызал,
Друзья, теперь на воле я гуляю!

Все ж, если двор я Римский раздражаю,
К злодеям я причислен не бывал:
Хоть посещал прекрасных лиц, я знаю,
А все же я темницу испытал!

Ведь только той я милость потерял,
Чью доброту всечасно вспоминаю,
Как тот же час в неволю и попал:
Что за судьбу, живя, претерпеваю!

В твоей тюрьме, Париж, изнемогаю;
То в Шартре[a] я, беспомощен и мал;
А ныне вас, где захочу, встречаю.
Но бог велик: я зло и благо знал!

Добро, друзья! Тот хорошо сыграл,
Из чьей руки свободу обретаю.
И весел я и строками похвал
Возврат весны и воли прославляю,
Друзья, теперь!

О ПЛОХОМ ПОЭТЕ

Готов, дурак, своим союзом
Ты девяти потрафить музам;
Но, мастер тяжкий вздор нести,
Уморишь больше девяти.

---

[a] Намек на шартрскую тюрьму, куда Маро был заключен инквизицией в 1525 г.

О СМЕХЕ ГОСПОЖИ Д'АЛЬБРЭ

Милы в ней шеи алебастр блестящий,
И нежный говор, и лица овал.
Но легкий этот смех, с ума сводящий, —
Вот лучшее, что я в ней отыскал.
Он всякого легко б околдовал,
В какие б ни ушла она места.
И если будет жизнь моя пуста,
Увижу я, что скорбь одолевает, —
Чтоб ожил я, нужна усмешка та,
Какой она живит и убивает.

ОБ АННЕ, БРОСИВШЕЙ В МЕНЯ СНЕГОМ

Снежком, шутя, в меня метнула Анна;
Конечно, я считал, что снег студен;
А он — огонь и обжигает странно,
Вдруг понял я в тот миг, воспламенен.
Но коль огонь незримо поселен
В самом снегу, куда же мне укрыться,
Чтоб не пылать? Одной тебе взмолиться!
Погасишь ты тот пламень не водой,
Не снегом и не льдом, — коль загорится
В тебе пожар такой же — стихнет мой.

О САМОМ СЕБЕ

Уж я не тот любовник страстный,
Кому дивился прежде свет:
Моя весна и лето красно
Навек прошли, пропал и след.

Амур, бог возраста младого!
Я твой служитель верный был;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли б я тебе служил!

ЭЛЕГИЯ

Свершил ли я, дружок, проступок некий?
Ах, ваша страсть усыплена навеки.
От вас вестей — ни письменной, ни устной;
Жду не дождусь письма душою грустной;
Нигде, нигде я не встречаю вас;
Ваш пыл любви, — ужели он угас
И больше нет бывалого огня?

Где очи те, что, глядя на меня,
Сверкали вдруг улыбкой иль слезами?
Где все слова с тревогой и мечтами?
Где милый рот, что горесть умирял,
Когда меня так сладко целовал?
Где сердце то, что, верное звезде,
Когда-то мне вы отдали? О, где
Лилейная рука, которой вы
Мне дали знак не уходить? Увы!

Влюбленные! Ужель возможно это.
Чтобы любовь увяла без расцв
О, нет! Скорей поверю, что ручьи
Вспять повернут журчащие струи,
Узнав, что я не молвил злого слова,
Не поступал ни разу с ней сурово.

Итак, Амур! Под сперсньем крылий
Ты ль, выхолив сердца красавиц, ты ли
Сам охладишь сердечко той, Амур,
По коей я тоскую чересчур?
Нет, обольсти и молви мне, невежде,
Что милая нежна со мной, как прежде.

СЕН-ЖЕЛЕ

Меллен де Сен-Желе (Mellin de Saint-Gelais, 1491—1558) — поэт школы Маро. Сын епископа, получил отличное образование, ряд лет провел в Италии, где штудировал право и знакомился с поэзией итальянского Возрождения, был придворным поэтом Франциска I. На творчестве Сен-Желе весьма заметно сказалось влияние поэзии итальянских петраркистов; он первый ввел во французскую поэзию форму сонета; его галантная лирика подчас крайне вычурна и манерна. В то же время вслед за Маро он культивирует живую галльскую шутку, задорно смеется над былыми кумирами и идеалами средневековья.

Ряд стихотворений Сен-Желе приведен в вышеназванной антологии В. М. Блюменфельда.

СОНЕТ

Как очертанья этих гор далеки,
Так вдаль стремится и моя тоска;
Я в вере тверд, они стоят века;
Их гребни, как мой помысел, высоки.

С их круч бегут бурливые потоки,
Из глаз моих струится слез река;
Жестокий ветер хлещет им бока,
Мне грудь теснит за вздохом вздох глубокий.

Их пастбища дают стадам приют,
А у меня в душе всегда живут
Желания и бродят в ней стадами.

Бесплодны горы, сир и пуст мой дом.
Несходны мы, как погляжу, в одном:
Они в снегу, меня снедает пламя.

РЕВНОСТЬ

Глаза и рот ваш целовать прекрасный
Готов я много, много тысяч раз,
Когда вы отбиваетесь напрасно,
А я держу в объятьях крепких вас.
Но в это время мой влюбленный глаз,
Чуть отстранясь, на прелести косится,

Которые мой поцелуй крадет.
Я так ревнив, что глаз мой не мирится
С соперником, хотя б им был мой рот.

* * *

Вдали от гаваней, в морском просторе,
Рассыпав пряди золотые в море,
Плывут сирены и поют о счастье,
И пенье их, сливаясь в ясном хоре,
Удерживает в буйном волн напоре
Киль под водой и над водою снасти
И часто губит их в бездонной пасти.
Так жизнь поет сиреной, и сиянье
У нас в душе, а смерть без содроганья
Ломает весла нам над бездной пенной,
И остается только слух, сказанье,
Неуловимое для осязанья,
Как ветер, дым, и тень, и сон блаженный.

ПАПСТВО

Распутница, владея светом целым,
Такой себе присвоила почет
И власть такую над душой и телом,
Как бог, который в небесах живет.
И долго тешилась она. Но вот
Стрелу в нее какой-то враг направил.
А там и лекарь вдруг ее оставил,
Беспомощную и больную тяжко,
Плоха она, и кто-то уж расславил,
Что впала в слабоумие бедняжка.

МАРГАРИТА НАВАРРСКАЯ

Маргарита Валуа, или Наваррская (1492—1549)—сестра короля Франции Франциска I, с 1527 г.—жена Генриха д'Альбре, короля Наваррского (ее первый муж герцог Карл Алансонский умер в 1525 г.). Вновь овдовев в 1543 г., Маргарита стала правительницей Наваррского королевства. Двор ее был средоточием культурной жизни тогдашней Франции. Сама она отличалась широкой образованностью, она изучила латинский, итальянский, испанский, немецкий и древнееврейский языки, а в возрасте 40 лет занялась изучением греческого языка. Ее друзьями были поэты Клеман Маро, Ронсар и др. Гуманист Бонавентура Деперье, автор антиклерикального памфлета «Кимвал мира» (1537 г.), был ее личным секретарем. Она покровительствовала протестантам, оказывая защиту гонимым за ереси и вольномыслие. Литературное наследие Маргариты весьма многообразно. Она испробовала свои силы в различных жанрах. К числу основных ее произведений относятся: сборник стихотворений, вышедший под заглавием «Маргаритки Маргариты из принцесс» («Marguerites de la Marguerite de Princesses» 1547 г.) и книга новелл «Гептамерон»[1] («Heptaméron des Nouvelles», написан около 1540—1549 гг., впервые издан в 1558 г.), написанная в подражание Боккаччо.

Из «ГЕПТАМЕРОНА»

НОВЕЛЛА ПЯТАЯ

ПЕРЕВОЗЧИЦА И МОНАХИ

На пристани Куллон, близ Ниора[2], была женщина перевозчица, которая день и ночь только и делала, что перевозила всех с одного берега на другой. Пришлось ей однажды перевозить двух братьев-миноритов[3]; а так как это самый длинный переезд из всех, какие есть во Франции, то они, чтобы ей с ними не соскучиться, стали склонять ее на любовь, на что она дала им достойный отпор. Они же, не утомившись в дороге и нисколько не охлажденные близостью воды, да к тому же пристыженные ее отпором, решили меж собой взять ее силой, а в случае жалоб с ее стороны сбросить в реку.

Женщина эта была, однако, столь же умна и дальновидна, сколь они были дерзки и хитры. Она сказала им: «Я вовсе не так сурова, как прикидываюсь, и если вы исполните две мои просьбы, то увидите, что я более вас хочу того, чего вы у меня просите». Братья поклялись ей св. Франциском, что нет такой вещи, которой бы они не сделали, чтобы получить от нее желаемое. «Я требую от вас, во-первых, — сказала она, — чтобы вы поклялись не говорить о нашем деле ни одной живой душе». На это они согласились весьма охотно. «И еще, — добавила она, — я хочу, чтобы вы получили удовольствие со мной не на глазах друг у друга, этого стыда я не вынесу. Решайте же теперь, кто хочет иметь меня первый». Братья нашли ее требование весьма справедливым, и молодой согласился уступить первенство старшему. Вот, подъезжая к небольшому острову, женщина и говорит молодому монаху: «Отче, оставайтесь здесь читать свои молитвы до тех пор, пока я не отвезу вашего спутника на другой остров, а если по возвращении оттуда он будет меня похваливать, мы оставим его здесь и поедем с вами». Так молодой минорит и остался на острове в ожидании своего спутника, которого перевозчица свезла на другой остров. Когда они причалили, она, делая вид, что привязывает лодку к дереву, сказала: «Друг мой, поищите местечко, где бы нам устроиться получше». Почтенный отец стал разыскивать подходящее местечко, а она, как только увидела его на суше, оттолкнулась ногой от дерева и отъехала на середину реки, оставив в одиночестве добрых отцов. Отъехав же, она закричала им, что есть мочи: «Господа почтенные, ожидайте ангела господня, который бы прилетел вас утешить, так как от меня вы сегодня ничего не дождетесь». Бедные отцы поняв ее уловку, опустились у воды на колени и взмолились к ней, чтобы она их не позорила, обещая от нее ничего не требовать, ежели она согласится их потихоньку перевезти на тот берег. Она же отъезжая все дальше, ответила им: «Буду я такой безголовой, чтобы, вырвавшись из ваших рук, самой вам в руки отдаться».

Вернувшись в свое селение, она позвала мужа и судей, чтобы они изловили этих двух бешеных волков, из чьей пасти она спаслась только по милости божией. Собралось их сопровождать множество народа, от мала до велика, все захотели принять участие в этой охоте. Бедные братья, завидев такое большое общество, спрятались каждый на своем острове подобно Адаму, когда он сознал свою наготу пред лицом божиим. Стыд открыл им глаза на их грех.

В ожидании наказания они чуть не умерли от страха. И все же были они пойманы и заключены в оковы. А люди все, и мужчины и женщины, осыпали их насмешками и издевались над ними. Некоторые говорили им: «Вот так благочестивые отцы! Проповедуют нам о целомудрии, а сами наших жен соблазняют!» Другие говорили: «Не похожи ли они на гробницы, снаружи побеленные, внутри которых смерть, трупы и гниение». И еще кто-то закричал: «По пло-

дам узнаешь, какие это деревья!» Поверьте, что все евангельские тексты, осуждающие лицемерных, были упомянуты перед бедными узниками. Но они, однако, были выручены и освобождены своим настоятелем, который с великой поспешностью явился им на помощь. Он уверил судей, что подвергнет их наказанию, более суровому, нежели то, которое осмелились бы применить гражданские власти; и чтобы хоть отчасти удовлетворить правосудие, они прочтут столько месс и молитв, сколько им будет повелено. Судья удовлетворил его просьбу и выдал ему пленников, а настоятель проучил их так хорошо (сам он был человек добродетельный), что впредь они никогда не переезжали реки, не осенив себя крестным знаменем и не вверив себя богу.

ДЕПЕРЬЕ

Бонавентура Деперье (Bonaventure des Periers, ок. 1510—1544 гг.) — выдающийся писатель-гуманист. Родился в Арне-ле-Дюк (Бургонь). Рано стал известен как гуманист, знаток древних языков. Принимал участие в переводе Библии, предпринятом гуманистом Оливетаном, а также в составлении «Комментариев к латинскому языку» Э. Доле. С 1535 г. обосновывается в Лионе — идейном центре французского свободомыслия XVI в. Здесь он сближается с рядом писателей-гуманистов (К. Маро, Э. Доле, Ф. Рабле). В 1536 г. он становится секретарем Маргариты Наваррской, для придворного кружка литераторов которой он видимо и начал составлять свои новеллы, вышедшие лишь в 1558 г. под заглавием «Новые забавы и веселые разговоры» («Nouvelles récréations et joyeux devis»). Написанные в традициях «Декамерона» Боккаччо, «Фацетий» Поджо и французского сборника конца XV в. «Сто новых новелл» (из которых Деперье почерпнул ряд сюжетов), «Новые забавы» пронизаны жизнерадостным вольномыслием, отличаются живостью и сатирической заостренностью (осмеяние духовенства, схоластических педантов и пр.). Приводимый нами рассказ о шуте Полите Деперье заимствовал из сборника «Сто новых новелл» (Новелла 99).

В 1537 г. Деперье опубликовал свои знаменитые сатирические диалоги «Кимвал мира» («Cymbalum mundi»), написанные в остроумной манере Лукиана. В завуалированной форме диалоги нападают на религию и христианство, не щадя при этом ни католиков, ни протестантов. Образы греко-римской мифологии прихотливо переплетаются в них с современностью, нередко являясь своего рода сатирическими масками, за которыми скрываются явления христианской религии и истории. Книга была признана еретической и приговорена к сожжению. В 1540 г. Деперье был отставлен от двора. Прожив в нищете свои последние годы, он в 1544 г. окончил жизнь самоубийством.

Наряду с романом Рабле, «Кимвал мира» образует вершину французского гуманистического свободомыслия XVI в. Мы приводим первый диалог, представляющий, как нам кажется, наибольший литературный интерес. По мнению комментаторов, вольнодумные намеки Деперье здесь могут быть раскрыты следующим образом: миссия Меркурия — «посланца небес» — намекает на земную миссию Христа. Он является на землю по поручению Юпитера (бог отец), чтобы переплести обветшавшую «книгу судеб», т. е. сменить «ветхий завет» на «новый завет». Два проходимца — Бирфанес и Курталиус, в лице которых автор, видимо, выводит католичество и протестантизм, похищают эту книгу, подменяя ее книгой о различных похождениях Юпитера (как это выясняется в последующих диалогах). Таким образом, святое писание оказывается собранием пустых россказней и анекдотов сомнительной этической ценности.

Приводимые переводы взяты из книги: Б. Деперье — «Кимвал мира, новые забавы». Вступит. статья и редакция И. К. Луппола, перевод и комментарии В. И. Пикова, М.-Л., «Academia», 1936 г.

Из «КИМВАЛА МИРА»

ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ

Меркурий [а], *Бирфанес, Курталиус и хозяйка.*

Меркурий. Совершенно несомненно, что он послал меня заново переплести эту книгу, но не помню — во что он велел ее переплести: в дерево или картон? Он не сказал мне, чем он хочет ее покрыть: кожей или бархатом? И я не уверен также, хочет ли он позолотить ее и переделать фасон застежек и гвоздей по теперешней моде. Очень боюсь, что не сумею ему угодить. Он так торопил меня и взвалил на меня зараз такую уйму поручений, что я перезабыл их одно из-за другого. А тут еще Венера наказала мне передать что-то кипрским девицам насчет хорошего цвета лица, да мимоходом Юнона поручила достать ей какую-то золотую вещицу — нето ожерелье, нето модный пояс, если я увижу здесь внизу. Затем я знаю, что Паллада будет меня спрашивать, не сочинили ли ее поэты чего-нибудь новенького. Далее, мне нужно проводить к Харону двадцать семь душ бездельников, которые подохли в эти дни на улицах от скуки, тринадцать душ пьяниц, перебивших друг друга в кабаках, и восемнадцать — в непотребных домах, восьмерых малых детей, задушенных весталками, и пятерых друидов [б], уморивших себя неистовствами и дурачествами. Когда же я успею исполнить все эти поручения? Где лучше переплетают — в Афинах, в Германии, в Венеции или в Риме? Я думаю, что в Афинах. Лучше, пожалуй, и спуститься туда. Пройду по Ювелирной и по Галантерейной улицам и посмотрю, не найдется ли чего-нибудь для госпожи Юноны. А потом пойду к книгопродавцам поискать каких-нибудь новинок и для Паллады. Однако мне надо здесь держать ухо востро, чтобы меня не узнали. Ведь если афиняне имеют обыкновение запрашивать за свои товары двойную цену, то с меня они запросят четырежды двойную.

Бирфанес. На что это ты там загляделся, приятель?

Курталиус. На что я загляделся? Да я вижу сейчас то, о чем часто читал, но считал вздорным поверьем.

Бирфанес. Что же это за чертовщина?

Курталиус. Я вижу Меркурия, посланника богов. Он спускается на землю.

Бирфанес. Что за чепуха! Это тебе мерещится, бедняга. Тебе приснилось наяву. Ну же, ну, пойдем-ка лучше выпьем. Брось эти вздорные бредни.

[а] *Меркурий* (Гермес) — в античной мифологии — бог изобретений и открытий, покровитель торговли, хитрости и обмана, посланец небес.

[б] *Весталки* — у древних римлян — жрицы Весты, дававшие обет целомудрия. *Друиды* — жрецы у древних кельтов.

Курталиус. Клянусь божьим телом, это сущая правда, а не бредни! Вот где он спустился. Я думаю, что он подойдет к нам. Подождем немного. Посмотри, видишь его там?

Бирфанес. Как тебе не поверить, коли я вижу его своими глазами. Ей богу! Вот человек, разряженный точь-в-точь, как поэты описывают Меркурия. Хочешь, не хочешь, а надо верить.

Курталиус. Молчи. Посмотрим, что он будет делать дальше. Он идет к нам.

Меркурий. Храни вас бог, приятель! Есть ли тут хорошее вино? Божье тело! меня мучит адская жажда!

Бирфанес. Сударь, я думаю, что в Афинах нет лучшего вина, чем здесь. Кстати, сударь, какие новости?

Меркурий. Клянусь душой, я не знаю никаких новостей. Я пришел сюда как раз за тем, чтобы осведомиться о них. Хозяйка, подайте, пожалуйста, вина!

Курталиус. Уверяю тебя, что это не кто иной, как Меркурий. А вот какой-то мешок, который он принес с неба. Если мы только куда-нибудь годимся, то должны узнать, что в нем есть, и украсть его. Положись уж на меня.

Бирфанес. Мы сделаем весьма доброе и славное дело, если обокрадем его. Ведь это не простой мошенник, а изобретатель всех мошенничеств.

Курталиус. Он оставит свой мешок на этом диване, а сам тотчас же пойдет высматривать по всему дому, где что плохо лежит, чтобы хапнуть и положить себе в карман, мы же тем временем посмотрим, что у него в мешке.

Бирфанес. Отлично сказано.

Меркурий. Вино подано? Ну, друзья, перейдемте отсюда в ту залу и будем пробовать вино.

Курталиус. Хоть мы и выпили только что, но с удовольствием составим вам компанию и выпьем еще с вами, сударь!

Меркурий. Пока подают вино, я пойду немножко прогуляться, господа. Велите тем временем сполоснуть бокалы и подать что-нибудь закусить.

Курталиус. Видишь его там, любезный? Я знаю его повадки. Пусть меня повесят, если он вернется, не обшарив все углы этого дома и чего-нибудь не подцепив. Поверь мне, что он не скоро вернется, а поэтому давай заглянем, что у него есть, и тоже обокрадем его, если можно.

Бирфанес. Но надо спешить, иначе он нас накроет.

Курталиус. Вот какая-то книга.

Бирфанес. Что это за книга?

Курталиус. «Que in hoc libro continentur: Chronica rerum memorabilium quas Jupiter gessit antequam esset ipse. Fatorum praescriptum,' sive eorum quae futura sunt certae dispositiones.

Catalogus Heroum immortalium qui cum Jove vitam victuri sunt sempiternam» [a].

Сила божия! Вот прекрасная книга, дружище! Я думаю, что такие в Афинах не продаются. Знаешь, что мы сделаем? У нас есть книга в таком же переплете и такой же величины. Иди отыщи ее. Мы ее положим вместо этой в мешок и завяжем. Он ничего не заметит.

Бирфанес. Тело божие! Мы — богачи! Мы найдем книгопродавца, который даст нам десять тысяч экю за одну только копию с нее. Это книга Юпитера, и мне думается, что Меркурий пошел отдать ее в переплет: она разваливается от ветхости на куски. Держи! Вот книга, о которой ты говорил. Она выглядит ничем не лучше этой, и между ними, по виду, почти нет никакой разницы.

Курталиус. Смотри, как хорошо подошла! Узел совсем такой же, как и был. Он ни о чем не догадается.

Меркурий. Ну, друзья, выпьем! Я ходил посмотреть эту гостиницу, и она мне очень понравилась.

Бирфанес. Сударь, гостиница хороша тем, что в ней есть.

Меркурий. А какие новости?

Курталиус. Мы никаких новостей не знаем и ждем их от вас, сударь.

Меркурий. Ну что же? Я пью за ваше здоровье, господа!

Бирфанес. В добрый час, сударь. Мы ответили вам тем же.

Меркурий. Какое это вино?

Курталиус. Бонское.

Меркурий. Бонское? Тело божие! Сам Юпитер не пил такого нектара!

Бирфанес. Вино, действительно, доброе. Но нельзя сравнивать вино этого мира с нектаром Юпитера.

Меркурий. Сгинь, боже! Юпитер не пил лучшего нектара.

Курталиус. Обдумывайте хорошенько свои слова. Ведь вы ужасно богохульствуете, а утверждая такие вещи, вы доказываете, что вы — нечестивец, кровь божия!

Меркурий. Не сердитесь, друг мой. Я испробовал и то и другое и уверяю вас, что это вино лучше.

Курталиус. Я не сержусь и не пил нектара, чем хвалитесь вы, но мы верим тому, что о нем сказано в писании и что говорят люди. Вы не должны сравнивать какое-то взращенное в нашем мире вино с нектаром Юпитера. Не думайте, что вас за это похвалят.

Меркурий. Я не знаю, что вы о нем думаете, но я говорю правду.

Курталиус. Прошу меня извинить, сударь, но пусть меня постигнет худая смерть, если я не засажу вас за подобное мнение

---

[a] Что содержится в сей книге: Летопись достопамятных деяний, которые совершил Юпитер до своего собственного рождения. Предначертания судеб, или каковы суть истинные предустановления грядущего. Перечень бессмертных героев, которым предстоит вечная жизнь с Юпитером.

в такое место, где вы три месяца не увидите своих ног. К тому же я знаю про вас еще одну вещицу, хоть вам и в голову не приходило, что она кому-то известна. (Послушайте, мой друг, я отлично знаю, что он украл там, в верхнем зале. Клянусь божьим телом, я говорю сущую правду!) Я не знаю, кто вы, но вам очень не пристало говорить такие слова. Вы можете в них раскаяться и дорого поплатиться за то, что недавно сделали. Убирайтесь-ка отсюда по добру по здорову, ибо если я выйду отсюда раньше вас, то, клянусь божьей смертью, вам придется плохо! Я приведу сюда таких людей, что вы скорее пожелаете иметь дело со всеми дьяволами преисподней, чем с самым последним из них.

Бирфанес. Он говорит правду, сударь. Нельзя так мерзко богохульствовать. Поверьте моему товарищу. Нет такого дела, которое он посуливши не сделает, если вы только немного разогреете ему шерсть, клянусь божьим телом.

Меркурий. Скверная вещь иметь дело с людьми! Кой чорт попутал этого Юпитера возложить на меня обязанность общаться и возиться с людьми! Хозяйка, получите по счету, что вам следует. Ну, вы довольны?

Хозяйка. Да, господин.

Меркурий. Сударыня, с вашего позволения я скажу вам на ухо одно слово. Не знаете ли вы, как зовут тех двоих приятелей, которые здесь пили со мною?

Хозяйка. Одного зовут Бирфанесом, а другого Курталиусом.

Меркурий. Больше ничего не нужно. Прощайте. Но за удовольствие, которое мне доставили, угостив меня таким хорошим вином, и за то, что вы сообщили мне имена этих негодяев, я вам предсказываю, что в благополучии и счастливом покое проживете вы свою жизнь и продлится она еще пятьдесят лет сверх того, что для вас установили и назначили мои двоюродные сестры Судьбы.

Хозяйка. Вы мне сулите чудеса за какие-то пустяки, господин. Но я не могу этому поверить, так как совершенно уверена, что ваши предсказания никогда не сбудутся. Я верю, что вы от души желаете мне этого, и со своей стороны охотно согласилась бы пожить так долго и счастливо, как вы мне сулите, но это невозможно.

Меркурий. Ах, вот что вы говорите? Вы смеетесь, вы издеваетесь над моими предсказаниями? Нет, воистину, ваша жизнь не будет столь долгой и счастливой. Рабыней вы будете до конца своих дней и кровью будете истекать каждый месяц. Я вижу, что женщины еще хуже мужчин. Воистину, не сбудется сказанное мною, ибо вы не хотели мне верить. Такого гостя, который сумел бы заплатить вам столь щедрыми обещаниями, вам уже больше не видать, как бы хорошо вы его ни потчевали. Вот опасные пройдохи! Клянусь божьей головой, такого страха я еще никогда не испытывал! Они ведь, кажется, подглядели за мной, когда я крал наверху с буфета тот маленький серебряный образок, который хотел подарить кузену Ганимеду за то, что он всегда отдает мне нектар,

остающийся после Юпитера. Вот о чем они и говорили между собой, когда я от них уходил. А ведь если бы они вздумали меня уличить, то я был бы опозорен вместе со всеми моими небесными родственниками. Но если они когда-нибудь попадутся в мои руки, то я накажу Харону, чтобы он устроил им на берегу Стикса маленький отдых — не перевозил бы их тысячи три лет. Кроме того, я сделаю вам еще одну приятную вещицу, господа Бирфанес и Курталиус. Прежде чем возвращать отцу моему Юпитеру книгу Бессмертия, которую я пошел переплетать, я сотру ваши милые имена, если они в ней записаны, а заодно и имя вашей прекрасной хозяйки, которая столь спесива, что не хочет мне верить и не принимает оказываемых ей милостей.

Курталиус. Ловко мы его надули, погибни душа! Так и следовало поступить, чтобы его выпроводить! Это сам Меркурий — сомнений быть не может.

Бирфанес. Да, это был он, бесспорно. А ведь столь удачной кражи в мире еще не бывало. Мы обокрали короля и покровителя всех воров, и наш подвиг заслуживает бессмертной славы. Мы раздобыли такую книгу, какой не сыщешь во всем мире.

Курталиус. Наша проделка хороша еще и тем, что хотя мы подсунули ему тоже книгу, но в ней написано кое-что другое. Я боюсь лишь, как бы Юпитер, увидевшись с ним и узнав о пропаже книги, не разгромил и не уничтожил из-за нашего преступления весь этот несчастный мир. Он пострадает невинно. А тут ничего не поделаешь, ибо Юпитер бывает довольно-таки грозен, когда берется за дело. Но вот что мы сделаем. Я думаю, что если в этой книге написано только то, что должно совершиться, то подобным же образом все, чему надлежит совершиться в мире, должно быть в ней записано. Ради своего спокойствия мы лишь посмотрим, не была ли наша кража предсказана и предусмотрена, не говорится ли в этой книге, что мы когда-нибудь ее совершим.

Бирфанес. Если говорится, то наверное вот тут, под этим заглавием: «Fatael eventus anni...» [а].

Курталиус. Тс! Тс! Спрячь книгу. Я вижу — сюда идет Арделио. Он захочет ее посмотреть. Мы посмотрим ее тщательнее когда-нибудь в другой раз на досуге.

Из «НОВЫХ ЗАБАВ»

Из НОВЕЛЛЫ ВТОРОЙ

...Был еще один шут по имени Полит. Он жил у одного аббата в Бургейле. В один прекрасный день, утро или вечер, — не могу вам точно сказать, в какое время, — у аббата лежала на ложе одна смазливенькая резвая бабенка, а возле нее и сам аббат. Полит, увидя его в постели, просунул между ножками кровати руку и, на-

а Судьбы и исход веков.

ощупав под одеялом ногу, начал расспрашивать аббата: «Монах, чья это нога?»—«Моя», — ответил аббат. «А это?» — «И эта тоже моя». Отодвинув в сторону найденные ноги и придержав их одной рукой, он нащупал другой рукой еще ногу и спросил: «А это чья же?» — «Моя», — ответил аббат. «Неужели? — воскликнул Полит. — А эта?» — «Ступай, ступай, дурак, — сказал аббат,—и эта тоже моя!» — «Ко всем чертям этого монаха, — вскричал Полит,—у него, как у лошади, четыре ноги».

Ну, можете ли вы после этого сказать, что он не был дураком первого сорта! Но Трибуле и Кайет[а] были дураками на все двадцать пять каратов, тогда как для этого вполне достаточно и двадцати четырех.

Итак, мы начинаем с дураков. Но кого можно назвать дураком? Можете назвать первым меня за мои рассказы, а я назову вторым дураком вас за то, что вы меня слушаете, третьим — того, четвертым — другого. Да и кто не дурак? Всех их не перечтешь. Оставим же их на время и поищем умников. Подвинь-ка поближе свет — я что-то ничего не вижу.

[а] *Трибуле* — известный шут Людовика XII, *Кайет* — шут Франциска I.

РАБЛЕ

Франсуа Рабле (François Rabelais, 1494/?/ — 1553) — великий французский писатель-гуманист. Биографические данные о нем скудны и неясны. Родился в семье зажиточного землевладельца и адвоката. Еще мальчиком был отдан в монастырь францисканского ордена. Здесь (вопреки орденскому уставу, запрещавшему занятия науками) юный Рабле с энтузиазмом занялся античными языками и правом. Выйдя из монастыря, он некоторое время вел жизнь бродячего клирика. В 1530 г. он обосновался в Лионе, где усиленно штудировал медицину, так что уже в 1532 г. получил должность врача в местном госпитале. В 1533—1535 гг. и последующие годы совершил ряд поездок в Италию, где, между прочим, изучал римские древности. В 1537 г. он достиг степени доктора медицины. В год своей смерти Рабле отказался от церковных приходов, которые ему как священнику (впрочем, в последнее время он уже не исполнял своих священнических обязанностей) были даны в 1551 г. Умер он в Париже.

Рабле (с гравюры XVI в.)

Интересы и занятия Рабле всегда носили энциклопедический характер. Помимо медицины, он изучал философию, юриспруденцию, археологию и естествознание. Одним из первых он поставил анатомию на научную почву. Его познания были значительны даже в области военного дела. Он издавал со своими комментариями сочинения античных медиков (Гиппократ, Гален), старые юридические труды и пр. Его величайшее создание — гуманистический роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» («Gargantua et Pantagruel», I—IV книги романа 1533—1552 гг., V книга романа, вряд ли написанная самим Рабле, вышла в свет лишь в 1564 г.). Непосредственным толчком к написанию романа явилась вышедшая в Лионе в 1532 г. анонимная, лубочная книга «Великие и неоценимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа». Роман Рабле при-

надлежит к числу наиболее выдающихся явлений литературы европейского Возрождения.

На русском языке: «Гаргантюа и Пантагрюэль», перевод М. Энгельгардта, СПБ, 1901 г. и В. Пяста, под редакцией, со статьей и комментариями И. Гливенко, «ЗИФ», М., 1929 г. (лучший и более полный перевод). То же под редакцией Б. А. Кржевского, ГИХЛ, Л., 1938 г.

Из «ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЯ»

КНИГА I

ГЛАВА 4-я.

КАК ГАРГАМЕЛЬ ОБЪЕЛАСЬ ПОТРОХАМИ

[Действие романа происходит в стране «Утопия» (ср. Т. Мора), которой правит король Грангузье (что означает: «с большой глоткой»), добродушный великан, «большой весельчак, любивший выпить до дна». Уже в зрелом возрасте он женился на великанше Гаргамели, дочери короля бабочек. Гаргамель зачала от него сына и носила его в утробе до одиннадцатого месяца.]

аким образом и при каких обстоятельствах Гаргамель родила — следует ниже, а если не верите, то пусть у вас кишка выпадет. У нее кишка выпала третьего февраля, после обеда, за которым Гаргамель съела слишком много потрохов. Потроха — это внутренности откормленных волов, то есть таких волов, которые жиреют, кормясь в хлеву и на заливных лугах.

Таких именно жирных быков зарезали 367 014 штук с целью засолить их во вторник на первой неделе поста и иметь весной достаточный запас мяса по сезону, чтобы в начале обеда, помянув соленым, получше выпить. Потрохов получилось, как сами понимаете, достаточно, и таких вкусных, что каждый пальчики облизывал. Но дьявольски плохо было то, что их нельзя было долго хранить, потому что они портились, а это скверная штука! Поэтому было решено пожрать все, чтобы ничего не пропало. Для этого пригласили всех жителей Сэннэ, Сюилье, ла-Рош-Клермо, Вогодрэ, не оставили и де-Кудрэ, Монпансье, Ге-де-Вед и других соседей. Все это были мастера выпить, добрые товарищи, прекрасные игроки в кегли. Добряк Грангузье получил от этого превеликое удовольствие и приказал, чтобы всего было вдоволь.

Все-таки он говорил жене, чтобы та ела поменьше, ввиду приближения срока, и что эти потроха не очень-то хорошая еда. «Кто ест кишки, — говорил он, — захочет попробовать и того, что в них». Невзирая на эти предостережения, Гаргамель съела этих кишок шестнадцать больших бочек, две малых да шесть горшков. Зато и раздулись кишки у ней!

А после обеда все гурьбою повалили в Сольсе и там на густой траве плясали под звуки веселых флажолетов и нежных волынок, — так весело, что прямо небесное удовольствие было смотреть, как они забавлялись.

[Объевшись потрохами, Гаргамель разрешилась от бремени, причем младенец появился у ней на свет из уха. Едва родившись на свет, он не закричал, как другие младенцы, «уа», но громким голосом заорал: «Пить, пить, пить!», будто всех приглашал выпить.]

ГЛАВА 7-я

КАК ГАРГАНТЮА БЫЛ НАРЕЧЕН СВОИМ ИМЕНЕМ И КАК ОН ПРИНЯЛСЯ ТЯНУТЬ ВИНО

Добряк Грангузье, развлекаясь и бражничая с другими, услышал страшный крик, который испустил его сын, выходя на этот свет: «Пи-ить, пи-ить, пи-ить!»

— Ну и здоровая же у тебя (подразумевая глотку), — сказал он. (Que grand tu as!)

Присутствовавшие, услыхав это, сказали, что ребенок должен получить имя «Гаргантюа», по первому слову, сказанному отцом при его рождении, — в подражание и по примеру древних евреев. На это согласился отец, и матери имя очень понравилось. А чтобы успокоить младенца, ему дали вдоволь выпить вина, снесли в купель и окрестили по доброму христианскому обычаю.

Затем из Потиль и Брээмон было назначено 17 913 коров, чтобы кормить его молоком, ибо во всей стране нельзя было найти достаточно молочной кормилицы, сообразуясь с тем большим количеством молока, потребного для его питания; хотя иные врачи из скоттистов [1] и утверждали, что выкормила Гаргантюа его мать и что она могла извлечь из своих сосцов 1402 пипы [а] и девять горшков молока за один раз, что неправдоподобно, и такое предположение было объявлено скандальным для сосцов, оскорбительным для благочестивых ушей и отдающим ересью.

Такое положение продолжалось год и десять месяцев, и с той поры, по совету врачей, его начали вывозить, для чего была приготовлена прелестная колясочка, с быками в упряжке, изобретенная неким Жаном Денио. В этой коляске младенца весело катали туда и сюда, и приятно на него было смотреть, потому что у него было славное личико, чуть ли не восемнадцать подбородков, и кричал он очень редко; но пачкался ежечасно, ибо был удивительным флегматиком в отношении стула как по своей натуральной комплекции, так и от случайных обстоятельств, а именно — от чрезмерного пристрастия к соске с сентябрьским соком [б]. Впрочем, он и капли не пил без причины, потому что, когда он был раздосадован, рассержен или

[а] *Пипа* — старинная мера жидкости, равнявшаяся двум бочкам (около 400 литров).

[б] Т. е. с вином.

огорчен, если он топал ногами, плакал или кричал, тогда, дав ему выпить, его приводили в чувство, и он опять был спокоен и весел.

Одна из его нянюшек говорила мне, клятвенно подтверждая это, что он настолько привык к этому обычаю, что при одном звоне пинт и фляг приходил в экстаз, как будто предвкушая радость рая. Поэтому все нянюшки, из уважения к этой божественной склонности, чтобы развеселить его, поутру стучали ножами по стаканам, или же пробками по бутылкам, или, наконец, крышками по кружкам, и при этих звуках он радовался, весь дрожал и сам, покачивая головой, качался в люльке, наигрывая пальцами и баритонально попукивая.

[Когда Гаргантюа подрос, Грангузье, его отец, пригласил к нему в воспитатели ученых схоластов (первым из них был магистр Тюбаль Олоферн), которые так набили голову своего ученика всякой схоластической премудростью (потратив на это уйму лет), что Гаргантюа заметно поглупел, стал рассеянным и бестолковым (14-я гл. — яркая сатира на схоластическое обучение). Тогда разгневанный Грангузье прогоняет схоластов и приглашает к нему в воспитатели гуманиста Панократа. При этом решено отправить Гаргантюа вместе с Панократом в Париж «для ознакомления с обучением французских юношей того времени» (гл. 15). В гл. 16—20 описываются похождения Гаргантюа в Париже (например похищение им колокольни собора Нотр-Дам — мотив, заимствованный из анонимной лубочной книги «Великие и неоценимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа». Помещенная в 19-й гл. речь магистра Янотуса де Гимардо, упрашивающего Гаргантюа вернуть похищенные им колокола, — блестящая пародия на трескучую, но пустую риторику сорбонщиков.]

ГЛАВА 21-я

ЗАНЯТИЯ ГАРГАНТЮА, СОГЛАСНО РАСПИСАНИЮ СОФИСТОВ, ЕГО НАСТАВНИКОВ

После этого Гаргантюа захотел по силе своего разумения учиться по указаниям Панократа, но последний для начала велел ему заниматься по прежней привычной системе, чтобы понять, каким путем бывшие его учителя в столь долгое время сумели создать из Гаргантюа такого фата, глупца и неежду. Он распределил время Гаргантюа таким образом, что он просыпался обычно между восьмью и десятью часами, было ли свет или нет; так установили его прежние воспитатели, ссылавшиеся на слова Давида: «Vanum est vobis ante lucem surgere»[а]. В постели он некоторое время болтал ногами, подпрыгивал, валялся на матрасе, чтобы возбудить животные токи в своем теле; потом, смотря по времени года, одевался, причем охотно надевал широкий и длинный плащ из толстой фризской ткани, подбитый лисьим мехом. Затем причесывался немецким гребнем, то есть пятернею, потому что его воспитатели говорили, что иначе причесываться, мыться и чиститься — значит тратить даром время на этом свете.

[а] «Суета есть вставать вам до свету». Шутка заключается в возможности именно такого перевода этого латинского текста (псалма), который принято толковать, конечно, иначе.

Затем он облегчался сзади и спереди, прочищал гортань, харкал, пукал, зевал, плевал, кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидиакон, и завтракал, для предохранения себя от сырости и простуды, чудесными вареными потрохами, жареным мясом, прекрасной ветчиной, жареной козлятиной и хлебом с супом. Панократ заметил ему, что не следует наедаться, только что вскочив с постели, не поделав прежде чего-нибудь. Гаргантюа ответил:

— Как? Разве я не достаточно упражняюсь? По шести-семи раз ворочаюсь на постели, прежде чем встать, разве это мало? Папа Александр (V), по совету врача-еврея, делал то же и прожил до самой смерти, к досаде всех завистников. Меня приучили к этому первые мои наставники; они говорили, что завтрак улучшает память, поэтому за завтраком сами первые пили. От этого я чувствую себя очень хорошо и только лучше обедаю. Магистр Тюбаль (а он был первым по получению парижского лиценциата) [а] говаривал мне, что сила вовсе не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы раньше выбежать. Поэтому для полного здоровья человеку вовсе не важно пить непрерывно, как утка, а важно выпить с утра; на это есть и стих:

Подняться рано — еще не штука,
А рано выпить — это наука.

Позавтракав как следует, Гаргантюа отправлялся в церковь; в громадной корзине за ним несли толстенный завернутый в мешок молитвенник, весивший вместе с салом от пальцев, застежками и пергаментом не более не менее как 11 квинталов [б] 6 фунтов. В церкви отстаивал 25 или 30 обеден. В это время являлся и его капеллан, весь закутанный, как птица-хохлатка, и хорошо обезвредивший свое дыхание сильной дозой виноградного сока. Вместе с ним он бормотал все ектении и так тщательно вылущивал их, что ни одно зерно не падало на землю. По выходе малого из церкви ему привозили на телеге, запряженной волами, кучу четок святого Клавдия, каждое звено величиною с голову, и он, прогуливаясь по монастырю, галлереям или саду, прочитал больше молитв, чем шестнадцать пустынников.

Потом он учился каких-нибудь жалких полчаса, с глазами, уставленными в книгу, но, как говорит комик, душа его была на кухне.

Далее, помочившись как следует, он садился за стол и, будучи по природе флегматиком, начинал свой обед с нескольких дюжин окороков, копченых языков и колбасы, икры и других закусок, предшествующих вину. В это время четверо слуг один за другим непрерывно кидали ему в рот полными лопатами горчицу; потом он выпивал огромный глоток вина, чтобы облегчить почки. Затем, смотря по времени года, съедал в меру своего аппетита говядины и пре-

[а] Т. е. первым окончил университет.

[б] *Квинтал* — старинная мера веса, равная 100 килограммам.

кращал еду только тогда, когда живот начинало пучить. Но для питья никаких пределов и законов не было, потому что Гаргантюа говорил, что границей и межевым столбом для пьющего является срок, когда у него в туфлях пробочные стельки взбухнут на полфута.

ГЛАВА 22-я

ИГРЫ ГАРГАНТЮА

Потом, с трудом прожевав обрывок благодарственной молитвы, Гаргантюа умывал свежим вином руки, прочищал зубы кабаньей ногой и весело болтал со слугами. Те, растянув ковер, раскладывали кучу карт, костей для игры и досок. И он принимался играть [2].

Вдоволь поигравши, порастрясши и просеявши время, следовало немножко выпить, каких-нибудь одиннадцать горшков на человека, а после угощения хорошо растянуться на хорошей скамье или на хорошей кровати, поспать часа два-три без дурных мыслей и дурных снов.

Гаргантюа, проснувшись, встряхивал ушами. В это время ему приносили свежего вина; тут он выпивал лучше, чем когда-либо. Панократ увещевал его, что для здоровья вредно пить после сна. «Это истинная жизнь святых отцов, — говорил Гаргантюа, — у меня от природы соленый сон: спать для меня — то же, что есть ветчину» [а]. Затем принимался немного за ученье и, вооружившись четками, чтобы дело шло по форме, садился на старого мула, служившего уже девяти королям. Так, бормоча сквозь зубы и кивая головою, ехал вынимать кроликов из западни.

По возвращении заходил в кухню посмотреть, что жарится на вертеле.

Ужинал, скажу по совести, очень хорошо и охотно приглашал нескольких собутыльников из своих соседей и, выпивая с ними вдоволь, болтал о старом и о новом.

В числе слуг у него были господа дю-Фу, де-Гурвиль, де-Гриньо и де-Мариньи. После ужина опять вынимались деревянные евангелия, то есть шашечницы, либо карточные талии, одна-две-три колоды или даже вся куча. А нето шли к девушкам поблизости и по дороге опять выпивали и закусывали. Потом Гаргантюа спал без просыпа до восьми часов следующего утра.

ГЛАВА 23-я

КАК ГАРГАНТЮА ОБУЧАЛСЯ ПАНОКРАТОМ В ТАКОМ ПОРЯДКЕ, ЧТО НЕ ТЕРЯЛ НИ ОДНОГО ЧАСА В ДЕНЬ

Когда Панократ ознакомился с неправильным образом жизни Гаргантюа, он решил иначе обучать его наукам; но на первые дни оставил все, как было, считая, что природа не выносит резких

[а] Шутливый намек на известную поговорку: «Qui dort dine» («Кто спит — обедает»).

перемен без сильного потрясения. Для лучшего начала своего дела он спросил одного ученого врача того времени, магистра Теодора, считает ли тот возможным вновь направить Гаргантюа на лучшую дорогу. Этот доктор, согласно правилам, прочистил его антикирской чемерицей и этим лекарством очистил мозг юноши от порчи и извращенных привычек. Тем же средством Панократ заставил Гаргантюа позабыть все, чему он выучился у прежних своих учителей, — как поступал Тимофей [3] с теми из своих учеников, которые обучались у других музыкантов. Чтобы лучше достичь этого, он ввел Гаргантюа в общество местных ученых, дабы соревнование с ними подняло дух юноши и возбудило желание учиться и добиться успехов.

Затем распределил его занятия так, что он не терял ни одного часу дня и все свое время употреблял на изучение благородных наук. Вставал Гаргантюа около четырех часов утра. В то время как его растирали, ему читали вслух громко и ясно и с подобающею произведению выразительностью несколько страниц из священного писания. Для этого был специально приставлен молодой паж, по имени Анагност, родом из Башэ. В соответствии с содержанием читаемого Гаргантюа часто принимался молиться, просить и умолять доброго господа. В чтении этом он познавал господне величие и чудесное разумение. После он удалялся в места уединения, чтобы отдать долг природе. Там учитель повторял ему прочитанное, разъяснял наиболее темные и трудные места. На возвратном пути они наблюдали состояние неба, — таково ли оно, как накануне вечером, и под каким знаком зодиака восходит сегодня солнце, и под каким луна.

После этого Гаргантюа одевали, причесывали, завивали, принаряжали и опрыскивали духами, причем все это время повторяли ему вчерашние уроки; и он сам говорил их наизусть и связывал их с какими-нибудь практическими случаями, относящимися к человеческой жизни; это продолжалось часа два-три, но обыкновенно кончалось, когда он был совсем одет.

Потом добрых три часа было чтение. После чего выходили на воздух, не переставая беседовать о прочитанном, и шли заняться спортом на Брак [4] или за город, на луга, где и играли в мяч, в лапту, важно упражняя тело, как раньше упражняли душу. Игры их никуда не были принудительны, потому что они бросали партию, когда вздумается, и обыкновенно прекращали играть, как только вспотеют или утомятся. Тогда, хорошенько вытерши пот, а тело обтерши, переменяли рубашки и, неспешно прогуливаясь, заходили посмотреть, не готов ли обед. В ожидании последнего ясно и выразительно декламировали какие-нибудь сентенции, запомнившиеся из урока. Тем временем приходил Господин Аппетит; в добрый час садились за стол. За первыми блюдами читали какую-нибудь занятную историю о старинных подвигах, до того времени как Гаргантюа принимался за вино. А затем — если заблагорассудится — продолжали чтение или начинали веселый общий разговор, в первые

месяцы говоря об особенностях, свойствах, действии и природе всего, что было подано на стол: хлеба, вина, воды, соли, мяса, рыбы, фруктов, трав, корнеплодов, и о приготовлении из них кушаний.

Благодаря этому Гаргантюа в короткое время выучил все соответствующие места из Плиния, Атенея, Диоскоридов, Юлия Поллукса, Галена, Порфирия, Опиана, Полибия, Гелиодора, Аристотеля, Элиана и других[а].

Во время этих бесед частенько приносили на стол для проверки вышеназванные книги. И он так хорошо и всецело удержал в своей памяти все эти вещи, что не было в то время врача, который бы вполовину знал столько, как Гаргантюа.

Затем шел разговор об утренних уроках, и, кончив обед каким-нибудь пирожным с вареньем из айвы, Гаргантюа чистил зубы стволом мастикового дерева, мыл себе руки и глаза свежей водой и воздавал хвалу господу богу несколькими прекрасными песнопениями, сочиненными во славу божественного милосердия и щедрот.

После этого приносили карты — не для игры, но для того, чтобы научиться тысячам забавных штук и выдумок, основанных на арифметике. И таким путем он чрезвычайно полюбил эту числовую науку и всякий день после обеда и ужина развлекался с таким же удовольствием, как прежде за картами и костями. Впоследствии он так хорошо познал теорию и практику этой науки, что Тенсталь — англичанин, автор пространного о ней сочинения, — признавался, что по сравнению с Гаргантюа он в ней понимал столько же, сколько в верхненемецком языке.

И не только в арифметике, но и в других математических науках, как в геометрии, астрономии и музыке, потому что в ожидании переваривания пищи они чертили много забавных геометрических фигур и построений, а также практиковались в астрономических законах.

А потом услаждались пением на четыре и пять голосов на какую-нибудь тему, приятную для горла. Что касается музыкальных инструментов, то Гаргантюа выучился играть на лютне, на спинете, на арфе, на флейтах немецкой и девятиклапанной, на виоле и тромбоне.

Так проведя этот час, по окончании пищеварения Гаргантюа освобождал свой желудок, а после еще на три часа или больше садился за главные свои занятия: как за повторение утренних уроков, так и за продолжение чтения начатых книг или за упражнения в чистописании античных и романских букв. После этого они выходили из дому, и с ними один молодой человек из Турени, которого звали Гимнаст-конюший, который обучал его искусству верховой езды.

[а] Ученые классической древности.

Переодевшись, Гаргантюа вскакивал или на скакуна, или на битюга, или на испанского жеребца, или на берберского, — на доброго, словом, коня, и то пускал его во весь опор, то вольтижировал в воздухе, то заставлял его брать канавы и барьеры, описывать круги на небольшом пространстве, справа налево и обратно. Потом ломал, только не копье, — нет в мире ничего глупее, как кричать: «Я сломал десять копий в турнире или в битве», — любой плотник это сумеет сделать, — хвала и честь тому, кто одним копьем сломает десятерых врагов. Гаргантюа своим крепким и твердым копьем со стальным концом ломал ворота, пробивал латы, крушил деревья, подхватывал кольцо, поднимал на лету седло, длинную кольчугу или железную перчатку. Гаргантюа при этом был вооружен с головы до ног[5]...

После такого времяпрепровождения его растирали, чистили и одевали в свежий наряд, и он потихоньку возвращался домой. Проходя по лугам или другим покрытым травой местам, рассматривали растения и деревья, справляясь по книгам древних ботаников, — таких как Теофраст, Диоскорид, Маринус, Плиний, Никандр, Мацер и Гален, и приносили домой много зелени. За этим поручено было наблюдать молодому пажу Ризотому, а также за лопатами, граблями, кирками, скребками, ножами и другими потребными для гербаризации инструментами.

По приходе домой, пока готовили ужин, они повторяли некоторые места из прочитанного и садились за стол. Обед Гаргантюа, заметьте, был умеренным и простым, потому что ели только, чтобы обуздать позывы желудка; но ужин был обильный и продолжительный, потому что тут Гаргантюа ел столько, сколько надо было для поддержания сил и питания. Это есть истинная диэта, предписываемая добрым и точным медицинским искусством, хотя толпа тупиц-врачей, препирающихся в школе софистов, советует обратное.

Во время ужина продолжался обеденный урок, сколько хотелось; остальную часть ужина проводили в полезных литературных беседах. Затем, помолившись, принимались петь, играть на музыкальных инструментах или развлекались картами или костями, и так оставались, угощаясь и забавляясь, иной раз до часа сна, а иной раз посещали общество людей ученых или таких, что видели чужие страны.

Совсем ночью, до того как укладываться спать, шли на самое открытое место — посмотреть на небо и наблюдали кометы, если они были, или положение, внешний аспект, противостояние и сочетание светил.

Затем Гаргантюа вкратце, по пифагорейскому способу, повторял с наставником все прочитанное, виденное, заученное, сделанное и слышанное в течение дня.

После же, помолившись, ложился спать.

ИЗ ГЛАВЫ 24-й

КАК ГАРГАНТЮА ПРОВОДИЛ ВРЕМЯ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ

...Так воспитывался Гаргантюа и преуспевал изо дня в день, извлекая, как вы сами понимаете, ту пользу, какую может извлечь юноша, соответственно своему возрасту, одаренный умом, из таких непрерывных упражнений, которые хотя сначала и показались ему трудными, но впоследствии — такими легкими, приятными и любезными, что походили больше на королевские развлечения, чем на школьные занятия. Однако Панократ, желая дать своему воспитаннику отдохнуть от сильного умственного напряжения, раз в месяц выбирал погожий и ясный день, когда они с утра двигались за город и отправлялись в Жантильи или в Булонь, или в Мон-Руж, в Пон-Шарантон, в Ванв или в Сен-Клу. И там проводили весь день, услаждаясь, как только могли: шутили, смеялись, вдоволь угощались вином, играли, распевали песни, танцовали, валялись на траве лужаек, искали по гнездам птиц, ловили перепелов, лягушек и раков.

Но хотя такой день проходил без книг и чтения, все же не без пользы, потому что на лужайках они повторяли наизусть какие-нибудь приятные стихи из сельских поэм Вергилия, из Гесиода, из «Рустико» Полициано; списывали забавные латинские эпиграммы и потом перекладывали их во французские стихи в форме рондо и баллад.

Угощаясь, отделяли воду от вина, как учит Катон в сочинении «О деревенских делах» и Плиний, пользуясь для того плющом. Вино промывали в полном чану, откуда выливали его через воронку, а воду заставляли переливаться из одного сосуда в другой. Таким образом они соорудили несколько приборов-автоматов, то есть самодвижущихся.

[В то время как Гаргантюа пребывал таким образом в Париже, на страну Утопию внезапно напал воинственный король Пикрошоль, одержимый завоевательными планами, совершенно несбыточными по своей грандиозности (сатира на государей феодального типа). Перейдя границу, враги начали все опустошать на своем пути.]

ГЛАВА 27-я

КАК НЕКИЙ МОНАХ ИЗ СЕВИЛЬЕ СПАС АББАТСТВО ОТ ВРАЖЕСКОГО РАЗГРАБЛЕНИЯ

Так они бесновались, грабя и разбойничая, пока не дошли до Севилье и не разорили до нитки мужчин и женщин и не забрали у них всего, что могли, причем ничто не было для них ни слишком горячим, ни слишком тяжелым. Хотя в большей части домов гнездилась чума, они входили всюду и расхищали все, что было внутри, и никто при этом не заболел,—случай прямо чудесный: ибо все свя-

щенники и викарии, проповедники, врачи, хирурги и аптекари, приходившие ухаживать за больными, лечить, исповедывать и наставлять их, — все перемерли, заразившись, а эти дьяволы — грабители и убийцы — не заболели. Отчего это, господа? Подумайте-ка об этом, прошу вас.

Разорив таким образом весь город, со страшным шумом добрались они до аббатства, но они нашли его запертым и под крепкой охраной. Поэтому главная часть войска прошла мимо, к Ведскому броду, за исключением семи пеших отрядов и двух сотен копейщиков, оставшихся ломать ограду фруктового сада, чтобы испортить весь сбор винограда. Бедняги-монахи не знали, какому святому себя поручить. На всякий случай принялись бить ad capitulum capitulantes [а]. Тут же было решено пойти крестным ходом, с пением и литаниями «contra insidias» [б] и воззваниями «pro pace» [в]. В то время в аббатстве был монах по имени брат Жан Des Entommeures [г] — брат-задира, человек молодой, нарядный, веселый, ловкий, сильный, смелый, отважный, решительный, высокий, худощавый, горластый, с выдающимся носом, торопливый в чтении часов, быстро отзванивавший мессу и в миг отделывавшийся от вечерни. Словом, самый настоящий монах из всех, что существовали с тех пор, как монашеский мир обмонашился [б] монашеством. Кроме всего прочего, был учен до зубов в отношении требника.

И вот он, услышав шум, производимый неприятелем в их винограднике, вышел посмотреть, что там делается, и, видя, что опустошается виноградник, в котором заключался весь годовой запас вина, возвратился на хоры, в церковь, где были другие монахи, пораженные, как литейщики колоколов, разбившие форму. Видя, что они распевают: «Im, im, pe, e, e, e, e, e, tum, um, in, i, in, i, mi, co, o, o, o, o, o, rum, um [д], закричал:

— Хороши песни! А что вы, с божьей помощью, не поете: «Прощай, корзины, сбор окончен»? [7] Чорт меня побери, если они не в нашем саду и так режут и гроздья и лозы, что года четыре, ей-богу, нам придется подбирать одни оборыши. Клянусь чревом святого Иакова! Что мы, бедные, пить будем? Господи боже, da mihi potum! Дай мне пить, господи!

Тогда приор монастыря сказал:

— Что тут делает этот пьяница? Посадить его в карцер! Смеет нарушать богослужение!

— Но надо сделать, — сказал монах, — чтобы винослужение тоже не нарушалось; ведь сами вы, господин приор, любите выпить получше: так делает каждый порядочный человек; никогда благородный человек не ненавидит доброго вина: такова монаше-

---

а «Для вызова всех членов капитула».
б «Против козней вражеских».
в «О мире».
г Entamure — «крошево».
д Т. е. impetum inimicorum — «нападение врагов».

ская заповедь. А ваши песнопения, ей-богу, не по времени. Почему часы наши во время жатвы и сбора винограда короткие, а зимой длинные?

Покойный, блаженной памяти, брат Масе Пелос, истинный ревнитель нашей религии (чорт меня побери, если я вру!), помнится, говаривал мне, что это по той причине, что в это время мы отжимаем виноград и готовим вино, а зимой его потребляем.

Слушайте, господа, вы, которые любите вино: во имя тела господня, следуйте за мной. Потому что — да сожжет меня святой Антоний, если попробует вина кто-нибудь из тех, кто не будет помогать отстаивать виноградник. О чрево господне! Церковное имущество! О нет! Чорт возьми! Святой Фома Английский[8] за церковное имущество принял смерть: значит, если я за это умру, разве не попаду также в святые? Но я все-таки не умру, а заставлю умереть других.

Говоря это, он сбросил свою рясу и вооружился древком от креста, сделанным из сердцевины ясеня, длиною с копье, а толщиною с кулак; на нем кое-где были нарисованы лилии, которые почти стерлись.

Так он вышел в одном подряснике, перевязался рясой и кинулся со своим древком от креста на врагов, которые без всякого порядка, без знамен, трубача и барабанщика, обирали виноград в саду. Знаменщики поставили свои знамена вдоль стен, барабанщики проломали барабаны с одного боку, чтобы наполнить их виноградом, трубы тоже нагрузили гроздьями, — всякий безобразил по-своему. И он так свирепо ударил на них, без предупреждения, что опрокинул, как свиней, колотя направо и налево, по старинному способу. Одним он можжил головы, другим ломал руки и ноги, другим вывихивал шейные позвонки, другим смещал поясницу, некоторым сбивал нос, выбивал глаза, дробил челюсти, заставлял давиться зубами, ломал ноги, выворачивал лопатки, бедра, дробил локтевые кости.

Если кто хотел спрятаться в гуще виноградных лоз, тем перебивал крестец и ломал поясницы, как собакам. Если кто хотел спастись бегством, тому разбивал голову в куски, ударяя сзади по «ламбдовидному»[9] шву. Если кто лез на дерево, думая, что там он будет в безопасности, того он сажал на свое древко, как на кол. Если кто из его старых знакомых кричал ему: «Ах, друг мой, брат Жан, я сдаюсь», тот слышал в ответ: «Сколько хочешь, только вместе и всем чертям душу сдашь».

И приканчивал сразу. А если кто-нибудь, охваченный дерзкой смелостью, хотел оказать ему сопротивление лицом к лицу, тому он показывал силу своих мышц, пронзая грудь сквозь грудную преграду и сердце. Одних ударял под ребра, выворачивая желудок, [illegible]го бы умирали тут же. Других так жестоко ударял по пупку, что выва[illegible]undo — лись кишки. Подумайте, это было самое ужасное зрелище, ——— либо виденное!

Одни кричали: «Святая Варвара, помоги!» Другие —

Георгий!» Третьи — «Святая Ни Туш!»[а] Кто звал богородицу Каносскую, кто Лореттскую[10]. Одни умирали, ничего не говоря, другие говорили, не умирая; одни говорили, умирая; другие умирали, говоря. Были и такие, что кричали во весь голос: «Confiteor, miserere. In manus!»[б] Так громки были крики раненых, что настоятель аббатства и все монахи выбежали и, увидав этих несчастных, поверженных в винограднике и раненных на смерть, исповедали некоторых. Но пока священники исповедывали, молодые послушники прибежали к месту, где был брат Жан, и стали спрашивать, в чем он хочет, чтобы ему помогли.

На это он ответил, что нужно дорезать тех, что валяются на земле. Тогда послушники, развесив рясы на изгороди, стали дорезывать и приканчивать тех, кого он уже смертельно ранил. И знаете, каким орудием? Прекрасными резаками, величиной в половину тех ножей, какими дети в нашей стороне снимают шелуху с зеленых орехов.

Потом брат Жан стал со своим древком у пролома в стене, что пробил неприятель. Некоторые из монашков унесли значки и знамена в свои кельи, чтобы наделать из них подвязок. Но когда те, кто исповедался, хотели уйти через брешь в стене, то брат Жан избивал их, приговаривая: «Те, что отысповедывались и раскаялись и получили отпущение грехов, пойдут в рай по прямой, как серп, дороге».

Так, благодаря его удали, были уничтожены все те из неприятельской армии, кто вошел в сад, до 13 622 человек (не считая женщин и детей, что всегда подразумевается). Отшельник Можис[11] и тот не действовал так доблестно своей клюкой против сарацинов (про что написано в «Деяниях четырех сыновей Эмона»), как наш монах против неприятеля своим древком от креста.

[Все старания Грангузье закончить миром войну разбиваются о воинственную непреклонность Пикрошоля. На помощь утопийцам спешит из Парижа Гаргантюа. Вооружившись огромным деревом, он нападает на врага, все сокрушая на своем пути. Наконец, он прибывает в замок Грангузье, который ожидает его с большим нетерпением.]

ГЛАВА 39-я

КАК ЧЕСТВОВАЛ МОНАХА ГАРГАНТЮА И КАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ РЕЧИ ГОВОРИЛ ЗА УЖИНОМ

Когда Гаргантюа сел за стол и первые куски были проглочены, Грангузье начал рассказывать об источнике и причине войны, возникшей между ним и Пикрошолем; он подошел к тому месту расска- как брат Жан восторжествовал при защите садов аббатства, и алял его подвиги превыше подвигов Камилла, Сципиона, Пом-

---

[а] En

[б] T. touche — «не тронь этого».

ма молитвы на исповеди: «Исповедую, милости жду. В руки твои».

пея, Цезаря и Фемистокла. Тогда Гаргантюа попросил немедленно послать за монахом, чтобы посоветоваться с ним о том, что теперь делать. По его желанию дворецкий отправился за монахом и весело привел его с древком от креста на муле Грангузье. Когда он прибыл, его встретили тысячами ласк, тысячами объятий, тысячами приветствий... — Ага, брат Жан, друг мой! — Брат Жан, мой сватушка! — А, чорт возьми, брат Жан, давай обнимемся!

И брат Жан шутил и смеялся. Никогда не было такого вежливого и учтивого человека!

— Ну, ну, — говорил Гаргантюа, — скамейку тут поставьте, с этого края, рядом со мной.

— Я тоже так хочу, — говорит монах, — раз вам угодно. А нука, паж, воды! Лей, дитя мое, лей! Вода освежит мне печень. Давай сюда, я прополощу себе горло.

— Deposita cappa [а], — сказал Гимназт. [б] — Снимаем рясу.

— Ах, помилуй бог! — говорит монах. — Сударь, есть глава в статутах нашего ордена, которая не одобряет такой вещи.

— К дьяволу, — говорит Гимназт, — к дьяволу эту главу! Ряса ваша давит вам плечи, скиньте ее.

— Друг мой, — говорит монах, — оставь ее на мне, в ней мне только лучше пьется: она веселит мне тело. Если я ее скину, господа пажи наделают из нее подвязок, как это было со мной раз в Кулене. Кроме того, у меня пропадет аппетит. А если я в этом платье сяду за стол, то, ей-богу, выпью и за тебя и за твоего коня с радостью. Храни боже от зла честную компанию! Я уже поужинал, но оттого есть буду нисколько не меньше: желудок мой вымощен, пуст, как башмак святого Бенедикта, и всегда открыт, как адвокатская мошна! Да, как говорится: у всякой рыбы, кроме линя... берите крылышко куропаточки либо бедрышко монашенки [12]. Наш приор очень любит белое мясо каплунов.

— В этом, — сказал Гимназт, — он вовсе не похож на лисиц! Те у каплунов, кур и цыплят никогда не едят белого мяса.

— Почему? — спросил монах.

— Потому что у них нет поваров, чтобы его варить, а если мясо недоварено, оно остается красным, а не белым. Краснота мяса есть признак того, что оно недоварено, исключая омаров и раков, которых, когда варят, производят в кардиналы.

— О, праздник божий! — сказал монах. — У лекаря нашего аббатства голова плохо сварена, глаза у него красны, как чашки из ольхи. А вот это заячье бедро хорошо для подагриков! А кстати, о ляжках, — почему это бедра у барышень всегда прохладны?

— Такой проблемы, — сказал Гаргантюа, — нет ни у Аристотеля, ни у Александра Афродисийского, ни у Плутарха.

— По трем причинам, — сказал монах, — какое-нибудь место бывает прохладно. Primo—потому что вода протекает вдоль. Secundo—

[а] «Отложив плащ» (рясу).

[б] *Гимназт* — сподвижник и наставник Гаргантюа.

потому что место это тенисто, темно и сумрачно, и солнце там никогда не светит и, в-третьих, — потому что оно всегда освежается ветрами от колыхания рубашки и особенно от гульфика [13]. Веселей, паж, наливай! Крак-крак-крак! Как добр господь, что дает такое доброе вино! А ей-богу, живи я во времена Иисуса Христа, я охранил бы его от того, чтобы евреи схватили его в Масличном саду. И чорт меня возьми, если бы я не подрезал поджилок господам апостолам, которые так трусливо бежали после того, как хорошо поужинали, и доброго учителя своего оставили в нужде! Хуже яда ненавижу человека, который бежит, когда надо поиграть ножом.

Сатира на алчность монахов (со старинной французской гравюры).

Ох! Побыть бы мне французским королем лет восемьдесять или сто! Ей-богу, я бы обрезал уши и оскопил беглецов из-под Павии [а]. Лихорадка их побери! Почему они не умерли там скорее, чем бросить в нужде своего доброго государя? Не лучше ли и не почетнее ли умереть, доблестно сражаясь, чем жить, постыдно убежав? В нынешнем году гусей нам уже не есть... Гей, дружок, положи-ка свинины! А, дьяволы: Сусла больше нет! Germinavit radix Jesse [б]. Отказываюсь жить, умираю от жажды... Это вино не из худших. А какое вино вы пили в Париже? Чорт меня возьми, больше полгода я держал там свой дом открытым для всех желающих! А знакомы ли вы с братом Клавдием из Верхнего Барруа? Вот славный товарищ! Но какая муха его укусила? С некоторых пор (не знаю, с которых) он только и делает, что учится. А я вот совсем не учусь! Мы в нашем монастыре совсем не учимся из боязни заушницы. Покойный аббат наш говорил, что чудовищная эта вещь — вид ученого монаха. Ей-богу, сударь, друг мой, magis magnos clericos non sunt magis magnos sapientes... [в] О, столько зайцев, как в нынешнем году, никогда не

[а] Намек на поражение Французской армии при Павии (город на реке По) в 1525 г.

[б] «Корень Иессея дал ростки».

[в] На средневековой латыни: «Наиболее великие из духовенства не принадлежат к великим ученым».

видели! Ни ястреба, ни сокола зато нигде не мог я достать. Г-н де-Беллоньер обещал мне балабана, но недавно он писал мне, что тот стал задыхаться. Нынешний год куропатки нам все уши протрещат. Никакого удовольствия не нахожу расставлять сети, потому что простужаюсь; если я не бегаю, не хлопочу, — мне всегда не по себе. Правда, прыгая через кусты и изгороди, часто оставляешь клочья рясы. Приобрел я прелестную борзую. Дьявол побери меня, ежели она упустит зайца. Лакей вел ее к г-ну де-Молерие: я его ограбил! Плохо я поступил?

— Ничуть, брат Жан,—сказал Гимнаст,—ничуть, клянусь всеми чертями, ничуть!

— Итак, за чертей, пока они есть! Господи боже! Что бы стал делать с этой борзой тот хромой? Ей-богу, ему куда приятней, если ему подарят пару волов.

— Как это вы, брат Жан,—сказал Панократ,—все время божитесь?

— Это только для того, чтобы украсить мою речь! Это цветы цицероновской риторики!

ГЛАВА 40-я

ПОЧЕМУ МОНАХОВ ИЗБЕГАЮТ И ПОЧЕМУ У ОДНИХ НОСЫ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ

— Клянусь верой христианина,—сказал Эвдемон,—я начинаю очень задумываться, видя порядочность этого монаха, который так развеселил нас всех. Но почему, однако, монахов чураются во всякой порядочной компании, зовут их «портильщиками праздников», гонят их, как пчелы трутней от улья: «Ignavum fucos pecus,— говорит Марон, — a praesepibus arcent» [a].

На это Гаргантюа ответил:

— Нет ничего более верного, как то, что ряса и клобук навлекают на себя упреки и оскорбления и всеобщие проклятия, подобно тому как ветер, говорит Цетиас, притягивает тучи. Первая причина этому та, что они пожирают мирские нечистоты, то есть грехи; и, как жующих навоз, их прогоняют в их убежище, то есть в их монастыри и аббатства, лишенные приличного обращения, как отхожие места при домах. Но если вы понимаете, почему в семье всегда высмеивают и дразнят какую-нибудь обезьяну, вы поймете и то, почему все, и старики и молодые, избегают монахов. Обезьяна не сторожит дома, как собака, не тащит плуга, как вол, не дает ни шерсти, ни молока, как овцы, не возит тяжести, как лошадь. Все ее дело — везде гадить и все портить, вот почему и получает она от всех насмешки и пинки. Подобно этому и монах (говорю о монахах-тунеядцах) не работает, как крестьянин, не охраняет страны, как воин, не лечит больных, как врач; не проповедует и не

[a] Стих Виргилия: «Ульи свои охраняют от трутней постыдного стада».

учит народа, как хороший евангелический доктор богословия и педагог; не доставляет удобных и необходимых для государства предметов, как купец. Вот причина, почему над ними издеваются и их чураются...

— Но ведь,—сказал Грангузье, — они молятся за нас богу.

— Ничуть не бывало, — ответил Гаргантюа.—Правда только то, что они изводят всех соседей треньканьем колоколов.

— Да, — говорит монах, — обедни, утрени и вечерни, хорошо отзвоненные, наполовину отслужены.

— Они бормочут себе под нос многое множество всяких житий и псалмов, которых сами не понимают. Отчитывают десятками «Отче наш» вперемежку с длинными «Богородицами», не вникая в смысл и не думая. Я называю это насмешкой над богом, а не молитвою. Помогай им бог, если они молятся за нас, а не из страха потерять свои хлебы и жирные супы. Все истинные христиане, всех состояний, во всех местах и во всякое время молятся богу, и дух молится и предстательствует за них, и бог посылает им свои милости. Таков и наш добрый брат Жан. Поэтому всякий желает иметь его в своем обществе. Он — не ханжа, не ходит в лохмотьях, честен, весел, решителен, хороший товарищ; он работает, трудится, защищает угнетенных, утешает скорбящих, помогает страждущим, бережет сады аббатства.

— Я, — говорит монах,—делаю еще больше. Справляя заутрени и панихиды на хорах, я в это же время делаю тетивы для лука, полирую стрелы для арбалетов, делаю сети и сачки для ловли кроликов. Я никогда не бываю праздным. Ну, а теперь выпьем! Выпьем! Дай-ка фруктов! А вот каштаны из Эстрокского леса, со свежим добрым винцом. Эй, вы там! Вы еще не развеселились! А я, ей-богу, пью из каждого брода, как лошадь сборщика!

Гимнаст сказал ему:

Брат Жан, оботрите каплю, что у вас висит на носу.

— Ха-ха!—сказал монах. — Разве я могу утонуть, если я по нос в воде? О нет, нет! А почему нет? Ибо вода выходит из носа, а не входит в нос, потому что он защищен виноградом. Друг мой, друг мой! Будь у кого зимние сапоги из такой кожи, он бы смело мог в них ловить устриц, потому-то они никогда не промокают.

— Почему,—спросил Гаргантюа,—у брата Жана такой красивый нос?

— Потому что, — отвечал Грангузье, — так было угодно богу, который творит нос по таким формам, согласно своему божественному замыслу, как горшечник отливает свою посуду.

— Потому, — сказал Панократ, — что брат Жан попал раньше других на ярмарку носов. Он и выбрал себе нос покрасивее и побольше.

— Поехали! — сказал монах. — Согласно истинной монастырской философии, это потому, что у моей кормилицы груди были мягкие: когда я ее сосал, мой нос уходил в них, как в масло, и там поднимался и рос, как тесто в квашне. А у чьих кормилиц груди твер-

дые, те выходят курносыми. Ну, веселей, веселей, ad formam nasi cognoscitur ad te levavi [a]. Я варенья никогда не ем. Паж! Влаги! И также — жаркого.

[42—51 главы повествуют о дальнейших перипетиях войны утопийцев с полчищами Пикрошоля. Последний терпит полное поражение. В боях отличаются Гаргантюа и особенно брат Жан. По окончании войны король Грангузье награждает победителей.]

ГЛАВА 52-я

КАК ГАРГАНТЮА ВЕЛЕЛ ПОСТРОИТЬ ДЛЯ МОНАХА ТЕЛЕМСКУЮ ОБИТЕЛЬ [14]

Осталось только обеспечить монаха, которого Гаргантюа хотел сделать аббатом в Севилье, но тот отказался. Он хотел ему дать аббатство де-Бургэй или Сен-Флоран, какое из них понравится, или оба, если он хочет. Но монах дал ему решительный ответ, что не хочет иметь никаких монашеских должностей и управлений.

— Как буду я,—говорил он,—управлять другими, когда не умею управлять собою? Если вы думаете, что я вам оказал, и в будущем могу оказать полезные услуги, так уж позвольте мне основать аббатство, какое мне хочется.

Такая просьба понравилась Гаргантюа, и он предоставил ему для этого всю Телемскую область — до реки Луары, в двух милях от большого леса Пор-Гюо. Монах просил у Гаргантюа учредить свой монастырь, противоположный всем другим.

Тогда, прежде всего,—сказал Гаргантюа, — не надо строить стен вокруг, так как все остальные аббатства сурово окружены стенами.

— Конечно,—сказал монах,—и понятно почему: где и сзади и спереди стены, там застенок, и зависть, и ропот, и взаимные ковы.

— Кроме того, так как в иных монастырях существует обычай, если в них войдет женщина (я говорю о целомудренных и стыдливых), чистить место, по которому она прошла, то у нас будет установлено, что если в аббатство случайно зайдет монах или монашенка, то будут тщательно очищать все места, по которым они прошли. И так как в монастырях все размерено, ограничено и распределено по часам, у нас указом будут воспрещены всякие часы, и все дела будут распределяться соответственно удобствам и надобностям, потому что самая настоящая потеря времени, какую он знает,—говорил Гаргантюа, — это считать часы. Какая от этого польза? И нет ничего глупее, как руководствоваться звоном колокола, а не указаниями здравого смысла и разумения. Также: так как в наше время в монашество допускались из женщин только кривые, хромые, горбатые, уродливые, некрасивые, безумные, тупые, хворые, порченые, а из мужчин — только хилые, худородные, бездельники и никчемные дома...

[a] «По форме носа он узнает, что я поднимал его к тебе».

— Кстати,—сказал монах,—куда годится женщина ни добрая, ни красивая?

— В монастырь, — сказал Гаргантюа.

— Правда, — сказал монах, — и рубашки шить.

— Поэтому,—продолжал Гаргантюа,—будет установлено, что в их монастырь будут приниматься только красивые, хорошо сложенные и с хорошим характером женщины и мужчины. Также: так как в женские монастыри мужчины входят только украдкой и тайком, то будет издан указ, воспрещающий женщинам быть там, когда нет мужчин; а мужчинам — когда нет женщин.

Также: так как мужчины и женщины, раз принятые в монастырь, после годового послушничества насильно принуждаются оставаться в нем на всю жизнь, то будет установлено, что как мужчины, так и женщины, принятые к ним, имеют право уйти, когда им вздумается, вполне свободно и безусловно.

Также: так как обычно монахи дают три обета — целомудрия, бедности и послушания,— у них будет установлено, что каждый может состоять в честном браке, быть богатым и жить на свободе. Что касается узаконенного возраста, то женщины будут приниматься с десяти до пятнадцати лет, а мужчины — с двенадцати до восемнадцати.

ГЛАВА 53-я

КАК БЫЛА ПОСТРОЕНА И ЧЕМ СНАБЖЕНА ТЕЛЕМСКАЯ ОБИТЕЛЬ

...Здание имело шестиугольную форму, и на каждом углу была выстроена большая круглая башня, диаметром в шестьдесят шагов. Все башни были одинаковы по величине и по форме.

Река Луара протекала с севера. У реки была расположена одна из башен, называемая Артис, а к востоку была другая, называемая Калаэр. Следующая башня называлась Анатолия, за нею — Мезембрина, пятая — Гесперия и последняя — Криэр[15].

Пространство между каждой башней равнялось 312 шагам.

Здание было в шесть этажей, считая подземные погреба за первый. Второй этаж был сводчатый, в виде ручки от корзины. Прочие этажи были оштукатурены фландрским гипсом. Крыши были аспидные, на карнизах красовались фигуры людей и животных, великолепно сделанные и покрытые позолотой. С них спускались водосточные трубы, расписанные по диагонали золотом и лазурью, доходившие до земли, где кончались большими желобами, ведущими под зданием в реку.

Описываемое здание было в сто раз великолепнее дворцов Бонивэ, Шамбор и Шантильи[16]. Ибо в нем было 9332 комнаты, и при каждой — уборная, кабинет, гардеробная, часовня; все комнаты выходили в большой зал. В каждой башне посреди жилого корпуса была винтовая лестница, ступени которой были частью из порфира, частью из нумидийского камня, частью из мрамора-змеевика, дли-

ною в двадцать два фута, толщиною в три пальца, по двенадцати ступеней от площадки до площадки. На каждой площадке были две античные арки в ширину лестницы, через которые проникал свет и через которые входили в кабинет. Лестница поднималась до самой кровли и кончалась павильоном. По этим лестницам с каждой стороны был ход в зал и из зала в комнаты. Между башнями Артис и Криэр находились прекрасные книгохранилища, с книгами на греческом, латинском, еврейском, французском, тосканском и испанском языках, распределенные по этажам соответственно этим языкам.

Посредине поднималась чудесная лестница, ход на которую был снаружи здания, в виде арки в шесть туазов[а] ширины. Эта лестница была таких размеров и вместимости, что шестеро вооруженных людей, с копьями у бедра, могли в ряд подняться на самый верх здания.

Между башнями Анатолией и Мезембриной помещались прекрасные галереи, расписанные изображениями подвигов древности, исторических событий и картами земли. В середине была такая же лестница и с таким же входом, как и со стороны реки.

ГЛАВА 57-я

КАКОЙ ПОРЯДОК БЫЛ УСТАНОВЛЕН В ЖИЗНИ ТЕЛЕМИТОВ

Вся их жизнь распределялась не законами, статутами и правилами, но доброю и свободною волей. С постели вставали, когда заблагорассудится; пили, ели, работали, спали, когда приходила охота. Никто их не будил, никто не принуждал ни пить, ни есть, ни делать что другое. Так постановил Гаргантюа. В их регламенте значилась лишь одна статья: «Делай, что захочешь».

Ибо люди, свободные, благородные, образованные, вращаясь в порядочном обществе, уже от природы обладают инстинктом и побуждением, которые их толкают на поступки добродетельные и отвлекают от порока: этот инстинкт называют они честью. Но те же люди, когда они подавлены и порабощены низким подчинением и принуждением, отворачиваются от благородной склонности, в силу которой они свободно стремились к добродетели, для того чтобы скинуть с себя и сокрушить иго рабства: ибо мы всегда стремимся к тому, что запрещено, и жаждем того, в чем нам отказывают.

Благодаря этой свободе установилось похвальное соревнование делать всем то, чего хотелось кому-нибудь одному. Если кто-нибудь — мужчина или дама — говорил: «выпьем!» — все выпивали. Если говорил: «сыграем!» — все играли. Скажет кто-нибудь: «пойдем, порезвимся в поле!» — все соглашались итти. Шло ли дело об охоте, — дамы садились на прекрасных иноходцев и сажали

[а] *Туаз* — французская мера длины, равная 2 метрам.

сокола, кречета, ястреба или другого хищника на руку, обтянутую перчаткой. Мужчины держали других птиц.

И все они были так благородно образованы, что не было между ними таких, кто не умел бы читать, писать, петь, играть на музыкальных инструментах, говорить на пяти-шести языках, и на каждом языке писать как стихами, так и обыкновенной речью.

Никогда не видали таких храбрых, таких сильных, таких ловких в ходьбе и верховой езде кавалеров. Никто лучше их не владел оружием; не было людей бодрее и веселее, чем они.

Не видывали никогда и таких пригожих, таких милых дам, менее скучных, более искусных рукодельниц как в шитье, так и в всякой честной и свободной женской работе, какие были там.

И потому-то, когда приходило время, что кто-нибудь должен был выйти из обители или по желанию родителей, или по какой другой причине, то он увозил с собою одну из дам, — ту, которая избрала его своим поклонником, и они вступали в брак. И если в Телеме они жили в преданности и дружбе, то продолжали еще лучшую жизнь в браке и до конца своих дней любили друг друга так же, как в день свадьбы.

[Знаменитым эпизодом о Телемском аббатстве завершается первая книга романа (по порядку написания и публикации — вторая), вышедшая в 1534 г. под заглавием «Повесть об ужасающей жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля». В 1533 г. увидела свет вторая (по порядку написания — первая) книга романа, озаглавленная «Пантагрюэль, король жаждущих, в его натуральном виде, с его ужасающими деяниями и подвигами» (во многом близкая вышеназванной лубочной книге), в которой Рабле повествует о детстве и юности Пантагрюэля, сына Гаргантюа, о его похождениях, а также о его дружбе с Панургом, плутоватым малым, любителем наслаждений, остроумным, ловким и неразборчивым в средствах. В книге очень сильна стихия лубочного комизма, тогда как сатирически-философский элемент выражен в ней сравнительно не очень резко. Тем не менее, уже и в этой книге явственно проявляются гуманистические тенденции автора (осмеяние ученого «глубокомыслия» докторов Сорбонны; эпизод со странствованием Эпистемона, товарища и наставника Пантагрюэля: на войне ему отрубают голову, и он попадает в ад и Елисейские поля, где видит унижение великих завоевателей, тиранов и вообще сильных мира сего и возвышение философов и всех тех, «кто в этом мире терпел нужду» (гл. 30), особенно приводимое нами письмо Гаргантюа (гл. 8), которое великан-отец пишет своему сыну в Париж, куда Пантагрюэль отправился, чтобы пополнить и углубить свое образование). Приводимая гл. 23-я (фабльо о милях) — яркий образец вставной новеллы, каковые не раз встречаются в романе Рабле.]

КНИГА II

ИЗ ГЛАВЫ 8-й

КАК ПАНТАГРЮЭЛЬ, БУДУЧИ В ПАРИЖЕ, ПОЛУЧИЛ ОТ СВОЕГО ОТЦА ГАРГАНТЮА ПИСЬМО. КОПИЯ ЭТОГО ПИСЬМА

...Но несмотря на то, что доброй памяти мой покойный отец, король Грангузье, все старания и все свое умение приложил к тому, чтобы я вполне усовершенствовался в государственных науках и чтобы труды и старания мои не только соответствовали, но даже и

превосходили его желания, — несмотря на это, как ты прекрасно понимаешь, то время, когда я воспитывался, было благоприятно для наук менее нынешнего, и у меня не было стольких наставников, как у тебя. То время было еще темное, еще сильно было злосчастное влияние варваров, готов, кои разрушили всю хорошую письменность. Но по доброте божьей на моем веку свет и достоинство были возвращены наукам, и произошла такая перемена, что нынче я едва ли принят был бы даже в первый класс низшей школы, — я, который в моем зрелом возрасте считался (и не без оснований) ученейшим человеком своего века.

Говорю это не из пустого хвастовства, хотя в письме к тебе я мог бы и хвалиться вполне безнаказанно, ибо сие позволяется и одобряется такими авторитетами, как Марк Туллий (в его книге «О старости») и Плутарх (в его произведении, озаглавленном «О похвальбе, не вызывающей зависти»), но исключительно для того, чтобы выразить тебе всю мою нежность. Теперь все науки восстановлены, а также языки: греческий, без знания которого стыдно называть себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Теперь в употреблении печатание, столь изящное и правильное, изобретенное в мое время благодаря божественному вдохновению, как, наоборот, благодаря внушению дьявольскому изобретены пушки. Мир ныне полон учеными людьми, образованнейшими преподавателями, обширнейшими книгохранилищами, так что, по моему мнению, никогда — ни во времена Платона, ни Цицерона, ни Папиниана[17] не было таких удобств для учения, как видим теперь. Отныне не найдет себе места в обществе человек, который не очистится предварительно у жертвенника богини Минервы. Я вижу, что нынешние разбойники, палачи, авантюристы и конюхи более образованы, чем доктора и проповедники моего времени.

Да что говорить! Женщины и девушки ныне стремятся к науке, такой манне небесной. Даже я, в моем возрасте, вынужден учиться греческому языку, который я не презирал, как Катон, но не имел досуга усвоить себе в юном возрасте. И вот я охотно услаждаюсь чтением «Нравов» Плутарха, прекрасных диалогов Платона, описаний Павсания и древностей Атенея, в ожидании часа, когда богу-создателю будет угодно призвать меня к себе и приказать покинуть землю. Поэтому, сын мой, увещеваю тебя использовать юные годы твои для упражнения в науках и добродетели.

Ты живешь в Париже, с тобой наставник твой Эпистемон: один устными и живыми наставлениями, а другой похвальными примерами могут научить тебя. Я стремлюсь и хочу, чтобы ты в совершенстве изучил языки: во-первых, греческий, что указывается Квинтилианом; во-вторых, латинский и потом еврейский, ради священного писания, а равно халдейский и арабский. В греческом подражай стилю Платона; в латинском — Цицерону. Ты должен сохранять в твоей памяти все исторические события, в чем тебе поможет космография различных авторов. К свободным искусствам, как то: геометрии, арифметике и музыке, я вложил в тебя некоторую склон-

ность, когда ты еще был совсем маленьким — лет пяти-шести, продолжай их изучение, знай все законы астрономии; астрологию же и искусство Люллия [18] оставь, как науки пустые и лживые. Выучи наизусть прекрасные тексты гражданского права, ты мне их изложишь с разъяснениями.

Что касается познания явлений природы, я хотел бы, чтобы ты отдался ему с любознательностью, чтобы не было ни моря, ни реки, ни родника, коих рыб ты бы не знал; и всех птиц в воздухе, все деревья, кусты и кустики лесов, все травы на земле, все металлы в недрах ее, все драгоценности Востока и Юга, — все это изучи; пусть ничего не будет тебе неизвестно. Тщательно перечитай книги греческих, арабских и латинских врачей, не презирая ни талмудистов, ни каббалистов; при помощи анатомии приобрети совершенное познание другого мира, каков есть человек...

ИЗ ГЛАВЫ 16-й

О ХАРАКТЕРЕ И ОБЫЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПАНУРГА

...Панург был среднего роста, ни высок, ни низок; его несколько орлиный нос был с изгибом, как ручка от бритвы. В то время ему было лет тридцать пять или около того; охотник до чужого, учтив и любезен, только что несколько похотлив и с предрасположением от природы к одной особой болезни, в то время называвшейся «фот д'аржан», причинявшей боль ни с чем не сравнимую. «Faute d'argent, c'est douleur non pareille» [19].

Тем не менее у него было шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным была простая кража. При этом он был озорник, шулер, пьяница, гуляка и забулдыга, каких мало в Париже. «А в остальном — чудесный человек» [20]...

ГЛАВА 17-я

КАК ПАНУРГ ПРИОБРЕТАЛ ИНДУЛЬГЕНЦИИ

Однажды Панург показался мне каким-то жалким и более молчаливым, чем обыкновенно. Подозревая, что у него нет ни су[a], я спросил его:

— Панург, вы больны, насколько я вижу это по вашему лицу, и я понимаю, чем вы больны: у вас воспаление кармана; но не беспокойтесь: у меня найдется шесть с половиною су, не видевших ни отца, ни матери, которые вам пригодятся.

На это он отвечал мне:

— Деньги — что! Когда-нибудь у меня их будет больше, чем надо, потому что у меня есть философский камень, который при-

[a] *Су* — мелкая французская монета, равная 5 сантимам.

тягивает деньги из кошельков, как магнит железо. А вот не хотите ли вы приобрести индульгенцию? [а] — спросил он меня.

— Ей-богу, — ответил я, — в этом мире я не особенно стараюсь замаливать грехи. Что будет в другом — не знаю. Ну, хорошо, идет: но за один денье [б], ни больше ни меньше...

— Но только дайте мне денье, — говорит он, — взаймы, за проценты.

— Ни за что, — говорю я, — даю вам от полноты сердца.

— Grates vobis, dominos [в], — сказал он.

Мы отправились и начали с церкви св. Гервасия, где я купил индульгенцию только у первого прилавка, так как в таких делах я довольствуюсь малым. Потом я прочитал несколько коротких молитв св. Бригитте. А он накупил индульгенций повсюду, у каждой колонны, и каждому продавцу совал деньги.

Из этой церкви мы перешли в Нотр-Дам, церковь св. Иоанна, св. Антония и во все остальные, в которых только продавались индульгенции.

Я не покупал, впрочем, больше ни одной. Но он прикладывался к мощам у каждой раки и раздавал деньги направо и налево.

Словом, когда мы возвращались, он завел меня по дороге в кабачок (близ Замка) и показал мне десять или двенадцать кошельков, полных денег.

Я перекрестился и сказал:

— Откуда вы набрали столько денег в такое короткое время?

Он отвечал мне, что с блюд с индульгенциями.

— Кладя на блюдо один денье, я это делал с такой ловкостью, что сборщику денег казалось, что я клал крупную монету. Потом одной рукой я брал дюжину денье, а другой — еще три-четыре дюжины, и так во всех церквах, где мы были.

— В самом деле? — сказал я. — Но ведь вы губите свою душу, вы — вор, святотатец.

— Да, по-вашему. А по-моему — нет. Ведь продавцы индульгенций сами давали мне их каждый раз, когда, подставляя мощи, чтобы я приложился, говорили: «centuplum accipies» [г], то есть предлагали мне брать за один денье сто. Ведь «accipies» употреблено как у евреев, которые будущее время употребляют вместо повелительного наклонения. Следовательно, когда продавец индульгенций мне говорит: «получишь сторицею», — он хочет сказать: «получай сторицею», как в законе сказано: «Diliges dominum», что значит «возлюбиши господа», то есть — возлюби. Так толкуют этот текст все массореты, раввины Кими, Абен Эзра и сам Бартолюс.

Больше того, папа Сикст пожаловал мне полторы тысячи франков ежегодной ренты из своей церковной казны за то, что я вылечил

[а] *Индульгенция* — папская грамота с отпущением грехов.

[б] *Денье* — мелкая медная монета (часть су).

[в] «Благодарю вас, господин» — на испорченной латыни.

[г] «Получишь во сто крат более».

ему злокачественную опухоль, мучившую его до того, что он боялся остаться хромым на всю жизнь. Так я эту ренту выплачиваю себе сам, собственными руками, из этой церковной казны.

ГЛАВА 23-я

КАК ПАНТАГРЮЭЛЬ ВЫЕХАЛ ИЗ ПАРИЖА, ПОЛУЧИВ ИЗВЕСТИЕ, ЧТО ДИПСОДЫ ВТОРГЛИСЬ В СТРАНУ АМОРОТОВ, И О ПРИЧИНЕ ТОГО, ПОЧЕМУ ВО ФРАНЦИИ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ МИЛИ

В скором времени Пантагрюэль услышал, что отец его Гаргантюа был перенесен феей Морганой[21] в царство фей, как некогда Ожье и Артур, и что вслед за тем, как распространился слух о его перенесении, дипсоды перешли границу, нанесли вред великой стране Утопии и держали в осаде столицу аморотов. Поэтому Пантагрюэль уехал из Парижа, ни с кем не попрощавшись, так как дело требовало спешки, и прибыл в Руан.

И вот, едучи, он заметил, что французские мили гораздо короче миль других стран, и спросил о причинах и основаниях этого у Панурга, который рассказал ему историю, приведенную Маротусом-монахом в «Деяниях королей канарских». Он говорил, что в древнее время страны не различались ни в отношении миль, ни стадиев, ни парсангов, пока король Фарамонд не установил этого различия, сделав это следующим образом: он выбрал в Париже сотню прекрасных, изящных и очень смелых молодых кавалеров и столько же прекрасных девушек-пикардиек. Каждому из молодых людей он дал по девушке, снабдив деньгами на расходы и приказав парам отправляться в разные страны, а на том месте, где молодые люди будут ласкать своих девушек, он велел класть камень, что обозначало бы милю.

Посланные пары весело отправились в путь, и, так как они были молоды, здоровы и свободны, они забавлялись то и дело.

Вот почему французские мили такие короткие.

Но когда они проделали длинную дорогу и уже устали, как дьяволы, и масла в лампах им нехватало, они уже не так часто останавливались и довольствовались (я говорю про мужчин) каким-нибудь несчастным разочком в день.

Вот почему в Бретани, в Ландах, в Германии и в других, более отдаленных, странах такие длинные мили.

Другие приводят иные объяснения, но это мне кажется наилучшим. С этим Пантагрюэль охотно согласился.

КНИГА III

ИЗ ГЛАВ 3-й и 4-й

[Покорив Дипсодию, Пантагрюэль назначил во владение Панурга замок Сальмигондэн, дававший большой доход. Но Панург вскоре промотал «доход со своих владений вперед на три года».]

КАК ПАНУРГ ВОСХВАЛЯЛ И ДОЛЖНИКОВ И ЗАИМОДАВЦЕВ

— Но, — спросил Пантагрюэль, — когда же у вас больше не будет долгов?

— Это дело откладывается ad calendas graecas[а], до того времени, когда весь свет будет доволен, и вы будете наследником после себя самого. Боже упаси выйти из долгов! Тогда я не найду никого, кто бы дал мне взаймы хоть один денье. Кто с вечера не положит ложжей, у того утром тесто не поднимется. Если вы постоянно у кого-нибудь в долгу, ваш кредитор неустанно будет молить господа о ниспослании вам хорошей, долгой и счастливой жизни; из боязни потерять свой долг он всегда и во всяком обществе будет говорить о вас только хорошее и подыскивать вам новых кредиторов, чтобы вы могли через них сделать оборот и чтобы вы, так сказать, чужой землей засыпали его ямы.

Когда, в былое время, в Галлии, по закону друидов[б] на похоронах хозяев сжигались живьем все их рабы и слуги, разве последние не боялись, что их хозяева и господа умрут? Ибо им самим нужно было умереть вместе с ними. И разве не молились они непрестанно Меркурию и Дису[в], отцу золота, о сохранении их господ в добром здравии? Не старались ли изо всех сил беречь своих хозяев и им служить? Ведь до их смерти могли жить и они.

Так вот, поверьте, и ваши кредиторы будут горячо молить бога о продлении вам жизни и будут бояться вашей смерти, поскольку они любят рукава больше самой руки, а деньги больше жизни.

Пример — ландерусские ростовщики, которые чуть не повесились, узнав, что хлеб и вино падают в цене и что вновь наступает хорошая погода.

Так как Пантагрюэль ничего не отвечал, Панург продолжал говорить:

— И то сказать, как подумать хорошенько, вы меня ставите в неловкое положение, попрекая долгами да кредиторами. Клянусь, именно только в этом отношении я считаю себя святым, почтенным и грозным человеком: вопреки мнению философов (которые утверждают, что из ничего не сделать ничего), я, ничего не имея, никакой первичной материи, стал творцом и создателем. Я создал! Что создал? Столько добрых и прекрасных кредиторов.

Кредиторы (буду настаивать на этом вплоть до костра исключительно[22]) суть прекрасные и добрые создания. Кто не дает, тот уродливая и злая тварь, адское порождение великого мерзавца дьявола.

И я сделал. Что сделал? Долги. О редкая, антикварная вещь!

[а] «До греческих календ» — римская поговорка, имевшая тот же смысл, что русская поговорка: «После дождичка в четверг». *Календы* — первые дни месяца.

[б] Друиды — жрецы у древних кельтов Галлии и Британии.

[в] *Дис* (сокращ. dives — «богатый») — прозвище бога богатства Плутоса.

Я сделал долгов больше, чем число слогов, получающееся в результате сочетаний всех гласных со всеми согласными,—число, высчитанное некогда благородным Ксенократом [23]. Если вы по количеству кредиторов будете оценивать достоинство должников, вы не сделаете ошибки в практической арифметике.

Думаете ли вы, как мне приятно видеть каждое утро вокруг себя моих заимодавцев, столь смиренных, услужливых, рассыпающихся в реверансах? А когда я замечаю, что стоит мне взглянуть на одного из них поласковее или угостить получше, чем других, плут уже воображает, что его получка будет первой, что его срок наступит раньше других, — вижу, что моя улыбка считается чистыми деньгами. Тогда мне представляется, что я играю роль божества в самосорской мистерии, окруженного ангелами и херувимами. Это мои клиенты, мои паразиты, мои поздравители, мои постоянные хвалители. И я в самом деле думаю, что из долгов построена описанная Гесиодом Гора Геройской Доблести, на которой мне принадлежит диплом первой степени, к которому все человечество, повидимому, влечется и стремится, но которого из-за трудностей пути достигают лишь немногие, как это видно из того, что весь свет охвачен пылким желанием и острым аппетитом делать долги и новых кредиторов. Однако не всякий бывает должником, кто им хочет быть; и может делать кредиторов не всякий, кто хочет.

И вы хотите меня лишить этого высшего благополучия? Вы меня спрашиваете, когда я выйду из долгов?

Гораздо хуже, — призываю в свидетели святого Баболена,—если бы я всю свою жизнь не считал долгов связующим звеном между землей и небом, единственной поддержкой рода человеческого, без которой люди скоро бы погибли: долги—та самая великая мировая душа, которая, по утверждению академиков, живит все. Что это именно так,—представьте себе ясно в уме идею и форму некоего мира (возьмите, если вам угодно, хоть тридцатый мир, воображаемый философом Митродором), в котором не было бы ни должников, ни заимодавцев. Мир без долгов. В таком мире не может быть никакого правильного течения светил небесных. Все будет в полном беспорядке. Юпитер, не считая себя должником Сатурна, лишит его орбиты и, внеся путаницу во все умы, перепутает все отношения между богами, небесами, демонами, гениями, героями, дьяволами, землями, морями и стихиями.

...Люди перестанут помогать друг другу; тщетно будет кто-нибудь взывать о помощи при пожаре, при наводнении, при убийстве: никто не придет помочь ему. А почему? Он ничего никому не одолжил, и никто ему ничего не должен. Никому нет дела до его пожара, до его кораблекрушения, до его разорения, смерти. Ведь он ничем не ссужал, и поэтому и ему никто ничего не ссудит.

Словом, из такого мира будут изгнаны вера, надежда и любовь. А ведь люди рождены, чтобы помогать себе подобным. Их место займут недоверие, презрение, злопамятство, вместе с тучей всяких других зол, несчастий и проклятий.

...Если же вы, по подобию этого жалкого и плачевного мира, в котором не дают в долг, представите себе другой «малый мир», то есть человека, — вы найдете там тоже ужасную сумятицу. Голова откажется ссужать зрение своих глаз, чтобы двигать ноги и руки; ноги не удостоят носить голову, руки перестанут для нее работать. Сердце восстанет против того, чтобы биться ради пульсации остальных органов, и перестанет одолжать свое биение для них. Легкие откажутся снабжать сердце воздухом, печень — посылать ему кровь для поддержки. Мочевой пузырь не захочет быть должником почек, и моча перестанет течь. Мозг, созерцая такой неестественный порядок вещей, предастся грезам и перестанет сообщать чувствительность нервам, движения — мускулам.

Вообще в этом расстроенном мире, где ничего не должают и ничего не дают взаймы, вы увидите возмущение более опасное, чем то, которое изобразил в своей басне Эзоп.

Без сомнения, такой мир погибнет; и не только погибнет, но гибель его последует вскоре, хотя бы это был сам Эскулап [а]. Тело сразу сгниет, а душа в негодовании отправится ко всем чертям, вслед за моими деньгами.

Наоборот, представьте себе другой мир, в котором каждый дает взаймы, каждый берет в долг: все — должники, и все — заимодавцы. О, какая будет гармония среди правильного движения небесных сфер! Мне кажется, я слышу эту музыку сфер так же явственно, как некогда Платон.

Какое сочувствие между стихиями! О, как природа будет утешаться своими делами и произведениями!

Церера — тучная злаками, Вакх — винами, Флора — цветами, Помона — плодами. И Юнона — ясная, здоровая, веселая.

Я теряюсь при созерцании этого!

Между людьми — мир, любовь, взаимная склонность, верность, покой, пиры, праздники, радость, веселье, золото, серебро, мелкая монета, цепочки, кольца, товары — все будет переходить из рук в руки. Никаких процессов, войн, споров. Не станет ростовщиков, скупердяев, скряг.

Боже истинный! Не наступит ли тогда золотой век, царство Сатурна, воплощенная идея олимпийских стран, где исчезают все добродетели, и одна любовь к ближнему царствует, правит, повелевает и торжествует? Все будут добры, прекрасны, справедливы. О счастливый мир! О счастливые жители этого счастливого мира! Вы трижды, четырежды блаженны!

И мне кажется, что я уже там. Истинно, истинно клянусь вам, что если бы в этом мире имелся свой папа с сонмом кардиналов и в сообществе со своей святой коллегией, то через немного лет вы бы увидали в нем больше святых, и при этом более чудотворных, больше проповедей, обетов, посохов и свечей, чем сейчас во всех девяти епископатах Бретани, за исключением только Сент-Ива.

[а] *Эскулап* — в римской мифологии — бог врачевания (греч. Асклепий).

Прошу вас принять во внимание, что благородный Патален [а], желая обоготворить и путем божественных восхвалений вознести до третьего неба отца Гильома Жуссома, ничего о нем не сказал другого, кроме того, что:

...он ссужал
Товаром всех, кто только ни желал.

О, какое прекрасное слово!

И вот по такому образцу вообразите и наш микрокосм, все члены которого занимают, одолжают и должают, то есть в его естественном состоянии. Ибо природа создала человека исключительно для того, чтобы давать и брать взаймы.

Сама гармония небес не будет гармоничнее его благоустройства.

Намерением основателя сего микрокосма было поддерживать душу, вложенную им туда в качестве гостьи, и жизнь. Жизнь состоит из крови; кровь — пребывание души; и поэтому единственный труд в этом мире—это непрестанно ковать кровь. В этой кузнице все органы исполняют свойственную им службу, и их иерархия такова, что один у другого беспрестанно занимает, один другому дает в долг. Материя и металлы, подходящие для превращения в кровь, даны природой: это хлеб и вино. Все виды пищи заключены в этих двух. Отсюда произошло готское слово: «компанейство» [24]. Чтобы найти, приготовить и сварить пищу, работают руки, шествуют ноги и носят всю эту машину, глаза же ведут. Аппетит в устье желудка, посредством кисловатой желчи, проходящей в него из селезенки, напоминает нам о необходимости заправить его едой. Язык пробует, зубы жуют, желудок принимает, переваривает и извергает. Брыжеечные вены всасывают все хорошее и пригодное, выделяют экскременты, которые выталкивающей силой изгоняются по специальным проходам. Питательные части идут в печень, которая снова преобразует их и делает из них кровь.

Подумайте теперь о той радости, которой предаются эти служебные органы, когда они видят этот золотой ручей, благодаря которому они восстанавливаются...

ГЛАВА 5-я

КАК ПАНТАГРЮЭЛЬ ЧЕСТИТ ДОЛЖНИКОВ И ЗАИМОДАВЦЕВ

Я понимаю, ответил на речь Панурга Пантагрюэль,—и, по-моему, вы хороший аргументатор и увлечены вашим делом. Но проповедуйте, ораторствуйте вплоть до троицына дня,—к вашему изумлению, вы увидите, что не убедили меня ни в чем и что я ни за что не войду в долги, как бы прекрасно вы ни говорили. В «Послании» сказано: «Никому ни в чем не должайте, кроме взаимной любви и милости».

[а] *Патален* — лукавый адвокат, герой знаменитого французского фарса XV в.

Вы употребляете прекрасные обороты и образы, которые мне очень нравятся. Но говорю вам: если вы представите себе бесстыдного нахала и наглого заемщика, вторично входящего в город, где уже знакомы с его нравами, вы увидите, что по его прибытии жители города придут в смятение и ужас не в меньшей степени, чем при появлении чумы в таком образе, как ее видел в Эфесе тианский философ [а]. Я того мнения, что персы не ошибались, считая ложь вторым из пороков, а долги — первым. Ибо долги и ложь идут обыкновенно рука об руку.

Я не хочу, однако, настаивать, что никогда не следует делать долги или давать в долг. Нет такого богача, который никогда бы не был должен, нет и такого бедняка, у которого иной раз нельзя было бы занять. Но это будет тот случай, о котором Платон упоминает в своих «Законах», когда приказывает не позволять соседям черпать воду из вашего колодца, если они раньше не пороются хорошенько в своей собственной земле и не найдут слоя глины (из которой лепят горшки) и не наткнутся на источник или иной водяной слой. Глина по своему составу такова, что, будучи жирной, гладкой и плотной, удерживает влагу, и последняя не легко испаряется. Поэтому великий стыд—всегда и всюду занимать, вместо того чтобы работать и зарабатывать. Только тогда должно давать взаймы, — по моему мнению,—когда человек, работая, не может заработать своим трудом или когда он внезапно лишается своего добра.

Однако, оставим наш разговор; вперед не цепляйтесь за кредиторов; от прошлого я вас избавляю...

[...«Третья книга героических сказаний и деяний доброго Пантагрюэля», посвященная «духу Наваррской королевы» (покровительница гуманистов, Маргарита Валуа), появилась после большого перерыва в 1546 г. За годы перерыва во Франции произошли события большой важности. В стране восторжествовала реакция. Франциск I из оплота гуманистов и свободомыслия превратился в гонителя еретиков, отца мракобесия. В 1535 г. он даже издал эдикт, запрещавший книгопечатание как средство, содействующее распространению лжеучений. Участились казни и преследования. В связи с этим сатира Рабле становится более скрытой и осторожной. Подлинным героем книги оказывается Панург. Его мучат сомнения; он никак не может решить важный вопрос: жениться ему или нет, ибо ужасно боится стать «рогатым». Поэтому он ко всем обращается за советом; так возникает целая галерея гротескных фигур — советчиков Панурга. Среди них астролог, геомант и хиромант Гер-Триппа (Агриппа Неттесгеймский, автор книги «Об оккультной философии», 1533 г.) (гл. 25). Судья Бридуа, который все тяжбы решает выбрасыванием игральных костей (гл. 39—43), философы, не способные дать членораздельного ответа (особенно гл. 35—36), и многие другие. В конце концов, не удовлетворенный полученными ответами, Панург решает отправиться к оракулу Божественной Бутылки (своего рода буффонное подобие св. Грааля). В далеком и опасном путешествии (оракул находится в Китае) Панурга готовы сопровождать Пантагрюэль, брат Жан — настоятель Телемского аббатства — и другие утопийцы. В «Четвертой книге героических деяний и сказаний доброго Пантагрюэля» (1548 г., расширенное издание 1552 г.) описывается самое путешествие. При этом сатира Рабле (в изд. 1552 г.) становится резкой и беспощадной. Автор обрушивается на различные проявления феодально-католической реакции. На пути к ора-

[а] *Аполлоний Тианский* — греческий философ I в. н. э.

кулу Божественной Бутылки утопийцы посещают поочередно различные неведомые страны, где видят множество удивительных вещей: остров Прокурации, «страну безобразную и грязную», населенную кляузниками и сутягами, питающимися палочными ударами (гл. 12—16); остров Тапинуа, где царствует «великий пожиратель гороха», «расточитель индульгенций» плаксивый Каремпренан (католический пост) (гл. 29—32), ведущий ожесточенную войну с жителями соседнего острова — Мясными Колбасами (протестанты, отвергающие пост) (гл. 35—42); остров Папефигов (показывающие папе фигу, т. е. кальвинисты, гл. 45—47), которые «были когда-то богаты и свободны и назывались Весельчаками, но теперь бедны, несчастны и в подчинении у папиманов»; остров Папиманов (приверженцы папы, т. е. католики, гл. 48—54, см. приводимую ниже главу 48); остров, где властвует мессер Гастер (желудок), «первый учитель искусств в мире» (гл. 57—62), и пр. Заключительная (пятая) книга романа вышла уже после смерти Рабле в 1564 г. (полный текст) и, повидимому, лишь частично принадлежит перу Рабле (можно предполагать, что ее написал какой-нибудь другой писатель по материалам и наброскам, оставленным Рабле). Книга открывается описанием Звучащего Острова (сатира на католическую церковь), куда прибывают утопийцы (гл. 1—8). Остров населен прожорливыми птицами с разным оперением, которые все содержатся в роскошных клетках. Они зовутся — клерго, монаго, претрего, аббего, эзего, карденго и, наконец, папего, — «единственный в своем роде» (т. е. клирики, монахи, священники, аббаты, епископы, кардиналы и папа). Все их занятие — прыгать, щебетать и петь под непрекращающийся звон колоколов. На остров слетаются все те, которые «не умеют и не хотят ничего делать, — ни работать в каком-нибудь честном искусстве или ремесле, ни служить верою и правдою порядочным людям; и те, кто не мог насладиться любовью, кто не достиг намеченной цели и дошел до отчаяния; а также и те, кто злодейски совершил какое-нибудь преступление и кого ищут, чтобы предать постыдной казни, — все они прилетают сюда; тут жизнь обеспечена, и они внезапно становятся жирными, как сурки, те, что раньше были тощи, как иголки». Утопийцы разглядывают папего (см. приводимый ниже отрывок) и едут дальше. Они минуют остров, где царствует кровожадный Грипмино, эрцгерцог Пушистых Котов (судейские, гл. 11—15), все они питаются маленькими детьми и едят на мраморных камнях (намек на большой мраморной стол в суде), при этом у них когти такие крепкие, длинные и острые, что ничто, схваченное ими, не может вырваться. Далее следует царство сухопарой Квинтэссенции, которая питается только категориями, абстракциями, антитезами и пр. (схоластика, гл. 19—25). И, наконец, утопийцы прибывают к оракулу Божественной Бутылки, от которой и слышат заветное слово: «тринк» (т. е. пей), которое каждый толкует по-своему. Таким довольно туманным эпизодом и завершается «Пятая и последняя книга героических деяний и сказаний доброго Пантагрюэля».]

КНИГА IV

ГЛАВА 48-я

КАК ПАНТАГРЮЭЛЬ ВЫСАДИЛСЯ НА ОСТРОВЕ ПАПИМАНОВ

Оставив запустелый остров Папефигов, мы плыли в течение дня при ясной и чудесной погоде, когда нашему взору предстал благословенный остров Папиманов. Только мы бросили якорь в порту и не успели еще привязать канаты, как прибыли к нам на лодке четверо по-разному одетых людей. Один был в монашеской рясе, весь в грязи, обутый в сапоги. Другой был одет сокольничим, в перчатке, с чучелом птицы. Третий был одет стряпчим, с большим меш-

ком, набитым извещениями, повестками, жалобами и отсрочками. Четвертый в одежде виноградаря из Орлеана в прекрасных полотняных гетрах, с корзиной и с кривым ножом за поясом.

Как только они подплыли к нашему кораблю, тотчас же громко закричали все вместе:

— Видели ли вы его, люди проезжие? Видели ли вы его?

— Кого? — спросил Пантагрюэль.

— Его, — отвечали они.

— Кто он? — спросил брат Жан. — Чорт возьми, я изобью его на-смерть!

— Как? — сказали прибывшие. — Вы, странники, не знаете единого?

— Господа, — сказал Эпистемон, — мы не понимаем таких терминов. Объясните, пожалуйста, о ком идет речь, и тогда мы скажем всю правду без утайки.

— Это, — сказали они, — сущий! Видели ли вы его когда-нибудь?

— Но сущий, — ответил Пантагрюэль, — по учению наших богословов — это бог. В таких словах он объявил о себе Моисею. Его мы, конечно, не видели, он и невидим телесными очами.

— Мы совсем не говорим, — сказали они, — о том вышнем боге, на небесах. Мы говорим о боге на земле. Видели ли вы его когда-нибудь?

— Они говорят о папе, — сказал Карпалим, — клянусь честью!

— Да, да, — отвечал Панург, — да, господа! Я видел их трех, но от этого вида никакой пользы не получил.

— Как? — сказали они. — В наших святых декреталиях [25] поется, что бывает только один живой.

— Я говорю, — вскричал Панург, — одного за другим. За один раз я видел только одного.

— О люди, — сказали они, — трижды и четырежды счастливые! Желанные, больше чем желанные люди! Добро пожаловать!

И вот они опустились перед нами на колени, желая облобызать наши ноги, чего мы не хотели допустить, указав им, что они не смогут выразить большего почтения папе, если он случайно прибудет к ним собственной особой.

— Выразим большее, выразим! — отвечали они. — У нас это уже решено. Ему мы поцелуем зад и другие части! Потому что они у него есть, у святого отца, — так сказано в наших прекрасных декреталиях, — иначе он не был бы папой. Так что тонкая философия декреталий делает неизбежным такое умозаключение: раз он папа — значит, у него есть эти органы. Если же в мире таких органов не было бы, не было бы и папы.

Тем временем Пантагрюэль спросил у юнги с их судна, кто такие эти лица. Тот ответил, что это представители четырех сословий острова. Он прибавил еще, что нас хорошо примут и хорошо угостят, потому что мы видели папу. Пантагрюэль передал это Панургу, на что тот тихонько ему сказал:

— Богом клянусь и обещаюсь, именно так! Все приходит во-время к тому, кто умеет ждать. До сих пор пользы от того, что я видел папу, никакой не было! А сейчас, дьявол побери, польза будет, как я вижу.

Тогда мы сошли на берег — и к нам, как на крестный ход, пришли все жители острова: мужчины, женщины, малые дети. Наши четыре сословия закричали громким голосом:

— Они его видели! Они его видели! Они его видели!

При этом возгласе весь народ сразу пал перед нами на колени, воздевая руки к небу и крича:

— О счастливые! О блаженные люди!..

Крики эти длились больше четверти часа. Потом прибежал магистр местной школы со всеми педагогами, надзирателями и школьниками, задали школьникам генеральную порку, как и у нас есть обычай сечь малых ребят, когда вешают какого-нибудь злодея, для того чтобы они помнили о таком случае.

Пантагрюэль рассердился и сказал:

— Господа, если вы не перестанете сечь детей, я уеду обратно.

Народ был поражен его громовым голосом, и я заметил, как маленький длиннорукий горбун спросил у старшего педагога:

— Клянусь экстравагантами[26], неужели те, кто увидит папу, делаются такими громадными, как тот, который сейчас нам грозит? О, как жаль, что я до сих пор его не видел и не вырос с этого человека!

Они кричали так громко, что прискакал Гоменац (так звался их епископ) на муле без узды и в зеленой попоне, в сопровождении своих подручных — иподиаконов, несших кресты, знамена, хоругви, балдахины, факелы, кропильницы. Он тоже хотел облобызать нам ноги (как добрый христианин Вальфинье ноги папы Климента), говоря, что один из их гипофетов[27], буквоедов, комментаторов священных декреталий написал о том, что подобно тому, как мессия, которого иудеи ожидали так долго, наконец, явился к ним, так и на их остров прибудет когда-нибудь сам папа. В ожидании же этого блаженного дня, если к ним прибывает тот, кто видел папу в Риме или в другом месте, они должны угощать и с почетом принимать его.

Но мы все-таки под приличным предлогом уклонились от этого.

КНИГА V

ГЛАВА 8-я

КАК НАМ С ВЕЛИКИМИ ТРУДНОСТЯМИ БЫЛ ПОКАЗАН ПАПЕГО

Третий день продолжался в празднованиях и в таких же пирах, как и два предыдущих. В этот день Пантагрюэль выразил настойчивое желание увидеть папего: однако сторож ответил, что он не так-то легко допускал себя видеть.

— Что же, — сказал Пантагрюэль, — у него Плутонов шлем на голове, на когтях кольцо Гигеи или на груди хамелеон, что он делается невидимым для мира?

— Нет, — отвечал сторож, — но к нему затруднен доступ самою природою. Я, во всяком случае, распоряжусь, чтобы вы его могли увидеть, когда это будет возможно.

После этих слов он оставил нас на месте доедать обед. Вернувшись спустя четверть часа, он сказал нам, что сейчас папего можно видеть. И повел нас — украдкой и втихомолку — прямо к клетке, в которой тот сидел в компании двух маленьких карденго и шести больших и жирных эвего. Панург с любопытством разглядывал его наружность, движения, манеру себя держать. А потом крикнул громким голосом:

— Что за животное, будь ему неладно! Кажется, он глуп!

— Говорите тише, — сказал сторож, — ради бога! У него есть уши, как мудро заметил Михаил де-Матискон [28].

— А если он глуп?

— Если он услышит, что вы злословите, — вы погибли, добрые люди! Видите там, в его клетке, водоем? Оттуда сейчас же выйдут гром и молния, гроза, буря и черти; и вы в один миг будете погружены на сто футов под землю.

— Лучше было бы, — сказал брат Жан, — пить и пировать.

Панург оставался в упорном созерцании папего и его компании, когда заметил под его клеткой маленькую совушку. Тогда он закричал:

Клянусь божьей благодатью, нас тут хорошо обкурили и плохо снарядили. В этом месте хватит за глаза курева да обдуривания. Взгляните-ка на эту совушку: мы тут богом убиты.

— Говорите тише, ради бога! — сказал сторож. — Это вовсе не совушка: это — самец, это — благородный сыч.

— Но вот что, — сказал Пантагрюэль, — заставьте-ка спеть для нас немного этого папего, чтобы мы услышали его гармонию.

— Он поет, — отвечал сторож, — только в свои дни, а ест только в свои часы.

Я не так делаю, — сказал Панург, — все часы — мои. Поэтому пойдем выпьем хорошенько.

— Вы, — сказал сторож, — правильно сейчас говорите, и, говоря так, вы никогда не будете еретиком. Идем, я того же мнения.

Возвращаясь к выпивке, мы заметили старого эвего с зеленой головой, на корточках, в компании приказного и трех подьячих, — веселые птички!

Он храпел под зеленью. Рядом с ним находилась хорошенькая абежесса[a]; она весело распевала, и от ее пения мы получили такое большое удовольствие, что нам захотелось иметь все наши органы превращенными в уши, чтобы ничего не потерять из ее пения и, ничем не отвлекаясь, ее слушать. Панург сказал:

[a] Т. е. аббатисса.

— Эта прекрасная абежесса уже из сил выбивается, чтобы петь, а этот толстый мужлан эвего храпит в это время. Я заставлю его попеть, дьявол побери!

И он позвонил в колокол, который висел над клеткой эвего; но как он ни звонил, эвего храпел еще пуще и все-таки не пел.

— Ради бога, — сказал Панург, — у-у, старый дурак! Я заставлю тебя запеть по-другому! — И он взял толстый камень и хотел ударить его.

Но сторож воскликнул:

— Бей, милый человек, бей, рази, убивай, умерщвляй всех королей и князей на свете; изменой, ядом, каким хочешь другим способом; изгони всех ангелов с небес, — за все получишь прощение от папего; но не тронь этих священных птиц, если тебе дорога жизнь, польза и благо как твои собственные, так и твоих родных и друзей, живых и умерших! Даже те, которые после произойдут на свет, и те будут несчастливы. Посмотри хорошенько на этот водоем.

— Стало быть, лучше, — сказал Панург, — выпивать и пировать вдоволь.

Он хорошо говорит, господин сторож, — сказал брат Жан, — при виде этих дьявольских птиц мы только и делаем, что кощунствуем; опустошая же ваши бутылки и кувшины, мы только славим бога. Поэтому пойдем выпьем как следует. О прекрасные слова!

На третий день после выпивки (как вы сами понимаете) сторож с нами распрощался. Мы ему подарили прекрасный нож, который он принял с бо́льшим удовольствием, чем Артаксеркс [29] стакан холодной воды, предложенный ему крестьянином. Он учтиво поблагодарил нас, послал к нам на суда всяких свежих запасов, пожелал нам доброго пути и возвращения, достижения личного спасения и цели нашего предприятия и заставил нас обещать и поклясться юпитером-камнем, что наш обратный путь опять пройдет через его земли.

ЛИОНСКАЯ ШКОЛА ПОЭТОВ

С 40-х годов XVI в. во французской литературе широкое распространение получил идеал возвышенной платонической любви, опиравшийся на любовную лирику Петрарки и его продолжателей и теоретически истолкованный итальянскими неоплатониками XV—XVI вв. Согласно П. Бембо, это — идеальная любовь, «воспетая Петраркой, которая среди чувственных соблазнов возвышается до чистого платонического поклонения любимой и, воспаряя еще выше, возносится от вечно преходящего в горний мир божества» (Dei Asolani, 1505 г., франц. перевод Жана Мартена, Лион, 1557 г.). Любовь — чаяние высшего блага, «невидимая нить», связующая телесный мир с духовным, в живительном пламени которого исчезает всякая «материальная грубость». На французской почве эти идеи раньше всего нашли свое выражение в творчестве поэтов Лиона, крупного культурного и экономического центра, расположенного на большом торговом пути в Италию. Главой лионской школы поэтов, образующей переходную ступень от Клемана Маро к идеализирующей и антикизирующей поэзии «Плеяды», был Морис Сэв (Maurice Scève, ум. в 1564 г.), автор поэмы «Делия, предмет самой высокой добродетели» («Délie objet de plus haute vertu», 1544 г.), в которой он, подобно Петрарке, воспевал свою возлюбленную как олицетворение величайших добродетелей. Его ученица «прекрасная канатница» Луиза Лабе (Louise Labé, 1520—1566) писала сонеты о страстной испепеляющей любви. Антуан Эроэ (Antoine Heroet, 1492 ?—ок. 1568 г.) в поэме «Совершенная подруга» (La parfaite amie, 1542 г.) воспевал спиритуалистическую любовь, поднятую над тщетой «бренной красоты». Новому поэтическому направлению покровительствовала Маргарита Наваррская, в стихах которой также отчетливо звучат мотивы неоплатонизма. Характерной чертой лионской школы был ее интеллектуальный характер, стремление к идеальной форме и высокое представление о задачах поэзии.

МОРИС СЭВ

ДЕСЯТИСТИШИЯ

1

В своем саду Венера отдыхала,
А рядом с нею сын ее играл.
Я подошел и с самого начала
Меж ним и мною сходство увидал.
Он ростом, как и я, был очень мал
И бледностью был мне подобен тоже.
Но если меж собою так мы схожи,
Зачем нет лука у меня и стрел?
Без них у той, что жизни мне дороже,
Я состраданья вызвать не сумел.

2

Тоска напала на Амура злая:
Свои все стрелы он в меня пустил.
Заплакала Венера, сострадая,
И слез поток ей факел погасил.
Им стал обоим белый свет немил.
Где стрелы взять ему? Где взять ей пламя?
Не плачь, Венера, горькими слезами,
Свой факел разожги в моей крови,
А ты, дитя, к моей отправься даме:
Ведь каждый взор ее — стрела любви.

3

Сон, тихими залив меня волнами,
Мне ниспослал забвенья благодать,
И мне казалось, что погасло пламя,
Которым жгут нам сердце сын и мать.
Я эту ночь спокойней мог дышать.
Но день пришел, и встретился я снова
С действительностью мрачной и суровой,
Вновь ощутил в душе своей костер:
В тот день рукою фанатизма злого
Убиты были Англия и Мор [а].

4

Когда порою госпоже моей
Я на нее же жалуюсь умильно,
Из возмутившихся ее очей
Дождь изливается росой обильной.
Но как весною солнца луч всесильный
Пронижет вдруг дождя густую сеть
И влажный соловей спешит запеть,
Так и Амур, в ее слезах купая
Усердно крылышки, мечтает впредь
Забыть унынье в радостях без края.

5

Охотницей одевшись, по полям
Бродила Делия моя недавно,
И бог любви ей повстречался там,
Что за влюбленными следит исправно.
Он подошел с вопросом к богоравной:
«Где у тебя оружие, мой свет?»
«Мои глаза, — услышал он в ответ; —
Поймала ими дичи я не мало;
Тебе от лука пользы, право, нет:
Ведь и тебя глазами я поймала».

[а] Томас Мор был казнен в июле 1535 г.

ЛУИЗА ЛАБЕ

СОНЕТЫ

* * *

О карий блеск потупленных очей!
О вздохи страсти! Пролитые слезы!
О ярких дней томительные грезы!
О мрак напрасно прожитых ночей!

О горечь вся подавленных речей!
О бег часов! О блекнущие розы!
О быстрых дней нависшие угрозы!
Как много вас, жестоких палачей!

О песнь его под страстную виолу!
О волосы его! О нежность рук!
Мне, женщине, зачем так много мук?

Ты — весь огонь, а я склоняюсь долу.
Хотя во мне зажег ты страстью кровь,
В твоей груди не вспыхнула любовь.

* * *

Едва начну вкушать в своей постели
Давно желанный сладостный покой,
Мысль грустная стремится за тобой,
Уходит от меня к единой цели.

И в сердце чувствую и в нежном теле
То благо, о котором я с тоской
Молила вздохами ночной порой,
Когда в груди рыдания кипели.

О тихий сон, о мрак, — столь благосклонный,
Приятный отдых, полный тишины!
Пускай все ночи сновиденье длится,

И если никогда душе влюбленной
Живые радости не суждены,
Пусть ей, по крайней мере, счастье снится!

* * *

Пока глаза блестят слезой страданья,
Оплакивая счастье прежних дней,
А голос мой звучит еще нежней,
Преодолев и вздохи и рыданья,

Пока заставить лютню в состоянии
Моя рука тебя воспеть звучней,
И ум, с твоим сливаясь все полней,
Довольствуется счастьем пониманья, —

До той поры не жажду смерти я.
Но лишь иссякнет слез моих струя
И станут голос и рука бескровны,

И не сумеет разум мой земной
Тебе понятным сделать знак любовный,
Пусть в светлый день приходит смерть за мной!

АНТУАН ЭРОЭ

Из «СОВЕРШЕННОЙ ПОДРУГИ»

...Наивная уверенность откуда [a],
И как в любви, непостоянной страсти,
Я нахожу спокойствие и счастье?
Все оттого, что друга полюбила
Так хорошо, с такою нежной силой,
В себе соединяя неизменно
Все то, что есть в особе совершенной,
Чем будет он всегда во мне пленен,
Едва лишь встретится со мною он.
Он ищет красоты — прекрасной стану,
Ума — божественной пред ним предстану.
Пусть мне поверят — не солгу я, право,
Когда ему воздам я в этом славу:
Он добродетель доказал мне честно,
Но и моя теперь ему известна.
Все, что он хочет, что любовь желает,
Что знает он, иль слышит, иль читает,
Все есть во мне — но только для него,
Другой не отыскал бы ничего.
Все радости во мне находит он, —
Так чем в других он будет соблазнен?

[a] Говорит возлюбленная.

И если трудно верным быть одной,
Он тысячу найдет во мне самой:
Коль хочет, пусть меняет их беспечно,
Все ж от меня не отойдет он вечно!
Так я живу при нем, в часы свиданья,
А без него, клянусь, не в состояньи
Я мысль иметь такую, чтобы он,
Ее узнав, был ею оскорблен.
Так жизнь моя мне сделалась священна,
Так видеть друга жажду неизменно.
Когда беседую с друзьями иль с родными,
Им отвечая, тягощусь я ими,
И знает каждый, что взамен его
Хотела б видеть друга своего.

«ПЛЕЯДА».

Своей вершины французская ренессансная поэзия достигла в творчестве писателей-гуманистов, объединившихся в кружок, принявший наименование «Плеяды» («Семизвездия»), по примеру кружка александрийских поэтов III в. н. э., возглавлявшихся Феокритом. «Плеяда» состояла из семи писателей Ронсар, дю Белле, Баиф, Дора, Жодель, Реми Белло и Понтюс де Тиар); ее вождем был Ронсар. В 1549 г. появился манифест «Плеяды» — «Защита и восхваление французского языка», написанный дю Белле. Участники «Плеяды» решительно порывали с традициями средневековой литературы, усматривали источник совершенной красоты в античной (преимущественно эллинской) поэзии, отстаивая в то же время от нападков педантов права французского национального языка и творческую самобытность французской поэзии. Их эстетическим идеалом была прекрасная форма, отрешенная от всего «низменного» и «вульгарного». Поэзия К. Маро и его школы рисовалась им чрезмерно «прозаической», они искали, по словам дю Белле, «более высокого и лучшего стиля», чем тот, которым «столь долгое время довольствовались» французы. Вместе с тем, в отличие от поэтов лионской школы, они не были склонны воспарять в надземную область платонизма, оставаясь в мире реальных, хотя и эстетизированных чувственных отношений. Наиболее значительным разделом творческого наследия «Плеяды» является лирика, в которой с замечательным блеском обнаружил свое дарование ряд поэтов. «Плеяда» также сделала попытку реформы французской драмы, которая все еще продолжала сохранять свой средневековый характер (мистерии, моралитэ, библейские трагедии, фарсы). Опираясь на драматургию Сенеки, Жодель написал первую французскую классическую трагедию («Пленная Клеопатра», поставлена в 1552 г.). Своими антиквизирующими тенденциями «Плеяда» подготовляла развитие классицизма во французской литературе.

На русском языке: Ронсар, переводы С. В. Шервинского, ГАХН, 1926 г.; С. Пинус, Французские поэты, СПБ, 1914 г.; В. М. Блюменфельд, Поэты французского Возрождения, антология, Гослитиздат, Л., 1938 г.

МАНИФЕСТ «ПЛЕЯДЫ»

ИОАХИМ ДЮ БЕЛЛЕ

ИЗ

«ЗАЩИТЫ И ВОСХВАЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА»

1

...языки не вырастают сами по себе, как травы, корни и деревья, одни немощные и хилые по своей природе, другие здоровые, могучие и более способные нести груз человеческих мыслей; нет, мощь их порождается волей и желанием смертных [1].

2

А посему, особливо, осуждаю я глупое высокомерие и дерзость некоторых французов, каковые, отнюдь не имея никакого отношения ни к грекам, ни к латинянам, принижают и отвергают с высокомерием, достойным стоиков, все, что написано по-французски; не могу я также надивиться на тех ученых, которые почитают наш национальный язык непригодным для изящной литературы и науки, словно всякая новая мысль бывает хорошей или плохой в зависимости от языка, на коем она высказана.

3

Эти доводы, по моему разумению, вполне способны убедить беспристрастных ценителей в том, что никто, а особливо те, для кого французский язык является коренным и природным и кто ни в чем не уступают ни грекам, ни латинянам, не должны принижать этот язык, хотя бы наши враги и люди, не имеющие на то никакого права, и называли его варварским.

4

Может статься, наступит время (а я верю в счастливую звезду французов), когда это благородное и сильное королевство захватит бразды мирового могущества и наш язык, начинающий пускать корни и пробиваться сквозь землю, так взойдет и окрепнет (если только не будет похоронен вместе с Франциском [2]), что сравнится с языком самих греков и римлян и породит по их примеру Гомеров, Демосфенов, Вергилиев и Цицеронов, подобно тому как Франция иной раз порождала Периклов, Никиев, Алкивиадов, Фемистоклов, Цезарей и Сципионов (кн. I. гл. 3).

5

Я не считаю наш национальный язык в теперешнем его состоянии ни низменным, ни презренным и не думаю, подобно надменным почитателям греческого и латинского языка (хоть будь они самою Пейфо, богиней убеждения [3]), полагающим, что выразить что-нибудь достойное можно только на иностранных наречиях, не понятных народу. Кто пожелает поближе приглядеться, увидит что наш французский язык вовсе не так беден, чтоб на нем нельзя было точно передать заимствованное у других языков, и вовсе не так бесплоден, чтоб не мог он благодаря искусству и стараниям ревнителей породить достойные плоды мысли, если только те, кто доброжелательно относится к своей стране и к самим себе, захотят за это взяться.

6

...ни боги, ни светила не были столь неблагосклонны к нашему языку при его рождении, что не сможет он достигнуть такого же превосходства и совершенства, как и прочие языки, поскольку мы

в состоянии точно и пространно излагать все науки, как о том свидетельствуют многочисленные переводы греческих и латинских, а равно итальянских, испанских и прочих книг, принадлежащих перу лучших авторов нашего времени (кн. I, гл. 4).

7

Говорю я это в пояснение вышесказанного, поскольку древние пользовались наречиями, которые всасывали с молоком кормилицы, и поскольку изъяснялись на них одинаково и неученые и ученые, с той лишь разницей, что те, кто изучал науки и искусство красноречия, говорили велеречивее, нежели остальные. Вот почему эти блаженные века изобиловали хорошими поэтами и ораторами. Вот почему даже женщины посягали на лавры витийства и учености, как, например, Сафо, Коринна, Корнелия[4] и тысяча других, имена коих связаны с памятью о греках и римлянах.

Не помышляйте, подражатели, раболепное стадо, достигнуть вершины их совершенства: ведь Вы с превеликим трудом усвоили их речь и потратили на это лучшую часть своей жизни. Вы презираете наш национальный язык лишь потому, что мы научаемся ему с детства и мимоходом, тогда как другие языки требуют труда и усилий. Будь он таким же мертвым, как греческий и латинский, и хранись он в раке литературы, его без сомнения было бы трудно или почти так же трудно изучить, как и их. Я намеренно употребил слово «трудно», ибо человеческое любопытство слишком побуждает людей гоняться за предметами редкими и нелегко достижимыми: а между тем благовония и геммы не так важны в жизни, как хлеб и вино, которые и обыденны и полезны. Не вижу, однако, основания считать один язык лучше другого лишь потому, что он труднее, разве только вы станете утверждать, что Ликофрон[5] превосходит Гомера, так как он менее ясен, а Лукреций[6] по этой же причине превосходит Вергилия (кн. I, гл. 11).

8

Я не стану слишком превозносить наш язык, так как у нас еще нет ни своих Цицеронов, ни своих Вергилиев; однакоже осмелюсь утверждать, что он через некоторое время стал бы одним из самых прославленных, если б ученейшие люди нашего народа ценили его так же высоко, как римляне свой латинский (кн. I, гл. 12).

9

КАКИЕ ВИДЫ СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ВЫБИРАТЬ ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЭТЫ.

Читай же прежде всего и перечитывай, «денно листая рукою и нощно листая»[7], о поэт будущего, образцы греческой и латинской поэзии, а кроме того, прошу тебя, не подражай устаревшим французским виршам, что читались на тулузских поэтических

турнирах[8] и в руанской литературной академии[9], как-то рондо[10], баллады[11], вирле[12], «королевские песни»[13], канцоны[14] и другой подобный товар, который только портит наш язык и свидетельствует о нашем невежестве. Возьмись лучше за занятные эпиграммы, но не так, как иные нынешние сочинители новых побасенок, которые не говорят ничего путного в первых девяти стихах своего десятистишья, лишь бы вставить в последнем стихе эффектную остроту, — а следуй лучше Марциалу, или если боишься непристойностей, то какому-нибудь другому признанному стихотворцу и мешай приятное с полезным. Составляй гладким и нешероховатым стилем жалостные элегии по примеру Овидия, Тибула и Проперция, приправляя их по временам стародавними мифами, служащими немалым украшением поэзии. Сочиняй лучше оды — эти песнопения, еще неведомые французской Музе, — и настроив свою лютню в полный унисон с греческой и римской лирой, старайся, чтобы не было в них стиха, который не носил бы следов изысканной классической эрудиции. Для них найдешь ты материал в прославлении богов и доблестных людей, в роковых перипетиях мирских событий, в том, что заботит молодых людей, то есть в любви, в веселии вина и в застольных утехах. Особливо же следи за тем, чтобы этот род стихов был далек от всего низменного, чтоб он богато изобиловал подходящими словами и не пустопорожними эпитетами, был украшен серьезными сентенциями и щеголял пестрыми красками и поэтическими украшениями, а не так, как «Оставь зеленый цвет», «Амур с Психеей», «О, сколь счастлива»[15] и другие подобные произведения, более достойные названия простонародных песен, нежели од или лирических стихотворений. Что касается посланий, то такие стихотворения не могут значительно обогатить наш национальный язык, поскольку относятся они к интимному и домашнему жанру, разве только ты вздумаешь приблизить их к элегиям, как Овидий, или к серьезным поучениям, как Гораций. То же скажу тебе и о сатирах, которые французы, неизвестно почему, называют «кокаланами»[16], и столь же мало советую тебе упражняться в них, как и в злословии; но, конечно, ты можешь следовать примеру древних и героическим размером[17] (то-есть не только окта- и энеасиллабическими стихами, но также дека- и эндекасиллабическими[18]) умеренно порицать в форме сатиры (а не под нелепым названием кокаланов) недостатки твоего времени, щадя имена порочных людей. Подражай в этом отношении Горацию, который, согласно Квинтилиану, занимает первое место среди сатириков. Я посоветовал бы тебе заняться сочинением прекрасных сонетов, — столь же мудрой, сколь и занимательной выдумкой итальянцев[19]; по названию своему они сходны с одой[20] и отличаются от нее только тем, что сонет имеет определенную форму и ограниченное число стихов, тогда как ода ничем не стеснена и ты можешь разнообразить ее по своему усмотрению, как поступал и Гораций, который, по утверждению грамматиков, знал XIX стихотворных размеров. В отношении сонета

руководствуйся Петраркой и некоторыми современными итальянцами. Пой же под звуки свирели звонкой и флейты напевной утешные эклоги[21] — сельские, по примеру Феокрита и Вергилия, рыбачьи — по примеру Саннадзаро, дворянина неаполитанского[22]. Да будет угодно музам, чтобы во всех видах поэзии у нас было много таких подражаний, как эклога на рождение сына Монсеньёра Дофина, которая, по моему разумению, представляет собой одну из лучших безделушек, когда либо сочиненных Маро. Приобщи также к семье французской поэзии, в подражание Катуллу, Понтано[23] и Иоанну Секунду[24], плавные и холеные эндекасиллабические стихи, что ты можешь сделать если не в смысле количественном, то, по крайней мере, в отношении числа слогов[25]. Что же касается комедий и трагедий, то возьмись за них, если короли и государства пожелают восстановить их былую славу, незаконно присвоенную фарсами и моралитэ[26], и если ты пожелаешь использовать их для украшения своего родного языка, то сам знаешь, куда тебе итти за образцами (кн. II, гл. 4).

10

...считаю нужным предупредить того, кто захочет сочинить величественное произведение, чтобы он не боялся выдумывать, присваивать и создавать в подражание грекам новые французские слова. Точно так же поступал и Цицерон в отношении своего языка. Ведь если б греки и латиняне были щепетильны на этот счет, разве могли бы они теперь столь громогласно хвалиться обилием слов своего языка?

11

...употребляй слова чисто французские, однако, не слишком обыденные, но и не слишком необычные; иногда же заимствуй и вправляй в свои стихотворения на подобие драгоценных и редких камней также и старинные слова, по примеру Вергилия, писавшего «olli» вместо «illi», «aulai» вместо «aulae» и прочие[27]. Для этого тебе достаточно заглянуть в старинные французские романы и вирши, где ты найдешь «ajourner» (коим пользуются наши законоведы) вместо «faire jour», «anuyter» вместо «faire nuyt», «assener» вместо «frapper ou on visait» (т. е. ударять с размаху), «isnel» вместо «leger» и тысячи других отличных слов, которые мы утеряли по нерадению (кн. II, гл. 6).

12

Еще хотел бы я посоветовать, чтобы ты общался не только с учеными, но иногда и с разными мастеровыми и рабочими людьми, как то корабельщиками, литейщиками, художниками, гравёрами и прочими, а также знакомился с их изобретениями, с названиями материалов и орудий и с выражениями, коими пользуются они для своего ремесла и искусства, дабы ты мог извлечь

из этого сравнения и живые описания разного рода предметов[28] (кн. II, гл. 11).

13

Чего ради мы так восхищаемся другими? Чего ради так несправедливы по отношению к самим себе? Чего ради просим подаяния у иноземных языков, словно стыдимся своего собственного?

14

Когда Цицерон и Вергилий начали писать по-латыни, красноречие и поэзия были у римлян еще в младенческом состоянии, а у греков — на высоте совершенства. Если бы те, кого я сейчас назвал, пренебрегли родным языком и писали бы по-гречески, то вероятно ли, чтоб они могли сравниться с Гомером и Демосфеном? Во всяком случае они не занимали бы такого места среди греков, как среди латинян. Равным образом, Петрарка и Боккаччо, хотя и много писали по-латыни, однако же не заслужили бы той великой славы, которая им досталась, если бы не писали на своем языке (кн. II, гл. 12).

РОНСАР

Пьер Ронсар (Pierre de Ronsard 1524—1585) — французский поэт, глава «Плеяды». Происходил из аристократического рода. Был пажем герцога Орлеанского, затем пажем при шотландском дворе. Служил по дипломатии. Однако болезнь и глухота заставили его отказаться от карьеры придворного. Он отдался филологическим и литературным занятиям. Став во главе «Плеяды», Ронсар быстро стяжал себе славу «короля поэтов» (prince de poètes). Он боролся с влиянием канонов средневековой литературы, пропагандировал обращение к античной, а также новой итальянской поэзии. Пиндар, Гораций, Анакреонт и Петрарка подсказывали ему мотивы и формы. В 1550 г. он выпустил «Первые четыре книги од»; начиная с этого времени, он непрерывно публикует новые книги стихов и переиздает старые: «Amours et odes», 1552 г., «Hymnes», 1555— 1556 гг., «Melanges», 1555 г., 2-я книга 1599 г., «Oeuvres» (Amorus, Odes, Poèmes, Hymnes, 4 части) и др. В 1572 г. увидала свет его неоконченная поэма «Франсиада» («Franciade»). Центральное место в поэзии Ронсара занимает эротическая тема. Она связана с рядом женских имен (Кассандра, Мария, Елена, Астрея) и раскрывается преимущественно в его сонетах. Выдающийся мастер поэтической формы, Ронсар обогатил французскую поэзию рядом новых форм и размеров (ронсаровская строфа в 6 стихов: aabccb, защита александрийского стиха и пр).

Ронсар (с рисунка XVI в.)

К ГАСТИНСКОМУ ЛЕСУ

Простершийся в твоей тени,
Гастин[1], тебя навеки
Пою, как пели в оны дни
Лес Эриманфа греки,

Зане бессильна речь моя
Скрыть от молвы грядущей,
Сколь многим был обязан я
Твоей зеленой куще.

Под кровом рощ ты дум моих
Развязываешь узы,
И каждый раз в лесах твоих
Мне отвечают музы.

В тебе, заботы все гоня,
Рассеивая беды,
Уединенье ждет меня
И с книгою беседы.

Всегда в тебе пусть с этих пор
Шумит влюбленным стадом
Сатиров и сильванов хор,
Внушая страх наядам.

В твоей тени найдя свой дом,
Пусть музы обитают,
И святотаинственным огнем
Древа да не пылают.

К СВОЕМУ ПАЖУ

Так освежи вино, чтоб было
Оно студенее, чем лед.
Скажи, чтоб Жанна приходила,
Под звуки лютни пусть поет.

Втроем устроим хоровод!
И Барб зови в наш круг нетрезвый;
Пусть — волосы узлом — придет,
Подобна итальянке резвой.

Часы, — ты видишь, — мчатся наши.
Одним лишь днем я жить готов.
Паж, наливай-ка снова чаши,
Стакан наполни до краев.

Будь проклят, кто не знал пиров!
Почел я медика бессильным,
И мозг мой лишь тогда здоров,
Коль орошен вином обильным.

Из «ЛЮБВИ К КАССАНДРЕ»

Кто хочет зреть, как нас Амур сражает,
Как он насел, как мне пощады нет,
Как в сердце огнь за льдом бросает вслед,
Как дань с моей он чести собирает,

Кто хочет зреть, как юность поспешает
Вотще настичь беды своей предмет, —
Прочтет меня, и след он узрит бед,
Что с богом мне богиня посылает.

Узнает он: Амур лишен ума.
Он — сладкий груз, прекрасная тюрьма,
Питает нас он ветра дуновеньем!

Узнает он: безумен до конца,
Кто взял себе в вожатые слепца
И к мальчику пришел с повиновеньем.

Из «ЛЮБВИ К КАССАНДРЕ»

Коль, госпожа, в твоих руках умру я,
То радуюсь: я не хочу иметь
Достойней чести, нежель умереть,
Склонясь к тебе в минуту поцелуя.
Иные, Марсом грудь себе волнуя,
Пусть на войну идут, желая впредь
Могуществом и латами греметь,
Испанской стали в грудь себе взыскуя.

А у меня иных желаний нет:
Без славы умереть, прожив сто лет,
И в праздности — у ног твоих, Кассандра!

Хоть, может быть, ошибка в том моя,
За эту смерть пожертвовал бы я
Мощь Цезаря и буйность Александра.

К КАССАНДРЕ

Дитя, посмотрим: роза эта,
Что распустила в час рассвета

Французское общество эпохи Возрождения (с гобелена XVI в.)

Одежды пурпур молодой,
Не потеряла ль в час закатный
Наряд пурпурный, ароматный,
Румянец, что похож на твой?

Вот! Сколь на малое пространство
Упало нежное убранство!
Вот! Вот! Осыпались красы!
Поистине! Мрачна природа:
Такой цветок, и до захода
Живет лишь краткие часы!

Поверь! Доколь красою нежной,
Дитя, твой возраст безмятежный
В незрелой юности цветет,
Рви молодость, пока не поздно!
Как эту розу, старость грозно
Красы младые унесет.

Из «ОД»

Не держим мы в руке своей
Путей грядущих наших дней,
Жизнь в переменчивой одежде!
Пока мы королевских ждем
Щедрот и милостей, — умрем,
Напрасной преданы надежде!

Едва уйдет от здешних мест,
Там человек не пьет, не ест.
Амбары с хлебом, ароматны,
Накоплены перед концом,
Подвалы, полные вином,
Его уж мыслям не занятны.

Эх! Для чего томиться вновь?
Мне ложе, Коридон[2], готовь
Под розовыми лепестками.
Хочу я, чтоб себя развлечь,
На этом ложе навзничь лечь
Между цветочными горшками.

Пускай Дора[3] сюда придет,
Пусть и Жодель[4] не отстает
Со всей музийною ватагой.
Чтоб утро увидало нас,
Хочу протягивать сто раз
Им кубки с пиршественной влагой.

Так наполняй же снова мой
Глубокий кубок золотой.

Здоровье пью Анри Этьенна[5],
Кем, из Аида возвращен,
Опять поет Анакреон
Теосской лирой несравненно[6].

Тебе, Анакреон, давно
Все должники, кто пьет вино, —
Сам Вакх с бутылями своими,
Амур тебе должник и тот,
Венера и Силен, что пьет
В жару под сенями густыми.

Из «ЛЮБВИ К МАРИИ»

Мари! Вставайте же! Сегодня вы ленивы!
Уж жаворонка трель трепещет в небесах,
Уж тихо соловей, укрывшийся в ветвях,
Заводит жалобу, любви напев тоскливый.

Ну, встаньте! Поглядим в траве росы отливы,
И кустик ваших роз, который весь в цветах,
И ту гряду гвоздик, куда в своих руках
Заботливых воды с закатом принесли вы.

Глазами вы клялись, ложась в постель вчера,
Что ранее меня проснетесь на рассвете...
Но сон под утро, дев любимая пора,

В дремоте держит вас, смыкая глазки эти...
Вот зацелую их и нежный ваш сосок
Сто раз, чтоб научить вставать вас в должный срок.

Из «ЛЮБВИ К ЕЛЕНЕ»

Когда уж старенькой, со свечкой, перед жаром
Вы будете сучить и прясть в вечерний час,
Пропев мои стихи, вы скажете, дивясь:
Я в юности была прославлена Ронсаром!

Тогда последняя служанка в доме старом,
Полузаснувшая, день долгий натрудясь,
При имени моем согнав дремоту с глаз,
Бессмертною хвалой вас окружит недаром.

Я буду под землей и — призрак без кости —
Смогу под сенью мирт покой свой обрести.
Близ углей будете старушкой вы согбенной

Жалеть, что я любил, что горд был ваш отказ...
Живите, верьте мне, ловите каждый час,
Роз жизни тотчас же срывайте цвет мгновенный.

Из «ЭКЛОГИ»

НАВАРРЭН

В суме охотничьей из буковых корней
Есть чаша у меня; из дерева над ней
Две ручки, мастерством отменные, круглятся,
И разные на ней изображенья зрятся.
Поближе к горлышку художник поместил
Сатира страшного. Руками он схватил
Посередине стан пастушки белоснежной
И хочет уронить на папоротник нежный.
Убор ее упал, и ветерок шальной
Играется волос роскошною волной.
И нимфа гневная, рассерженная, строго
Назад откинула лицо свое от бога,
Стараясь вырваться, и правою рукой
Рвет волосы с брады и с груди завитой
И нос приплюснула ему рукою левой:
Напрасно — все ж сатир господствует над девой.

Три малых мальчика, полуобнажены,
Как настоящие, и пухлы и полны,
По кругу явлены. Один решился тайно
Сатира разлучить с добычею случайной,
Ручонкой дерзкою стараясь как-нибудь
У козлоногого ладони разомкнуть.
Другой, рассерженный, в волнении сугубом
В бедро власатое вцепился острым зубом
И, за икру схватясь, так сильно укусил,
Что кровью ногу всю косматый оросил;
А пальцем манит он уж мальчика второго,
Чтоб на зубах повис он у бедра другого, —
Но тот, согнувшийся в подобие дуги,
Старается извлечь занозу из ноги,
Присевши на лужок, где мурава густая,
И зова мальчика совсем не примечая.
Телушка над пятой глядит, как из нее
Меж тем язвящее он тащит острие
Занозы, впившейся в его живое тело,
И это так ее захватывает дело,
Что позабыла пить и есть совсем она,
Так сильно пастушком-младенцем пленена,
Который, скрежеща, занозу исторгает
И навзничь тотчас же от боли упадает.

Из ПОЭМЫ «К ОДЕ ДЕ-КОЛИНЬИ»

Кто хочет, пусть идет, ценой трудов и службы,
Князей и королей искать непрочной дружбы,
Но только хлеб один предпочитаю я
Вкушать и воду пить из тихого ручья,
Резвиться и дремать в траве густой и пышной,
Стихи слагать у вод, бормочущих чуть слышно,
Смотреть на пляску муз, ушедших в темный грот,
И слушать вечером, как мощно бык ревет
Сквозь блеянье ягнят, которых гонят с поля;
Ну, словом, мне милей и сельский труд и воля,
Садами, нивами покрытая земля,
Чем служба при дворе любого короля.

ЭПИТАФИЯ, СОЧИНЕННАЯ АВТОРОМ

Послушный гласу лир и стрелам Аполлона,
Почиет здесь Ронсар, кто муз из Геликона
Созвал во Францию, отважный с юных дней.
Но смерти яростной не отвратив когтей,
Не спасся с музами от хладного предела...
Да примет душу бог, земля да примет тело.

ДЮ БЕЛЛЕ

Иоахим дю Белле (Joachim du Bellay, 1525—1560) — поэт, наряду с Ронсаром наиболее талантливый представитель «Плеяды». Родился в Лире (Лирей), близ Анжера в обедневшей аристократической семье. Самое значительное событие его жизни — трехлетнее пребывание в Риме (1553—1555), где он состоял домоуправителем у своего родственника кардинала Жана дю Белле. Захваченный величием античного прошлого Рима, он пишет книгу сонетов «Римские древности» («Antiquitez de Rome»). Однако очень скоро пребывание в «вечном городе» начинает тяготить поэта. Его охватывает тоска по родине. Его здоровье ухудшается, его угнетают интриги и цинизм римского общества. Плодом этих настроений явилась книга сонетов «Сожаления» («Les Regrets», изд. 1558 г.), относящаяся к числу ярчайших явлений французской поэзии XVI в. (всего в книгу входит 191 сонет). Выдающуюся роль в развитии французской литературы эпохи Возрождения сыграл трактат дю Белле «Защита и восхваление французского языка» («La défense et illustration de la langue française» 1549 г.), явившийся первым литературным манифестом «Плеяды». Перу дю Белле принадлежит еще ряд поэтических произведений («Сельские игры» — «Jeux rustiques», 1558 г., и др.).

Из цикла
«РИМСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

СОНЕТ

Как в поле, где зерно из полной семенницы
Посеет селянин, вспахав и взбороня,
Сперва произрастут густые зеленя,
Из зелени — стеблей высоких вереницы,

И защетинятся потом из них пшеницы
Колосья желтые, взгляд золотом маня,
Потом заблещет серп, и, наконец, клоня
Свой стан, начнут вязать снопы жнецы и жницы,

Так римское в веках могущество росло,
Покуда, всколосясь, оно не полегло
Под варварским серпом, оставив лишь руины;

И мы теперь на них свершаем свой набег,
Подобно беднякам, что средь пустой долины
Колосья подберут, упавшие с телег.

Из цикла «СОЖАЛЕНИЯ»

СОНЕТ 1

Блуждать я не хочу в глубокой тьме природы,
Я не хочу искать дух тайны мировой,
Я не хочу смотреть в глубь пропасти глухой,
Ни рисовать небес сверкающие своды.

Высоких образов я не ищу для оды,
Не украшаю я картины пестротой,
Но вслед событиям обители земной
В простых словах пою и благо и невзгоды.

Печален ли, — стихам я жалуюсь своим,
Я с ними радуюсь, вверяю тайны им,
Они наперсники сердечных сожалений.

И не хочу я их рядить иль завивать,
И не хочу я им иных имен давать,
Как просто дневников иль скромных сообщений.

СОНЕТ 9

Мать знаний и искусств и рыцарства краса,
О Франция, меня питала ты; а ныне
Потерянной овцой тревожу я в пустыне
Все именем твоим пещеры и леса.

Ток млека твоего когда-то мне лился,
Я знал твою любовь, я был в защитном тыне,
Что ж бедному теперь скупа ты благостыней?
Что ж мне ответ дают лишь эхо голоса?

Уж осень; и снега засыплют все стези мне;
Волков услышу вой я скоро в стуже зимней;
От ужаса дрожа, жду лютого конца.

Другие овцы спят и нежатся под кровом
И не грозит им смерть в безлюдии суровом:
Из стада твоего я худшая ль овца?

СОНЕТ 31

Блажен, кто, как Уллис, путеводим судьбою,
Иль тот, кто за руном скитался золотым,
Проводит, воротясь к любимым и родным,
Век ровный, умудрен, спокойной чередою.

Когда увижу я — бог весть, какой порою —
В селенье милом вновь трубы знакомой дом,

Увижу тесный сад пред домиком моим,
Владенье кровное, где душу успокою?

Милей бы хижина отцов моих была
Мне римских всех палат с их гордостью чела;
И крепких мраморов — на кровле шифер скромный;

И Тибра галльская Луара мне милей;
И палатинских круч — мой маленький Лирей;
И влажности морской — анжуйский воздух томный.

ИДЕЯ

Короче дня вся наша жизнь земная
Пред вечностью. Круг совершая, год
Дни наши прочь без жалости метет;
Живущее — лишь гость земного края.

Что ж медлишь ты, душа, в плену страдая?
Что любишь ты юдольной жизни ход?
Ведь ты сильна, на радостный полет
В иной предел крыло распростирая.

Ко благу там увенчано стремленье;
За труд земной там ждет отдохновенье;
Там ждет любовь, усладу нам даруя;

Там, о душа, под высшим небом рея,
Познаешь ты: вот какова Идея
Той красоты, что здесь боготворю я.

ПЕСНЯ ВЕЯТЕЛЯ ВЕТРАМ

Вы, ветров легких стая,
Что, крылья раскрывая,
Несетесь далеко
И с песнею журчащей
Лесов тенистых чащи
Колеблете легко, —
Вам приношу цветы я,
Фиалки голубые
С гвоздикою полей,
А также розы эти,
Свежайшие на свете,
И целый сноп лилей, —
Вздыхайте над полями
И легкими крылами
Смягчайте жар дневной,
Пока, от зноя млея,
Свое зерно я вею
Полуденной порой.

БАИФ

Антуан де Баиф (Antoine de Baïf, 1558—1592) — поэт «Плеяды». Родился в семье гуманиста, получил блестящее гуманистическое образование, славился своей обширной ученостью. Писал сонеты и канцоны в манере Петрарки, подражал «Георгикам» Вергилия, с большим художественным тактом культивировал мотивы анакреонтической поэзии, много переводил из античных писателей (Софокл, Плавт, Теренций). Наиболее значительным созданием Баифа была книга «Мимы» (Les mimes, 1576 г.) — собрание стихотворных сентенций и парабол дидактического, сатирического или элегического содержания, в которой он соревновался с Феогнисом и другими гномическими поэтами древности. Восторженный почитатель античной поэзии, Баиф сделал попытку реформы французского силлабического стиха путем приближения его к античной метрике.

ВАКХАНКИ

В зеленой рощице я Вакха повстречал
(Потомство, верь сему) — он гимны распевал:
Дриады резвые внимали звукам лиры;
На мху лежал Силен, цедя из чаши сок;
Осел, привязанный, там пасся, одинок;
Насторожили слух умолкшие сатиры.

ПЕСЕНКА

Болтунья, постоянно ты
Тревожишь сон мой и мечты,
В которых счастье нахожу, —
Болтунья-ласточка, молчи!

Болтунья-ласточка, ужель
Ты ждешь, чтоб из гнезда в силки
Тебя я хитростью завлек?
Болтунья-ласточка, молчи!

Болтунья-ласточка, ужель
Ты ждешь, чтоб срезал я твой клюв
Тебе Терсеев проча рок?
Болтунья-ласточка, молчи!

Касатка, лучше не кричи:
Тебя за крик я накажу, —
Тебя или твоих птенцов.
Болтунья-ласточка, молчи!

Кричи над теми, кто в ночи,
Среди любовных нег, без сна
Проводит легкокрылый миг.
Болтунья-ласточка, молчи!

Не гневайся, не щебечи:
Мне сон — отрада, только сон,
Когда мечтой я окрылен.
Болтунья-ласточка, молчи!

ШАЛОСТЬ

Империя, гяуры —
О них пусть плачут дуры;
Не жду земных я благ,
Хоть вовсе им не враг:
К великим и к их раю
Я зависть не питаю,
Ни к блеску королей,
Ни к славе их мечей...
Глуп, кто, тревожась вечно,
Не станет жить беспечно:
Грядущее — туман.
Скуй для меня, Вулкан,
Мгновенно, без помехи,
Не бранные доспехи
С искусною резьбой;
Скуй не булат стальной,
Не щит столь несказанный..
На что мне подвиг бранный?
Нет, лучше б ты сковал
Серебряный фиал
И вывел бы, чеканя,
Не поле страшной брани,
Не сечу толп людских,
Не виды бурь морских,
Не на море — у кручи
Сгустившиеся тучи,
Не мачты, в час ночной
Снесенные волной, —
Но лозы вертограда,
Но гроздья винограда,
Но Пана с посошком,
Увенчанным плющом,
Но фавнов козлоногих
На берегах пологих
С рожками на челе,
Силена на осле;
И в серебре чеканной
Яви красу желанной,
И пусть из пены вод
Киприда предстает.

Из цикла «МИМЫ»

* * *

О истина! Благих богов
Согражданка! Тебе готов
Служить, и ты моя подмога
Ты сбить с дороги не даешь
Меня неправде. Ты встаешь —
И путь прямой моя дорога.

*
* *

К орлу пристала черепаха,
Чтоб поднял и пустил без страха
Ее летать. Орел взлетел
И выпустил ее. Свалилась
Она, как камень, и разбилась..
Таков бескрылого удел.

*
* *

Не там ли произвол открытый,
Где нравы добрые забыты?
Где верховодит толстосум?
Где лишь бесстыдство поощряют
И где за честность презирают
Ученейший, мудрейший ум?

*
* *

Смотри вперед, назад, далече,
Не зажигай на солнце свечи
И в море жидкости не лей,
Не путай шершня с стрекозою.
Ты хочешь песни лишь ценою,
Добиться жатвы? Лучше — сей!

*
* *

Долги людей порабощают.
Прохлада вина улучшает:
В тепле держать их—смех и грех.
Навес для винограда — благо.
Все тяжбы проиграет скряга,
И время умудряет всех.

БЕЛЛО

Ремми Белло (Remy Belleau, 1528—1577) — поэт «Плеяды», прозванный современниками «живописцем природы». Его привлекал буколический жанр («Пастораль», 1565 г.), с чисто эллинской грацией и непосредственностью рисовал он красочный мир природы, плодородной и прекрасной, овеянной поэзией античных мифов. Высоко ценилась его книга «Любовь и новые превращения драгоценных камней» (1566 г.), в которой он, своеобразно используя традицию средневековых лапидариев, в изящных стихах описывает чудесные свойства различных драгоценных камней, завершая каждое такое описание красивым рассказом о превращении в драгоценный камень какого-либо живого существа. Вместе с другими поэтами «Плеяды» Белло особенно охотно культивировал форму сонета.

АПРЕЛЬ

Ты, Апрель, живишь леса,
Дней краса;
Месяц ласковой надежды;
Ты плоды свои растишь
И таишь
Их под зеленью одежды.

Ты, Апрель, лужаек честь, —
И не счесть,
Как различны переливы,
Как меняет красота
Все цвета,
Как они безмерно живы;

Ты, Апрель, на юный мир
Шлешь зефир,
Чтобы в сладостную пору
По лесам он пробегал
И вздыхал,
Радуя и теша Флору.

Ты, Апрель, резвей игры,
Взяв дары
У природы благосклонной,
Ароматы вкруг точишь
И поишь
Ими воздух благовонный.

Ты, Апрель, Киприды смех,
Полн утех, —
Дух ее, ее дыханье;
Ты стремишь до облаков
Для богов —
От земли благоуханье.

Возвращаешь полных сил,
Добр и мил,
Птиц веселых перелетных,
Милых ласточек манишь,
Нам даришь
Вешних вестниц беззаботных.

Вот шиповник средь долин,
Скромный тмин
С розой, лилией, гвоздикой
Пышно стелют свой наряд
И горят
Юной радостью великой.

Милый сердцу чародей —
Соловей,
Притаясь в тени древесной,
До утра на сто ладов
Петь готов,
Трепеща мечтой чудесной.

И влюбленный слышать рад
Твой возврат —
И вздыхает и томится,—
И свободен вздох живой,
Что зимой
Глубоко в груди таится.

Видишь ты среди полей —
Пчел, шмелей
Золотящаяся стая,
Что порхает здесь и там
По цветам,
Сок душистый собирая.

Май придет, неся плоды
Нам в сады,
Изобильный и росистый,
Всюду сладость разольет
Желтый мед,
Как смола, густой и чистый.

Но Апрелю я пою
Песнь мою;
Он цветет, названьем вторя
Имени богини той,
Что весной
Родилась из пены моря.

СОНЕТ

Луна, несущая среди ветвей лампаду
Ночного сумрака наследница и дочь,
Ты вороных своих коней пускаешь прочь
По небу вольному, сквозь черную прохладу.

Ты по желанию даешь померкнуть взгляду,
Полузакрыв глаза, и свету изнемочь,
И, розоликая, вновь наполняешь ночь
Сияньем ярким глаз и в роще льешь отраду.

В молчанье сумрачном оставь меня, луна,
В огнях серебряных, во мгле, что влюблена
В твою красу, — она мне душу оживила, —

Чтоб шел я в зарослях, дичась, тая мечты.
Не так ли некогда на холм Латмийский ты
Нагнуться к спящему, пугливая, сходила? [a]

КАМЕНЬ ЦВЕТА ВОДЫ

С мотком сидела тонкорунным
И пряла дева в свете лунном.
Упало вдруг веретено,
Над водоемом перегнулась
Она, ища, в воде плеснулась,
И канула, увы, на дно.

Лишь месяц плеском любовался,
На крик никто не отозвался,
И не замечена беда.

[a] Намек на миф об Эндимионе.

Поодаль милые подруги
Вкушали ночи той досуги
И стерегли свои стада.

К ней так судьба была жестока!
Она лежит в гробу потока.
Без ней не полон хоровод.
И не на ложе Гименея
Она упала, пламенея, —
В могилу мрака, в лоно вод.

И вам, о нимфы водоема,
Должно быть, жалость незнакома:
Вы не пришли на помощь к ней...
При ней вы не были на страже:
Пастушка кинулась за пряжей
И потопила пряжу дней.

Но боги в камни превратили
Грусть глаз ее, и засветили
Они в них отблеск не простой:
Струится каждый перл слезою
И отливает бирюзою
Очей пастушки милой той...

ДРАМАТУРГИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ЖОДЕЛЬ

Этьен Жодель (Etienne Jodelle, 1532—1573) — поэт и драматург «Плеяды», создатель первой французской классической трагедии «Пленная Клеопатра» («Cleopatre captive»), которая была в 1552 г. представлена в присутствии короля и имела шумный успех. Сюжет своей второй трагедии — «Дидона, приносящая себя в жертву» («Didon se sacrifiant», ок. 1558 г.) Жодель заимствовал из знаменитой четвертой песни «Энеиды» Вергилия. Предвозвещая драматургию французского классицизма, Жодель разрабатывает сюжеты, почерпнутые из античности, соблюдает аристотелевские единства, вводит деление на акты и сцены, трагедию «Дидона» пишет александрийскими стихами. Вместе с тем его трагедии лишены динамизма. Риторический элемент (пространные монологи, сентенции хора, рассказы вестника), как и у Сенеки, которому он подражает, превалирует в них над действием, придавая трагедии книжный характер. Перу Жоделя принадлежит также первая французская комедия «Евгений» (поставлена в 1552 г.).

Приводимый отрывок взят из антологии С. Пинуса «Французские поэты», СПБ, 1914 г.

Монолог Дидоны из трагедии «ДИДОНА, ПРИНОСЯЩАЯ СЕБЯ В ЖЕРТВУ»

Иди, постыдный лжец! Иди! Тебе не внемлю.
Ты италийскую ищи по морю землю.
О боги, будьте же в небесной вышине
Свидетелями вы и мстителями мне.
Пускай в далекий путь идешь ты без боязни,
Жестокие тебе судьбой таятся казни.
Карается злодей так скоро мрачным днем,
Но в слишком поздний час раскаянья огнем.
Так! Остров, тигров, львов, тебе подобных, полный,
Куда твою корму приткнут морские волны,
Иль чрево страшных рыб, иль груда диких скал,
О коих разобьет корабль твой злобный вал,
Иль затопленный трюм, когда твои ветрила,

И палубу, и руль разрушит молний сила,
Вот, вот твой скорбный гроб, и даже в смертный миг
С названием моим замолкнет слабый крик
Последний твой, Эней: «Дидона! О! Дидона!»
Услышит вздох волна, бурлива и бездонна.
Но и в посмертной тьме мои, мои черты
Встречать все осужден, клятвопреступник, ты,
Затем, что, смертию погибнув беспримерной,
Везде с тобой в аду я буду тенью верной.
Ты скорби мне лишь дал, но в мраке жизни той
Тебе я отплачу всей, всей их полнотой.
О, как те велики посмертные страданья,
Коль ведаешь, что им не будет окончанья!
Бесчеловечно жизнь окончу я свою,
Но смерть убьет любовь, не ненависть мою...

ГАРНЬЕ

Робер Гарнье (Robert Garnier, ок. 1534—1590 гг.) — драматург, последователь «Плеяды», наиболее значительный мастер французской трагедии XVI в. Образцом для него, как и для Жоделя, служил Сенека. Трагедии его риторичны, книжны, изобилуют обширными монологами и пр. Однако по сравнению с трагедиями Жоделя они отличаются большей сценической экспрессией. Интрига в них более разработана, диалог оживлен, а высокий политический пафос предвосхищает трагедии Корнеля, на которого Гарнье заметно повлиял. Гарнье дебютировал рядом римских трагедий («Порция», 1568 г., «Корнелия», 1574 г., «Марк Антоний», 1578 г.), в которых он, откликаясь на бурные события периода французских гражданских войн, изображает крушение Римской республики, заявляя себя сторонником республиканских доблестей. Его лучшие пьесы: трагикомедия «Брадаманта» (1582 г.) на тему «Неистового Роланда» Ариосто и исполненная высокого патетизма трагедия «Седекия, или взятие Иерусалима» («Sédécie, ou la prise de Jerusalem», 1585 г.), известная также под названием «Еврейки» («Les Juives», 1585 г.), изображающая восстание иудейского царя и его жестокое наказание Навуходоносором; в ней большой красотой и поэтической выразительностью отличаются грустные песни хора, относящиеся к лучшим образцам французской лирики XVI в.

Приводимый отрывок из трагедии «Корнелия» взят из антологии Пинуса «Французские поэты», СПБ, 1914 г.

Диалог Цезаря и Антония из трагедии «Корнелия»

Цезарь. Мне смерть готовят те, кому мной жизнь дана?
Антоний. Врагов униженных к нам дружба не верна.
Цезарь. Прияли от меня они все блага жизни.
Антоний. Но бóльшим ведь они обязаны отчизне.
Цезарь. Иль родине я враг? Их приговор неправ!
Антоний. Им мнится, отнял ты у них исконность прав.
Цезарь. Я Риму подчинил стран отдаленных части.
Антоний. Но Рим с давнишних пор не терпит царской власти.
Цезарь. Кто силе может, кто противостать моей?
Антоний. Рабы, что груз клянут объявших их цепей.
Цезарь. Кто уцелел от войн, уж тот восстать не в силах.
Антоний. Живые мне страшней, чем спящие в могилах.
Цезарь. Но сделать их могу друзьями из врагов.
Антоний. Скорее всяк врагом из друга стать готов.
Цезарь. Дарами привлеку любовь толпы продажной.
Антоний. Ничем не склонишь тех, чье рвение отважно.
Цезарь. Коль тщетно все добро, коль други мне грозят,
Кого ж мне не дрожать?
Антоний. Лишь тéх, кто смертью взят.

Цезарь. Убить ли всех на ком пятно есть подозренья?
Антоний. Другого средства нет, чтоб жить без спасенья.
Цезарь. Я предпочту не жить и тлеть среди костей,
Чем укреплять так жизнь, таким числом смертей.
Сияя, как звезда, все дни хочу, поверьте,
Так жить я, чтобы мне не умереть по смерти;
Хочу, земную плоть вручив земле в удел,
На небо возлететь на крыльях славных дел.
Иль мало прожил я для подвигов и славы?
Иль рано мне узреть Элизий величавый?
Нет, смертный час теперь мне душу не смутит.
Не рано умер тот, кто умер знаменит.

Хор из трагедии

«СЕДЕКИЯ, ИЛИ ВЗЯТИЕ ИЕРУСАЛИМА»

Ваши радости прошли,
Дщери бедные Сиона:
Возмущенье всей земли
Стерло их с земного лона.

Не блистать одеждой вам
Златотканной и шелковой;
И рубинам, жемчугам
Не сиять на вас обновой.

Не отметят красотой
Лона бледные лилеи
Веской цепи золотой,
Ниспадавшей с нежной шеи.

Вашим грудям не впитать
Слез благоуханных кедра,
Благовоний им не знать,
Что таят Востока недра.

Золотым дождем волос,
Что вокруг чела развиты,
Вихрем огненных полос
Не овеются ланиты.

Не услышать больше вам
Сладкозвучных вздохов лиры:
Вы не вверите струнам
Вашей прежней страсти, сиры;

Вы не спляшете опять
После зноя, на закате.
Было радостно плясать,
И не мысля об утрате...

Но увы! То все прошло!
Нам остались лишь печали!
Наслажденье отцвело,
И веселья отзвучали.

Наша гордая страна,
Что была над всей вселенной
В счастии вознесена,
Ныне только — камень бренный.

Мы, добычею врагов,
Будем плакать об утрате
Наших милых берегов —
На пустом, чужом Евфрате.

ЛАРИВЕ

Пьер Лариве (Pierre Larivey, ок. 1540—1612 гг.) — комедиограф, итальянец по происхождению, перенесший во Францию драматургическую традицию итальянской «ученой комедии». Его пьесы представляют собой вольный перевод или обработку комедий итальянского Возрождения, причем в них подчас сказывается воздействие народного французского фарса. Они отличаются большой живостью, а также яркостью языка. Лариве мастерски использует обороты народной речи, французские пословицы и поговорки. Его лучшая комедия «Духи» («Les Esprits») заимствована им из комедии «Aridosio» Лоренцино Медичи (XVI в.), который в свою очередь заимствовал ряд мотивов у Плавта («Клад», «Привидение») и Теренция («Братья»). Своей пропагандой итальянской комедиографии Лариве оказал известное влияние на развитие французской поэзии в XVII в.

«ДУХИ»

Из комедии

[Старик Северен отличается чрезвычайной скупостью, он держит своих детей — юношу Урбена и девушку Лорансу — в черном теле, вынуждает их жить в деревне, вдалеке от столицы, препятствует браку своей дочери с молодым Дезире, влюбленным в Лорансу, так как не желает дать за ней приданого, в то время как отец Дезире требует приданого в тысячу экю. Урбену, наконец, надоедает скучная жизнь в деревне; с помощью ловкого слуги Фронтена он бежит тайком в Париж и здесь, в городском доме отца, увеселяется со своей возлюбленной. Вдруг он узнает о неожиданном появлении в Париже своего отца, который отправился на розыски непокорного сына. Но ловкий Фронтен успокаивает юношу, обещая ему удержать отца от посещения собственного дома; он предлагает только Урбену и его возлюбленной покрепче запереться в доме и, как только Фронтен подаст им знак, производить громкий шум и даже бросать на улицу черепицы. Действие приводимого отрывка происходит на площади, перед домом Северена, в котором заперлись любовники. Входит Северен, несущий с собою тяжелую мошну, наполненную деньгами, которые он не решился оставить в деревне. Дезире наблюдает происходящее, стоя в укромном месте.]

АКТ II

СЦЕНА 3-я

Северен, Фронтен, Дезире

Северен. Куда, чорт подери, запропастился этот злополучный малый? Верно, прозалился в нужник, чтоб не сказать дурного слова. Ах, бедняга Северен! Подумай только, на кого ты без толку трудишься? Для кого копишь столько всякого добра? Для того, кто каждодневно тебя обманывает, кто всякий час доставляет тебе новые неудовольствия и предпочел бы видеть тебя мертвым, нежели живым.

Дезире. Найдутся и другие, которые предпочтут то же самое.

Северен. Я скорее унесу все с собой в могилу, чем оставлю

хоть медяк этому прощелыге, который не перестает мне всячески досаждать. Сегодня по утру я едва не умер, когда шел пешком в этот город, и так уморился, что мочи нет. Боюсь, как бы не заболеть, и все из-за того... чуть было не проговорился! Но чего я медлю и не захожу в дом, чтобы оставить там мошну, которая оттянула мне всю руку: ведь мне еще нужно разыскать своего сынка и наказать его по заслугам. Где же, однако, ключи? Ах, вот они.

Дезире. Клянусь своей душой, он прихватил с собой мошну!

Северен. Господи! Что же это такое! Не испортился ли замок? Не надо вертеть в эту сторону, а не то совсем замкнешь. Должно быть, дверь заперта изнутри. Во всяком случае у Урбена нет ключа и, сдается мне, туда забрались воры. Нет, тут что-то неладно.

Фронтен. Что за безумец прикасается к этой двери?

Северен. Почему же я безумен, если прикасаюсь к тому, что мне принадлежит?

Фронтен. Поверьте мне и поступите, как я вам говорю.

Северен. Да чего ради?

Фронтен. А того ради, что в этом доме засели дьяволы.

(Сплевывает. Сидящие внутри производят шум.)

Северен. Увы! Что ты говоришь? Верно ли? Там засели дьяволы?

Фронтен. Прислушайтесь. Слышите? Вот видите, что я говорю правду.

Северен. Ах, да!

Фронтен. Погодите, вы еще не то услышите.

Северен. Какой сатана, Фронтен, осатанил мой дом?

Фронтен. Почем я знаю.

Северен. Истинный господь, они раскрадут у меня все!

Фронтен. Да что у вас есть, кроме паутины?

Северен. А двери, а окна, а прочие части дома?

Фронтен. Вы правы; я забыл об этом.

Северен. А я не забыл, так как это задевает меня за живое.

Дезире. Нечего сказать, дивная, бесценная обстановочка!

Фронтен. Вы, кажется, дрожите; не бойтесь: они не причинят вам никакого зла; вы только не сможете пользоваться своим домом.

Северен. И это ничего, по-твоему? А если они увяжутся за мной в деревню?

Фронтен. Наберитесь терпения.

Северен. Что за бессовестность вторгаться в чужое жилище. Хоть бы за наем заплатили! Но клянусь тельным крестом, я выгоню их оттуда, хотя бы мне пришлось поджечь дом.

Фронтен. Вы их порадуете: огонь им милее всего.

Северен. Ты прав, да к тому же я потеряю дом; лучше перережу им глотку.

Фронтен. Вот услышат это черти, так заставят вас заговорить другим языком, тем более что они швыряют камни и черепицы в прохожих, которые и не думают их задирать.

(Сплевывает. Сидящие внутри выбрасывают черепицы.)

Северен. Ох! Они разнесут весь дом!

Фронтен. Да, уж украшать они его не станут! Видите, как летят камни. Посторонитесь, а не то они вас покалечат.

Дезире. Теперь я понимаю, что задумал этот хитрец.

Северен. Ах, Фронтен, я трепещу.

Фронтен. У вас есть все основания.

Северен. А они могут забросить сюда?

Фронтен. Нет, нет, не думаю.

Северен. Давно ли завелась эта нечисть? Меня никто не оповестил.

Фронтен. Не знаю, но ночи две тому назад, проходя мимо этого места, услыхал я такой шум, словно небо на землю свалилось.

Северен. Замолчи, ты меня пугаешь.

Фронтен. Соседи говорят, что черти иногда поют и играют на музыкальных инструментах, но чаще ночью, чем днем, а по большей части и вовсе не шумят.

Дезире. Отродясь не слыхал ничего забавнее.

Северен. Как же быть? Не послать ли отряд солдат, чтоб их укокошить?

Фронтен. Тише, чорт подери!

Северен. Ты прав.

Фронтен. Достаточно колдуна или заклинателя, который изгонит их и заставит удалиться отсюда.

Северен. А они уйдут?

Фронтен. Всенепременно.

Северен. И не вернутся?

Фронтен. Может статься.

Северен. Впрочем, это безразлично, ибо клянусь тебе: как только они выйдут, я продам этот дом, хотя бы и на экю дешевле, чем он мне стоил.

Фронтен. Вот как! а бесы перебьют там больше, чем на двадцать пять экю.

Северен. Господи! не говори этого, у меня стынет кровь! Увы, это произошло не по моей вине, а за грехи Урбена. Где этот негодник?

Фронтен. Вы держите его в деревне, а сами спрашиваете у меня, который живет в Париже.

Северен. Тебе это известно, ибо вы с Дезире развращаете его.

Фронтен. Скажите, пожалуйста, о чем думает этот человек! Ему мерещится, будто в доме у него ангелы, а там кишит чертями.

(Фронтен сплевывает. Сидящие внутри производят шум.)

Северен. Поверь, урбеновы бесчинства разрывают мне сердце. Ах, Фронтен, прошу тебя, пособи мне.

Фронтен. Очень я вам нужен, коли я развращаю вашего сына.

Северен. Это только так говорится; я отлично знаю, что нельзя развратить того, кто не хочет, чтоб его развратили. Но оставим это: прежде всего мне необходимо изгнать чертей из моего дома, затем я пойду к брату и посоветуюсь с ним, как мне быть. Но куда девать мошну?

Фронтен. Что это вы сказали про мошну?

Северен. Ничего я не говорил, ничего.

Фронтен. Не в этом ли доме лежит мошна двумя тысячами экю?

Северен. Откуда мне взять две тысячи экю? Разве что две тысячи кукишей. Нашел тоже толстосума! Ступай, Фронтен, вперед; я потихоньку пойду за тобой.

Фронтен. Идите, не торопясь; я подожду вас с вашего разрешения.

Северен. Ступай, Фронтен, ступай; я не хочу, чтоб тебя бранили из-за меня, делай свои дела.

Фронтен. У меня, сударь, слава богу, нет никаких дел.

Северен. Мне хочется отдохнуть: уходи и оставь меня одного.

Фронтен. Пусть так, раз вам угодно побыть здесь. *(В сторону.)* Боюсь, как бы этот старый хрыч не устроил какой-нибудь каверзы: впрочем, у него нехватит сметки. Пойду, разыщу Фортюне [а] и распотешу его так, что он лопнет со смеху.

Северен. Теперь, когда никого больше нет, я могу удалиться. Господи, как я несчастен! И должно же было случиться, чтоб черти заняли мой дом и мне негде было спрятать мошну! Как поступить? Если возьму ее с собой и брат это заметит, я погиб. В какое бы безопасное место ее сунуть?

Дезире. Ей суждено стать моей.

Северен. Поскольку за мной никто не следит, лучше всего положить ее сюда, в эту ямку, куда я уже клал ее, ни разу в том не раскаявшись. О, прелестная ямочка, сколь многим я тебе обязан!

Дезире. И я тоже, если вы положите туда мошну.

Северен. А вдруг ее найдут? Раз промахнешься, беды не оберешься. Буду носить ее при себе: я пронес ее и не такое расстояние. Нет, у меня ее не отнимут. Никто не подглядывает? Приходится смотреть в оба, а то как заподозрят, что у человека моего склада завелись деньги, так обязательно стащут.

Дезире. Им будет спокойнее в этой дыре.

Северен. Будь прокляты черти, мешающие мне оставить мошну дома. Ах ты господи, что я говорю! Вдруг они подслушивают? Я в ужасном положении; все же, лучше спрятать ее; хранила же ее судьба до сих пор; может быть, и теперь она меня не обездолит. Увы, кошелек мой, увы! увы, душа моя! На тебя одного возлагаю надежды; не дай себя украсть, прошу тебя.

[а] *Фортюне* — брат Урбена, воспитывающийся у своего дяди Гилария (брата Северена), старца гуманного, прощающего юности ее увлечения.

Дезире. Повидимому, он не выпустит мошны из рук.

Северен. Как быть? Спрятать? Да, спрячу. Нет, не спрячу. А то, пожалуй, лучше спрятать; но прежде надо взглянуть, не следит ли кто за мной. Боже! Мне кажется, что весь мир смотрит на меня, даже камни и балки и те подглядывают. Ах, ямочка моя, душечка, заступись за меня. Ну! Во имя господа и святого Антония Падуанского, in manus tuas, Domine, commendo spiritum meum [a].

Дезире. Это так невероятно, что я не поверю, пока не увижу воочию.

Северен. Теперь особливо надо убедиться в том, что за мной не следят. Никого нет. Но как бы кто-нибудь не наступил на ямку и не вздумал посмотреть, что там такое: придется частенько сюда наведываться и не подпускать никого. А теперь пойду туда, куда я хотел, и поищу какого-нибудь способа выгнать чертей из моего дома. Обойду с этой стороны, чтобы не проходить мимо них.

Дезире. Я чувствую себя королем! Наконец наступил день, когда я покончу со всеми злоключениями. Чего же медлить? Или я дожидаюсь, чтоб кто-нибудь мне помешал? Ни-ни! Как старик оглядывался, когда прятал мошну, так и я должен следить за тем, не видел ли кто-нибудь, как я ее похищал, а если видел, то кто именно. О святая, пресвятая ямка, как ты меня облагодетельствовала! Вот так находочка! Выросла передо мной, как гриб после дождя. Поверьте, я предпочитаю этот грибок паре новых перчаток. Но заглянем внутрь; может быть, там одна только мелочь. Ого-го! Сверкает, как солнце, — одни золотые! Истинный бог, необычайный, удивительный поворот фортуны! Я уже потерял всякую надежду насладиться прелестями Лорансы, как вдруг в одно мгновенье, когда я меньше всего этого ожидал, судьба бросает ее в мои объятья. Но чтоб побольше досадить старику, я опорожню мошну и набью ее камнями: пусть думает, что она цела-целехонька. Господи, жаль, что при мне нет веревки: я сунул бы ее туда. Однако нельзя так поддаваться радости; надо обуздывать свои чувства, ибо, как говорится, кто не умеет переносить счастья, тот не перенесет и злосчастья; впрочем, бóльшего счастья и не могло выпасть на мою долю, если я когда-нибудь найду даже десять тысяч экю, я буду им меньше рад, чем этим. Но сюда идут. Не надо, чтоб меня видели. Вот, все уже в порядке, и никто не заметит, что я тут рылся.

[В финале комедии Дезире возвращает деньги безутешному Северену, в результате чего старик соглашается на брак Дезире с Лорансой, правда, при содействии Жерара, отца Фелисианты (возлюбленной Урбена), который из своих средств дает необходимую сумму в приданое дезушке. Заканчивается комедия счастливым тройным браком: Дезире становится мужем Лорансы, Фортюне соединяется брачными узами с любимой девушкой, Урбен получает разрешение отца на брак с Фелисиантой, которая, к великой радости Северена, оказывается богатой невестой.]

[a] Отдаю душу свою, о господи, в руки твои.

ПОЭЗИЯ ГУГЕНОТОВ

Уже при Франциске I протестантизм начал играть заметную роль в общественной жизни Франции. При его преемниках движение гугенотов (французские протестанты кальвинисты), отражавшее недовольство различных общественных групп королевской властью, фактически возглавлявшей католическую церковь во Франции, приобрело широкий размах, чему в значительной мере содействовали неудачи внешней политики французских королей и тяжелое экономическое положение страны. В 1562 г. вспыхивает первая гугенотская война, открывшая собой длительный период ожесточенных «религиозных» войн, разделивших Францию на враждующие лагери. Указанные события наложили глубокий отпечаток на судьбы французской литературы XVI в. Гугеноты и католики пишут полемические памфлеты и трактаты. В среде гугенотов большого развития достигает песенное творчество, — это либо протестантские псалмы, либо песни, живо откликающиеся на текущие события (негодующие протесты против Варфоломеевской ночи, отклики на ход гражданской войны, нападки на католическое духовенство и пр.). Поэты-гугеноты отвергают языческую античную тематику, столь излюбленную поэтами «Плеяды», и обращаются к библии, которая служит постоянным источником их вдохновения. Наиболее видными поэтами-гугенотами в конце XVI в. были Гильом дю Барта (1544—1590) и Агриппа д'Обинье (1553—1630).

ПРОРОЧЕСТВО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ СВЯЩЕННИКОВ, МОНАХОВ И БРИТЫХ

Песня на мотив:

IACTABUNDUS

1542 г.

I

О горе вам,
Отъевшимся попам!
За ваши все дела
Постигнет срам.
К ответу вам пора!

II

Ваш жертвенник потух,
Власть испускает дух.
Грядет конец.
Погибнет зла отец.
О горе фарисеям!
Конец затеям!

III

Сорбонские тупицы
Забудут небылицы,
Угар пройдет.
Дождетесь вы поры,
Потухнут все костры.
Христос грядет!

IV

Из римского гнезда
Зверь убежит тогда.
Евангелистам,
Что так постылы вам,
Поклонимся на срам
Всем вам папистам.

V

Чурались правды той,
Теперь вы под пятой,
А хлебец ваш святой
Лишь плесень и грех.
Ну, что же, шарлатаны,
Обряды ваши, саны,
И вас за все обманы
Постигнет смех.

VI

А знаете, что будет?
Весь мир о вас забудет;
Христос на век пребудет;
Он к правде всех пробудит
И править нами будет,
Антихриста ж осудит.

ПЕСНЯ ТРУБАЧЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ ПРИНЦА ДЕ-КОНДЕ [a]

Наш принц Конде — герой
Погиб, оставил строй,
Но Колиньи, тот жив —
Он бодр и ретив.
Жив Рошфуко. С ним вас,
Паписты, адмирал прогонит в добрый час.

[Эта песнь приведена у Брантома (в главе о принце Конде) со следующим указанием: «Добрые трубачи французов и рейтаров среди других песен исполняли часто это пятистишие».]

[a] Принц Конде, из дома Бурбонов, командовавший армией гугенотов, был разбит 13 марта 1569 г. герцогом Генрихом Анжуйским, братом короля. Конде был убит в этом сражении, и начальство над гугенотами перешло к адмиралу Колиньи.

ДЮ БАРТА

Гильом дю Барта (Guillaume du Bartas, 1544—1590) — поэт-гугенот, пользовавшийся европейской известностью. Ронсар послал ему золотое перо; Торквато Тассо черпал вдохновение в его стихах; Мильтон испытал на себе его влияние; Гете и Байрон сочувственно отзывались о его поэзии. Как истинный гугенот дю Барта широко культивирует ветхозаветную тематику. Из библии почерпнут сюжет поэмы в шести песнях «Юдифь» (1573 г.), первой во французской литературе поэмы, в которой «в правильной поэтической форме повествуется о священных предметах». Его главное произведение — поэма «Неделя, или сотворение мира» («La Semaine ou la création du monde», 1579 г.), в которой он, опираясь на библию и средневековые источники, в приподнятом риторическом тоне повествует о сотворении мира, сочетая религиозные излияния с описанием чудес природы и дидактическими сентенциями. В течение шести лет поэма выдержала свыше 30 изданий. По своей поэтической культуре дю Барта был учеником «Плеяды». При всем своем библейском пафосе он не чуждается реминисценций из «языческих» античных писателей, в ряде случаев подражает Лукрецию, Овидию (описание потопа) и главным образом Вергилию (похвала сельской жизни).

Из «НЕДЕЛИ»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ

Пусть мудрость эллинов старается найти
Стихию пятую, пусть спорят о пути
Небесных круглых тел, не видя в них начала,
Не видя в них конца. Пускай твердят немало,
Что смертно только то, что дышит под луной.
Не будем возражать. Теорией земной
Измерить мир нельзя. Бесплодны все ученья,
И не спасется он от страшного крушенья.
Настанет грозный день: утесы упадут,
От страха цепи гор под землю вглубь уйдут,
И треснет небосвод. Вздуваясь, низины
Поднимут до небес могучие вершины.
Иссякнут реки все. Свернется в кровь вода
В озерах и прудах. Морская глубь тогда
Запламенеет вся. Киты на берег жгучий,
Вползая, заревут. Сгущаясь в небе, тучи
Полдневный свет затмят, как раскаленный свод,
И станет полумрак над миром всем, и вот
Все светлые миры поглотятся Нептуном.
Являться будет Феб земле во свете лунном:

Падут созвездья все. Смятенье, мрак и страх!
Подует ураган, все обращая в прах.
Настанет суд для злых, час гнева, час отмщенья,
От грозного судьи не будет им прощенья.
В костер он обратит наш мир и небосвод,
Как прежде обратил он землю в бездну вод.
Без веры, без стыда ужели в эфемерных
Теориях познать вы мните беспримерных
Событий череду? Пытаясь угадать
Час роковой и день, стараетесь вы дать
Пророчество о том, когда врата Сатурна
Закроются навек. День этот помня, бурно
Трепещет дух во мне, и я лишаюсь сил.
Безумцы лживые, скажите, кто открыл
Таинственный покров? Скажите мне, чьи очи
Проникли в глубь веков и в тайны полуночи?
Все скрыто от людей в святилище творца;
Никто не может знать ни день, ни час конца.
Он держит календарь, в котором срок отмечен
Багровою чертой. — Все знает тот, кто вечен,
Не жители земли. Настанет срок для вас,
И явится твой сын, о боже, в грозный час.
Он, воплотившийся, с своею ратью верной
Сойдет с вершин небес во славе беспримерной,
И с двух сторон его сойдет на землю рать
Крылатых сил небес, и будет путь держать
На колеснице он, влекомый вниз Любовью
И Справедливостью. Все те, кто землю кровью
Своею обагрил, кто утонул в волнах
И кто, сгорев в огне, рассеялся, как прах,
Кто мрамором покрыт, и схоронен, и тлеет,
Кто, зверем сожранный, могилою имеет
Лишь чрево воронов, шакалов и гиен, —
Воскреснет к жизни вновь. Они, отбросив тлен,
Ответят на призыв и облекутся снова
В свой прежний смертный лик по повеленью Слова.
Чтоб милость получить иль кару, все придут
К Спасителю людей на грозный, смертный суд.

Д'ОБИНЬЕ

Агриппа д'Обинье (Agrippa d'Aubigné, 1550–1630) происходил из дворянской семьи. Был пламенным сторонником гугенотов, делу которых отдавал всю свою неукротимую энергию. Провел бурную жизнь, полную превратностей. Преследования, побеги, поле сражения, тюрьма, королевский двор — проходят в его жизни, как в калейдоскопе. Четыре раза осужденный на смерть, он умирает в изгнании.

Его крупнейшее создание — страстная поэма-инвектива: «Les tragiques» («Трагические поэмы»), начатая в 1577 г., изданная в 1616 г. В семи книгах, насчитывающих до девяти тысяч александрийских стихов, д'Обинье, не щадя резких красок, набрасывает мрачную картину жизни Франции эпохи религиозных войн: ужасы инквизиции, застенки, пытки, костры, темницы, кровавую резню Варфоломеевской ночи, беззакония властей, но также господню месть ревнителям господствующей церкви, конечный суд над врагами гугенотов. Пронизанная библейским пафосом, насыщенная образами классической древности, поэма является ярчайшим образцом европейской антиинквизиционной поэзии. Сент-Бев метко называет д'Обинье «Ювеналом XVI в., суровым, строгим, неумолимым, полным преувеличений, блещущим красотами и искупающим страшную грубость необъятной энергией».

Перу д'Обинье принадлежит также роман-памфлет «Приключения барона Фенеста» (1630 г.), а также «Всеобщая история» (1616–1620 гг.), в которой он наиболее полно выражает свои политические взгляды, враждебные складывавшемуся абсолютизму.

Отрывки из «Трагических поэм» приводит В. Парнах в своей книге: «Испанские и португальские поэты — жертвы инквизиции», изд. «Academia», М.-Л., 1934 г., см. также С. Пинус, Французские поэты, СПБ, 1914 г., и В. М. Блюмфельд, Поэты французского Возрождения, М., 1938 г.

* * *

Ветров и волн изведав ад
И к смерти каждый миг готовый,
Теснимый гидрой стоголовой
Врагов, крамолы и засад,

Во сне хватая наугад
Пистоль в тревоге вечно новой,
Пою любовь я в час суровый,
Хоть стих покою был бы рад.

Прости же песню, друг мой милый,
В которой нехватает силы
Скрыть боль солдатского житья;

Ведь с той поры, как в этих взорах
Я муку пью, мой стих, как я,
Впитал в себя и дым и порох.

НАДГРОБНЫЕ СТИХИ ТЕОДОРА-АГРИППЫ Д'ОБИНЬЕ НА СМЕРТЬ ЭТЬЕНА ЖОДЕЛЯ, ПАРИЖАНИНА, КОРОЛЯ ТРАГИЧЕСКИХ ПОЭТОВ

Когда Жодель пришел, оставив наши стены,
Еще от смертных мук пыхтя и весь разбит,
Когда подземных царств ему открылся вид,
Он с облегчением вздохнул от перемены.

Он Ахеронт нашел приятней нашей Сены,
Парижа нашего приятнее — Аид:
Хоть этот порт черней, он все ж не так смердит,
Как жизнь там, наверху, и все ее измены.

Харон берет его в свой погребальный челн,
И говорит Жодель, плывя во мраке волн:
«Нельзя ль мне утонуть, чтобы скончаться снова

И столь же выгадать еще один разок,
Как в этот первый раз?» Но больше он не мог
Переменить жилье для счастия двойного.

Из «ТРАГИЧЕСКИХ ПОЭМ»

Из поэмы «ГОСУДАРИ»

Тот истинный король, тот властвовать рожден,
Кто нам самим собой установил закон,
Кто, царь своих страстей, своей душой державной
Умеет побеждать соблазн мечты тщеславной:
Но не гермафродит (изнеженный урод),
Бордельщик, созданный, чтоб жить наоборот,
Скорей слугою шлюх, чем над людьми владыкой,
Не чудище страны эпохи нашей дикой,
Не тот, кто пурпуром и златом королей
Скрывает подлости, одна другой подлей,
Предательство, подвох, презрение к работе,
Доверенной его вниманью и заботе;
Не тот, кто потерпел, чтоб женщины надзор
Проник в его Совет, правление и Двор,

В войну и мир, всегда готовый стать войною,
Таящий больше гроз, чем туча над страною.
Взгляните: наш король желанием горит,
Переодетый он по улице бежит,
Чтоб девушкой, еще невинной, насладиться,
И служит вывеской борделям всей столицы.

Тиранство может быть хоть кое-как терпимо
Под видом доблести какого-нибудь Рима.
(Блаженны римляне: любили в старину
Тираны-цезари искусство и войну.)
Но горе, кто живет, как раб позорно слабый
Мужеподобных баб или мужчины-бабы!
Сомнительная мать[а] для принцев-сыновей
Являлась сводницей, и полюбилось ей,
Чтобы один[б] из них в лесах бежал по следу
Затравленных зверей и праздновал победу.
Вот он, второй Исав! Кто взор его проник,
Увидит: он — тиран, он — бешеный мясник!
Он — юный вскормленник жестокости кровавой.
Он тешился одной неистовой забавой:
Стонавших жалобно оленей убивал,
Новорожденных серн безжалостно пронзал.
Лихая жизнь его, опустошений школа,
Предсказывала век резни и произвола.

Другой[в] ученей был и пристально глядел
На всех придворных шлюх, знаток любовных дел.
С лицом напудренным и подбородком бритым,
С повадкой женщины, предстал он сибаритом.
Наш зверь сомнительный, француз Сарданапал,
Без лба и без мозгов, явился раз на бал,
Сверкая знатными каменьями в народе.
Он в шляпе без полей, по итальянской моде;
Прическа — арками, вдоль губ его кайма,
И на лице его белила и сурьма,
И в пудре голова явили нам старуху:
На месте короля — подкрашенную шлюху.
Какое зрелище, какой восторг для глаз!
В корсете государь, затянутый в атлас.
Шнурки и галуны у нашего героя
Торчат из вырезов испанского покроя.

[а] Екатерина Медичи.
[б] Карл IX.
[в] Генрих III.

Весь день он щеголял обилием манжет,
В чудовищный, как блуд, костюм он был одет.
Чей лик вы видели? В недоуменье все вы:
Старухи-короля? Иль старца-королевы?
Воспитывался он всегда среди отрав,
Измен, подвохов, тайн и козней, и расправ.
Пройдохой, докой жил в сумятице совета,
Забытого имел еще ребенка где-то.
И вот с усердием тех юношеских лет,
Когда он посещал секретнейший совет,
Теперь всем помыслом он ищет лишь удачи
В покое мерзостном на потаенной даче,
Где похотью его утроенный разврат
Его неистовствам служить прикрытьем рад.

Из поэмы «ЗОЛОТАЯ ПАЛАТА»

Зловещий замок есть: глухие башни, плиты,
Двойной решеткою мир наглухо закрытый.
Он — только мрак и смрад; он — крепость и оплот,
Здесь — инквизиция, здесь только смерть живет.
Ведь это медный бык, в котором погибали
И доводы ума и возгласы печали.
У бога на глазах людишки здесь хотят
Молитву заглушить, здесь воплощенный ад.
Стараясь отгадать свой грех, закован в цепи,
Простертый среди жаб, томится в том вертепе
Бессонниц мученик: ковры, пуховики —
Для этих узников лишь гвозди и клинки.
Не так огни костров, как голода страданья,
Погубят эту жизнь и заглушат рыданья.
В последний мрачный день, величью их судьбы
Воздвиглись троны здесь: позорные столбы.
Великолепные предстали эшафоты,
Готовился трофей в убранстве позолоты.
И в сан-бенитах шли, колоннами тремя,
Приговоренные, оковами гремя.

Так пусть же палачи наносят оскорбленья,
Их преисподняя — обман изображенья.
Ведь нужен богу их бумажному наряд:
Однообразный рай и демоны и ад.

В порядке медленном почетных караулов
Вояки ехали, сверкая сбруей мулов,
Солдат старейший нес за взводом трубачей
Изображения на стяге палачей:

Лик Изабеллы, лик владыки Фердинанда,
И Сикста славила палаческая банда.
Пред сей хоругвии с богатством позолот
Колени преклонял трепещущий народ.

Европы лик предстал: охвачена кострами,
Дымясь, она горит невинными сердцами.
Блестящие дворцы, просторы площадей
Клокочут толпами. На тысячи смертей —
О новшество забав! — цвет жизни осуждают,
Трагедию и фарс притворщики играют.
Толпа на площадях пред зрелищем черства:
Пылает рвением рабыня ханжества.

Вы, судьи, палачи, кюре, духовники,
Придет тот день, когда, простые батраки,
Преобразите вы в конюшню храм закона
И монастырь — во мразь последнего притона,
И ваш седой сенат — в преступный жалкий сброд,
И в каземат — ваш Лувр, и замок — в эшафот!

Из поэмы «ОКОВЫ»

Злой дух является, и первым предстает
Ему обширный вид строительных работ,
Задуманных в те дни для флорентинской шлюхи [а].
Здесь тысячи домов обречены разрухе,
Во снедь тем замыслам, и вот лукавый змей
Вполз в государыню, и чтоб войти ловчей,
Построил здание: стройнейшие аркады,
Лихие флюгера, надменные ограды,
Фронтоны ровные, злаченые столбы,
Пилястры, лестницы, порталы и гербы,
Преддверья, комнаты, палаты, галереи,
А в целом Тюильри, дворец ее затеи.
В ум государыни войдя, как в свой удел,
Ее мечтою змей всецело завладел.
Страсть, поселившись в ней, рождает все пороки.
Всё, что нарушило б строенья план жестокий,
По этой прихоти на смерть обречено.
В утеху ей и кровь послужит, как вино.
Добычей овладев, ярится аспид лживый,
Немало в Лувре он найдет себе поживы.

[а] Екатерина Медичи, французская королева флорентинского происхождения (1519—1589 гг.).

Всё хищно грабит он и, дьявольский хитрец,
Искусно нарядясь, советник иль мудрец,
Духовное лицо иль видимость другая,
Всё разрушает он, грызя и разжигая.
Кровь, разум, сердце, слух придворных и вельмож,
Доступно всё ему; притом, он даже вхож
В секретнейший совет: в своих делах упрямый,
Внезапно примет он обличье юной дамы
И, чтоб пленить сердца, красавицей глядит;
Где надо властвовать, он примет властный вид
Крутого старика; собрав лицо в морщины,
Согбен над посохом, он выставит седины;
В глаза пословицей старинной пустит пыль
И к ней приспособит свой стариковский стиль.

Охотник, птицелов, рыбак манил обманом [а],
Зовущей самкою, удилищем, капканом
В траву, силок и сеть, на острие и клей
Доверчивую дичь, и рыбу, и зверей.
И вот приходит день, день мрачный наступает,
И судьбы на него, нахмуря бровь, взирают,
Отмечен трауром, безумия предел,
Который в ночь войти, вернуться вспять хотел,
День среди наших дней, с печатью приговора,
Отмечен красным он, краснеет от позора.
Заря хотела б встать, заря, чей смуглый цвет
Когда-то открывал блаженный райский свет;
Когда сквозь золото малиновые розы
Вдруг вспыхнут, знали мы: вот ветер или грозы,
Заря, которой смерть дает мощь и убор:
Жаровни адовы и пышущий костер.

Принцессы прочь спешат от ложа, от алькова.
Им страшно, но не жаль виденья гробового:
Зарубленных людей, которых день в крови
Послал за жизнию в гнездо сей лжелюбви,
Твой, Либитина [б], цвет, это твои владенья.
Зубцы капканов ржой разъела кровь оленья.
То ложе — западня, не ложе, — гроб и кровь,
Так Смерти факел свой передает Любовь.
А Сена гнусная бьет, бьет в свои ограды
И века нашего несет глухие яды.

[а] Следует описание событий, связанных с кровавой Варфоломеевской ночью (1572 г.).
[б] *Либитина* — древнеиталийская богиня смерти.

В ней не вода, а кровь, свернулась в ней волна
И под ударами лежит обагрена
Телами; первые топить здесь начинают,
Но их самих туда ж последними швыряют.
Свидетели убийств, гранит и волн раскат,
Обсудят меж собой, кто прав, кто виноват.
Мост, что когда-то был торговых дел оплотом,
Теперь гражданских бурь стал скорбным эшафотом.
Четыре палача! Их лица — срамота,
На них часть мерзости и ужаса моста.
Твоя добыча, мост, четыре сотни трупов.
Лувр! Сена хочет срыть гранит твоих уступов.
А роковая ночь взалкала восемьсот,
В толпу преступников невинного ведет.

Пока по городу шла мерзкая работа,
Лувр загремел, предстал котлом переворота.
Теперь он — эшафот. С карнизов и террас,
Из окон на воду глядели в этот час.
Но разве здесь вода? И дамы, встав с постели,
Чтоб щеголей пленять, в волненьи сладком сели,
Глядят на раненых, на красоту и грязь,
Над этой мукою бессовестно глумясь.
Дымится небосвод и кровью и сердцами,
Но лишь прически жертв жаль зрительнице-даме...

Нерон, забавами увеселяя Рим,
Театров и арен мельканием пустым,
Игрою в Бар-ле-Дюк и цирком за Байонной,
Блуа и Тюильри, балетом, скачкой конной,
И каруселями, зверинцами, борьбой,
Потехой воинской, барьерами, пальбой,
Нерон велел свой Рим пожаром в пепл развеять;
Был хищному восторг заслышать и затеять
Толп обезумевших многоголосый вой,
Глумиться над людьми и мукой роковой.

Карл в ужас приводил своим пылавшим взором
Двух принцев-пленников, подавленных позором [1];
Надежды их лишал, и был им ясен рок:
Безжалостный король не ведает тревог.
Но гордый побледнел и на глазах у пленных
Забыл презрение своих гримас надменных,

Когда дней через семь вскочил в полночный час,
Домашних разбудив: сквозь сон его потряс
Мрак, воем голося, таким стенящим лаем,
Что государь решил: срок бойни нескончаем,
И после всей резни, законных трех ночей,
Бунт подняли теперь те банды сволочей!
Повсюду разослал он тщетные охраны,
Но отклик шлют ему на окрик лишь туманы.
Ночей двенадцать он дрожит, и дрожь берет
Сердца свидетелей, приспешников, и вот
День безрассудному предстал внезапно страшен:
Чернеют вороньем вершины луврских башен.
Екатерине — смех: притворщица черства[2];
Елизавете — скорбь: лежит полумертва,
И совесть гнусная владыку до кончины
Грызет по вечерам, в ночь ропщет, и змеиный
Днем раздается свист, душа ему вредит,
Себе самой страшна, себя самой бежит.

Следит внимательный угрюмый соглядатай
За теми, в чьих глазах нет ярости заклятой.
Везде мушиный слух незримо стережет,
Не выдаст ли души неосторожный рот.

И сотни городов с их лицемерным ликом
Распалены резней, в неистовстве великом.
Ночь та же потрясла и тем же город Мо.
Еще развлекся он, и вот его клеймо:
Шестьсот утопленных, и с ними в общей груде
Жен обесчещенных тела вздымают груди.
Необычайная, Луара тяжко бьет
В подножье города: он тысячу шестьсот
Кинжалом заколол и пачками связал их,
И в Орлеане все лежат в дворцовых залах.

Мой утомленный дух приговоренных ряд
Увидел: до нага раздетые стоят.
Так ждут они два дня, чтоб вражеская сила
Их от голодных мук, убив, освободила.
И вот на помощь им приходят мясники,
С локтями голыми, убийства знатоки,
Вооруженные ножами для скотины.
И жертв четыреста легло, как труп единый.

Из поэмы «ОТМЩЕНИЕ» [а]

Славь господа, тобой гонимого досель,
Ты, кровью пьяная, предстань, Иезавель [б]!
Капкан для чистых душ, чума для государства,
Убийца Франции, спасло ль тебя коварство
Твоих подвохов, тайн и флорентинских штук?
Твоими персями, а не сосцами сук
Упились псы, и грудь, набухшая гордыней,
И шея нежная была им благостыней.
Вот сердце жаркое исторгли из грудей.
Неутоленное убийствами людей,
Оно убьет и псов: отведав этой жолчи,
Вдруг взбесятся они, забыв свой голод волчий.
При жизни ты всегда любила только бой,
И даже мертвою распалены тобой
Грызущиеся псы: в остервененье злобы
Они на части рвут кишки твоей утробы.

Ты, Белломонт, воздвиг свой ад, жаровни жег.
Твоя игра — процесс, и твой дворец — острог,
Застенок — кабинет, веселия — геенны.
Во мраке погребов, где извивался пленный,
Любуясь пыткой, ты пред жертвой ел и пил.
Из этой камеры ты шагу не ступил.
День поздно рассветал, ночь рано приходила,
Казалось палачу. Кончина утолила
Его желание медлительно пытать.
Суровая, она является, как тать.
И огнь к его ступне подходит в наказанье.
Бесчувственный к слезам, сам чувствует страданье.
Он молит об одном: чтоб огнь, жестокий змей,
От ног до сердца путь закончил поскорей.
Сей путь медлительней работы трибунала.
И огненная смерть все члены покарала.
Убийств желавший, сам неспешно умерщвлен,
Сожжений жаждавший, сам медленно сожжен.

За тот же грех пришел такой же час расплаты.
Огнем пылал Поншер, вождь Огненной палаты.

[а] В поэме «Отмщение» поэт в чисто дантовской манере изображает загробные мучения гонителей «еретиков».

[б] *Иезавель* — супруга израильского царя Ахава, дочь царя Сидонского, жестоко преследовавшая пророков, препятствовавших ее стремлениям насадить в Израиле религию ее отечества. Под Иезавелью д'Обинье имеет в виду Екатерину Медичи, вдохновительницу Варфоломеевской ночи.

Отмщение дымит горящей головней.
Изобретательно, меж сердцем и ступней,
Смерть строит семь жилищ, ведет свою осаду,
Окопы роет в нем, и вот предстали взгляду
Куски и части ног, семь диких крепостей.
Мучитель претерпел семь огненных смертей.

Епископ Шателен под холодом почтенным
Скрывал дух бешеный в пыланьи неизменном.
Без гнева он пытал огнем, зубцами пил,
Он десять тысяч жертв бесстрастно умертвил.
Смиренный на словах, гордец с лицом тихони
Судил перед костром, жрец хладных беззаконий.
Полтела у него обледенело льдом,
Полтела у него обуглено костром.

Суда и мщения суровые скрижали,
Погрязшим в мерзости вы, наконец, предстали.
Кресценций Кардинал! Чернее всех угроз,
Казалось, за тобой шел погребальный пес.
Его прогнать нельзя. Его узнал ты скоро,
В твоей душе, во дни Тридентского собора[3],
Он лаял бешено. Пес, черный демон твой,
Тебе неведомый, с лукавою душой,
Пес возвестил тебе час казни неизбежной.
И вот недуг в тебе открылся безнадежный.
С тех пор не покидал тебя тот пес лихой.
Недуг стал смертью, смерть — отчаянной тоской.

«МЕНИППОВА САТИРА»

«Менипповa Сатира» (La Satyre Ménippée», 1594 г.) — ядовитый и остроумный памфлет на генеральные штаты, которые католическая лига, враждовавшая с Генрихом IV, неудачно пыталась в 1593 г. созвать для выбора короля, один из ярчайших памятников европейской сатирической литературы XVI в. Памфлет вышел из-под пера группы умеренных католиков и обращенных протестантов (руанский каноник Пьер Леруа, парламентский советник Жак Жилло, адвокат Никола Рапен, поэт и комментатор Рабле — Жан Пассера и бывшие протестанты — доктор Флор Кретьен и юрист Пьер Питу), ревностных сторонников Генриха IV. Генеральные штаты, созванные в начале 1593 г. в столице католической лиги Париже, открылись речью вождя лиги герцога Майенского, одного из претендентов на французский престол. Духовенство было предано испанскому королю, который принимал деятельное участие на стороне лигёров во французских гражданских войнах и надеялся добиться протектората над Францией. Представители буржуазии занимали колеблющуюся позицию. Победа противников Генриха IV означала бы торжество средневекового партикуляризма и решительный успех внешних врагов Франции. Однако, все усилия лигёров оказались тщетными. Генеральные штаты, не придя ни к какому решению, прервали свои заседания и уже больше не собирались. В связи с указанными событиями и возникла «Менипповa сатира» (название заимствовано из сочинения римского писателя I в. до н. э. Варрона — «Saturae Menippeae»), нанесшая сильный удар престижу лигёров. По словам историков литературы, памфлет явился своего рода битвой при Иври (в этой битве Генрих IV наголову разбил войска вождя лигёров герцога Майенского), только в области интеллектуальной. Прозрачно намекая на недавние события, авторы сатирически изображают мнимое собрание генеральных штатов, на котором вожди лиги разоблачают свой авантюризм, честолюбие, жадность, эгоизм и лицемерие, произнося откровенные речи о целях, методах и задачах лигистского движения.

В начале произведения появляются два горластых ярмарочных шарлатана, один из Испании, другой из Лотарингии, предлагающие купить их снадобья. Первый из них (Филипп II), не щадя сил, превозносит чудодейственную силу «католикона» — божественной панацеи, с помощью которой из последнего разбойника можно сделать непорочного агнца, простую шляпу превратить в кардинальскую шапку и совершить еще много других удивительных чудес. Вслед за этим юмористически изображается процессия сословий, направляющаяся на заседание штатов. Зала заседания украшена сценами из истории, в которых содержатся намеки на политические события последнего времени. Наконец, ассамблея приступает к работе. Один за другим поднимаются ораторы (герцог Майенский, папский легат Гаэтано, архиепископ Лионский и др.), произносящие речи, в которых, как сказано, они раскрывают всю низость своих целей и побуждений. Прения заканчиваются выступлением оратора третьего сословия, г-на д'Обре, который, отражая взгляды авторов «Менипповой сатиры», в обстоятельной и проникновенной речи изображает современное состояние Франции, говорит о праве короля стоять над политическими и религиозными партиями, о том, что благо и спокойствие государства могут быть обеспечены лишь монархией, опирающейся на национальную почву.

Как и в сочинении Варрона, в «Менипповой сатире» прозаический текст перемежается стихотворным.

Из «МЕНИППОВОЙ САТИРЫ НА СВОЙСТВА ИСПАНСКОЙ ПАНАЦЕИ И НА СОБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАТОВ В ПАРИЖЕ»

ШПАЛЕРЫ, КОИМИ БЫЛА ОБИТА ЗАЛА ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАТОВ

1. Однако прежде нежели приступить к повествованию о церемониях и чиноположении оных генеральных штатов, не лишнее будет описать устройство зала, где надлежало состояться ассамблее. Помост для сидений и панели были такие же, как при генеральных штатах в Троэ в году 1420-ом, созванных при Карле VI по настоянию и происках короля английского и герцога Бурбонского, тех самых штатах, коими был низложен Карл VII, дофин и законный наследник французской короны, и не только объявлен неправоспособным унаследовать престол, но и вместе со своими приверженцами и приспешниками предан под колокольный звон и при потухшей свече [1] анафеме, отлучен от сообщества гражданского и сообщества человеческого [2], а затем изгнан ad tempus [3]. Но шпалеры, украшавшие вышереченный зал, числом двенадцать или около того, были, повидимому, современные и изготовлены нарочито из богатой ткани с вертикальной основой, равно как и балдахин, под коим должен был восседать господин наместник [4]. На одном из полотнищ балдахина с исподней стороны был изображен с натуры окруженный испанцами и одетый по французской моде некий Серторий, вопрошающий волшебницу-лань, от которой ожидал он услыхать волю богов [5]. Там же на другом полотнище красовалось изображение Спартака, обращающегося с речью к рати рабов, коих он вооружил и побудил восстать против Римской империи. На третьем полотнище виднелся тот же герой с факелом в руке, которым он только что поджег храм, и на подзоре стояло:

«Si aqua non possum, ruina extinguam» [6].

Четвертую сторону нельзя было разглядеть, ибо приходилась она против света и была темна. Над головой же в центре оного балдахина помещалось распятие современного парижского образца: левая рука спасителя привязана к креслу, а в правой, свободной руке — обнаженный меч, окруженный надписью со следующим изречением:

«Super te, et super sanguinem tuum» [7].

На подзоре с трех внешних сторон было превосходно вытканo падение Икара и падение Фаэтона, и приятно было смотреть на превращающихся в тополя сестер сего отрока [8], из коих та, что сломала себе бедро, устремившись на помощь брату, весьма

походила на вдовствующую герцогиню Монпансье с распущенными волосами и всю в слезах [9].

Первая шпалера, поближе к балдахину, изображала историю золотого тельца, как она описана в Исходе, глава XXXII: в лице Моисея и Аарона были представлены блаженной памяти король Генрих III и усопший кардинал Бурбонский [10], а золотой телец походил на покойного герцога Гиза [11], стоящего на возвышении и окруженного поклоняющимся ему народом; на обеих скрижалях начертаны были основной закон, утвержденный штатами в Блоэ [12] и июльский эдикт 1588 года, а под этим была такая надпись:

«in die ultionis visitabo
et hoc peccatum eorum» [13].

2. На четвертой шпалере были изображены в общих чертах боевые подвиги древних и современных убийц, иначе именуемых бедуинами и арзакидами [1], не смущавшихся проникать в палаты и опочивальни тех, кого приказывал им лишить жизни их самозванный царь Алоадин, прозванный старцем с шести или семи холмов [2]. Среди прочих выделялись две фигуры. Одна — графа Триполийского, убитого неким соратником, ревнителем веры, в то время как целовал он графу руку. Другая — короля французского и польского, предательски зарезанного совращенным фанатиком-монахом, когда он, стоя на коленях, передавал монарху послание; на лбу же оного монаха начертана была крупными литерами анаграмма его имени:

«Житель Ада Кромешного»,

ибо звали его братом Жак Клеман [3].

3. На шестой шпалере было выткано аркское чудо [1], когда пятьсот или шестьсот отчаявшихся ратников, уже готовых броситься в море, вдруг прониклись презрением к врагу и с помощью чар беарнца [2] обратили в бегство не то двенадцать, не то пятнадцать тысяч фанфаронов, хвастунов и бахвалов; но самое забавное зрелище являли собою парижские дамы, сидящие у окон, и те, что за десять дней до того запаслись местами в лавках и мастерских, на улице Сент-Антуан, чтоб видеть, как с триумфом проведут связанного и скрученного беарнца, а он между тем оставил их всех с носом, ибо вошел в город совсем в ином виде через предместия Сен-Жакское и Сен-Жерменское [3].

Седьмая шпалера изображала баталию под Иври-ла-Шосе [4], и можно было лицезреть, как испанцы, лотарингцы и прочие ревностные католики, насмешки ради или по другой причине, показывают свой афедрон гугенотским разбойникам, а разбряченный беарнец во весь опор мчится сзади верхом на Священном Союзе. Господин же наместник бежал в беспорядке, бросив на поле битвы сугубо обманутого графа д'Эглона [5], и помчался на турецком скакуне [6], чтоб захватить Мант, пробравшись туда сквозь калитку в воротах [7], и объявить жителям глухим, задыхающимся

голосом: «Друзья, спасите меня и моих людей; все погибло, но зато умер беарнец». Особенно же усладительно было смотреть на то, как он тщательно проверял содержимое своих баулов и ларей и с каким рачением извлек оттуда хоругвь веры, где на черной тафте изображено было распятье с надписью:

«Auspice Christo» [8],

в каковом виде она и поныне висит в мантской церкви. Это та самая хоругвь, братья во христе, которая в будущем должна была служить орифламмой его королевским наследникам, если бы дело не провалилось. В углу маленькой шпалеры вышита была пляска пастухов и поселян, а рядом с ними можно было прочесть такую песенку:

Цветет весна младая.
Пора пуститься в пляс!
Нас от державной стаи
Господь всесильный спас.

Оружья спор кровавый
Умолкнет пусть тотчас;
Державная орава
Мутила долго нас.

Один король над нами,
Шуты исчезли с глаз,
Разбитыми горшками
Играет рок, смеясь.

Вы, короли-злодеи,
Грозили нам не раз,
Но ваши все затеи
Наткнулись на отказ.

Французский вождь отменный
Разбил жестоко вас
И от орды презренной
Страну родную спас.

РЕЧЬ ГОСПОДИНА НАМЕСТНИКА

4. Господа, вы конечно не откажетесь засвидетельствовать, что с тех пор как мне привелось с оружием в руках встать на защиту священной Лиги, я всегда заботился о себе и предпочитал свою личную пользу делу божию, ибо господь и без меня сумеет оборониться и справиться со своими супостатами: признаюсь по совести, что довела меня до этого не столько смерть моих братьев (обиду эту я так или иначе скушал), сколько желание пойти по стопам отца [1], и доброго моего дяди-кардинала [2], а также брата моего Исполосованного [3], успешно за ними последовавшего. Вы знаете, что по возвращении из моего похода в Гюену, который политики [4] называют фанфаронадой, я не выполнил в сем городе того, что задумал, из-за предателей, предостерегших тирана, своего властителя [5], и не извлек никакой пользы из этой поездки, кроме похищения дочери сеньора Комона [6], которую я предназначал в жены своему сыну, но теперь раздумал отдавать в связи с изменившимися обстоятельствами. Вам также не безызвестно, что, намереваясь всецело посвятить себя служению интересам католической церкви, я не хотел пускать свою рать в крупные сражения, ни предпринимать длительную осаду, потерпев, впрочем, разочарование в Кастийоне, который надеялся взять в три дня [7]. Что

касается моей дофинейской рати, то я не сдвинул ее с места, выжидая, не понадоблюсь ли я вам по случаю собрания генеральных штатов в Блоэ. Но, поелику дела приняли оборот, супротивный нашим желаниям и чаяньям, вы видели, с какой быстротой я направился к вам в сей город и как перед тем мой двоюродный брат, конетабль герцог Омальский [8], ловко устроил так, что святой дух поспешно снизошел на сорбонских богословов. Ибо сказано — сделано, и отсюда проистекли все наши великие ратные подвиги: отсюда ведут свое происхождение тысячи святых французских великомучеников, погибших от меча, огня, неистовства, отчаянья и разных насилий во имя Священного Союза; отсюда завелось столько чванливых людишек, пытающихся разыгрывать вельмож и равняться с августейшими особами; отсюда происходит разрушение и уничтожение стольких церквей и монастырей, мешавших спокойствию наших благословенных городов; отсюда — поток и разграбление, коим наши славные ратники, вольные лучники и оруженосцы предают многие города, посады и деревни, служившие прикормкой для подкрепления веры богомольных посетителей рождественской литургии: отсюда — столько прекрасных девушек и женщин, которые без обряда и против воли претерпели поругание того, что в браке больше всего любили, и одному богу известно, как при этом переворачивали страницы требника и зарабатывали полное отпущение грехов все эти молодые только что расстриженные монахи и совращенные патеры. Вот единственный повод быстрого и благочестивого Декрета [9], изданного матерью нашей Сорбонной после закуси [10] и вызвавшего, наконец, громы небесные: и мы стараниями своими добились того, что королевство это, бывшее отрадным садом всяческой услады и изобилия, превратилось в великое и пространное всеобщее кладбище с множеством прекрасных цветных крестов, гробов, глаголей и виселиц...

5. ...если бы беарнец послушался тех из членов своего Совета [1], кто держит во рту крупицы испанской панацеи и всегда предлагал избегать обострений, дабы не проиграть всего дела, мы уже прочно стояли бы на ногах, тогда как теперь народы самовольно вздумали желать и требовать мира, а этого нам надлежит бояться пуще смерти, и я стократно предпочел бы, с дозволения и благословения святого отца, стать турком или иудеем, чем допустить, чтоб эти неисправимые еретики вновь стали пользоваться своим добром, коим мы с вами законно и по совести владеем год со днем [2] и того более. Помилуй, господи, дети мои, что сталось бы с нами, если б пришлось все возвратить? Как бы содержал я своих челядинцев, если бы вернулся к прежнему состоянию? Я должен был бы проходить через руки новоиспеченных секретарей и казначеев королевской казны, тогда как теперь наши казначеи проходят через мои руки. Умрем, лучше умрем, чем допустить это: разве развалины столь огромного королевства не прекрасная гробница, под которой нам суждено быть похороненными, если мы не сумеем вскарабкаться наверх...

РЕЧЬ АРХИЕПИСКОПА ЛИОНСКОГО[1]

6. Господа, я начну свою речь с патетического восклицания царственного пророка Давида: «Quam terribilia judicia tua...» и т. д. Страшен бог и дивен в делах своих! Кто внимательно присмотрится к возникновению и преуспеянию нашей священной Лиги, несомненно, воскликнет, воздев руки к небу: «Неисповедимы судьбы твои, о господи, но благостно милосердие твое!» и скажет вместе с апостолом: «Ubi abundavit delictum, ibi superabundavit et gratia»[2]. Не достойно ли удивления, господа верозаступники, то обстоятельство, что Союз наш, ныне столь праведный, ревностный и богобоязненный, состоял до дня Священных Баррикад[3] из одних только подмоченных и запятнанных людей, отнюдь не ладивших с правосудием? И вот в силу некоей чудодейственной метаморфозы атеизм вдруг превратился в пламенное благочестие, невежество — в любознательность и познание всяких новшеств, лихоимство — в набожность и постничание, татьба — в щедролюбие и доблесть, словом, грех и порок — в добродетель и беспорочность? Это, поистине, небесные знамения, как говорит господин наместник, а я скажу, знамения столь величественные, что французы должны разверзти очи своего понимания, дабы внимательно приглядеться к этому диву; людям же добропорядочным и доброимущим сего королевства[4] надлежит краснеть вкупе с большинством знати, с лучшими прелатами и судьями, сиречь с самыми здравомыслящими особами за то, что они притворяются презирающими сие чудотворное превращение. Ибо есть ли на свете что-либо более диву достойное, и в силах ли сам всевышний создать что-либо более необычайное? Ведь в единый миг слуги стали господами, малые — великими, бедняки — богачами, смиренники — наглецами и спесивцами, а тот, кто подчинялся, стал повелевать, кто брал в долг, стал давать в рост, кто судил, сделался подсудимым, кто брал под стражу, сел в узилище, кто стоял, осмелился сесть! О чудо из чудес, о великие сокровенности, о глубочайшие тайны кунсткамеры господней, невидимые жалким смертным! Аршин сменен на протазан, чернильница — на мушкет, требник — на тарч, нарамник — на латы, а капюшоны — на шишаки и шлемы! Разве не величественно и не примечательно обращение большинства из вас, господа верозаступники, среди коих по чести укажу на Сьёра де Рон, де Мандревиль, Мот Серан, шевалье Бретон[5] и на пятьдесят других наиболее прославленных наших соратников, но называть их (пусть будут они мне за то благодарны!) не стану, ибо это привело бы меня только к бесконечным гипербатонам[a] и отступлениям? Разве не знаменательно, что все вы столь «политически»[6] взялись за оружие и, подвергнув опасности жизнь свою и имущество для защиты нидерландских еретиков от испанских архикатоликов,

[a] Инверсия, необычный порядок слов в предложении.

столь по-католически[7] вступили в лоно священной римской Лиги? Разве не знаменательно, что столько достославных плутов, неплательщиков, должников, головорезов, висельников и фальшивомонетчиков[8], словом, людей, способных на всякое окаянство, храбро первыми примкнули к этой священной партии, чтоб обделать свои делишки, и задолго до других стали реальными[9] католигами? О, буде благословленны истинные заступники блудного сына, о коем говорится в Евангелии, и вы, богомольные посетители рождественской литургии, и ты, священная испанская панацея, из-за которой повысилась цена на обедню, вздорожали свяченые свечи, возросли приношения и умножились акафисты, из-за которой перевелись все злодеи, тати, поджигатели, подделыватели, душегубы и разбойники, ибо благодаря сему благочестивому обращению все они переменили свое имя и приняли звание ревностных *католигов* и стражников воинствующей церкви! О, божественные испанские дублоны, обладающие даром омолаживать всех нас и возрождать для лучшей жизни! И также сказал спаситель наш отцу своему (от Матфея, глава XI): «Abscondisti a prudentibus et sapientibus, et revelasti ea parvulis»[10].

ЭПИГРАММЫ

О ДВОИХ[a]

Схватить корону помышляют двое,
Но мы дадим обоим по рукам.
Один стращит огромной головою,
Другой же носиком противен нам.

ОБ УЧЕНЫХ СОЮЗА

Своим учением большое
Мечтают чудо совершить:
Плащи испанского покроя
Из ряс церковных понашить.

К ОТСТУПЛЕНИЮ ГЕРЦОГА ПАРМСКОГО

Куда же делся он, могущественный стан,
Грозивший сокрушить небесные светила
И грезивший о том, чтоб уложить в могилу
Владыку Франции и всех ее дворян.

Надменный блеск его рассеян, как туман,
И вождь, кичившийся своей безмерной силой,
Назад во Фландрию бежит в тоске унылой,
Людей порастеряв и злобой обуян.

Подобно ловчему, Анри[6], король наш славный,
Его преследует, и Лис лукавонравный
Бежит, поджавши хвост, влача позора груз.

Испанцы! Никогда нас иноземной ратью
Никто не побеждал: на нас лежит заклятье.
Французов одолеть способен лишь француз.

---

[a] Эпиграмма на герцога Майенского и Филиппа II.

[6] Генрих IV.

МОНТЕНЬ

Мишель Монтень (Michel de Montaigne, 1533—1592) — философ-гуманист, разносторонний эрудит, поклонник античности, последний великий представитель французского ренессансного гуманизма, автор «Опытов» («Essais» 1580—1588 гг., посмертное издание 1595 г.), основным предметом которых является человек в его многообразии и разнородности его природных возможностей. В историю литературы Монтень входит как создатель жанра essais, получившего в дальнейшем широкое распространение в европейской литературе. Свои воззрения он излагает в форме свободных очерков, в которых нередко прерывает самого себя, как бы непринужденно беседуя с читателем, теряет нить рассуждения, широко использует разговорную лексику, не чуждается провинциализмов. Ревностный почитатель «нашей великой и могучей матери-природы», он и в своих «Опытах» стремится к естественности, к речи «простой и безыскусственной», «сочной и живой», «не столько изысканной и прилизанной», сколько «сильной и резкой». Для истории эстетических воззрений значительный интерес представляют также высказывания Монтеня по вопросам литературы и поэзии.

Из «ОПЫТОВ»

1. О СУЩНОСТИ ПОЭЗИИ

Я не принадлежу к числу тех, которые считают, что качество стихотворения зависит от качества рифмы: пусть даже у него будет лишний слог, не в этом дело. Если оно содержит мысли, если рассудок и воображение сделали свое дело, я скажу: «Вот хороший поэт, но плохой версификатор,

«Emunctae naris, durus componere versus» [а].

Если, говорит Гораций, лишить меры и такта его стихотворения,

«Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est,
Posterius facias, praeponens ultima primis...
Invenias etiam disjecti membra Poetae» [б].

это нисколько их не опорочит, ибо, тем не менее, найдутся превосходные отрывки. Однажды Менандра укоряли в том, что наступил срок для обещанной им комедии, а он к ней еще и руки не приложил. На это он отвечал: «Она сочинена и готова; остается

[а] Гораций, Сатиры: кн. I, 4, 8. «Человек тонкий, но стихи пишет плохо».

[б] Сатиры: кн. I, 4, 58—59 и 62: «Ежели меры и такта лишить все, что ныне пишу я, и слова переставить, первое сделать последним, последнее первым..., то найдутся только разбросанные члены поэта.

только прибавить стихи». Поскольку действие и сюжет уже определились в его душе, он остальное не ставил ни во что (кн. I, гл. 25).

2. О СТИЛЕ

Некто выступал против Клеанта с разными диалектическими ухищрениями, на что Хризипп сказал: «Забавляйся этими фиглярствами с детьми и не отвлекай на такую дребедень серьезных мыслей пожилых людей» (кн. I, гл. 25).

Я предпочту скрутить и исковеркать любую прекрасную сентенцию, дабы приспособить ее к своему сочинению, нежели раскрутить нить своих мыслей в погоне за такой сентенцией. Ведь слова должны прислуживать мысли и следовать за ней, — и пусть гасконец добьется того, что не по плечу французу. Я хочу, чтобы мысль преобладала и заполнила воображение слушателя; тогда он совсем забудет о словах. Я люблю речь простую и безыскусственную (как на бумаге, так и устно), речь сочную и живую, краткую и сжатую, не столько изысканную и прилизанную, сколько сильную и резкую, «haec demum sapiet dictio, quae feriet» [а]; скорее трудную, нежели скучную, далекую от жеманства, неровную, беспорядочную и смелую, с самостоятельными отрезками, не педантичную, не монашескую, не тяжебную, а скорее солдатскую, как Светоний называл речь Юлия Цезаря, хотя я и не знаю почему (там же).

3. О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

Простые поселяне — люди почтенные и почтенные люди также философы, или, как принято говорить, — это сильные и просветленные натуры, обогащенные широким знакомством с полезными науками. Метисы, которые отошли от первоначального очага неграмотности и не сумели присоединиться к другому (то есть уселись между двумя стульями, подобно мне и стольким другим), — опасны, непригодны, несносны: они-то и вносят смуту в мир. Я лично всячески стараюсь вернуться к первоначальному и естественному очагу, от которого напрасно пытался удалиться. Народная и вполне безыскусственная поэзия обладает непосредственностью и грацией, равняющей ее по красоте с поэзией художественно-совершенной, как это можно наблюдать, начиная от гасконских виланелей [б] до песен народов, не ведающих ни наук, ни даже письменности.

Жалкая поэзия, остановившаяся на полпути между этими двумя видами, достойна презрения, бесславна и не имеет ценности. (кн. I, гл. 54).

[а] Лукан: «То выражение произведет впечатление, которое поразит».
[б] Пасторальная песня с повторяющимся припевом.

4. О КНИГАХ

Я нисколько не сомневаюсь в том, что мне нередко случается говорить о вопросах, о которых знатоки рассуждают и лучше и правильнее, чем я. В данном случае я испытываю только свои природные, а не свои приобретенные способности, и, кто укорит меня в отсутствии знаний, будет бессилен, ибо вряд ли я ответствен за свои речи перед другими, раз я не отвечаю за них перед самим собой и вовсе ими не удовлетворен. Кто гонится за знаниями, пусть ищет их там, где находится их источник; меньше всего я притязаю на это. Я излагаю только свои домыслы, при помощи коих описываю не явления, а самого себя: может статься, я когда-нибудь уясню себе эти явления или, напротив, они некогда были известны мне (когда судьба наталкивала меня на те книги, в коих были они объяснены), но теперь я об этом забыл. И если я человек начитанный, то в то же время не обладаю никакой памятью. Таким образом, я не беру на себя обязательств и могу познакомить вас только с тем, до каких пределов дошли в настоящее время мои познания. А потому надо обратить внимание не столько на то, что я излагаю, сколько на способ изложения. Пусть по моим заимствованиям судят о том, умею ли я изыскать средства, дабы надлежащим образом выделить и поддержать самостоятельную мысль, всегда исходящую от меня. Ибо я заставляю других не по своему капризу, а в связи с моими рассуждениями высказать то, что я не смог бы так же хорошо передать, поскольку речь моя слаба или слаб мой разум. Я не считаю своих заимствований, я их взвешиваю. Если б я захотел похвастаться их количеством, я вдвойне нагрузил бы ими свой текст. Все они, или почти все, взяты мною у столь известных и древних авторов, что имена их ясны сами по себе и мне незачем их называть.

Когда я пересаживаю некоторые доводы, сравнения, аргументы к себе в огород и смешиваю со своими, я сознательно утаиваю автора, чтобы сдержать смелость тех скороспелых осуждений, которые направлены против разных писаний, особенно же новых писаний, принадлежащих перу людей, еще живущих, и написанных на национальном языке, что позволяет всем судить о них и, казалось бы, доказывает общедоступность их замысла и цели. Я хочу, чтобы, щелкая меня по носу, щелкали Плутарха и обжигали себе пальцы, оскорбляя во мне Сенеку. Приходится скрывать свою слабость за этими авторитетными именами. Я приветствовал бы того, кто благодаря своему ясному уму сумел бы разоблачить мои заимствования, основываясь исключительно на силе и красоте приведенных мною цитат...

...Ибо нередко ошибки ускользают из нашего поля зрения: болезнь же мышления заключается в невозможности их различить, когда другой нам на них указывает...

...У меня нет иного регистратора, который приводил бы в порядок мои рассуждения, кроме чистого случая. Я нагромождаю

в кучу мысли, по мере того как они мне являются, то теснясь целой толпой, то следую друг за дружкой. Мне хотелось бы показать их естественный и обычный ход таким же неровным, каков он на самом деле. Я не налагаю на себя узды. К тому же все это такие предметы, которых разрешается не знать и о коих можно говорить смело и мимоходом. Я желал бы обладать более совершенным пониманием явлений, но не хочу платить за это понимание ту высокую цену, в которую оно оценивается. Мое намерение заключается в том, чтобы прожить остаток жизни приятно и без усилий. Нет ничего такого на свете, ради чего стоило бы ломать себе голову: то же касается и знаний, как бы ценны они ни были.

От книг я требую только, чтобы доставляли они мне удовольствие в виде приятных развлечений, а если я что-либо изучаю, то выбираю такую науку, которая трактует о познании меня самого и учит меня, как надлежит хорошо умереть и хорошо жить.

Has meus ad metas sudet oportet equus [а].

Если при чтении я натыкаюсь на трудные места, то не грызу ногтей: сделав одну или две попытки понять, я перескакиваю через непонятое. Вздумай я упорствовать, я потерялся бы в этих дебрях, да и потерял бы время, ибо ум у меня порывистый: того, чего я не осилил при первой попытке, того не осилю, сколько бы ни старался. Если я что-либо предпринимаю, то не иначе как ради удовольствия: затяжка и слишком упорное напряжение ослепляют мне рассудок, расстраивают его и улетучиваются. Зрение мутится и рассеивается. Я принужден отвлечь взоры и приглядываться урывками. Ведь, чтобы судить о глянце багряной ткани, нам советуют скользить взглядом поверх нее, рассматривать ее под разными углами, приглядываться вторично и по нескольку раз. Если книга меня раздражает, я беру другую и посвящаю ей только те часы, в которые меня охватывает скука от безделия.

Я не занимаюсь новыми авторами, потому что древние кажутся мне и более содержательными и более стройными, а также и греками, поскольку мои детские и ученические познания в этом языке не позволяют мне достаточно судить о них. Среди книг просто развлекательных я укажу на более поздние произведения, достойные развлечь читателя, как-то: «Декамерон» Боккаччо, Рабле, «Поцелуи» Иоанна Секунда [б] (если только можно их отнести сюда). Что же касается Амадисов и подобных писаний, они не заслуживали моего внимания даже в детстве.

Добавлю еще смело и решительно, что моя старая отяжелевшая душа не только не воспринимает Ариоста, но также и доброго Овидия, игривость и фантазии коего, некогда меня восхищавшие, ныне почти не кажутся увлекательными. Я свободно говорю свое мнение о всех предметах, даже о тех, которые выходят за пределы моего понимания и кругозора. Высказываю я его не для того,

[а] Проперций — «Элегии», кн. IV, I, 70. «К этой-то цели пусть в пене несется мой конь».

[б] *И. Секунд* — см. примеч. 24 к дю-Белле.

чтобы дать понятие о предметах, а для того, чтобы дать понятие о моих воззрениях...

...Продолжая далее скажу: по моему мнению, Вергилий, Лукреций, Катулл, Гораций занимали первое место среди поэтов, особливо же Вергилий со своими «Георгиками», которые я считаю совершеннейшим из поэтических произведений...

...Я также люблю Лукана и охотно читаю его не столько за его стиль, сколько за его достоинства и за правдивость его мнений и суждений. Что же касается славного Теренция, то, ценя прелесть и изящество латинской речи, я восхищаюсь тем, как он живо передает душевные движения и состояние наших нравов: наши поступки всегда заставляют меня вспоминать о нем. Всякий раз, как я его читаю, я обнаруживаю какую-либо красивую черту и что-либо новое и изысканное.

Те, кто жил во времена, близкие к вергилиевым, жаловались на то, что некоторые сравнивали этого поэта с Лукрецием. По-моему, это действительно несправедливое сравнение: но все же мне стоит известных усилий оставаться при этом мнении, когда я погружаюсь в чтение какого-нибудь прекрасного отрывка из Лукреция. Если упомянутые лица обижаются на такое сравнение, то что сказали бы они о глупости и варварском недомыслии тех, кто ныне равняет с ним Ариоста? Да и что сказал бы сам Ариост?

«O saeclum insipiens et inficetum!» [а]

...Я убеждаюсь, что хорошие поэты древности избегали деланной и претенциозной изысканности не только испанцев и Петрарки с их выспренней фантазией, но и более простых и умеренных приемов, служивших украшением для поэтических произведений последующих веков...

...Что касается второго пункта, примешивающего пользу к удовольствию, то для того, чтобы привести в порядок свои взгляды и положения, я пользуюсь книгами Плутарха с тех пор, как были они переведены на французский язык[б], а также сочинениями Сенеки...

...Их учение это сливки философии и изложено оно просто и по существу. Плутарх более единообразен и постоянен; Сенека более неустойчив и изменчив...

...Плутарх независим во всех отношениях. Сенека богат меткими изречениями и острыми словцами, Плутарх — содержанием. Тот вас более возбуждает и волнует; этот вас более удовлетворяет и вознаграждает; один вас ведет, тогда как другой толкает.

Из произведений Цицерона для моих целей пригодны те, которые касаются философии, главным образом моральной. Но если смело сказать правду — а перешагнув через ограду дерзости, уже не знаешь удержу, — то его манера писать, да и всякая подобная манера, кажется мне скучной, ибо предисловия, толкования,

[а] Катулл — «Эпиграммы», 43, 8. «О, какой же век тупой и грубый!»
[б] Знаменитый перевод Жака Амио (1559—1572 гг.).

риторические исследования, этимологические экскурсы поглощают большую часть его произведения. Всякие подготовления и длинноты душат то, что в нем есть живого и существенного...

...Для меня, который только стремится стать умнее, а отнюдь не ученым и не оратором, все эти логические и аристотелевы предписания совершенно бесполезны. Я хочу, чтобы начинали с последнего пункта: мне достаточно ясно, что такое смерть и страсть, а потому незачем забавляться их анатомированием. Я с самого начала ищу хорошие и прочные доводы, которые помогли бы мне справиться с моей задачей.

...В отношении Цицерона я придерживаюсь общепринятого мнения, а именно, что, если не считать знаний, душа его не отличалась большими совершенствами. Он был хорошим гражданином, добродушным от природы, подобно всем толстым и веселым людям его склада: но никто не станет отрицать, что ему были весьма свойственны изнеженность и тщеславное самолюбие. Я не знаю, как оправдать его в том, что он считал свои стихи достойными распространения. Невелик недостаток писать плохие стихи, но немалый недостаток, — не сознавать, что они порочат славу его имени. Что же касается его красноречия, то оно стоит выше всякого сравнения, и я полагаю, что ни один человек его не превзойдет...

...Историки играют мне в руку, ибо они пишут приятно и легко. Я стремлюсь познать человека вообще; в их же сочинениях живее и цельнее, чем у других, выступает разнообразие и правдивость внутренних свойствах человека, как в целом, так и в деталях, а равно и разные виды его объединений и опасности, которые ему угрожают...

...Особенно достойным изучения почитаю я Цезаря и не столько ради исторической науки, сколько ради него самого, ибо многими совершенствами и качествами он превосходит других историков, считая в том числе даже Саллюстия (кн. II, гл. 10).

5. О РОНСАРЕ И ДЮ БЕЛЛЕ

Мне кажется, что поэзия преуспела в нашем веке. У нас имеются в изобилии добрые мастера этого ремесла, как-то: Дора, Бэз, Бюканен, л'Опиталь, Мондоре, Тюрнебий [а].

Французы же довели ее до высшего предела, до которого она когда-либо доходила, и те разделы, в которых отличаются Ронсар и дю Белле, не далеки, по моему мнению, от совершенств древних (кн. II, гл. 17).

[а] Латинские писатели XVI в.

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОР

Томас Мор (Sir Thomas More, 1478—1535) — великий английский писатель-гуманист и выдающийся политический деятель, первый социалист-утопист в европейской литературе. Родился в Лондоне в дворянской семье. Получил гуманистическое образование. Был активным членом парламента, в 1515 г. по поручению Генриха VIII совершил дипломатическую поездку в Нидерланды и Францию. В 1529 г. после падения кардинала Вольсея сделался лордом-канцлером. Вскоре, однако, в вопросах политики наметилось глубокое расхождение между ним и королем. Мор отрицательно относился к реформационным начинаниям Генриха VIII. За борьбу против абсолютизма и религиозных реформ Генриха VIII Мор был обвинен в государственной измене и казнен.

Мор написал ряд литературных (эпиграммы, комедии и пр.), научных и политических произведений (например историческое исследование о царствовании Ричарда III и др.), представляющих в настоящее время в основном лишь исторический интерес. Его мировая слава зиждется на социальном романе «Утопия» («De optimo statu rei publicae de que nova insula Utopia»), изданном в Лувене в 1516 г. Роман написан на латинском языке. В нем критикуются существующие в Англии собственнические порядки (часть I) и описывается идеальный социальный строй, который якобы пришлось наблюдать герою произведения — мореплавателю Гитлодею на острове Утопии, расположенном на далеком Западе (часть II). На роман Мора оказали известное влияние сочинения Платона (главным образом его «Республика»), а также описание путешествий XVI в., подсказавших Мору ряд мотивов (связь Гитлодея с экспедицией Америго Веспуччи, прибытие на остров Утопию).

На русском языке: «Утопия», перевод А. Генкеля (ряд изданий) и Е. Тарле (перевод приложен к книге Тарле «Общественные воззрения Т. Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени», СПБ, 1901 г.) и А. И. Малеина (изд. «Academia», 1935 г., лучший перевод).

Томас Мор (с портрета Г. Гольбейна).

Из «УТОПИИ»

ПЕРВАЯ КНИГА БЕСЕДЫ,

которую вел выдающийся муж Рафаил Гитлодей, о наилучшем состоянии государства, в передаче знаменитого мужа, Томаса Мора, гражданина и виконта славного британского города Лондона.

днажды я был на богослужении в храме девы Марии [1], который является и красивейшим зданием и всегда переполнен народом. По окончании обедни я собирался вернуться в гостиницу, как вдруг случайно вижу Петра, говорящим с иностранцем, близким по летам к старости, с спаленным от зноя лицом, отпущенной бородой, с плащом, небрежно свесившимся с плеча; по наружности и одежде он показался мне моряком. Заметив меня, Петр тотчас подходит и здоровается. Я хотел ответить ему, но он отводит меня несколько в сторону и спрашивает: «Видишь ты этого человека?» Одновременно он показывает на того, кого я видел говорившим с ним. «Я собирался, — добавил он, — прямо отсюда вести его к тебе». — «Его приход был бы мне очень приятен, — ответил я, — ради тебя». — «Нет, — возразил Петр, — ради него самого, если бы ты знал этого человека. Нет ведь теперь никого на свете, кто мог бы рассказать столько историй о неведомых людях и землях, а я знаю, что ты большой охотник послушать это». — «Значит, — говорю, — я сделал неплохую догадку. Именно, сразу, на первый взгляд, я заметил, что это моряк». — «И все-таки, — возразил Петр, — ты был очень далек от истины. Правда, он плавал по морю, но не как Палинур, а как Улисс, вернее как Платон [2]. Именно, этот Рафаил — таково его имя, а фамилия Гитлодей [3] — не лишен знания латыни, а греческий он знает превосходно. Он потому усерднее занимался этим языком, чем римским, что всецело посвятил себя философии, а в области этой науки, как он узнал, по-латыни не существует ничего сколько-нибудь важного, кроме некоторых сочинений Сенеки и Цицерона. Оставив братьям имущество, которое было у него на родине (он — португалец), он из желания посмотреть на мир примкнул к Америго Веспуччи [4] и был постоянным его спутником в трех последующих путешествиях из тех четырех, про которые читают уже повсюду, но при последнем не вернулся с ним. Именно, Рафаил приложил все старание и добился у Веспуччи быть в числе тех двадцати четырех, кто был оставлен в крепости — у границ последнего плавания [5]. Таким образом, он был оставлен в угоду своему характеру, более склонному к странствиям по чужбине, чем к пышным мавзолеям на родине. Именно он постоянно повторяет следующие изречения: «небо покрывает того, у кого нет урны» [6], и «дорога к всевышним отовсюду одинакова» [7]. Не будь божество благосклонно к нему, такие мысли его обошлись бы ему очень дорого. Впрочем, после

разлуки с Веспуччи он с пятью своими товарищами по крепости объездил много стран, и напоследок удивительная случайность занесла его на Цейлон; оттуда прибыл он в Каликвит [а], где нашел кстати корабли португальцев и в конце концов неожиданно вернулся на родину».

После этого рассказа Петра я поблагодарил его за услужливость, именно — за усиленную заботу о том, чтобы мне насладиться беседой с тем лицом, разговор с которым, как он надеялся, будет мне приятен. Затем я поворачиваюсь к Рафаилу. Тут после взаимных приветствий и обмена теми общепринятыми фразами, которые

Томас Мор (в центре) беседует с Гитлодеем (слева) с гравюры XVI в.

обычно говорятся при первой встрече лиц незнакомых, мы идем ко мне домой и здесь в саду, усевшись на скамейке, покрытой зеленым дерном, начинаем разговор.

. . . . . .

Впрочем, друг Мор, если сказать тебе по правде мое мнение, так, по-моему, где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел; иначе придется считать правильным то, что все лучшее достается самым дурным, или удачным то, что все разделено очень немногим, да и те содержатся отнюдь не достаточно, остальные же решительно бедствуют.

Поэтому я, с одной стороны, обсуждаю сам с собою мудрейшие и святейшие учреждения утопийцев, у которых государство управ-

[а] *Каликвит* — город малабарской Индии.

ляется при помощи столь немногих законов, но так успешно, что и добродетель встречает надлежащую оценку и, несмотря на равенство имущества, во всем замечается всеобщее благоденствие. С другой стороны, наоборот, я сравниваю с их нравами столько других наций, которые постоянно создают у себя порядок, но никогда ни одна из них не достигает его; всякий называет там своей собственностью то, что ему попало; каждый день издаются там многочисленные законы, но они бессильны обеспечить достижение или охрану или отграничение от других того, что каждый в свою очередь именует своей собственностью, а это легко доказывают бесконечные и постоянно возникающие, а с другой стороны, никогда не оканчивающиеся процессы. Так вот, повторяю, когда я сам с собою размышляю об этом, я делаюсь более справедливым к Платону и менее удивляюсь его нежеланию давать какие-либо законы тем народам, которые отвергали законы, распределяющие все преимущества между всеми поровну. Этот мудрец легко усмотрел, что один единственный путь к благополучию общества заключается в объявлении имущественного равенства, а вряд ли это когда-либо можно выполнить там, где у каждого есть своя собственность. Именно, если каждый на определенных законных основаниях старается присвоить себе, сколько может, то, каково бы ни было имущественное изобилие, все оно попадает немногим; а они, разделив его между собою, оставляют прочим одну нужду, и обычно бывает так, что одни вполне заслуживают жребия других: именно, первые хищны, бесчестны и никуда не годны, а вторые, наоборот, люди скромные и простые и повседневным трудом приносят больше пользы обществу, чем себе лично.

Поэтому я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности; но если она остается, то и у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей...

ВТОРАЯ КНИГА БЕСЕДЫ,

которую вел Рафаил Гитлодей о наилучшем состоянии государства в передаче лондонского гражданина и виконта, Томаса Мора.

...На острове Утопия[8] пятьдесят четыре города, все обширные и великолепные; язык, нравы, учреждения и законы у них совершенно одинаковые. Расположение их всех также одинаково; одинакова повсюду и внешность, насколько это допускает местность. Самые близкие из них отстоят друг от друга на двадцать четыре мили. С другой стороны, ни один город не является настолько уединенным, чтобы из него нельзя было добраться до другого пешком за один день.

Из каждого города три старых и опытных гражданина ежегодно собираются в Амауроте для обсуждения общих дел острова. Город

Амаурот считается первым и главенствующим, так как, находясь в центре страны, он по своему расположению удобен для представителей всех областей. Поля распределены между городами так удачно, что каждый в отдельности не имеет ни с какой стороны менее двадцати миль земли, а с одной стороны даже и значительно больше, именно с той, где города дальше всего разъединены друг с другом. Ни у одного города нет желания раздвинуть свои пределы, так как жители его считают себя скорее земледельцами, чем господами этих владений.

В деревне на всех полях имеются удобно расположенные дома, снабженные земледельческими орудиями.

В домах этих живут граждане, переселяющиеся туда по очереди. Ни одна деревенская семья не имеет в своем составе менее сорока человек — мужчин и женщин, кроме двух приписных рабов. Во главе всех стоят отец и мать семейства, люди уважаемые и пожилые, а во главе каждых тридцати семейств — один филарх. Из каждого семейства двадцать человек ежегодно переселяются обратно в город; это те, кто пробыли в деревне два года. Их место занимают столько же новых из города, чтобы их обучали пробывшие в деревне год и потому более опытные в сельском хозяйстве; эти приезжие на следующий год должны учить других, чтобы в снабжении хлебом не произошло какой-либо заминки, если все одинаково будут новичками и несведущими в земледелии. Хотя этот способ обновления земледельцев является общепринятым, чтобы никому не приходилось против воли слишком долго подряд вести суровую жизнь, однако многие, имеющие природную склонность к деревенской жизни, выпрашивают себе большее число лет...

О занятии ремеслами

У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие — земледелие, от которого никто не избавлен. Ему учатся все с детства, отчасти в школе путем усвоения теории, отчасти же на ближайших к городу полях, куда детей выводят как бы для игры, между тем как там они не только смотрят, но под предлогом физического упражнения также и работают.

Кроме земледелия (которым, как я сказал, занимаются все), каждый изучает какое-либо одно ремесло как специальное. Это обыкновенно или пряжа шерсти, или выделка льна, или ремесло каменщиков или рабочих по металлу и по дереву. Можно сказать, что кроме перечисленных нет никакого иного занятия, которое имело бы у них значение, достойное упоминания. Так, что касается одежды, то за исключением того, что внешность ее различается у лиц того или другого пола, равно как у одиноких и состоящих в супружестве, покрой ее остается одинаковым, неизменным и постоянным на все время, будучи вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений и приспособленным к холоду и жаре. И вот эту одежду каждая семья приготовляет себе сама. Но из других ремесл всякий изучает какое-либо, и притом не только

мужчины, но также и женщины. Впрочем, эти последние, как более слабые, имеют более легкие занятия: они обычно обрабатывают шерсть и лен. Мужчинам поручаются остальные ремесла, более трудные. По большей части каждый вырастает, учась отцовскому ремеслу; к нему большинство питает склонность от природы. Но если кто имеет влечение к другому занятию, то такого человека путем усыновления переводят в какое-либо семейство, к ремеслу которого он питает любовь; при этом не только отец этого лица, но и власть заботятся о том, чтобы передать его солидному и благородному отцу семейства. Кроме того, если кто, изучив одно ремесло, пожелает еще и другого, то получает на это позволение тем же самым способом. Овладев обоими, он занимается, которым хочет, если государство не нуждается скорее в каком-либо одном.

Главное и почти исключительное занятие сифогрантов [9] состоит в заботе и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утомлялся, подобно скоту. Такой тяжелый труд превосходит даже долю рабов, но подобную жизнь и ведут рабочие почти повсюду, кроме утопийцев. А они делят день на двадцать четыре равных часа, причисляя сюда и ночь, и отводят для работы только шесть: три до полудня, после чего идут обедать; затем, отдохнув после обеда в течение двух послеполуденных часов, они опять продолжают работу в течение трех часов и заканчивают ее ужином. Так как они считают первый час, начиная с полудня, то около восьми идут спать; сон требует восемь часов. Все время, остающееся между часами работы, сна и принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтобы злоупотреблять им в излишествах или лености, а чтобы на свободе от своего ремесла, по лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам. Они имеют обыкновение устраивать ежедневно, в предрассветные часы, публичные лекции; участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятий науками. Кроме них, как мужчины, так и женщины всякого звания огромной толпой стекаются для слушания подобных лекций, одни — одних, другие — других, сообразно с естественным влечением каждого. Впрочем, если кто предпочтет посвятить это время своему ремеслу, — а это случается со многими, у кого нет стремления к проникновению в какую-либо науку, — то в этом никто ему не мешает; мало того, такое лицо даже получает похвалу, как приносящее пользу государству.

После ужина они проводят один час в забавах: летом в садах, а зимой в тех общих залах, где совместно кушают. Там они или занимаются музыкой или отдыхают за разговорами. Что касается игры в кости и других нелепых и гибельных забав подобного рода, то они даже неизвестны утопийцам. Впрочем, у них имеются в ходу две игры, более или менее похожие на игру в шашки: одна — это бой чисел, где одно число ловит другое; другая — в которой порски

в боевом порядке борются с добродетелями. В этой игре в высшей степени умело указуется и раздор пороков между собою и согласие их в борьбе с добродетелями, а также то, какие пороки каким добродетелям противополагаются, с какими силами они оказывают открытое сопротивление, с какими ухищрениями нападают искоса, с помощью чего добродетели ослабляют силы пороков, какими искусствами уклоняются они от их нападений и, наконец, каким способом та или другая сторона одерживает победу.

Но тут, во избежание дальнейших недоразумений, необходимо более пристально рассмотреть один вопрос. Именно, если только шесть часов уходят на работу, то отсюда можно, пожалуй, вывести предположение, что следствием этого является известный недостаток в предметах первой необходимости. Но в действительности этого отнюдь нет; мало того, такое количество времени не только вполне достаточно для запаса всем необходимым для жизни и ее удобств, но дает даже известный остаток. Это будет понятно и вам, если вы только поглубже вдумаетесь, какая огромная часть населения у других народов живет без дела: во-первых, почти все женщины — половина общей массы, а если где женщины заняты работой, то там обычно взамен их храпят мужчины. Вдобавок к этому, какую огромную и какую праздную толпу представляют священники и так называемые чернецы. Прикинь сюда всех богачей, особенно владельцев поместий, которых обычно именуют благородными и знатью; причисли к ним челядь, именно, весь этот сброд ливрейных бездельников; присоедини, наконец, крепких и сильных нищих, предающихся праздности под предлогом какой-либо болезни, и в результате тебе придется признать, что число тех, чьим трудом создается все то, чем пользуются смертные, гораздо меньше, чем ты думал. Поразмысли теперь, сколь немногие из этих лиц заняты необходимыми ремеслами; именно, раз мы все меряем на деньги, то неизбежно должны находить себе применение многие занятия, совершенно пустые и излишние, служащие только роскоши и похоти. Действительно, если бы эту самую толпу, которая теперь занята работой, распределить по тем столь немногим ремеслам, сколь немного требуется их для надлежащего удовлетворения потребностей природы, то при таком обильном производстве, которое неизбежно должно отсюда возникнуть, цены на них, понятно, были бы гораздо дешевле, чем сколько нужно рабочим для поддержки своего существования. Но возьмем всех тех лиц, которые заняты теперь бесполезными ремеслами, и вдобавок всю эту изнывающую от безделья и праздности массу людей, каждый из которых потребляет столько продуктов, производимых трудами других, сколько нужно их для двух изготовителей этих продуктов; так вот, повторяю, если всю совокупность этих лиц поставить на работу, и притом полезную, то можно легко заметить, как немного времени нужно было бы для приготовления в достаточном количестве и даже с избытком всего того, что требуют принципы пользы или удобства (прибавь также — и удовольствия, но только настоящего и естественного).

Очевидность этого подтверждается в Утопии самой действительностью. Именно, там в целом городе с прилегающим к нему округом, из всех мужчин и женщин, годных для работы по своему возрасту и силам, освобождение от нее дается едва пятистам лицам. В числе их сифогранты, хотя и имеющие по закону право не работать, тем не менее, не избавляют себя от труда, желая своим примером побудить остальных охотнее браться за труд. Той же льготой наслаждаются те, кому народ, под влиянием рекомендации духовенства и по тайному голосованию сифогрантов, дарует навсегда это освобождение для основательного прохождения наук. Если кто из этих лиц обманет возложенную на него надежду, то его удаляют обратно к ремесленникам. И, наоборот, нередко бывает, что какой-нибудь рабочий так усердно занимается науками в упомянутые выше свободные часы и отличается таким большим прилежанием, что освобождается от своего ремесла и продвигается в разряд ученых.

Из этого сословия ученых выбирают послов, духовенство, трибоpов и, наконец, самого главу государства, которого на старинном своем языке они именуют барзаном, а на новом — адемом. Так как почти вся прочая масса не пребывает в праздности и занята небесполезными ремеслами, то легко можно рассчитать, сколько хороших предметов создают они и в какое небольшое количество часов...

...Отсюда, так как все они заняты полезным делом и для выполнения его им достаточно лишь небольшое количество труда, то в итоге у них получается изобилие во всем. Вследствие этого огромной массе населения приходится иногда отправляться за город для починки дорог, если они избиты. Очень часто также, когда не встречается надобности ни в какой подобной работе, государство объявляет меньшее количество рабочих часов. Власти отнюдь не хотят принуждать граждан к излишним трудам. Учреждение этой повинности имеет прежде всего только ту цель, чтобы обеспечить, насколько это возможно с точки зрения общественных нужд, всем гражданам наибольшее количество времени после телесного рабства для духовной свободы и образования. В этом, по их мнению, заключается счастье жизни.

О драгоценных металлах (из гл. «О путешествиях утопийцев»)

...Утопийцы сами не пользуются деньгами, а хранят их на упомянутые нужды [10], которые могут случиться, а могут и никогда не случиться.

Между тем с золотом и серебром, из которых делаются деньги, они обходятся так, что никто не ценит их дороже, чем того заслуживает природа этих металлов. Кто не видит, насколько они ниже железа? Без него действительно люди не могут жить, так же как без огня и воды; между тем золоту и серебру природа не дала никакого применения, без которого нам трудно было бы обойтись, но людская глупость наделила их ценностью из-за редкости. Мало того, природа, как самая нежная мать, все наилучшее, например,

воздух, воду и самую землю, поместила открыто, а суетное и не приносящее никакой пользы убрала очень далеко. Поэтому допустим, что утопийцы запрячут эти металлы в какую-нибудь башню; тогда, вследствие глупой изобретательности толпы, князь и сенат навлекут на себя подозрение, что хотят плутовски обмануть народ и сами извлечь отсюда какую-нибудь выгоду. Предположим далее, что они станут искусно чеканить из этих металлов чаши и другие произведения в том же роде, а потом случайно понадобится опять расплавлять их и потратить на жалованье солдатам; тогда, разумеется, можно предвидеть, с каким трудом они позволили бы оторвать у себя то, что однажды начали считать своей утехой.

Для противодействия этому они придумали некое средство, соответствующее остальным их учреждениям, но весьма далекое от нас, которые так высоко ценят золото и так тщательно хранят его. Поэтому подобный образ действия может заслужить доверие только у испытавших его на опыте. Именно, утопийцы едят и пьют в скудельных сосудах из глины и стекла, правда, всегда изящных, но все же дешевых, а из золота и серебра повсюду, не только в общественных дворцах, но и в частных жилищах, они делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей. Сверх того из тех же металлов они вырабатывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают рабов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступлением в ушах висят золотые кольца, золото обвивает пальцы, шею опоясывает золотая цепь и, наконец, голова окружена золотым обручем. Таким образом, утопийцы всячески стараются о том, чтобы золото и серебро были у них в позоре. В итоге, другие народы дают на растерзание эти металлы с неменьшей болью, чем свою утробу, а среди утопийцев, если бы обстоятельства потребовали удаления их всех зараз, никто, повидимому, не почувствовал бы от этого для себя ни малейшего лишения.

Кроме того, они собирают на морских берегах жемчуг, а также кое-где по скалам алмазы и карбункулы, но, впрочем, не ищут их, а обделывают, когда те попадутся случайно. Такими камнями утопийцы украшают малолеток; эти последние в первые годы детства кичатся и гордятся подобными украшениями; но лишь только придут в возраст и заметят, что этими безделушками пользуются одни дети, так, без всякого внушения родителей, сами по чувству стыда оставляют их, совершенно так же, как наши дети, подрастая, бросают орехи, амулеты и куклы. Такое различие порядков утопийцев по сравнению с другими народами создает и различное мировоззрение. Это стало особенно ясно для меня на истории с анемолийскими послами [11].

Они приехали в Амаурот при мне, и так как целью их прибытия были важные дела, то их приезду предшествовало собрание трех граждан из каждого города. Но все послы соседних племен, приезжавшие туда раньше, обычно являлись в самой скромной одежде, так как им были известны обычаи утопийцев, у которых не придавалось никакого почета пышному одеянию, шелк служил предметом пре-

зрения, а золото было даже позорным. Анемолийцы же жили особенно далеко и имели с утопийцами мало общения. Поэтому послы, узнав, что все утопийцы ходят в одной и той же одежде, и притом грубой, пришли к убеждению, что у них совсем нет того, чем они не пользуются; поэтому анемолийцы, будучи скорее гордыми, чем умными, решили предстать в возможно блестящей обстановке, изображая из себя каких-то богов, и ослепить глаза несчастных утопийцев пышностью своего наряда. Таким образом, вступили три посла со ста спутниками, все в разноцветном одеянии, большинство в шелковом. Сами послы, принадлежавшие на родине к знати, имели златотканные плащи, большие цепи, золотые серьги, вдобавок золотые кольца на руках и, сверх того, шляпы их были обвешаны золотыми ожерельями, блиставшими жемчугом и дорогими камнями. Говоря короче, они были украшены всем тем, что у утопийцев служило или наказанием для рабов, или признаком бесчестья для опозоренных, или безделушками для ребят. Поэтому стоило посмотреть, как анемолийцы петушились, когда сравнили свой наряд с одеянием утопийцев, которые массой высыпали на улицы. С другой стороны, не меньшим удовольствием было видеть, как сильно обманулись они в своих надеждах и ожиданиях и как далеки были они от того уважения, которого рассчитывали достигнуть. Именно, на взгляд всех утопийцев, за исключением весьма немногих, посещавших по какой-либо подходящей причине другие народы, вся эта блестящая обстановка представлялась позорной, и потому, почтительно приветствуя вместо господ всех низкопоставленных, они сочли самих послов по употреблению ими золотых цепей за рабов и пропустили их, не оказав им никакого уважения. Мало того, можно было наблюдать, как дети бросали жемчуг и дорогие камни, когда увидали их прикрепленными на шапках послов, и, толкая мать в бок, обращались к ней с такими словами:

— Вот, мама, какой большой остолоп, он все еще возится с жемчугом и блестящими камушками, как будто мальчишка.

А родительница отвечала также вполне серьезно:

— Молчи, сынок, это, думаю я, кто-нибудь из посольских шутов.

Другие осуждали упомянутые золотые цепи, говоря, что они ни на что не пригодны, так как настолько тонки, что раб может их легко разбить, а с другой стороны, настолько просторны, что, когда ему захочется, он может стряхнуть их и убежать, куда угодно, развязанный и свободный.

Но, пробыв день-другой, послы увидели там огромное количество золота и заметили, что оно ценится утопийцами весьма дешево и находится у них в таком же презрении, как у них самих в почете, и что, сверх того, на цепи и оковы одного беглого раба потрачено больше золота и серебра, чем сколько стоила вся пышность их троих. Поэтому у послов опустились крылья, и они со стыдом убрали весь тот наряд, которым так надменно кичились, особенно когда более дружески поговорили с утопийцами и узнали их обычаи и мнения.

Именно, у утопийцев вызывает удивление следующее: как может кто-нибудь из смертных восхищаться сомнительным блеском небольшой жемчужинки или самоцветного камушка раз такому человеку можно созерцать какую-нибудь звезду или, наконец, само солнце; затем, может ли кто-нибудь быть настолько безумным, что вообразит себя более благородным из-за нитей более тонкой шерсти, раз эту самую шерсть, из каких бы тонких нитей она ни была, некогда носила овца и все же не была не чем другим, как овцой. Удивительно для утопийцев также и то, как золото, по своей природе столь бесполезное, теперь повсюду на земле ценится так, что сам человек, через которого и на пользу которого оно получило такую стоимость, ценится гораздо дешевле, чем само золото; и дело доходит до того, что какой-нибудь медный лоб, у которого ума не больше, чем у пня, и который столько же бесстыден, как и глуп, имеет у себя в рабстве многих умных и хороших людей исключительно по той причине, что ему досталась большая куча золотых монет; ну, а если судьба или какой-нибудь подвох законов, который нисколько не меньше, чем сама судьба, поставит все вверх дном, перенесет эту кучу от упомянутого господина к самому презренному бездельнику из всей его челяди, то в результате, несколько позже, господин переходит в услужение к слуге как привесок и придаток к деньгам...

О науках и философии утопии (из гл. «О путешествиях утопийцев»)

...До нашего прибытия утопийцы даже и не слыхали о всех тех философах, имена которых знамениты в настоящем известном нам мире. И все же в музыке, диалектике, науке счета и измерения они дошли почти до того же самого, как и наши древние (философы). Впрочем, если они во всем почти равняются с нашими древними, то далеко уступают изобретениям новых диалектиков. Именно, они не изобрели хотя бы одного правила из тех остроумных выдумок, которые здесь повсюду изучают дети в так называемой «Малой логике»[12], об ограничениях, расширениях и подстановлениях. Далее, так называемые «вторые интенции» не только не подвергались у утопийцев достаточному обследованию, но никто из них не мог видеть так называемого «самого человека вообще», хотя, как вы знаете, это существо вполне колоссальное, больше любого гиганта, и мы даже пальцем на него можем показать. Зато утопийцы очень сведущи в течении светил и движении небесных тел. Мало того, они остроумно изобрели приборы различных форм, при помощи которых весьма точно уловляют движения и положение солнца, луны, а равно и прочих светил, видимых на их горизонте. Но они даже и во сне не грезят о содружествах и раздорах блуждающих светил и о всем вздоре гадания по звездам. По некоторым предметам, полученным путем продолжительного опыта, они предсказывают дожди, ветры и прочие изменения погоды. Что же касается причин всего этого, приливов морей, солености их воды и вообще происхождения и природной сущности неба и мира, то они рас-

суждают об этом точно так же, как наши старые философы; отчасти же, как те расходятся друг с другом, так и утопийцы, приводя новые причины объяснения явлений, спорят друг с другом, не приходя, однако, во всем к согласию.

В том отделе философии, где речь идет о нравственности, их мнения совпадают с нашими: они рассуждают о благах духовных, телесных и внешних, затем о том, присуще ли название блага всем им или только духовным качествам. Они разбирают вопрос о добродетели и удовольствии. Но главным и первенствующим является у них спор о том, в чем именно заключается человеческое счастье, есть ли для него один источник или несколько. Однако в этом вопросе с большей охотой, чем справедливостью они, повидимому, склоняются к мнению, защищающему удовольствие [13]: в нем они полагают или исключительный или преимущественный элемент человеческого счастья. И, что более удивительно, они ищут защиту такого щекотливого положения в религии, которая серьезна, сурова и обычно печальна и строга. Они никогда не разбирают вопроса о счастье, не соединяя некоторых положений, взятых из религии, с философией, прибегающей к доводам разума. Без них исследование вопроса об истинном счастье признается ими слабым и недостаточным. Эти положения следующие: душа бессмертна и по благости божией рождена для счастья; наши добродетели и благодеяния после этой жизни ожидает награда, а позорные поступки — мучения...

О религиях утопийцев

Религии утопийцев отличаются своим разнообразием не только на территории всего острова, но и в каждом городе. Одни почитают как бога солнце, другие — луну, третьи — одну из планет. Некоторые преклоняются не только как перед богом, но и как перед величайшим богом перед каким-либо человеком, который некогда отличился своею доблестью или славой. Но гораздо бо́льшая и притом наиболее благоразумная часть не признает ничего подобного, а верит в некое единое божество, неведомое, вечное, неизмеримое, необъяснимое, превышающее понимание человеческого разума, распространенное во всем этом мире не своею громадою, а силою: его называют они отцом. Ему одному они приписывают начала, возрастания, продвижения, изменения и концы всех вещей; ему же одному, а никому другому, они воздают и божеские почести.

Мало того, и все прочие, несмотря на различие верований, согласны с только что упомянутыми согражданами в признании единого высшего существа, которому они обязаны и созданием вселенной и провидением. Все вообще называют это существо на родном языке Митрою, но расходятся в том, что этот одинаковый бог у всех принимается по-разному. Но, по признанию всех, кем бы ни было то, что они считают высшим существом, в итоге это одна и та же природа, божественной силе и величию которой соглашение всех народов усвояет первенство над всем...

НАРОДНЫЕ БАЛЛАДЫ

Англо-шотландские народные баллады, получившие широкую известность благодаря знаменитым собраниям Томаса Перси (Reliques of ancient English poetry, 1765—1794 гг.) и Вальтера Скотта (Minstrelsy of the Sottish Border 1802—1803 гг.) бесспорно принадлежат к ярчайшим явлениям европейской поэзии. Лиро-эпические песни, нередко с хоровым припевом, они с давних пор бытовали среди английского народа. Древнейшие баллады, видимо, восходят к периоду раннего средневековья, значительное распространение баллады получили также в XV—XVI вв. Поэт Ф. Сидней (1554—1586 гг.) в своей «Апологии поэзии» с восторгом сообщает о старинных песнях, которые распевают простолюдины (см. стр. 451); из сокровищницы английской народной поэзии охотно черпал В. Шекспир. По своему тематическому составу народные баллады весьма разнообразны. Они разрабатывают сюжеты исторические и легендарные, романтические, фантастические и бытовые. В них, однако, проступает явное пристрастие к трагическим ситуациям, к изображению больших и глубоких страстей. С большой художественной силой баллады повествуют о борьбе феодальных родов, кровавых преступлениях, героизме отважных мореплавателей, любви, горе, труде и т. п. Героями их нередко выступают люди простого звания — горожане, ремесленники, крестьяне. К числу характерных стилевых черт баллад относятся стремительность в развитии действия, преобладание диалогов, придающих повествованию подчеркнуто драматический характер.

Приводимая ниже баллада «Сэр Патрик Спенс» («Sir Patrick Spens») — одна из старейших шотландских народных баллад. События, изображаемые в ней, являются поэтическим отголоском событий конца XIII в. Упоминаемый в начале баллады король — Александр III, король Шотландии. Лирическая песня «Увы, увы» («Waly, Waly») часто издавалась как часть баллады о лорде Джемсе Дуглас, в которой покинутая дева произносит скорбный монолог, приводимый нами. Баллада «Два ворона» («The two Corbies») примечательна для русского читателя, между прочим, тем, что ее обработал А. С. Пушкин в стихотворении «Воron к ворону летит» (1829 г.), использовав для этого французский перевод сборника народных песен В. Скотта.

На русском языке ряд англо-шотландских баллад можно найти в антологии Н. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образцах» (СПБ, 1875 г.).

СЭР ПАТРИК СПЕНС

Король в Думфермлине-граде сидит,
Вино пурпурное пьет.
«Корабль мой готов, но где капитан,
Что в море его поведет?»

Тут с места встал дворянин пожилой
И молвил с поклоном так:
«Сэр Патрик Спенс из всех моряков —
Самый отважный моряк».

Король наш письмо написал, к письму
Свою приложил печать
И сэру Патрику срочно его
На берег велел послать.

«К норвежской земле, к норвежской земле!
В путь по вспененным волнам!
Короля норвежского дочь привезти
Ты должен, сэр Патрик, нам».

Сэр Патрик, начальные строки прочтя,
При всех рассмеялся вслух,
Когда ж до конца дочитал, у него
Невольно смутился дух.

«Тому, кто сказал обо мне королю,
Меня, знать, было не жаль.
В такое время года дерзнуть
Пуститься в морскую даль!

Но бури, и ветры, и снег, и град
Не станут нам на пути;
Короля норвежского дочь сюда
Поручено нам привезти».

И вот в понедельник они паруса
Поставили на корабле,
А в среду сэр Патрик с командой своей
К норвежской причалил земле.

Неделя прошла, и другая прошла,
И вот норвежская знать
С досадой стала на них смотреть
И громогласно кричать:

«Шотланцы, довольно нас разорять!
Казна наша вам не сор!»
«Вы лжете, бесстыдно лжете вы
И мелете наглый вздор.

Мы денег довольно с собой привезли,
Чтоб жить на собственный счет.
Бочонок золота в трюме у нас
Морской совершил поход.

Готовьтесь к отъезду, мои молодцы,
Мы завтра с зарею в путь».
«Смотри, капитан! Предвещает пургу
Над морем висящая муть.

Вчера молодую я видел луну
Со старой луной на руках.
Мы на море можем попасть в беду, —
Мне душу тревожит страх».

Проплыли милю они и две,
Проплыли три мили сполна;
Вдруг ветер завыл, потемнел океан,
И бурно вскипела волна.

Сломался якорь, и мачты все
Треснули вмиг пополам,
И ветер мокрым бичом хлестал
Корабль по его бокам.

«О, кто из вас подержит мой шлем,
Хочу я с гротмачты взглянуть;
Быть может, берег найдет мой взор
Сквозь эту зловещую муть».

«Твой шлем, капитан, подержать я готов;
Ты можешь с гротмачты взглянуть,
Но берег вряд ли увидишь ты
Сквозь эту зловещую муть».

Сэр Патрик и шага ступить не успел, —
Корабль ударило в бок,
И вот в пробоину ринулся вдруг
Морской соленый поток.

«Сюда, живее, шелка отрез
Вместе с отрезом сукна!
Заткните дыру, чтоб больше в нее
Не врывалась морская волна».

Они притащили шелка отрез
Вместе с отрезом сукна,
Заткнули дыру, — и все же в нее
Врывалась морская волна.

Промокла не только пробка подошв
У наших шотландцев, — о нет!
На их головные уборы лег
Волны разъяренный след.

Носилось не мало матросских перин
По белой пене морской,
Не мало сынов шотландских дворян,
Увы, не вернулось домой.

Ломала белые руки свои
Не одна невеста и мать;
Своих женихов и своих сыновей
Им больше вовек не видать.

О лэди, долго придется вам
Сидеть с веерами в руках,
Пока подплывет к шотландской земле
Сэр Патрик на всех парусах.

И вы, о девушки, в чьих волосах
Гребешки на солнце горят,
Напрасно ждете вы милых своих, —
Они не вернутся назад.

От Эбердина в полсотне миль,
На дне, зарывшись в песок,
Отважный сэр Патрик Спенс лежит
Со своей командой у ног.

ДВА ВОРОНА

Намедни, по полю бродя,
Двух воронов подслушал я:
Прокаркал одному другой:
«Где отобедаем с тобой?»

«Вдали ты видишь ров? Лежит
В нем рыцарь, только что убит.
Известно это лишь жене,
Псу, соколу его и мне.

За дичью пес пустился в лес,
А сокол в облаках исчез,
Жена же к ночи ждет дружка:
Нам будет трапеза сладка.

Ты на затылок белый сядь,
А я глаза примусь клевать;
Насытясь, волосом златым
Свое гнездо мы устелим.

И не узнают никогда,
Куда исчез он без следа,
Шуметь лишь будет суховей
Над грудой тлеющих костей».

УВЫ, УВЫ!

Увы, увы! Вон роща та,
Увы, увы! Вон те холмы,
Где с милым под руку, вдвоем,
В былые дни бродили мы.
Я думала, что крепок дуб,
И оперлась о ствол спиной,
А он качнулся и упал, —
Меня покинул милый мой.

Увы, смеется нам любовь
Недолго, — лишь пока юна,
А минет год, — она уйдет,
Как росы утра, холодна.
Наряды мне на ум нейдут,
Мне гребень больше ни к чему,
С тех пор, как милый мне сказал,
Что уж не люба я ему.

Отныне не на ложе спать,
На жестком камне буду я,
Единственный напиток мне —
Вода студеного ручья.
Когда покажешь, осень, ты
Дерев зеленых наготу?
Благая смерть, когда придешь?
Мне дольше жить невмоготу.

Не от мороза плачу я,
Не потому, что снег метет,
Ко мне мой милый охладел,
В его глазах я чую лед.
Когда мы в город Глазго шли,
Как любовались все на нас!
На милом черный был кафтан,
Я в красном вся была тот раз.

Когда б я знала, сколько мук
Нам первый поцелуй сулит,
Любовь замкнула б я в ларец,
Который золотом обит.
Скорей бы мне мое дитя
Родить и няне в руки дать,
Самой же в землю лечь навек
И под травой зеленой спать.

ДОЧЬ ИСЛИНГТОНСКОГО БЭЙЛИФА[а]

Отличный юноша, сквайра сын,[б]
Когда-то на свете жил,
Бэйлифа ислингтонского дочь
Без памяти он любил.

Не зная, что юноша любит ее,
Она с ним была горда,
Приветной улыбки в ее глазах
Не видел он никогда.

Когда убедились друзья, что над ним
Любовь подшутила зло,
Его отправили в Лондон они,
Чтоб там изучил ремесло.

Он прожил в столице семь долгих лет
В разлуке с милой своей:
«Ах, сколько пролито мною слез,
А я и не нужен ей!»

И вот ислингтонские девушки раз
Пошли погулять вечерком,
Лишь дочь бэйлифа отбилась от них
И вышла одна, тайком.

Она сняла свой зеленый наряд
И, облачившись в тряпье,
В град Лондон пошла искать следов
Того, кто любил ее.

Когда на большак она вышла, где зной
Поля иссушил кругом,
Она на зеленый присела бугор,
А милый подъехал верхом.

Она вскочила и, вся покраснев,
Под уздцы схватила коня:
«Мне милостыню подай, господин;
Она утешит меня».

«Ее ты получишь, но прежде скажи,
Где ты родилась, мой друг».
«Я в Ислингтоне увидела свет
И много познала мук».

а *Бэйлиф* — помощник шерифа.
б *Сквайр* — дворянин.

«Тогда скажи мне, скажи скорей,
Моя дорогая, одно:
Тебе знакома бэйлифа дочь?»
«Она скончалась давно».

«Коль так, то конскую сбрую возьми,
Седло, самого коня,
А я уеду в далекий край,
Где никто не знает меня».

«О юноша мой дорогой, погоди!
Неправду сказала я:
Она с тобою рядом стоит,
Жива невеста твоя».

«Мои мученья, прощайте навек!
Тебе, о радость, привет!
Нашел я ту, что люблю и найти,
Казалось, надежды нет».

РОБИН ГУД И ГАЙ ГИСБОРН

Робин Гуд — легендарный герой английских народных баллад эпохи позднего средневековья. Он нарисуется благородным атаманом разбойников, смелым браконьером, бесстрашным защитником угнетенных и врагом притеснителей. В балладах отразился мятежный дух крестьянских движений XIV—XVI вв. Сложный вопрос об историческом прототипе Робин Гуда до настоящего времени не решен. Древнейшее упоминание о Робин Гуде мы находим в «Видении о Петре пахаре» Ленгленда (1377 г.). Согласно одному историку XV в. (Бауер, «Дополнения к старинной хронике Фордона») исторический Робин Гуд жил в XIII в.: «между людьми, лишенными собственности, — свидетельствует Бауер, — был тогда знаменит разбойник Робин Гуд, история которого, воспеваемая странствующими певцами, занимает англичан более других историй». Латинская «История Великобритании» Дж. Мэйра (1521 г.), относя жизнь Робин Гуда к XII в., говорит о Гуде как об атамане сотни вольных стрелков, грабившем только богатых, зато всячески покровительствовавшем беднякам. Основная масса дошедших до нас баллад о Робин Гуде относится к XV—XVI вв. Приводимая баллада взята из антологии «Баллады о Робин Гуде», предисловие М. Горького, изд. «Всемирная литература», П., 1919 г.

Когда леса блестят в росе
И длинен каждый лист,
Так весело бродить в лесу
И слушать птичий свист!

Щебечет дрозд, найдя себе
Среди ветвей приют,
Так громко, что в своем лесу
Проснулся Робин Гуд.

«Клянусь, — он весело сказал, —
Мне снился славный бой;
Мне снились сильных два стрелка,
Дерущихся со мной.

Они осилили меня
И отняли мой лук.
Не будь я Робин здесь в лесу,
Коль пощажу их двух».

Джон Маленький [а] сказал на то:
«Как быстрый ветер — сон;
Как ветер, что сегодня дул,
А завтра где же он?»

«Скорей, веселые друзья,
Будь, Джон, и ты готов;
Иду в зеленые леса
Искать моих стрелков».

Оделись, не забыл никто
Колчан и стрелы взять,
И прочь в зеленые леса
Отправились стрелять.

Пришли они в зеленый лес,
На старый их лужок
И увидали, что стоит
Под деревом стрелок.

Кинжал и меч он на боку
Потрогивал своем,
Был в шкуру конскую одет
И с гривой и с хвостом.

И Джон промолвил: «Господин,
Под деревом постой,
А я один пойду к стрелку
Узнать, кто он такой».

«Ты, Джон, совсем не кладом стал,
И грусть меня берет,
Как часто, отставая сам,
Я шлю людей вперед.

Плута не хитрость узнавать,
Беседуя с плутом,
И если б мой не треснул лук,
Покаялся б ты в том».

[а] *Джон Маленький* — вольный стрелок, ближайший соратник Робин Гуда, наряду с последним является наиболее популярной фигурой баллад.

Решили так, и разошлись
И Робин Гуд и Джон.
Джон в Бернисдель пошел, куда
Все тропы знает он.

Когда ж пришел он в Бернисдель,
Был вздох его тяжел,
Он двух товарищей своих
Убитыми нашел.

А Скарлет убегал пешком
Среди камней и пней,
Его преследовал шериф [а]
Со стражею своей.

«Пущу стрелу я, — молвил Джон, —
Христос дает мне знак,
Шерифа я остановлю,
Чтоб не спешил он так».

И тотчас наложил стрелу
На лук свой длинный Джон,
Но был из тонкой ветки лук,
Переломился он.

«Зачем, зачем ты, злая ветвь,
На дереве росла?
Ты мне не помощь принесла,
А столько, столько зла!»

Но выстрел, хоть случайным был,
Все ж даром не пропал,
Среди шерифовых людей
Вильям из Трента пал.

О, лучше б дома был Вильям,
Печалью удручен,
Чем в это утро повстречать
Стрелу, что бросил Джон.

Но уверяют, что в бою
Пять стоят больше трех.
Джон Маленький шерифом взят
И, связан, лег на мох.

[а] *Шериф* — высшее должностное лицо в графстве. В балладах ноттингамский шериф рисуется самоуправцем и притеснителем населения. Робин Гуд ведет с ним ожесточенную борьбу.

Довольно занимал нас Джон.
Что ж делал Робин Гуд,
Когда к могучему стрелку
Стопы его ведут?

Промолвил Робин: «Добрый день!»
«Привет! — сказал другой. —
Судя по луку твоему,
Стрелок ты не плохой».

«Свободен я, — сказал стрелок, —
Во времени моем!»
Ответил Робин: «Буду я
Твоим проводником».

«Я здесь изгнанника ищу,
Чье имя Робин Гуд.
Желанней встретить мне его,
Чем золотой сосуд».

«Ты встретишь Робина, стрелок,
Когда пойдешь со мной;
В зеленой роще мы сперва
Потешимся игрой.

Сперва покажем ловкость мы,
Избрав вот эту весь.
И встретится нам Робин Гуд,
Быть может, скоро здесь».

Они нарезали кустов
В лесу, где вился хмель.
И наплели из них крестов,
Стрелять желая в цель.

«Начни же, — молвил Робин Гуд, —
Начни, товарищ мой!»
«О, нет, клянусь, — ответил тот, —
Я стану за тобой».

И первый выстрел Гуда в цель
Был мимо на вершок;
Хоть ловок незнакомец был,
Но так стрелять не мог.

Своей второй стрелой стрелок
Слегка царапнул хмель,
Но Робин выпустил стрелу
И расщепляет цель.

Сказал он: «Бог тебя хранит,
Стрелял ты славно тут,

И если сердце, как рука,
Тебя не лучше Гуд».

«Скажи ты имя мне свое», —
Стрелок спросил его.
«Нет, — Робин отвечал, — пока
Не скажешь своего».

Тот молвил: «Я живу в горах,
Чтоб Робина поймать,
И кличут Гай Гисборн, когда
Хотят меня позвать».

«Живу в лесу я, — был ответ, —
Давно тебя дразня,
Я Бернисдельский Робин Гуд,
И ты искал меня».

Безродный каждый видеть мог
Усладу для очей:
Смотреть на бьющихся стрелков,
На темный блеск мечей.

На то, как бились те стрелки,
Мог два часа взирать;
Ни Робин Гуд, ни Гай Гисборн
Не думали бежать.

Но спотыкнулся Робин Гуд
О маленький пенек,
Со страшной силой Гай Гисборн
Его ударил в бок.

«Спаси меня, — воскликнул Гуд, —
Спаси, христова мать.
Не подобает никому
До срока умирать».

Воззвал к Марии Робин Гуд
И вновь исполнен сил,
И, сзади нанеся удар,
Он Гая уложил.

Схватил он голову врага
Воткнул на длинный лук:
«Ты был изменником всю жизнь
И кончил быть им вдруг».

И Робин взял ирландский нож,
Лицо изрезал он;
Один узнал бы Гая, кто
Не женщиной рожден.

И молвил: «Ну, лежи, сэр Гай,
Своей судьбе будь рад;
За злой удар моей руки
Возьмешь ты мой наряд».

Он свой надел на Гая плащ,
Что зеленей листвы;
Сам конской шкурой облечен
От ног до головы.

«Твой лук, и стрелы, и трубу
Возьму с собой я вдаль,
Я навестить моих людей
Отправлюсь в Бернисдаль».

И в путь пустился Робин Гуд,
В рог Гая затрубив;
Над Джоном Маленьким склонясь,
Услышал звук шериф.

«Послушайте, — сказал шериф, —
Свершился правый суд.
Рог Гая трубит потому,
Что умер Робин Гуд.

Сегодня рано загремел
Сэр Гай Гисборна рог».
А вот и в шкуре конской сам
Подходит к ним стрелок.

«Проси, чего ты хочешь, Гай,
Я все тебе дать рад».
«Не нужно, — Робин отвечал, —
Мне никаких наград.

Повержен мною господин,
Позволь убить слугу;
И никаких других наград
Просить я не могу».

«Безумец, — отвечал шериф, —
Ты б мог богатым стать.

Но раз так мало просишь ты,
Могу ль я отказать?»

Услышал господина Джон
И понял — час настал.
«С христовой силой в небесах
Свободен я», — сказал.

Вот к Джону, развязать его,
Нагнулся Робин Гуд,
Но только стража и шериф
Опять его возьмут.

«Ступайте, — молвил Робин Гуд, —
Подалее от глаз,
Ведь исповедь подслушивать
Не принято у нас».

Взял Робин свой ирландский нож,
Разрезал путы рук
И ног, а после Джону дал,
Как дар, сэр Гая лук.

Джон поднял лук и наложил
Стрелу на рукоять,
И это увидал шериф
И бросился бежать.

Бежал обратно в Ноттингам,
Как только мог, шериф,
И стража бросилась за ним,
Его опередив.

Но как он быстро ни бежал
И как ни прыгал он,
Стрелою в спину угодил
Ему веселый Джон.

СКЕЛЬТОН

Джон Скельтон (John Skelton, 1460—1529) — английский поэт и ученый. Окончил Кэмбридж, в 1490 г. был в Оксфорде признан поэтом-лауреатом, в 1494 г. вступил в духовное звание, жил при дворе в качестве наставника принца; остаток своей жизни провел в Вестминстерском аббатстве. Наибольший интерес представляют его сатиры («Колин Клаут», «Colyn Cloute», 1519 г.; «Почему вы не явились ко двору?», 1523 г., и др.), в которых он бичует католическое духовенство, самого всемогущего кардинала Вольсея, придворную знать и пр. Творчество Скельтона сыграло заметную роль в идейной подготовке английской реформации. Его стиль отличается меткостью и несколько лубочной сочностью, он вводит в свою поэтическую речь народные слова и обороты. Его излюбленная форма — так наз. doggerel — короткие рифмованные строки. Перу Скельтона принадлежит также драматическое «действо» о Робин Гуде, ряд латинских переводов и поэм. В приводимом отрывке речь ведется от лица Колин Клаута — бродяги.

Из «КОЛИН КЛАУТА»

Я, Колин Клаут, весь год
Хожу, брожу, и вот
Везде, во всех местах подряд,
Я слышу, люди говорят:
Чтоб митру приобресть, нужна
Битком набитая мошна.
Таких попов не видел свет,
Чтоб осудили митру, нет!
Но что касается мошны...
Прости, господь, мы все грешны,
Такие строгости смешны.
От симонии [а] прок
Ведь с птичий ноготок;
Кто б ею прокормиться мог?
И вот как раз
Готов для вас
О том рассказ,
Как может возвести тотчас
В епископский высокий сан
Пустынника простого Ватикан.
Для этого обязан он

[а] *Симония* — торговля церковными должностями.

Признать, что подчинен
Уставу строгому о том,
Что должен выезжать верхом
С великолепным клобуком,
Сверкая златом, багрецом,
Быть должен весь его наряд
(Для вящшей муки, говорят)
Роскошен и богат.
Прозрачна ткань воротника
Всегда должна быть и легка,
Белей парного молока,
А золото его стремян
Должно слепить глаза мирян.
Епископам и дела нет,
Что впроголодь живет сосед,
Что Джилль свой проливает пот,
Что Джек над пашней спину гнет.
Не зная жалости, народ
Они то вызовами в суд,
То отлученьями гнетут,
А сами на коврах сидят
И блюда вкусные едят.
Послушать только, как народ
На жизнь их громко вопиет,
Как духовенство все бранит
И как епископов честит!

ПОЭЗИЯ АНГЛИЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

УАЙЕТ

Томас Уайет (Thomas Wyatt, 1503—1542) — английский поэт. Происходил из старинной аристократической фамилии. Играл видную роль при дворе Генриха VIII. Был замешан в процессе злополучной супруги Генриха VIII Анны Болейн, некоторое время провел в заключении, но был оправдан. Путешествовал по Италии, где ознакомился с культурой итальянского Возрождения, произведшей на него глубокое впечатление. Вместе с поэтом Серрей явился проводником ренессансных веяний в английской поэзии. Их образцами были Вергилий, Гораций, Марциал, а также Петрарка и поэты его школы. Они ввели форму сонета в обиход английской поэзии. Последняя обязана им реформой своей метрической и ритмической структуры. Уайет писал лирические песни, эпиграммы в октавах, сатиры, осмеивавшие придворную жизнь, парафразы покаянных псалмов и пр. В своих сонетах он находился под прямым воздействием Петрарки, влияние которого на английскую поэзию через Уайета становится весьма значительным. Лейтмотивом его лирики является любовь, о которой он поет то в серьезном, то в шутливом и веселом тоне.

ЛЮТНЯ ЛЮБОВНИЦЫ

Ты лютню не брани! Поет она
Лишь то, что петь приказываю я;
Моим желаниям подчинена,
Она служанка верная моя.
Хоть, может быть, и странен мой напев,
Хоть в нем звучат смущение и гнев,
Ты лютню не брани!

Не виновата лютня в том, что ей
Приходится все то передавать,
Что, изливая из души своей,
Пою я тем, кто хочет мне внимать.
Хотя сурова песнь моя подчас
И говорит всю правду без прикрас,
Ты лютню не брани!

Равно послушно струны о любви
И огорчении моем звучат.
Невинных струн поэтому не рви,

Не устранишь ты этим наш разлад.
За то, что песнь, которую пою,
Мстит за обиду горькую мою,
Ты лютню не брани!

Неверность — горшая из всех обид,
И ей прощения у смертных нет.
Сказать об этом громко надлежит,
Чтоб осудил неверность божий свет.
Что гневно песнь звучит, вина твоя,
И потому, о госпожа моя,
Ты лютню не брани!

Себя брани за то, что принесла
Своей неверностью мне столько мук.
Когда решишь свернуть с дороги зла, —
Поверь мне, лютня свой изменит звук.
А если ныне под моей рукой
Она звенит все с прежнею тоской,
Ты лютню не брани!

Прощай! Хотя ты струны рвешь, кляня
Их за вполне заслуженный упрек,
Не мало струн еще есть у меня,
Чтоб снова лютню я настроить мог,
А ежели ты вспыхнешь от стыда,
Прочтя мой бедный стих, — то и тогда
Ты лютню не брани!

ЖИЗНЬ ПРИ ДВОРЕ

Жить при дворе, нарядами блистая,
С изысканными яствами в обед,
Забавам и пирам не видя края
И только праздный созерцая свет, —
Такая жизнь горька, в ней счастья нет.
Кто так проводит дни, живет в темнице
И в позлащенных кандалах томится.

СЕРРЕЙ

Граф Генри Говард Серрей (Henry Howard, earl of Surrey, 1517—1547) — английский поэт. Был приближенным Генриха VIII, участвовал в сражениях и походах, вел жизнь блестящего вельможи, путешествовал по Италии; окончил жизнь на плахе, пав жертвой дворцовой интриги. Талантливый лирик, Серрей явился одним из пионеров английской ренессансной поэзии. Он глубоко чтит Петрарку, вводит (вместе с поэтом Томасом Уайетом) в английскую литературу форму сонета, которой владеет мастерски. Вслед за Петраркой он воспевает «чистую» любовь к идеальной женщине (сонеты, посвященные Джиральдине), культивирует мотивы грусти и меланхолии. Ему принадлежит перевод двух песен «Энеиды» Вергилия, сделанный белым стихом. Произведения поэта были впервые напечатаны лишь в 1557 г.

СОНЕТ

Из доблестной Флоренции ведет
Род госпожи моей свое начало;
Ее отчизна — остров, что из вод
Глядит на Камбрии крутые скалы.
Ирландская ее вскормила грудь,
Отец был граф, мать — королевской крови;
К двору привел ее судьбины путь,
Где все услады жизни наготове.
Гендстон меня представил первый ей,
Гемптон внушил поведать Джиральдине
Мою мечту назвать ее своей,
А Виндзор[а] злой нас разлучает ныне.
Она подобна ангелу в раю;
Блажен, кому отдаст любовь свою.

ЗАТОЧЕНИЕ В ВИНДЗОРЕ

Жестокий рок в тюрьму мне превратил
Роскошный Виндзор, где когда-то я

[а] *Виндзор* — государственная тюрьма в Лондоне.

Дни отрочества с принцем проводил
Счастливей, чем Приама сыновья [a].
На каждый уголок смотрю с тоской.
Вот сад, где часто с ним бродили мы,
В девичий терем взор вперивши свой,
А нашим вздохам вторили холмы;
Широкие скамьи, красавиц ряд,
За кругом танца долгий разговор,
Где со словами состязался взгляд,
Меж мной и принцем не рождая ссор;
Площадка, где, бывало, мы вдвоем
Играли в мяч, и часто он до рук
Не долетал, когда мы за окном
Взор нашей дамы замечали вдруг;
Поляна, где с оружьем, на конях
Мы, привязавши к шлемам рукава,
Неслись навстречу, подымая прах,
И подсекалась конями трава;
Лужайка под серебряной росой,
Где упражняли в играх без числа,
Окружены товарищей толпой,
Мы наши юные еще тела;
Рощ тайники, в которых мы не раз
Превозносили громко наших дам,
Сердечными надеждами делясь
И радостями, выпавшими нам;
Богатый просеками хвойный бор,
Где мы под звук рогов и лай собак,
Поводья отпустив, во весь опор
Оленя гнали робкого в овраг.
Вот комната, что по ночам приют
Давала нам; увы, теперь она
Напоминает мне о том, что тут
Вкушали вместе мы усладу сна.
О счастья невозвратная пора!
Часы забав и дружеских бесед
Ночь напролет до самого утра,
Когда в окно уж пробивался свет!
Об этом вспомню лишь, — и слез ручьи
Бегут на бледные ланиты вдруг;
Но быстро вздохи сушат их мои,
И вновь я плачу: «Благородный друг,
Любимый всеми, мной же больше всех,
Где ты? Ах, тайну эту мне открой,
Обитель мук, а некогда утех,
Где еженощно он вкушал покой».

[a] *Сыновья Приама* — Гектор, Парис и др.

И, сжалившись над мукою моей,
На стон мой эхо стонет мне в ответ.
Тем заточение мое мне тяжелей,
Что здесь провел я столько чудных лет.
Лишь вспоминая худшую беду,
Забвенье меньшей муки я найду.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ, КАК ДОСТИГНУТЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

(ИЗ МАРЦИАЛА)

Вот что, я думаю, ведет
К счастливой жизни под луной:
Отцом завещанный доход;
Кусок земли; в душе покой;

Не любящий раздоров друг,
Презренье к почестям, постам;
Поменьше от врачей услуг;
В хозяйстве все, что нужно нам;

Здоровый, скромный стол всегда;
Простой и мудрой жизни дар;
Ночей спокойных череда,
Которым чужд хмельной угар;

С душою преданной жена;
Довольство собственной судьбой.
А смерть? Что ж, пусть придет она
В свой час, — не добрый и не злой.

СПЕНСЕР

Спенсер, с гравюры XVIII в.

Эдмунд Спенсер (Edmund Spenser, 1553—1599) — крупнейший поэт дошекспировского периода английского Возрождения. Окончил Кэмбридж. До 1586 г. жил в Лондоне, вращаясь в кругах высшей аристократии. В 1579 г. опубликовал «Пастушеский календарь» («The shepherd's Calendar»), поэму, состоящую из двенадцати эклог по числу месяцев, принесшую ему широкую известность. В 1586 г. Спенсер переезжает в Ирландию, где живет в поместье, дарованном ему всемогущим фаворитом Елисаветы графом Лейстером. В 1598 г. это поместье было разрушено повстанцами, и Спенсер вместе с семьей принужден был бежать в Лондон, здесь он умер в бедности и был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Его крупнейшее произведение — поэма «Королева фей» («The Faerie Queene»), создававшаяся на протяжении многих лет. В 1592 г. Спенсер написал поэму «Лифнаида», значительно уступающую его вышеназванным произведениям. Помимо того, он писал элегии, сонеты, гимны и сатиры. Значительной известностью пользуется также его идиллическая поэма «Epithalamion» (1595 г.), в которой он с большой простотой и непосредственностью описывает свое сватовство и женитьбу.

На русском языке: Н. Гербелем переведен отрывок из поэмы «Epithalamion» (в сб. Н. Гербель, «Английские поэты в биографиях и образцах», СПБ, 1875 г.).

СОНЕТ

Как брошенный подругой голубок
На опустелой веточке сидит
И плачет, что от милой он далек
И скоро ль та обратно прилетит,

Так я, разлукой с милою убит,
Взад и вперед, один с моей тоской
Весь день брожу, храня унылый вид,
И горестные слезы лью рекой.

Ничто под солнцем взор влюбленный мой
Не веселит, когда любимой нет,
Когда не вижу пред собою той,

Чьей прелестью пленен весь божий свет.
Она сокрылась, — и во мраке я,
Подобьем смерти стала жизнь моя.

Из «ПАСТУШЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ»

ВСТРЕЧА МАЯ

Палинодий.

Май на дворе, — смотри, как он пригож,
Как в честь него рядится молодежь.
Везде, везде, — куда ни кинешь взор, —
У всех украшен зеленью убор.
Нам тоже приодеться бы не грех:
Май месяц в радость облекает всех.
Земля травой покрылась, а леса
Одела листьев свежая краса.
По рощам бродит молодежь гурьбой,
Цвет на кустах сбирая молодой,
Чтоб разукрасить на заре потом
Господний храм и каждый сельский дом
Венками свежими из диких лоз
И смоченных вином душистых роз.
Забавы эти по сердцу святым,
А мы с тобой уныло тут сидим.

Пирс.

Лишь юным в радость эти пустяки,
А мы уж, Палинодий, старики.

Палинодий.

Сегодня рано утром у села,
Я видел, пастухов толпа прошла.
Их песни, возгласы пленяли слух,
Шел впереди с волынкою пастух,
И все плясали, подпевая ей,
В обнимку каждый с девушкой своей.

Так весело вперед толпа неслась,
Что у меня душа пустилась в пляс.
Спешили все к дубраве молодой,
Чтоб Май оттуда привести домой
На троне и с короной короля.
А с ними шла чрез рощи и поля,
Толпою фей и нимф окружена,
Красотка Флора, королю жена [а].
Тебе признаюсь, был бы я не прочь
Куст майский девушкам нести помочь.
Ах, Пирс, бежать за молодежью вслед
Ужели у тебя охоты нет?

Из «КОРОЛЕВЫ ФЕЙ»

Поэма Спенсера, во многом близкая Ариосто и Тассо (широкое использование элементов куртуазного, рыцарского романа с его сказочной фантастикой, культом авантюры, декоративной экзотикой и пр.), состоит из шести книг по двенадцати песен в каждой. Традиционная для эпической поэзии Ренессанса октава трансформируется здесь в своеобразную строфу (девять строк по схеме: a b a b b c b c c), получившую наименование «спенсеровой строфы». Поэма дает идеализированную картину великосветской жизни и посвящена королеве Елисавете. Характерной чертой поэмы является ее аллегоризм. В центре произведения — принц Артур (символ величия), который влюбился во сне в «королеву фей» — Глориану (символ славы, современники видели в ней Елисавету) и разыскивает ее в сказочной стране. Помимо названных персонажей, Спенсер задумал олицетворить двенадцать добродетелей в образе двенадцати рыцарей, но успел изобразить только шесть из них (по числу книг). Эти рыцари совершают различные подвиги, преодолевая искушения, возникающие на их пути.

Для того чтобы дать известное представление о развитии сюжета в поэме, мы излагаем содержание первой книги, из которой и взяты отрывки, печатаемые в хрестоматии.

В первой книге описываются приключения рыцаря красного креста (Благочестие), посланного королевой помочь прекрасной Уне (Истина) освободить ее родителей, заключенных злым драконом (Заблуждение) в медный замок. После жестокого сражения рыцарь побеждает чудовище. Вместе со своей дамой он останавливается на ночлег в хижине отшельника. Последний, однако, оказывается коварным волшебником Архимаго, который насылает на рыцаря лживое сновидение, убеждающее его в измене Уны. Утром рыцарь покидает деву, которая немедля отправляется на поиски беглеца. В пути рыцарь красного креста вступает в поединок с Неверием (Sansfoy), убивает его и едет дальше, сопровождаемый дамой сраженного по имени Фидесса. Последняя, однако, лишь приняла образ и имя Верности (Fidessa), на самом деле она зовется Неверностью (Duessa) и является колдуньей. Она увлекает рыцаря в замок Гордости, где обитает царица Люцифера, окруженная Тщеславием, Распутством, Ленью, Жадностью и другими аллегорическими существами. Здесь рыцаря красного креста вызывает на бой сарацин Уныние (Sansjoy), брата которого, — Неверие, — рыцарь недавно убил. Сарацин терпит поражение, однако колдунья Дуэсса посредством волшебного тумана спасает его от смерти. Она спускается даже в глубину Тартара, чтобы раздобыть целебные снадобья для уврачевания его ран.

В ряде великолепных картин поэт описывает все области античного подземного мира, обогащая свое описание элементами романтического вы-

[а] *Флора* — древнеиталийская богиня цветов и юности.

мысла. Уна, между тем, отправилась в путь. Ее красота смиряет грозного льва, который отныне не покидает прекрасной девы. И вот перед ней, наконец, — рыцарь красного креста, которого она столь самоотверженно отыскивает. Но радость Уны преждевременна. На самом деле перед ней волшебник Архимаго, коварно принявший дорогой ей образ рыцаря. Внезапно появляется сарацин Беззаконие (Sansloy), который также принимает Архимаго за рыцаря и нападает на него, чтоб отомстить ему за смерть своего брата Неверие. Происходит бой. Нанеся мнимому рыцарю тяжелую рану, сарацин узнает в нем волшебника Архимаго, оставляет его и завладевает Уной, льва которой он убивает. Уна взывает о помощи, на ее призыв являются сатиры, прогоняющие сарацина. Освободители склоняются перед девой, как перед высшим существом. Когда же Уна узнает, что рыцарь красного креста побежден и взят в плен неким великаном с помощью колдуньи Дуэссы, она обращается за помощью к королю Артуру, который как раз проезжает мимо нее в поисках за королевой фей. Король Артур в жестокой схватке умерщвляет великана, прогоняет колдунью Дуэссу и соединяет влюбленных. Благополучно минуя пещеру Отчаяния, они прибывают к храму Святости. Здесь рыцарь красного креста в течение трех дней ведет бой с драконом, наконец, побеждает его, сочетается браком с Уной, а затем, счастливый и радостный, отправляется ко двору королевы фей, чтобы поведать ей о своих приключениях.

УНА И РЫЦАРЬ КРАСНОГО КРЕСТА

Раз ехал паладин неторопливо
С серебряным щитом и на коне,
Грызущем удила нетерпеливо,
В отмеченной ударами броне,
Хоть не бывал наш витязь на войне.
Он молод был, но был готов для боя
И силами владел уже вполне
И для ристалищ пышных и для строя.
В нем всякий видеть мог грядущего героя.

Кровавый крест он на груди носил
И на щите такой же символ красный,
Как знак того, кто всех нас искупил;
Ему молился горячо и страстно,
Проникнутый одной лишь мыслью властной.
Он слову верен был и прям в делах,
Готовый пасть за правду ежечасно.
Не знал он лжи, и чужд ему был страх,
Он ужас пробуждал во вражеских сердцах.

Царицей Глорианою державной,
Великою властительницей фей,
Наш витязь послан был на подвиг славный,
Чтоб, милость вызвав, быть приятным ей.
Он этого хотел всего страстней.
Враг был дракон, губящий всех безбожно.
Хоть знал герой, что тот его сильней,
Лишь о царице помышлял тревожно,
Но твердо верил он, что все свершить возможно.

На белоснежном небольшом осле
С ним Уна подвигалась по дороге,
Печально сидя на своем седле
В скрываемой томительной тревоге,
Как будто бы стояла на пороге
Скитаний долгих и тяжелых дней.
Фата и плащ по цвету были строги:
Фата лицо скрывала; плащ на ней
Окутал гибкий стан и ночи был черней.

Бежал за ней ягненок. Был он белым,
Как молоко, невинным, как она.
Весь род ее был царственным и смелым.
Склонились перед ним все племена,
Живущие кругом, но вот страна
Досталась в жертву адскому дракону,
И страшные настали времена:
Отец был изгнан, потерял корону,
Но храбрый паладин пришел на помощь трону.

А сзади плелся карлик; был он мал
И шел, не торопясь и отставая.
Он был ленив, а может быть, устал,
Неся мешок. Внезапно завывая,
Примчался ветер. Туча грозовая
Безоблачный затмила небосвод.
Могучий Зевс, ненастье навевая,
На землю ниспослал грозу, и вот
Открылись широко на небе хляби вод.

Пришлось искать приют им, и на счастье
Вблизи темнел густой, высокий лес.
Тогда не страшно стало им ненастье:
Раскинулась над ними, как навес,
Густая тень развесистых древес.
Не проникал ни солнца свет лучистый,
Ни звездное сияние небес
Под этот свод прохладный и душистый,
Вились тропинки вдаль в уют лесной, тенистый.

Приятны были им и леса сень,
И милых пташек радостное пенье,
Что, скрывшись там в ненастный этот день,
К дождю питали смелое презренье,
И темной ели низкое гуденье,
И кедра сила, и краса сосны,
И кипариса мрачное томленье,

Березы белоснежной дух весны,
И весь лесной тот шум, что навевает сны.

Им нравится цветущая калина,
И влажная прибрежная ветла,
И гордый дуб, и хрупкая крушина,
И плющ густой, что вьется вкруг ствола,
И лавр — венец за громкие дела,
И тополь стройный, плачущая ива,
И липы цвет, чем кормится пчела,
И крепкий бук, и темная олива,
Осина им мила за то, что так болтлива.

Там ждут они, чтоб тучи пронеслись,
Чтоб минула ненастная погода.
Прошла гроза; сияла солнцем высь.
Тут новая постигла их невзгода:
Утерян путь, ведущий из-под свода.
И вот они блуждают по тропам,
Проложенным сквозь чащу. Нет прохода
Им на равнину. Тут ища и там,
Скитаются они по чуждым им местам.

УНА И ЛЕВ

Нет ничего печальнее на свете
Невинной удрученной красоты,
Повергнутой в предательские сети
Вражды жестокой, злобной клеветы.
Под властью ль я чарующей мечты,
Иль женский рыцарь я надежней стали,
Но видя горе женской чистоты,
Душа моя сжимается в печали.
Мучительней тоски я испытал едва ли.

Скиталась Уна. Было суждено,
Чтоб брошенная им, она несчастно
Влачила дни свои. Уже давно
Она искала рыцаря напрасно,
Его надеясь встретить ежечасно.
Но злой кудесник на него дурман
Наслал, ее ж любовь и верность властно
За ним влекли в леса далеких стран,
Не ведала она про чары и обман.

Уставшая однажды от дороги,
Она, сойдя с спокойного осла,
Чтоб позабыть печали и тревоги,

Рыцарь красного креста. Из первого издания «Королевы Фей» в 2 томах, Лондон 1590 и 1596.

В тени дерев на мураве легла.
Она повязку с головы сняла
И плащ свой черный положила рядом,
И залучилась ярко полумгла,
Как небо, голубым и ясным взглядом.
Укрыл зеленый лес ее своим нарядом.

Вдруг злобный лев, открыв широко пасть,
Туда метнулся, где лежала дева.
На жертву он готовился напасть
И полон был свирепости и гнева.
Лев кинулся, и вот, достиг он древа,
Где почивала Уна, боль забыв.
Казалось, не уйдет она от зева.
Но лев смирил безумный свой порыв
И тихо к ней подполз, пасть страшную закрыв.

Коснулся языком он ножки милой,
Как будто бы вину свою признав.
Господствует так красота над силой;
Так слаб неправый перед тем, кто прав.
Зверь лютый усмирил свирепый нрав.
Она ж к нему одно лишь сожаленье
Питала, страх забыв, а лев средь трав
Лежал пред нею. Только умиленье
Он чувствовал, глядя на дивное виденье.

Промолвила она: «Владыка-лев
Не трогает меня. Забыта сила,
И голод им забыт, и лютый гнев.
Безпомощность моя его смирила.
Ласкается покорно он и мило.
А ты, мой лев, владыка, мой король,
Кому я сердце, не таясь, открыла,
Ты мне даришь одну лишь скорбь и боль.
О, возвратись ко мне. Любить тебя позволь».

От слез обильных замолчали пени,
В них слышалось так много тяжких мук.
Родились отзвуки в дубровной сени,
Лев услыхал печальный этот звук.
Глядя на Уну, не как враг, а друг,
Забыл он голод, помня только жалость.
Она же встала, спохватившись вдруг.
Уж дева позабыла про усталость.
С тоскою коль сравнить, все это малость.

При ней остался лев, как верный друг.
Он был ее товарищ и охрана.
Он чувствовал всю боль сердечных мук,
Ей причиненных гнусностью обмана.
Он охранял покой ночного стана
И сторожем он был девичьих снов
В глубокий час ночной и утром раню.
Ее желанья понимал без слов.
Всегда он был при ней, всегда служить готов.

ЧЕРТОГ СНА

Чрез редкий воздух и сквозь глубь морей,
Текущих вкруг вселенной без предела,
Стремился дух в тот край, где спит Морфей [а],
В ту пропасть под землей проник он смело,
Где никогда заря не заалела.
Там Тефис тихо льет на ложе сна
Морфея воду. Цинтия одела
Ему венок росистый. Тишина
И мрак царят кругом, и вечно ночь черна.

Из серебра и из слоновой кости
Те двери были, что замкнули вход
В чертоги сна, и лаем лютой злости
Псы оглашали там подземный свод,
Морфея охраняя от забот,
Которые тревожат сновиденье,
Для горя пробуждая и невзгод.
Дух мимо псов прошел, как привиденье,
И в храмину проник, не вызвав пробужденья.

И мнится, что, струею со скалы
Ручей спадая, говором лелеет
Морфея сон. Там слышен гуд пчелы.
Там шепчет вечно дождь. Над ложем веет
Прохладный ветерок. Там все немеет.
Не слышен там людской немолчный шум.
Никто в том царстве горем не болеет.
Покой беспечный спит, не зная дум,
И мыслью о врагах не докучает ум.

[а] *Морфей* — у древних греков бог сна и сновидений, сын ночи.

СИДНЕЙ

Филипп Сидней (Philip Sidney, 1554—1586)— английский писатель, один из значительнейших представителей литературы английского Ренессанса. Родился в аристократической семье, получил блестящее образование, путешествовал по Франции, Германии и Италии, живо интересовался классической древностью, литературой европейского Возрождения, астрономией и геометрией, вел переписку с рядом видных ученых, при дворе королевы Елисаветы играл роль законодателя изящного вкуса. Свою недолгую жизнь окончил на поле битвы.

Современники высоко ценили его пасторальный роман «Аркадия» («Arcadia»). В «Защите поэзии» («The Apology for poetrie»), отрывок из которой приводим ниже, он высказывает свои взгляды на поэзию и ее сущность. Огромное влияние на развитие английской лирики оказали его сонеты (сб. «Hecatompathia» и особенно «Astrophel and Stella» — собрание сонетов и песен, посвященных возлюбленной поэта). Именно Сидней утвердил господство сонета в английской поэзии елисаветинского периода.

СОНЕТЫ

1

О, как безмолвно ты на небосвод
Восходишь, месяц, — грустный, бледноликий!
Ужель и там, на небе, Лучник дикий
Свой беспощадный промысел ведет?

Мой взгляд, столь опытный в любви, не лжет:
Ты всем влюбленным смертным друг великий;
Да ты и сам влюблен, тому уликой
Твой взор и твой мечтательный восход.

Скажи, собрат мой: так же ль там считают,
Что верен только тот, кто глуп совсем,
И так же ль там красавицы мечтают

О том, чтоб их любили, а меж тем
Влюбленных презирают? В горнем свете
Неблагодарность тоже добродетель?

2

О поцелуй, даришь ты щедро нам
Румяные плоды земного рая,
Ты задаешь веселый труд губам,
В сердца блаженство дивное вливая.

Тобой меж душ творится связь живая,
И с кем кого вязать, ты знаешь сам.
Пред миром всем хочу воспеть тебя я,
Воздать хвалу благим твоим дарам.

Но милая кладет запрет в смущенье:
Ей мнится, я снижаю вдохновенье.
Что ж делать мне? Я не могу молчать,

Я весь горю, и взрыв мой неминуем;
Один есть выход: если поцелуем
Мне на уста наложишь ты печать.

Из «АПОЛОГИИ ПОЭЗИИ»

1. ЛИРИЧЕСКАЯ И ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Разве менее всего пленяет нас та лирика, что настроенной лирой и благозвучным голосом воздает хвалу, награду за доблесть деяниям доблестным, что расточает приветственные поучения и решает загадки естества, что порою возносит свой голос до выси небес, славословя бессмертного бога?

Право же (сознаюсь в собственном варварстве), ни разу не внимал я старинной песне о Перси и Дугласе[1] чтобы сердце во мне не взыграло, как от трубного звука, а ведь поется она всего навсего каким-нибудь слепцом-простолюдином, чей голос столь же груб, сколь слог неотделан. А ежели такова эта песнь, загрязненная пылью и паутиной тех неотесанных веков, то как бы подействовала она, будучи изукрашена пышным витийством Пиндара!

В Венгрии наблюдал я на пирах и прочих подобных сходбищах обычай прославлять в песнях доблести прадедов, что у сего воистину ратоборного народа считается наилучшим распалителем мужественного духа. Непревзойденные лакедемоняне не только шли с такого рода пением на поле брани, но и дома им тешились, и песни эти слагались так, что все охотно становились певцами, ибо в них сильные мужи пели о том, что делают, старцы — о том, что делали, а юноши — о том, что собираются сделать. А ежели кто

[1] Старинная шотландская народная баллада, повествующая о распре двух феодальных родов.

скажет, что Пиндар зачастую превозносит победы маловажные [а], то на сие мы ответим: в том вина поэта, а не поэзии. И в самом деле, главный недостаток его времени в том заключался, что слишком высоко ценили такие забавы, и даже Филипп Македонский считал победу на олимпийском ристалище одним из трех высших блаженств. И все же (как сие не раз удавалось неподражаемому Пиндару) этот род поэзии весьма помогает и отменно споспешествует пробуждению мыслей от праздной сонливости и обращает их к славным подвигам.

За сим следует поэзия героическая, самое название коей, по-моему, должно смирить всех зоилов. Ибо каким ухищрением можно побудить язык опорочить ту поэзию, что преподносит нам таких витязей, как Ахилл, Кир, Энеи, Турн, Тидей и Ринальдо? Она не только учит и приобщает нас какой-либо истине: нет, она заставляет великодушие и справедливость пронизывать лучами туманы трусости и мглу вожделений. И ежели справедливо изречение Платона и Туллия [б], будто удостоившийся лицезреть добродетель будет чудодейственно восхищен любовью к ее красоте, то героический поэт наряжает ее, дабы она в праздничном своем убранстве предстала еще прекраснее перед очами всякого, кто соизволит воздержаться от презрения, пока не достигнет понимания. И когда что-либо говорилось в защиту сладчайшей поэзии, то все согласно отстаивали род героический, ибо это — не только один из видов, но наилучший и наисовершеннейший вид стихотворства. Ведь ежели картина любого деяния оживляет и воспитывает дух, то возвышенные образы людей столь доблестных воспламеняют его сильнейшим желанием самому стать доблестным и наставляет советом, как стать доблестным. Носите запечатленным на таблицах своей памяти хотя бы образ Энея [в], как вел он себя при гибели отечества, как спас престарелого отца и предметы богопочитания, как повиновался бессмертным, покидая Дидону, хотя не только нежная страсть, но даже общечеловеческое чувство благородной признательности, казалось, требовало от него иного; каким был он в бурю, каким на игрищах, каким на войне, каким в мире, каким в бегстве, каким в час победы, каким при осаде города, каким сидя в осаде, каким для чужеземцев, каким для союзников, каким для врагов, каким для своих, каким, наконец, по внутреннему облику и каким во внешнем обхождении. И я полагаю, что всякий ум, не предубежденный нарочитым предубеждением, почтет его пример до чрезвычайности плодотворным и даже более того, как сказал Гораций:

Melius Chrysippo et Crantore [г].

Но поистине мне кажется, что все наши поэтобойцы сильно

а Древнегреческий поэт Пиндар воспевал победителей на «играх» (гимнастических состязаниях).

б *Туллий* — Цицерон.

в *Эней* — герой поэмы Вергилия «Энонда».

г «Лучше, чем Христип и даже Крантор» — «Послания», 1, 2, 4.

напоминают тех кумушек, у коих всегда что-нибудь болит, но только неизвестно, в каком месте. Так и самое имя поэзии им ненавистно, но ни источник ее, ни действие, ни то общее, в чем она содержится, ни те частности, что из нее вытекают, не дают опоры для их придирчивой хулы.

ПОХВАЛА ПОЭЗИИ

Итак, поелику вечнодостохвальная поэзия преисполнена доблестеродной усладительности и не лишена ни одного из качеств, присущих высокому понятию учености; поелику хуления, на нее воздвигаемые, либо ложны, либо бессильны; поелику непочитание ее в Англии происходит по вине стихоплетствующих мартышек, а не стихотворцев; поелику, наконец, наш язык отменно к тому приспособлен, дабы сделать честь поэзии и от поэзии честь восприять, — то заклинаю вас всех, имевших несчастие прочесть эту мою чернилоизводительную безделку, заклинаю же именем всех девяти муз: не презирайте долее священных таинств поэзии, не смейтесь более при звуке имени поэтов, словно они — ближайшие наследники шутов, не издевайтесь более над почтенным званием рифмотворца, но вместе с Аристотелем верьте, что поэты были древнейшими хранителями эллинской святыни; верьте вместе с Бембо [а], что они были родоначальниками всяческого вежества, верьте вместе со Скалигером [б], что ни одно философское учение не наставит вас, как стать честным человеком, лучше и скорее, чем чтение Вергилия, верьте вместе с Клаузером, переводчиком Корнута [в], что высшее божество соизволило, при посредстве Гесиода и Гомера, под покровом баснословия ниспослать нам всяческое знание: логику, риторику, философию естественную и нравственную — et quid non [г]. Верьте вместе со мною, что в поэзии сокрыты многие тайности, нарочито туманно написанные, дабы их во зло не употребили умы непосвященные. Верьте вместе с Лонгином [д], что поэты суть любимцы богов и что все, ими сочиняемое, проистекает от боговдохновенного умоисступления. Верьте, наконец, им самим, когда они обещают обессмертить вас в своих стихах.

Тогда-то расцветет имя ваше на прилавках книгопродавцев, тогда-то породнитесь вы не с одним поэтическим предисловием, тогда-то станете вы прекраснейшими, богатейшими, мудрейшими и, вообще... ейшими, — словом, возляжете на превосходной степени

[а] *Бембо* — см. стр. 106.

[б] *Скалигер* (1484—1558) — филолог, автор «Поэтики» («Poetices» libri VII, 1561 г.), пользовавшийся большим авторитетом в литературных кругах XVI в.

[в] *Корнут* — стоический философ, поэт и ученый I в. н. э.

[г] И еще бесконечно многое...

[д] *Лонгин* — неоплатонический философ, ритор и грамматик из Афин (ок. 220—273 г. н. э.). Ему приписывали анонимный трактат «О возвышенном», оказавший значительное влияние на развитие европейской эстетической мысли.

всех прилагательных. Тогда-то, будучи libertino patre natus [а], внезапно превратитесь в Herculea proles [б].

Si quid mea carmina possunt [в].

Тогда то душа ваша будет помещена рядом с Дантовой Беатриче или Вергилиевым Анхизом.

Но ежели (да будет проклято такое «но»!) вы родились столь близко от притупляющего ум Нильского водопада, что неспособны внимать планетарной музыке поэзии; ежели ум ваш так низко пресмыкается по земле, что не в силах воспарить и заглянуть в небо поэзии, или, вернее, ежели вы, в силу некоей неблаговоспитанной брезгливости, превратитесь в столь презренного мима, что захотите разыгрывать роль Мома [г], высмеивающего поэзию, — тогда я (хоть и не пожелаю вам ни отрастить ослиные уши Мидаса, ни, подобно Бубонаксу, быть доведенным стихами поэта до самоповешения, ни быть зарифмованным до смерти, как, говорят, делается в Ирландии), но от имени всех поэтов поражу вас таким проклятием, чтобы всю жизнь свою вы прожили влюбленными и не добились взаимности из-за неумения сложить сонет и чтобы по смерти память о вас исчезла с лица земли из-за отсутствия эпитафии.

[а] Дети вольноотпущенника.

[б] Гераклово семя.

[в] Если песни мои в силах что-либо сделать.

[г] *Мом* — в греческой мифологии бог насмешки и порицания.

William Shakespeare.

MR. WILLIAM
SHAKESPEARES
COMEDIES,
HISTORIES, &
TRAGEDIES.

Published according to the True Originall Copies

LONDON
Printed by Isaac Iaggard, and Ed. Blount. 1623.

Verkleinertes Faksimile des Titelblattes der ersten Gesamtausgabe von Shakespeares Werken
London 1623, Folioformat
Porträtkupferstich von Martin Droeshout. London, Brit. Mus.

Шекспир с гравюры на титульном листе первого издания пьес Шекспира, Лондон, 1623.

ШЕКСПИР

Вильям Шекспир (William Shakespeare, 1564—1616) — великий английский писатель. Биографические сведения о Шекспире весьма скудны и спорны, что делает его биографию крайне условной. Он родился в г. Стратфорде, где отец его занимался ремеслом и торговлей. Учился в местной классической школе, некоторое время помогал отцу в его занятиях. Около 1585 г. он переселился в Лондон, где в качестве актера вступил в знаменитую труппу Бербеджа (театр «Глобус»). Вскоре он начал писать для театра, став постоянным «автором» труппы, на обязанности которого лежало не только создание новых, но и подновление старых пьес. В 1599 г. он сделался пайщиком театрального предприятия. Доходы его стали весьма значительными, тем более, что он не пренебрегал и различными финансовыми операциями, умножавшими его достояние. В столице Шекспир сблизился с группой молодых аристократов, увлекавшихся театром (фаворит королевы Елизаветы граф Эссекс, граф Соутгемптон, граф Рэтленд и др.). В 1599 г. он получил дворянский герб. Около 1612 г. он покинул Лондон, отошел от театра, поселился в своем родном городке, где и умер. Сомнительность биографии Шекспира породила ряд версий, приписывающих его произведения аристократам того времени (Рэтленд, Дерби и пр.).

Творчество Шекспира можно условно разбить на три основных периода: К раннему периоду, помимо пьес, относятся поэмы «Венера и Адонис» (изд. в 1593 г.) и «Лукреция» (изд. в 1594 г.), обе на популярные в ренессансной литературе античные сюжеты, а также сборник сонетов (изд. в 1609 г.). Пьесы располагаются в следующем хронологическом порядке. Исторические хроники: «Генрих VI» (1590—1591 гг.), состоящий из трех частей, «Ричард III» (1592 г.), «Ричард II» (1595 г.), «Король Джон» (1595 г.), две части «Генриха IV» (1597 г.) и «Генриха V» (1598 г.); комедии: «Комедия ошибок» (1592 г.), «Укрощение строптивой» (1593 г.), «Два веронца» (1594 г.), «Бесплодные усилия любви» (1595 г.), «Сон в Иванову ночь» (1596 г.), «Венецианский купец» (1596 г.), «Виндзорские кумушки» (1597 г.), «Много шуму из ничего» (1598 г.), «Как вам это понравится» (1599 г.). «Двенадцатая ночь» (1600 г.) и трагедии: «Тит Андроник» (1593 г.), «Ромео и Джульетта» (1594 г.) и «Юлий Цезарь» (1599 г.). Второй период характеризуется явственным преобладанием трагедий: «Гамлет» (1601 г.), «Отелло» (1604 г.), «Король Лир», «Макбет» (1605 г.), «Антоний и Клеопатра» (1606 г.), «Кориолан» и «Тимон Афинский» (1607 г.). Из комедий в этот период возникли: «Троил и Кресида» (1602 г.), «Все хорошо, что хорошо кончается» (1602 г.), «Мера за меру» (1604 г.) и «Перикл» (1608 г.); впрочем, принадлежность Шекспиру последней пьесы крайне сомнительна. И, наконец, третий, заключительный период. К нему относятся пьесы: «Цимбелин» (1607 г.), «Зимняя сказка» (1610 г.), «Буря» (1612 г.) и «Генрих VIII» (1612 г.), принадлежащий Шекспиру лишь частично.

Современники ценили Шекспира не только как драматурга, но и как замечательного поэта-лирика. Его сонеты вызывали восхищение знатоков. Первое печатное известие о них относится к концу XVI в. Первое полное собрание их было опубликовано лишь в 1609 г. Всего Шекспиром написано 154 сонета. Содержащиеся в сонетах намеки на обстоятельства интимной жизни поэта до сих пор историками литературы не разгаданы.

На русском языке: многочисленные издания произведений Шекспира.

СОНЕТЫ

66

Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ,

Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,
Как всюду в жизни торжествует плут,
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится
Все то, что называем мы Добром.
Когда б не ты, любовь моя, давно бы
Искал я отдыха под сенью гроба.

130

Взор госпожи моей — не солнце, нет,
И на кораллы не походят губы;
Ее груди не белоснежен цвет;
А волосы, как проволока, грубы.
Я видел много белых, алых роз,
Но их не вижу на ее ланитах,
И не сравнится запах черных кос
С усладой благовоний знаменитых;
Мне речь ее мила, но знаю я,
Что музыка богаче благостыней;
Когда ступает госпожа моя,
Мне ясно: то походка не богини;
И все же, что бы ни сравнил я с ней,
Всего на свете мне она милей.

132

Люблю твои глаза за то, что в них
Участье вижу я к моим страданьям;
Они как будто из-за мук моих
Не расстаются с черным одеяньем.
Не лучше солнца юного лучи
Востока красят серые ланиты,
Не лучше красит небеса в ночи
Луна, плывущая со звездной свитой,
Чем эта пара скорбных глаз твой лик.
О, если б жар такого же участья
И в сердце черствое твое проник
И овладел бы каждой тела частью!
Тогда сказал бы я: нет красоты
В тех женщинах, что не черны, как ты.

133

Проклятье той, что все мгновенья дня
Жестоко мне и другу отравила.
Ей мало мучить одного меня, —
В раба она и друга превратила.

Из-за тебя сперва утратил я
Себя, потом того, кто всех мне ближе,
И, наконец, тебя. Ах, жизнь моя
Не трижды ли несчастна, посуди же!

Замкни меня в своей стальной груди,
Но сердце друга дай мне скрыть в темнице
Груди моей, хоть сам я взаперти:
Тогда ты перестанешь так яриться.
Но нет! Принадлежу тебе я весь,
И все твое, что у меня лишь есть.

137

Слепой Амур, что сделал ты со мной?
Не вижу я того, что вижу ясно.
Я разбираюсь в красоте людской,
Но восхищаюсь тем, что не прекрасно.

Пусть мой ослабленный пристрастьем взор
Прибила буря в гавань наважденья,
Зачем ты сделал из него багор,
Влекущий сердце к ложному сужденью?

Зачем незаурядным сердце мнит
Созданье, столь обычное для света?
Зачем глаза мои красой манит
Лицо непривлекательное это?
Опутала глаза и сердце ложь,
И к правде путь теперь уж не найдешь.

139

Могу ли оправдать тебя я в том,
Что ты терзаешь сердце мне всечасно?
Не тронь глазами, — лучше языком
Убей меня; не истязай напрасно.

Скажи, что мил тебе другой, но глаз
Ты от меня, когда иду я мимо,
Не отвращай жестоко всякий раз:
Такая пытка мне невыносима.

Но, может быть, ты поступаешь так,
Исполненная помысла благого?
Быть может, зная, что твой взор мне враг,

Его ты направляешь на другого?
Не надо. Посмотри, я еле жив;
Избавь меня от мук, меня добив.

141

Тебя любить внушает мне не взор,
Изъянов видит он в тебе не мало;

Но сердце, зрению наперекор,
К тебе давно любовью воспылало.

Мне слух твоя не услаждает речь,
Не будит кожа жажду осязанья,
Ничем, ничем не можешь ты увлечь
Ни вкуса моего, ни обонянья;

Но все пять чувств моих разубедить
Не могут сердце глупое, в котором
Горит желание тебе служить,

В глазах людей покрыв меня позором.
И все ж на пользу мне беда моя:
За тяжкий грех страдаю тяжко я.

143

Как домовитая хозяйка, с рук
Спустив дитя, в погоню за пернатой
Питомицей бросается, что вдруг,
Взметнувшись и крича, бежит куда-то;

Ребенок плачет, к матери своей
Протягивая жалобно ручонки,
А та спешит за мчащейся пред ней
Беглянкою, забывши о ребенке, —

Так ты за некой гонишься мечтой,
Меня, свое дитя, оставив сзади.
Вернись ко мне и будь нежна со мной,

Как мать, что о своем печется чаде.
Свою мечту скорей, скорей схвати ж
И, возвратясь, мой горький плач утишь.

147

Моя любовь — уродливый недуг,
Не помышляющий об исцеленье,
Питаемый ключом несчетных мук —
Болезненным стремленьем к угожденью.

Мой разум, врач моей любви, сердясь,
Что предписания его забыты,
Меня покинул, и я вижу: страсть
Подобна смерти, никогда не сытой.

Без разума я обречен на бред,
Безумная тревога сердце гложет,
В моих словах и мыслях связи нет,

И правду высказать язык не может.
Была ты так чиста, светла на взгляд, —
А ты темна, как ночь, мрачна, как ад.

РАЛЕЙ

Вальтер Ралей (Walter Raleigh, 1552—1618) — поэт и государственный деятель, один из ярких представителей ренессансной Англии. Отважный мореплаватель и храбрый воин, овеянный духом авантюризма, он основал первую английскую колонию в Америке (Виргиния), участвовал в смелом нападении англичан на Кадикс (Испания) и в битве английского флота с «непобедимой Армадой». Отличался вольномыслием в вопросах религии, которое поколебалось лишь к концу его жизни. Королева Елизавета благоволила к нему. Яков I бросил его в Тауэр, где Ралей провел 12 лет. В 1618 г., после возвращения Ралея из неудачной экспедиции в Америку, он был казнен по приказу короля. Творческое наследие Ралея невелико. Наибольший интерес представляют его стихотворения (в частности знаменитое стихотворение «Ложь», «The Lie»), изобличающие в авторе незаурядное поэтическое дарование, остроту мысли и творческий темперамент.

СОНЕТ

К «КОРОЛЕВЕ ФЕЙ» СПЕНСЕРА

Виденье было мне: я — в храме Славы,
Лаурина[a] гробница предо мной,
И с двух сторон склонились величаво
Любовь и Добродетель над плитой.

Вдруг из-под свода свет блеснул мне яркий,
И я увидел королеву фей;
И горестно заплакал дух Петрарки;
Благие стражи устремились к ней,

А на гробницу возлегло Забвенье.
Тут камни кровью обагрили храм,
И не одной, в нем погребенной, тенью

Был брошен вопль к высоким небесам,
Где дух Гомера, скорбно негодуя,
Клял похитительницу неземную.

---

[a] *Лаура* — героиня лирики Петрарки.

ЛОЖЬ

Душа! Покинув тело,
Мир облети скорей,
Разоблачая смело
Всю ложь его путей.
Я смерти жду, — лети же
Мир обличить бесстыжий.

Двору скажи: «Сверкая,
Ты гнилью весь пропах!»
А церкви: «Ты — святая,
Увы, лишь на словах!»
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Скажи князьям: «Вы славу
Присвоили страны,
Счастливы не по праву,
Лишь подкупом сильны».
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Скажи породе чванной
Правителей-господ:
«Вас к цели окаянной
Тщеславие ведет».
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Скажи всем тем, кто вправо
И влево шлет дары:
«Вы гонитесь за славой
И вовсе не добры».
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Скажи любви: «Ты — похоть»,
А благочестью: «Ложь —
Твоя привычка охать»,
А плоти: «Ты прейдешь!»
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Скажи красе: «Ты бренна»,
А почестям: «Вы — бред»,
А юности: «Мгновенно
Твой увядает цвет».
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Скажи уму: «Всечасно
Ты жертва дурака»,
А мудрости: «Опасно
К безумью ты близка».
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Врачебному искусству
Скажи: «Ты сеешь ложь»,
А благочинью: «Чувства
В тебе нет ни на грош».
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Судьбу людей открыто
Слепою назови,
А дружбу обвини ты
В отсутствии любви.
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Скажи искусству: «Праздным
Хлыщам ты льстишь всегда!»
Ученым школам разным:
«Страсть к правде вам чужда».
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Скажи, что места вере
Нет больше в городах,
А селам суеверье
Привил нелепый страх.
Услышав возраженье,
Не отступай в смущенье.

Когда все эти мненья
Ты выскажешь подряд,
Тебя за обличенье
Прикончить захотят.
Но это не опасно:
Смерть над тобой не властна.

ДОНН

Джон Донн (John Donne, 1573—1631) — основоположник и наиболее видный представитель поэтического направления, возникшего на закате английского Ренессанса и известного под названием «метафизической школы». Обучался в университетах Оксфорда и Кэмбриджа, путешествовал по Италии и Испании. Яков I убедил его вступить в духовное звание, значительную известность он приобрел как проповедник. Его перу принадлежат сочинения на богословские темы, а также стихотворения светского и религиозного содержания. Большой популярностью пользовалась его «Анатомия мира», трактовавшая о бренности всего земного. Стихотворения Донна были опубликованы лишь в 1633 г. Их отличает причудливость замысла и сложность поэтического письма. Даже любовная лирика становится ареной парадоксальных философских спекуляций. Поэт ищет гармонию в дисгармонии, объединяет противоречивые образы и идеи, стремится выявить «внутреннюю» логику явлений, внешне не схожих между собой. Его намеки, метафоры и сравнения, почерпнутые из обширной области науки, искусства, философии и природы, поражают подчас своей изобретательностью, неожиданностью и остротой. И лишь изредка в поэзии Донна проскальзывают непосредственность и простота, принципиально далекие его усложненной и изощренной манере, знаменующей переход английской поэзии от Ренессанса к эпохе Барокко. На английскую поэзию XVII в. Донн оказал весьма значительное влияние (творчество Герберта, Крашау, Коули и др.).

ПЕСНЬ

Ты женись на мандрагоре [а]
След найди упавших звезд,
Где, скажи, былые зори,
Кто нечистому дал хвост?
Дай русалок песнь подслушать,
Зависть научи разрушить
Иль открой,
Где покой
Обретет, кто чист душой.

Если к чудесам природы
Страсть горит в твоей груди,
То покинь свой дом на годы

[а] *Мандрагора* — растение, корень которого по средневековым поверьям обладал чудодейственной силой.

И всю землю обойди.
Возвратясь, мне все расскажешь,
А спрошу про женщин, — скажешь
Так в ответ:
«Этот свет
Верных жен не знает, нет».

Если встретишь ты такую,
Напиши о том скорей.
Нет, не надо, не пойду я,
Даже через дом за ней.
Пусть в тот день была примерной,
Предала с тех пор наверно,
Уж двоих
Иль троих,
Обвела вкруг пальца их.

ПРОЩАНИЕ БЕЗ СЛЕЗ

Как те, чья жизнь была чиста,
Спокойно покидают свет,
И шепчут их друзей уста:
«Еще он дышет или нет?»

Так мы не будем оглашать
Рыданьями разлуки час,
Чтоб наших чувств не осквернять,
Их выставляя на показ.

Страшит и мучает людей
Движенье грузное земли,
А трепет звезд, хоть он мощней,
Невинно блещет нам вдали.

Для всех любовников земных
Разлука — худшая из бед,
Она безжалостно от них
Уводит прочь любви предмет.

Но мы не таковы с тобой,
Нам не сулит разлука мук;
В любви мы черпаем покой,
Не нужно нам ни губ, ни рук.

Мы спаяны, и мой уход —
Как злато молот кузнеца —
Нам наших душ не разорвет,
А лишь расширит без конца.

Моя душа с твоей срослась;
Как ножки циркуля они.
Лишь двинется одна, — тотчас
Другая движется, — взгляни!

И та, что в центре, за другой
Следит, ушедшей в дальний путь;
Ее возврата ждет домой,
Чтоб, выпрямившись, к ней прильнуть.

Как ножки циркуля, навек
С тобой мы связаны, мой друг.
Определяя мой разбег,
Ты мой начертываешь круг.

ЭКСТАЗ

Где, головой на холм склонясь,
Фиалка нежная цвела,
Вдвоем присели мы, тотчас
Забыв земные все дела.

Нам руки, как цемент, скрепил
Из них струившийся бальзам,
Наш взор двойную нить сучил
Меж ней и мной, от глаз к глазам.

Переплетенье наших рук
Спаяло нас, — оно одно,
И лишь в глазах видений круг
Нам было зачинать дано.

Как равным станам двум Судьба
Велит отсрочить грозный бой,
Так в преньях душ велась борьба
На полпути меж ней и мной.

Недвижно, в полной немоте,
Весь день, до наступленья тьмы,
Как изваянья на плите
Надгробия, лежали мы.

РОМАН АНГЛИЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ЛИЛИ

Джон Лили (John Lyly, 1553 или 1554—1606) — драматург и романист, один из предшественников Шекспира. Принадлежал к группе так называемых «университетских» (т. е. гуманистически образованных) писателей. В качестве драматурга писал преимущественно для придворной сцены мифологические пасторали («Женщина на луне», «Эндимион», 1591 г.). Значительный успех имела его комедия «Александр и Кампаспа» (1584 г.). Он первый ввел в свои пьесы прозаический диалог взамен стихотворного, а также положил начало комической интриге, параллельной главному действию, — прием, широко развитый впоследствии Шекспиром. Однако слава Лили зиждилась главным образом на его романе «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» (Euphues the Antomy of Wit», 1579—1580), оказавшем очень большое влияние на английскую литературу XVI в. и имевшем огромный успех в придворных кругах. Современников привлекал в романе манерный, изысканный слог, получивший наименование «эвфуизма». Автор обильно уснащает роман всевозможными риторическими фигурами, прециозными метафорами, сравнениями и антитезами, прихотливой игрой слов и аллитерациями, всемерно стремясь поразить читателя своими обширными познаниями в области античной мифологии, истории, искусства и т. п. Содержанием романа является история молодого афинянина Эвфуэса, путешествующего по Италии и Англии. В Неаполе он ведет разгульную жизнь, влюбляется в легкомысленную Луциллу, которую оставляет, когда ее ветреность становится для него очевидной. Пребывание Эвфуэса в Англии дает автору повод к описанию страны, нравов и придворной жизни. Друг Эвфуэса, Филавт, влюбляется здесь в добродетельную Камиллу, сочетается с ней узами брака и остается навсегда в Англии, в то время как Эвфуэс возвращается в родные Афины. В романе мало действия, зато большое внимание уделено переживаниям героев, их сердечным излияниям, речам, переписке, рассказам различных персонажей, в которых Лили проявляет всю свою прециозную виртуозность. «Эвфуэс» оказал значительное влияние на развитие европейского галантно-психологического романа XVII в.

Из «ЭВФУЭСА»

ПОСТОЯНСТВО В ЛЮБВИ

Когда прибыла моя дама и узрела меня за месяц столь изменившимся, до самых костей отощавшим, более на призрак похожим, нежели на живое создание, то после многих речей утешительных (в коих женщины никогда не откажут больному) она, улучив удобный миг разговора, спросила, от меня ли послом приходил итальянец, и ежели от меня, то правдивы ли его вести, на каковой вопрос я ответствовал так:

«Госпожа! Притворство в сем мире (в час расставания с оным) не принесет мне пользы перед людьми и много повредит перед богом; претворение смертного ложа в обитель обмана может и кончину мою ускорить и опасность для души моей приумножить.

Я любил вас долго, и вот, наконец, вынужден разлучиться с вами, чье жестокосердие не припишу я недостатку вежества, но одному токмо злосчастию. С меня же довольно того, что умираю в верности, хоть и не мог жить в милости, и не сильнее жаждал я начала своей любви, чем ныне жажду конца своей жизни. То, что изменить невозможно, надлежит сносить, а не поносить; безумства прошлого легче вспоминаются, чем исправляются, а потерянное можно оплакать, но не вернуть. Мук, мною выстраданных, описывать не стану, — сдается мне, что вид мой достаточно о них повествует, — мне же сейчас более приличествует молиться о новой жизни, нежели вспоминать о прежней. Одно только добавлю (что хоть и недостойно благодати спасения, но заслуживает благодарности друга): любил я только тебя, жил для тебя и ныне умираю из-за тебя».

И с сими словами, на левый бок повернувшись, испустил я глубокое воздыхание.

Иффида же с очами увлажненными, руку мою в своей сжимая, так ответствовала с печальным видом.

«Добрый мой Фидус! Ежели умножение моих горестей может смягчить остроту твоих страданий, то рада была бы я в слезах растопиться, лишь бы тебя избавить от сих терзаний. Но даже свежая рана на теле моем бессильна была бы исцелить гнойную язву, в тебя внедрившуюся; ибо такие недуги под конец излечиваются своими же причинами. И, как от базилика скорпион зарождается и силою той же травы умерщвляется, так и любовь, временем и воображением взлелеянная в досужем уме, временем же и воображением изгоняется из сердца. Или как саламандра, долгий срок в огне вскармливаемая, под конец тот огонь угашает, так и сердечная страсть, угнездившаяся в воображении и длительно обитающая в уме влюбленного, с течением времени изменяет и преображает жар свой, претворив его в холод.

Не малое для меня огорчение, о Фидус, что считаюсь я причиною твоего недуга, а сама не могу быть от этой болезни лекарством. А потому я открою тебе больше, чем благоразумие мне разрешает и чем стыдливость моя дозволяет, но ровно столько, чтоб отвести от меня обвинение в неблагодарности по отношению к тебе, а в тебе уничтожить подозрение против меня.

Случилось так, о ты, мой Фидус и добрый мой друг, что года два тому назад жил при дворе некий благородный человек, тебе небезызвестный, а чаятельно, и не весьма ненавистный, чьего имени скрывать я не стану, дабы ты не подумал, будто я все сие измыслила или же он недостоин быть названным. Итак, дворянин сей именовался Тирсом и всеми достоинствами столь был изукрашен, что не будь он влюблен в меня, я бы сама первая в него влюбилась.

Но его поспешность опередила мою горячность, и начал он жаждать того, что я сама готова была ему поднести; мне же хотелось, чтобы сладкие его речи оказались правдивыми, но по началу не смела я им поверить. Ибо в делах любовных есть у мужчин столько же обманных уловок, сколько слов на языке. Я притворилась неприступной, будто и к подобным домогательствам непривычна и такого поклонника при себе держать не намерена, однакоже так вяло оборонялась, что, как бы отстраняя его одним мизинцем, всею рукою к себе привлекала.

Ибо я пребывала в великом колебании, не зная, как мне себя повести: чрезмерную застенчивость он может почесть гордостью, а излишнюю предупредительность, пожалуй, назовет легкомыслием. Итак, долгое время держала я его в неизвестности, полагая таким путем либо прочно испытать его верность, либо полностью удостовериться в его лукавстве. Так препровождала я жизнь свою без малого год, пока от частых свиданий и многоразличных собеседований не почувствовала я себя столь тяжко раненой, что хоть не чаяла для себя блаженного рая, но поистине жила, как в аду, пока не оправдались мои надежды.

Ибо подобно тому, как черное дерево зажжено быть не может, однакоже горит и сладостное расточает курение, так и душа моя, хоть и не могла воспламениться (потому что почитала я себя благоразумной), все же почти в пепел истлела от любезных приятств и сладких мечтаний, так что приключилось со мною, как с оными деревами, пораженными молнией, у коих кора не тронута, но вся сердцевина сокрушена, ибо по внешности казалась я невредимой, но, заглянув в душу, находила оную не без ранений.

Тогда заметила я, что уже настала пора прибегнуть к тому врачу, что всегда под рукою, и решила при ближайшем свидании заключить такой верный и несокрушимый сердечный союз, коего ни длительность времени, ни дальность расстояния, ни угрозы родни, ни превратности фортуны, ни даже страх смерти не нарушат и не умалят, — что подлинно тогда же было скреплено и до сей поры свято соблюдается.

Тирс, как тебе известно, с той поры все время пребывает за морем, но память о его верности составляет единственное утешение моей жизни. И ничем я столько не услаждаюсь, как постоянством доброго моего Тирса.

И вот, Фидус, я в сем случае взываю к твоему благородству; да будет оно судьею над моею честью. Хотел ли бы ты видеть меня изменившей старому другу и преданной новому? Или тебе не ведомо, что подобно тому, как миндальное дерево в старости больше плодов приносит, так и любовь становится тем вернее, чем она старше. Так же с любовью бывает, как с виноградником, ибо от молодых лоз вино обильнее, а от старых — лучше; также и первая нежная любовь пышнее щеголяет цветами, но любовь испытанная сладчайший сок источает.

А теперь еще добавлю (но не для того, чтобы придать смело-

сти твоим домогательствам), что в твоем обществе было мне приятнее, чем в чьем-либо ином (за изъятием одного моего Тирса), отчего я нередко то вопросами побуждала тебя к разговору, то размолвками распаляла твою запальчивость, ибо замечала в тебе разум, отвечавший моим желаниям, каковой намерена я была еще тщательней изощрить в искусной беседе. Но будь ты по внешности Александром, а мой Тирс Терситом, будь ты Улиссом, а он Мидасом, ты Крезом, он Кодром, — я не покинула бы его ради тебя. Нет! — если бы даже могла тем продлить твою жизнь или спасти свою; ибо столь прочные корни пустила в моем сердце верная любовь, что чем крепче разрывают, тем глубже она врастает, чем чаще обрезают, тем меньше она кровоточит, чем больше дает она плодов, тем свободнее несет их тяжесть.

Что на сем бренном свете больше заслуживает женской похвалы, нежели постоянство влюбленного? Не ум его я ценю, хоть он и блестящ; не род его, хоть он и знатен, не благовоспитанность, хоть неизменно вежлив он в обхождении, — нет, только его постоянство и свою верность, которых ни один тиран, ни самая смерть не сломят вовеки. Ибо никто никогда не скажет, что Иффида изменила Тирсу, если даже Тирс (чего не попусти, боже!) покинет Иффиду.

Ибо подобно тому, как Амулий, хитроумный живописец, так изобразил Минерву, что с какой стороны на нее ни взгляни, она всегда смотрела прямо на зрителя, — так и Купидон с таким совершенством начертал в сердце моем образ Тирса, что, куда я ни погляжу, все кажется, будто Тирс не спускает с меня пристального взора. И даже, видя, как люди любуются моей красотой (хотя, бог свидетель, в ней нет ничего выдающегося), я нередко желала обладать взглядом Августа Цезаря, дабы ослеплять их острыми и жгучими лучами своих очей.

Такую мощь сообщили моей любви время и привычка, что ежели бы умер Тирс, то я хотела бы быть вместе с ним погребенной, в подражание тому орлу, взращенному девою Сестой, который, узрев останки девы на погребальном костре, бросился в огонь и вместе с нею сгорел или подобно тем Гиппократовым близнецам, что родились вместе, смеялись вместе, плакали вместе и умерли вместе.

Ибо, как Александр свое изображение никому не доверил вырезать на драгоценном камне, кроме одного Перготала, — так и я хотела бы, чтобы никто, кроме Тирса, не запечатлел моего образа в своем сердце.

Прими в рассуждение, Фидус, что прекрасная женщина без постоянства уподобляется пышнозеленому дереву без плодов и напоминает изваяние Флоры, созданное Праксителем [а]: если стать прямо против статуи, то она казалась плачущей, если стать сле-

[а] *Флора* — богиня цветов и весны, *Праксителъ* — гениальный греческий ваятель IV в. до н. э.

ва — то смеющейся, а справа — спящей; этим он хотел показать непостоянство ее повадок, единым оттенком не передаваемое.

И все же из-за великого твоего ко мне благорасположения я не могу отринуть твоей службы, хоть я не допущу до себя твоей любви. Но ежели моя родня или я сама, или богатства мои, или добрая моя воля могут тебе заменить любовь, то все это — к твоим услугам. Или ежели постоянное пребывание в моем обществе может сколько-нибудь удовлетворить твои желания, то я готова ухаживать за тобою столь же преданно, как твоя сиделка, и буду заботливее твоего врача. Больше этого я, без нарушения своей верности, обещать не могу; больше этого ты, не прослывши безумцем, не можешь требовать.

Прими же от меня, Фидус, сей алмаз, коему старухи, как я слышала, приписывают великую силу против праздных мыслей, суетных мечтаний и безумных фантазий, и ежели он не принесет тебе пользы, то, будь уверен, и вреда не причинит, мне же представляется он более действительным в борьбе с околдованным воображением, нежели Гомерово моли[а] или Плиниев кентаврион».

Когда моя дама закончила сию необыкновенную речь, я был поражен изумлением и в течение почти получаса лежал, как бы оцепенев, с глазами в орбитах неподвижными, с лицом обескровленным, с устами бездыханными, так что Иффида громкими возгласами принялась звать людей, которые и привели меня в чувство, после чего я слабым и заплетающимся языком произнес нижеследующие слова:

«О госпожа! Я не в силах ни выговорить столько слов, сколько бы мне хотелось (ибо, как видите, я очень слаб), ни воздать вам столько благодарений, сколько бы следовало, ибо вы заслужили их несметное множество. Ежели Тирс посадил лозу, то не мне собирать гроздья, и незаконно было бы мне там пожинать с наслаждением, где он сеял с мучением. С меня сего довольно, и немалая мне в том отрада, что вы столь постоянны, а он столь счастлив. И все же, добрая госпожа моя, даруйте мне небольшую милость, ни в чем не предосудительную для неизменной любви вашей, а посему без сомнения законную, а именно, дозвольте мне за время моей болезни наслаждаться вашим обществом, а в случае исцеления примите меня в качестве услужающего рыцаря: первое ускорит мое выздоровление, а второе продлит мой век».

Она любезно согласилась на то и другое и так заботливо ухаживала за мною во время болезни, что от ее веселых шуток и хорошего питания стал я поправляться и вскоре уже прогуливался на галерее, примыкавшей к самой моей горнице, а она не брезгала меня водить и все время обходилась со мною, словно бы я был Тирсом.

Каждый вечер она, бывало, предлагала к развлечению какую-нибудь изящную контроверсу[б] или другой веселой игрой ума вы-

[а] Μωλυ — чудодейственный цветок («Одиссея», X, 305).

[б] *Контроверса* — спорный вопрос.

водила меня из меланхолии. Суп я ел только ее варения, мясо — только ее изготовления, сон смежал мои очи только под ее пение, поелику была она мне и сиделкой, и поваром, и лекарем. Так-то будучи ею в течение месяца ублажаем, стал я вновь сильным и здоровым, точно вовек не хворал.

А теперь, Филавт, рассуди нелицеприятно, что в этой даме более примечательно: постоянство ли в любви к Тирсу или любезность в отношении меня?

Филавт ответствовал: «Воистину, Фидус, по моему разумению, не менее надлежит восхвалить ее за нерушимую верность, нежели прославить за оказанные тебе благодеяния, каковым добрым обхождением превесьма отличается она от наших итальянских дам, которые, ежели уж верны одному, то презирают всех прочих, проявляющих к ним любовь. Однакоже я жажду услышать конец, ибо сдается мне, что дело, начатое с такой горячностью, не должно завершиться горькой холодностью».

Филавт! окончание было кратко и плачевно, но, каково бы оно ни было, ты его услышишь. Не малое время прохладившись в деревне, возвратилась она ко двору, и я поехал туда же и жил там (подобно слону, питающемуся воздухом) единым лицезрением своей дамы, она же всегда пользовалась мною в самых потайных делах, как наинадежнейшим своим наперсником. Но радости мои слишком были сладки, чтоб продолжаться вечно, — и вот, в самый расцвет моего благополучия дошла до Иффиды весть, что Тирс, сражаясь под знаменами испанского короля, убит турками в кровавой сече, в коей многие благородные люди простились с жизнью.

Иффида помутилась в рассудке и от этих вестей впала в некое умоисступление, причем из уст ее исходило только: «Тирс убит, Тирс убит»... каковые слова повторяла она со столь жалостными стенаниями и воплями, что могла бы растрогать даже воинов Улисса. Под конец силой рачительного ухода и мер, принятых врачебным искусством, она пришла в чувство, я же в то время написал ей множество посланий, уговаривал сносить терпеливо кончину возлюбленного, чью жизнь вернуть уже невозможно, каковые письма я покажу тебе на досуге.

Но особливо примечательно то, что никакие улещения не могли вновь привлечь ее к любви, и неизменно ходила она в черном одеянии, никогда не появлялась там, где больше всего жаждали ее присутствия. Однако по прошествии пяти лет начала она понемногу прислушиваться к давним моим любовным изъяснениям, в искренности коих получила такие доказательства, что не могла уже считать любовь мою построенной на сластолюбии или обмане.

Но судьба пресекла мою любовь, пресекши жизнь Иффиды, ибо, захворав вредоносной горячкой, она скончалась, — и как сие меня поразило, о том я не намерен рассказывать, но, немедля покинув двор, я с того времени проживаю в здешних местах и тут намерен оставаться, покуда не призовет меня смерть.

ЛОДЖ

Томас Лодж (Thomas Lodge, ок. 1556—1625 гг.) — видный представитель прециозной школы Лили. Окончил Оксфордский университет. Штудировал в Авиньоне медицину, был врачом. В поисках приключений совершил путешествия на Канарские острова (1588 г.) и в Южную Америку (1591 г.). Творческое наследие Лоджа многообразно. Он был драматургом, поэтом, романистом, критиком. Защищал поэзию и театр от нападок пуритан. В историю литературы вошел главным образом как автор романа «Розалинда, золотое наследие Эвфуэса» («Rosalinde, Euphues' Golden Legacy», 1590 г.), из которого Шекспир заимствовал сюжет своей комедии «Как вам это понравится». Подобно автору «Эвфуэса», Лодж уснащает текст своего романа изысканными антитезами, сравнениями, цитатами из античных и французских поэтов. Однако прециозный элемент играет в «Розалинде» несколько меньшую роль, чем в романе Лили. От «Эвфуэса» роман Лоджа отличает также наличие в нем авантюрного элемента, которым пренебрегал Лили. В этом отчасти сказывается влияние эллинистического романа, весьма ценившегося в литературных кругах Европы XVI—XVII вв. Характерны для романа и пасторальные мотивы, восходящие как к античной, так и европейской пасторальной литературе эпохи Возрождения (Саннадзаро, Спенсер, Сидней и др.). Галантные пастухи, живущие в Арденском лесу, устраивают между собой поэтические состязания, как в эклогах Вергилия, изливают в изысканных стихотворениях свои чувства к пастушкам, вырезывают любовные мадригалы на коре деревьев. Шекспир в своей комедии «Как вам это понравится», опустив ряд эпизодов «Розалинды», все же весьма близко следует за развитием действия в романе, сравнительно мало изменяя его сюжет.

Из «РОЗАЛИНДЫ»

Едва Розалинда окончила свой мадригал, как вошел Торисмонд со своей дочерью Алиндой и со многими пэрами Франции, которые были влюблены в красоту его племянницы[а]. Торисмонд, зная это и боясь, что ее совершенство послужит ему во вред и что его надежды погибнут в завязи, решил изгнать ее из своего двора: «Ее лицо, — говорил он про себя, — исполнено такой прелести, что оно возбуждает жалость во всяком, а красота ее столь божественна и дивна, что она может стать для меня тем, чем была Елена для Приама. Кто-нибудь из пэров добьется ее любви и брака с ней, а затем, по праву своей жены, будет покушаться на мое королевство. Чтоб не допустить этих действий, я решил не оставлять ее при дворе: пусть она, как изгнанница, отправляется

[а] *Розалинда* — дочь короля, несправедливо изгнанного из своих владений жестокосердным узурпатором Торисмондом.

к отцу иль изберет себе другую долю». В таком настроении и с лицом суровым и гневным он, в присутствии пэров, повелел ей в ту же ночь покинуть столицу: «ибо, — сказал он, — я слышал о твоих честолюбивых речах и предполагаемой измене». Этот приговор показался странным Розалинде, и она, покрытая щитом своей невинности, немедленно и смело в почтительных выражениях попыталась оправдаться, но Торисмонд не пожелал допустить никаких возражений, а его лорды, видя гнев на его лице, не посмели ходатайствовать за Розалинду, хотя некоторые были влюблены в нее. Когда они стояли молча, а Розалинда пребывала в изумлении, Алинда, любившая ее больше самой себя, с горестью в сердце и со слезами на глазах, упав на колени, стала так умолять своего отца:

РЕЧЬ АЛИНДЫ В ЗАЩИТУ РОЗАЛИНДЫ

«Могущественный Торисмонд, если я преступна, моля о своем друге, пусть закон любви просит прощенье за мою смелость: там, где приязнь глубока, дружба дает такое право. Розалинда и я повиты с детства и взлелеяны под кровом взаимного содружества и такой близости, что привычка создала единенье нашей природы, а сочувствие и привязанность наши — такую тайную любовь, что у нас два тела, но одна душа... (Розалинда) почитала в вас своего приемного отца, не выражала неудовольствия в словах, не питала его в мыслях, как ясно всем, не выковывала мести, во всем стараясь лишь угодить вам и заслужить мою любовь. О ее мудрости, скромности, чистоте и других отменных качествах мне нет нужды говорить. Мне только остается заключить в одном слове, что она невинна. Поэтому, коль судьба, торжествующая в наших несчастьях, нашла для выполнения своих козней завистника, готового запятнать Розалинду подозрением в измене, пусть он станет перед нею лицом к лицу и со свидетелями подтвердит свое обвинение. Если он докажет свое обвинение, пусть она умрет, и сама Алинда выполнит эту казнь...»

. . . . . .

Лицо Торисмонда при речи Алинды нахмурилось так, что, казалось, тиранство победоносно царило на его челе, и он остановил ее такими угрозами, что заставил дрожать лордов, хотя они были только свидетелями:

«Гордая девушка, — сказал он, — ужели мои взоры сделали тебя настолько болтливой, или моя милость поощрила тебя быть столь дерзкой, что ты осмелилась поучать отца? Разве мои годы не дали мне больше опыта, чем твоя юность, и зима моих лет не научила меня большей мудрости в государственных делах, чем твои цветущие дни? Старый лев избегает капкана, а молодой прыгает в сеть; заботливость старости предвидит многое; подозрение — добродетель там, где человек держит на своей груди врага. Ты, безумная девчонка, меришь все по привязанностям минуты и, как внушает

тебе любовь, так и судишь. Но если бы ты знала, что, любя Розалинду, ты высиживаешь птицу, которая выклюет твои же глаза, ты умоляла бы об ее удалении так же горячо, как теперь наслаждаешься ее присутствием. Но что говорить с тобой о государственной мудрости? Займись хозяйством и садись за иглу; если праздность делает тебя настолько распущенной, а свобода — настолько наглой, я наложу на тебя более тяжелую задачу. А ты, девушка, сегодня же убирайся в Арденский лес к своему отцу или, коль хочешь, куда-нибудь в другое место: ты не останешься при моем дворе».

Этот суровый ответ Торисмонда совсем не смутил Алинды, и она продолжала ходатайствовать за друга, прося отца, коль он не отменит своего приговора, позволить ей быть товарищем Розалинды по изгнанию. В случае его отказа она или тайно уйдет и последует за ней, или покончит свои дни насильственной смертью. Когда Торисмонд увидел, как непреклонна его дочь, его сердце окаменело, и он окончательно и непреложно решил изгнать обеих, что немедленно было исполнено. Тиран предпочитал утрату единственной дочери случайности потери власти. Так подозрительна и боязлива совесть похитителя престола... Огорченная Розалинда села и заплакала, но Алинда улыбнулась и, усевшись рядом с подругой, начала утешать ее так:

УТЕШЕНИЕ АЛИНДЫ

«Неужели, Розалинда, лишь только превратная судьба посмотрела на тебя хмуро, ты уже смущена? Другим, жалующимся на беды, ты обычно говорила, что лучшая целительная мазь для несчастья — терпение и что единственное врачевание нужды — драгоценный пластырь довольства. Коль ты такой хороший врач для других, не применишь ли ты свое лекарство к себе? Но, может быть, ты скажешь:

«Consulenti nunquam caput doluit» [а].

Ну, что ж, коль больные этой болезнью не находят ни разума, чтоб убедить себя, ни искусства, чтобы излечить, ты все-таки, Розалинда, выслушай совет друга и примени лечение, чтобы успокоить горе. Если ты скорбишь о том, что зависть довела до такой крайности тебя, дочь короля, то вспомни, что королевская власть недурная цель, что корóна имеет свои горечи, когда в хижине царит радость, что в красивейшей розе скорее заводится гусеница, и чем драгоценней жемчуг, тем легче он подвергается порче, что с самым высоким происхождением связаны и большая честь и большая зависть. Если судьба поражает прекраснейшую, будь терпелива, Розалинда, и утешься хоть тем, что благодаря изгнанию ты отправляешься к своему отцу: природа

[а] У дающего советы голова никогда не болит.

бо́льший дар, чем богатство, и любовь родителей должна быть дороже высокого сана. Почему моя Розалинда огорчена гневом Торисмонда, который, желая ее обидеть, дает ей радость? Еще большее безумство, милая, в том, что ты грустишь, когда с тобой Алинда, твой друг, которая будет делить с тобою все несчастья, которая покинула своего отца, чтобы итти с тобой, предпочитая перенести все крайности, но не покидать тебя.

«Solamen miseris socios habuisse doloris» [а].

Будь веселее, дорогая: мы в величии делили ложе, мы будем вместе в бедности, вечно я буду твоей Алиндой, как ты останешься навек моей Розалиндой, так что свет превознесет нашу дружбу и будет говорить о Розалинде и Алинде, как он говорит о Пиладе и Оресте [б], и если судьба снова нам улыбнется и мы вернемся к былой почести, то мы, отдавшиеся нежной дружбе, вспоминая минувшие беды, весело скажем:

«Olim haec meminisse juvabit [в]».

Тут Розалинде стало не так грустно, и, поплакав на груди Алинды, она от всего сердца поблагодарила ее, а затем они сели, чтобы потолковать о путешествии. Алинду более всего смущало, что с ними не будет мужчины и что возникнет предубеждение к ним, двум женщинам, странствующим без проводника и без слуги.

«Пустое! — ответила Розалинда, — разве ты не женщина и нет у тебя выдумки, чтоб отвратить беду? Я, как ты видишь, высокого роста, и мне очень пристало бы звание и одежда пажа. Ты будешь моей госпожей, а я буду изображать мужчину так удачно, что, поверь мне, в каком обществе я ни буду, меня не уличат. Я куплю мужской наряд и буду изящно носить рапиру, и если какой-нибудь неуч будет дерзок, твой паж направит на него острие своей шпаги».

На это Алинда улыбнулась, и они так порешили; немедля они собрали все свои драгоценности, которые они уложили в ларчик; Розалинда поспешила достать себе одеяние, и Алинда сменила свое королевское платье на более скромное. Переодевшись, два друга отправились в путь, переменив свои имена: Алинда назвалась Алиеной, а Розалинда — Ганимедом. Они путешествовали вдоль виноградников и, наконец, проселками добрались до леса, по которому они шли два или три дня, не видя живого существа, подвергаясь опасности от диких зверей и очень часто отдаваясь страстному горю. Иногда тяжкая забота шла по их следам, и Алинда вспоминала свое былое величие, но, когда она бросала взгляд на свою Розалинду, она считала, что каждая опасность — ступень к чести. Так подвигаясь вперед, они как-то в полдень

а Несчастным утешение иметь товарищей по несчастью.

б *Орест* и *Пилад* — герои античного мифа, неразлучные друзья.

в Некогда будет полезно вспомнить это.

подошли к источнику, окруженному рощей кипарисовых деревьев, столь искусно растущих, что казалось, будто какая-нибудь богиня упросила природу воздвигнуть ей беседку. У этого источника Алиена и Ганимед сели и, достав свои припасы, стали весело есть, словно они были в Париже, окруженные королевской роскошью, хотя Алиена печалилась, что им не удается встретиться даже с пастухами, чтоб расспросить их о месте, где они могли поселиться. Тут Ганимед, взглянув вверх, заметил, что на дереве были вырезаны какие-то стихи, усмотрев которые, он воскликнул:

«Не унывайте, госпожа, я чувствую присутствие людей, ибо здесь, на этих деревьях, вырезаны стихи какого-то пастуха или другого поселянина, живущего поблизости».

. . . . . .

«Посмотрим», — сказал Ганимед, и тут они прочли фантазию такого содержания.

ФАНТАЗИЯ МОНТАНУСА

Пускай исчезла б ночью тень,
Поблекли все цветы в апреле,
Пускай на век затмился день,
Лучи бы солнца нас не грели,
Но, не поддавшись злой судьбе,
Я был бы верен, друг, тебе.

Скорей в морях не будет волн,
Скорей замолкнут все поэты,
И будет мир наш скуки полн,
Скорей померкнут все планеты
В ужасной меж собой борьбе,
Но я не изменю тебе.

Коль воцарится здесь любовь,
Коль злобы на земле не будет,
Коль литься перестанет кровь,
Коль смерть губить нас позабудет,
Внимая жалостной мольбе,
Все ж верен буду я тебе.

Пусть время остановит бег,
И хлеб сожнем мы средь зимы,
Пускай в июле будет снег,
Весны пусть не увидим мы,
Не замолчит моя хвала,
Хотя б жестокой ты была.

«Без сомнения, — сказал Ганимед, — это признание вылилось у человека, преисполненного страсти».

«Я это также полагаю, — сказала Алиена, — но посмотри, как мужчины многими ложными обещаниями улещают несчастных женщин, когда те стремятся сохранить чистоту. Они завлекают их нежными словами, подобно сиренам, а потом оказываются вероломными, как Эней. Так обещал Демофон своей Филиде, а кто оказался обманщиком?»

«Причина этого, — ответил Ганимед, — была та, что они были рождены женщинами и унаследовали этот порок от своих матерей, ибо родись мужчина от мужчины, как Адам родился от земли, они бы никогда не грешили непостоянством».

«Замолчи, — сказала Алиена, — не насмехайся так язвительно, а то я стащу с тебя одеянье пажа и выпорю тебя крапивой, как порет Венера своих шалунов».

«Так ты хочешь склонить меня к лести, но в этом нет нужды, — сказал Ганимед. — Мы нашли тут у источника следы пастухов — их мадригалы и песни. Пойдем дальше; мы найдем или стада и овечьи загоны, или какие-нибудь хижины, где отдохнем день или два».

«Согласна», — сказала Алиена, и затем они встали и продолжали свой путь до вечера.

. . . . . .

В этой роскошной куще сидели два пастуха, наблюдая за пасущимися овцами, приятно играя на свирелях и после музыки и пения дружески беседуя. Приблизившись, мы увидели, что выражение одного было исполнено печали, его лицо было олицетворением неудовольствия, и его глаза были полны скорби: он, живя, казалось, умирал. Мы, дабы узнать, кто они, спрятались в чаще, откуда подслушали следующий разговор:

ПРИЯТНАЯ ЭКЛОГА МЕЖДУ МОНТАНУСОМ И КОРИДОНОМ

Коридон

Мой пастушок, к чему твоя печаль?
Оставил ты свирель. Забыл ты радость.
К чему тоска? Так мимолетна младость!
Ужель тебе бегущих дней не жаль?
Сосной ты полюбуйся, белым маком,
Сулят они покой, зовут нас в тень.
Так пой, доколь нам Феб дарует день,
Доколе ночь не скрыла все под мраком.

Монтанус

Ах, Коридон, я скорбен по вине
Надменной Фебы. Так к чему напевы?
Погублен я презреньем юной девы.

Пропала радость. Все докучно мне.
. . . . . .
Покоя нет. Теперь я с горем дружен.
Себе я враг, и сам себе постыл.
Могу ль я петь? Я песни позабыл.
Тоскою и печалью я недужен.

Коридон

А что любовь? Она не небо — ад,
Прекрасный вред иль сладкая отрава;
В ней правды нет, лишь яркая оправа,
Прекрасный гроб, а в нем гниющий клад.
. . . . . .
Цветок красивый, что увянет вскоре,
Пленительные сети для ума,
Для радости — тлетворная чума,
Немного счастья и печали море.
Монтанус милый, выслушай совет:
Я много жил, и я постиг немало.
Любовь — обман, безумству покрывало.
Знай, доблести в горячке страсти нет.

Монтанус

О, Коридон, хоть прожил ты не мало,
И к старости ты опыт накопил,
Поверь ты мне, в любви я полон сил,
Тебе ж ее порочить не пристало.
. . . . . .
Сплетаются мечты в волшебный лад
При мысли о любви. Спадают узы.
Чело мое венчают лавром Музы.
Святых восторгов нахожу я клад.
Тебя пою, тебя я славлю, Феба;
В моих созвучьях мира красота,
И сфер надзвездных глубь и чистота,
И все величье и безгрешность неба.
Стихи текут. Оттенки дальних гор,
И ропот волн, и листьев легкий трепет
Несу к твоим ногам. Прими и лепет
Тоски, что вызвал твой лучистый взор.
. . . . . .
За милую мне дорога тревога
И безнадежность, что звучит в мольбе.
Тот славен лишь, кто победил в борьбе;
Чрез дол печали — к небесам дорога.

Хоть я скорблю, о милый Коридон,
Но верь, блаженство для меня в печали,
Что Феба и любовь мне ниспослали.
Пусть будет мне уделом плач и стон.

Коридон

Не верь любви. Она лишь наважденье,
Затмившее твой взор; она лишь бред;
Не медли, друг мой, и беги от бед.
Пускай скорей настанет пробужденье.
Нет счета рыбам в глубине морей,
Иль овцам, что пасутся по равнинам,
Иль пчелам, что роятся по долинам,
Иль бурям, что на землю шлет Борей,
Возможно ль звезды подсчитать наукам,
Цветы ль, что порождает блеск лучей,
Исчислит муки ада разум чей?
Так и в любви нет счета нашим мукам.

Монтанус

Нет, Коридон, любовь ты не вини.
Не убеждай. Я буду верен Фебе.
Уже заря, смотри, алеет в небе.
Пора! Свои стада домой гони.

Лишь только пастухи кончили свою эклогу, Алиена и Ганимед выступили из чащи. При их внезапном появлении пастухи встали, и Алиена приветствовала их так:

«Привет вам, пастухи, ибо таковыми мы вас считаем, глядя на ваши стада. Привет вам, влюбленные, ибо таковыми вы кажетесь по страстям. Свидетелями одного — наши глаза, другого — наши уши. Хотя не по любви, но по доле я — скорбная дама, столь же печальная, как вы страстны, и полная тоски и недоуменных мыслей. Блуждая одна со своим пажем, истомленная дорогой, я желала бы найти место отдыха. Можете ли вы назначить нам место спокойного приюта; будь оно смиренно, я буду признательной вам, довольна и благодарна тому, кто будет моим хозяином».

Коридон, слыша, как учтиво говорит с ними дама, ответил дружелюбно и почтительно:

«Прекрасная госпожа, мы говорим тебе «добро пожаловать» так же сердечно, как ты нас приветствовала. Да, я пастух, а он влюбленный, равно заботливый в угождении милой, как в пастьбе своих овец, полон мечты, а потому, говорю я, способный на всякие безумства. Убеждать я его могу, но убедить я не в силах, ибо любовь не допускает ни совета, ни разума. Но, предоставляя его страстям, я скажу, что я скорблю, коль такое прекрасное суще-

ство, как ты, впало в несчастье. Молиться за тебя я могу, но облегчить тебя я не в силах. Конечно, коль ты нуждаешься в пристанище и удостоишь искать приют в хижине пастуха, мой дом на эту ночь будет твоим убежищем».

Алиена горячо благодарила Коридона и немедля села, а Ганимед — рядом с ней. Коридон, внимательно рассмотрев ее и с любопытством видя все ее совершенства, мысленно хвалил ее достоинство; сочувствуя ей и желая узнать причины ее бедствий, начал вопрошать ее так:

«Коль я, прекрасная барышня, не наношу тебе беды и не оживляю твои печали, трогая рану, я умоляю тебя милостиво поведать мне свои печали и почему ты странствуешь в таком опасном лесу и куда держишь путь со своим пажем?»

Алиена, столь любезная, сколь прекрасная, дала такой ответ:

«Пастух, дружественный вопрос никогда не бывает оскорбительным, и, коль он учтив, прощенье дается заранее. Знай, коль я поведаю тебе о своей доле, я оживлю свою печаль и, говоря о своих невзгодах, я из пепла выгребаю огонь. Но довольно об этом, любезный пастух: мое несчастье столь же велико, сколь мое путешествие опасно; я странствую по этому лесу в поисках хижины, где я могла бы проживать вместе со своим пажем, ибо я хочу купить хутор и стадо овец и, став пастушкой, жить скромно и довольствоваться деревенской жизнью. Я слышала от поселян, что они пьют без подозрений и спят без забот...

НЭШ

Томас Нэш (Thomas Nash, 1567—1600) — английский писатель. В 1586 г. получил степень баккалавра в Кэмбриджском университете. Путешествовал по Франции и Италии. Вел жизнь, полную лишений. Писал пьесы, а также сатиры и памфлеты, в которых смело бичевал пороки современной Англии. Нэш обнаруживает неукротимое остроумие, пишет языком сочным и сильным, близким к народному, являя собой полную противоположность эвфуизму. Его наиболее значительное создание — первый английский реалистический плутовской роман «Злополучный странствователь, или жизнеописание Джека Уильтона» («The Unfortunate Traveller, or The Life of Jack Wilton», 1594 г.), написанный под известным влиянием испанской плутовской повести (английский перевод «Ласарильо с Тормеса» появился в 1568, 1576 и 1586 гг.). В этом романе, обильном всевозможными происшествиями то занимательными, то мрачными, Нэш описывает похождения плутоватого Джека Уильтона в Англии и за ее пределами (главным образом в Германии и Италии). Сперва Уильтон — паж при дворе Генриха VIII, повествует о своих проделках в английском лагере под Турне во Франции (отрывок «Джек Уильтон и маркитант»). Возвратившись в Лондон, Уильтон становится пажем герцога Серрей, с которым он направляется в Виттенберг (Германия). В день приезда им пришлось присутствовать при торжественном приеме герцога Саксонского (отрывок «Джек Уильтон в Виттенберге»). В Италии Уильтон переживает ужасы чумы, сопровождаемой ростом насилий, убийств и прочих преступлений. Похождения его приобретают мелодраматический, мрачный характер. В финале романа он раскаивается в совершенных им дурных поступках, хотя и не возвращает украденных денег, женится и доживает свои дни в довольстве и покое.

Приводимые отрывки взяты из статьи В. Лесевича «Происхождение романа в Англии, Томас Нэш» («Русская мысль», апрель 1901 г.).

Из «ЗЛОПОЛУЧНОГО СТРАНСТВОВАТЕЛЯ»

ДЖЕК УИЛЬТОН И МАРКИТАНТ

[Первая проделка, обозначившая пребывание пажа в армии, была направлена против маркитанта, выдавшего себя за лорда]

«Пусть он так и останется лордом — лордом сумятицы и бесчинства, — рассказывает Джек Уильтон. — И вот этот-то великий лорд, достойный лорд, благородный лорд, вовсе не считал унижением для себя (сохрани Бог!), если его широкие плисовые штаны оказывались залитыми тем восхитительным напитком, которым он торговал, а ведь он считался старым служакой, пред-

ставителем знатного дворянского рода, как то и подтверждалось гербом его предков, тщательно нарисованным мелом на внутренней стороне двери его шатра. Его именно, а не кого другого, избрал я жертвою моей бесстыдной затеи. Придя к нему однажды, как раз в то время, когда он считал свои бочонки и на каждом отмечал мелом его цену, я почтительно раскланялся и объявил, что желаю сообщить ему некоторое секретное дело, если только ему угодно будет принять меня в частной аудиенции. «Ты хочешь поговорить со мною, юный Уильтон; пожалуйста! Пусть подадут нам пинту сидра из только что откупоренного бочонка, поставят стаканы и вымоют кувшин». С этими словами он ввел меня в другую комнату и здесь, поплевав на пальцы, сперва почистил покрытую пылью бархатную шапочку, потом обтер слюну со своей невзрачной козлиной бородки и тогда уж, выпив за мое здоровье, он попросил меня рассказать о том деле, ради которого я к нему пришел. Приступая к делу мешкотно и с хитрецой семнадцатилетнего юнца, я повел прежде всего речь о том расположении, которое я всегда питал к нему, отчасти благодаря его высокому происхождению, отчасти под влиянием того трогательного участия, с которым он относился к бедным солдатам, доводимым иной раз нуждою до последней крайности. Теперь же, благодаря ему, снизошедшему до положения маркитанта (редкий пример щедрости и редкий образец высокой благовоспитанности!), всякий, не пускаясь в дальние розыски, может за свои деньги наполнять свое брюхо и сидром и сыром. Притом же, сидр и сыр продаются тут не только оптом, но и в розницу, так как хозяин добровольно унижает себя до того, что берет в руки нож (орудие, не достойное такой высокой особы) и с точностью строгого блюстителя правосудия отрезывает им тончайшие ломтики ценою в один пенни, так что сердце радуется на него глядя. То же самое можно сказать и о сидре: бедный человек может получить свою умеренную порцию (умеренность надо ведь соблюдать во всем) точно так же, как и богатый; всякий получает за свои деньги, сколько ему надо... «Уже один этот простой полотняный передник, который ради сохранения вашего костюма от забрызгивания вы надеваете, точно какой-нибудь заурядный разливальщик пива, уже он один в достаточной мере выдает вашу скромность. Так как вы принимаете по-товарищески всякого посетителя, то, кто бы ни явился сюда — будь то солдат или просто какой-нибудь добрый малый, — вы усаживаетесь с ним и держите компанию до последнего стакана. Если же кто-нибудь вздумает запросто выпить: «За ваше здоровье, хозяин!», вы принимаете это приветствие так, как будто при этом были перечислены все титулы, подобающие вашему баронству. Эти соображения, — говорю я, — уносимые у большинства потоком равнодушия, во мне возбудили заботу о вашем благополучии и побудили меня предупредить вас об опасности, угрожающей вам и вашим бочонкам».

При слове «опасность» он вскочил и ударил кулаком по столу

с такою силою, что прислужник, полагая, что этот стук следует отнести на его счет, крикнул: «Сейчас!» и, войдя с поклоном, спросил, что требуется. Он готов был приколотить его, досадуя за перерыв столь интересовавшего его повествования, но из опасения произвести на меня неприятное впечатление он укротил свое раздражение и, ограничась тем, что помянул чорта, послал прислужника за свежей пинтой сидра. Приказав ему вслед за тем присматривать за лавкой, он велел не приходить, пока его не позовут. Теперь, подчиняясь его требованиям и пропустив глоток сидра, который должен был облегчить доведение моей лжи до конца, я сообщил ему следующее: мне пришлось-де вместе с другими пажами быть при заседании совета, на котором присутствовал король, лорды и многие важнейшие военные начальники. «На этом заседании в ряду других разных серьезных предметов, которые обсуждались, и сведений о неприятеле, которые сообщались, шла также речь и о полученном частным путем извещении, будто вы, именно вы... (О, отсохни у меня язык, чтоб я не был в состоянии досказать все это до конца! Нет меры тому, как опечаливает меня этот во хмелю совершонный поступок и до какой степени он лишает меня сил для окончания этого повествования!)»

И вот мой пьяный хозяин, нетерпеливо ожидавший конца рассказа, навалился ко мне на шею и стал умолять меня, точно настоящего джентльмена, вывести его из этого адского напряжения и избавить от томительного ожидания. Потом он упал на колени, начал ломать себе руки и, думается мне, успел за это время выплакать весь тот сидр, который он пил в течение какой-нибудь недели, — все это только для того, чтобы вымолить у меня соболезнование. Наконец, он поднялся, надел мне на палец свое аляповатой работы кольцо, отдал мне свой замасленный кошелек с единственною находившеюся в нем монетою, обещал записать мне все свое имущество, сулил тысячу и других милостей, если я только положу конец терзающей его неизвестности, для выражения которой он не находил слов. Будучи по природе склонен к милости (Mercie), так как, в самом деле, знавал двух-трех прехорошеньких девчонок, носивших имя Mercie, я попросил его поберечь до времени свой слух и зрение, потому что, когда я открою ему свою душу, то ему придется услышать такой рассказ, который потребует напряжения последних физических сил, чтобы только дослушать его и не умереть ранее его окончания. «Ну, вот, хоть я сам, — сказал я, — что я такое? Не более, как только младенчески-доброжелательный к вам человек, а сколько я пролил слез от одной мысли, что лицо с таким положением и такими заслугами, как вы, могло быть оклеветано тайком какими-нибудь мужиками или лакеями. Не столько уносится воды под нашим мостом в Сити, сколько мой мозг излил потоков слез. Я плакал так неумеренно и расточительно, что мне думалось, будто слезы мои в самом деле льются ручьем. Что скажу вам еще? Злоба готовит вам погибель. Не меняйтесь в лице: никто не может очернить чистую совесть, но пока

вам приходится сразу взвалить на свои плечи все бремя постигающих вас бедствий.

«Королю нажужжали в уши, будто вы втайне дружите с неприятелем, и что, прикрываясь доставкой в лагерь сидра и фуража, вы снабжали ими и неприятеля и сверх того посылали ему в пустых бочонках письменные сведения и несметное количество зерна».

[Чтобы предотвратить грозящую маркитанту мнимую опасность, Уильтон советует совсем потерявшему голову бедняге открыть даровую раздачу сидра солдатам и таким образом стать популярным и любимым всеми. Маркитант объявляет, что готов поить их всех, пока они не лопнут, лишь бы только снять с себя наброшенное на него подозрение. Сперва все идет благополучно, но когда маркитант, предвидя свое разорение, заявляет о желании прекратить торговлю, обман пажа открывается, и с ним расправляются согласно обычаю того времени, что нисколько не препятствует ему, как заправскому пикаро, все же таки похваляться своей хитрой выдумкой.]

ДЖЕК УИЛЬТОН В ВИТТЕНБЕРГЕ

Так как герцог Саксонский состоит главным покровителем здешнего университета и принял сторону Лютера при упразднении мессы и других подобных папских учреждений, то они пресмыкаются перед ним до чрезвычайности. Главная церемония приема заключается в следующем: во-первых, главы университета — несомненно великие головы — в докторских своих нарядах встретили его «Secundum formam statu» [а], причем университетский оратор произнес свою ученую, или, вернее, полную излияний, речь (и в самом деле, дождь лил все время, пока она изливалась), выражая тем в достаточной мере, что речь эта, по крупинке да по зернышку, была выкрадена у Туллия [б], в чем герцог должен простить их, так как они поступили таким образом вовсе не для того, чтобы тщеславиться своим разумом (которого у них не имеется), а с одним только намерением показать ту необыкновенную преданность, которую они питают к герцогу (стоявшему перед ними под дождем, пока не промок совсем). Когда оратор окончил свою речь, выкрикнув «dixi» [в], и когда все пышное торжество таким образом завершилось, тогда шумное сборище злосчастных представителей низших степеней бросилось, как толпа нищих, к герцогу с криком: «Господь да спасет ваше высочество, Господь Иисус да сохранит ваше высочество, будь то хоть на один час!»

Грошовые обрывки латыни были при этом снова брошены ему в лицо, но эти обрывки — уверяю вас — были подобраны так, как можно подобрать даже и тряпье в сорной яме. При входе

[а] Согласно требованиям статута.
[б] Туллий — Цицерон.
[в] Я сказал.

в город герцога встретили граждане и дурацкие корпорации Виттенберга в их особенных ливреях и с их особенными физиономиями, обличавшими в них завзятых пьяниц. И в самом деле, цвет физиономий у всех их был тот же, что и цвет их ливрей: кровянокрасный, багровый, пурпуровый. Эти мерзкие плуты не останавливались ни перед какими расходами, которые приходилось нести городу для этого приема, припрятали еще кое-что для окраски заново своих питейных и публичных домов, которые у них лучше церквей. На городских воротах они поместили городской герб и надпись: «Vanhotten, slotten, irk bloshen glotten gelderslike», смысл которой, каково бы ни было значение заключенных в ней слов, был следующий: «пьянство — лучшее лекарство против всех болезней».

Выставленный такою компанией толстобрюхий чернильный оратор бюргер Вандергульке является ее истинным представителем: лицо у него широкое, толстое, пухлое, как у сарацина, глаза похожи на две кентские устрицы, рот — своего рода подобие люка — остается открытым все время, пока он говорит; его борода как будто сделана из растрепанного птичьего гнезда, состоящего из соломы, шерсти и навоза, перемешанных между собою. Одет он в обложенный мехом черный кожаный кафтан без складок на спине. Оратор этот, уснастив речь свою цветами красноречия и отборными цитатами, закончил приглашением принца посетить их попойки и убедиться, что чеснок имеет три свойства, заставляющие человека щурить глаза, пить и издавать дурной запах. «Так и мы, — закончил он, — будем щурить глаза на твои несовершенства, пить за твоих фаворитов, и тогда твои враги будут вынуждены издавать дурной запах в нашем присутствии. И да будет так!»

ДЕЛОНИ

Томас Делони (Thomas Deloney, 1543(?)—1600) — английский писатель. По профессии — ткач. В свое время пользовался значительной известностью, но впоследствии был забыт и «воскрешен» лишь в XX в. В романах «Джек из Ньюбери» («Jack of Newbery», 1594 г.), «Славное ремесло» (1597 г.) и «Томас из Рединга» (1602 г.) он воспроизводит быт ремесленных корпораций в переходный период. Эпоха становления мануфактуры нашла в нем своего выдающегося изобразителя. «Славное ремесло» посвящено обувному делу, другие названные романы повествуют о производстве сукна. По своей манере Делони — реалист. Подобно Грину и Нэшу (мастерам английского реально-бытового романа), он умеет видеть и в выразительных образах живописать окружающий его городской быт. Делони известен также, как автор баллад на различные злободневные темы.

На русском языке: «Джек из Ньюбери», перевод О. М. Новиковой; «Томас из Рединга», перевод С. А. Полякова, вступительные статьи П. С. Когана и Л. П. Гроссмана. Гиз, 1928 г.

ДЖЕК ИЗ НЬЮБЕРИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всем славным работникам английского сукна желаю я счастья в этой жизни, благосостояния, братского содружества. Между всеми ручными ремеслами страны ни одно не может сравниться с самым славным, самым выгодным и самым необходимым ремеслом суконщика. Оно столь же выгодно, сколь занимающиеся им достойны всяческой похвалы и поддержки. Многие люди, разумные и догадливые, хорошенько поразмыслив об этом вопросе, щедро вносили средства свои на процветание и поддержку этой чудесной промышленности, которая давала и дает возможность прокормить несколько тысяч бедняков. Вам, достопочтенные суконщики, я посвящаю мой грубый труд, который лежит перед вами. Он извлекает из-под пыли забвения достойного и славного человека по имени Джон Уинчкомб, по прозвищу Джек из Ньюбери. Жизнь и любовь его я изложил кратко, смиренно и просто, дабы лучше быть понятым теми, ради которых я взял на себя труд составить его жизнеописание, т. е. благонамеренными суконщиками Англии, которые смогут убедиться, каким почетом и признанием пользовались некогда члены их корпорации. Если вы примете мое произведение благосклонно, мое желание исполнено и мой труд

достаточно вознагражден. Но если ваше благородное великодушие ответит на мои надежды, то оно также побудит меня представить вам давние и забытые истории Томаса из Рединга, Джорджа из Глучейстера, Ричарда из Ворчейстера, Вильяма из Салюсбери и многих других, бывших среди самых почетных членов нашей ассоциации, людей очень известных и достойных. Пока же оставляю вас на волю всевышнего, и да поможет он преуспеянию и благоденствию промышленности суконщиков Англии.

Ваш смиренно готовый к услугам *Т. Д.*

ГЛАВА ВТОРАЯ

О большом богатстве Джека из Ньюбери.

Джек из Ньюбери был вдов и мог выбирать между многими женщинами, дочерьми весьма влиятельных людей и очень богатыми вдовами. Но он имел склонность лишь к одной из своих служанок; в продолжение года или двух он испытал ее способности в управлении домом. Зная, насколько она была старательна в делах, добросовестна в счетах и какая она была хорошая хозяйка, он решил, что лучше жениться на ней, хотя у нее не было ничего, чем на другой с целым богатством. Кроме всего прочего, она была стройна телом, красива и свежа лицом. В один прекрасный день он поделился с ней своими намерениями и спросил ее, хочет ли она за него выйти замуж. Принимая с благодарностью это предложение, молодая девушка заявила, что не может ни на что решиться без согласия своих родителей. Тогда было отправлено письмо к ее отцу, бедному крестьянину, жившему в Айльсбюри, в графстве Бюкингам. Весьма обрадовавшись такому счастью для своей дочери, он очень скоро приехал в Ньюбери и был дружески принят Джеком. Хорошенько его накормив, Джек повел показать ему всех своих людей за работой и все службы своего дома.

В большой и широкой мастерской стояло двести станков, и двести человек работали за этими станками. Рядом с каждым из этих рабочих сидел хорошенький мальчик и весело управлял челноками. Совсем близко отсюда в другой зале двести веселых кумушек изо всей своей силы чесали шерсть и, работая, все время пели. В соседней комнате работали двести молодых девушек в красных юбках с белыми платками на голове; их рукава были белы, как снег, падающий зимой на западные горы, а у кисти каждый рукав грациозно стягивался лентой. Эти хорошенькие девушки никогда не прерывали своей работы, целый день они пряли. Во время работы они пели своими нежными голосами подобно соловьям. Наконец, они подошли к другой мастерской, где находились бедно одетые дети. Каждый из них сортировал шерсть, отделяя грубую от тонкой; их было числом сто пятьдесят человек. Это были дети бедняков, за работу им платили по пенни[а] каждый

[а] *Пенни* — мелкая английская монета, равная $^1/_{12}$ шиллинга.

вечер, не считая того, что их кормили в продолжение всего дня, и это было для них огромною помощью. В другой комнате они увидали еще пятьдесят человек красивых мужчин, все это были гладильщики; их ловкость и уменье можно было тут же наблюдать; совсем рядом с ними находились восемьдесят тачечников, которые также усердно работали. У Джека была еще красильня, которая давала работу около сорока человекам, и сукновальня, где было занято двадцать человек. Чтобы прокормить всех служащих в его предприятии, ему нужно было каждую неделю десять хороших жирных быков, не считая хорошего масла, сыра, рыбы и всякой другой провизии. У него был отдельный мясник на весь год, также и пивовар для эля[a] и пива и пекарь, чтобы печь хлеб необходимый в таком большом предприятии. Пять поваров в его обширной кухне были заняты весь год приготовлением этого мяса, шесть поварят им помогали и мыли посуду, горшки и кастрюли, еще несколько бедных детей приходило каждый день вертеть вертел.

Увидав все это, старый крестьянин был весьма поражен, как этого и можно было ожидать: значит, это был великий суконщик, слава о котором останется навеки.

Когда старик осмотрел этот огромный дом и всю эту семью, его повели по кладовым; одни из них были полны шерстью, другие — руном, третьи — синильником и мареной; наконец, другие еще были наполнены штуками тонкого и толстого сукна, совершенно готового и выкрашенного, там же находилось большое количество других штук, вытянутых на тендерах, повешенных на шестах и лежащих еще мокрыми на полу.

— Сударь, — сказал старый крестьянин, — я вижу, что вы отчаянно богаты, как говорят у нас, и я буду рад отдать вам свою дочь. Да благословит вас обоих бог так же, как я благословляю вас...

ГЛАВА ПЯТАЯ

О картинах, которые Джек из Ньюбери имел в своем доме и как при посредстве их он поощрял своих служащих в достижении почестей и званий.

В большой и красивой гостиной Джек из Ньюбери повесил пятнадцать картин; они были задернуты зеленой шелковой занавеской с золотой бахромой, и он имел обыкновение часто их показывать своим друзьям и подмастерьям.

Первая картина изображала пастуха, перед которым стоял на коленях какой-то король, это был Вириат [1], некогда монарх португальского народа.

[a] *Эль* — крепкое пиво.

Жизнь города XVI в. (с современной немецкой гравюры)

— Смотрите, — говорил Джек, — отец — пастух, сын — король. Этот король управлял Португалией и завладел Испанией; он был изменнически убит.

Следующий портрет изображал Агафокла, который благодаря своей несравнимой храбрости и мудрости был сделан королем Сицилии и поддержал войну против Карфагена. Его отец был бедным горшечником, перед которым он часто становился на колени. Когда этот король устраивал пиршество, он имел обыкновение приказывать ставить на стол рядом с золотой посудой глиняные горшки, дабы это напоминало ему не только скромность его происхождения, но также дом и семью его предков.

Третья картина изображала Исикрата, уроженца Афин, победившего спартанцев в правильном бою. Он был наместником Артаксеркса, царя персидского, хотя его отец был всего только сапожником; он тоже был изображен на картине.

Четвертый портрет изображал Аетиуса Пертинакса, некогда римского императора, хотя отец его был всего только ткач. Для того чтобы дать людям низкого состояния пример уважения к людям, достойным этого уважения, он велел причудливо изукрасить мрамором мастерскую, где раньше работал его отец.

Пятым был портрет Диоклетиана, прославившего Рим своими блестящими победами. Это был великий император, хотя и сын простого переплетчика.

Затем следовал Валентиниан, нарисованный с большим искусством. Он также был коронован императором, хотя и был сыном бедного канатчика. Его отец был изображен рядом с ним за своим ремеслом.

Седьмым был портрет Проба[2], отец которого, бедный садовник, был представлен рядом, с лопатой в руках.

Восьмым был портрет Марка Аврелия, столь чтимого во все века, таким он был мудрым и осторожным императором. Он был сыном скромного ткача.

Девятый изображал доблестного императора Максима, сына кузнеца, изображенного тут же за своей наковальней.

На десятой картине был изображен император Габиан, бывший раньше пастухом.

После этой картины были помещены портреты двух римских пап; их звания и мудрость доставили им тиару. Один из этих портретов очень живо изображал папу Иоанна XXII, отец которого был сапожником. Избранный папой, он значительно увеличил доходы и имущество этой корпорации. Другой портрет изображал папу Сикста, четвертого с этим именем; он был сыном бедного моряка.

Тринадцатым был портрет Ламазия, короля Ломбардии; он был всего только сыном простой проститутки. Изображен он был еще ребенком, совсем нагим, идущим в воде. Он держал за конец копье, которое было оружием его спасения. Вот как это было. После того как мать произвела его на свет, она, вопреки всяким законам природы, бросила его в глубокий вонючий овраг, по кото-

рому протекал ручей. Король Агильмон проезжал в тех местах и увидел почти утонувшего ребенка. Чтобы лучше его разглядеть, он тихонько потрогал его концом копья. Ребенок, хотя и новорожденный, ухватился за конец копья своими ручонками и не выпустил его. Король был удивлен этой необычайной силой; он велел его взять и тщательно воспитать; он назвал его Ламазием — по месту, где он его нашел, — Лама. Впоследствии этот ребенок оказался таким храбрым и был так одарен богами, что его провозгласили королем Ломбардии. Он прожил очень долго, всеми почитаемый, а после него царствовали его преемники, до времен несчастного короля Альбанины. Тогда его царство впало в расстройство и разрушение.

Четырнадцатая картина изображала с большим искусством Примислава, короля Богемии. Перед ним стояла лошадь без узды и седла. Там же, в поле, работали земледельцы.

— Вот почему, — говорил Джек, — этот король изображен таким образом. Монарх Богемии умер, не оставив потомства, и сильные войны возгорались между благородными вельможами, оспаривавшими друг у друга его наследство. Наконец, они сговорились выпустить на поле битвы лошадь без узды и седла и обязались признать королем того, перед кем остановится лошадь. Лошадь остановилась перед Примиславом, бедным крестьянином, работавшим с плугом. Они выбрали его тогда королем, и он управлял с большою мудростью. Он установил справедливые законы, окружил Прагу крепкими стенами и заслужил вечные похвалы еще многими другими своими поступками.

Пятнадцатый портрет изображал Теофраста, философа, который был советником нескольких королей и другом многих вельмож. Его отец был портным.

— Вот видите, добрые товарищи, — говорил Джек, — как благодаря мудрости, знанию и прилежанию все эти люди сделались богатыми и могущественными. Подражайте их добродетелям и вы достигнете тех же почестей. Кто из вас может сказать, что бог не имеет для него в запасе той же судьбы? Как бы скромно ни было ваше происхождение, люди еще более низкого рождения добивались самых высоких почестей. Ленивый будет всегда ходить в лохмотьях, нерадивый — жить в бесчестии. А всякий, кто поступает по чести и ведет себя благоразумно, будет пользоваться в жизни общественным уважением и умрет, оплакиваемый всеми,

БЕКОН

Френсис Бекон (Francis Bacon, 1561—1625) — выдающийся философ эпохи Возрождения, «родоначальник английского материализма и вообще опытных наук новейшего времени» (К. Маркс, Собр. соч., т. III, стр. 157). В историю английской литературы Бекон входит как автор неоконченного утопического романа «Новая Атлантида» («New Atlantis»), а также как создатель на английской почве (по образцу Монтеня) жанра эссе (Essay), стяжавшего впоследствии такую большую популярность в английской литературе («Нравственные и политические опыты», 1595 и 1625 гг.). В романе «Новая Атлантида» Бекон примыкает к литературной традиции Томаса Мора (описание идеальных порядков на неведомом острове, затерявшемся среди океана, куда прибывают отважные мореплаватели, в числе их — мнимый автор произведения, рассказывающий обо всем виденном и слышанном). Однако в отличие от автора «Утопии, видевшего залог счастия человечества в коренном изменении существующих имущественных и социальных отношений, Бекон в «Новой Атлантиде» ставит главный акцент на развитие точных наук, которые по мысли автора, дадут человеку власть над природой и ее богатствами и тем самым заложат основы всеобщего блага. Лейтмотивом романа Бекона является восторженный апофеоз неограниченных возможностей человеческого знания и энергии. Будучи гениальным и разносторонним ученым, Бекон предвосхищает многое из того, что лишь в новейшее время претворено в жизнь мировой научной мыслью.

Бекон (с гравюры XVII в.)

Из «НОВОЙ АТЛАНТИДЫ»

ПРИБЫТИЕ НА ОСТРОВ НОВАЯ АТЛАНТИДА

Мы отплыли из Перу, где пробыли год, в Китай и Японию по Южному морю, взяв с собой запасы продовольствия на год; мы шли при попутном западном ветре, хотя мягком и слабом, более пяти месяцев, но когда ветер переменился и стал дуть с востока, мы двигались очень медленно или совсем не дви-

гались и иногда думали о том, чтобы вернуться. Но затем вновь поднялся сильный ветер с юга, с уклоном на восток, который понес нас, несмотря на все наши усилия, к северу. К этому времени все наши съестные припасы истощились, хотя мы и сделали большой запас их. Таким образом, оказавшись среди величайшей водной пустыни мира, мы считали себя погибшими и приготовились к смерти. Мы вознесли наши сердца и голоса к богу, «который показал чудеса в пучине», умоляя о милосердии его, который при сотворении мира разверз пучину и создал сушу, мы просили его показать нам землю, чтоб избавить от гибели. Случилось так, что на следующий день к вечеру, на расстоянии 20 миль по направлению к северу мы увидели как бы густые облака, что дало нам надежду достигнуть земли; мы знали, что эта часть Южного моря совершенно неизвестна и что в ней могут быть острова и материки, до сих пор еще не открытые. По этой причине мы направили курс туда, где всю ночь мы видели полоску земли; на рассвете следующего дня мы могли ясно различать с того места, где находились, что это была равнина, вся покрытая кустарником, который заставлял ее выглядеть темнее, чем она была на самом деле; через полтора часа мы вошли в хорошую гавань, которая была портом прекрасного города, небольшого, но хорошо построенного и имевшего прекрасный вид с моря...

[Далее описывается радушная встреча путешественников на острове, их пребывание на нем, беседы, которые они ведут с жителями Новой Атлантиды. Они знакомятся с историей и социальным устройством острова, которым управляет мудрый законодатель, основавший посредством применения естественных наук цветущую и счастливую общину. В центре новоатлантического общества находится «Дом Соломона», названный так по имени мудрого монарха, некогда управлявшего островом. Это грандиозное научное учреждение, находящееся в столице государства, которое ставит своей целью до крайних пределов расширить границы человеческого знания и тем самым поднять общественное благосостояние Новой Атлантиды.]

ДОМ СОЛОМОНА

Мы пришли в назначенный день и час, и я был избран своими спутниками для частной беседы. Мы нашли его[а] в прекрасной комнате, завешанной богатыми коврами по стенам, подножие трона без ступенек было покрыто ковром. Он сидел на низком троне, богато украшенном; над его головой был вышитый балдахин из голубого атласа. Он был один, если не считать двух пажей, стоявших по обе стороны трона; один из них был в прекрасном белом одеянии. Его одежда была похожа на ту, в которой он был в колеснице, но вместо халата на нем была мантия с пелериной того же самого красивого черного цвета.

Когда мы вошли, мы низко поклонились, как нас научили;

[а] Имеется в виду один из отцов Соломонова дома, один из руководителей государства.

а когда мы приблизились к его креслу, он встал, протянув свою руку без перчатки как бы для благословения; каждый из нас наклонился и поцеловал кайму его меховой пелерины. Сделав это, все ушли, и я остался один. Затем он приказал пажам удалиться, пригласил меня сесть рядом с ним и заговорил со мной на испанском языке следующим образом: «Благослови тебя бог, мой сын, я дам тебе величайшую драгоценность, какую только имею, так как я тебе расскажу, из-за любви к богу, об истинном состоянии Соломонова дома.

Сын, для того чтобы ты узнал истинное положение Соломонова дома, я буду придерживаться следующего порядка: сначала я изложу тебе цель нашего учреждения, во-вторых, расскажу о тех условиях и приборах, которые есть у нас для работы, в-третьих, расскажу о некоторых занятиях и обязанностях, которые должны выполнять наши люди, и, в-четвертых, расскажу об обрядах и ритуалах, которые мы совершаем.

Цель нашего учреждения есть — исследование причин и тайных движений вещей и расширение границ власти человека для того, чтобы воздействовать на все возможные вещи.

Условия работы и приборы следующие. У нас есть большие и глубокие пещеры разной глубины; самые глубокие имеют 3600 футов глубины, и некоторые из них выкопаны и сделаны под большими холмами и горами, так что, если вы сложите вместе глубину холма и глубину пещеры, то некоторые пещеры будут иметь 3 мили глубины, так как мы считаем, что глубина холма и глубина пещеры от уровня равнины — одно и то же, ибо они обе равно отдалены от солнца, небесных лучей и от свежего воздуха. Эти пещеры мы называем «нижняя область» и пользуемся ими для свертывания, закаливания, замораживания и сохранения тел; мы пользуемся ими также, как имитацией естественных копей и для производства новых искусственных металлов из составов и материалов, которые мы используем и кладем туда на много лет. Мы пользуемся иногда этими пещерами (что может показаться странным) для лечения некоторых болезней и для продления жизни некоторых отшельников, которые хотят жить там, будучи хорошо снабжены всем необходимым, и которые действительно живут очень долго, от них мы тоже узнаем много вещей.

У нас есть кладбища в разных местах, куда мы кладем различные скрепляющие вещества так, как это китайцы делают с фарфором, но у нас этих веществ большое разнообразие и некоторые из них тоньше, чем китайский фарфор. У нас есть также много удобрений и почвы различных сортов для того, чтобы сделать землю плодородной.

У нас есть высокие башни, самые высокие свыше полмили, некоторые из них построены на высоких горах, самые высокие башни, стоящие на холмах, достигают вместе с вышиной холма по крайней мере трех миль. Эти места мы называем верхней областью, рассматривая пространство между высокими и низ-

кими областями как среднюю область. Мы используем эти башни, в зависимости от их высот и положения, для изоляции, охлаждения и сохранения веществ и для наблюдения разных явлений природы — ветров, дождя, снега и огненных метеоров. На некоторых из этих башен имеются жилища отшельников, которые мы иногда навещаем и даем им указания, что наблюдать. У нас есть большие озера, соленые и пресные, в которых водятся рыба и дичь. Мы используем их также для погребения тел, так как мы находим разницу между предметами, погребенными в земле или в воздухе под землей, и предметами, погребенными в воде. У нас есть также небольшие пруды, в которых мы путем фильтрования делаем пресную воду из соленой, а с другой стороны, — такие пруды, где при помощи искусства обращаем пресную воду в соленую.

У нас есть также скалы посреди моря и несколько заливов, которые мы используем для работ, требующих морского воздуха и испарений моря. У нас есть могучие потоки и водопады, которые дают нам разного рода движение; кроме того, мы имеем машины для умножения и усиления ветров, чтобы вызвать различные движения. У нас есть также искусственные колодцы и фонтаны, сделанные в подражание естественным источникам и местам для купанья, вода в них содержит купорос, серу, сталь, медь, свинец, селитру и другие минералы. Затем у нас есть небольшие колодцы для вливания многих веществ, где воды подвергаются воздействию этих веществ лучше, чем в сосудах и чашах. Среди этих вод у нас есть «райская вода», которая, благодаря нашей обработке, хорошо действует на здоровье и способствует продлению жизни. У нас также есть большие и просторные дома, где мы имитируем и демонстрируем явления природы, как снег, град, дождь, искусственные дожди тел, а не воды, гром, молнию; также зарождение тел в воздухе, как лягушек, мух и разных других насекомых.

У нас есть также некоторые комнаты, которые мы называем комнатами «здоровья», где мы определяем, какой именно воздух хорош и пригоден для лечения разных болезней и сохранения здоровья.

У нас есть также прекрасные и большие здания с ваннами, в которые впускаются разные смеси для лечения болезней и восстановления человеческого тела от сухотки и другие для укрепления мышц, жизненных органов, самих соков и вещества тела.

Мы имеем также большие и разнообразные сады и фруктовые сады, в которых мы ценим не столько красоту, сколько разнообразие грунта и почв, подходящих для разных деревьев и трав; некоторые из этих садов весьма обширны, там мы сажаем деревья и ягоды, из которых делаем разные напитки, помимо тех, которые получаем из винограда. В этих садах мы также делаем выводы из пересадок и прививок как диким, так и плодовым деревьям; прививки эти приносят много пользы. В некоторых

цветниках и фруктовых садах мы искусственно заставляем деревья и цветы появляться раньше или позже, чем это полагается по времени года, и вырастать и плодоносить быстрее, чем естественно; мы делаем растения при помощи искусства гораздо больше и плоды их больше и слаще, чем они бывают от природы, а также придаем им вкус, запах, цвет и форму, отличающиеся от природных, многие из растений мы выращиваем так, что они употребляются в медицине.

У нас есть также средства заставлять разные растения расти без семян, смешивая почвы, а также создавать разные новые растения, отличающиеся от обычных, и заставлять одно дерево или растение обращаться в другое.

У нас есть также парки и огороженные места со всякими видами зверей и птиц; мы их держим не только как редкие экземпляры, но так же для вивисекции и опытов, имеющих целью пролить свет на то, что может быть сделано с телом человека, при этом мы замечаем много странных явлений, как, например, продление жизни, хотя различные органы, которые вы считаете жизненными, погибают и потом восстанавливаются, оживление некоторых органов, которые кажутся мертвыми, и тому подобное. Мы также пробуем на животных разные яды, лекарства и хирургию. Искусственно мы делаем их выше и больше, чем их порода и, наоборот, уменьшаем их и останавливаем их рост; мы делаем их более плодовитыми, чем их порода, или, наоборот, бесплодными, непроизводительными. Мы также многими способами делаем их различными по цвету, виду, деятельности. Мы находим способы смешения и скрещивания разных пород, что производит новые породы, и они не являются бесплодными, как это принято думать. Мы создаем ряд видов змей, червей, мух, рыб из гниения, некоторые из этих существ становятся более совершенными, подобно зверям и птицам, имеют пол и размножаются. Мы делаем это не случайно, но знаем заранее, из какого вещества и смеси какой род из этих созданий возникает.

У нас есть также особые пруды, где мы делаем опыты над рыбами так же, как я уже сказал раньше, над зверьми и птицами.

У нас также есть места для разведения тех видов червей и мух, которые приносят специальную пользу, как у вас шелковичные черви.

Я не буду утруждать вас перечислением наших пивоваренных заводов, пекарен и кухонь, где приготовляются различные напитки, сорта хлеба, мясные изделия, редкие и имеющие специальное действие. Мы делаем вина из виноградных лоз и напитки из другого сока или плодов, из зерен или кореньев; мы делаем также смеси меда, сахара, манны и сушеных и вареных фруктов, из древесного сока, из мякоти тростника. У нас есть также напитки, сваренные с травами, кореньями и пряностями и даже с жирами и белым мясом, причем некоторые напитки таковы, что они, по своему действию, представляют собой и напиток и мясо, почему некоторые люди, особенно пожилые, предпочитают

питаться этими напитками, употребляя очень мало мяса и хлеба или не употребляя их вовсе. И, прежде всего, мы стремимся иметь напитки из очень тонких частей, так чтобы они проникали в тело и притом без всякой едкости, остроты или раздражения; они настолько тонки, что если некоторые из них пролить на тыльную сторону кисти, то они, с небольшой задержкой, пройдут до ладони; при этом они очень мягки на вкус. У нас есть также воды, которые мы приготовляем таким образом, что они становятся действительно превосходными напитками, и многие не хотят употреблять других напитков. Хлеб мы делаем из разных зерен, кореньев, а некоторые сорта даже из мяса и сушеной рыбы с разными видами листвы и приправами; некоторые сорта этого хлеба сильно возбуждают аппетит, а некоторые так питательны, что есть люди, питающиеся только ими, без мяса, и живущие очень долго.

Что касается мяса, то мы отбиваем его некоторые сорта и делаем их столь нежными (однако не скоропортящимися), что слабая температура желудка обращает их в млечный сок, так же как это сделала бы высокая температура желудка с мясом, приготовленным иначе.

У нас есть также сорта мяса, хлеба и напитков, после которых люди могут долго поститься; некоторые из них делают человеческие тела значительно более твердыми и крепкими и силу их гораздо больше, чем она была бы в другом случае.

У нас есть аптеки, в которых, как вы легко можете себе представить, ввиду богатства и разнообразия растений и живых существ большего, чем у вас в Европе (а мы знаем, что у вас есть), лекарственные травы, лекарства и составные части лекарств должны быть в соответственно большем разнообразии, чем у вас.

Мы имеем также лекарства разных возрастов и как результат брожения. Что касается их приготовления, то у нас есть не только все способы тонких перегонок и анализов, особенно при слабом нагревании, и процеживания через разные фильтры и вещества, но также точные формы составов, посредством которых лекарства приготовляются почти такими, как если бы они были естественными лекарственными травами.

У нас есть также различные механические приемы, которых у вас нет, и вещества, сделанные при помощи этих приемов, как бумага, полотно, шелка, ткани, изящные изделия из перьев удивительного блеска, замечательные краски и многое другое; у нас есть также мастерские для таких изделий, которые не идут в общее пользование, наряду с магазинами для тех изделий, которые идут в общее пользование. Вы должны знать, что многие из упомянутых вещей идут в употребление по всему государству, а некоторые, если они нами изобретены, мы оставляем как образцы.

У нас есть также разнообразные печи с разной степенью нагрева: резким и быстрым, сильным и постоянным, тихим и мягким, приводимым в действие раздуванием, сухим, влажным и т. д.

Кроме того, у нас есть способы создавать тепло в подра-

жание солнечному теплу и теплу небесных тел, которое имеет разные степени и как бы описывает орбиту, усиливается, возвращается, — чем мы можем производить удивительные эффекты. Затем у нас есть тепло от навоза, от желудков и утроб живых существ, а также от их крови и тел, от сена и сырой травы, от негашеной извести и т. д. Мы имеем приборы, которые производят тепло только движением, места для полной изоляции тепла и, наконец, места под землей, которые от природы или благодаря искусству производят тепло.

Эти различные виды тепла мы используем в зависимости от того, какого тепла требует природа того или иного действия, которое мы собираемся совершить.

У нас есть также перспективные дома, где мы демонстрируем разного рода освещение и излучение всех цветов; мы можем показать, как мы делаем цветными бесцветные и прозрачные предметы не путем спектрального разложения, как в драгоценных камнях и призмах, но используя эти предметы сами по себе.

Мы показываем также увеличение силы света, который достигает больших расстояний, и мы делаем его настолько сильным, что можем различать мелкие точки и линии; мы демонстрируем все окраски света, все иллюзии и обманы зрения в фигурах, движениях, красках, всевозможные демонстрации теней. Мы находим также разные средства, еще не известные вам, для получения света непосредственно из разных тел. Мы создаем приборы для созерцания далеких предметов как на небе, так и вообще в далеких местах и представляем близкие вещи, как далекие, а далекие, как близкие, создавая воображаемое расстояние. У нас есть средства помочь зрению гораздо лучше, чем очки и стекла, употребляемые обычно. У нас есть стекла и приборы для того, чтобы видеть маленькие и крошечные тела прекрасно и отчетливо, как, например, формы и окраску маленьких мух и червей, мелкие частицы и трещины в драгоценных камнях; эти приборы позволяют делать наблюдения в моче и крови, иначе невозможные. Мы делаем искусственные радуги, сияния и круги вокруг света. Мы даем все способы отражения, рефракции и мультипликации видимых лучей предметов.

Мы имеем также драгоценные камни всех родов, многие из которых весьма красивы и вам неизвестны; кроме того, у нас есть кристаллы и стекла разных видов, среди них некоторые из металлов, превращенных в стекло, и из других материалов, помимо тех, из которых вы делаете стекло. У нас есть также ряд ископаемых и необработанных минералов, которых у вас нет, а также магниты редкой ценности, как естественные, так и искусственные.

У нас есть также дома звука, где мы производим и демонстрируем все звуки и их происхождение. У нас есть гармонии, которых у вас нет, построенные на четверти тона и меньших долях звука, разные инструменты, неизвестные вам, некоторые из них нежнее, чем ваши, с колокольчиками и звонками, которые

звучат изысканно и нежно. Мы производим маленькие звуки, как большие и глубокие, и, наоборот, большие звуки, как тонкие и острые. Мы производим разные дрожания и трели звуков, которые по своему происхождению цельны; мы производим и имитируем все звуки и буквы, голоса и звуки животных и птиц. У нас есть известные приборы, которые, будучи приставлены к уху, значительно усиливают слух. Мы имеем также различные странные и искусственные эхо, отражающие голос много раз и как бы разбрасывающие его, и некоторые эхо, возвращающие звук громче, чем он был дан, и даже некоторые, делающие звук более пронзительным или глубоким, и некоторые эхо, изменяющие звуки и их артикуляцию, по сравнению с тем, что было произнесено.

Мы имеем также дома запахов, где мы, кроме того, производим испытание вкуса; мы умножаем запахи, которые могут показаться странными; мы имитируем запахи, заставляя все запахи исходить из других смесей, чем те, которые обычно дают их.

Мы делаем также различные имитации вкуса так, что они обманывают вкус любого человека. В этом доме мы содержим кондитерскую, где мы делаем сласти сухие и влажные, разные приятные вина, разного сорта молоко, супы, салаты в гораздо большем разнообразии, чем вы.

У нас есть также дома техники, где приготовляются машины и приборы для всякого рода движения. Там мы имитируем движения и стараемся создать более быстрые движения, чем те, которые производите вы посредством ваших мушкетов или какой-либо машины, которая есть у вас, и производим движения и умножаем их посредством колес и других приспособлений более легко и с небольшой затратой сил; мы стараемся сделать движения более сильными, чем у вас, так что они превосходят скорость выстрелов из ваших величайших пушек. Там представлены артиллерия и разного рода оружие, а также машины всякого рода, новые смеси и составы пороха, греческий огонь, горящий в воде и неугасимые фейерверки всякого рода, как для удовольствия, так и для пользы. Мы имитируем также полеты птиц; у нас есть несколько способов летания по воздуху; мы имеем корабли и лодки для плавания под водой и на воде, плавательные пояса и другие средства держаться на воде. У нас есть разные замечательные часы и другие заводные приборы, а также несколько перпетуум-мобиле[а]. Мы имитируем движение живых существ в изображениях людей, зверей, птиц, рыб и змей, а также имеем множество других движений, исключительных по качеству, красоте и тонкости.

Есть у нас дом математики, где представлены все приборы, геометрические и астрономические, сделанные с величайшей точностью.

Мы имеем также дома с обманами чувств, где мы демонстрируем все виды фокусов, ложных явлений, плутовства, иллю-

[а] Вечный двигатель.

зий и их обманчивости. И, конечно, вы легко поверите, что мы, которые имеем столько вещей, так похожих на естественные, которые вызывают удивление, могли бы обманывать чувства, если бы замаскировали эти вещи и поработали над ними, чтобы сделать их более чудесными. Но мы так ненавидим всякие мошенничества и ложь, что мы строго запретили их всем нашим людям под угрозой бесчестия, так что они не показывают никакой естественной работы или вещи в приукрашенном или преувеличенном виде, но только в чистом виде, как они есть, без всякого искажения и придания им таинственности.

Таковы, мой сын, богатства Соломонова дома.

Для некоторых институтов наших людей у нас есть двенадцать человек, которые ездят за границу под именами других наций, так как имя нашей нации мы скрываем; они привозят нам книги и извлечения из книг и образцы опытов из других стран; мы их называем «продавцами света».

У нас есть трое лиц, собирающих эксперименты, помещенные во всех книгах. Таких лиц мы называем «грабители».

У нас есть трое, которые собирают эксперименты из всех областей техники, свободных наук, а также те эксперименты, которые не использованы практически. Этих мы называем «люди тайн».

Затем у нас есть трое, проверяющие эксперименты, которые они сами считают хорошими. Этих людей мы называем «пионерами», или «рудокопами».

У нас есть трое лиц, которые вычерчивают для экспериментов первых трех заглавие и таблицы для того, чтобы лучше осветить выводы из аксиом и наблюдений этих экспериментов.

У нас есть трое, которые склоняются, всматриваясь в эксперименты их товарищей, и обдумывают, как извлечь из них вещи, полезные и практичные для человеческой жизни и науки, а также для работ как ясную демонстрацию причин, средств естественных предсказаний и легкое и ясное обнаружение действий и частей тел. Этих людей мы называем «талантливые люди», или «благодетели».

Затем, после различных собраний и совещаний всех нас, которые рассматривают прежние труды и коллекции, мы имеем трех людей, которые заботятся о том, чтобы направить новые эксперименты на более высокую ступень знания, глубже проникающую в природу, чем прежде. Этих людей мы называем «светильники».

У нас есть трое других лиц, которые выполняют опыты, направленные предыдущими тремя, и делают доклады об этих опытах. Этих людей мы называем «делающими прививки».

Наконец, у нас есть трое, которые дополняют прежние открытия путем экспериментов более обширными наблюдениями и выражают их в аксиомах и афоризмах. Этих людей мы называем «толкователями природы».

У нас есть также, как вы сами понимаете, новички и ученики для того, чтобы прежние успехи не пропали; кроме того, много помощников и слуг, мужчин и женщин.

Мы также делаем следующее: совещаемся о том, какие изобретения и опыты должны быть опубликованы и какие нет и берем со всех участников совещаний клятву хранить в тайне те изобретения, которые считаем нужным держать в секрете, хотя некоторые из них мы иногда сообщаем государству, а некоторые не сообщаем.

Для наших обрядов и ритуалов мы имеем две очень длинные прекрасные галереи. В одной из них мы помещаем модели всевозможных редких и прекрасных изобретений, в другой ставим статуи всех главных изобретателей. Там у нас стоит статуя вашего Колумба, который открыл Вест-Индию, затем изобретателя кораблей, статуя вашего монаха, который изобрел артиллерию и порох, статуя изобретателя музыки, изобретателя букв, изобретателя книгопечатания, изобретателя астрономических наблюдений, изобретателя работ из металла, изобретателя стекла, человека, открывшего шелк, изобретателя вина, человека, открывшего зерно и научившего печь хлеб, изобретателя сахара — всех их мы знаем по более достоверным традициям, чем вы.

Затем у нас много собственных изобретателей превосходных вещей, которые было бы слишком долго описывать, так как вы их не видели, кроме того, вам трудно было бы понять эти описания. За каждое ценное изобретение мы воздвигаем статую изобретателю и даем ему щедрую и почетную награду. Некоторые из этих статуй — из желтой меди, некоторые — из мрамора и базальта, некоторые из кедра и другого специального дерева, позолоченного и украшенного, некоторые — из железа, а некоторые — из золота.

У нас есть гимны и службы, которые мы произносим и совершаем ежедневно в хвалу и благодарность богу за его чудесные дела; мы имеем формы молитв, умоляющих его о помощи и благословении, о том, чтобы он просветил нас в наших трудах и помог бы нам хорошо и свято использовать их.

Наконец, мы совершаем объезды или посещения разных главных городов нашего государства, где, если это нужно, мы опубликовываем те новые полезные изобретения, которые мы считаем выгодными. Мы также объявляем научные предсказания болезней, чумы, появления масс вредителей, голода, бури, землетрясения, больших наводнений, кометы, температуры года и разных других вещей и даем советы относительно того, что люди должны делать для предотвращения этих явлений и борьбы с ними».

Сказав это, он встал, а я, как меня научили, опустился на колени, и он положил свою правую руку мне на голову и сказал: «Бог благослови тебя, мой сын, и бог благослови тот рассказ, который я произнес, я даю тебе разрешение опубликовать его на благо других наций, так как мы здесь под покровительством бога, и страна наша неизвестна».

И так он покинул меня, назначив сумму около двух тысяч дукатов в пользу меня и моих товарищей, так как жители этой страны очень щедры, когда представляется случай проявить эту щедрость.

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ДРАМА

ГЕЙВУД

Джон Гейвуд (John Heywood 1495 — ок. 1580 гг.) — один из пионеров елизаветинской драмы. Обучался в Оксфордском университете В качестве музыканта и поэта принимал деятельное участие в организации придворных празднеств. Большое значение имели его веселые интерлюдии, внесшие в елизаветинскую драму яркую струю народного театра. Это небольшие бытовые комедии, осмеивающие попов, монахов и продавцов индульгенций. Значительную роль играет в них буффонный элемент (потасовки, перебранки, лубочный комизм диалогов и пр.). Между прочим, традиционная для средневековых аллегорических представлений (моралитэ) фигура Греха (vice) трансформируется у Гейвуда в фигуру шута, клоуна, столь популярную в английской драматургии эпохи Возрождения (аптекарь из интерлюдии «Четыре П» или муж Джоан из «Забавной комедии о муже Джоане Джоане, о жене его Тиб и о священнике Сэр Джане» («A mery play, betwene Johan Johan, the husbande, Tyb, his wyfe, and syr Jhan, the preest», 1533 г., которую мы и приводим с некоторыми сокращениями).

ЗАБАВНАЯ КОМЕДИЯ О МУЖЕ ДЖОАНЕ ДЖОАНЕ, О ЖЕНЕ ЕГО ТИБ И О СВЯЩЕННИКЕ СЭР ДЖАНЕ

Джоан Джоан — муж.

Бог вам на помощь, господа,
Сбежала жена. Не знаю куда.
Молю, чтоб чорт подрал бродягу.
Ну, попадется она в передрягу.
Шатается только туда да сюда,
Найти не могу ее никогда.
Так бегает Антоньев боров
За ведьмой старой. Таков уж норов
Моей супруги, но лишь домой
Она вернется, о боже мой!
Клянусь я святою девой Крума,
Услышать придется вам много шума,
. . . . . .
Пусть только она откроет дверь,
Готов уж я бить ее теперь.
В аду и в небе, скажу я, други,
Такой не найдете вы битой супруги.

А вдруг она сдохнет? Что тогда?
Меня повесят. Вот в чем беда.
Но коль ее бить, хоть задымится,
Все ж пользы мне этим не добиться,
Она не изменится совсем.
Так бить-то ее тогда зачем?
Ужели же бить ее не буду,
И будет она таскаться всюду,
И будет она строптива и зла?
Ну, как не бить за такие дела?
. . . . . .
А бить ее буду рукой и ногой,
С одной стороны, а потом с другой;
Жестокой лупцовки она добьется,
Небось, у меня не увернется.
. . . . . .
Я денег в заклад поставлю не мало,
Что она к своему попу убежала.
Боюсь, я обманут, словно дурак.
Я очень рад, коль это не так.
Готов я взбеситься, что невозможно
О барыне знать, что правда, что ложно.
Но знаю ведь я, что ходит туда
Не мало и честных баб, когда
Угодно им скоротать в болтовне
Часок, другой, но моей жене
Желательно бегать слишком часто,
А я боюсь, неровен ведь час-то.
. . . . . .
Коль это попробую я запретить,
На зло она будет к попу ходить,
Иль бегать к другому ей станет повадно.
А это будет мне также накладно.
Возможно и то, что болтают вздор,
И все уж окончено с давних пор.
Когда возвратится, начнутся упреки,
Но терпежу прошли все сроки.
Настала пора покаянья дуры:
Она разводить перестанет амуры.

Тиб — жена (*входит*).

Кого колотить ты собрался, дурак?

Джоан.

О нет, нет, Тиб, ты слыхала не так.

Тиб.

Кому угрожал ты лупцовкой такою?

Джоан.

Соленою мы запаслися трескою,
Ее колотить собрался я, когда
Настанет пост. Хороша, Тиб, еда.

Тиб.

Готов ты кричать, как мартовский кот,
Но нет никаких о хозяйстве забот.
Твое-то, скажи, хорошо поведенье?
К делам я не вижу ни толка, ни рвенья.

Джоан.

Ну, что ты, жена? Какие дела?
Я рад, что ты, Тиб, здорова, цела.
Садись поудобней. Затоплена печка.
Согрейся скорее, родная овечка.

Тиб.

Джоан, не ладно с твоей женой,
И ночью я буду, конечно, больной.

Джоан (*в сторону*).

Понятно теперь, где шлялась жена:
От сэра Джана вернулась она:
Когда у него она побывает,
То мне говорит, что она страдает.

Тиб.

Что ты бормочешь, Джоан, едва.

Джоан.

Что барыне в гости на час иль два
Прилично ходить, чтоб развлекаться.

Тиб.

Да, сударь галантный, может статься.

Джоан.

Ну, Тиб, пусть не будет меж нами ссор.

Тиб (*в сторону*).

Обычен меж нами такой разговор.
Не терпится все ж ему, коль нельзя
Ругаться иль бить.

Джоан (*в сторону*).

Скажу я не ложно,

Что если б с сэр Джаном жена иногда
Не виделась тайно, стряслася беда.
Поп в постели дает ей грехам отпущенье,
А то бы издохла она, без сомненья.
. . . . . .

Тиб.

Так знай, Джоан, испекли мы пирог.
Сэр Джан, священник, деньгами помог.
Пекла я его с своею кумой,
Ты знаешь, с Марджери. Ею самой
И маленькой Анной размешано тесто.
Своей прогулки не скрыла я место.
. . . . . .
Мы попируем. Пирог — вот он.
Ты полюбуйся, как он испечен.
. . . . . .
Я знаю, смущает тебя небылица,
Но лжи доверять, Джоан, не годится.

Джоан.

Довольно раздоров, скажу я в ответ.
Тебя, Тиб, люблю я, а ты меня — нет.
Но чтоб не остыл отличный пирог,
Его мы поставим на теплый шесток.

Тиб.

Мы попируем теперь отлично,
Но, я так думаю, было б отлично
Позвать сэр Джана, чтоб съесть кусок.

Джоан.

Я рад, чтоб он в этом нам помог.

Тиб.

А коль желаешь его угостить,
Тебе надлежит к сэр Джану сходить.
Чтоб вечером он пришел к нам на ужин.

Джоан (*в сторону*).

Какого чорта священник нужен?
Но так как уже я дал ей ответ,
Я не решусь возразить ей: «нет»,
Такая начнется у нас перепалка.
Ах, чорт возьми, мне было б не жалко,
Коль поп провалился с моей женой.

Тиб.

Что говоришь ты?

Джоан.

А то, что мной
Почтен он, и с ним я связан духовно.
Иди же за ним, а я любовно
Пирог сохраню до прихода назад.

Тиб.

Джоан, ты отправишься, рад иль не рад.
С какой же стати итти мне самой.
Ну, отправляйся!

Джоан.

О боже мой!
Нет, мне отправляться к нему неприлично.

Тиб.

Я так хочу, и это отлично.

. . . . . .

Джоан.

Скажу я тебе: коль остынет пирог,
Ты не получишь соломы пучок.

Тиб.

Ты все еще здесь иль вернулся? Ну, ладно!
Иди же, иль будет тебе накладно.
Дождешься, мерзавец, ты тумака
Такого, что будет звенеть башка.

Джоан (*в сторону*).

Ну, вот! Коль она ругаться стала,
Я вижу, итти мне пора настала.
Пословицу знаю: коль чорт схватил.
То лезь ты в пекло, не тратя сил.

(Он идет к дому священника.)

Позволит ли сыну отец духовный
Войти, иль это — поступок греховный?

Сэр Джан — священник.

Я слышу в дверях какой-то стук.
Джоан Джоан, это ты, мой друг?

Джоан.

Мы просим вас, сэр, весьма умильно,
С женой мы это желаем сильно,

Чтоб вы, сэр Джан, удостоили нас —
На ужин пришли к нам в вечерний час.

Сэр Джан.

Прошу извинить. Не могу явиться.

Джоан.

Я умоляю вас, сэр, потрудиться,
А коль уговоры мои не сильны,
Исполните просьбу моей жены,
Хотя бы, сэр Джан, из чувства приязни.

Сэр Джан.

Прийти не могу я в твой дом по боязни
Внести к вам раздор. Извинись пред женой,
А ужинать будешь ты здесь со мной.

Джоан.

Иль пробежала черная кошка
Меж вами? Повздорили вы немножко?
Ужели, сэр Джан, у вас с нею вражда?

Сэр Джан.

Скажу по секрету — не в этом беда.
Жену нелегко найти такую—
Умную, дельную и незлую.
Все знаю. Ведь я — ее духовник,
И взглядом я в сердце ее проник.
В ней нет порока, она честна,
И только одна у нее вина.
Но дело в том, что она недовольна:
Бранить мне ее приходилось невольно,
Но делал я это ради добра.
. . . . . .

Джоан.

Коль это возможно, скажите, вражда
Ужели возникла?

Сэр Джан.

К несчастью — да.
Тебе поведаю все по секрету.

Джоан.

Не проболтаю я тайну эту.

Сэр Джан.

Я все открыто скажу теперь,

А ты мой рассказ, Джоан, проверь.
Ее упрекал я неоднократно,
Что поступает она превратно
Тем, что не может без ссоры прожить,
О вечных раздорах с тобою забыть.
Гнев на меня ее сильно гложет.

Джоан.

О нет, сэр Джан, это быть не может.
. . . . . .
А теперь, сэр Джан, ответ мне нужен,
К кому вы пойдете сегодня на ужин?

Сэр Джан

Признаться, Джоан, мне все равно.
С моими друзьями у нас решено.
Их двое, иль трое... То было в субботу...
Явилась у них большая охота
Сегодня вечером вместе сойтись.
Тогда мы достать угощенье взялись.
Вот каждый решил принести, что мог.
А я обещал, что дам им пирог.
. . . . . .

Джоан.

Ну вот, для меня все стало ясно,
Я все понимаю теперь прекрасно.
Друзья эти были — жена сама
И Марджери с нею, ее кума,
И Анна, младшая дочь соседа,
И ваша милость, сэр Джан. Беседа
Велась у вас, кто купит еду.

Сэр Джан.

Теперь, Джоан, я охотно пойду.

Джоан.

Давно все готово, и время приспело...
Лишь за задержку мне б не влетело.
. . . . . .

(*Они возвращаются в дом Джоана.*)

Тиб.

Ты долго шатался, как всегда.
Скажи мне на милость, — где вода?

Пред ужином нужно умыть нам руки,
Застыл ты, дурень! Ох, много скуки
С тобой, Джоан. За водой иди.

Джоан.

Ох, снова брань! Да ты погляди:
Мы с сэром Джаном явились вместе.

Тиб.

Иди, проклятый, не стой на месте.

. . . . . .

Привет тебе, мой ненаглядный!
Ну, ужин будет у нас изрядный.

Джоан (*в сторону*).

Вот поглядите, как поп к ней льнет.
Постой, приятель, придет твой черед.

(*Уходит.*)

Сэр Джан.

Клянусь я небом, надул я болвана,
Не раскусил Джоан обмана.
Нарассказал я дурню чудес,
Попал он будто б в дремучий лес.
Ну, посмеемся мы, друг мой, славно.

Тиб.

Ну расскажи, чтоб мне было забавно.

Сэр Джан.

Я все расскажу, но не теперь;
Ты слышишь — он открывает дверь.

(*Джоан входит.*)

Джоан.

О, чорт подери! Что здесь творится!
Я об заклад готов с вами биться,
Что ластился поп.

Тиб.

Уж ты прилез!
Давай же воду!

Джоан.

Попутал бес.
Вода в ведерке была по краю.
Я видел отлично, я это знаю.

Потом посмотрел, воды уж нет.
Поднял я ведро. Посмотрел на свет,
А с боку-то щель, да еще большая,
Да ты посмотри, жена, какая!

Тиб.

А ты заткнул бы дыру.

Джоан.

Но как?

Тиб.

Да воском, конечно. Вот дурак!

Джоан.

А воск-то где?

Сэр Джан.

Да вблизи от печки
Там, на столе, лежат две свечки,
. . . . . .
Джоан Джоан, мудрено ужель
Взять этот воск и заткнуть им щель?

Джоан.

Да он, что камень.

Сэр Джан.

Да воск от свечки
Погрей немного у этой печки.
. . . . . .

Тиб.

Что ты ворчишь?

Джоан.

Вот твердый воск!
Ломаю я пальцы, кладу себя в лоск.
Возьмите пирог. Подгорит, коль дольше
Он будет стоять. Будет места больше.

Тиб.

Да мни же ты воск.

Джоан.

Что стоять у стола?

(В сторону.)

Боюсь, натворю я беды со зла.

(Сэру Джану.)

Садитесь, сэр Джан, прошу вас умильно.

Тиб.

Да мнешь ты воск недостаточно сильно.
Садитесь за ужин, прошу вас, сэр Джан.

Джоан (*в сторону*).

При чем я останусь, глупый баран,
Ужель не дадут мне хоть малый кусочек?

Тиб.

Мни воск усердней, милый дружочек.
. . . . . .

Сэр Джан.

Джоан Джоан, ты порадуй меня.
Скажи, хорошо ль тебе там у огня?

Джоан.

Благодарю вас, сэр Джан почтенный.
Здесь мне удобно, а воздух отменный.
. . . . . .

Тиб.

Воск рогоносец усердно мнет,
Сюда и лицо он не повернет.

Сэр Джан.

Скажи, куманек, как идет работа.

Джоан.

Идет. *(В сторону.)* Навязалась лихая забота.
Болят мои руки. На жарком огне
Глаза растопились, и душно мне.
Вот так придумали затею!
А я повернуться к ним не смею.

Тиб.

А он там усердно все мнет свой воск.
Готов уложить себя он в лоск,
Чтоб не было в старом ведре изъяна.
Да, недурна у меня обезьяна!

Джоан (*в сторону*).

Пускай обоих пожрал бы ад —
Ее и его. Я был бы рад,
Чтоб они пирогом своим подавились,
Чтоб в преисподнюю они провалились.

Тиб.

Джоан Джоан, не пойму никак,
О чем ты ворчишь, чем обижен так?

Джоан.

Да разве не бьюсь над ведром довольно?
Так мну я воск, что пальцам больно.

Сэр Джан.

Не ворчи на ярмо, Джоан Джоан!
Смирись! Такой тебе жребий дан.

Джоан (*в сторону*).

Вот, бритый, жрет! Не лопнет утроба,
Пускай, проклятый, дожрался б до гроба.
. . . . . .
Скажи, сэр Джан, хорош был пирог?
Урвать я малый кусочек не мог.
. . . . . .
Пирог-то вы съели весь без остатка.
Вы пьете вместе, едите сладко.
Вам хорошо за столом вдвоем,
А мне-то как торчать пред огнем.
. . . . . .
Эх, чорт возьми! А воск — холодный.
Ужели и спать я уйду голодный?
. . . .

Тиб.

Пока свой воск ты мял при огне
Тебя мы кормили. Ты сыт вполне.

Джоан.

Какое же вы давали мне блюдо?

Сэр Джан.

Тебя, Джоан, мы кормили не худо,
И пивом, и хлебом. Ты ел пирог,
Ужель ты насытиться этим не мог!

Джоан.

Нет, сударь.

Тиб.

Мы к печке носили пиво.
Ты ел пирог. Не помнишь? Вот диво!

Джоан.

С ума ль я сошел? Да что они врут?
Ничего я не пил. Я работал тут.

Тиб.

А мясо не ел ты, Джоан? Неужели?

Джоан.

Нет ни кусочка. Вы сами все съели.

Тиб.

И пиво не пил ты?

Джоан.

Ни росинки.
От голода я слабее былинки.

Сэр Джан.

Как жаль мне тебя. Клянусь головой!

Тиб.

Да правда ль! А где же ужин твой?

Джоан.

Не ел я.

Тиб.

Ты лжешь!

Джоан.

Нет, это верно.
Себя я чувствую очень скверно.

Тиб.

А где ты был?

Джоан.

Я здесь стоял.

Тиб.

А что ты делал?

Джоан.

Да воск я мял.
Эх, я женат. Прошло мое время
Нести я должен тяжелое бремя.

Лицо я свое у огня опалил,
Одежду прожег я, глаза ослепил.
Терпеть мне все это нет уж мочи.
Ужели у печки торчать мне до ночи,
Чиня ведро — этот сгнивший хлам?
Оно развалилось, смотри, пополам.
Пока голодал я, вы, подлая пара,
Меня не кормили, держали у жара.
Нет! Будет! Довольно! Уж я не дурак.
Возьмите ведро. Посмотрю я, как
Чинить вы приметесь эту гнилость.

Тиб.

Ах ты, бездельник! Скажите на милость,
Ведро сломал. Так постой болван.
Где прялка? Где ножницы? Ну, баран,
Острижен ты будешь. Кровь потечет.

Джоан.

Ну, нет, подожди! Настал расчет,
Не двигайся с места, иль ждет оплеуха
Тебя, проклятая, мерзкая шлюха.
Получишь ты в морду лопату углей.

Тиб.

Из дома гони подлеца смелей.

Джоан.

Сама убирайся ты с бритым хрычом.

Сэр Джан.

Тебе подлецу солгать нипочем.

Джоан.

Ну, убирайся, иль в морду я дам.

. . . . . .

Тиб.

Ну, сунься!

Джоан.

Попробуй!

Сэр Джан.

Нет, сунься сам!

. . . . . .

Тиб.

Бей его, сэр Джан! Бей его с размаха!

Джоан.

Святой Георгий! Не знаю я страха.

(Тут они дерутся некоторое время, а затем сэр Джан и Тиб уходят.)

Ах, господа, а бил я их как!
Над ними трудился здоровый кулак,
Их обработал по милости бога.
У них синяков, наверно, много.
Отсюда они убежали вдвоем.
Теперь я хозяин в доме своем!
Куда ж убежал священник с нею?
К себе, должно быть. Думать не смею,
Что она там осталась и что рога
Они мне наставят. Мне честь дорога.
Однакож, какого дал я маху!
И натерплюсь теперь я страху.
Ну, вот, побегу скорее туда.
Прощайте же, знатные господа.

Конец.

ГРИН

Роберт Грин (Robert Greene, ок. 1560—1592 гг.) — один из наиболее талантливых предшественников Шекспира. Учился в Кембридже и Оксфорде, в 1583 г. получил степень магистра искусств. Путешествовал по Европе, вел беспорядочный образ жизни, умер в нищете. Как писатель Грин испробовал свои силы в самых разнообразных жанрах. Он писал прециозные романы в подражание Лили, новеллы, пасторали, а также памфлеты и драмы, в которых особенно полно обнаружил свою творческую самобытность. Из новеллы «Пандосто» Шекспир заимствовал сюжет своей «Зимней сказки». К 1591 и 1592 гг. относятся его памфлеты, направленные против преступного мира Лондона, с жизнью и повадками которого он был хорошо знаком. В замечательном памфлете «Щелчок выскочке придворному, или остроумный спор между бархатными и полотняными штанами» (1592 г.) Грин поднимается до острой социальной сатиры, обрушиваясь на праздную знать, высасывающую последние соки из трудового народа. Обличительные памфлеты Грина полны бытовых реалистических черт, в них мы не найдем следов эвфуизма, господствующего в прециозных романах и новеллах писателя. Из числа пьес Грина наибольший интерес представляют те, в которых он изображает жизнь родной Англии, черпая свои сюжеты из английских народных сказаний, легенд, хроник, песен и пр. Это «Шотландская история короля Иакова IV», «История монаха Бекона и монаха Бонгея» (1591 г.), написанная по мотивам английской народной книги конца XVI в. о чудесных деяниях чернокнижника Бекона, и, наконец, крупнейшее и видимо самое позднее создание Грина «Веселая фантастическая комедия о Джорже Грине, полевом стороже Уэкфильда» (A Pleasant conseited comedy of George a Greene, the Pinner of Wakefield»). Источником этой пьесы послужили народные предания и песни о Джорже Грине, который наряду с Робин Гудом принадлежал к числу наиболее любимых народных героев старой веселой Англии. Комедия изображает восстание графа Кэндала и других английских феодалов в союзе с шотландским королем Иаковом против Эдуарда III (XIV в.). Восстание терпит неудачу из-за находчивости и смелости Грина. Последний рисуется в пьесе с большой теплотой. Он храбр, великодушен, предан своему долгу, а также исполнен чувства собственного достоинства. Когда благодарный король хочет возвести его в рыцарское звание, он отказывается от этой монаршей милости, желая остаться простым йоменом, каким был и его отец. В пьесу введен ряд побочных мотивов (любовь шотландского короля Иакова к прекрасной Джен Ва́рлей, бегство Беттрис, возлюбленной Грина, из отцовского дома), а также эпизоды, рисующие жизнь народа (в одной из них выступает Робин Гуд). Демократические симпатии Грина ярко проступают в этой комедии, в которой впервые в английской литературе крестьянин изображен в героических тонах. Народный характер творчества Грина был ясен и современникам, считавшим его единственным народным драматургом Англии. (отзыв Генри Четтля, 1593 гг.).

ВЕСЕЛАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ О ДЖОРЖЕ ГРИНЕ, ПОЛЕВОМ СТОРОЖЕ УЭКФИЛЬДА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЭДУАРД, король Англии.
ИАКОВ, король Шотландии.
ГРАФ КЭНДАЛЬ.
ЛОРД БО́НФИЛЬД.
ЛОРД ХЬЮМС.
Сэр ДЖИ́ЛЬБЕРТ АРМСТРОНГ.
Сэр НИ́КОЛАС МЭ́ННЕРИНГ.
ДЖОРЖ ГРИН
МО́СГРОВ.
КО́ДДИ, его сын.
НЭД БА́РЛЕЙ.
ГРАЙМ.
ДЖЭ́НКИН, помощник Грина.
УИ́ЛЛИ, мальчик у Грина.
ДЖОН.
СУДЬЯ.
Горожане, солдаты, вестники и пр.
ДЖЭН БА́РЛЕЙ.
БЕТТРИС, дочь Граймa.

АКТ I

СЦЕНА 1-я. В БРЭДФОРДЕ

(Входят граф Кэ́ндаль, с ним лорд Бо́нфильд, сэр Джи́льберт Армстронг и Джон.)

Кэндаль.

Приветствую я в Брэдфорде обоих,
Лорд Бонфильд и сэр Джильберт Армстронг, вас.
И все войска вплоть до последних слуг.
Добро пожаловать! Нас ждет успех.
За Англию мы подымаем меч.
Идем же в бой и за нее падем!

Все.

Готовы мы.

Кэндаль.

Согласием своим, друзья, почтили
Вы Момфорда, владетеля Кэндаля,
И здесь я на мече своем клянусь
Спасти всех угнетенных иль погибнуть.
Так знайте, лорды, что король шотландский
Уж выступил и перешел границу.
Его посланник здесь. Скажи, Джон Тэйлор,
С какими ты вестями?

Джон.

Поистине я с добрыми вестями:
Двадцать шестого, коль господь позволит,
Король Иаков будет здесь.

Кэндаль.

Друзья мои, должны мы одолеть.
Джон, передай привет мой королю.
Двадцать шестого встречу я его
С вождями, а теперь — счастливый путь.

(Джон уходит.)

Скажи мне, Бонфильд, почему ты мрачен?
Будь веселей. Когда я, Генри Момфорд,
Воссяду на престол, то будь покоен,
Ты герцогом над Ланкаширом будешь,
Донкастерским же лордом будет Армстронг.

Бонфильд.

Меня смущает более всего,
Что нехватает пищи для солдат.
Недурно нам пограбить мужичье.
Тогда другие станут опасаться
И нам припасы будут доставлять.

Армстронг.

Лорд Бонфильд нам дает благой совет.
Они упорно не дают припасов,
А что у нас, то взято нами силой.
Пусть Мэннеринг ответит.

Кэндаль.

Ну, Мэннеринг, что нам ответишь ты?

Мэннеринг.

Когда приказ твой мною был объявлен,
Какой их был ответ?
Они фураж лишь лошадям прислали.

Кэндаль.

Отправься в город Уэкфильд и вели
Доставить нам все нужные припасы,
А то, как Тамерлан, я разгромлю
Всю их округу.
Всех непокорных ожидает смерть.

Мэннеринг.

Лишь ты доверься мне, мой лорд, смириться
Я каждого заставлю, кто б он ни был,
Надменный рыцарь иль судья. Так двину
Его я, что другие все смутятся.

Кэндаль.

Ник, сделай так. Скорее отправляйся
И о себе нам завтра сообщи.

Мэннеринг.

Мой лорд, вы остаетесь здесь?

Кэндаль.

Я в Брэ́дфорде пробуду эту ночь,
А также завтра. Бо́нфильд, мы пойдем,
Чтоб отыскать веселеньких девчонок.

СЦЕНА 2-я, В УЭКФИЛЬДЕ

(Входит судья, граждане, Джорж Грин и сэр Николас Мэннеринг со своей грамотой.)

Судья.

Сэр Мэннеринг, отойдите в сторону. Пока мы совещаемся, как лучше поступить. Граждане Уэкфильда, граф Кэндаль прислал к нам за провиантом, а помогая ему мы становимся изменниками перед королем. Поэтому, сограждане, прошу вас сказать свое мнение.

Граждане.

Как и ты, так и мы, — одного мненья.

Судья.

Итак, сэр Мэннеринг, мы решили.

Мэннеринг.

Что?

Судья.

Конечно, так: мы не пошлем графу Кэндалю никаких припасов, потому что, он изменник королю. Помогая ему, мы становимся такими же изменниками.

Мэннеринг.

Послушайте, уэкфильдцы, вы безумны.
Ужель не заставляет вас спасность
Благоразумно выдать нам припасы?
У графа войско силой в тридцать тысяч,
Он уничтожит и сравнит с землей
Тот город, что ему перечить будет.
Глупцы, к своей вы гибели стремитесь.
Пошлите графу нужный провиант.
Жалея вас, не подойдет он ближе
К Уэкфильду.

Судья.

Сэр Мэннеринг, ты получил ответ
И можешь удалиться.

Мэннеринг.

Ну, хорошо, Удроф, коль так тебя зовут, ты проклянешь свой дерзкий отказ. Все сидящие на этой скамье оплачут тот час, когда они не исполнили приказ лорда.

Судья.

Делай, что хочешь — мы тебя не боимся.

Мэннеринг.

Вы видите печати? До тех пор как вы вернетесь в город, получу я все, что нам нужно.

Джорж.

Эй, гордый шут, ты судьям поклонись.
В них видишь самого ты короля,
Иль вылетишь ты головой вперед.

Мэннеринг.

А ты-то кто?

Джорж.

Так знай, что Джорж я Грин,
Я верен королю.
Скажи, изменник, как решился ты
Нахальным быть пред этими людьми?
Вы на скамье, сограждане, соседи,
Мы королю Британии верны.
Мы англичане и друзья Эдуарда
С тех пор, как мы зачаты. Наши думы
Принадлежат Творцу, сердца — монарху,
Имущество, почтенье и тела —
Для одного Эдуарда, а для вас,
Изменников, остались лишь мечи,
Готовые умыться вашей кровью, —
Умрем скорей, чем вам дадим припасы.

Судья.

Ну, Джорж наш Грин, ты здорово сказал.

Граждане.

Пускай же Грин за нас ему ответит.

Джорж.

Ну, сэр, припасов нет. Чтоб вас спасти
Мы не дадим и бычьего копыта.

Мэннеринг.

Я наглостью твоею поражен.
Итак, решился ты перечить лорду?
Не знаешь ты, как он могуч и силен.
Пойми же, друг, не от себя пришел я.
На грамоту вот эту погляди.

Джорж.

Дай посмотреть. А чьи печати эти,
Скажи ты мне.

Мэннеринг.

Смотри сюда, вот Кэндаля печать.
Вот Бэнфильд приложил сюда свою.
Вот тут свою печать привесил Армстронг.

Джорж.

А я скажу вам, сэр: если бы сын доброго короля Эдуарда приложил печать к такой грамоте против короля, своего отца, я на зло изменнику разорвал бы ее так.

(Разрывает приказ.)

Мэннеринг.

Как? Ты разорвал порученье моего лорда? Ты раскаешься в этом, а также весь Уэкфильд.

Джорж.

Что с вами? Иль у вас желчь разлилась? Я вам дам пилюли, что охладят ваш желудок. Теперь клянусь душой моего отца, а он был честным йомэном, вы, гордый рыцарь, проглотите эти печати иль острие моего кинжала.

Мэннеринг.

Это — шутка, надеюсь.

Джорж.

Вы это увидите раньше, чем мы расстанемся.

Мэннеринг.

Коль нет другого выхода, ничего не поделаешь. *(Глотает печать.)* Прошу тебя, Джорж, довольно одной.

Джорж.

Если одна прошла благополучно, то и другие не повредят. Ну-ка сэр.

(Мэннеринг проглатывает остальные печати.)

Теперь, Сэр, вы можете итти к графу Кэндалю и все рассказать ему. Хоть я разорвал его большую грамоту, но из уваженья к нему посылаю через вас все печати.

Мэннеринг.

Сэр, я исполню ваше порученье. *(Уходит.)*

Джорж.

Пускай он передаст своему лорду, что он говорил с Джоржем Грином, известным полевым сторожем города Уэкфильда, у которого найдется лекарство для дураков и пилюли для изменников своему государю. Граждане, довольны ли вы тем, что я сделал?

Судья.

Довольны, Джорж.
Достойно отстоял ты честь Уэкфильда,
Так рыцаря надменного смирив.
Сегодня будь ты гостем у меня.
Награду заслужил ты и почет.

(Все уходят.)

. . . . .

СЦЕНА 4-я. В БРЭДФОРДЕ

(Входят лорд Бонфильд, сэр Джильберт Армстронг, Граим и Беттрис, его дочь.)

Бо́нфильд.

Любезный Граим, ты угостил нас знатно.
Твой стол был царским, и привет — радушным,
Ты так любезно потчевал всех нас,
Что верного найдешь во мне ты друга,
Когда с победой мы сюда вернемся.

Граим.

Привет по сану, мой любезный лорд.
К чему судьба богатства нам дает?
Не для того ль, чтоб высших нам почтить?

(В сторону.)

Да, тяжело изменникам мне льстить,
Но жизнь сладка. А что могу я сделать?
Надеюсь, покарает их господь.

Армстронг.

Что говоришь ты, Граим?

Граим.

Глядя на дочь, сэр Джильберт, проклинаю
Тот час, когда я получил ее.
Ей дела нет до женихов богатых,
А много их, но об одном мечтает.
В мужья она желает Джоржа Грина
. . . . . .

(Входят граф Кэндаль и сэр Мэннеринг.)

Кэндаль.

Иди за мною, Ник.

Бонфильд.

Мой лорд, какие вести?
Такие вести, что смеяться будешь,
Да и сердиться сильно, услыхав,
Как с Ником нашим поступили. Судьи
Упрямились, а Ник, ты знаешь, дерзок. —
Потребовал с угрозой он припасы.
Они, смутясь, смотрели друг на друга,
Готовые поддаться, но явился
Джорж Грин какой-то, сторож полевой,
Кинжал свой обнажил, схватил он Ника,
И, объявив изменниками нас,
Приказ он разодрал, его ж заставил
Под страхом смерти проглотить печати.
Испуганный, сюда вернулся Ник.

Беттрис.

Прекрасный Джорж, о будь всегда счастливым.
Как мыслями высок ты! Пусть судьба
Тебе дает все то, что ты желаешь.

Бонфильд.

Что говорит красотка Беттрис?

Граим.

За Джоржа Грина молится она,
Любить она согласна лишь его.

Бонфильд.

Его? Ты на меня взгляни, красотка.
Ухаживал вчера я за тобой,

Клялся, что я женюсь, назад приехав.
Моя любовь, уже ль ты мне откажешь?

Беттрис.

И граф и рыцарь мне постылы,
Не нужен мне барон.
Люблю я Джоржа всею силой,
Сердечный друг мой — он.

Бонфильд.

Напрасны разговоры все, мой лорд,
Мы голову пришлем ей Джоржа Грина.

Кэндаль.

Пусть будет так. Спасибо, Грайм, тебе.
Запри ты дочь, смири ее порывы,
Пусть будет тут, когда к тебе вернусь,
И береги ее, как жизнь свою.

Грайм.

Мой лорд, даю я слово.
(Уходит Грайм и Беттрис.)

Кэндаль.

Его покинув, пусть меня полюбит.
Мне хочется увидеть Джоржа Грина.
Пусть будет так:
Свои войска я Нику поручу,
А мы втроем направим путь свой в Уэкфильд.
Сегодня Джорж лишится головы.

АКТ II

СЦЕНА 1-я, ОКОЛО ЗАМКА СЭРА ДЖОНА БАРЛЕЙ

(Входит Шотландский король Иаков, лорд Хьюмс с солдатами и Джон.)

Иаков.

Здоров ли Кэндаль? Как его дела,
Хорошее сюда ведет он войско?

Джон.

Да, государь, войска вполне надежны,
Что вместе с ним идут.

Иаков.

Он встретился с тобой под Скрэбельси.
Когда святой Андрей поможет мне,

Я утром рано повстречаюсь с ним.
Но тише! Чей красивый это мальчик?

(Входит сын Джэн Барлей Нэд.)

Нэд.

Сэр, Джону Барлей прихожусь я сыном,
Один я сын у матери моей,
Зовусь Эдуардом я.

Иаков.

Куда же ты идешь, мой милый Нэд?

Нэд.

Охотиться за птицами хочу я.
На время мой учитель нас покинул,
И я могу теперь стрелять из лука.
Когда он тут, я книгами лишь занят.

Иаков.

Ты на лицо его взгляни, лорд Хьюмс,
По красоте он вышел в лэди Джен,
Могла родить Елену только Леда.
Скажи мне, Нэд, кто с матерью твоей?

Нэд.

При ней одни лишь слуги. Коль хотите
С ней говорить, в ворота постучите.

Иаков.

Стучи в ворота, Джон.

(Джэн Барлей показывается на стене.)

Джэн.

Измена! Чьи войска стоят у замка?

Иаков.

Не бойся, Джэн, — мои все эти люди,
И все — твои друзья, коль друг ты мне.
Король шотландский я, в тебя влюбленный
Свою любовь я в письмах излагал,
Описывая в них всю страсть свою,
Мое же сердце истекало кровью.
Напрасно было сватовство мое,
Наверное, помехой был твой муж.
О милая, я выбрал это время,
Узнав, что мужа твоего нет дома,
И здесь я, чтоб желанного добиться.

Нэд.

Потише, сэр, сюда вы не войдете,
Коль повредить хотите Джону Барлей,
Желая обесчестить мать мою.

Иаков.

Как обесчестить, Нэд?

Нэд.

Хоть молод я,
Но слышал, как отец мой повторял:
«Позора хуже нет, чем быть рогатым».
Будь взрослым я, будь сильным, я стрелой
Пронзил бы десять королей, когда бы
Отец от них мог получить рога.
Ворота, мать, ему не открывай,
Я к мельнику отправлюсь ночевать.

Иаков.

Держи его.

Джэн.

О, милый Нэд, достойный ты ответ
Дал королю.
Хотя б восстал из гроба Цезарь сам,
В величии минувшем облеченный,
Он не склонил меня обидеть мужа.
Король Иаков, без сомненья, шутит,
Чтоб посмотреть, в каком я настроенье,
Он не привел бы войска, чтоб всю похоть
Шотландскую солдатам показать.

Иаков.

О, Джэн, клянусь тебе!

Джэн.

Не продолжай, король, клянуся я
Всевышним богом,
Карающим грехи, что никогда
Моей любви, король, ты не добьешься.

Иаков.

Так слушай же, клянусь святым Андреем,
С землею я сравняю замок твой,
Когда ты мне ворота не откроешь,

Джэн.

Тебя я не страшусь, король Иаков.
Ты силою в наш замок не проникнешь;
К тому ж сэр Джон домой вернется завтра.

Иаков.

Коль презираешь, Джэн, мою любовь,
Тебя сломлю я страшной, крайней мерой.
Клянусь душой отца, ублюдок твой
Зарезан будет пред твоим лицом,
Коль ворота ты замка не откроешь.

Джэн.

Мне кажется, что сердце разорвется.
Малютка Нэд бледнеет от испуга.
Будь смел, мой Нэд, а я не ослабею.

Нэд.

Но только не лишай меня ты чести.

Джэн.

Коль ты умрешь, мой Нэд, я жить не буду.

Нэд.

Умри же с честью, умирая чистой.

Джэн.

Готова я!
Любовь супруга, честь его и слава
Дает мне силу. Ну, король Иаков,
Коль слезы материнские тебя
Смягчить не могут, пусть погибнет сын,
Но сохраню я честь его отца.

Иаков.

Так пусть умрет.

(Тревога, входит вестник.)

Вестник.

Король, Мосгров подходит.

Иаков.

Мосгров? Да, чорт возьми, он уж вблизи.
Коня!

(Все уходят.)

СЦЕНА 2-я

(Входят старый Мосгров и пленный король Иаков.)

Мосгров.

Король Иаков, ты теперь мой пленник.

Иаков.

Не твой я пленник, а своей судьбы.

(Входит Кодди.)

Кодди.

Отец, победа наша! Их знамена
Мы захватили,
А Хьюмса я убил своей рукой.

Мосгров.

Бог и Святой Георгий!

Кодди.

Отец, я пить хочу.

Джэн.

Поди сюда, мой Кодди. Пей ты вволю
И короля с собою пригласи.
Не мог войти он из-за нашей ссоры.

СЦЕНА 3-я, В УЭКФИЛЬДЕ

. . . . . .

(Джорж Грин. Входят переодетые граф Кэндаль, лорд Бонфильд и Джильберт Армстронг с отрядом.)

Кэндаль.

Пустив своих лошадей в пшеницу, мы спрячемся и посмотрим, как станет ругаться полевой сторож.

(Входит Джэнкин, трубя в рог.)

Джэнкин.

Хозяин, у нас добыча!

Джорж.

Какая добыча?

Джэнкин.

Три хорошие лошади в нашем пшеничном поле.

Джорж.

Три лошади в пшенице? Чьи они?

Джэнкин.

Вот в этом и загадка, чорт возьми! Но там они — бархатные жеребцы. Никогда не видал я таких. Как полагается, я снял шапку

и сказал им: «Господа, что вы делаете в нашем поле?» Один из них, услыхав мой голос, поднял голову и заржал — расхохотался по-своему от всей души, как будто к нему привязали кобылу. «Господа», — сказал я, — «тут смеяться нечему. Если хозяин мой вас накроет, то вы отправитесь в загон». Один неподатливый одер, услыхав угрозу, начал лягаться, как будто говорил: «Чорт с ним, с загоном! Чорт подери твоего хозяина!» Услыхав это, я надел свою шапку, начал дуть в рог, обозвал их клячами и пришел к тебе.

Джорж.

Отправляйся и загони их.

Джэнкин.

Послушай, не лучше ли захватить с собой констэбля?

Джорж.

К чему?

Джэнкин.

Да эти господские лошади могут обидеться и не пойти со мной.

Джорж.

Иди и делай, как велено.

Джэнкин.

Иду.

(Граф Кэндаль, Бонфильд и сэр Джильберт Армстронг останавливают Джэнкина.)

Кэндаль.

Куда ты?

Джэнкин.

Куда? Иду загонять лошадей.

Кэндаль.

Дурак, эти лошади — наши; мы их пустили в пшеницу и там они останутся, пока не наедятся вволю.

Джэнкин.

Стой, я пойду к хозяину. Послушай, хозяин, у нас еще добыча. Те три жеребца остаются в пшенице, а вот еще три мерина.

Джорж.

Кто они?

Джэнкин.

Хозяева лошадей.

Джорж.

Ну, господа, я не знаю вашего сана, но вы не можете быть выше короля. Скажите, почему вы наносите ущерб нашим жителям Уэкфильда? Я полевой сторож и скажу вам, что прежде, чем отпущу вас, вы должны возместить убыток за потраву.

Кэндаль.

Молчи, нахал! Не болтай! Скажу тебе, сторож, что мы благородные.

Джорж.

И я, может быть, благороден, хотя у меня нет герба.

. . . . . .

Джон.

Ладно, полевой сторож. Лошади пущены в пшеницу и, на зло тебе, будут там есть вволю, пока нам вздумается ехать дальше.

Джорж.

Клянусь душой своего отца, заберись в пшеницу лошади самого доброго короля Эдуарда, он за них уплатил бы, или они попали бы в загон, тем более ваши, кто б вы ни были.

Кэндаль.

Неужели, малый, ты нас не знаешь? Мы люди Генри Момфорда, графа Кэндаля, люди, которые через месяц будут выше короля Эдуарда.

Джорж.

Выше короля Эдуарда? Лжешь, изменник.

(Джорж ударяет его.)

Бонфильд.

Мерзавец! Что ты сделал? Ты смел ударить графа?

Джорж.

А мне что за дело? Верный бедняк лучше вероломного графа. Изменники всегда получат от меня такую плату.

Кэндаль.

Ну, конечно! А пока ты дорого заплатишь за этот удар. Теперь или никогда, держите полевого сторожа.

(Солдаты выходят из засады.)

Джорж.

Постойте, мой лорд; поговорим об этой ссоре. И Геркулес с двумя не справится, и я не справлюсь с такой оравой *(в сторону)*.

Если твои войска не появились бы так, я отрезал бы им путь в Лондон. Придется прибегнуть к хитрой политике.

Кэндаль.

Что ты ворчишь, Джорж?

Джорж.

Я думаю, неужели вы Генри Момфорд, граф Кэндаль, обидите бедного Джоржа Грина и заставите его бороться с целым отрядом?

Кэндаль.

А ты почему меня ударил?

Джорж.

Мой лорд, судите меня по себе. Если кто-нибудь, служивший вам много лет, услышал бы, что ваш враг бранит вас, и не обнажил меча, вы такого слугу прогнали бы. А ведь король Эдуард — мой король, и раньше, чем я потерплю, чтоб его оскорбляли, я умру тут на месте в подтверждение того, что сказал. Хотя, быть может, я неразумно рассуждаю, я все-таки буду отстаивать свои слова.

Бонфильд.

Мой лорд, простите полевого сторожа. Поверьте, он говорит, как достойный человек.

Кэндаль.

Хорошо. Скажи мне, Джорж, покинешь ли ты Уэкфильд и пойдешь ли ты за мной? Я охотно все забуду и прощу тебя.

Джорж.

Пойду с условием, что вы сложите оружие и будете верны королю.

Кэндаль.

Но, Джорж, я не восстаю против короля Эдуарда, но заступаюсь за обиженных, и если король Эдуард исправит зло, я его осуждать не буду, а наоборот. Теперь все ясно: ты слышал, почему я восстал на него. Отвечай: покинешь ли ты Уэкфильд и пойдешь ли ты за мной? Я тебя назначу капитаном — над смелым отрядом, а когда одолею, посвящу в рыцари.

Джорж.

А вы надеетесь победить, мой лорд?

Кэндаль.

Я слышал такое пророчество, что король Иаков и я встретимся в Лондоне, и король преклонит колени пред нами.

Джорж.

Коль это верно, мой лорд, это было бы ладно.

Кэндаль.

Это чудесное пророчество, и ошибки быть не может.

Джорж.

Вы меня почти убедили, мой лорд. Дженкин, поди сюда.

Джэнкин.

Что, сэр?

Джорж.

Иди домой, гони туда этих лошадей и насыпь бушель хорошего овса.

Джэнкин.

(В сторону.) Неужели тратить овес на этих паршивых одров?

(Джэнкин уходит.)

Джорж.

Не угодно ли будет вам удалить вашу свиту?

Кэндаль *(солдатам).*

Станьте в сторону.

Джорж.

Так слушайте. Здесь, в лесу, недалеко от города, живет старый человек один в пещере, он может предсказать вашу судьбу: уж очень он силен в волшебстве. Отправьтесь к нему втроем рано утром и спросите его. Коль он напророчит вам удачу, я буду у вас впереди всех, когда мы пойдем на Лондон.

Кэндаль.

Спасибо, Джорж, за согласие. Где найдем мы старика?

Джорж.

Мой человек вас проводит, но, лорды, скажите мне без обмана, что́ мудрый человек скажет.

Кэндаль.

Я, граф Кэндаль, даю тебе слово.

АКТ III

. . . . . .

СЦЕНА 2-я. В ЛЕСУ

(Входят переодетые граф Кэндаль, лорд Бонфильд, сэр Жильберт Армстронг и Джэнкин. Джэнкин стучит в дверь хижины. Выходит Джорж Грин, переодетый слепым отшельником.)

Кэндаль.

Отец, к тебе мы, бедняки, пришли,
Чтоб расспросить тебя о важном деле.

Джорж.

Скажите, что вам нужно?

Кэндаль.

Быть может, вести до тебя дошли,
Что Кэндаль на Эдуарда ополчился.
Дворяне мы по своему рожденью,
Но младшие сыны, и нужно нам
Добиться положения и средств.
Коль напророчишь, что Кэндаль победит,
Мы будем с ним.
Коль нет, мы с ним на Лондон не пойдем.
Скажи, отец наш, что должно случиться,
Кто одолеет, Кэндаль иль король?

Джорж.

Король, мой сын.

Кэндаль.

И ты уверен в этом?

Джорж.

Уверен я, как в том, что ты — граф Кэндаль,
Что этот — Бонфильд и что Армстронг — тот.

Кэндаль.

Какая прозорливость у слепого:
Он угадал, кто мы, не видя нас.

Армстронг.

Да, магия все может предсказать.
Граф Кэндаль сам пришел к тебе, отец,
Поэтому не говори ты сказки.

Джорж.

Граф Кэндаль, я приветствую тебя,
А также, лорды, вас. Я дам совет —

Смиритесь, позабудьте про мятеж,
Живите в мире.

Кэндаль.

Не для совета мы пришли сюда.
Скажи, кто победит, король иль мы?

Джорж.

Не вы, но не король вас усмирит,
А человек незнатный и простой.

Кэндаль.

Скажи, отец, кто этот человек?

Джорж.

Джорж Грин, уэкфильдский сторож полевой.

Кэндаль.

Ужели он?

Джорж.

Он осрамит вас и ощиплет перья.

Кэндаль.

Но как?

Джорж.

Конец венчает дело. Будет так.

Кэндаль.

Нет, так не будет. Двину я войска.
Клянусь христом, сожгу я город Уэкфильд,
Я полевого сторожа схвачу,
Его зарежу пред лицом Эдуарда.

Джорж.

Не гневайся. Не я так говорю,
А чрез меня так говорит наука,
А чтоб вас убедить,
Слуге велите принести мне посох.

Кэндаль.

Иди и принеси ему клюку.

Джэнкин

Возьми, вот посох твой.

Джорж.

Теперь свою вы берегите шкуру!

Встречали вы кудесника такого?
Сумел он предсказать паденье ваше.
Никто теперь не помешает мне.
Мне все равно, что я один на трех.

Кэндаль.

Ты предал нас, изменник.

Джорж.

Нет, никогда предателем я не был.
Ты, Момфорд, лжешь; сюда я заманил вас,
Чтоб здесь сразиться.
Убей меня, а там иди уж в Лондон.
Я — против всех, но думаю, что справлюсь.

Армстронг.

Один я на один его убью.

Кэндаль.

Получишь фунтов тысячу в награду.

Джорж.

Плати их мне. Его я одолею.

(Они сражаются. Джорж убивает Армстронга и берет в плен остальных.)

Бонфильд.

Стой, Джорж, я милости прошу.

Джорж.

А у кого?

Бонфильд.

У короля Эдуарда.
Пусть приговор нам вынесет король,
А не убьет нас сторож полевой.

Кэндаль.

Что сделаешь ты с нами?

Джорж.

А будет так, как Бонфильд пожелал.
Пошлют вас к королю,
Для этого судья идет сюда.

(Входит судья.)

Судья.

Лорд Кэндаль, где теперь твои угрозы?
Как дело право, справедлив и бой.
А то наш Джорж не справился б с тремя.

Кэндаль.

Довольно, Удроф, не дразни меня.
Я согрешил, я искуплю вину.

Джорж.

Сэр Удроф, я скажу, что нет нужды
В словах.
Солдат мятежных нужно распустить;
Пусть каждый отправляется домой.

Судья.

Да будет так. А ты что будешь делать?

Джорж.

За пленными прошу вас присмотреть,
Меня ж оставить.

Судья.

Со мной идите, лорды.
(Все уходят, кроме Джоржа.)

Джорж.

Ты с ивовым венком сидишь, Джорж Грин,
И вечно вспоминаешь о прекрасной.
Зачем среди приветливых долин
Печалиться тебе всегда, несчастный?
Когда не будет милая женой,
Блаженства не найду я под луной.
(Входит Джэнкин.)

Джэнкин.

Я — фокусник, хозяин. Если хочешь,
Твою я Беттрис приведу сюда.

Джорж.

Эй, будет, Джэнкин, врать. Ее отец
За ней следит ревнивыми глазами.
Когда же кто приглянется красотке,
Граим думает, что это чародей.

Джэнкин.

А что ты дашь, коль приведу ее?

Джорж.

С зеленой курткой двадцать крон я дам.

Джэнкин.

Мне предоставь, хозяин, больше места,
И дай ты мне, что ты носил недавно.

Джорж.

Возьми ты этот плащ. Хорош ли он?

Джэнкин.

Ла, он хорош. Ты в круг мой не входи,
Не то чертовки раздерут тебя.
Раз, два и три, мисс Беттрис, выходите.

(Он бросает плащ в дверь хижины. Оттуда выходит Беттрис.)

Каков мой фокус?

Джорж.

Любовь ли ты моя, иль только тень?

Беттрис.

Нет, тень вон там, а тут ты видишь сущность.

Джорж.

Скажи, моя любовь, как удалось
Тебе уйти?
Да, Джоржу Грину повезло впервые.

Беттрис.

Любовь и счастье привели меня
К тебе, мой Джорж, мой свет, моя отрада.

Джорж.

Но как ты от отца мой друг ушла?

Беттрис.

Была бы лишь любовь, найдется случай,
Но не меня, а Уили ты хвали.

Джорж.

А Уили где теперь?

Беттрис.

Сидит он у меня, в моей одежде.

Джорж.

Джэнкин, пойди сюда. Отправься в Брэдфорд
И там об Уили расспроси.

Мы, Беттрис, в хижину войдем.
Там посидим с тобой и потолкуем.

АКТ IV

СЦЕНА I

(Входит король Эдуард, король Шотландский Иаков, Кодди и свита.)

Эдуард.

Шотландский брат, я оскорблен глубоко.
Меж нами мир недавно заключен,
А между тем, не получив обиды,
На Англию решился ты напасть.
Обеты королей должны быть крепки,
Оракулу подобны. Так велит
И наша честь и наша верность слову.

Иаков.

Английский брат, не умножай мне горечь.
Я сожалею о своем проступке.
Я побежден: из тысяч тридцати
Спаслось едва пять тысяч человек.

Эдуард.

Без Мосгрова дела не важны были.
Спасибо, Кодди. Мы с тобой сочтемся.
. . . . . .
Теперь же, лорды, нужно нам решить,
Как нам сломить на севере крамолу.
Мятежники идут уж на Донкастер.

Вводят пленного графа Кэндаля.)

Что это значит?

Кодди.

Перед тобой — граф Кэндаль, твой изменник.

Эдуард.

Мятежный честолюбец, как ты можешь
Поднять глаза на своего монарха,
Который так к тебе благоволил?
Но ты заплатишь за свою измену.

Кэндаль.

Мой государь...

Эдуард.

Не отвечай, изменник.
Чей это подвиг, ты скажи мне Кодди?
Кто сокрушил на севере крамолу?

Кодди.

Джорж Грин, Уэкфильдский сторож полевой.

Эдуард.

Но, Кодди, я прошу тебя сказать,
Чем Джоржа Грина мог бы одарить я
И чем его обрадовать я мог?

Кодди.

Когда мы расставались, Джорж сказал:
Коль наш король похвалит мою службу,
То, милый Кодди, стань ты на колени
И у него ты попроси награды.

Эдуард.

Какой награды?

Кодди.

Мятежников помиловать он просит.
Пускай живут, хотя и согрешили.

Эдуард.

Мне кажется, что к славе он стремится,
Но просит он, и я исполню просьбу.
Другому я, конечно, отказал бы.
Живи же, Кэндаль, но живи в тюрьме.
Всю жизнь свою ты будешь в заточенье.

Кэндаль.

Ты милостив и к тем, кто согрешил.

. . . .

Эдуард.

Я Джоржа Грина увидать хочу;
На севере к тому же не бывал я,
Отправлюсь я туда,
И чтоб никто не мог меня узнать,
Мы явимся туда в чужих нарядах.
Король Иаков, Кодди, три других
Со мной пойдут. Мы будем веселиться.

Отправьте же его скорее в Тауэр.
Пойдем, король, душа веселья просит:
Судьба всех супостатов сокрушила.

АКТ V

СЦЕНА 1-ая, В БРЭДФОРДЕ

(Король Эдуард, король Иаков, свита и Джорж Грин.)

. . .

Эдуард.

Твою пожать мне руку дай, Джорж Грин,
Отныне под моею ты защитой.
Я, сам король, к тебе сюда приехал
И вижу я теперь, что слух правдив.

Джорж.

Благодарю смиренно, государь.
Как подданный, я лишь исполнил долг,
Вступив в борьбу с мятежным гордым графом.
Я милости такой не заслужил.

Эдуард.

Я до отъезда даровать хочу
Тебе все то, что в силах я. Скажи,
Что может сделать для тебя Эдуард?

Джорж.

Мой государь, зазноба у меня
Прекраснее серебряной луны,
А старый Граим ее не хочет выдать
За полевого сторожа, хотя
Я — в ней, она ж во мне души не чает.

Эдуард.

А где она?

Джорж.

Она в моем дому,
Но не желает выйти за меня,
Пока не разрешит ее отец.

Эдуард.

Коль в этом горе, все устроим быстро,
Пошлю за Граймом и его заставлю,
Он мне, не сомневаюсь, не откажет.

. . . . . .

(Входит Мосгров, Кодди, Граим, Уили в женской одежде и Беттрис.)

Эдуард.

Где твой отец, мой Кодди?

Кодди.

Мой государь, отец мой пред тобой.

Эдуард.

Не опускайся, Мосгров, на колени:
Невместно это с возрастом твоим.

Мосгров.

Да здравствует наш государь!
Живи счастливо много лет.
Принять ты удостой простой подарок
От старого и верного слуги.
Король Шотландский мне вручил его.
Он с честью послужил. Возьми его.

Эдуард.

Спасибо, Мосгров, за такой подарок.
Мечом ты этим короля сразил.
Им в рыцари тебя я посвящаю.

Мосгров.

Увы, как быть теперь? Король, я беден.

Эдуард.

Так Медделомский замок получи
Ты от меня. Коль этого нехватит
Я дам еще, чтоб поддержать твой сан.
Джорж, где твоя зазноба?

Джорж.

Вот, государь, она.

Эдуард.

А ты — ее отец?

Граймм.

Да, государь, отец.

Эдуард.

А выдашь ли ты дочь за Джоржа Грина?

Граймм.

Да, государь, коль он мне разрешит
Вот с нею повенчаться.

(Указывает на Уили.)

Эдуард.

А ты, что скажешь, Джорж?

Джорж.

От всей души на это соглашаюсь.

Граим.

Тогда ему я Беттрис отдаю.

Уили.

Мой брак не может состояться с Граймом:
Я, государь, — не женщина, мужчина,
Хозяин мой — Джорж Грин, ему служу
И для него я Грайма обманул.

Эдуард.

Да это — мальчик! Что ты скажешь, Граим?

Граим.

Ну, что же, государь, скажу я только,
Что плутовства в нем хватит на весь мир.
Но все равно теперь. Пусть Джорж получит
И дочь мою и земли.

Эдуард.

Тебя, мой Джорж, я должен наградить
Достойно. Половину получай
Ты состоянья Кэндаля и все,
Чем в Брэдфорде владел я до сих пор.
Я за тобой все это закрепляю.
Стань на колени, Джорж.

Джорж.

Что вам угодно сделать, государь?

Эдуард.

Хочу, чтоб стал ты рыцарем, мой Джорж.

Джорж.

Я, государь, прошу вас об одном.

Эдуард.

О чем?

Джорж.

Пусть йомэном живу я и умру.
Как жил отец, пускай живет и сын.

Ведь больше чести, коль свершает подвиг
Простец, чем человек в высоком сане.

Эдуард.

Пусть будет так.

Иаков.

Король, прошу, освободи меня.
Определи мой выкуп.

Эдуард.

Джорж Грин, определи ты королю
Достойный выкуп.

Джорж.

Нет, государь, куда мне это делать!
Я не привычен.

Эдуард.

Не отклоняй ты этой чести, Джорж.

Джорж.

Пускай король Шотландский восстановит
Все города, разрушенные им,
И пенсии назначит для сирот,
Отцы которых на войне погибли.
Затем, пускай залог он здесь оставит
И едет с миром.

Эдуард.

Доволен ты, мой брат?

Иаков.

Благодарю тебя, мой брат, за это.
В залог тебе я оставляю замки.

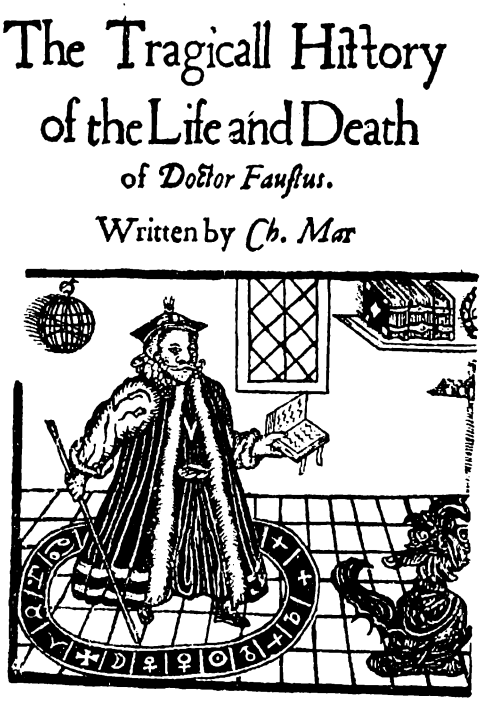
Эдуард.

Вполне доволен я. К тебе на ужин
Приду я, Джорж. Затем хочу проверить,
Прекрасна ль так Джэн Ба́рлей, как о ней
Король Иаков мне всегда твердит.

МАРЛО

Кристофер Марло (Christofer Marlowe, 1564—1593) — английский драматург, наиболее значительный предшественник Шекспира. Биографические данные о Марло весьма скудны. Он родился в Кентербери в семье башмачника. В 1583 г. окончил Кэмбриджский университет. Скептик и вольнодумец, он не скрывал своих «опасных» мыслей (он заявлял, например, что религия — орудие в руках попов и политиков, стремящихся поработить массы, что пророки были обманщики и пр.), так что правительство учредило над ним секретный надзор. Избрав себе профессию актера и драматурга, он вошел в самую гущу лондонской богемы. Во время одной драки в трактире он был заколот кинжалом.

До нас полностью дошли четыре его трагедии: «Тамерлан великий, скифский пастух» («Tamburlaine the Great», поставлена в 1587 г.), «Трагическая история д-ра Фауста» («The tragical history of Dr. Faustus», 1588 г.), «Мальтийский жид» («The jew of Mal», 1589—1598 гг.) и «Эдуард II» (1592 г.). Его пьесы оказали очень значительное влияние на развитие елисаветинской драматургии (в частности на творчество Шекспира). Марло первый создал тип героической трагедии, в центре которой стоит сильная, исполненная роковой страсти личность. Он также ввел в обиход елисаветинской драмы белый стих. Трагедия Марло «Фауст» представляет собой первую в европейской литературе драматическую обработку знаменитой легенды о д-ре Фаусте, которая стала известна Марло через английский перевод немецкой «Народной книги о д-ре Фаусте», изданной Шписом в



Титульный лист драмы Марло «Трагическая история доктора Фауста» (Лондон, 1635 г.)

1587 г. Самое раннее из известных нам изданий «Фауста» Марло восходит к 1604 г.

На русском языке: «Фауст», перевод Д. Минаева, СПБ, 1899 г. и К. Бальмонта, М., 1912 г.; «Мальтийский жид», перевод М. Шелгунова, СПБ, 1882 г.; «Эдуард II», перевод Н. Гербеля («Современник», 1864 г.; август) и Родиславской (журнал «Искусство», 1885 г.).

Из «ТРАГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ДОКТОРА ФАУСТА»

СЦЕНА 1-я

(Виден Фауст в своем рабочем кабинете.)

Фауст.

Определи свои занятья, Фауст,
И глубину того измерь сначала,
Чему других учить ты захотел.
Начав как теолог, будь им по виду,
Но оцени последний крайний смысл
Во всех отдельных отраслях познанья;
Как жил, умри в границах тех основ,
Которые дает нам Аристотель.
О, сладость Аналитики [а], уж если
Меня пленяет что, так это ты.

(Читает.)

Bene disserere est finis logices.
Цель логики — быть точным в рассужденье?
И более значительного чуда
Нам эта ветвь познанья не дает?
Так больше не читай, предел достигнут;
Приличествует Фаусту иное,
Важнейшее. Ты, логика, прощай.
Приди, Гален [1]. Как истина гласит нам,
Ubi desinit Philosophus ibi incipit Medicus [б] —
Будь медиком, о Фауст, кучу злата
Нагромозди, увековечь себя
Каким-нибудь чудесным исцеленьем.

(Читает.)

Summum bonum medicinae sanitas.
Цель медицины высшая — здоровье?
Как, Фауст, разве этой высшей цели
Ты не достиг? Слова, что ты роняешь,
Не стали афоризмами? Не стали —
Как надписи на памятниках пышных,
Те росписи, пред властию которых

а «Аналитика» Аристотеля — важнейшая часть его «Логики».
б «Где конец философу, там врачу начало».

В охваченных чумою городах
Смирился бич, и тысячи болезней,
Отчаянье будивших, скрылись прочь?
И все же ты лишь человек и Фауст!
Когда б ты мог дать людям вечность жизни
Иль мертвых к жизни снова мог воззвать,
Тогда бы это знанье было ценным.
Наука врачевания, прощай!
Где мудрый правовед Юстиниан?

(Читает.)

Si una eademque res legatur duobus, alter rem
alter valorem rei, etc. [а]
Подумаешь, какой занятный случай
Из жалких сфер духовных завещаний!

(Читает.)

Ex haereditare filium non potest pater nisi etc. [б]
Об этом Институции гласят
И общий Свод законов. Вот наука,
Достойная приставников наемных,
Которым ничего не нужно, кроме
Подонков очевидности; но мне
Противно это нищенство и рабство,
Нет, мудрость богословья все же лучше.
Вот, Фауст, библия Иеронима [2],
Возьми и хорошенько рассмотри.

(Читает.)

Stipendium peccati mors est. — Ха!
Stipendium... Греху награда — смерть.
Жестоко!

(Читает.)

Si peccasse negamus fallimur et nulla est in nobis veritas.
Когда мы говорим: в нас нет греха, —
Мы лжем себе, мы лжем, и нет в нас правды.
Так что ж, как представляется, нам должно
Грешить и вслед за этим — умереть.
И как же вы зовете эту мудрость?
Che sera sera? То, что будет, будет?
Прощай и ты, премудрость богословья?
Нет, это вот божественно одно:
Познанья сверхъестественные магов,
Их книги некромантии: круги,
Изображенья, линии и буквы.

[а] «Если одна и та же вещь завещена двум наследникам, один получает вещь, другой — стоимость вещи».

[б] «Отец не может лишить своего сына наследства, исключая...» и т. д.

Вот этого так жадно хочет Фауст!
О, что за мир восторгов и богатств,
И почестей, и власти — здесь искатель
Блаженство всемогущества найдет!
Заветный миг! Мне будет все подвластно,
Что движется меж полюсов недвижных:
Цари и короли повелевают
Лишь в собственных отдельных областях,
Им не дана возможность вызвать бурю
Иль разорвать оплоты облаков;
А кто достиг вот в этом совершенства,
Тогда его могущество везде,
Куда ни глянет разум человека.
Так, Фауст: мудрый маг, могучий бог,
Пусть здесь твои всегда пребудут мысли,
Раз возжелал божественного. Вагнер!

(Входит Вагнер.)

Поди и передай привет сердечный
Моим друзьям, Корнелиусу, так же
Как Герману Вальдесу. Попроси их
Притти ко мне; скажи, чтоб непременно
Пришли. Я жду.

Вагнер.

Сию минуту.

(Уходит.)

Фауст.

Беседа для меня важнее будет,
Чем все мои упорные труды.

(Входят Добрый ангел и Злой ангел.)

Добрый ангел.

О Фауст, брось отверженную книгу,
Что пред тобою, не читай ее,
Твоей души она соблазном будет
И навлечет тяжелый божий гнев
На голову твою. Читай, читай
Священное писание, а это
Есть богохульство.

Злой ангел.

Фауст, укрепляйся
В прославленном искусстве этом, все
В нем включены сокровища природы:
Будь на земле — то, что Юпитер в небе,
Владыкой, повелителем стихий.

(Ангелы уходят.)

Фауст.

О, как меня властительно волнует
Одна лишь мысль об этом! Значит, я
Заставлю духов делать все, что только
Покажется желанным мне, заставлю
Мои недоуменья разрешить
И выполнить все, что ни пожелаю,
Что молвит дерзновенье? Повелю им
Я в Индию за золотом лететь,
Опустошить глубины океана,
Лишив его восточных жемчугов,
Исследовать все уголки в пределах
Вновь найденного мира, чтоб оттуда
Достать плодов и царственных сластей,
Заставлю их читать мне строки новой,
Чудесной философии, вещать мне
О тайнах чужеземных королей;
Германию велю им опоясать
Стеной из меди, быстрый Рейн принудить,
Чтоб лентой окружил он Виттенберг,
Наполнить школы пышными шелками,
Чтоб, нарядившись в них, ученики
Смотрели браво; созову солдат
На деньги, принесенные в добычу
Мне, созванными мною же войсками,
Принц Пармский [3] будет изгнан из страны,
Я воцарюсь над всеми областями
Единственным владыкою, заставлю
Подвластных духов мне изобрести
Для целей наступательных орудья
Причудливей, чем огненный корабль,
Что вспыхнул у Антверпенского моста [1].

(Входят Вальдес и Корнелиус.)

Привет, Вальдес, привет, Корнелиус!
Я вас прошу благословить меня
Богатствами беседы вашей мудрой.
Мой друг, Вальдес, и ты, Корнелиус,
Узнайте, вашим словом я склонен:
Хочу заняться магией, возжаждал
Упиться сокровенною наукой:
Не только вашим словом я подвигнут,
Но и своей фантазией: мой ум
Не хочет ни о чем ином и думать,
Лишь об одном мое воображенье —
О тайнах некромантии мечтает,
Противна философия, темна,

Наука врачевания и право —
Для нищенских умов, презренней всех
Наука теологии презренной,
Ничтожной, жесткой, подлой! Магия,
Лишь магия одна меня пленила!
Так помогите ж мне, друзья мои,
В моем желанье стать искусным магом,
И я, смутивший пастырей церковных
Богатством ярким сжатых силлогизмов,
Я, вынудивший гордость Виттенберга,
Весь цвет его, стекаться шумным роем
На разрешенье спутанных проблем,
Как некогда отверженные духи
Роились вкруг Музайоса[5], когда
Он с песней снизошел в Аид, — я буду
Агриппе[6] равен в знаньях сокровенных,
Кто властью над тенями всю Европу
Заставил преклониться перед ним.
. . . . . .

СЦЕНА 3-я

(Входит Фауст с целью заклинать духов.)

Фауст.

Теперь, когда густая тень земли,
Стремясь увидеть взоры Ориона,
Горящие, как изморозь, бежит
В лазурь из антарктического мира,
Мрача ее своим дыханьем, черным,
Как смоль, — теперь, о Фауст, приступи
К волшебным заклинаниям, исследуй,
Заставишь ли ты дьяволов себе
Повиноваться, правильно свершив
Обряд молитв и жертвоприношенья.
Здесь, в этом круге, имя Иеговы,
Продленное заветной анаграммой,
Здесь, в сокращенье, имена святых,
Обозначенья всех явлений неба,
Изображенья знаков Зодиака
И письмена блуждающих светил.
Они взывают к духам: «Появитесь!»
Так будь же тверд, о Фауст, и узнай,
Что может совершить искусство мага.
Sint mihi Dei Acherontis propitii! Valeat numen triplex Jehovae! Ignei, aerii, aquatani spiritus, salvete! Orientis princeps Belzebub, inferni ardentis monarcha, et Demogorgon, propitiamus vos, ut appareat et surgat Mephistophilis. Quid tu moraris? per Iehovam Gehennam, et consecratam aquam quam

nunc spargo, signumque crucis quod nunc facio, et per vota nostra, ipse nunc surgat nobis dicatus Mephistophilis![a]

(Входит Мефистофель.)

Вернись назад, перемени свой образ,
Ты слишком безобразен, в этом виде
Не можешь ты меня сопровождать.
Вернись ко мне монахом францисканским,
Седым и престарелым. Это будет
Приличнее для дьявола.

(Мефистофель уходит.)

Я вижу
В моих словах и сила есть и власть.
В таком искусстве кто не захотел бы
Стать сведущим! Как этот Мефистофель
Уступчив и смиренен! Такова
Власть магии и чар моих! Ну, Фауст,
Теперь ты заклинатель-лавреат,
Великий Мефистофель твой невольник.

(Вновь приходит Мефистофель в виде францисканского монаха.)

Мефистофель.

Чего же от меня желает Фауст?

Фауст.

Ты должен мне служить до самой смерти.
Все исполнять, что Фауст повелит,
Хотя б он пожелал, чтоб из оправы
Луна упала или океан
Залил весь мир.

Мефистофель.

Великий Люцифер —
Мой повелитель; быть тебе слугою
Могу я лишь с его соизволенья;
Мы исполняем только то, что он
Прикажет нам, не свыше.

Фауст.

Значит, это
Он повелел тебе сюда явиться?

[a] «Да будут ко мне благосклонны боги Ахерона. Да торжествует тройственная божественность Иеговы Дух огня, воздуха и воды, привет тебе. Князь Востока Вельзевул, монарх пылающего ада, и ты, Демогоргон, поспешествуйте мне, да возникнет и предстанет Мефистофель. Что медлишь? Заклинаю Иеговой и Геенной, и святой водой, что ныне кроплю, и знаменем креста, которое ныне творю, и нашими обетами, да предстанет ныне перед нами названный Мефистофель!»

Мефистофель.

Нет, я пришел сюда по доброй воле.

Фауст.

Как? Разве не заклятия мои
Принудили тебя? Ответь.

Мефистофель.

Заклятья
Причиной были, но per accidens;
Лишь слышим мы, что кто-нибудь терзает
Господне имя, или отречется
От своего спасителя христа,
Священное писание отвергнет,
И мы летим, в надежде овладеть
Его душою гордой; и тогда лишь
Пред ним мы появляемся, когда
Прибегнет он к чему-нибудь, в чем скрыта
Опасность быть навеки осужденным.
А потому, кто хочет заклинать,
Ему вернейший путь — отречься смело
От троицы и, приложив усердье,
Молиться князю ада.

Фауст.

Твой совет
Уже исполнен: Фауст это сделал.
Он держится такого положенья,
Что нет владыки, кроме Вельзевула,
И Фауст предает ему себя.
Ему не страшно слово «осужденье»,
В Элисиум [a] он превращает ад;
Да пребывает дух его навеки
С философами древности! Но будет.
Оставим этот праздный разговор
О душах человеческих. Скажи мне,
Кто этот Люцифер, твой повелитель?

Мефистофель.

Верховный царь и повелитель духов.

Фауст.

Но не был ли он ангелом когда-то?

Мефистофель.

Да, Фауст, и любимейший пред богом.

---

[a] *Элисий* — в античной мифологии — местопребывание праведников в загробном мире.

Фауст.

Так как же стал он князем темных духов?

Мефистофель.

А! Это через гордость, чрез стремленья,
Исполненные наглости, за что
Его навек отринул бог от неба.

Фауст.

А кто же вы, живущие с ним вместе?

Мефистофель.

Мы — духи тьмы, что с Люцифером пали,
Мы с Люцифером подняли крамолу,
И с Люцифером мы осуждены.

Фауст.

И где же вы несете осужденье?

Мефистофель.

В аду.

Фауст.

Но как же ты теперь вне ада?

Мефистофель.

Вне ада? Нет! О, нет! В аду. Он здесь.
Иль, может быть, ты думаешь, — я, бывший
Перед лицом всевышнего, вкушавший
Бессмертную восторженность небес,
Не мучаюсь тысячекратным адом,
Блаженство безвозвратно потеряв?
О Фауст, прекрати свои вопросы:
Они каким-то ужасом томят
Мою изнемогающую душу.

Фауст.

Не может быть, великий Мефистофель
Терзается так страстно оттого,
Что он лишился неба? Научись же
У Фауста быть мужественно твердым
И презирать то счастие, которым
Ты никогда не будешь обладать.
Иди, предстань перед своим владыкой,
И пусть великий Люцифер узнает,
Что Фауст, дерзновением восставши
На божество Юпитера, бесстрашно
Навлек проклятье смерти на себя

И предает ему навеки душу,
Но с тем, чтоб для него он уберег
Определенный срок годов счастливых,
Числом двадцать четыре, дав ему
Возможность жить в восторгах наслаждений;
Скажи ему, что я хочу тебя
Всегда иметь в моем распоряженье;
Чтоб ты давал мне все, что захочу,
Чтоб отвечал на все мои вопросы,
Чтоб убивал врагов моих, чтоб помощь
Во всем моим оказывал друзьям
И был всегда моей покорен воле.
Ступай, вернись к могучему владыке,
А в полночь в мой рабочий кабинет
Приди, чтоб сообщить мне, как на это
Посмотрит твой верховный повелитель.

Мефистофель.

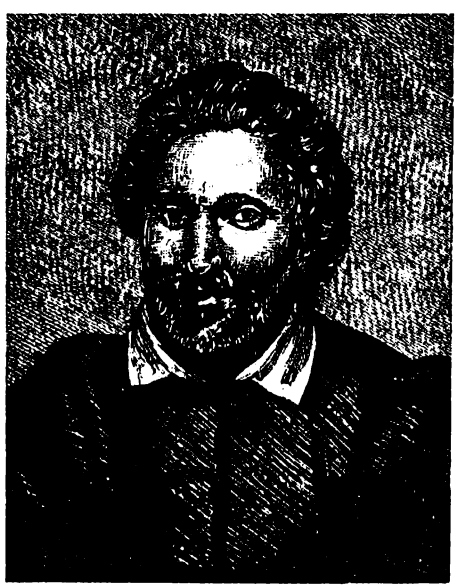
Я повинуюсь, Фауст.

Фауст. (*Уходит*

Если б душ
Имел я столько, сколько звезд на небе,
Я все их Мефистофелю бы отдал.
Через него владыкой мира стану,
Построю мост сквозь движущийся воздух
И перейду с войсками океан;
Скую на африканском побережье
Холмы, как цепь, и этот край солью
С Испанией в едином континенте,
И Африку с Испанией заставлю
Быть данниками трона моего.
Германский император и другие
Державы будут впредь существовать
Лишь с моего на то соизволенья.
Теперь же, получив, чего хотел,
Отдамся размышлениям об этом
Искусстве неземном и буду ждать,
Когда ко мне вернется Мефистофель. (*Уходит.*)

БЕН ДЖОНСОН

Бен (сокращ. от Бенджамен) Джонсон (Ben Johnson, 1572—1637) — выдающийся английский поэт и драматург, младший современник Шекспира. Родился в Лондоне. Учился в Вестминстерской школе, некоторое время помогал своему отчиму-каменщику в его ремесле (отец Джонсона умер за месяц до рождения сына). Покинув семью, он принял участие в военной экспедиции в Нидерландах, затем в качестве актера и режиссера примкнул к бродячей труппе комедиантов. Вернувшись в Лондон, он вошел в труппу Генсло, с которой связано начало его творческой деятельности. В 1598 г. была поставлена и имела огромный успех его первая комедия нравов «Всяк по-своему» или «Всяк в своем юморе» («Every man in his humour»), в которой уже ясно проступают особенности его художественной манеры (теория «юмора»). Убив на дуэли одного актера, Бен Джонсон попал в тюрьму (всего ему в течение жизни пришлось трижды побывать в тюрьме). Потом последовала ожесточенная полемика с литературными противниками. В 1603 г. увидела свет его трагедия «Падение Сеяна» на сюжет из римской истории (падение всемогущего временщика Тиверия). С воцарением на английском престоле Якова I Бен Джонсон становится придворным драматургом, на обязанности которого лежит сочинение так называемых «масок» (драматические аллегории с танцами, музыкой и пением), долженствовавших украшать придворные празднества. В 1605 г. он пишет одно из своих лучших произведений — комедию «Вольпона, или Лиса»(«Volpone, or the Fox»),имевшую шумный успех. За ней следует ряд блестящих комедий: «Эписин, или молчаливая женщина» («Epicoene, or the Silent Woman», 1609 г.), «Алхимик» («The Alchemist», 1610 г.) и «Варфоломеевская ярмарка» («Bartholomew Fair», 1614 г.) Последняя комедия, написанная на национальную тему, также имела огромный успех. В названной пьесе Бен Джонсон достигает выдающегося мастерства в сценической характеристике публичной жизни «старой веселой» Англии. К 1611 г. относится вторая его трагедия на античный сюжет—«Заговор Катилины». После двенадцатилетнего перерыва писатель выступает с комедией «Склад новостей», за которой следуют другие, менее значительные. Последние годы жизни Бен Джонсона были ом-



Бен Джонсон (с гравюры XVIII в.)

рачены болезнью и нуждой. Бен Джонсон писал также стихотворения (оды, элегии, эпиграммы и пр.). Современники ценили его выдающиеся познания в науке о древностях, его широкую гуманистическую начитанность в античной литературе.

На русском языке: «Драматические произведения», под редакцией и со вступительной статьей И. А. Аксенова, два тома, изд. «Academia», 1931—1933 гг. (сюда входят: «Сеян», «Алхимик», «Варфоломеевская ярмарка», «Вольпона», «Каждый по-своему», «Склад новостей», а также «Эпицин, или молчаливая женщина», перевод Е. Р. Блох, II., 1921 г.).

Из «ВАРФОЛОМЕЕВОЙ ЯРМАРКИ»

Действие второе

[Действующие лица приводимой сцены: Оверду — судья; Летерхед — игрушечный мастер и марионетщик; Нейтигаль (соловей) — певец баллад; Зекиель Эдгвард — вор, карманник; капитан Джордан Нокем — барышник, торгующий лошадьми; Джуан Траш — торговка; Урса — трактирщица, хозяйка «Кабаньей головы»; Мункалф — половой в кабачке «Кабанья голова»; Винвайф и Кварелус — молодые дворяне, модные щеголи.]

Открытые лавки и кабачки, лотки и палатки. Летерхед и Джуан Траш за лотками. Прохожие. Через несколько минут входит судья Оверду, переодетый, в маске, чтоб не узнали.)

Оверду. Итак, именем правосудия, именем короля и в пользу государства, Адам Оверду, презря весь свет и всемирную историю своим костюмом... и нарядился же ты, честное слово! Недурно было бы встретить теперь такого Линкея [а] — орлиное око, проницательного эпидаврийского змия (как назвал его мой Квинт Гораций), который сумел бы узнать мирового судью под этой маской. Многим видать доводилось шутов в одеяний судей, но никто никогда до сих пор не видал судью в одежде шута. Так надлежит поступать нам, стоящим на страже общего блага, и мудрые судьи так поступали во все времена. Если только найти правильный путь, можно из зла сотворить добро. Не найти мне похвал тому уважаемому лицу, может быть, даже влиятельному члену городского управления, если его высокая мудрость проявится в том, что он порой примет внешность носильщика, извозчика или гицеля в августе месяце, зимою же — обличие продавца спичек. И что ему делать в таком виде? Ясно, войти в любую пивную, в любой погребок, измерить емкость пудингов и драчен, горшков и ковшей палкой, окружность же их веревкою. Взвешивать хлеб на третьем пальце руки своей. А затем послать за ними, отдать пудинг бедному, хлеб голодному, драчену младенцам. Горшки же и ковши перебить самолично, не доверяя своим продажным чиновникам. О, если бы все власть имеющие сле-

[а] *Линкей* — имя одного из аргонавтов, кормчего корабля Арго; он отличался необычайной зоркостью.

довали бы столь достойному подражания примеру, ибо, увы, став общественным деятелем, что мы знаем? Нет — что можем мы знать? Мы слышим чужими ушами, мы видим чужими глазами. Дурак-городовой или сонный сторож — вот единственный источник наших сведений. Они оболгут джентельмена в силу своих полномочий, как они говорят, и мы должны им верить в силу бессилия своих. Например, в прошлый раз один из них заставил меня, увы, меня, принять честного, ревностного пуританина за папского семинариста. И достойного молодого учителя музыки за сводника. Вот что грозит нам на наших высоких постах. Все наши способности ни к чему не применимы, и большинство наших подчиненных мошенники. И, в сущности, если позволите сказать, мы сами, веря им, ничуть не умнее их, если не совсем дураки. Я, Адам Оверду, решился поэтому сберечь деньги, отпущенные на сыщиков и соглядатаев, и самому приняться за свой страх за расследование крайне многочисленных безобразий и злоупотреблений на этой ярмарке. Доводилось мне иногда по три дня заседать судьей на ее народных судах. Но сегодня как раз удобный день для розыска вышеупомянутых преступлений. Вот моя черная книжка на этот случай. Вот облако *(показывает на одежду)*, которое прячет меня, и под его покрытием я вижу все, оставаясь незримым. Вперед, Юний Брут, и как я начал, так я и кончу: именем правосудия, короля и в пользу государства! *(Подходит к кабачку и останавливается у него.)*

Летерхед. Ярмарочная сутолока замерла, люди что-то не выходят сегодня. Почему — неизвестно! Слышь ты, сестра Траш, корзинная дворянка, отсядь-ка подальше со своими пряничными произведениями — не закрывай вида на мою лавку. А то я объявлю на ярмарке, из чего твои пряники состряпаны.

Траш. Как из чего, брат Летерхед? Ничего в них нет, кроме самого полезного, уверяю вас.

Летерхед. Да, гнилая мука, тухлые яйца, заплесневелый имбирь да негодный мед — сама знаешь.

Оверду *(в сторону)*. Ага, как скоро! Уже и встретился с беззаконием.

Летерхед. Доберусь я до твоей торговли, старуха.

Траш. До моей торговли? Ах ты, наглец базарный! Вреди мне, сколько хочешь. Плевать на тебя с твоей конюшней деревянных коньков. Не хуже тебя плачу за свое место, только тронь меня, хотя ты разносчик, поэт и механик, а уж найду приятеля, который за меня отомстит и сочинит-таки песенку на тебя и на всю твою скотину! Ишь, как надулся, товаром важничаешь, — охрою, что ли?

Летерхед. Мели, мели, старая. Вот я еще поговорю с тобой да сведу к судье Оверду. Он такой человек, что ты у него притихнешь. Упеку я тебя в народный суд.

Траш. Это чтоб я да притихла? Да я сама потащу тебя к его высокочтимости, если ты только посмеешь. И хотя я чуть кривобока, — увидят, что я пряма в своих поступках, как любая другая женщина Смисфильда. Я тебе притихну!

Оверду. Я рад, что имя мое все-таки вселяет в них страх. Вот что значит действие правосудия.

(Прохожие проходят толпой по сцене.)

Летерхед. Что угодно? Что купите? Что вам угодно? Трещетки, барабан, аллебарда, лошадки, самая прелестная куколка, а вот лучшие скрипки.

(Входит продавец фруктов Кастормонгер, за ним Нейтигаль — Соловей.)

Кастормонгер. Купите груши, груши хорошие, самые спелые груши!

Траш. Купите пряники, золоченые пряники!

Нейтигаль. Эй! *(Поет.)*

Средь рыночного крика
Хор птиц гулянью в дань
На крышах входит лихо
С Варфоломеем в брань.
Торгуются зеваки,
С девчонками гуляки,
Недолго и до драки.

Купите песенку! Новую песенку!

(Выходит Урсула из своего кабачка.)

Урсула. Будь она проклята! Кому здесь губить свою молодость и свежесть, жаря свиней, имейся еще более прохлаждающее занятие? Ад — вроде холодного погреба и даже очень хорошего погреба, честное слово, по сравнению с этим адом. Эй, Мункалф!

Мункалф *(изнутри)*. Здесь, хозяйка!

Урсула. Стул сюда. Лживое кувшинное рыло! С утра промочить горло дай, живей бутылку пива, освежиться, мерзавец! Вся я огонь да сало. Соловей, боюсь, что растаю до самой прародительницы Евы и обращусь в адамово ребро. Так и теку на песок, когда иду, как большая садовая лейка, меня можно по моим лужам выследить.

Нейтигаль. Увы, добрейшая Урсула! Был ли здесь Зекиель утром?

Урсула. Зекиель, какой Зекиель?

Нейтигаль. Зекиель Эдгвард, вежливый карманщик, вы его отлично знаете: он вечно с вами похабничает. Я зову его своим секретарем.

Урсула. Помнится, он обещал быть сегодня поутру.

Нейтигаль. Когда придет, скажите ему, чтоб подождал, я скоро вернусь.

Урсула. Лучше влейте себе утренней росы в живот, соловей. *(Входит Мункалф со стулом.)* Сюда, сэр. Поставьте его сюда. Не приказывала я тебе ставить для меня стул с сиденьем пошире, чтоб могла и моя ляжка расправиться? Сам ты никогда ни до чего не

додумаешься, нужно, чтоб твоя хозяйка кожу с зада ссадила. Так-то, ублюдок ты этакий, тебе, поди, все равно, раз здесь помещаются твои комариные бедра, о другом и печали нет. Ну, а теперь, чего стал, будто в кабацком углу блох ловил у себя в штанах со свечкой да всю ярмарку поджег? Наливай, черепаха, лей!

Оверду. Я узнаю эту трактирщицу и отмечу ее, как второе беззаконие. Она проходила передо мной, насколько я помню, все эти 22 года подряд на каждом ярмарочном суде за проституцию, сводничество и содержание притонов.

Урсула. Лей еще, жалкая тварь!

Мункалф. Пожалуйста, хозяйка, не сердитесь, я стул потом расставлю!

Урсула. Нет, нет, ярмарке не кончиться, как я до его размера засохну! Вы думаете, что меня рассердили, бедная я, оскорбленное создание. Так и чувствую, как вытекаю капля за каплей. Две меры пота в день — моя порция. Душу при теле вот только этим могу удержать *(указывает на пиво)*, — вот вам, Соловей *(наливает ему)*, — и струей табачного дыма. Где моя трубка, чорт побери? Ах, леший, идиот...

Нейтигаль. Легче, Урсула, ты своей бранью язык обдерешь.

Урсула. Могу ли я хоть надеяться, что он когда-нибудь очистит место поверенного шинкаря и моего помощника? Вот — человек, который ничего не понимает, что я говорю. *(Нейтигаль уходит.)* Смотри, чорт тебя драл! Надо мне трехпенсовую трубку, набитую полуфунтом моего табаку, с четвертью фунта белокопытника для крепости. Я так много вожусь с огнем, что могу не воздерживаться насчет курева и пива. Двадцать шесть шиллингов[а] даю себе вперед за бочку и пятьдесят на сотню эля. Я говорила уже тебе, как это окупается. Наливай стакан сверху, чтоб пенился хорошенько дурак, да хлопни бутылку по дну. Пей со всеми компаниями, тогда наверное охмелеешь и станешь присчитывать тем лучше, да меньше этого стыдиться. Настоящее твое искусство, подлец, быть всегда за делом, спешно убирать бутылки и стаканы, которых не успели допить еще и до половины, и никогда не слышать окрика, если эту ошибку случайно заметят. Тащи всегда свеженького с клятвой, что никогда не ошибаешься. Дай мне глоток эля.

Оверду *(в сторону)*. Это истинное лоно и чрево всякого беззакония, чудовищного, как она сама. Это должно быть записано до мельчайшей подробности.

(Стук внутри.)

Урсула. Посмотри, кто там, чорт. Пять шиллингов за свинью — крайняя цена. Если это молочная свинья, — шесть пенсов дороже. Толстобрюхая свинка — еще шесть пенсов за это самое.

Оверду. O tempora, o mores[б]. Я не променял бы раскрытие этих

[а] *Шиллинг* — английская монета, $^1/_{20}$ фунта стерлингов, равная 12 пенсам.

[б] «О времена, о нравы».

злоупотреблений за место судьи и почет в палате. Кто тот несчастный, кого здесь так надувают? Отлично, я сближусь с ней и ее Мункалфом и сокращу чудеса безобразий. *(Выступает вперед.)* Добрейшая женщина, приветствую вас всем ярмарочным салом, масляным, как лампа королевского констебля[а] и лоснящимся, как его сапожный рожок. Имеет ли твое пиво достоинство и силу, достаточные для услаждения языка и нёба человеческого? Пусть твой красавчик-племянник сбегает, поищет и найдет.

Урсула. Это что за новый гуляка?

Мункалф. Господи, разве вы его не узнаете, хозяйка? Это сумасшедший Артур Бродлей, тот, что сочиняет прошения и речи. Как поживает добрейший мистер старый Артур, сэр Бродлей? Милости просим на ярмарку. Когда мы опять послушаем, как вы ораторствуете, прислонившись спиной к стенке кабака, ага? Я был одним из ваших учеников в свое время.

Оверду. Дай-ка, мальчуган, выпить мне с моей возлюбленной и твоей теткой для красноречия. Только дай мне самого лучшего, а то будет горько во рту, и слова мои будут обидны ярмарке.

Урсула. Почему не предлагаешь ему пить и присесть?

Мункалф. Что прикажете, мастер Артур, имбирного эля или пива?

Оверду. Наилучшего, мой красавчик, того, что пьет твоя голубка и что ты пьешь в праздник.

Урсула. Принеси ему шестипенсовую бутылку эля. Говорят, у дурака рука легкая.

Оверду. Принеси и то и другое, дитя мое. *(Садится за стол в кабачке.)* Эль для Артура, пиво для Бродлея. Эля еще твоей тетушке, мальчик. *(Мункалф уходит.)* Мое переодевание превышает своим успехом все мои желания и ожидания. Благодаря ему я раскрыл многое. А теперь осторожней с репутацией того, кого я играю. Это нечто среднее между идиотом и сумасшедшим.

Нокем *(входит)*. Что, моя маленькая худенькая Урсулочка, пивная бочка моя? Все еще жива со своим свиным выводком? Еще похрюкаешь и на следующей Варфоломеевской ярмарке, н-да?

Урсула. Да, чтоб только дотаскать мне ноги до конца ярмарки и слышать, как вы там стонете в тележке[6], въезжая в гору.

Нокем. На холм Хольборна, Урсула? Ты на это намекаешь? За что, за что, моя хорошенькая медведка?

Урсула. За то, что таскаете грошовые кошельки да крадете грошовых собачек с лотков.

Нокем. Здорово сказано, здорово сказано, Урсула!

Оверду *(в сторону)*. Еще новое особенное безобразие: вор при шпаге и плюмаже! Вот его приметы.

(Мункалф возвращается с элем.)

[а] *Констебль* — полицейский.

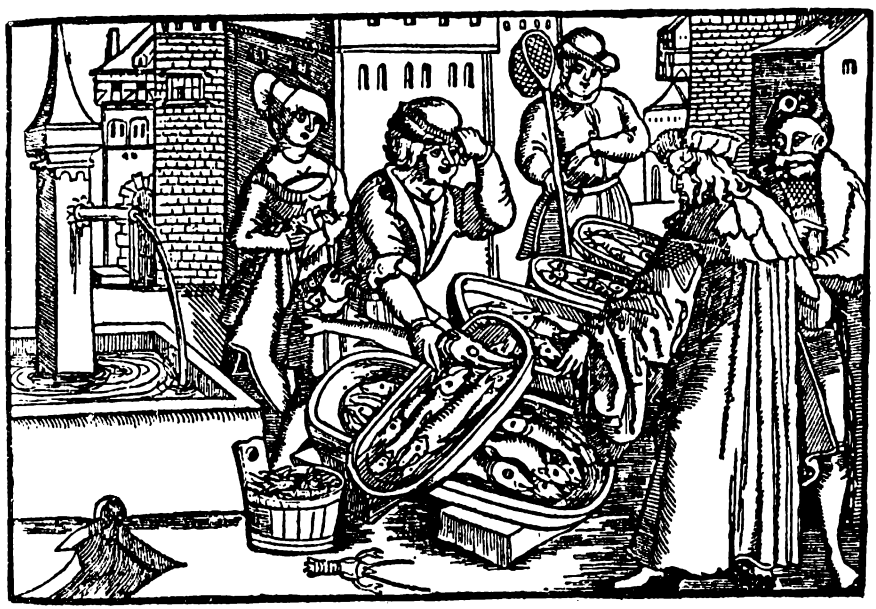
[6] Урсула намекает на тележку, в которой возили на казнь преступников.

Урсула. Вы один из тех конских барышников, которые распространяли слух, будто я померла на Тернбульской улице от пьянства, объевшись требухой.

Нокем. Нет, от лучшего блюда, Урсула, от коровьего вымени, от коровьего вымени.

Урсула. Ладно. Уж сосчитаюсь я как-нибудь с твоей слюнявой мордой.

Нокем. Что? Ты хочешь отравить меня, пустить ящерицу в бутылку пива, не правда ли? Или паука в табачную трубку? Урса?



Сцена на рынке (с гравюры XVI в.)

Брссь! Нет коварства в таких жирных людях. Не боюсь я тебя и всегда сумею спастись от твоего тощего Мункалфа. Давай-ка выпьем, милая Урса. *(Пьет, Урсула выходит.)*

Оверду. Ты слышишь, мальчик? Вот тебе за эль, а остаток тебе. Скажи теперь по совести — этот добродушнейший человек здесь перед нами — кавалер ножа?

Мункалф. Что вы под этим подразумеваете, мастер Артур?

Оверду. Я подразумеваю: дитя рогового пальца, дитя добычи, мошенник, карманщик.

Мункалф. О господи, сэр, ничего подобного. Это мастер Нокем Джордан — лесничий из Тренбуля, он барышник, лошадник, сэр.

Оверду. Твоя прелестная дама, однако, называла его карманщиком.

Мункалф. О, это очень может быть, сэр, она сорок подобных вещей скажет за один час, если вы ее слушаете для своего удовольствия, когда подобная шутка взбредет ей под засаленный головной платок, она от этого жиреет, видите ли вы, она этим откармливается.

Оверду. Вот здесь я мог бы быть введен в заблуждение и расписался бы в глупости, если б не сыграл во-время на осмотрительность.

(Урсула возвращается, потея.)

Нокем. Увы, бедная Урса, тяжелый сезон для тебя.

Урсула. Чтоб тебе пусто было, извозчик.

Нокем. Что, что, Урса, ветры, да? Движение вызывает ветры.

Урсула. Зубаст. Не крути свою бороду, Джордан, знаю, тебе все нипочем. Хотя ты и глава всех гуляк, ты не испугаешь меня своим львиным видом, ни клыками, сэр. Вы недозольны, вы голодны. Пойдем, кабанья голова заткнет вам пасть и набьет пузо во всякое время.

Нокем. Ты все попрежнему сумасшедше весела, Урса. Правда, я признаюсь, что обидел тебя в эти собачьи дни, в эту жару, от которой тело твое растопится — один из столпов нашей ярмарки. Прошу тебя, возьми стул и сядь. Давай, примемся-ка за новую бутылку пива и трубку табаку, и прочь ветры! *(Входит Эдгвард.)* Посмотри, вот и Зекиель Эдгвард, красивый малый, лучше всех на ярмарке. У него еще не перевелись деньги в кошельке и заплатит за всех от кроткого сердца и под добрыми парами.

Эдгвард. Что я действительно охотно и сделаю, мастер Нокем. Давайте пиво и табак.

(Мункалф выходит. Через сцену проходят посетители ярмарки.)

Летерхед. Что вам угодно, джентльмены? Нянька, смотри хорошенько, какова лошадка для твоего барчука, фуража ей на неделю за грош.

(Входит Нейтингаль, крысолов и поденщик-жнец.)

Поденщик-жнец. Эй, кому косить, кому жать, у кого трава, у кого рожь!

Крысолов. Купите мышеловку, мышеловку, мухоловку!

Траш. Купите пряничка!

Нейтингаль.

Баллады, песенки, хороши новые песенки!
Послушайте для чувств и деньгами купите
Балладу «О хорьке и кролике», хотите?
Чтоб охраниться вам от грешницы порока,
Сам чорт с крахмальщицей послужит для урока.
Считаю дюжиной советы и причины
И песни ярмарки я мерю на аршины.
Какую покупаете?

Как ведьмы с мельничным крылом заводят торг
И как дракона грудь пронзил святой Георг!

(Возвращается Мункалф с пивом и табаком.)

Эдгвард. Мастер Нейтигаль, подойди сюда, брось на минутку свою торговлю.

Нейтигаль. О, мой секретарь. Что скажете, секретарь? *(Входят вместе внутрь кабака.)*

Оверду. Порождение бутылок, кто он? Кто он? *(Указывает на Эдгварда.)*

Мункалф. Любезный молодой человек, мастер Артур. Он водится с гуляками и платит за всех. У него всегда деньги. Он платит за них. Он платит за них, а они за него скандалят. Так они и оказывают друг другу взаимные услуги. Его прозвали секретарем, но он никому не служит. Это большой друг песенника — они неразлучны.

Оверду. Какая жалость, такой приличный молодой человек должен вращаться в такой развратной компании. Вот где обнаруживается яд, отравляющий нашу молодежь. Подлинный человек пера. Узнаю по манерам, у него вид хорошего клерка. И я ручаюсь, что у него ловкая рука.

Мункалф. Очень ловкая, сэр. *(Уходит.)*

(Эдгвард, Нейтигаль и Урсула входят, шепчутся.)

Эдгвард. Все кошельки с их содержимым я сегодня по уговору передаю вам. *(К Урсуле и Нейтигалю.)* Вы будете доставлять сюда — Урсуле. Ночью мы сойдемся в ее берлоге и поделимся. Смотрите, выбирайте хорошие места на ярмарке для своего пенья, Соловей.

Урсула. Да, у самых людных проходов и почаще меняйте.

Эдгвард. Распевая, не забудьте воспользоваться проворством своих ястребиных глаз, чтобы отметить, указать мне, у кого с какой стороны кошель висит — клювом сигнал подавайте, а то болтайте головой в такт песне, вот этак.

Урсула. Хватит. Не с сегодняшнего дня, поди, дружите, выпейте-ка по стаканчику за ваш союз и за уговор — да марш. Ярмарка наполняется. Компании начали собираться. А у меня еще ни одна свинья не зажарена.

Нокем. Правильно сказано. Налей стакан и зажигай трубки. Поддадим жару работе и разведем благородные пары.

Эдгвард. А будет ли нам курево, Урсула, да добрая потеха? а?

Урсула. Забабничал уже. Будет вам самое лучшее, что может сыскаться на ярмарке, Зеннель, если сводня Вит сдержит свое слово. *(Мункалф входит.)* Что поделывают свиньи, Мункалф?

Мункалф. Так и пышут, хозяйка, у одной даже глаз лопнул... Мастер Артур Бродлей грустит. Здесь с ним никто не разговаривает. Не угодно ли табачку, мастер Артур?

Оверду. Нет, мальчуган, предоставьте мне размышлять в

Мункалф. Он тут сочиняет какую-нибудь речь.

Оверду. Если б успеть ценой целого дня и всей моей хитрости спасти этого юношу из рук этого погибшего человека и этой потерянной женщины, — я готов просидеть здесь до поздней ночи и сказать с моим другом Овидием jamque opus exegi, quod nec jovis ira, nec igonis [a] и т. д.

Нокем. Сюда, Зекиель, за здоровье Урсулы и попутные вам ветры! У тебя еще не перевелись деньги в кошельке? Сколько? Как это ты ухитряешься? Прошу тебя подпарь своих друзей наилюбезнейшим паром.

Эдгвард. Половина всего, что я имею, неизменно в вашем распоряжении. *(Вынимает кошель.)*

Оверду *(в сторону)*. О, нежная душа! Какой ястреб стал бы терзать такого ягненка?

Нокем. Посмотрим, что тут, Зекиель, давай посчитаем. *(К Мункалфу.)* Налей ему еще, чтобы он ответил мне на тост.

(Винвайф и Кварелус входят.)

Винвайф. Мы здесь раньше их, кажется...

Кварелус. Тем лучше, мы увидим, как они войдут.

Летерхед. Что вам угодно, джентльмены, что вам угодно? Хорошенькая лошадка, лев, бык, медведь или кошку прекрасную, превосходную варфоломееву птичку. Может быть, какой-нибудь инструмент? Что вы желаете?

Кварелус. Пошел... Вот Орфей среди зверей и со скрипкой.

Траш. Не купите ли пряников, господа?

Кварелус. И Церера, продающая портрет своей дочери, вылепленный из имбирного теста.

Винвайф. И эти столь невежественные люди полагают, что мы им товарищи. Разве мы похожи на покупателей пряников и деревянных коньков?

Кварелус. Что ж, они не знают товара, лучше своего собственного, и лучших покупателей, чем те, которые сюда ходят. И наше присутствие здесь делает нас предметом пристваний, как и всякого другого. Пришел бы скорее Кук. Вот это был бы настоящий их покупатель.

Нокем *(Эдгварду.)* Сколько? Тридцать шиллингов? Кто эти люди? Нед Винвайф и Том Кварелус. Так, кажется? *(К Эдгварду.)* Давай мне их все. Давай сюда. Мастер Винвайф! Мастер Кварелус! Выкурите трубочку с нами. Не выставляйте меня бедняком перед ними.

(Зекиель оставляет ему свой кошелек.)

Винвайф. *(К Кварелусу.)* Не замечайте — это гуляка, барышник. Избегайте, пожалуйста, его. Повернем в другую сторону.

Кварелус. Вздор. Я их замечу и стану здесь шуметь вместе с ним, а он бушует, как Нептун; идемте со мной, пожалуйста.

[a] «Я уже воздвиг дело, которое ни ярость Юпитера, ни огонь...»

Винвайф. Этак вы можете вовлечь меня в неприятности.

Кварелус. Идем, нам же нечего делать, как только наблюдать. *(Входит в кабак.)*

Нокем. Привет вам, мастер Кварелус и мастер Винвайф. Хотите выпить холодненького да покурить с нами?

Кварелус. Да, сэр, но вы извините нас: мы не знали, что мы с вами на короткой ноге.

Нокем. То есть это как, сэр?

Кварелус. С такой скоростью получить приглашение курить и прохлаждаться.

Нокем. А ну, добрым паром вас нанесло, садитесь, господа. Это дом старой Урсулы; как вам нравится ее беседка? Здесь вы можете заказать себе и женщину и свинью, сэр, и то и другое с пылу, с жару.

Кварелус. Я предпочитаю женщину в холодном виде, сэр.

Оверду *(про себя)*. Это мне пригодится. *(Записывает.)* Женщина и свинья.

Урсула. *(изнутри)*. Что же, Мункалф? Эй, сволочь!

Мункалф. Бутылка почти вся, хозяйка. Ну, мастер Артур! *(Подливает ему.)*

Урсула *(изнутри)*. Разогнать вас с твоим маскированным собеседником надо, и живо разогнать надо!

Нокем. Мастер Винвайф, что это вы такой гордый? Не пьете, не разговариваете? Загордились?

Винвайф. Не от компании, в которой нахожусь, и не от места, в котором сижу, смею вас уверить.

Нокем. Вы не возражаете против компании, правда? Вы не под парами, а?

Мункалф. Нет уж, добрейший мастер Даниель Нокем, проявите уважение к хозяйкиной беседе, как вы это называете, и, из внимания к нашему заведению, пусть они здесь не пускают паров.

(Входит Урсула, несет головню.)

Урсула. Ах ты, облезлый хорек лядащий! Да какое у тебя право мешать им, раз им этого хочется? Твоего ли здесь ума дело, гнида, если им заблагорассудится часок-другой в этом поупражняться! Ты здесь будешь наслаждаться благорастворением воздухов, пока я там в кухне мучусь, вонючка?

Мункалф. Добрая хозяйка, это я говорю ради чести нашего кабачка.

Урсула. Дом, что ли, от этого обрушится или пожаром его хватит? Пошел, хам, потроши свиней, поправь огонь, чтоб они на него не свалились, а то я тебя самого так отжарю, что и у тебя глаза лопнут, как у свиньи на огне! Бутылки тут оставь. И будь ты проклят, стервец!

(Мункалф уходит.)

Кварелус. Вот так ярмарочная туша! Она что же — мать всем сводням?

Нокем. Нет, всем свиньям мать.

Винвайф. Мать фурий, по-моему, и пылающая головня при ней.

Кварелус. Нет, слишком жирна для фурии — просто откормленная свинья.

Винвайф. Одушевленная кухонная посуда.

Кварелус. Хорошую можно из нее сделать мать для каретников Смисфильда — колеса и оси смазывать.

(Урсула тем временем пьет.)

Урсула. Так, так, джентльмены, смейтесь над простой толстой девкой из предместья, смейтесь над тем, что она жирна и здорова. Вам нужен хрупкий затянутый товар, такой, чтоб собачьим ошейником опоясать (без того никак нельзя). Длинный кружевной морской угорь, поставленный на дыбы, с зеленым пером на затылке, как укроп на головизне.

Нокем. Славно сказано, Урса. Моя добренькая Урса! Отлично сказано.

Кварелус. Она ваше болото. Она ваша трясина, Даниель Нокем.

Нейтигаль. Сейчас поругаются.

Нокем. Что, болото? Что, трясина? Чорт побери! Пары меня разорви!

Кварелус. Да. Кто на это отважится, тот несомненно провалится и утонет в ней, да не меньше недели пройдет, пока друзья разыщут, куда он пропал.

Винвайф. И он еще две недели будет выбираться оттуда.

Кварелус. Это будет падение в бочку с салом. Понадобится отряд голландцев, чтобы вытащить его оттуда.

Нокем. Ответь им, Урса, ответь! Где варфоломеево остроумие? Где твое варфоломеево остроумие?

Урсула. К чорту вас самих, сволочных подлецов, вот ужо погляжу я, как вас хватит чума, а сифилисом вы уже запаслись, наверно, от поджарой курятины из театра! Зад у нее костлявый, как пиковый туз или острие аллебарды, что ни ребро у ней, так зуб от пилы, и так она вас плечьми да коленами поцарапает, что лучше бы с бороной спать!

Кварелус. Вы посмотрите, как из нее пот поплыл; заболеешь испариной, на нее глядя.

Урсула. Ну, и смотрите, сделайте одолжение, у самого заплата на роже да с дюжины заплат на штанах, велика важность, что они красные! Я, сэр, видела, как почище вас франты свои вшивые камзолишки старьевщику по два раза в неделю таскали.

Кварелус. Вы не думаете, что на ярмарке найдется хорошая корзина и ее стоит купить? Я говорю про достаточно большую, а? Я тут знаю один пруд, в который она бы могла уместиться.

Урсула. Мать твоя в него уместится, прохвост! Выметайся ты, хам! Заборная птица, шут, ублюдок корзинщика!

Кварелус. Ха, ха, ха!

Урсула. Ты еще смеяться, кобель головастый, кривой ты хвост? Мать твоя тебя, как жадного щенка, на стерню с телеги под сноп родила, так ты сразу сбесился? К чорту отсюда, обнюхивать братнину суку госпожу Нужницу — ее на тебе и ливрея! Даром, что уже локти протерлись. Пора тебе к ней спровадиться, ради остальных здесь присутствующих.

Нокем. Тише. Тише, Урса! Убьют они бедного кита и погонят из него ворвань. Уйди, сделай милость.

Урсула. Погляжу раньше, как их болячка заест, как их на кол посадят, как их еще раз потом на кол посадят!

Винвайф. Уйдем отсюда, ее речь становится сальнее ее свиней.

Урсула. Ах ты, сопляк! Господи, боже мой! Утри ты носик, пискун! Тебя, видно, нищенка зачала на гумне от плешивого батрака, чуть тепленького. Ну и папаша!

Винвайф. Прошу тебя, уйдем.

Кварелус. Нет честное слово, я останусь, пока не кончит. Этого надолго нехватит, я знаю по ей подобным, что она скоро выдохнется.

Урсула. Да? Правда? Я вас заставлю уйти, дайте-ка мне только мой свиной противень, вот я вас ошпарю, когда не уйдете!

Нокем. Джентльмены, это очень буйные пары и совершенно напрасные пары, уверяю вас.

Кварелус. А вы сам убежденный осел, уверяю вас.

Нокем. Хм... Осел! Настоящий? Всякому, кто говорит мне осел, мастер Кварелус...

Кварелус. Что тогда, Джордан Нокем?

Нокем. Я говорю — это ложь.

Кварелус. Клянусь, всякий, кто говорит мне, что я лгу, получает от меня — вот. *(Ударяет Нокема.)*

Нокем. О, так, — зуб за зуб.

(Драка; входит Урсула со своим противнем.)

Нейтигаль. Берегись противня! Противень! Противень! Она идет с противнем, господа! *(Урсула падает.)* Господи, благослови!

Урсула. О! О!

(Кварелус и Винвайф уходят.)

Траш. *(вбегает)*. Что случилось?

Оверду. Добрейшая!

Мункалф. Хозяйка!

Урсула. Будь я проклята, что на этих чертей смотрела. О, о, обварила ногу! Нога! Нога! Нога! Я лишилась конечности на службе. Да беги же скорей за сливками и салатным маслом! Что глаза пялишь, павиан? *(К Мункалфу.)* Оборви мне штаны, — будь мужчиной, мужчиной, мужчиной!

Мункалф. *(К Траш.)* Бегите за сливками, матушка Траш, я присмотрю за вашей корзиной.

(Траш выходит.)

Летерхед. Лучше сядь на стул, Урсула.

Нокем. Успокойся, Урса. Ты помешала мне расправиться с двумя жеребцами, которые оскорбляли честь достойнейшего наездника Смисфильда. Им только впору было убраться.

Нейтигаль. *(Тихо к Эдгварду.)* Клянусь, вы уже удирали от них, когда противень появился, — это и был настоящий момент для охоты?

Эдгвард. Ничего подобного. Эти господа были слишком приличны, чтобы иметь при себе деньги.

Нокем. Соловей, помогите мне освободить ее ногу, снимите с нее башмак. Лопни мои глаза, у неё засечка и стрелка заросла на другой ноге!

Урсула. Зараза! Что вы мне ногу заговариваете, это, чтоб ее дергало да кололо? Хотите меня до времени сплавить в больницу?

Нокем. Терпение, Урса, мужайся, это только пузырь. Я сведу его яичным белком с медом и бараньим салом. Замотай хорошенько свои копытца, и завтра ты снова забегаешь. Я буду стеречь кабачок и присмотрю за твоими делами, а ты сиди пока на стуле, распоряжайся и сияй, как Большая Медведица.

(Нокем и Мункалф уносят Урсулу на стуле.)

ВЕБСТЕР

Джон Вебстер (John Webster, ок. 1580 г. — между 1625 и 1633 гг.) — английский драматург, современник Шекспира. Родился в Лондоне. Биографических данных о нем почти не сохранилось. Лучшие его пьесы — «Белый дьявол» («The White Devil», 1612 г.) и «Герцогиня Мальфи» «The Duchess of Malfi» между 1617 и 1623 гг.) — яркие образцы жанра «кровавой» трагедии. Менее значительна его трагедия «Appius and Virginius» (до 1624 г.). Вебстер писал также комедии (совместно с Деккером), стихотворения на случай.

На русском языке: «Белый дьявол», перевод И. А. Аксенова (в сборнике Аксенова «Елизаветинцы», М., 1916 г.).

Из трагедии
«БЕЛЫЙ ДЬЯВОЛ,
или
ВИТТОРИЯ КОРОМБОНА»

Сюжетом трагедии Вебстера (представляющей собой яркий образец распространенного в елисаветинской драматургии жанра «кровавой» трагедии) послужили действительные события, разыгравшиеся в Италии в эпоху Чинквенченто (XVI в.): герцог Браччьяно убил свою жену Изабеллу Медичи, заподозрив ее в измене. Вскоре после этого он влюбился в римскую красавицу Витторию Аккоромбони, которая, однако, соглашалась разделить страсть престарелого герцога лишь в качестве законной супруги. Тогда Браччьяно с ведома Виттории заманил ее мужа (Франческо Перетти) в уединенное место, где он и был застрелен. Через две недели Виттория тайно обвенчалась с Браччьяно. Но так как убитый Перетти был племянником кардинала — будущего папы Сикста V, Витторию судили и заключили в темницу. Тогда герцог Браччьяно публично объявил, что Виттория — его законная супруга. Витторию немедленно освободили из заключения, и она сделалась герцогиней Браччьяно. Но как раз в это время кардинал Перетти был избран папой, и Браччьяно и его жена сочли за лучшее покинуть Рим. Через некоторое время Браччьяно внезапно умер, повидимому, от яда. Виттория сделалась одинокой. Однажды в ее дворец в Падую ворвались люди Людовиго Орсини, наследника Браччьяно. Они набросились на Витторию и ее брата и зверски убили их. Таковы события, легшие в основу трагедии Вебстера.

Только у Вебстера ход событий кое в чем изменен. Браччьяно, например, у него совершает убийство мужа Виттории и своей первой жены в одно время — и то и другое с ведома и одобрения Виттории. Он похищает Витторию из заключения. Значительная роль отводится брату Изабеллы (первой жены Браччьяно), флорентийскому герцогу Франческо Медичи,

который выступает мстителем за свою сестру и поэтому является заклятым врагом Браччьяно и Виттории («белая дьяволица»). Переодевшись мавром-кондотьером, он проникает во дворец Браччьяно в Падую, где с помощью двух сообщников (графа Людовико и Гаспаро), загримированных странствующими монахами, и осуществляет свою месть: улучив удобную минуту, заговорщики пропитывают ядом шлем Браччьяно, и когда тот надевает его, отрава начинает действовать (следует приводимая 3-я сцена V акта, одна из самых жутких в трагедии). Покончив с Браччьяно, они убивают Витторию, ее служанку, а также Фламиньо — брата Виттории, сподвижника герцога во всех злодействах (Фламиньо собственноручно убил мужа Виттории, свел ее с герцогом, устроил отравление Изабеллы, а также заколол своего младшего брата на глазах у матери, от чего она сошла с ума).

АКТ V

СЦЕНА 3-я

(Арена состязаний в Падуе. Атака и крики. Сражаются у препятствий сначала по-двое, потом три против трех. Входят: Браччьяно, Виттория Коромбона, Джованни, Франческо Медичи, Фламиньо и другие.)

Браччьяно.

Оруженосца, чорт, оруженосца!

Фламиньо.

Оруженосец где?

Браччьяно.

Снимите шлем.

Фламиньо.

Вы ранены?

Браччьяно.

О, голова пылает,
Отравлен шлем.

Оруженосец.

Клянусь душой...

Браччьяно.

Пытать!
Вельможи, верно, руку приложили
Из близких мне.

Виттория.

Отравлен милый мой!

Фламиньо.

Убрать рогатки. Злополучный праздник!
Позвать врачей!

(Входят два врача.)

Проклятие на вас!
Итак, науки вашей, видно, дело;
Боюсь не отравили бы послов.

Браччьяно.

О! Я уже погиб. Отрава мчится
И в мозг и в сердце. Сердце, ты силач,
И с этим миром ты в таком согласье,
Что мука — рвать.

Джованни.

Отец!

Браччьяно.

Возьми его!
Где милая? И бесконечность речи
Ничтожна о тебе — тебя ль оставлю?
Что скажете, сычи, мой яд смертелен?

1-й врач.

Смертельней нет.

Браччьяно.

Хитрейшее жулье!
Без книги убиваете. Целенье ж
Не верно, как вельможе паразит;
Я, даровавший жизнь рабам негодным,
Убийцам проклятым, я ль не могу
Свою хотя на год один продолжить?
Не обнимай — тебя я отравлю.
Яд герцога Флоренцьи.

Фр. Медичи.

Успокойтесь.

Браччьяно.

О друг — естественная смерть! Ты сон
Низводишь сладкий. Всклоченной комете
Отъезду не светить. Печальных сов
Крыло в окно не стукнет. Волк охриплый
Не чует труп: его любовь хранит.
Но ужас стережет царей.

Виттория.

Погибла!

Браччьяно.

Какая подлость — умирать среди
Рыданий бабьих!

(Входят Людовико и Гаспаро в одежде капуцинов.)

Это кто?

Фламиньо.

Монахи —
Они вас исповедывать пришли.

Браччьяно.

Под страхом смерти — смерть не называйте,
Так бесконечно страшно слово то!
Теперь уйдем в покои наши...

(Уходят все за исключением Фр. Медичи и Фламиньо.)

Фламиньо.

Посмотреть только, каково одиночество умирающих государей. Раньше они опустошали города, разводили друзей и большие дома обезлюдили, так теперь, о, справедливость! — где теперь их льстецы? Льстецы — только тень царского тела — малейшая тучка, и они незримы.

Фр. Медичи.

Здесь готовится великое отчаянье.

Фламиньо.

Истинно! Соленая вода будет литься в течение нескольких кратких часов придворных панихид, но, поверьте, бóльшая часть этих людей станет рыдать и над могилой мачехи.

Фр. Медичи.

Что вы из этого выводите?

Фламиньо.

Притворяются, конечно, как вообще люди, живущие в сфере достижения жезла.

Фр. Медичи.

Подите, вы-то при нем весьма преуспевали.

Фламиньо.

Воистину, как волк у женской груди. Кормили-то белым мясом, но по денежной части, поймите вы меня, хотелось мне его надуть так же здорово, как и всякому ихнему управляющему, да нехватало мне соответственных знаний.

Фр. Медичи.

Что ты о нем думал? Правда, скажи откровенно.

Фламиньо.

Он был в роде чиновника, учитывающего число ядер, выпущенных по городу, и определяющего убыток этим, а не числом отважных и верных подданных, утраченных им за это время.

Фр. Медичи.

О, говорите хорошо о герцоге!

Фламиньо.

Я это сделал. Угодно вам выслушать образчик моей придворной мудрости? Обличать государей опасно, а чрезмерное восхваление некоторых из них — весьма ощутительная ложь.

(Входит Людовико.)

Фр. Медичи.

Что с герцогом?

Людовико.

Болезнь его смертельна,
Он в странное безумье погружен.
О битвах говорит, о монополиях,
О росте пошлин, чтобы перейти
К речам безумнейшим. Прикован разум
Предметам к двадцати и совмещен
Глубокий ум с безумьем. Час ужасный,
Самоуверенного гордеца
Учи, что счастье с ним не до конца.

Он управленье герцогством оставил вашей сестре до совершеннолетья, Джованни [a].

Фламиньо.

Значит, в худе есть добро.

[a] Сын герцога от Изабеллы Медичи.

Фр. Медичи.

Смотрите — вот он.

(Видны Браччьяно в постели, Виттория Коромбона, Гаспаро и свита.)

Смертью он отмечен.

Виттория.

О добрый князь мой!..

Браччьяно.

Вон! Обманут я —
Мои налоги крали! Торговали
Местами. Бедных угнетали вы —
Мне это и во сне не снилось. Счеты!
Хочу отныне сам дела вести.

Фламиньо.

Терпенье, государь.

Браччьяно.

Да, виноват я,
Где слыхана от воронья хула
На черноту? И разве чорт смеется
Над двукопытным?

Виттория.

О мой государь!

Браччьяно.

На ужин куропаток мне!

Фламиньо.

Исполню.

Браччьяно.

Нет, жареных моржей; отрава в тех.
Лисица старая, хитрец тосканский!
Отныне я охочусь на собак.
Дивитесь — с ним дружусь? Поймите, с волком
По-волчьи надо выть. Молчать! Молчать!
Вошел красавец-раб.

Фламиньо.

Где?

Браччьяно.

Вот же.
Все синее: и шляпа и штаны.
А фалды очень длинны. Ха! ха! ха!

Смотрите, эти фалды все в булавках
С жемчужными головками. Кто он?

Фламиньо.

Не знаю, государь.

Браччьяно.

Как? Это дьявол,
Он обнаружен бантом башмака,
Скрывающим копыто. Мы поспорим.
Лингвист редчайший!

Виттория.

Ничего здесь нет.

Браччьяно.

Нет? Странно. Нет! Когда в деньгах нуждаюсь,
Пуста казна и ничего здесь нет!
Со мною так нельзя.

Виттория.

О, успокойтесь!

Браччьяно.

Вот! Вот! Фламиньо там, — братоубийца,
Он на канате пляшет. Для устоя
Рукою каждой ухватил мешок
С деньгами — шею бережет. Законник
В камзоле бархатном, зевая, ждет,
Когда уронит деньги. Эта сволочь
Все дрыгает. А быть в петле. Кто та?

Фламиньо.

Виттория.

Браччьяно.

Ха! ха! ха! Волоса
Напудрены корицей? Не в пирожном
Грешила? Кто там?

Фламиньо.

То священник, князь.

(*Браччьяно, повидимому, близок к смерти. Людовико и Гаспаро в одежде капуцинов напутствуют его, стоя у постели с распятием и зажженной свечой.*)

Браччьяно.

Наверно пьян. Гони. А верно средство
Ужасно, если смущены попы.
Шесть серых крыс, они, убавясь ростом,

В подушку лезут. Крысомора звать!
Я чудо сотворю, я двор избавлю
От смрадной нечисти. Фламиньо, где?

Фламиньо *(в сторону).*

Не нравится, что поминает часто
Меня на ложе смерти. Это знак,
Что я не заживусь. Вот — умирает.

Людовиго.

Прошу позволить нам. Attende, domine Brachiane [а].

Фламиньо.

Смотри, смотри, как он вперил глаза
В распятье.

Виттория.

О, его не опускайте,
То успокоит дикий дух. Глаза
Его в слезах.

Людовиго.

Domine Brachiane, solebas in bello tutus esse tuo clypeo: nunc hunc clypeum hosti tuo opponas infernali [б].

(Поднимает распятье.)

Гаспаро.

Olim hasta valuisti in bello; nunc hanc sacram hastam vibrabis contra hostem animarum [в].

(Поднимает зажженную свечу.)

Людовиго.

Attende, domine Brachiane, si nunc quoque probas ea quae acta sunt inter nos, flecte caput in dextrum [г].

Гаспаро.

Esto securus, domine Brachiane; cogita quantum habeas muritorum; denique memineris meam animam pro tua oppignoratam si quid esset periculi [д].

а «Внемли, господине Браччьяно».

б «Господине Браччьяно, на войне ты имел обыкновение защищаться щитом; ныне ты противопоставляешь этот щит твоему адскому врагу».

в «Когда-то ты могуч был на войне копьем, ныне ты будешь потрясать этим святым копьем против врага душ».

г «Внемли, господине Браччьяно, если теперь ты также одобряешь все свершившееся между нами, то склони голову вправо».

д «Будь спокоен, господине Браччьяно; подумай, сколько у тебя прегрешений, наконец-то ты вспомнишь, что моя душа является залогом для твоей на случай возможной опасности».

Людовиго.

Si nunc quoque probas ea quae acta sunt inter nos — flecte caput in loenum [a].

Отходит, попрошу вас, отступите.
Позвольте на ухо ему шепнуть
Молитвы тайные. Их запрещает
Наш орден слышать вам.

(Когда все вышли, Людовиго и Гаспаро обнаруживают себя.)

Гаспаро.

Браччьяно, герцог!

Людовиго.

Браччьяно, дьявол, ты погиб.

Гаспаро.

Навеки!

Людовиго.

На каторгу приговоренный раб
Тебе владыка.

Гаспаро.

Правда, потому что
Ты предан дьяволу.

Людовиго.

О, ты в рабах!
Кто славился хитрейшим вероломством,
Чье дело — яд!

Гаспаро.

Чья совесть — убивать!

Людовиго.

Кто сбросить с лестницы хотел супругу
До отравленья?

Гаспаро.

Вашею стряпней!

Людовиго.

Духи и тонко вышитые туфли
Убийственней, чем зимняя чума.

Гаспаро.

Но здесь и ртуть.

[a] «Если ты теперь тоже одобряешь все совершившееся между нами, то склони свою голову».

Людовиго.

И купорос.

Гаспаро.

И ляпис.

Людовиго.

И много специй чортовых аптек
Разведено в мозгу ехидном. Слышишь?

Гаспаро.

Вот он — граф Людовиго.

Людовиго.

Он — Гаспар.
А ты умрешь, как нищий!

Гаспаро.

Провоняешь,
Как дохлый пес!

Людовиго.

И будешь ты забыт
До погребальной речи.

Браччьяно.

О, Виттория!
Виттория!

Людовиго.

О, распроклятый чорт!
Пришел в себя. Теперь он нас погубит.

Гаспаро.

Давить его тайком.

(*Входят Виттория Коромбона, Фр. Медичи, Фламиньо и свита.*)

Как! Воротить
Ему хотите пытки? Милосердье!
По-христиански вас прошу уйти.

(*Уходят Виттория Коромбона, Фр. Медичи, Фламиньо и свита.*)

Людовиго.

Болтать? Вот узел неразрывной дружбы
От герцога Тосканы. (*Они душат Браччьяно.*)

Гаспаро.

Он готов?

Людовиго.

Потух огарок? Ни одной сиделке,
Семь лет обслуживай она чумных,
Не сделать чище.

БОМОНТ
ФЛЕТЧЕР

Фрэнсис Бомонт (Francis Beaumont, 1584—1616) и Джон Флетчер (John Fletcher, 1579—1625) — выдающиеся английские драматурги, современники Шекспира. Оба драматурга тесно связаны многолетним совместным творчеством. Ими написано значительное количество пьес, в том числе блестящая комедия «Рыцарь Пламенеющего Пестика» (The knight of the Burning Pestle, 1610—1611), «Трагедия девушки» (The Maides Tragedy, 1611, напеч. 1619) и др. Современники высоко ценили жизнерадостное, гедонистическое творчество Бомонта и Флетчера, обладавших исключительным мастерством сценической интриги. Яркий талант драматургов особенно полно проявляется в комедиях. На русский язык М. Лозинский перевел и обработал для сцены комедию Флетчера «Испанский священник», И. Аксенов перевел комедию Флетчера «Укрощение укротителя» (Аксенов. «Елизаветинцы», ГИХЛ, М., 1938).

Из комедии
«РЫЦАРЬ ПЛАМЕНЕЮЩЕГО ПЕСТИКА»

Пьеса была написана и поставлена на сцену около 1611 г. Подобно «Сну в летнюю ночь» Шекспира в ней смешаны элементы романтической комедии и бурлеска. Мы даем отрывки, характерные для этого реалистического бурлеска, легко отделимые от основной сюжетной линии.

Для понимания этой комедии следует учесть, что в театре эпохи Шекспира аристократы и разбогатевшие горожане за дополнительную плату имели право сидеть на сцене, где мешали часто актерам и вставляли свои реплики по поводу пьесы и актерского исполнения.

Бомонт и Флетчер умело использовали эту характерную особенность театра своего времени, включив в пьесу двойное действие на сцене и высмеивая вкусы «сценической» публики. «Странствующий бакалейщик-рыцарь» Ральф многими чертами близок бессмертному герою романа Сервантеса «Дон Кихот», первая часть которого была опубликована за несколько лет до написания этой комедии.

ПРОЛОГ

(Несколько джентльменов сидят на стульях, находящихся на сцене. Горожанин, его жена и Ральф (приказчик) сидят внизу среди публики)

(Входит актер, произносящий пролог)

Актер.

От близости к двору и от его величья
Мы действие за городские стены
Сюда перенесли.

(Горожанин вспрыгивает на сцену.)

Горожанин.

Попридержи язык, паренек хороший.

Актер.

Что это значит, сэр?

Горожанин.

То, что твои слова полны дурного значения; все эти семь лет, что вы здесь разыгрываете пьесы, я всегда подмечал у вас издевку над горожанами; вот и эта ваша пьеса прозывается «Лондонский купец». К чорту такое название, паренек, к чорту!

Актер.

Вы из благородного сословия горожан?

Горожанин.

Да.

Актер.

И полноправный?

Горожанин.

Эге, и бакалейщик.

Актер.

С вашего высокого дозволения, господин бакалейщик, мы не намерены оскорблять горожан.

Горожанин.

Нет, сэр! Да, сэр! Если бы вы не собирались выставить нас дураками, стали бы вы, что ли, выискивать новые сюжеты, как не затем, чтоб намеренно хулить порядочных людей? Разве не можете вы довольствоваться, как другие, пьесами вроде «Легенда Уиттингтона», или «Жизнь и смерть сэра Томаса Грехема, с показом сооружения королевской биржи», или «История королевы Элеоноры, с показом возведения Лондонского моста на мешках с шерстью»? [а]

Актер.

Видно, что вы толковый человек; что мы можем для вас сделать, сэр?

Горожанин.

Представьте что-нибудь замечательное в честь простых горожан.

Актер.

А чтобы вы сказали о пьесе «Жизнь и смерть жирного Дрэка, или починка сточных труб на улице Флит»?

[а] Названия старых пьес, значительно искаженные; ссылка на Лондонский мост — шутка, как и ироническое название пьесы, предложенной актером ниже.

Горожанин.

Нет, мне это не нравится, но я хотел бы, чтобы это было о горожанине и притом о бакалейщике.

Актер.

Вы должны были сообщить о вашем желании месяц назад; наша пьеса готова к представлению.

Горожанин.

Все равно. Хочу бакалейщика и чтобы он совершал удивительные вещи.

Актер.

Что же вы хотите, чтоб он делал?

Горожанин.

Эх, я бы хотел, чтобы он...

Жена (*из публики*).

Муженек, муженек!

Ральф (*из публики*).

Успокойтесь, миссис.

Жена (*в публике*).

Сам успокойся, Ральф. Будь уверен, я знаю, что делаю... Муженек, муженек!

Горожанин.

Что ты хочешь сказать, кошечка?

Жена (*из публики*).

Пусть он убьет льва пестиком, муженек! Пусть он убьет льва пестиком, муженек!

Горожанин.

Так и будет! Я хочу, чтобы он убил льва пестиком.

Жена (*из публики*).

Муженек, не взобраться ли мне наверх, муженек?

Горожанин.

Да, кошечка. Ральф, подсоби миссис. Джентльмены, освободите ей местечко. Прошу вас, сэр, протяните руку, чтоб помочь моей жене взобраться. Благодарю вас, сэр! Ну, вот. (*Жена появляется на сцене.*)

Жена.

С вашего позволения, джентльмены; я немного сконфужена: для меня все это в новинку; я ни разу не бывала на этих, как вы

их называете, «пьесах»; мне бы, правда, следовало посмотреть «Джейн Шор», и мой муж обещал мне как-нибудь в этом году свести меня на «Храброго Бошама», но он этого не сделал. Прошу вас, будьте снисходительны ко мне.

Горожанин.

Паренек, устройте мне с женой парочку стульев, а там и начинайте; пусть бакалейщик совершает подвиги. *(Стулья приносят.)*

Актер.

Но, сэр, у нас некому его играть. Каждый уже имеет свою роль.

Жена.

Муженек, муженек, бога ради, пусть Ральф его сыграет! Чтоб мне провалиться, если он их не переплюнет.

Горожанин.

Во-время напомнила, жена. Лезь сюда, Ральф. Послушайте, джентльмены; пусть они дадут ему пранцырь и футаборию, и повесьте меня, если он осрамится. *(Ральф поднимается на сцену.)*

Жена.

Молодой человек, пожалуйста, дайте ему пранцырь! Могу побожиться, джентльмены, мой муж говорит вам правду: дома он иногда такое представляет, что все соседи поднимают крик. Он играет воинственные роли так здорово, что всех нас пугает, уверяю вас, поджилки трясутся: им можно пугать детей; коль они расшалятся, только крикни: «Ральф идет! Ральф идет!» — и они присмиреют, как овечки. Выше голову, Ральф; покажи-ка джентльменам, на что ты способен. Прочти-ка что-нибудь похлеще; будь уверен, джентльменам это понравится.

Горожанин.

Дуй, Ральф, дуй!

Ральф.

«Не трудно б подскочить, — клянусь в том небом, —
Чтоб светлый образ чести с бледноликой
Сорвать луны, не трудно бы нырнуть
В пучину адскую» [а].

Горожанин.

Ну, как, джентльмены, не говорил ли я вам?

[а] Слова Готспура из исторической хроники Шекспира «Генрих IV» (1-е действие, явл. 3), несколько искаженные.

Жена.

Да что там, джентльмены, муж рассказывал, что он раньше играл Муцедоруса [а] перед старейшинами нашей гильдии.

Горожанин.

Эге, и, как-то поспорив с одним сапожником, сыграл Иеронимо [б]

Актер.

Он получит одеяние, если войдет внутрь.

Горожанин.

Ступай, Ральф, ступай, и, если ты меня любишь, покажи бакалейщика в подходящем наряде. *(Ральф уходит.)*

Жена.

Ей-богу, наш Ральф будет славно выглядеть, когда принарядится.

Актер.

Но как вам угодно будет назвать пьесу?

Горожанин.

«Честь бакалейщика».

Актер.

Мне кажется лучше будет назвать «Рыцарь Пламенеющего Пестика».

Жена.

Пропади я, муженек, лучше не придумать!

Горожанин.

Пускай так. Начинайте, начинайте. Мы с женою сядем.

Актер.

Будьте настолько любезны.

Горожанин.

Что у вас есть из музыки поторжественней? Есть у вас свирели?

Актер.

Свирели!? Нет!

Горожанин.

Нет! Чорт возьми, я так и думал. Ральф играет торжественную роль, и ему обязательно нужны свирели. Я готов заплатить за них, только бы они были.

[а] *Муцедорус* — один из героев елизаветинской комедии.
[б] *Иеронимо* — герой «Испанской трагедии» Кида.

Актер.

Да, уж вам придется.

Горожанин.

Ну что ж, и заплачу; на, вот два шиллинга *(дает деньги)* — пусть приведут соутворских песенников; это такие ребята, каких не сыщешь во всей Англии; и этого с лихвой довольно, что бы они как ошалелые примчались с той стороны реки [а].

Актер.

Мы их добудем вам. Не присядете ли пока?

Горожанин.

Да. Садись, жена.

Жена.

Сидите себе на здоровье, джентльмены; я смело усядусь между вами с удобством.

(Горожанин и жена усаживаются.)

Актер.

От близости к двору и от его величья
Мы действие за городские стены
Перенесли. Летите прочь отсюда,
Нескромности и личные намеки,
Все, что порочным может показаться.
Ведь наслаждения того разврат не принесет,
Что честный в добродетели найдет.

Все это касается того, что мы будем делать; за Ральфа же вы должны отвечать сами.

Горожанин.

Не беспокойтесь о Ральфе; он за себя ответит, уверяю вас.

(Актер уходит.)

Жена.

Ей-ей, джентльмены; я за Ральфа ручаюсь!

АКТ I

СЦЕНА 3-я

БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА

(Входят Ральф, одетый бакалейщиком, читая «Пальмерина Английского» [б], Тим и Джордж.)

Жена.

Муженек, муженек, посмотри-ка! Вон Ральф, вон Ральф!

[а] Темзы.

[б] Испанский рыцарский роман, незадолго до написания этой комедии переведенный на английский язык.

Горожанин.

Тише, дура! Оставь Ральфа в покое. Слышь, Ральф: не нажимай слишком с самого же начала. Тише. Начинай, Ральф.]

Ральф *(читает)*.

«Затем Пальмерин и Тринеус, выхватив свои пики у карликов и застегнув шлемы, в стремительном галопе поскакали за великаном; и Пальмерин, завидя его, помчался с удвоенной силой и закричал: «Стой, обманщик и вор! Ибо не смеешь ты похищать ту, что достойна наиблагороднейшего в мире лорда»; и с этими словами он нанес ему удар по плечу, сбросивший его со слона. А Тринеус, подъехав к рыцарю, за которым была Агрикола, быстро сбросил его с коня, при коем падении рыцарь сломал себе шею; и тогда принцесса, выйдя из схватки, радуясь и плача, сказала: «Наисчастливейший рыцарь, зерцало доблести, теперь я могу действительно уверовать в любовь, которую ты питаешь ко мне».

Дивлюсь, почему короли не соберут армии в четырнадцать или пятнадцать тысяч человек, — такую, какую принц Портиго двинул против Розиклила [а], — и не уничтожат всех великанов; уж больно много вреда причиняют они странствующим дамам, ищущим своих рыцарей.

[Жена.

Ей-ей, муженек, верно говорит Ральф; ибо, как сказывают, король португальский не может подсесть к блюду с мясом без того, чтобы не появились чудовища и великаны и не утащили у него мясо.

Горожанин.

Попридержи-ка язык. Дуй, Ральф!]

Ральф.

И, конечно, достойны хвалы те рыцари, которые, пренебрегая своими владениями, блуждают с оруженосцем и карликом по пустыням, чтобы выручать несчастных дам из беды.

[Жена.

По чести, достойный Ральф; чтобы ни говорили, так оно и есть. Наши рыцари достаточно пренебрегают своими владениями, только они не делают остального.]

Ральф.

Но кто из бравых духом удовольствуется тем, что сидит в своей лавке с деревянным пестиком в руке, в синем фартуке, продавая митридатум и драконову воду [б] зачумленным домам, если он может совершать бранные подвиги и посредством благородных деяний

[а] Герой другого испанского романа.

[б] Распространенные лекарства того времени.

добиться того, что такая же знаменитая повесть будет написана и об его героической доблести.

[Горожанин.

Здорово сказано, Ральф! Подпусти побольше таких словечек.

Жена.

Право, удачно выходит.]

Ральф.

Почему же мне в таком случае не избрать подобный путь, чтобы повысить уважение к себе и нашей братии? Ведь среди всех достойных книг о подвигах, насколько помнится, не довелось мне читать о странствующем бакалейщике; я буду этим рыцарем. Слыхивали ли вы, чтобы рыцарь путешествовал без оруженосца и карлика? Тим, мой старший подручный, будет моим верным оруженосцем, а маленький Джордж — моим карликом. Долой синий фартук! Но в память прежнего занятия на моем щите будет изображен пламенеющий пестик, и буду я называться «Рыцарем Пламенеющего Пестика».

[Жена.

Нет, готова поклясться, не позабудешь старого занятия, — ты всегда был податливым.]

Ральф.

Тим!

Тим.

Сей секунд!

Ральф.

Мой возлюбленный оруженосец и Джордж — мой карлик, повелеваю вам отныне именовать меня не иначе как наиучтивейший и наихрабрейший Рыцарь Пламенеющего Пестика, никогда не называть женский пол бабой или девкой, но прекрасной дамой, если она достигла своих желаний, если нет, страдающей девой, называть все леса и степи пустынями, а всех лошадей пальфреями.

[Жена.

Ей-ей, замечательно. Нравится ли джентльменам Ральф, как ты думаешь, муженек?

Горожанин.

Эх, эти актеры все бы с себя поскидывали, лишь бы его заполучить.]

Ральф.

Мой возлюбленный оруженосец Тим, предстань! Предположи, что это пустыня и по ней скачет странствующий рыцарь, и я посылаю тебя разузнать его намерения, — чтобы ты ему сказал?

Тим.

Сэр, мой хозяин послал меня спросить, куда вы скачете.

Ральф.

Нет. Нужно так «Прекрасный сэр, наиучтивейший и наихрабрейший Рыцарь Пламенеющего Пестика поручил мне вопросить, каким приключением вы влекомы, направляетесь ли вы выручить деву из беды или с другой целью».

[Горожанин.

Низкий болван, не может упомнить!

Жена.

Ей-ей, Ральф ему уже говорил об этом раньше: все джентльмены слышали; не правда ли, джентльмены, разве Ральф ему не говорил, как себя величать?]

Джордж.

Наиучтивейший и наихрабрейший Рыцарь Пламенеющего Пестика, тут страдающая дева спрашивает перцу на полпенни.

[Жена.

Вот хороший парнишка, ишь как он это здорово; чудное дитя!]

Ральф.

Отпусти ее с вежливой речью. Теперь закрой лавку; отныне вы не подручные, но мои верные оруженосец и карлик. Я должен достать себе щит и пестик для герба.

(Уходят Тим и Джордж.)

Горожанин.

Продолжай так же, Ральф, как честный человек скажу, ты лучше их всех.

Жена.

Ральф, Ральф!

Ральф.

Что скажете, хозяйка?

Жена.

Молю, скорее возвращайся, милейший Ральф.

Ральф.

Скорехонько.

(Уходит.)

ДЕККЕР

Томас Деккер (Thomas Dekker, родился между 1571—1577 гг., умер после 1638 г.) — писатель и драматург, наряду с Томасом Гейвудом крупнейший мастер английской бытовой драмы позднего Возрождения. Сведения о жизни Деккера весьма скудны. Видимо, он родился в Лондоне в семье ремесленника, учился в ремесленно-коммерческом училище, вел богемный образ жизни, не раз сидел в долговой тюрьме, откуда его выручали друзья. Им написано большое количество пьес в самых различных драматургических жанрах, а также много книг недраматического характера в стихах и прозе. Он сочинял самостоятельно или в сотрудничестве с другими писателями-елизаветинцами (Четтль, Бен Джонсон, Мидлетон, Вебстер, Мессинджер, Форд и др.) трагедии на классические сюжеты, романтические комедии и трагедии, пьесы-сказки, комедии-памфлеты, аллегорические пьесы для представления на улицах и площадях и, наконец, бытовые комедии, лучшим образцом которых является комедия в двух частях «Добродетельная шлюха» (первая часть напеч. в 1607 г., вторая часть — 1630 г.). В пьесе дан ряд выразительных бытовых зарисовок, ярко отражающих жизнь Лондона (хотя место действия пьесы и помечено «Миланом») начала XVII в. Героями пьесы выступают добродетельный купец Кандило, наделенный даром нерушимого терпения, и проститутка Белафрон, которая под влиянием любви к графу Ипполито отрекается от своего порочного прошлого и обращается к честной жизни. Автор с большим мастерством обрисовывает характеры своих персонажей. Он склонен к морализации, к проповеди положительных этических норм, с большой теплотой изображает он жизнь буржуазно-демократических кругов столицы. Вместе с тем замечательной яркостью отличаются сцены шумной жизни гуляк и представителей лондонской золотой молодежи.

Полный текст перевода комедии «Добродетельной шлюхи» напечатан в книге И. А. Аксенова «Елизаветинцы», статьи и переводы, ГИХЛ, М., 1938 г.

Из комедии

«ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ШЛЮХА»

(часть первая)

[В комедии — две параллельные сюжетные линии, соприкасающиеся лишь в финале пьесы.

1. Торговец полотном Кандило поражает всех своим необычайным терпением; он никогда не теряет самообладания, никогда не приходит в ярость, хладнокровие — его жизненный принцип. Окружающие не раз пытались вывести его из терпения, но всегда безуспешно. Особенно раздражена невозмутимостью Кандило его жена — Виола. Ни разу ей не удалось позлить мужа, и это ее просто бесит. Наконец она решает во что бы то ни стало разозлить мужа. С этой целью она подговаривает своего брата Фустиго, только что вернувшегося из странствования, под видом ее кузена явиться в лавку к Кандило и там учинить дебош. «Вы должны выглядеть, — говорит она Фустиго, — как отчаянный горластый нахал... В присутствии моего мужа целуйте меня, срывайте с меня кольца, драгоценности, что попало... Хамите злее, чем лейтенант среди моряков-новобранцев, зовите меня своей милой,

наперсницей, кузиной или еще чем, только уж не сестрой... Забирайте товары, да не платите, оберите мой корсаж...» Фустиго готов все это сделать (следует приводимая первая сцена из третьего акта). Тщетными оказываются и все остальные попытки Виолы. Кандило остается невозмутимым, даже когда по наговору жены его запирают в дом умалишенных, откуда его освобождает герцог, пораженный его терпением.

2. Героями параллельной мелодраматической интриги являются граф Ипполито, влюбленный в прекрасную Инфеличе, дочь герцога, который всеми средствами препятствует их браку, и юная проститутка Белафрон, дающая название всей комедии. Она рано вступила на путь греха, но под влиянием любви к графу Ипполито, который третирует ее как падшее создание, она возрождается к новой жизни, проклинает свое греховное прошлое (см. приводимые сцены: вторую и третью 3-го акта). В конце комедии граф, прибегнув к хитрости, сочетается браком с Инфеличе, и герцог вынужден примириться с этим. Белафрон же герцог выдает замуж за Матео, приближенного графа Ипполито, совратившего ее в свое время на путь греха.]

АКТ III

Сцена 1-я

Лавка Кандило.

На сцене Кандило, Виола и Джордж (подручный Кандило). Входит, прогуливаясь, Фустиго (брат Виолы, под видом ее кузена).

Джордж.

Извольте взглянуть, господин, чего вам требуется: лучшее голландское, лучший батист. Смотрите, чего вам купить.

1-й приказчик.

Голландского на рубашки, батисту на отвороты. В чем у вас надобность, чего нехватает?

Фустиго *(в сторону)*.

А бога его за ногу! Мне-то всего нехватает и прежде всего денег на покупку. Дайте-ка еще раз оглядеться: ей-богу, эта самая лавка и есть. Как?! Кузька! Милейшая кузька! В бога и веру! Как поживаете после вчерашнего, того самого, как свечи потушили? Здорово мы тогда потешились, что, ей-богу! Не правда? А когда нам снова смеяться?

Виола.

Когда вам будет угодно, кузен.

Фустиго.

Говори, как любезный спартанец: вон там твой муж выглядывает.

Виола.

Он самый и есть, милейший юноша, бог с ним!

Фустиго.

Ну, так как же, кузька? И как, как поживаешь, бабец?

Виола.

Хорошо, кузен! А вы сами как поживаете?

Фустиго.

Как я поживаю? По шести пенсов за еду, баба — и чего душа просит: с жареной телятиной да рубцами, а после ужина, сверх всего, с девкой, такой же вкусной, что твое печеное яблоко.

Кандило.

Вы, кажется, кузен моей жены?

Фустиго.

Да, сэр, кузен. Тебе какое дело?

Кандило.

О, никакого! Просто — рады вам.

Фустиго.

Чортов кол тебе в зубы! Мне-то все равно будут рады — угодно тебе это или не угодно. Это же что за кольцо, кузька? Прехорошенькое да затейливое, лопни мои глаза! А ну-ка, дайте посмотреть!

Виола.

Фу! Не хочу. Вы мне сломали палец.

Фустиго.

Я вот поклялся, что заберу его, и надеюсь, что не заставите же вы меня ломать мою клятву, да еще при кольце, правда? *(Срывает кольцо.)* Надеюсь, сэр, вы не впали в меланхолию, что я это сделал, не глядя на ваши грозные взгляды. Вы не сердитесь?

Кандило.

Сердит? Не я, сэр. Если ей возможно
С колечком так легко расстаться — с богом!

Джордж.

Терпеть, терпеть все, что прохвост, блудник...

Кандило.

Потише, Джордж! Когда она пожнет,
Что я посеял, так и предпочтет
Одно свое зерно чужим амбарам:
Познанье прочное не дастся даром.

Джордж.

А пока что она кое из кого порядочного осла разыгрывает.

2-й приказчик.

Смотрите, смотрите, смотрите, сэр! Стоит вам отвернуться, как они только и делают, что целуются.

Кандило.

А пусть! Когда я губ ее коснусь,
На них его не встречу поцелуя,
Губы найду, где были. В чем беда?
За дело! Разложи свои товары.

Фустиго.

Ей-богу, кузина, кстати в голову пришло: не дала бы ты мне ярдов пять лино, чтобы наделать модных бантов моей шлюхе — три банта — один на другом; это теперь самое последнее издание. Она у меня сейчас ужас как нуждается в белье: по совести сказать, у нее во всю жизнь на спине ни одного порядочного платья не водилось, кроме одного, — все в заплатах, да и то я сам был вынужден у нее отнять и ношу теперь, тоже за отсутствием рубашки. Замотай меня в какие-нибудь порядочные салфетки и одари каким-нибудь товаром почище.

Виола.

Да вот забирай этот батист и это лино.

Кандило.

Что ты, жена? Выбрасывать мое имущество дураку?

Фустиго.

Дурак? Бога в ногти! Возьми назад «дурака» или я так взгрею вашу крону, что от нее и пяти шиллингов не останется.

2-й приказчик.

Слышите, сэр? Вам лучше не волноваться и сказать, что от дурака слышите.

Фустиго.

Под бога ногти! Верю — от тебя.

Кандило.

Вы сердитесь, что я сказал «дурак»?
Ведь не умно же здесь, в моем дому,

У меня на глазах, ломать петрушку:
Угодно сумасшедшего играть —
Ищите меньшей сцены, где немногим
Вас оценить, а здесь вам не блистать:
Хоть кто и хлопнет, все начнут свистать.

Фустиго.

Чорт знает что, кузина! Он говорит со мной, будто я какой-нибудь паршивый трагик.

2-й приказчик.

Ей-богу, Джордж, я придумал способ проломить ему башку: вздуть его поздоровее и выкинуть вон.

Джордж.

Валяй!

2-й приказчик.

Начинаю: пройдусь по дому, передам пароль кое-кому из наших товарищей приказчиков, чтобы они по нему сюда явились: потом вернусь да на минутку вызову хозяина и поставлю в сенях кого-нибудь, чтоб с ним завел разговоры, пока мы этого франта будем выколачивать из его колпака.

Джордж.

Валяй, ступай, действуй!

(Второй приказчик уходит.)

Виола.

Что ж, мне второй раз вам приказывать насчет этого батиста и лию?

Кандило.

Вы ее сердите. Джордж, поспеши.

1-й приказчик.

Два лучшие куска на складе, сэр.

Кандило.

Скорей неси.

Фустиго.

Да торопитесь, идол!

Кандило.

Как это, вы — кузен моей жены, а выглядите таким иностранцем [a]?

Фустиго.

Иностранцем? Нет, сэр, я — настоящий прирожденный миланец.

[a] Фустиго одет в фантастический матросский костюм.

Кандило.

Еще раз узнаю вашу излюбленную манеру дурачить меня, но я сердечно рад вам, сэр, и очень дорожу вашим знакомством.

Фустиго.

Моим знакомством? Чихать мне на это, ей богу! Знакомство мое, надеюсь, гуляет в золотых цепях раза в три-пять потолще... Вы знаете, кузина, кого я разумею? Ворота у него уже должно быть покрашены.

(Возвращается 2-й приказчик.)

2-й приказчик.

Синьор, Пандульфо, купец, желает с вами побеседовать.

Кандило.

Синьор Пандульфо? Я сейчас приду.
Служите госпоже и джентльмену. *(Уходит.)*

Виола.

Когда же вы покажете куски?

Фустиго.

Ах, да! Когда покажете куски?

Приказчики *(за сценой)*.

Сейчас, синьор, сейчас! Мы только еще их разбираем.

Фустиго.

Ну, ироды вы, чуйки! Где ж полотно?

(Входит 1-й приказчик с кусками.)

Джордж.

Чуйки? Слушайте ушками, сударь: вы дурак, осел, хлыщ, и я вас вздую... Изволите видеть вот этот батист, сэр?

Фустиго.

Бога за ногу! Сестрица, вот так штука! Слыхали? Он мне прямо в ухо жарит: дурак, осел, хлыщ, я вас вздую, изволите видеть батист, сэр.

Виола.

Кто? Ведь, наверно, не мой муженек?

Фустиго.

Нет, но один из ваших мужиков.

1-й приказчик.

Изволите пожаловать сюда, сэр! Что вы на это скажете? Вот самый великолепнейший.

Фустиго.

Да, честное слово, мне очень нравится. Отрежь-ка мне этого самого ярдов с десяток.

2-й приказчик.

Девкам вашим вам резать, прохвост вы нахальный! Ничего вы не получите, а я вас сейчас вздую... Очень даже хороший батист, сэр!

Фустиго.

Вот опять, опять! Суди меня бог! Ангела за ногу! Кузина, они со мной здесь сплошь говорят про взбучку, а я ничего не получаю.

1-й приказчик.

Сделайте милость выслушать одно слово, сэр. Вам не следует обижаться. Приказчики — люди молодые, кровь горячая. Что скажете об этом куске? Сами изволите видеть, какой нежный, мягкий, гладкий, такой тонкой нитки, что и дама бы носить стала.

Фустиго.

Бога в ляжку! Я и сам так думаю: если рыцарь какой-нибудь на моей девке женится, так этот батист носить будет дама. Режь двадцать ярдов! Ты, вижу, честный парень.

1-й приказчик.

Без денег — нет, хлыщ. Я вас тоже вздую.

Приказчики *(за сценой)*.

Хлыщ, мы вас вздуем!

Фустиго.

О господи, сестра! Вы не слышали, как они заорали «вздуть»? Ей-богу, ваши люди из меня окончательного осла разыграли.

Виола.

Дерзить при мне?

Джордж.

По чести, не потерпим,
Чтоб так швырять хозяйское добро.

Виола.

Вы не потерпите?

2-й приказчик.

Нет, а вам стыдно
Дразнить такое кроткое созданье,
Как наш хозяин.

Виола.

Забирай куски,
Кузен: даю их даром.

Фустиго.

Беру даром.

Джордж, 1-й, 2-й и прочие приказчики *(врываясь)*.

А вот заставим, так вернете даром. *(Бьют Фустиго дубьем.)*

Виола.

На помощь! На помощь! Убивают брата!

(Возвращается Кандило.)

Кандило.

В чем дело? Что за шум? Пошли, сказал!

(Приказчики уходят, кроме 1-го и 2-го.)

Джордж.

Он звал нас чуйками и оскорблял.

Кандило.

Что ж, я ли вам давал такой пример?

Виола.

На вашей службе, сэр. Ах, бедный братец!

Фустиго.

Клянусь верой, сестрица, задали же они мне перцу! Посмотри: ничего не течет? И это-то вы называете приказчиками? Ну, и забубенщина! В жизнь свою не сяду играть, если бубны козыри. Была у меня славная шапка, сестрица, была?

Кандило.

Сестра и брат? Вы — брат моей жены?

Фустиго.

Имей вы какое-нибудь понятие о геральдике, вам нетрудно в этом убедиться: проломите ей голову — и увидите, что у нас с ней одна и та же кровь.

Кандило.

За лекарем, за лекарем беги!

(1-й приказчик уходит.)

Зачем вы ложно назвались кузеном?

Фустиго.

А сейчас всюду принято называть кузенами и друзьями любезными всякого встречного-поперечного.

Кандило.

Кузен! Имя обманов, шутовства, грехов,
Под этим злоупотребленным словом
Много из благонравных горожан
Превращено в чудовищ, а их жены
Вовлечены в измены и растраты:
Как сводник, это слово виновато.

Фустиго.

Уверяю вас, братец: сестре зачем-то понадобилось поручить мне вас легонько подурачить, чтоб накалить ваше терпенье, да получил я за это двойную краску на колпак.

Виола.

По-бабьи предаешь? Уж выдал, дурень?

Кандило.

Жена над вами только пошутила.

Фустиго.

Вот то-то из мозгу и кровь течет.

Кандило.

И это только подтверждает снова,
Что ваш «кузен» препакостное слово.

Фустиго.

В жизни своей не назову больше никого кузькой, чтоб в такую историю не вляпаться. Сегодня, должно быть, коронационный день, потому что из моей головы так хлещет кларетом. *(Уходит.)*

(Входит чиновник.)

Кандило.

Поди, пусть лекарь будет посерьезней.

(2-й приказчик уходит.)

В чем дело, друг? Сегодня заседанье?

Чиновник.

Да, сэр, в сенате ожидают вас.

Кандило.

Спасибо вам! Я буду не последним.

(Чиновник уходит.)

Одеться, Джордж, одеться!

(Джордж уходит.)

Процветают
Страны, где старшие дела решают,

Где совести не тронет лихоимство
На горе бедным и где взвесят точно
Богатых с бедным мерой безупречной.

(Возвращается Джордж.)

А где же платье?

Джордж.

Не найду ключа, сэр.

Кандило.

Спроси хозяйку.

Виола.

Не проси ключей:
Я не побеспокоюсь отдавать их.

Кандило.

Добрая жена, милая жена! Это беспокойство необходимо: только мне взять платье.

Виола.

Ах, чтоб его насквозь проела моль!
Вы мне оскомину набили платьем.

Кандило.

Нет, милая, прошу. Так невозможно,
Иначе мне большой поставят штраф.

Виола.

Надень колпак и не стращай нас штрафом.

Кандило.

Верь, милая, никто нейдет в сенат
Без его мантии — мне нужно это.

Виола.

Что ж, один раз нарушить их обычай:
Нет ни ключа, ни мантии, ступай! *(В сторону.)*
Авось позлить удастся невзначай. *(Уходит.)*

Кандило.

Стой, дай подумать: надо что-то сделать —
Мой плащ короток. Фу! Нет, плащ не то:
Надо, чтоб было мантии подобно...
С моим гербом. О! Джордж, иди-ка, Джордж!
Подай, совет, пожалуйста.

Джордж.

Уверяю вас, что всякий, кроме вас, взял бы, да и отбил замки.

Кандило.

О нет! Ломать их — воровское дело,
Нет, мне не по характеру совет:
В нем видно нетерпенье. Кротким средством
Хочу я обойтись! Вот! Я нашел:
Иди, подай какую-нибудь скатерть —
Ту, что темнее, благородней, Джордж,
Прорежь в середке дырку моей шее
И две для рук. Да ты не удивляйся.

Джордж.

Я полагаю, сэр, вы не серьезно.

Кандило.

Пожалуйста, скорей: часы торопят.
Смотри, чтоб вырез точно подошел.

(Джордж уходит.)

Тот избегает худшего из зол,
Кто выбрал меньше. Штраф за приход
В сенат без мантии — почти что сорок
Крузадо; скатерть стоит их четыре.
Так в меньшее из зол мы облеклись,
Храня терпенье и разбив каприз.

(Входит Джордж со скатертью.)

Джордж.

Вот, сэр, вот ваша скатерть.

Кандило.

Отлично, Джордж! Ну, режь по середине.
Так именно. Спасибо! Дай надеть.

Джордж.

Она наделась, точно бабья юбка.

Кандило.

Да, добрый Джордж, действительно похоже.
Достань ночной колпак. Я нахлобучу,
Как будто нездоров. Очень похоже
На грубый, запросто, халат. Что скажешь?

Джордж.

Сойдет при поясе и извиненьи.

Кандило.

Да. На голову дай ночной колпак.

Джордж.

Так. Сбегаю его принесть. И палку. *(Уходит.)*

Кандило.

Теперь одно осталось им — признать,
Что тот, кто болен, безразличен к платью,
Без удовольствия носит одежду,
Не думая о форме, как попало.

(Входит Джордж с ночным колпаком и палкой.)

Так, милый Джордж *(надевает колпак)*, сохрани это в тайне и не смейся, пожалуйста, надо мной, пока я из виду не скроюсь. *(Уходит.)*

Джордж.

Ну, мой хозяин сейчас выглядит, как один из наших скатертных рыцарей; только из них он — самый честный.

СЦЕНА ВТОРАЯ

(Комната в доме Белафрон.)

Входят миссис Фингерлок (сводня) и Роджер (слуга Белафрон).

Фингерлок.

О, Роджер, Роджер! Где ваша хозяйка? где ваша хозяйка? У меня сейчас нудный, изящнейший господин: только что приехал. Ах, где она? Где она? Где она?

Роджер.

Хозяйка вышла, но не в компании: моя хозяйка теперь не та девка, какой вы ее себе представляете.

Фингерлок.

Как так не девка? Вы уже до того дошли, что готовы ее лишить ее доброго имени? Нечего сказать, хорош сводник!

Роджер.

Уверяю вас, мадонна Фингерлок! Я не зря такой грустный. За все эти тридцать три дня мне ни разу не довелось наесться как следует, а я давно привык зарабатывать по шестнадцать пенсов на каждой бутылке вина, которую приносил. Но прошли наши денечки! Дела у нас такие, мадонна Фингерлок (у нее — на стороне, а у меня — здесь), как у первой встречной бедной пары в Милане.

Фингерлок.

В бога и в жизнь! Так она переменилась?

Роджер.

Из-за ее чистоплюйства я потерял больше, чем надо на постройку двадцати публичных домов.

Фингерлок.

Не могла она для обращенья другого времени выбрать? Ну, и подлая же баба! Двадцать фунтов за ночь, хоть присягу приму, Роджер, и настоящим золотом, а не серебром, — вот какая сейчас пора! Если она просто времени выжидает, так лучшего не дождаться: золото золотом, его и одного хватит, а тут еще какой выбор мужчин, выбор волос, выбор бород, выбор ног, выбор всего, всего, всего, чего хочешь! Мне прямо в голову не лезет, как она могла стать такой дурой, Роджер. Никогда я этому не поверю!

(Входит Белафрон.)

Роджер.

А вот она пришла.

Фингерлок.

Ах милейшая мадонна! Живей надевайте самое вольное платье, шляпу, перья! У меня дома любезнейший, красивейший, изящнейший господин: пахнет от него всеми амбрами и мускусами, карманы у него полны кронами, рубашка огненная, штаны красные атласные, чулки телесные, а ноги, а тело... ах!

Белафрон.

Прочь, язва пола нашего, отрава,
Посредник похоти, оратор сатаны,
Писанье ада! Коль собрать грехи
Всех девок мира и сравнить с твоими —
Твой перевесит. Изо всех созданий,
Когда-нибудь дышавших, всех ты гаже.
Какой змеей твой промысел внушен?
Он омерзителен: ведь ты живешь
Отбросами от шлюх, дверь стережешь,
В которую вошли играть, о дьявол!
Ты — клятва пащенков, ты род их метишь,
Ты — хворь французская, ты в них всосала
Стервиный яд, ты — собственный позор.

Фингерлок.

Плевать мне на твои проклятья! Что, вам не с кем ругаться, кроме как с собственной сводней?

Белафрон.

А вы — хам, сводник, сводни братец сводный.

Роджер.

Мадонна, я, выходит, вам родня.

Белафрон.

Один характер, те же и повадки,
Шестипенсовый раб, разменный гад!

Роджер.

Шесть пенсов? Нет, извините: меньше двух шиллингов, четырех пенсов никогда не брал. Уж позвольте мне знать мои доходы.

Белафрон.

Не знаю, кого больше осуждать —
Настолько ровно прокляты вы оба.
Ты в вечной ругани, ты всем клянешься,
Будто твоя душа из голенищ:
«Бог прокляни меня, если она здесь!»
Когда она здесь, за дверьми сидит.

Роджер.

А если таково мое призванье — клясться, клясться на каждое признанье. Надеюсь, и получше меня люди клянутся и клятвы на себя просят. Мне-то чего же смотреть?

Белафрон.

Роджер, вы обворовываете добрых господ.

Роджер.

За то и обворовываю, что добрые.

Белафрон.

Я тебя увольняю, сволочь!

Фингерлок.

Раз увольняете, придется его содержать.

Роджер.

Придется? Так плевал я на вашу службу.

Белафрон.

Сам ад его вам на содержанье дал:
Давно вас чорт веревочкой связал. *(Уходит.)*

Фингерлок.

Фу — и, матушки мои! Вы, что ж, такой святой, чистой, честной стали, как ревматизм схватили?

Роджер.

Сволочь, честная девка. Вы, однако, подождите, мадонна. На чем мы с вами сойдемся? Мне-то, вам известно, полагается брать за вход в сени, а вам — в спальню.

Фингерлок.

Правильно, Роджер! Кроме моих чаевых.

Роджер.

Чаевых? Каких чаевых?

Фингерлок.

Вот каких: приедет пара в карете да сойдет побыть на минутку — вот, Роджер, это мой собственный доход, а вы можете прогуляться, потому что сводником у них — сам кучер.

Роджер.

Разве? По правде сказать, я это почти вовсе забыл — за недостатком практики. Ну, а если я доставляю жену такого-то горожанина такому-то франту, а мадонну такую-то такому-то хвату, как тогда?

Фингерлок.

А вот тогда, Роджер, вам причитается шесть пенсов с пары: сколько пар, столько и шестипенсовых.

Роджер.

Вот как? Ну, что ж, вижу, сошлись и суждено нам жить вместе.

Фингерлок.

Да, Роджер, пока в Милане кабаки и дома свиданий не переведутся.

(Уходят.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

(Комната в доме Белафрон.)

На сцене Белафрон за лютней; на столе перед ней чернила, перо и бумага.

Белафрон *(поет).*

Блестки придворных разных,
От них одни соблазны;
А для судейских взяток
Высосут пчел достаток.
Сынков купецких пьянству,
Шикарному буянству,
Шелку, бархату, амбре, камням
Не сманить уже меня к ним.
Шелку, бархату и т. д. *(Пишет.)*
Ах, тщетно мне писать! Не угожу.
Чернила на бумаге станут образом
Тех пятен, что мне на душу легли,
И отвратят верней, чем донесут
Мою любовь до мыслей Ипполито.
Открою чистые души страницы

И отыщу в них то, что пригодится.
Верь, Ипполито: твоему верней
Я сердцу, чем оно груди твоей,
Отвергну всех мужчин, их дар, беседу!

(Входят Матео, Каструччио, Флуэло, Пиорато [a]*.)*

Матео.

Ну, шлюшка, subandi, рогатина! Ну, уж и нагадили вы своему обещанию! Нет, скажете? Так-то вы вчера к нам ужинать пришли, а еще девка называется: слова не держит! Ну, да можете покраснеть и потупиться: хватит с нас и этого. Ей-богу, спросите этих франтов: правда ли, что мы вас ждали, пока не оголодали, как сержанты.

Флуэло.

Даже как их подручные.

Каструччио.

И верьте мне, приятельница, позвольте вам доложить, что вы сами себя слишком жестоко наказали: ужин был превосходный, вина — редкостные, и все к концу ужина перепились в доску.

Пиорато.

А как дело дошло до расплаты, нашлись дураки, милая негодница, пачка хлыщей, которые здесь в городе околачиваются, вмешалась и оплатила всю лавочку.

Матео.

Да сгнить ей! Бросьте! Пусть сидит одна.

Белафрон.

О, я прошу вас, если вы джентльмены,
Прошу уйти вас. Проклята будь дверь,
Что так легко открылась! Уверяю —
Из ваших слов и четверть не дошла.
Довольно! Я не то, чем я была!

Матео.

Не то, чем была? Да под присягу пойду — не то, чем была: ты пяти лет отроду была честной, а вот сейчас, в пятнадцать — девка. Вчера ты была простецкая девка, а сейчас девка с фокусом, мошенница ты сегодня.

Белафрон.

Согласна — хуже. Бросьте же меня!
Прошу меня оставить, джентльмены,
Да и себя: не будьте тем, чем были —
Растратчиками собственной души.

[a] Придворные щеголи.

Дайте вас убедить забросить девок.
Они смертельных ядов хуже, хуже:
Проклятье вечное сошло в их души.
Они рабы рабов, их труд напрасен:
От них не ждать плода — его до цвета
Бесчисленные черви точат.
У них потомства нет, кроме уродства,
Которое проводит их до гроба:
Вместо детей они родят болезни,
А вы все тратите на это франты.
Не тот ли вы француз, что, как ни ступит,
Орет, чей он дурацкий сын — наследник,
И все именье спустит на покупку
Грязной, гнусной болезни, чтоб ей тело
Изгадить? Злее вексель не бывал,
Где лихва более, чем капитал.

Матео *(в сторону)*.

В бога ногу! Здорово она это их проводит! Это ее всегдашняя манера, когда хочет сплавить какую-нибудь неинтересную компанию, чтобы со мной наедине остаться.

Флуэло.

Это еще что? Наставления, увещания, предостережения? Объясните вы, ножны мести!

Матео.

Флуэло, бейте своих собак, когда сцепятся, а моей девки не трогайте. Смею вам доложить, что кровь моя возмущается.

Флуэло.

А чуму вам в кровь! Устрой ей драку.

Матео.

Вы — хам! Надеюсь, этого довольно?

Пиорато.

Чорт! Стой, стой!

Кастручио.

Матео, Флуэло! Стыдно!

Матео.

Толкать мою мерзавочку?

Белафрон.

О, сколько
Вот так, ни за пустяк, лишились жизни
По кабакам! Так и свалились, прямо
К ногам распутниц, будто в этом слава.

Флуэло.

Мы встретимся, Матео.

Матео.

Да, не в церкви,
Запомни, что встречаемся не там.

Флуэло.

Прощай, проклятье!

Кастручио.

До свиданья, гад!

Пиорато.

На бабьих кознях сломит ногу ад.

(Кастручио, Флуэло и Пиорато уходят.)

Матео.

Хо-хо! Как ты их замечательно и естественно дурачила! Ведь даже я на минутку подумал, что ты всерьез. Миленькая ты за это, негодница, ей-богу!

Белафрон.

А вы что ж не ушли, синьор Матео?
Ведь я просила: надо верить мне.
Да, шлюхи больше вовсе нет во мне.

Матео.

Как же это так?

Белафрон.

Я не люблю вас — я вас ненавижу
Больше их всех за то, что первый ты
Дал денег мне за душу, разломал
Лед, что потом стал лужей. Ваш соблазн
Сделал меня несчастной негодяйкой.
Ищи того, кто бы с тобой упал,
А лучше б никого ты не искал.

Матео.

Возможно ли быть такой невозможной, честной шлюхой? Я слыхивал, как много честных женщин мгновенно делались шлюхами, но из девки сделаться честной женщиной — это один из подвигов Геркулеса. Да и ему было бы легче в одну ночь наделать пятьдесят шлюх, чем восстановить в добродетели одну из них за пятьдесят лет. Да ну тебя! Ты, верно, только шутишь.

Белафрон.

Довольно шуток! Я едва души
Не прошутила. Я вас полюблю,
Если б меня забыли.

Матео.

Бог с тобою!

Белафрон.

Больше не соблазняйте женщин. Вчуже
Видать — дурны: не делайте их хуже.
Вам радость только в том, чтоб нас унизить,
А не себя поднять. За первый грех
Дадите ли мне должную награду.
Вы женитесь?

Матео.

Что? Жениться на шлюхе, на стерве, на девке? Брр! Фу! Мой нос подожгут прежде.

Белафрон.

А! Вот где клятвы! Любите, чтоб портить,
Чтоб от дороги в рай нас оттянуть:
Вы пачкать любите — не очищать.

Матео.

Не слушаю: ты перешла все меры.
Будь проклята за перемену веры! *(Уходит.)*

Белафрон.

Вот речь разврата! Уходи мой первый
Грех! После моего примера,
Надеюсь, мало девушек решатся
Верить мужской божбе. Не верь обманам:
Он застилает нам глаза туманом.
Трудись, мой ум! Мне надо будет скрыто
Проникнуть, поклониться Ипполито.

ИСПАНСКАЯ И ПОРТУГАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НАРОДНЫЕ ИСПАНСКИЕ РОМАНСЫ

Романс (Romance) — лиро-эпическое стихотворение, распространенная форма старой испанской поэзии. Состоит чаще всего из восьмисложных стихов, связанных моноримическим гласным ассонансом в четных строках. Возникнув в средние века, романс достигает своего наивысшего расцвета в XVI—XVII вв. либо в виде анонимных народных стихотворений, либо в качестве признанной формы книжной поэзии (изысканные романсы Гонгоры, Лопе де Веги, Кеведо). Романсы повествуют обычно о различных выдающихся событиях и личностях испанской истории, о войнах, особенно с маврами, подвигах во славу родины и веры; существуют также романсы любовные, сатирические, шуточные. Особый цикл образуют романсы о Сиде — национальном герое средневековой Испании. С середины XVI в. начали появляться печатные сборники романсов, объединенные в самом начале XVII в. в монументальный «Генеральный сборник романсов» («Romancero general», 1-е изд. в 1600—1605 гг., 2-е изд. в 1604—1614 гг.).

РОМАНС О ХИМЕНЕ ГОМЕС

ИЗ ЦИКЛА РОМАНСОВ О СИДЕ

Это было в день Крещенья,
В день, намеченный издавна,
Когда дамы и девицы
У монарха просят дара.
Вот пришла Химена Гомес,
То — дочка графа Лосано [а];
Говоря слова такие,
Пред королем она встала:
— «В печали король, живу я,
В печали мать померла.
Что ни день, чуть солнце встанет
Вижу убийцу отца.
На коне верхом он скачет,
Взяв ястреба на рукав.
Или сокола он держит
Для охотничьих забав.
Спускает их в голубятню
Мне на горе и на срам,
Он кровью моих голубок
Мне все платье замарал.
Я сказать ему послала,
Он угрозу мне послал:
Что обрежет мне все полы
По те срамные места,
Обесчестит мне всех женщин,
Девиц и замужних дам.
У меня же под полом
Убил моего пажа.
Король, что суда не правит,
Не может повелевать,
Ни носить златые шпоры,
Ни на лошади скакать,
Ни хлеб на скатерти кушать,
Ни с королевой играть,
Ни слушать мессу святую:
И не достоин венца».
Речь ее король услышал,
Сказал такие слова:
«Спаси нас, отец небесный,
И помощь изволь подать.

[а] Сид убил отца Химены, мстя за оскорбление, которое граф нанес его престарелому отцу.

Коль убить иль взять мне Сида,
Кортесы могут восстать,
Коль суда не учиню я,
Заплатит моя душа».
«Свой совет держи король:
Не возмущу его я:
Моего отца убийцу —
Его ты дай мне в мужья:
От того дождусь я блага,
Кто мне сделал столько зла».
Тут король промолвил слово,
Услышьте, что он сказал:
— «Вижу я, что это правда,
Как почасту я слыхал,
Что этот их женский разум
Сделан против естества:
То суда над ним просила,
А то замуж собралась.
Это сделать я согласен,
Охотно и без труда:
Сразу грамоту отправлю,
Призову его сюда».
Еще не молвилось слово,
А уж грамота пошла.
Тот гонец, что с ней поехал,
Отцу ее передал.
— «Плохи, граф, повадки ваши,
И не мне исправить вас:
Зачем от меня укрыли
Вы королевский приказ?»
— «Ничего в нем, сын мой, нету,
Только вас зовут туда;
Но вы, сын мой, оставайтесь,
А я поеду за вас».
— «Не допусти того, боже,
Ни богородица-мать,
Но куда б вы ни отправились,
Я вперед поеду вскачь».

СИД И ПАПА РИМСКИЙ

О, дон Санчо! о, дон Санчо!
Как в Кастильи правил он,
Прошел по Кастильи Старой
От Бургоса на Леон.
И пошел по всей Астурии
По самый Сан-Сальвадор,
И захватил Сантильяну,
И Наварру поборол,
Королю французов назло
Ворота Аспы прошел,
И семь дней с ночами вместе
Прождал на поле его.
Короля он не дождался,
Домой он войско отвел.
От авиньонского папы
К нему явился посол,
Чтоб он прибыл в Рим и занял
Императорский престол.
Чтобы взял он тридцать мулов,
Но коня ни одного,
Чтоб ни за что с ним не ехал
Этот Сид Кампеадор,
Чтоб кортесы были мирны,
И не возник бы раздор.
Чуть что Сид о том прослыша
Прискакал в кортесы он,
Взял с собой своих идальго
Триста всадников числом.
— «Услышьте, король, услышьте
Явите милость, сеньор,
Когда в Рим вы соберетесь,
Чтоб с вами ехать я мог,
И, куда б вы ни отправились,
Всюду вел бы я расход.

* * *

Покуда будем в Кастильи
На себя беру я траты,
Как по Франции пойдем
Будем грабить без пощады;
Не найдется ль где француз,
Что потребует уплаты».
Так от привала к привалу
Дошли до римского града.
Вот с коня сошел король,
Целует руку у папы
И все рыцари — за ним:
Так их успели наставить.
Не целует только Сид:
Не в его, мол, это нраве.

В храм апостола Петра
Дон Родриго [a] входит храбро.
Там он видит семь престолов
Семи владык христианских.
Видит он престол французский
Выше всех и подле папы,
Одной ступенькой пониже
Престол испанской державы.
Взял он трон того француза
Ногой ударил с размаху,
Хоть и был он золотой,
А начетверо распался.
Своего сеньора трон
Он выше прочих поставил.
Тут сказал какой-то герцог,
Савойский он прозывался:
«Будь же проклят ты, Родриго,
Отлучен от церкви папой,
Ты короля обесчестил,
Что всех громче был прославлен».
Как услышал это Сид,
Такой ответ ему дал он:
— «Королей оставим, герцог:
Они — велики и славны.
Меж собою спор решим,
Как надо добрым вассалам».
Он к герцогу подошел,
Оплеуху дал с размаху.
Промолвил на это герцог:
— «Чорт пусть требует расплаты».
Чуть о том прослышал папа,
Отлучил его он сразу.
Чуть о том узнал Родриго,
Такой ответ ему дал он:
— «Отпустите грех мне, папа,
Нето вам будет накладно:
Хорошо коня покрою
Я вашей ризой богатой».
Как услышал это папа,
Такой ответ ему дал он:
— «Прощаю тебя, Родриго,
От сердца и без досады:
Что бы ни сделал ты в кортесах,
Да будешь ты безнаказан».

РОМАНС О МАВРИТАНСКОМ КОРОЛЕ, КОТОРЫЙ ПОТЕРЯЛ АЛЬГАМУ [1]

Гулял раз король мавританский.
Через город он ехал — Гранаду.
От ворот он ехал Альвирских,
И достиг он ворот Виварамбы.
Ой горе, ой горе Альгаме!

К нему доставили письма,
Что взяли Альгаму испанцы.
Велел он посланца зарезать,
И бросил в огонь он посланья.
Ой горе, ой горе Альгаме!

Он с мула сошел, и поспешно
Коня подвели государю.
Сакатином, верхней дорогой,
Домой он проехал в Альгамбру.
Ой горе, ой горе Альгаме!

Повелел мавританский владыка,
Как только вернулся в Альгамбру

[a] Сид.

Трубить серебряным трубам.
Пусть к бою готовятся мавры.
Ой горе, ой горе Альгаме!

Всех верных сзывая к оружью,
Зарокочут пускай барабаны.
Пускай готовятся к бою,
Кто в Веге живет и в Гранаде;
Ой горе, ой горе Альгаме!

Все мавры, услышав тревогу —
Призыв кровавого Марса, —
В одиночку и вместе подходят;
Итти все готовы сражаться.
Ой горе, ой горе Альгаме!

К королю обратился тут старец,
И слово такое сказал он:
«К чему, наш король, ты собрал нас?
И зачем ты зовешь нас сражаться?»
Ой горе, ой горе Альгаме!

«Друзья я скажу вам, что снова
Испанцы грозят нам напастью,
Они завладели Альгамой».
Неверные вновь осмелели:
Ой горе, ой горе Альгаме!

С бородой белоснежной и длинной
Факир так сказал государю:
«По заслугам — напасти, король наш.
Король, по заслугам — напасти.
Ой горе, ой горе Альгаме!

Бенсерагов, король, погубил ты.
Погублен тобой цвет Гранады.
Предатели стали вкруг трона.
А Кордова этим славна-то!»
Ой горе, ой горе Альгаме!

По заслугам, король наш, получишь
Двойную тяжелую кару:
Ты царство свое потеряешь,
А также утратишь Гранаду.
Ой горе, ой горе Альгаме! [а]

[а] Романс приводит Перес де Ита в своем романе «Гражданская война в Гранаде» (часть I, 1595 г.).

РОМАНС ОБ УТРЕННЕЙ РОЗЕ

«Роза, утренняя роза,
Столь изящна и любима,
Хоть держал я вас в объятьях,
Но не мог я вам отдаться.
А теперь, хоть я свободен,
Не моя вы, не моя вы!»
«Чья вина, о друг, скажите?
Не моя вина, а ваша.
Вы письмо ко мне писали,
Мне принес его слуга ваш.
Там писали вы другое.
Вы писали, что женаты,
Что повенчаны в Лионе,
Что жена ваша красива,
Дети, как цветы, прекрасны».
«Тот, кто это вам, сеньора,
Рассказал, тот обманул вас.
Никогда досель я не был
Ни в Кастилье, ни в Лионе.
Там бывал я лишь ребенком,
А тогда любвй не знал я».

САНТИЛЬЯНА

Иньего Лопес де Мендоса маркиз де Сантильяна (El marqués de Santillana, 1398—1458) — поэт, воин и государственный деятель, основатель «итальянской школы» в испанской поэзии. Он первый ввел в испанскую литературу форму сонета. В своих 42-х сонетах он подражал Петрарке и его предшественникам. Влиянием Данте отмечена поэма «Комедийка Понсы», описывающая в форме видения поражение испанцев в 1435 г. в морском сражении с генуэзцами. В творчестве Сантильяны мы встречаемся также с отзвуками провансальской поэзии и испанского фольклора. К последнему отчасти близко наиболее популярное произведение Сантильяны — сборник пословиц, составленный им по желанию Хуана II для воспитания его сына Генриха (напеч. в 1496 г.), сборник состоит из ста рифмованных изречений, из которых каждое образует пословицу.

СОНЕТ

Когда гляжу на ту, чью надо мной
Власть утвердил нещадный бог крылатый,
Я — как один из тех, что свет когда-то
Узрели на Фаворе неземной[а].

С Дианою сходна она порой
Сиянием, не знающим заката;
Пред ней стою, смущением объятый,
Не смея взор на ней покоить свой.

Речь госпожи полна очарованья;
Клянусь, не слышал голоса нежней
Подлунный мир со дня его созданья.

А поступь так размерена у ней,
Так восхитительно скромны движенья,
Что, глядя, в плен сдаюсь без рассужденья.

ПОСЛОВИЦЫ

1.

Внемли, возлюбленное чадо,
Моим словам:
Жестокий нрав приносит нам
Лишь муки ада.

[а] Апостолы, увидевшие преображение Иисуса Христа.

Чтоб быть людьми любимым, надо
Любить людей;
Чем больше любишь, тем полней
Твоя отрада.

2.

Внушающего страх тирана
Терзает страх,
Что будет он повергнут в прах
Путем обмана.
Я утверждать не перестану,
Что страх лихой
Смертельную душе людской
Наносит рану.

3.

Мы все про Цезаря читали,
Как был сражен
Жестоко и коварно он
В сенатском зале.
Кто не любим людьми, едва ль
Тот оградит
Себя от всяческих обид
И злой печали.

4.

Любовь сколь многих возносила,
А страх лихой
Сколь многих сбрасывал долой
И клал в могилы!
Кто хочет под рукой постылой
Томиться век?
Всегда стремится человек
К свободе милой.

5.

Сын! Праведному неуместно
Быть гордецом;
Карает гордых поделом
Отец небесный.
Но с теми, кто живет бесчестно
Ты не дружи;
Что жизнь их зла полна и лжи,
Ведь всем известно.

6.

В своих ответах неизменно
Любезен будь;
Ведь может многих оттолкнуть
Ответ надменный.
С людьми быть вежливым отменно,
Что стоит нам?
Гордыня же приносит срам
Обыкновенно.

7.

Льстецов, речам их не внимая,
Беги всегда,
Как сельские бегут стада
От волчьей стаи.
Ведь в каждом слове их — густая
Сеть западни;
В нее влекут тебя они,
Твой слух лаская.

8.

Напротив, дружеским советам,
О сын, внимай,
Но своего не забывай
Ума при этом.
Мужей седых встречай с приветом:
Кто стар и сед,
Тот мудрый подает совет
И чтится светом.

9.

Делами гордыми дотоле
Был славен Рим,
Покуда почиталась им
Старейшин воля.
Когда ж его свободной доли
Исчез и след,
Стал мало он стяжать побед
На ратном поле.

КАРВАХАЛЬ

Карвахаль, или Карвахалес (Carvajal ó Carvajales) — испанский поэт, живший в Неаполе при дворе Альфонса V (1442–1458), наиболее видный представитель неаполитанской группы поэтов. Писал стихи по итальянски и испански. Охотно культивировал формы народной поэзии (Romançe, serranilla, villançete). Испытал на себе влияние итальянской и провансальской поэзии.

ПЕСНЬ

Так как жизнь моя - мучений
Непрерывных вереница,
Уподоблюсь я сирене,
Что не плачет, не томится,
А поет в тисках мучений.

В песни перелью страданья
И тоску свою и муки,
Превращу свои стенанья
В сладкие для слуха звуки.
Рок суров, — ему без прений
Должен смертный подчиниться.
Что ж, последую сирене,
Что не плачет, не томится,
А поет в тисках мучений.

СЕРРАНИЛЬЯ [a]

Встретил на тропинке тесной
Я горянку юных лет;
Красоты такой чудесной
Не видал от века свет.

С ней назад пошел я в горы
И просил мне показать
Хижину, в стенах которой
Родила красотку мать.
«Ваша просьба неуместна, —
Тут услышал я в ответ; —
К мужним женам, как известно,
Обращаться так не след».

Ах, в нее неудержимо
Я влюбился бы тотчас,
Если б о своей любимой
Не подумал тут как раз.
Я сказал ей: «Друг прелестный,
Не предав любви предмет,
Как с тобою не бесчестно
Поступить мне, — дай совет».

И услышал я: «Ступайте
Без опаски и забот.
Шелк на шерсть вы не меняйте:
Вас внизу сеньора ждет.
Да хранит вас царь небесный,
От меня вам прока нет».
Встретил на тропинке тесной
Я горянку юных лет.

---

[a] *Serranilla* — горная песенка.

МАНРИКЕ

Хорхе Манрике (Jorge Manrique, 1440—1478) — крупнейший испанский лирик XV в. Происходил из старинной аристократической фамилии. Погиб в сражении под стенами Гарси-Муньоса. Основное создание Манрике — его проникновенные «Стансы» на смерть отца (1476 г., напечат. в 1492 г.), доставившие ему прочную славу. В отличие от массы вычурных стихотворений представителей ученой школы, поэма Манрике отмечена глубиной подлинного чувства, изящной простотой и непосредственностью художественного выражения. Свое произведение поэт облекает в форму староиспанских стансов (Coplas). Поэма имела огромный успех. Камоэнс, пытался ей подражать, Лопе де Вега заявил, что ее следовало бы написать золотыми буквами, она была переведена на латинский язык, в XVI в. положена на музыку. Перевод Лонгфелло доставил ей всемирную известность. Мы приводим начало поэмы (с некоторыми сокращениями).

СТАНСЫ НА СМЕРТЬ ОТЦА, КАПИТАНА ДОН РОДРИГО

Не предавайся скорби тщетной,
Душа, и ясными очами
Взгляни вокруг:
Жизнь иссякает незаметно,
И смерть неслышными шагами
Подходит вдруг.
Отрады длятся лишь мгновенья,
Но мукой каждая чревата
Увы, для нас.
Прислушайся к людскому мненью:
Мил только прожитой когда-то,
Ушедший час.

Миг настоящий быстротечен:
Едва явившись, исчезает
В пучине лет;
И тот, кто мудростью отмечен,
О днях грядущих не мечтает
Нисколько, нет.
Нет основания надежде,
Что будет что-нибудь прочнее

В грядущих днях,
Чем то, что видели мы прежде.
Все в мире время, не жалея,
Ввергает в прах.

Ах, наши жизни, это — реки,
Которые впадают в море,
Чье имя — смерть.
В нем растворяется на веки
Исполненная зла и горя
Дней круговерть.
Бегут могучие потоки
В безбрежную пучину эту,
Бегут ручьи;
Мы все равняемся там в роке —
Те, что лишь в рубище одеты,
И богачи.
. . . . . .
Что этот мир, как не дорога
В другой, где нет ни воздыханий,
Ни горьких слез?
Но трудностей на ней премного;
Как уберечься от блужданий —
Вот в чем вопрос.
Путь начинаем с колыбели,
Его, пока живем, свершаем,
И в смертный час
Усталые приходим к цели,
И вот покой мы обретаем,
Во гроб ложась.

Роптать нам было бы не надо
На этот мир, когда б мы жили
Безгрешно в нем;
Того, мы верим, ждет награда,
Кто с незапятнанным к могиле
Пришел челом.
Сам божий сын сюда спустился,
Чтоб нас поднять в чертог небесный
Святой рукой;
Он тут, среди людей, родился
И тут закончил мукой крестной
Свой путь земной.

Цена тому, что в жизни этой
Мы на пути приобретаем,
Ничтожна, да!
Еще не покидая света,

Все эти блага мы теряем,
И навсегда.
Одни уничтожает время,
Другие — стрелы злых несчастий
Из рук судьбы;
Она безжалостна со всеми,
И те, кто на вершине власти, —
Ее рабы.

Розоподобные ланиты,
Огонь в глазах и нежной кожи
Чудесный цвет, —
Куда деваются, скажи ты,
Все прелести весны пригожей
На склоне лет?
Когда мы путь свой совершая,
В предместье старости унылой
Вступаем вдруг,
Где наша легкость молодая?
Мы чувствуем: нет в мышцах силы,
Шаг не упруг.

Высокое происхожденье,
От благородной готской крови
Ведомый род, —
Как часто ждет их униженье!
На смену шуму славословий
Позор идет.
Одни в ничтожество впадают,
Давно в глазах всего народа
Честь потеряв;
Другие сан лишь сохраняют,
Который им дает порода
В знак отчих прав.

И то сказать, — ни чуть не странно,
Что в бренных благах тут на свете
Ничтожен прок:
От госпожи непостоянной
Мы получаем блага эти
На краткий срок.
Фортуны прихоть всем известна,
И колесо ее в движенье
Из века в век.
Мольба людская неуместна,
Не прекратит и на мгновенье
Оно свой бег.

. . . . . .

Все те могучие владыки,
Про чье величие читали
Мы с юных лет, —
Хоть были их дела велики,
Не мало в жизни испытали
Тягчайших бед.
Ни обладателям тиары,
Ни венценосцам нет пощады:
Их смерть во прах
Кладет рукою столь же ярой,
Как пастуха, который стадо
Пасет в горах.

Оставим Трою, чьи страданья
И славу мы не лицезрели,
Оставим Рим,
Хотя мы знаем из преданья
Не об одном великом деле,
Свершенном им;
Оставим древние могилы, —
Тому, что тьмой веков покрыто
Дадим покой
И вспомним, что вчера лишь было
И что не менее забыто
Людской молвой.

Что с королем Хуаном сталось?
Куда инфанты Арагона
Ушли от нас?
Куда вся роскошь подевалась,
Которая наш восхищенный
Пленяла глаз?
Где дивный блеск турниров, схваток,
Где, где веселье удалое
Встреч боевых?
Век, им дарованный, был краток;
Теперь с кладбищенской травою
Сравнишь ты их.

Где надушенные наряды
Прелестных дам и дамы сами
Недавних лет?
Где кавалеров серенады,
Где их сердец влюбленных пламя,
Их страстный бред?
Где лютней сладостное пенье,
Где стихотворных излияний

Стесненный жар?
Где танцев легкое движенье
И где прогулки на поляне
Нарядных пар?
. . . . . .
О, сколько герцогов всесильных,
Маркизов, графов превосходных
Навек легли
Под сень тяжелых плит могильных,
Чтобы в объятьях тлеть холодных
Сырой земли!
Трудов их в мирные годины
И подвигов на поле брани
Бледнеет след...
Все злой завершено кончиной.
Смерть, от твоей жестокой длани
Спасенья нет!

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ XV ВЕКА

ПЕСНЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО

Это было в мае месяце, жаркие стояли дни,
Заливались в небе жаворонки, рокотали соловьи,
Уходили все влюбленные славить таинства любви.
Только я жил в горькой муке, заточен в глухой острог.
День ли, ночь ли за стеною, я бы сам узнать не мог,
Только птичка возвещала песенкой мне каждый срок.
Арбалетчик застрелил ее, пусть его накажет бог!

АЛЬБОРАДА

ИСПАНО-ЕВРЕЙСКАЯ ПЕСНЯ

«Цветок мой апельсинный! вставайте от сна скорей!
Вы слышите, как сладко поет сирена морей?»
«Нет, это не сирена, нет, не сирена морей;
Это мой милый хочет доплыть до груди моей.
Но волны сильно бьются, он далеко от камней.
Хоть день и ночь страдай он, не доплывет он ко мне!»
Услышал это мальчик, бросается плыть скорей.
«Нет, не бросайся, мальчик: то воля звезды моей!»
Она бросает косы, по ним он взлетает к ней [а].

АНОНИМНЫЕ СТРОФЫ ПРОТИВ КОРОЛЯ ГЕНРИХА IV ЗА ЕГО ДУРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ [б]

...Открой же, открой свои уши.
Послушай, послушай, пастух.

[а] Стихотворения впервые напечатаны в книге Валентина Парнаха, Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции, изд. Academia, М.-Л., 1934.

[б] Генрих IV король Кастилии (1423—1474) — был крайне распущенным и безвольным монархом. Его царствование ознаменовалось гражданской войной, которая была начата кастильским дворянством, недовольным дурным управлением короля. Приводимый фрагмент может служить примером оппозиционной сатирической поэзии XV в., наиболее известным памятником которой была анонимная сатира в форме эклоги «Стансы Минго Ревульго» (ок. 1472 г.).

Ужели же к овцам ты глух?
Так тяжко страдают их души,
Что к небу доходит их стон,
Несется со всех он сторон.
Стрижешь ты их шерсть бесконечно,
Стрижешь круглый год ты беспечно.
Иль ты глухотой поражен?

А стадо тремя стригачами
Стрижется. Томит его страх.
Все овцы в надежных руках —
Стригутся тремя палачами.
До кожи обрив, наконец,
Ты шкурникам хвалишь овец.
А овцы все вытерпеть могут —
Овчарки и те не помогут,
Отгонишь их добрый отец.

Пастух, как и в прошлом бывало
Овец понемногу стриги.
Ты стадо свое береги.
А шерсти ужель тебе мало?
Не будет губить их жара
И зимняя также пора.
И будет за это награда —
Дождешься приплода от стада.
Получишь ты много добра.

Нет полно, обмана не надо!
Иль думаешь глупы мы так,
Что примем волков за собак?
Возможно ль плодиться для стада,
Коль сторожем в нем станет волк?
А будет ли пастырю толк,
Коль овцы его и бараны
Погибнут? Нет брось ты обманы,
Ужели же разум твой смолк?

Тот волк нарядившись овчиной,
Тебе столь любезный пузан [a],
По виду смиренный баран
Питается ль пищей единой
Сухих только трав и корней?

[a] *Cueva* (бочка, пузан) — намек на Дона Бельтрана де ла Куева, фаворита короля.

Ягнят он терзает верней.
С тех пор, как пришел сюда — нищий
Другой он не ведает пищи,
Он жрет все сильней и сильней.

Ты дал в своем стаде жилище
Волкам, что лисицы умом.
К чему им мечтать об ином!
Им нравится вкусная пища.
Ты хищным зверьем окружен.
А плач? Нет, не слышится он.
С тобою грабители рядом.
Овец не отыщешь ты взглядом —
К тебе не достигнет их стон!

«СЕЛЕСТИНА»

«Селестина», или «Трагикомедия о Калисто и Мелибее» (La Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea, конец XV в.) роман в форме драмы, выдающийся памятник испанского Возрождения. Автором романа, видимо, является Фернандо де Рохас, баккалавр, еврей по происхождению. Старейшие из дошедших до нас изданий «Селестины» содержат 16 актов (Бургос, 1499, Севилья, 1501), в изданиях позже 1501 г. — 21 и 22 акта. В романе с большой реалистической силой показана история трагической любви молодого рыцаря Калисто и Мелибеи, девушки знатного происхождения. Огромное место в произведении отведено ловкой своднице Селестине, образ которой обрисован с исключительным мастерством. Она — воплощение алчности, лукавства, изворотливости и хищного эгоизма. Возникающий буржуазный мир с его практикой «бессердечного чистогана» щедро наделяет ее своими пороками. Селестина вырастает в романе в собирательный образ, в грозный символ разрушительной мощи своекорыстия чувств. В то же время своими действиями она помогает Мелибее восторжествовать над ветхими нормами феодальной этики, пробуждает в ней пламя подлинной человеческой любви, которая пробивается сквозь толщу средневековых обычаев и представлений, и увлекает к гибели «дерзких» любовников. С Селестиной в романе связано изображение общественных низов, это — слуги и проститутки, в уста которых автор вкладывает протест против аристократической кичливости знатностью происхождения и меткую характеристику тяжелого положения служанок в домах богатых и знатных. В романе проявляются также черты антиклерикальной сатиры (рассказ Селестины о распущенности духовенства). Яркий реализм «Селестины» оказал значительное влияние на развитие испанского романа в XVI—XVII столетиях (плутовской роман, Сервантес). Имя Селестины стало нарицательным. Роман приобрел европейскую популярность. До появления «Дон Кихота» ни одна из испанских книг не пользовалась такой широкой известностью, как «Селестина».

Из «СЕЛЕСТИНЫ»

Из АКТА I

[Однажды Калисто встретил юную Мелибею в саду ее отца Плеберио, куда он зашел, чтобы отыскать своего сокола. Он признается ей в любви, но Мелибея с негодованием отвергает притязания незнакомца. Калисто удаляется к себе домой, где предается тоске и отчаянию.]

(Комната в доме Калисто.)

Калисто. Семпронио!

Семпронио. Сеньор!

Калисто. Дай мне лютню.

Семпронио. Сеньор, вот она.

Калисто. Может ли быть печаль такой, чтобы сравниться с моей тоской?

Семпронио. Эта лютня расстроена.

Калисто. Как может настроить ее расстроенный? Как может чувствовать гармонию тот, кто сам с собой в таком раздоре, тот, в ком воля не повинуется разуму? Кто скрывает в своей груди шипы, мир, войну, перемирие, любовь, неприязнь, позор, опасения, подозрения и все по одной причине? Поэтому играй и пой самую грустную песню, какую знаешь.

Семпронио. Смотрел Нерон с Тарпеи, как весь Рим горел; кричали старики и дети, но ни о чем он не жалел.

Калисто. Больше мой огонь, и меньшее встречает сочувствие со стороны той, о которой я сейчас говорю.

Семпронио. Я не ошибаюсь, когда говорю, что мой хозяин сошел с ума.

Калисто. Что ты там бормочешь, Семпронио?

Семпронио. Я не говорю ничего.

Калисто. Скажи, что ты говоришь, не бойся.

Семпронио. Что я говорю? Каким образом может быть больше тот огонь, который мучает живого, чем тот, который сжег такой город и такое множество народу?

Калисто. Каким образом? Я тебе это скажу: больше тот огонь, который продолжается восемьдесят лет, чем тот, который проходит в один день, и больше тот пожар, который сжигает душу, чем тот, который сжег сто тысяч тел. Какая разница существует между явлением и сущностью, между живым и нарисованным, между тенью и реальностью, такая же разница существует между тем огнем, о котором ты говоришь, и тем, который меня сжигает. Конечно если огонь чистилища таков, то я желал бы больше, чтобы мой дух был с духами неразумных животных, чем посредством этого огня приобщиться к славе святых.

Семпронио. Мало того, что я сказал, это приведет его еще дальше. Он не только сумасшедший, но и еретик.

Калисто. Разве я тебе не сказал, чтобы ты говорил громко? Что ты говоришь?

Семпронио. Я говорю, что бог никогда этого не захочет: это род ереси, то, что ты сейчас говоришь.

Калисто. Почему?

Семпронио. Потому что то, что ты говоришь, противоречит христианской религии.

Калисто. Какое мне дело?

Семпронио. Ты не христианин?

Калисто. Я? Я мелибеец, обожаю Мелибею, и верю в Мелибею, и люблю Мелибею.

[Семпронио — слуга и поверенный Калисто советует ему обратиться за помощью к своднице Селестине. Калисто даст на это свое согласие.]

(На улице.)

Семпронио. О, матушка! Брось все прочие дела, будь внимательна и слушай то, что я тебе скажу; и не разбрасывай

твоих мыслей в разные стороны, ибо тот, кто кидает их в разные места, не находит их нигде, разве только случайно попадет в настоящее место. Я хочу, чтобы ты узнала от меня то, о чем ты еще не слышала: а именно, с тех пор, как я доверился тебе, я никогда не мог желать какого-либо добра, от которого не уделил бы тебе часть.

Селестина. Пусть бог воздаст тебе, сынок, и он это сделает не без причины, так как ты сжалился над старой грешницей. Но говори, не медли; ибо дружба, которая утвердилась между мною и тобой, не нуждается ни в предисловиях, ни в корольлариях, ни в подготовительных частях, чтобы получить мое согласие. Будь краток и приступи прямо к делу; ибо напрасно говорится многими словами то, что может быть понято посредством немногих.

Семпронио. Пусть будет так. Калисто пылает любовью к Мелибее, он нуждается в тебе и во мне. Так как мы вместе будем работать, то вместе и воспользуемся прибылью; ибо люди преуспевают тогда, когда умеют узнать подходящее время и пользоваться случаем.

Селестина. Ты хорошо сказал, и я готова; я в миг все пойму. Я говорю, что меня радуют эти новости, как радуют хирургов разбитые головы. И подобно тому, как последние растравляют сначала раны, чтобы взять дороже за спасение, так и я думаю поступить с Калисто. Я усилю в нем уверенность в лекарстве, ибо, как говорят, постоянная надежда поражает сердце, а когда он потеряет ее, я постараюсь возбудить ее в нем опять. Ты меня хорошо понимаешь.

Семпронио. Замолчи, так как мы стоим у двери, и, как говорят, стены имеют уши.

[Селестина уверенно обещает Калисто, что Мелибея будет принадлежать ему, и с этого времени приобретает неограниченную власть над ним и всеми его окружающими.]

Из АКТА III

(Комната в доме Селестины.)

Семпронио. Делай, как тебе угодно, это не первое дело, которым ты займешься.

Селестина. Первое, сынок? Благодарение богу, ты видел мало девушек в этом городе, которые открыли ларек для продажи, которым я недоставила бы первого покупателя. Когда рождается девушка, я ее вношу в мой список для того, чтобы посмотреть, сколько из них ускользнет из моих сетей. Как ты думаешь, Семпронио? Разве я живу воздухом? Разве я получила наследство? Разве я имею другой дом или виноградник? Разве я имею другие доходы, чем от того ремесла, благодаря которому я ем и пью? Откуда я получаю платье и обувь? Я родилась в этом городе, в нем воспиталась, в нем честно добываю себе пропитание, как это знает

весь свет. Разве я не известна? Кто не знает моего имени и моего дома, того ты можешь считать чужестранцем.

Семпронио. Думаешь ли ты, что ты сумеешь чего-либо добиться у Мелибеи? Есть ли у тебя какие-либо хорошие приметы?

Селестина. Нет ни одного хирурга, который при первом посещении мог бы судить о ране. То, что я вижу сейчас, я тебе скажу. Мелибея красива, Калисто сумасброден и расточителен, и ему ничего не будет стоить тратиться, а мне хлопотать; пусть льется золотой дождь, и пусть длится процесс, сколько может. Все преодолевают деньги: разбивают скалы, переходят реки посуху; нет такого высокого места, по которому не прошел бы осел, нагруженный золотом. Его сумасбродство и его пыл достаточны для того, чтобы погубить его и доставить прибыль нам. Это я думаю, это я угадала, это я знаю от него и от нее; это есть то, чем мы должны воспользоваться. Я иду к дому Плеберио, оставайся с богом; какой бы смелой ни была Мелибея, она не первая, благодарение богу которую я заставлю перестать кудахтать. Все они щекотливы, но после того, как согласятся раз надеть на спину седло, никогда не желают отдыхать. Они остаются победительницами; они скорее умрут, чем устанут; если они гуляют ночью, то желают, чтобы никогда не рассветало; проклинают петухов за то, что те возвещают день, и часы за то, что идут так быстро; ищут Плеяды и Полярную звезду и делаются звездочетами. А когда видят сияние зари, то у них душа готова выйти из тела; ее свет омрачает их сердце. Это путь, сынок, по которому я никогда не уставала ходить и никогда не чувствовала себя утомленной: и хотя я теперь и стара, видит бог мою добрую волю. Насколько же он более привлекателен для тех, которые кипят без огня, покоряются после первого объятия, умоляют того, кто их умолял, страдают из-за страдающего, делаются рабынями тех, госпожами которых они были, перестают приказывать и подчиняются, ломают стены, открывают окошки, измышляют болезни, льют масло на скрипящие петли дверей, чтобы те делали свое дело без шума. Я тебе не могу сказать, какое сильное действие оказывает на них та сладость, которая остается у них от первых поцелуев их возлюбленных. Они враги середины и всегда кидаются в крайности.

Семпронио. Я не понимаю этого выражения, матушка.

Селестина. Я говорю, что женщина или очень любит того, кто ее желает, или же питает к нему сильную ненависть; таким образом, если они перестают любить, то они не умеют удержать свою ненависть в границах. Будучи в этом уверенной, я иду сильно утешенная к дому Мелибеи, как будто бы она была у меня в руках, так как я знаю, что, хотя сейчас я ее буду просить, напоследок она будет меня умолять, что, хотя в начале она мне будет угрожать, в конце концов она мне будет льстить. Я понесу туда немного пряжи в моем кармане с другими мелочами, которые я всегда ношу с собой, чтобы иметь повод войти в первый раз туда, где меня не знают: то воротнички, обшивки, бахрома, головные сетки,

щипчики для выдергивания волос, черная краска для бровей, ресниц и волос, свинцовые белила, румяна, иголки и булавки. Они выбирают то, что им угодно, а я, между тем, начинаю говорить и располагаюсь раскинуть свои приманки и делать им предложения о первом свидании.

Семпронио. Матушка, подумай хорошенько о том, что ты делаешь; ибо когда ошибаются вначале, то не может быть хорошего конца. Подумай о ее отце, который знатен и силен, о ее матери, которая бдительна и смела, а ты само подозрение. Мелибея у них единственная дочь; если они потеряют ее, то потеряют все. Я дрожу, когда подумаю о пословице: «За шерстью пойдешь, общипанным придешь».

Селестина. Общипанной, сынок?

Семпронио. Или утыканной перьями, матушка, что еще хуже [1].

Селестина. К чорту, будь проклят, я не нуждаюсь в тебе как компаньоне. Ты хочешь обучать Селестину ее ремеслу? Когда ты только родился, я уже ела хлеб с корочкой. Хорош ты был бы, как начальник, смущаемый предзнаменованиями и опасениями.

Семпронио. Не удивляйся, матушка, моему страху. Это общечеловеческое свойство, что когда желают чего-либо очень сильно, то думают, что никогда не добьются его. Особенно в этом случае, я боюсь твоей и моей неудачи. Я желаю прибыли; я бы хотел, чтобы это дело кончилось хорошо не для того, чтобы мой господин избавился от мук, а для того, чтобы я освободился от нищеты. И таким образом, я с моим малым опытом предвижу гораздо больше препятствий, чем ты, будучи старой мастерицей.

Элисия [a]. Крестная сила с нами, Семпронио. Что это за новость, что ты приходил сюда сегодня два раза?

Селестина. Молчи, дура, оставь его, мы с ним думаем о более важных делах. Скажи мне, эта комната свободна? Ушла ли та девушка, которая ждала священника?

Элисия. После этого была другая, которая также ушла.

Селестина. Но не без дела?

Элисия. Сохрани господь. Хотя он и пришел поздно, «но больше стоит тот, кому помогает бог, чем тот, кто рано встает».

Селестина. Пойди скорее на верхний чердак и принеси сюда бутылку со змеиным жиром. Ты найдешь ее подвешенной к концу веревки, которую я сняла с поля прошлой ночью, когда шел дождь и было темно. Открой корзину с бельем и с правой стороны ты найдешь бумагу, написанную кровью летучей мыши под крылом дракона, у которого мы вчера вырвали когти. Смотри, не разлей майскую воду, которую мне дали для дела.

---

[a] Проститутка, любовница Семпронио.

Элисия. Матушка, их нет там, где ты говоришь; ты никогда не помнишь, куда ты кладешь свои вещи.

Селестина. Ради бога, не брани меня за мою старость; не обращайся плохо со мной, Элисия. Не воображай о себе слишком много, потому что здесь Семпронио, и не возгордись. Он предпочитает иметь меня своей советчицей, чем тебя своей подругой, хотя ты его сильно любишь. Поди в комнату для мазей, и ты там найдешь все в шкуре черного кота, куда я тебя посылала положить глаза волчицы. И принеси кровь козла и часть бороды, которую ты у него отрезала.

Элисия. Возьми, матушка, вот они. Я поднимусь наверх вместе с Семпронио.

Селестина. Я заклинаю тебя, мрачный Плутон, господин адских глубин, император падшего двора, гордый начальник осужденных ангелов, господин серных огней, которые выплевывают кипящие горы Этны, управитель и наблюдатель мучений и мучителей грешных душ, советник трех фурий — Тизифоны, Мегеры и Алекто, властелин всех черных дел царств Стикса и Дите со всеми их лагунами и адскими тенями и полного раздоров хаоса, сторож летающих гарпий со всей остальной компанией страшных и ужасных гидр. Я, Селестина, твоя наиболее известная клиентка, заклинаю тебя могуществом и силою этих черных букв, кровью этой ночной птицы, которою они написаны; важностью этих чисел и знаков, которые содержатся в этой бумаге; острым ядом гадюк, из которого этот жир и которым помазана эта пряжа; приходи без промедления повиноваться моей воле; облекись этой пряжей и пребывай в ней, не отходя ни на мгновение, пока Мелибея при первом благоприятном случае не купит ее; пусть она до такой степени запутается в ней, что чем больше будет смотреть на нее, тем больше ее сердце ослабнет и уступит моей просьбе; пронзи и порази ее жестокой и сильной любовью к Калисто, пока, отбросивши всякую честь, она не откроется мне и не наградит моих хлопот и моего посредничества. Сделавши это, проси и требуй у меня все, что тебе угодно. Если же ты не сделаешь этого тотчас же, то считай меня своим смертельным врагом; я поражу светом твои мрачные и темные логова, буду разоблачать жестоко твою непрерывную ложь; буду теснить своими суровыми словами твое ужасное имя; я тебя заклинаю еще раз и еще раз. Таким образом, уверенная в моей власти, я ухожу туда со своей пряжей, убежденная, что я тебя ношу с собой.

Из АКТА IX

(Комната в доме Селестины.)

Селестина. Садитесь, мои дети, здесь достаточно места для всех, благодарение богу; пусть нам дадут столько в раю, когда мы пойдем туда. Садитесь по порядку, каждый со своей подружкой.

Я, будучи одинокой, поставлю рядом с собой этот кувшин и кубок, ибо я живу только тогда, когда беседую с ними. С тех пор, как я стала старухой, я не знаю лучшего занятия за столом, как пить; ибо «кто имеет дело с медом, всегда в нем замажется». В зимние ночи никто не согревает лучше мою кровать; если я выпью два таких кувшина пред тем как лечь в кровать, то не чувствую холода во всю ночь; это заменяет мне подкладку под все мои платья, когда приходит рождество; это согревает мою кровь; это поддерживает во мне постоянно жизнь; это позволяет мне ходить всегда бодрой; это освежает меня. Если этого будет много в моей комнате, то меня никогда не будет пугать плохой год; ибо корочки хлеба, отъеденного мышами, мне достаточно на три дня. Это изгоняет печаль из сердца лучше, чем золото и кораллы; это дает отвагу юноше и старику силу, дает румянец бледному, мужество трусливому, усердие ленивому; укрепляет мозги, изгоняет холод из желудка, заглушает зловонное дыхание, дает крепость простуженным, позволяет утомленным жнецам выносить тяжести полевых работ, выгоняет дурные соки из тела в виде пота, излечивает насморк и зубную боль, сохраняется в море, не портясь, в отличие от воды. Много я бы тебе могла рассказать о его свойствах; их у него больше, чем у вас всех волос на голове; я не знаю, кто не радуется при упоминании о нем. Только один недостаток есть в нем: хорошее дорого стоит, а плохое вредит; таким образом, то, что лечит печень, вредит кошельку. Однако я стараюсь достать лучшего и предпочитаю пить мало. Одна дюжина глотков при каждой еде; я никогда не преступлю меры, если только я не буду приглашена, как сегодня.

Парменo[а]. Матушка, все мудрецы говорили, что выпить три стаканчика это хорошо и почтенно.

Селестина. Это ошибка, сынок; тринадцать вместо трех[2].

Семпронио. Тетушка сеньора, было бы лучше, если бы мы обсудили наше дело за столом, так как потом не будет времени говорить о любви этого нашего погибшего хозяина и об этой грациозной и красивой Мелибее.

Элисия. Уходи отсюда, грубый и несносный человек! Подавись тем, что ты ешь; вот чем ты меня угощаешь! Клянусь душой, я бы хотела изрыгнуть все, что я съела, когда я слышу, что ты называешь ее красивой. Смотрите! Какая красавица! Иисус! Иисус! Что за досада и тоска видеть твое бесстыдство! Кто красив? Пусть меня бог накажет, если она красива, она нисколько не красива, разве только, что имеет глаза, которые гноятся. Пусть меня крестная сила спасет от твоей глупости и твоего невежества. Какая польза была бы спорить с тобой о ее красоте и миловидности! Мелибея миловидна? В таком случае, реки молочные текут в кисельных берегах; эта красота продается за монету с лотка. Право, я знаю на той улице, где она живет, несколько девушек, кото-

[а] Слуга Калисто.

рым бог уделил больше от своей милости, чем Мелибее; если в ней есть что-либо красивого, то это только хорошие украшения, которые она носит. Надень их на бревно и ты скажешь, что оно красиво. Клянусь жизнью, я это говорю не для того, чтобы хвастаться; но я думаю, что я так же красива, как ваша Мелибея.

Ареуза[a]. Но ты ее не видела в таком виде, как я, моя сестра. Если бы ты ее видела натощак, то пусть бог меня накажет, если бы ты могла в тот день что-либо скушать. Весь год она себя мажет всякою гадостью, как только ей надо показаться в каком-либо месте, где ее можно видеть. Она мажет себе лицо желчью и медом, накладывает себе на лицо гренки и сушеные фиги и другие вещи, которых я не желаю назвать, потому что мы за столом. Богатства позволяют этим красавицам гордиться, а не прелесть их тел; пусть я буду так счастлива; будучи девушкой, она имеет такие груди, как будто бы уже рожала три раза. Они кажутся двумя большими тыквами. Я не видела ее живота, но, судя по всему остальному, я думаю, что он такой же дряблый, как у пятидесятилетней старухи. Я не знаю, что в ней увидел Калисто, что он не хочет любить других, которых мог бы иметь гораздо легче и с которыми он наслаждался бы гораздо больше; но испорченный вкус считает часто горькое сладким.

Семпронио. Сестрица, я вижу, что всяк кулик свое болото хвалит: противоположное этому говорят в городе.

Ареуза. Нет ничего более далекого от истины, чем мнение черни; и ты никогда не будешь жить хорошо, если будешь руководствоваться мнением большинства, ибо истинное заключение состоит в том, что все, что думает толпа — суета; то, что она говорит — ложь, то, что она порицает — добро, то, что она одобряет — зло. И поскольку таковы нравы и обычаи народа, то не суди по тому, что он утверждает, о нежности и красоте Мелибеи.

Семпронио. Сеньора, чернь не прощает пороков своим господам; и, таким образом, я думаю, что если бы Мелибея имела какие-либо недостатки, то они были бы открыты теми, которые бывают с нею больше, чем мы. И если даже согласиться с тем, что ты говоришь, то Калисто — рыцарь, а Мелибея — дворянская дочь; люди же благородного происхождения ищут друг друга. Так что нечего удивляться тому, что он любит ее больше, чем других.

Ареуза. «Низок тот, кто считает себя низким»; дела делают благородными, потому что в конце концов мы все происходим от Адама и Евы. Пусть каждый постарается быть хорошим для себя и не стремится искать добродетели в знатности своих предков.

Селестина. Дети, клянусь своей жизнью, пусть прекратятся эти докучные споры; а ты, Элисия, вернись к столу и перестань сердиться.

Элисия. На того, кто причинил мне столько зла, так что у меня каждый кусок застревает в горле. Могу ли я кушать с этим

[a] Проститутка.

злодеем, который имеет дерзость утверждать мне в лицо, что его потаскуха Мелибея красивее, чем я.

Семпронио. Молчи, моя жизнь, ведь это ты начала эти сравнения; всякие сравнения ненавистны [3]. Это твоя вина, а не моя.

Ареуза. Пойдем, сестрица, кушать; не доставляй сегодня этого удовольствия — дуться на них — этим дерзким сумасбродам, нето я встану из-за стола.

Элисия. В угоду тебе я уступлю этому моему врагу и буду кротка со всеми.

Семпронио. Э-е, хе-хе.

Элисия. Чему ты смеешься? Пусть этот несносный и противный рот будет изъеден злым раком.

Селестина. Не отвечай ей, сынок; нето мы никогда не кончим. Обсудим наше дело. Скажите мне: как поживает Калисто? Каким вы его оставили? Как вы сумели оба ускользнуть от него?

Элисия. Матушка, стучат в дверь. Конец забавам.

Селестина. Посмотри, дочка, кто это. Может быть, это кто-нибудь такой, с кем станет еще веселее и забавнее.

Элисия. Или меня обманывает слух, или это моя двоюродная сестра, Лукресия [a].

Селестина. Отвори ей, и пусть она войдет, и в добрый час; она также знает толк в том, о чем мы говорим; хотя уединенный образ жизни, который ей приходится вести, мешает ей наслаждаться своей молодостью.

Ареуза. Пусть я так радуюсь, как верно то, что те, которые служат госпожам, никогда не наслаждаются жизнью и не знают сладких наград любви. Никогда они не имеют дела с родственницами или с равными себе, с которыми они бы могли говорить на «ты», которым они могли бы сказать: что ты ела за ужином? беременна ли ты? сколько кур ты развела? пригласи меня на закуску в твою комнату; покажи мне твоего любезного; как давно он тебя не видел? как твои дела с ним? кто твои соседи? и другие подобные вещи. О, тетушка! Какое суровое имя «госпожа»; как важно и надменно оно звучит для того, кому приходится постоянно его произносить! Вот почему я живу сама по себе с тех пор, как я себя знаю; меня никогда не называли иначе, как моим именем. Особенно трудно с теперешними госпожами: теряешь с ними лучшую часть своего времени, и за десятилетнюю службу они платят изношенной юбкой, которую они готовы выбросить. Они дурно обращаются с прислугами, наносят им оскорбления, а те так порабощены, что не смеют разговаривать в их присутствии. А когда приходит время, и они должны выполнить свое обязательство и выдать их замуж, то они выдумывают всякие увертки, упрекают их, что они лежали в кровати с сыном или слу-

[a] Служанка Мелибеи.

гой, что завели шашни с мужем или впустили чужих мужчин в дом, или украли кубок, или потеряли кольцо. Дают им сотни ударов и выбрасывают их за дверь с задранной над головой юбкой, говоря: «Уходи отсюда, воровка, распутница, не порти доброго имени моего дома». Таким образом они ждут вознаграждения, а получают оскорбления, думают выйти замуж, уходят с позором, надеются получить свадебные платья и драгоценности, но уходят обнаженные и оскорбленные. Вот каковы их награды, вот каковы их благодеяния и жалование, замуж выдать обещают, а последнее платье снимают; самая большая честь, которую они им оказывают, это заставить их шататься с их поручениями от дуэньи к дуэнье. Никогда они не называют их собственным именем, а только: «Распутница, сюда, распутница, туда. Куда ты идешь, паршивая? Что ты сделала, негодница? Почему ты это съела, обжора? Как ты вымыла сковороду, свинья? Почему ты не вычистила плаща, грязнуха? Как ты это сказала, дура? Кто разбил тарелку, неловкая? Каким образом пропало полотенце, воровка? Ты его отдала своему любовнику, дурная. Поди сюда, скверная женщина, куда делась рябая курица; разыщи ее скорее, а нето вычту за пропажу из твоего жалования». И между тем, они дают тысячу ударов туфлей, щипков, ударов палкой и плетью. Никто не может их удовлетворить; нет никого, кто бы мог их вынести. Их удовольствие — кричать, их слава — браниться. Чем лучше что-либо делаешь, тем менее они довольны. Вот почему, матушка, я предпочитаю жить в маленькой хижине свободной госпожей, чем в богатых дворцах порабощенной и покоренной.

Селестина. Ты в своем уме. Хорошо знаешь то, что делаешь. Ведь и мудрецы говорят: «Лучше есть хлебные крошки с миром, чем иметь полный дом припасов с раздорами». Но теперь прекрати эти рассуждения, так как входит Лукресия.

Лукресия. Здравствуйте, тетушка и компания. Пусть бог благославит такое многочисленное общество столь почтенное.

Селестина. Такое многочисленное, дочка? Ты его считаешь многочисленным? Сразу видать, что ты меня не знала в мои счастливые времена, двадцать лет тому назад. Ах, кто меня видел тогда и кто меня видит теперь, не знаю, как у него не разорвется сердце от боли. За этим самым столом, где сидят теперь твои подруги, я видела, моя любезная, девять девушек твоих лет, самая взрослая была не старше восемнадцати лет, и не одна не была моложе четырнадцати. Таков свет, все проходит, кружится в хороводе, одни жалобы полны, другие пусты. То закон фортуны, что ни одна вещь не остается долго без изменения в своем существовании; ее строй — перемены. Я не могу говорить без слез, каким почетом я пользовалась прежде, хотя по грехам моим и несчастиям, он постепенно пошел на убыль; как склонились мои дни, так умалилась и уменьшилась моя прибыль. Есть старая поговорка, что все, что есть в мире, или увеличивается или уменьшается; все имеет свои границы, все имеет свои степени. Моя добрая слава достигла

вершины, уделенной ей; необходимо, чтобы она склонилась и уменьшилась; я приближаюсь к своему концу. Я вижу, что мне остается мало жить; так как я хорошо знаю, что поднялась для того, чтобы спуститься, расцвела для того, чтобы завянуть, радовалась для того, чтобы печалиться, родилась для того, чтобы жить, жила для того, чтобы расти, росла для того, чтобы состариться, состарилась для того, чтобы умереть. И так как я давно в этом уверена, то выношу легче мои несчастия; но все же я не могу окончательно избавиться от сожаления, так как образована из чувствующей плоти.

Лукресия. У тебя было, матушка, много хлопот со столькими девушками, ведь трудно сторожить такое стадо.

Селестина. Хлопот, моя любезная? Наоборот, то был отдых и наслаждение. Все меня слушались, все меня почитали, всеми я была уважаема, ни одна не выходила из моей воли, все, что я говорила, было хорошо, я заботилась о каждой. Они не были разборчивы, кого бы я им ни предложила: хромого, кривого, однорукого; кто мне давал больше денег, тот для них был хорош. Моя была прибыль, а их — труды. А сколько народу старалось мне услужить благодаря им? Дворяне, старики, юноши, священники всех степеней, от епископа до пономаря. Когда я входила в церковь, в мою честь снимали шапки, как будто я была княгиней; с кем я меньше всего имела дело, тот считал себя хуже всех. Когда они видали меня за полмили, то бросали свои молитвенники; по-одному, по-два приходили туда, где я стояла, посмотреть, не нужно ли мне чего и справиться о своей милой. А во время обедни стоило мне войти в церковь, как они смущались, делали не то, что нужно, и говорили невпопад. Одни меня называли сеньорой, другие — тетушкой, третьи — влюбленной, четвертые — почтенной старушкой. Там сговаривались, когда они придут ко мне в дом или когда мы их посетим. Там мне предлагали деньги или другие подарки, целуя край моего плаща; некоторые целовали меня в лицо, чтобы доставить мне больше удовольствия. А теперь фортуна довела меня до такого состояния, что мне говорят: «Носи на здоровье свои башмаки [1]».

Семпронио. Ты приводишь нас в ужас такими рассказами о религиозных людях с благословенными тонзурами. Однако не все они таковы.

Селестина. Нет, сынок, избави бог, чтобы я говорила такую вещь. Я знала многих набожных стариков, от которых я получала мало прибыли и которые даже не хотели меня видеть; но я думаю, что это было больше потому, что они завидовали другим, которые разговаривали со мной. Так как там было много духовенства, то были люди всякого рода: одни были более целомудренны, другие же старались поддержать женщин моего звания; я думаю, что и теперь дело так обстоит. Они посылали своих оруженосцев и слуг сопровождать меня, и стоило мне войти в мой дом, как через мою дверь входило множество цыплят и кур, гусей,

утят, куропаток, голубей; окорока, пшеничные торты, поросята. Каждый посылал мне всю эту провизию в таком виде, в каком получал ее в качестве десятины для бога; я тотчас же регистрировала все, чтобы съесть вместе с их духовными сестрами. А сколько было вина? Не было недостатка в лучшем вине, которое пили в городе. Оно приходило из разных областей: из Морвиедро, из Луки, из Торо, из Мадригала, из Сан-Мартина и из многих других мест. Их было столько, что, хотя мой язык сохранил разницу их вкусов, я, однако, не помню всех мест; это много для такой старухи, как я, что стоит мне понюхать какое-либо вино, и я могу сказать, откуда оно. А потом были другие священники — без прихода; не успеет прихожанин поцеловать епитрахиль, как кутия, предложенная священнику, в то же мгновение переселялась в мой дом. Густыми толпами входили в мою дверь слуги, нагруженные провизией. Не знаю, как я могу жить, потеряв такое положение.

Ареуза. Ради бога, так как мы пришли наслаждаться, не плачь, матушка, не утомляйся; бог все исправит.

Селестина. Я не могу удержаться от слез, дочка, когда вспоминаю это веселое время и эту жизнь, которую я вела, когда все старались мне услужить; я первая пробовала от новых плодов тогда, когда другие даже не знали, поспели ли они. Их можно было найти в моем доме, когда их искали для какой-либо беременной.

Семпронио. Матушка, память о минувшем добром времени не приносит никакой пользы, а только печаль, если его нельзя вернуть. Так и сейчас, ты вырвала у нас из рук удовольствие. Встанем из-за стола, будем наслаждаться, а ты дай ответ этой девушке, которая пришла сюда.

[Под предлогом продажи женских безделушек Селестина проникает в дом отца Мелибеи. Искусными и лукавыми речами она постепенно пробуждает в сердце девушки любовь к Калисто.]

Из АКТА X

(*В доме Плеберио.*)

Мелибея. Ты столько раз называла мне этого кавалера, что, несмотря на обещание и на слово, которое я тебе дала, я не могу выносить твоих речей. Чем я его должна вознаградить? Разве я ему должна что-нибудь? Имею ли я какое-либо обязательство к нему? Что он сделал для меня? Почему, когда я страдаю, я нуждаюсь в том, чтобы он был здесь? Я бы предпочла, чтобы ты мне разрезала тело и вырвала сердце, чем слушать подобные речи.

Селестина. Не разрывая твоих платьев, любовь устремилась к тебе в сердце; мне не нужно разрезать твоего тела, чтобы исцелить тебя.

Мелибея. Скажи, как называют эту мою печаль, которая господствует над лучшей частью моего тела?

Селестина. Сладкая любовь.

Мелибея. Это мне объясняет, что оно такое, потому что я радуюсь при одном только названии ее.

Селестина. То скрытый огонь, нежная язва, вкусный яд, сладкая горечь, приятная болезнь, радостная мука, сладкая и жестокая рана, ласковая смерть.

Мелибея. Ох, я несчастная. Если верен твой рассказ, то сомнительно мое спасение. Ибо при той противоположности, которая существует между этими названиями, то, что с одной стороны было бы полезно, причинило бы тем большее страдание с другой стороны.

Селестина. Сеньора, не теряй надежды в спасении твоей благородной юности; когда великий бог посылает рану, он же посылает и исцеление. А главное, я знаю, что в мире родился цветок, который освободит тебя от всего этого.

Мелибея. Как он называется?

Селестина. Я не смею назвать его тебе.

Мелибея. Скажи, не бойся.

Селестина. Калисто! Ради бога, сеньора Мелибея! Как мало мужества! Что за слабость! О, я несчастная! Подыми голову. О, я злополучная старуха! Вот чем кончились мои хлопоты! Если она умрет, то меня убьют; но если даже она останется жива, об этом узнают, — она не сумеет скрыть своей болезни и моего лекарства. Сеньора моя, Мелибея, мой ангел! Что ты чувствуешь? Что стало с твоей нежной речью? Что стало с твоим живым румянцем? Открой твои ясные очи. Лукресия, Лукресия, поди скорее сюда! Ты видишь, как твоя госпожа умирает на моих руках; принеси скорее кувшин воды.

Мелибея. Тише, тише, я сделаю усилие над собой; не вызывай скандала в доме.

Селестина. О, я несчастная! Не падай в обморок, сеньора, говори попрежнему.

Мелибея. Мне много лучше; молчи, не утомляй меня.

Селестина. Что ты хочешь, чтобы я сделала, моя драгоценная жемчужина? Что ты чувствуешь? Я думаю, что швы, наложенные мною на твою рану, лопнули.

Мелибея. Пропала моя честь, пропало мое смущение, исчезла моя великая стыдливость; и так как они были для меня естественны и привычны, то они не могли так быстро исчезнуть с моего лица, не похитивши с собой на несколько мгновений его цвета, не лишивши меня моей силы, языка и большей части рассудка. О, моя добрая учительница, моя верная доверенная, то, что ты так хорошо знаешь, я напрасно старалась утаить от тебя. Прошло много и много дней с тех пор, как этот благородный кавалер говорил мне о своей любви. Его речь вызвала во мне тогда такое же раздражение, какую радость причинила потом, после того, как ты назвала его. Твои иглы закрыли мою рану, я покорилась твоей воле. Вместе с моим поясом ты завладела моей свобо-

дой; его зубная боль стала моим наибольшим мучением [а]; его страдание стало моим наибольшим страданием. Я хвалю и одобряю твое великое терпение, твою разумную дерзость, твои благородные усилия, твои заботливые и верные хлопоты, твою нежную речь, твое многознание, твое чрезмерное усердие, твою полезную навязчивость. Многим тебе обязан этот господин, а еще больше я, что мои упреки никогда не могли ослабить твои усилия и настойчивость, в то время как ты доверяла своему великому лукавству. Раньше ты, как верная раба, чем больше тебя оскорбляли, тем больше была прилежна; чем больше была немилость, тем больше были усилия; чем хуже ответ, тем лучше лицо; чем больше я была разгневана, тем ты была смирнее. Отбросивши всякий страх, ты вырвала из моей груди то, что я никогда не думала открыть ни тебе, ни другому.

Селестина. Моя любимая госпожа, не удивляйся этому, так как предвидение результата дает мне смелость выносить суровое и своевольное обращение таких замкнутых девушек, как ты. Правда, раньше, чем я решилась, я как по пути, так и в твоем доме долго колебалась, обратиться ли мне с моей просьбой к тебе. Видя большое могущество твоего отца, я боялась; принимая во внимание любезность Калисто, я осмелела; видя твою скромность, я опасалась; принимая во внимание твое присутствие духа и милосердие, я решилась. В одном случае говорил страх, в другом — уверенность. И так как ты, сеньора, пожелала открыть большую милость, которую ты нам оказываешь, то объяви свою волю, открой свои тайны моему сердцу, предоставь мне руководить этим делом. Я найду средство, чтобы вскоре были исполнены твои желания и Калисто.

Мелибея. О, мой Калисто и мой господин! Моя сладкая и приятная радость! Если твое сердце чувствует сейчас то же, что и мое, то я удивляюсь, каким образом ты можешь жить в разлуке. О, моя мать и повелительница! Сделай так, чтобы я его могла тотчас видеть, если тебе дорога моя жизнь.

Селестина. Видеть и говорить.

Мелибея. Говорить? Это невозможно.

Селестина. Для людей, которые сильно чего-нибудь желают, нет ничего невозможного.

Мелибея. Скажи мне, как?

Селестина. Я об этом думала, и я тебе скажу: между дверьми твоего дома.

Мелибея. Когда?

Селестина. Этой ночью.

Мелибея. Ты будешь для меня благословенной, если ты это устроишь. Скажи, в котором часу.

Селестина. В двенадцать.

[а] В одно из своих первых посещений Мелибеи Селестина выманила у нее ее пояс, который ей якобы нужен для уврачевания зубной боли некоего достойного юноши, влюбленного в Мелибею.

Мелибея. Пойди, моя госпожа, моя верная подруга, и скажи этому сеньору, пусть он придет потихоньку, и все устроится, согласно его желанию, в тот час, который ты назначишь.

Селестина. Прощай, сюда идет твоя мать.

[При посредстве Селестины Калисто ночью проникает в сад Мелибеи. Возлюбленные соединяются. Сердца их преисполнены радости и любовью. Между тем приближается трагическая развязка.]

Из АКТА XII

(*В доме Селестины.*)

Семпронио. Дай нам наши обе доли из того, что ты получила от Калисто на наш счет, если ты не желаешь, чтобы открылось, кто ты такая. Обращайся к другим с этими льстивыми речами, старуха.

Селестина. А кто я такая, Семпронио? Помешаешь ли ты мне заниматься сводничеством? Удержи свой язык, не позорь моих седин; я такая старуха, какой меня бог сделал, не хуже других. Я живу от своего ремесла, как и всякий другой от своего, вполне порядочно. Кто меня не любит, того я не ищу, меня вызывают из моего дома, меня просят в моем доме. Живу ли я хорошо или плохо, бог читает в моем сердце; не думай, чтобы ты в своем гневе мог дурно обращаться со мной, правосудие существует для всех; несмотря на то, что я женщина, меня выслушают не хуже вас, какими бы вы ни были лощеными. Оставьте меня в моем доме с моим имуществом; а ты, Пармено, не думай, чтобы я стала твоей пленницей ввиду того, что ты узнал мои тайны, мою прошедшую жизнь, события, которые произошли со мной и с твоей несчастной матерью. Она также обращалась со мной дурно, когда богу было угодно.

Пармено. Не раздражай меня этими воспоминаниями; нето я тебя пошлю с этими новостями к ней, где ты сумеешь лучше жаловаться.

Селестина. Элисия, Элисия, вставай с кровати, дай мне скорее мой плащ; клянусь богом и всеми святыми, я побегу за полицией и буду кричать, как сумасшедшая. Что это такое? Что значат эти угрозы в моем доме? Вы показываете свое мужество и отвагу кроткой овечке, связанной курице? Шестидесятилетней старухе! Прочь отсюда, испытайте свою ярость на мужчинах, как и вы, которые опоясывают себя шпагой, а не на моей бессильной прялке. То признак большой трусости — нападать на слабых и на бессильных: навозные мухи кусают только тощих и слабых быков, шавки яростнее всего лают на бедных странников. Если бы та, которая спит на этой кровати, послушалась меня, то этот дом никогда не оставался бы ночью без мужчины и наш сон не был бы таким беспокойным. Но чтобы угодить тебе, чтобы остаться вер-

ными тебе, мы терпим это одиночество; а вы, имея перед собой женщин, говорите и требуете с дерзостью; вы бы этого не делали, если бы знали, что в доме имеется мужчина. Как говорят: «Суровый противник охлаждает гнев и бешенство».

Семпронио. О, скупая старуха, умирающая от жажды по деньгам. Ты не довольна третьей частью того, что получила?

Селестина. Какая третья часть? Идите с богом из моего дома, ты и вот тот, нето я закричу, созову соседей; не выводите меня из себя; берегитесь, чтобы не стали предметом пересудов те вещи, которые делали Калисто и вы.

Семпронио. Ори или кричи; ты должна исполнить то, что обещала или я сегодня покончу с тобой.

Элисия. Оставь, ради бога, свою шпагу. Держи его, Пармено, держи, нето этот сумасшедший убьет ее.

Селестина. Полицию, полицию, господа соседи, полицию: эти разбойники убивают меня в моем доме.

Семпронио. Разбойники? что ты говоришь? Погоди, старая колдунья, я с тобой отправлю в ад письма.

Селестина. Ах, он меня убил! Горе мне, горе мне! Священника!

Пармено. Дай ей, дай ей, приканчивай, раз ты начал, нето нас услышат; пусть умрет, пусть умрет; одним врагом будет меньше.

Селестина. Священника!

Элисия. О кровожадные враги! Вы кончите плохо! На кого вы наложили руку! Умерла моя мать, а вместе с нею и все мое добро.

Семпронио. Беги, беги, Пармено, собирается много народу. Берегись, берегись, альгвасил идет.

Пармено. Увы мне, бедному грешнику; некуда убегать, выход занят!

Семпронио. Выскочим в окно, чтобы не умереть от руки правосудия.

Пармено. Выскакивай, я следую за тобой.

[Попытка к бегству убийц Селестины оканчивается неудачно. Они попадают в руки правосудия и кончают свои дни на плахе. Вскоре погибает и Калисто. В одну из ночей он, как обычно, проникает по лестнице в сад Мелибеи. Услышав на улице шум драки, он решает поспешить на помощь своим слугам, однако падает с лестницы и разбивается насмерть.]

Из АКТА XX

(На башне.)

Плеберио. Дочь моя, Мелибея, что ты делаешь одна? Что ты хочешь мне сказать? Хочешь ли ты, чтобы я поднялся наверх?

Мелибея. Отец мой, не стремись и не старайся прийти туда, где я нахожусь, ибо ты смутишь настоящую речь, которую я желаю тебе держать. Ты скоро будешь огорчен смертью

твоей единственной дочери: наступил мой конец, наступил мой отдых и твое страдание; наступило мое утешение и твоя мука; наступил час, когда я соединюсь с своим спутником, и время твоего одиночества. Почтенный отец, тебе не надо употреблять музыкальных инструментов [a], чтобы утишить мою боль, а остается только поле, чтобы похоронить мое тело. Если ты меня выслушаешь без слез, то услышишь отчаянную причину моей насильственной и радостной смерти: не прерывай плачем моих речей; если же нет, ты будешь еще больше печалиться от того, что не узнал причины моей смерти, чем оттого, что увидишь меня мертвой. Не расспрашивай меня ни о чем, не отвечай мне ничего, не прибавляй ничего к тому, что я тебе желаю сказать добровольно; ибо, когда сердце охвачено страстью, то уши закрыты для советов, и в такое время добрые слова, вместо того чтобы укротить, лишь увеличивают ярость. Послушай, старый отец, мои последние слова, и если ты их поймешь так, как я надеюсь, то не будешь меня обвинять за мое заблуждение. Ты, конечно, видишь и слышишь грусть и печаль, охватившие весь город; ты, конечно, слышал этот колокольный звон, этот жалобный крик людей, этот вой псов, этот грохот оружия; это я причина всего этого. Это я одела в этот день бо́льшую часть городского рыцарства в траурную одежду; я лишила многих слуг их господ; я лишила жалких нищих их ежедневного хлеба; я была причиной того, что мертвые получили своим товарищем наиболее совершенного и привлекательного человека; я лишила живых образца изящества, галантных вымыслов, нарядов и украшений, речи, манер, вежливости, добродетели; я была причиной того, что земля преждевременно услаждается самым благородным телом и самой жизнерадостной юностью, которая когда-либо была в нашем городе. И так как ты будешь поражен рассказом о моих необычайных преступлениях, то я желаю тебе разъяснить события. Много дней прошло, мой отец, с тех пор, как стал страдать любовью ко мне рыцарь, который назывался Калисто, которого ты хорошо знал, так же как и его родителей и знатный род; его добродетели и мягкость были всем известны. Так велика была его любовная мука, и он имел так мало поводов говорить со мной, что он открыл свою страсть пронырливой и хитрой старухе, которую называли Селестиной; она, со своей стороны, пришедши ко мне, вырвала тайну моей любви из моего сердца. Я открыла ей то, что скрыла от моей любимой матери; она имела способы получить мое согласие; устроила так, чтобы исполнились его и мое желание. Если он меня сильно любил, то я ему платила взаимностью; произошла печальная встреча, и я согласилась на сладкое и несчастное исполнение его воли. Побежденная его любовью, я позволила ему войти в мой дом; он преодолел посредством лестницы стены твоего сада; преодолел мое сопротивление:

[a] Перед тем, как подняться на башню, Мелибея послала своего отца за музыкальными инструментами, уверяя его, что музыка облегчит ее страдания.

я потеряла мою девственность. Этим восхитительным заблуждением любви мы наслаждались около месяца; прошлой ночью он ко мне пришел по обычаю, а при его возвращении произошло то, что устроила изменчивая фортуна согласно своему своенравному обычаю: стены были высоки, ночь была темна, лестница слаба, слуги, которых он привел с собой, не были искусны в этом роде службы; он торопился посмотреть, что за спор произошел с его слугами на улице; при своей стремительности он не видел хорошо своих шагов, поставил ногу в пустоту и упал, и при его печальном падении его мозги разбились о камни и стены. Парки перерезали его нить; перерезали его жизнь без исповеди; перерезали мою надежду, перерезали мою славу, перерезали мой союз. А теперь? После того, как он умер, сорвавшись с высоты, какая жестокость была бы, мой отец, чтобы я жила в муках. Его смерть призывает мою: призывает, чтобы она произошла немедленно, без отсрочки; показывает мне, что я должна сброситься с высоты для того, чтобы следовать ему во всем. Пусть не говорят обо мне: «У мертвых и у ушедших нет друзей[5]». И таким образом, я его удовлетворю в смерти, так как не имела в ремени удовлетворить его при жизни. О, моя любовь и мой господин, Калисто! Подожди меня, я иду; задержись, если ты меня ждешь; не обвиняй меня в опоздании, что я сдаю этот последний отчет моему старому отцу, так как я ему многим обязана. О, мой отец, сильно любимый! Заклинаю тебя, если ты меня любил в этой прежней и тягостной жизни, пусть будут соединены наши могилы; пусть нам вместе окажут эту любезность. Я бы тебе сказала несколько утешительных слов перед моим приятным концом, взятых из этих старых книг, которые ты мне давал читать для того, чтобы больше просветить мой разум, но моя ущербленная память забыла их из-за великого смятения, хотя я и вижу, как твои плохо скрытые слезы текут по твоему морщинистому лицу. Передай привет моей дорогой и любимой матери; пусть она узнает от тебя подробно печальную причину, почему я умираю. Я чувствую большое удовольствие от того, что не вижу ее здесь! Прими, старый отец, удел твоей старости; ибо, когда долго живут, то терпят большие страдания. Получи приданое, полагающееся твоей древней старости; получи здесь твою любимую дочь. Я чувствую большую печаль из-за меня, еще бóльшую из-за тебя, самую бóльшую из-за моей старой матери. Пусть будет бог с тобой и с нею; я ему вручаю свою душу; а ты позаботься о моем теле, которое я сбрасываю вниз.

[Мелибея бросается с башни. Роман заканчивается горестными сетованиями убитого горем отца над бездыханным телом своей дочери.]

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ РЕНЕССАНСНОЙ ДРАМЫ В ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ

ЭНСИНА

Хуан дель Энсина (Juan del Encina, 1469—1533) — драматург и поэт, основоположник испанской светской драмы. Окончил университет в Саламанке, участвовал в осаде Гранады, был придворным поэтом герцога Альбы, в 1498 г. отправился в Италию, в Риме был рукоположен в священники, совершил путешествие в Иерусалим, был приором монастыря в Леоне. Наиболее значительным разделом творчества Энсины являются его эклоги — коротенькие пьесы в стихах, близкие к эклогам Вергилия, переводами которых Энсина занимался в начале своей литературной деятельности. Ряд эклог имел религиозную тематику, остальные разрабатывали светские, преимущественно любовные, сюжеты. Драматический элемент развит в них еще сравнительно слабо, при всем том эклоги Энсины оказали решающее влияние на развитие испанской драматургии эпохи Возрождения и были первыми испанскими пьесами, исполненными публично. «Эклога об оруженосце, который сделался пастухом» (1494) написана двойными редондильями (redondilla — строфа из четырех, восьми- или шестисложных стихов, рифмующихся по схеме: abba) и заканчивается, как и другие эклоги Энсины, деревенской песенкой (villancico).

ЭКЛОГА

ОБ ОРУЖЕНОСЦЕ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛСЯ ПАСТУХОМ, МЕЖДУ ПАСТУХОМ МИНГО, ПАСТУШКОЙ ПАСКУАЛОЙ И ОРУЖЕНОСЦЕМ

Минго.

Паскуала, бог тебе ограда.

Паскуала.

А, Минго, здравствуй! Где жена?
Ты здесь, Мангилия, одна.
Так поступать, мой друг не надо.

Минго.

Зачем я тут, моя отрада?
К тебе одной скажу я вновь
Влечет меня моя любовь,
Моя ты радость и отрада.

Паскуала.

Ты тут не по моей вине,
Не трать напрасно ты усилья,
Со мной дружна твоя Мангилья,
А ты, ты не угоден мне.

Минго.

Любить так сладко по весне.
Ты протяни мне нежно руки
И исцели меня от муки.
О будь моей, моей вполне.

Паскуала.

Ты страстью хвалишься своею.
Скажи, любил ты сколько дней
Мангилью? Ты не верен ей.
Как верить мне в твою затею?

Минго.

Тебя люблю душою всей.
Ты так волшебно хороша,
В тебе мой свет, моя душа,
Тебя не видя, я болею.
Ужель любовь — моя вина?
Тебя люблю я поневоле,
Ты не противься этой доле —
Покинута моя жена.
Сорвал я розу. Вот она!
Возьми ее ты без боязни, —
Хоть нет в тебе, увы, приязни, —
Она прекрасна, как весна.

Паскуала.

Минует сладость этой розы,
Не трать ты, Минго, вешних дней.
Ты жизнью насладись сильней.
Пускай тебя минуют грозы.

Минго.

Не радость ты даришь мне — слезы,
Да много жгучих, горьких слез.

Дай локон мне твоих волос,
Как память о минувших грезах.

Паскуала.

К чему все это приведет?
Напрасно стал ты на колени.
Смотри скорее: из под сени
Оруженосец к нам идет.
Ты выступи скорей вперед, —
Пусть знает, что пасешь ты стадо.
Его приветствовать нам надо.
Какую новость он несет?

Оруженосец.

Пастушка, здравствуй. Бог с тобою!

Паскуала.

Господь с тобою, мой сеньор!

Оруженосец.

Пусть счастьем твой сияет взор.

Паскуала.

Храним да будешь ты судьбою.

Оруженосец.

Обворожительна собою,
Пастушка, ты. Твоя краса
Затмит блеск солнца, небеса.

Паскуала.

В красе я лишь равна с любою.

Оруженосец.

Пойдем красавица со мной.
Доверься мне, расстанься с хатой,
И будешь знатной и богатой,
Любовь так радостна весной.

Паскуала.

Как? Жить за городской стеной?
Нет, мой сеньор! Вы очень ловки!

Оруженосец.

Поверь мне. Это не уловки,
Покинь со мною край родной.
Оставь ты пастуха и боле,

Пастушка, не общайся с ним.
Не может быть тобой любим,
Кто в низкой и ничтожной доле.

Минго.

Не отдавай своей ты воли.
Он щеголь, он — придворный враль.
Обманет он; ему не жаль
Прельщенных дев. Не слушай доле!

Оруженосец.

Мужлан невежливый! Нахал!
Уродливый, косматый с виду.

Минго.

Несешь сюда ты лишь обиду.
Ох только б бог тебя убрал!

Оруженосец.

Тебя прошу молчать. Что стал?
Ну, угоняй скорее стадо.

Минго.

Мне уходить отсель не надо;
Хоть ты придворный, ум твой мал,
Иль думаешь, что поселяне,
Пред дерзостью склонятся в прах?
Внушить не могут сильный страх
Сюда забредшие дворяне.
Барченок, может быть в изъяне:
Найдутся руки и слова.
Не так убога голова,
Нет, не трусливы мы, крестьяне!

Оруженосец.

Паскуала, милая подруга,
Что медлить нам? Уж солнце село.

Паскуала.

Нет, подожди!

Оруженосец.

Идем же смело!

Паскуала.

Но мы должны понять друг друга.
Ох, Минго, ждет тебя супруга.

Оруженосец.

О милая, тебе молюсь,
Тебе я в верности клянусь.
Мы будем жить, любя друг друга,
Да, жизнь постыла без тебя,
Страдаю, если ты далёко.
Не покидай того жестоко,
Кто так терзается, любя.
Коль ты уйдешь, меня губя, —
Утешусь я одной могилой.

Минго.

Люблю сильней я, всею силой,
И больше самого себя.

Оруженосец.

Но что ты дашь пастушке милой?
Твоя любовь ей не нужна.
Твоя ли верность так ценна?

Минго.

Клянусь, сеньор, небесной силой, —
Я дам ей много, что открыла
Жизнь пастуха мне. Ей-же-ей,
Я дам ей множество вещей,
Что от других природа скрыла!

Оруженосец.

А что ты подаришь, пастух,
Достойное красы небесной,
Под клятвой нам скажи ты крестной.

Минго.

Я пеньем услажу ей слух,
Я буду бегать во весь дух,
Я позабавлю быстрой пляской,
Свирелью нежной, милой сказкой.
Носиться буду я, как пух.
Я дам ей перстни золотые;
Сошью я милой башмачки;
Я дам ей ленты, кошельки;
Я дам запястья ей витые,
И кольца подарю литые;
Я камни дам прозрачней слез,
Наряды краше вешних грез,
Исполню все ее мечты я.

Я дам ей праздничный наряд;
Я дам жемчужные монисты;
Я дам алмазы, что лучисты, —
Пусть тешит ими ясный взгляд.
Тарелки выточить я рад
Из бука горного и ложки,
Солонки, мисочки и плошки —
Все дам ей, не считая трат.
Плоды на деревах ветвистых
Висят и зреют по горам,
И яблоки найдешь ты там,
И много персиков пушистых.
Растет по долам и лугам
Не мало вкусных трав душистых
Близ рек и ручейков сребристых,
Все принесу к ее ногам.
Ловить умея разных птиц,
Я дам в подарок горлиц нежных,
И голубей ей белоснежных,
И робких сизых голубиц.
Я дам ей маленьких синиц,
И бабочек я дам ей алых,
И всех цветов букашек малых
И ярких пестрых гусениц.

Оруженосец.

Нет, нет не говори ты доле,
Твои дары все не по ней.
Нет, я люблю ее сильней,
Я подарю гораздо боле.

Минго.

Ее, сеньор, хоть скромный долей
Любил я раньше. Но она
Пускай решит к кому нежна;
Пусть изберет своею волей.

Оруженосец.

Ты, Минго, правильно решил.
О ней мы спорили довольно,
Пускай же избирает вольно
И нам откроет, кто ей мил.
Но как ее ты не любил,
Не нарушай ты договора
И удались без разговора,
Коль рок мне счастье б подарил.

Минго.

Паскуала, ты нас двух пленила.
Кого ты изберешь из двух?
Вот он — сеньор, а я — пастух.
Скажи кого ты полюбила?

Паскуала.

Сеньор, тебя б я полюбила,
Тебя б я выбрала из двух,
Коль пас стада ты, как пастух.
Храни тебя господня сила!

Оруженосец.

Паскуала, верь, я очень рад
Ходить с тобою за стадами.
Пускай царит любовь меж нами
Не оглянуся я назад.

Паскуала.

Вот брачный дар любви в заклад —
То сумка с посохом, мой милый.

Оруженосец.

О вешний день, о день счастливый,
Вот высшая, из всех наград!
Друг Минго, мучиться не надо.
Утешься ты в своей беде,
Хоть горько, но ужель нигде
Тебя не ждет еще услада,
Ты добрый малый и досада
Напрасна. Будем же дружны.
За мною, Минго, нет вины.
Пасти мы будем вместе стадо.

Минго.

Закончен между нами спор.
Хоть больно от сердечной муки,
Но мы пожмем друг другу руки.
Желаю счастья вам, сеньор!
Но время стадо гнать во двор.
Иль вы останетесь на месте,
Иль мы стада погоним вместе,
Чтоб их пасти по склонам гор.

ПЕСЕНКА

Песни громче заводи!
Ну, к чему же быть печальным?
Не стремись к краям ты дальним.
С нами будь, не уходи!
Побледнели ночи тени.
Вот на небе семь Плеяд.
Будь доволен ты и рад,
Веселей! Не нужно лени!
Песни громче заводи,
С нами будь, не уходи!
Веселей шагай вперед.
Позабудь печаль и скуку!
Позабудь тоску и муку!
И не ведай ты забот!
Но овец своих блюди!
Не зевай, и будет толк,
Бродит близко хищный волк.
Ты во все глаза гляди!
С нами будь, не уходи!
Охраняй свое ты стадо.
Коль пасешь ты, никогда
Не дремли, а то беда.
Пастуху дремать не надо.
Ждет тебя за труд награда.
Ты овец своих блюди!
С нами будь, не уходи!
Как не верить нам примете:
Хороши тогда стада,
Коль пастух влюблен. О, да,
Пусть царит любовь на свете!
Песни громче заводи!
С нами будь, не уходи!

ВИСЕНТЕ

Жиль Висенте (Gil Vicente, 1470—1536) — испано-португальский драматург, прозванный «португальским Плавтом». Происходил из дворянской семьи. Рано отдался литературной деятельности. Свои пьесы писал преимущественно для придворных спектаклей Мануэля Великого и Хуана III. Драматургическое наследие Висенте многообразно. Им написаны на португальском и испанском языках 42 пьесы в различных жанрах: эклоги, в которых он подражал Энсине, ауто, фарсы, комедии, трагикомедии. Они отличаются более искусной, чем у Энсины, разработкой интриги и характеров. Первый драматический опыт Висенте относится к 1502 году. Наибольший интерес представляют его 12 фарсов, в которых Висенте обнаруживает незаурядный комедийный талант и мастерство реалистических характеристик. Его ауто подчас пронизаны тонким лиризмом. Как и Энсина, Висенте оказал большое влияние на последующее развитие испанской драмы до Лопе де Вега и Кальдерона включительно.

АУТО О-СВЯТОМ МАРТИНЕ.

Настоящее ауто о милосердии всеблаженного святого Мартина, отдавшего половину своего плаща нищему, было представлено перед сеньорой королевой Доньей Леонор в церкви las caldas (в Лиссабоне), при торжестве Корпус Кристи [a]. Ауто было предоставлено в 1504 году от рожденья спасителя.

Нищий.

Немного дольше поддержите ноги.
О посох мой, не выпадай из рук!
Господь, дай отдохнуть от тяжких мук,
Смягчи, всевышний приговор свой строгий.
С мученьями иду я вдоль дороги,
Шатаясь, чтоб дневной свой хлеб купить.
Смерть, разорви печальной жизни нить,
Тебя прошу я жалкий и убогий.

Болезнью беспощадной я сражен.
О дайте мне, молю, на пропитанье.
Вы видите в ужасном я страданьи,

[a] *Corpus Christi* — тело Христово.

Я изувечен, страшно изъязвлен.
Весь в ранах я. Услышьте горький стон.
На ноги вы взгляните и на руки.
Тяжел недуг и полон смертной муки,
Но жизнь пресечь все ж не желает он.

Червями я изъеден до кончины.
О, христиане, сжальтесь надо мной!
Без рук, без ног, расслабленный, больной,
Убитый неизбывностью кручины,
Я, грешный, жертвой стал лихой судьбины.
Ужели состраданья луч погас?
О дайте мне на хлеб, молю я вас,
Чтоб отпустил господь и ваши вины.

Я был когда-то весел, юн. Недуг
Меня сковал и обратил в калеку.
О дайте подаянье человеку,
Что строен был, что искривлен от мук,
Чей вид отвратен и родит испуг.
А были дни, когда его красою
Все любовались. Смерть рази косою!
Пусть смолкнет мой последний скорбный звук.

Ты, Иова терпенье, не могу я
Сносить, как он, так много тяжких бед!
Прости мне бог; уж силы больше нет
Так без надежды жизнь влачить тоскуя.
Да, в этот мир родился на беду я.
О майский цвет, живящая роса
И вешних дней волшебная краса,
Ужели облегченья не найду я!

Оставь детей! К чему все жертвы эти?
Не трогай, смерть, красивых юных дев.
Пускай звучит свободно птиц напев.
Пусть радостно все дышит на рассвете.
Освободи меня от гнусной сети
Гниющей плоти. Тех же сохрани,
Чья жизнь нужна и чьи привольны дни.
К чему же, смерть, томиться мне на свете?

У пахарей прошу, у горожан
Я именем того, кто в муке крестной
Нас спас от ада милостью небесной,
Всех искупив ценою смертных ран,
Подайте мне. Богатые, вам дан
Удел счастливый. Не скупитесь. Средства

Отдайте для небесного наследства,
Названье заслужите христиан.

(Увидя всадника с тремя пажами — св. Мартина, он говорит ему.)

Постой, о всадник царственный. Свой взор
Склони ко мне. Мою ты видишь хилость,
И счастье бог пошлет тебе за милость;
Я болен, нищ. Смотри на мой позор.

Св. Мартин.

Страдаешь, брат, ты страшно с давних пор.
Мой паж, скажи: ужель у нас нет злата,
Чтоб дать могли мы для питанья брата?

Один из пажей.

Нет ничего, конечно, мой сеньор.

Нищий.

О пожалей! Я скорбный, я несчастный.
Гнетет меня отчаянье и боль.

Св. Мартин.

О бедный брат, спросить ты мне позволь,
Какой недуг тебя терзает властный?

Нищий.

Пусть рок тебя минует столь ужасный,
Пусть пощадит жестокая беда,
Дай денег мне на хлеб, и я всегда
Запомню, мой сеньор, твой лик прекрасный.

Св. Мартин.

Что дать? Утешу ль скорбь души больной?
Да, жизнь его страданьем так богата.
Я поделюсь плащом. Согрею брата.
Здесь ничего другого нет со мной.
Но ждет тебя, мой брат, удел иной:
За то, что испытал в печальном мире,
Ты будешь встречен гимном в горнем клире,
И отдохнешь в стране своей родной.

(Св. Мартин, разрезая мечом свой плащ, поет гимн. Этим представление закончилось, так как было очень поздно.)

Из фарса
«ПОГОНЩИКИ МУЛОВ»

СЦЕНА ВТОРАЯ

Большая дорога

(На сцену выходит с навьюченным мулом Перо Ваз; под звон бубенцов он поет:)

Я в гору поднялся по темным тропам
И с юной горянкой встретился там.
Живей ворочайся, влюбленный мул.
Не забывай, что должен возместить
Семь тысяч девятьсот сентимов мне,
Которые, с налогом, ты мне стоил.
Проворней будь,— небось, у короля
Не числимся среди пенсионеров.
Тогда, по мне, ты мог бы и гулять.
Ну, ну, вперед! Не видишь разве ты,
Что вечер к нам пожаловать спешит.
Вот вредное животное! Подхвостник
Совсем повис, подпруги за пупком...
В корчме последней напился ты, что ли?

(Поет.)

Я в гору поднялся по темным тропам
И с юной горянкой встретился там.
Ты что же раскоряпился? Иль в кегли
Играть задумал, чорт тебя дери.
Вот, погоди, тебе по морде дам,
Да так, что ухнет под хвостом. По яслям
Соскучился? Вперед, не то велю
Не подстилать тебе соломы чистой,
Чтоб комары тебе впивались в зад.

(Поет.)

Я с юной горянкой встретился там.
«Пойдем,— ей сказал я,— одною дорогой».
Тебе не терпится попасть в Авейро,
Где булочница милая живет,
И сбросить вьючное седло с себя?
Его мы кинем в мерзкую башку
Хозяину-мошеннику, который
Берет реал за кислое вино,—
Вслед за лепешками его и домом
И крышей новенькой. И вот когда
Под каменным дождем погаснет свет,

С волынкой вместе можешь ты к калитке
Подкрасться тихо. Эй, вперед, вперед!
Довольно, косолапый, спотыкаться, —
А то на заднице твоей очки
Такие выведу, что станешь видеть,
Куда ступаешь. Сатана тебя
Пускай сквозь ад навьюченным прогонит.

(Поет.)

«Пойдем, — ей сказал я, — одною дорогой».
Коль мил тебе я хотя бы немного».

(С другой стороны появляется Васко Аффонсо, также с мулом. Они встречаются посреди сцены.)

Перо.

Аффонсо Васко? Ты никак? Откуда?

Васко.

Вверх по долине.

Перо.

Где же бубенцы
И прочее? Все там внизу оставил?

Васко.

В корчме паршивой обокрал меня
Проклятый вор.

Перо.

Мы по пути сюда
Стакан винца там пропустить успели.

Васко.

А вьюк, скажи, кому принадлежит?

Перо.

Да рыцарю, — чтоб чорт его навьючил.

Васко.

Как погляжу, великолепный тюк.

Перо.

Мула накрыл с макушки до хвоста.

Васко.

А тот справляется, как видно, с грузом.

Перо.

Эй, эй! Гляди, они уже пасутся, —
Пронюхали крапиву под песком.

Васко.

Да дай же пощипать им эту сушь, —
Пока за дрок еще не принялись.
Ты много ли получишь за провоз?

Перо.

Свидетель бог, понятья не имею.

Васко.

Заране не условился? Смотри,
Чтоб он не расплатился тумаками.

Перо.

Я полагал, что он, из благородства,
Меня как следует вознаградит.

Васко.

Из благородства? Где ж оно? При нем?
Иль ждет его на месте назначенья?
Такая сделка курам на смех, право.
Бьюсь об заклад, что нынче же себя
Ты будешь проклинать за легковерье.

Перо.

С рукой на бороде поклялся он,
Что все отдаст тотчас же до полушки.

Васко.

На бороду он руку положил
Иль, может быть, на жалкие усы?

Перо.

Лишь богу и алькальду из Саморы
Известно это. Но ведь рыцарь он.

Васко.

Да что там рыцарь? Нынче, Перо Ваз,
Средь рыцарей ты можешь встретить всяких.
Ну, как твоя жена и кумовья?

Перо.

Что ж, кумовья на месте, как всегда.

Васко.

Ну, а жена твоя?

Перо.

Жена? Тю-тю.

Васко.

Да неужель? Ты, верно, вне себя?

Перо.

Нисколько.

(Бежит за мулом.)

– Снова к пробковому дубу
Пробрался, чорт! — Мне наплевать, ей-ей.

Васко.

Признайся, что тебе не по себе,
Когда в корчмах смеются над тобой.

Перо.

А мне-то что? Ты погляди, твой мул
На холмике задумал растянуться.

Васко.

Ты огорчен, но хочешь это скрыть.

Перо.

Ни капельки. Ты знаешь, — летом бабы
Ведь беспокойней блох. Ну, и кусают.
А что до пересуд людских, то им
Лишь грош цена. Сбежавшая жена —
Не честь сбежавшая. Остался я,
Небось, все тем же, чем доселе был.
Я — Перо Ваз, Аффонсо Ваза сын,
Жоан Диаза, каменщика, внук
И Бранки Анны из под Абрантеса.
Нет, этим я нисколько не задет.
Одно мне грустно: что она, сбежав,
Была права. Ей приходилось спать
Всегда одной, — я ночевал с мулами
В степи. Ее на старость я берег,
Как теплое из шерсти одеяло,
Одно из тех, что делают в Медине.
Но эта муха улетела прочь
От дурака, ища сытнее кухни.

Васко

И что ж теперь?

Перо.

В Корначе заночую,
А завтра, знать, в Куканье. Ну, прощай.
Мне нужно тут по близости зайти
По делу, — заработаю, быть может.

(Поет.)

Красотка ответила мне, смеясь:
«Какая же спутница я для вас?»

(Уходит.)

* *
*

Если спишь, моя голубка,
То проснись и дверь открой!
Ведь пора уже в дорогу
Нам отправиться с тобой.

Не беда, коль ты разута, —
Можешь выйти босиком;
Все равно ведь через реку
Мы с тобой сейчас пойдем.

Чуть осталось до утра...
Нам чрез волны Алкевира
Переправиться пора.

ЛОПЕ ДЕ РУЭДА

Лопе де Руэда (Lope de Rueda ок. 1510—1565 гг.) — испанский драматург и актер, основоположник профессионального театра в Испании. Был золотых дел мастером в Севилье, оставил свое ремесло ради театра. Возглавлял труппу бродячих комедиантов. Писал эклоги, комедии и интермедии. В эклогах он близок к Энсине, в комедиях — Плавту, итальянской ученой комедии и новелле. Венцом его творчества являются интермедии в прозе (pasos), оказавшие большое влияние на Сервантеса, восторженно отзывавшегося о Лопе, как о «человеке замечательном по актерским и авторским дарованиям и способностям». Это небольшие забавные сценки бытового характера, в которых Лопе с сочным народным юмором изображает различные комические происшествия из жизни демократических кругов. Он искусно строит диалог, с отличным реалистическим чутьем обрисовывает фарсовые ситуации. Приводимая интермедия впервые напечатана отдельной книжкой в издании Т-о НКП, П., 1919, перепечатка — в «Хрестоматии по истории западноевропейского театра», ч. I, составленной под руководством С. С. Мокульского, ГИХЛ, М., 1937.

«ОЛИВЫ»

ИНТЕРМЕДИЯ

Действующие лица

Торувио, старик-крестьянин
Агеда де Торуэгано, его жена
Менсигела, его дочь
Алоха, сосед

Торувио. Господи, что за буря разразилась! Казалось, что небо хочет разорваться, а тучи обрушиться на землю. А теперь я бы спросил, что приготовила мне поесть сеньора моя жена? А, убей ее гнев!.. Слышите вы? Малютка Менсигела! Так все спят в Саморе... Агеда де Торуэгано! Слышите вы?

Менсигела. Иисусе, отец! Вы хотите сломать нам дверь?

Торувио. Смотри, как она говорит, как она говорит! А где ваша мать, сеньора?

Менсигела. Она у соседки, пошла помочь ей мотать нитки.

Торувио. К чорту нитки, и ее, и вас! Подите и позовите ее.

Агеда. Ну, ну, чучело, принес несчастную вязанку дров, которую никто даже не заметит.

Торувио. Так! это кажется сеньоре маленькой вязанкой? Клянусь небом, что я и ваш крестник старались поднять ее и не могли.

Агеда. Ну, это очень жаль, мой супруг. А как вы промокли!

Торувио. Я точно выкупался в супе. Женщина, ради вашей жизни, дайте мне чего-нибудь поесть.

Агеда. Какого же чорта я вам дам, когда у меня ничего нет.

Менсигела. Иисусе, отец! Как намокли эти дрова!

Торувио. Да, потом твоя мать скажет, что вязанка большая.

Агеда. Беги, малютка, свари отцу пару яиц закусить и приготовить ему сейчас же постель. Я уверена, супруг, что вы и не вспомнили о посадке того отвода оливы, что я просила вас посадить.

Торувио. Почему же я и запоздал, как не сажая его, как вы меня просили?

Агеда. Замолчите, супруг. А где вы посадили?

Торувио. Там, близ ранних смоковниц, где, если вы помните, я вас впервые поцеловал.

Менсигела. Отец, можно итти есть, все уже приготовлено.

Агеда. Супруг, знаете, что я сообразила? Что этот отвод оливы, который вы сегодня посадили, через шесть или семь лет принесет четыре или пять фанет [а] олив и, давая отростки сюда и отростки туда, через двадцать пять или тридцать лет превратится в настоящую оливковую плантацию.

Торувио. Это правда, жена, нельзя отрицать, что это прекрасно.

Агеда. Слушайте, супруг, знаете, что мне представилось? Что я буду собирать оливы, вы — привозить их на осле, а Менсигела будет продавать их на площади. И послушай, малютка, я хочу, чтобы ты у меня не продавала их меньше как по два кастильских реала за селемин.

Торувио. Как, по два кастильских реала? Разве ты не знаешь, что это преступление и инспектор мер и весов каждый день будет нас штрафовать? Вполне достаточно брать по четырнадцать или пятнадцать динеро за селемин.

Агеда. Замолчите, супруг! Вы — отпрыск одного из родов Кордовы.

Торувио. Пускай я буду отпрыском одного из родов Кордовы, — достаточно брать, как я сказал.

Агеда. Однако не морочьте мне голову! Послушай, малютка, я тебе не велю отдавать селемин дешевле чем по два кастильских реала.

Торувио. Как по два кастильских реала? Поди сюда, малютка: почем ты будешь продавать?

Менсигела. Почем вы захотите, отец.

Торувио. По четырнадцать или пятнадцать динеро.

Менсигела. Я так и сделаю, отец.

Агеда. Однако не морочьте мне голову! Послушай, малютка, почем ты будешь продавать?

Менсигела. Как вы прикажете, мать.

Агеда. По два кастильских реала.

Торувио. Как, по два кастильских реала? Я вам обещаю,

[а] *Фанета* — испанская мера — 12 селеминов — 55½ литров.

что вы получите две сотни плетей, если не сделаете так, как я приказываю. Почем будешь продавать?

Менсигела. Как вы скажете, отец.

Торувио. По четырнадцать или пятнадцать динеро.

Менсигела. Я так и сделаю, отец.

Агеда. Как, «я так и сделаю, отец»? Постой, постой... делай, что я тебе велю.

Торувио. Оставь малютку.

Менсигела. Ай, мать, ай отец, мне больно!

Алоха. В чем дело, соседи? Почему вы так обижаете малютку?

Агеда. Ах сеньор, этот человек хочет продавать за бесценок, он хочет разорить наш дом. Оливы — в орех величиной.

Торувио. Клянусь костями моих предков, они не больше зерна пинии.

Агеда. Вот такие.

Торувио. Совсем не такие.

Алоха. Позвольте, госпожа соседка, сделайте мне такое удовольствие, пойдите туда внутрь, и я все разберу.

Агеда. Разберите или пусть будет все разбито.

Алоха. Господин сосед, что за оливы? Принесите их сюда, я их куплю, хоть двадцать фанс.

Торувио. Нет, сеньор, дело обстоит не так, как вам кажется. Олив нет здесь в доме, они у нас в саду.

Алоха. Так принесите их сюда, я их куплю у вас все по справедливой цене.

Менсигела. Моя мать хочет продавать их по два реала за селемин...

Алоха. Это дорого.

Торувио. Не кажется ли вам?

Менсигела. А мой отец — по пятнадцать динеро.

Алоха. Если бы у меня был образчик их.

Торувио. Господи, сеньор! Вы не хотите меня понять. Сегодня я посадил отводок оливы, и моя жена говорит, что через шесть или семь лет он принесет четыре или пять фанс олив и что она их будет собирать, я привозить, а малютка продавать. И она всячески настаивает, чтобы просить по два реала за каждый селемин; я не хочу, она хочет, и из-за этого у нас раздор.

Алоха. О, какой любопытный раздор, я никогда не встречал такого. Оливы еще не посажены, а малютка уже пострадала из-за них!

Менсигела. Как вам кажется, сеньор?

Торувио. Не плачьте, дочка. Эта малютка, сеньор — золото! Однако идите, дочка, и приготовьте стол. Я вам обещаю безрукавку от первых проданных олив.

Алоха. Теперь идите, сосед, к себе и помиритесь со свой женой.

Торувио. Прощайте, сеньор.

Алоха. Какие, право, удивительные вещи видим мы на свете! Оливы еще не посажены, а из-за них уже ссоры. Будет справедливо, чтобы я кончил свою миссию.

ИСПАНСКАЯ И ПОРТУГАЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ XVI ВЕКА

ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА

Гарсиласо де ла Вега (1503—1536) — выдающийся испанский поэт. Родился в Толедо в дворянской семье. Был воином и дипломатом, погиб в бою. Наряду с поэтом Боскаюм (1490—1542), Гарсиласо является виднейшим представителем «итальянской школы», утвердившей победу итальянских ренессансных форм и мотивов в испанской поэзии. Его перу принадлежит 38 сонетов, написанных в духе Петрарки, 3 эклоги, ряд поэм, элегий и пр. Стихотворения его отличаются высоким мастерством, изысканностью и изяществом. Особенного мастерства достигает композиция его семи- и одиннадцатисложных стихов (метр lira, заимствованный Гарсиласо у итальянского поэта Бернардо Тассо). Сервантес очень высоко ценил Гарсиласо, во многом ставил его себе образцом и считал его крупнейшим испанским поэтом своего времени. В частности он высоко ценил его первую эклогу, отрывок из которой мы здесь и приводим:

ЭКЛОГА

Посвящается вице-королю неаполитанскому

[*Два пастуха — Салиций и Немороso — сидят в виду пасущихся стад, они ведут беседу, поют песни, жалуются на горестную судьбу. Салиций тоскует об измене прекрасной пастушки (см. приводимые строки). Немороso скорбит о смерти любимой женщины.*]

V

Как мрамор, ты тверда и неприступна
К моей мольбе и к мукам жгучей страсти.
Студенее ты льда, о Галатея!
Я гибну! Жизнь моя полна напасти!
Меня покинешь ли? Я неотступно
Терзаюсь этой мыслью, холодея.
И вот бегу людей я.
Ужели же тобою,
Покинутый судьбою,
Я поражен? Когда б я был свободен,
Бежал бы я. Тебе я не угоден

Хоть властвуешь над мной ты без раздела;
На что ж теперь я годен?
Без боли лейтесь слезы, без предела.

VI

Восходит солнце и потоки света
На горы льет, на долы, пробуждая
Всех тварей, птиц и человека. Вскоре
В кустах заводят пташки песни рая.
Долина тварей ждет. Она одета
Зеленою травой. Не зная горя,
С спокойствием во взоре
Они пасутся смело.
Людей зовет их дело, —
Работа их иль служба, иль желанье,
Меня ж гнетет всегда одно страданье;
Светло ль, иль туча небеса одела,
Мой рок — одно страданье!
Без боли лейтесь слезы, без предела.

VII

А ты, пренебрегая злой судьбиной
Салиция, нарушив все обеты,
Забыла разве, что своей рукою
Сгубила друга своего? О где ты?
Где верность? Где любовь? Она единой
И вечной мнилась мне всегда. Покою
Отдался я. Какою
Сразишь ты карой, боже,
Неверную? И что же
Ты терпишь? Суждена ль мне смерть ответом
За всю мою любовь? Награда ль в этом?
Страшны ль враги? До них мне нету дела,
Коль тягощусь я светом.
Без боли лейтесь слезы, без предела.

VIII

Из-за тебя любил я тень дубравы,
Прохладу гор и их уединенье,
Вершин далеких, гордых белоснежность,
И ветерков прохладных дуновенье.
Из-за тебя милы мне были травы,
И алость роз, и белых лилий снежность,
И дней весенних нежность.
И как все обмануло!
Как быстро промелькнуло!

То, что в груди своей ты ложь скрывала
Открыл мне грай вороний. Покрывало
Откинулось — мне скорбь в глаза глядела
И сердце надрывало.
Без боли лейтесь слезы, без предела.

IX

На отдыхе среди цветов дубравы
Я много раз смущен был тяжким бредом.
Во сне я видел, что грозило горе,
Что шел в палящий час за стадом следом
Я к Тахо, где прохладно, сочны травы,
На отдых в полдень, но увидел вскоре
С тревогою во взоре,
Что чья-то злая сила
Теченье отвратила:
Река текла дорогою иною.
Томимый летним зноем и тоскою,
С трудом я шел, куда судьба велела,
И чужд я был покою.
Без боли лейтесь слезы, без предела.

X

Ты прелестью речей кого чаруешь?
И на кого твои взирают очи?
И веришь ли кому, нарушив веру?
В объятьях чьих в тиши безмолвной ночи
Покоишься? Кому любовь даруешь?
Такой жестокости мне не найти примера.
Довольно! Есть ли мера
Для мук, а в сердце — пламень.
Я человек — не камень.
Приди, любимый плющ, хоть и к другому
Ты вязу привилась. Назад к родному
Вернись и будь любимой без раздела,
Вернись ты к дорогому!
Без боли лейтесь слезы, без предела.

XI

Так кто ж теперь, узнав твою измену,
Поверит слову друга и надежде
На прочность чувства? Все теперь возможно;
Спокойствия уж нет — не так как прежде.
Все будут ждать лихую перемену
В сердцах людей, и будет все тревожно.

Покинув так безбожно
Меня, дала примерный
Урок ты всем, и верный
То будет образец для всех созданий,
Но много принесет он им страданий, —
Не будут ни любить, ни верить смело
В тревоге ожиданий.
Без боли лейтесь слезы, без предела.

XII

Я, как всегда, и летом, и зимою
Богат обильным молоком от стада.
И сочен сыр всегда, и масло вкусно.
Напев мой слушать ты была так рада!
Петрарку не равняла ты со мною,
Дивилась ты, как я пою искусно.
Мое лицо не гнусно,
Не страшно, не забавно.
В ручье себя недавно
Увидев, я не сомневаюсь боле.
Не променял лицо б своею волей
Я с тем, кто надо мной смеется смело,
Хоть поменялся долей!
Без боли лейтесь слезы, без предела.

XIII

Так почему твоей я неприязнью
Томим теперь? Возникло как презренье?
Что между мною и тобою стало?
Когда бы не родилось подозренье,
Я не был поражен жестокой казнью,
И был бы я любим, как и бывало.
Мои стада не мало
Страдают от мороза,
Когда б зимы угроза
Не заставляла гнать их вниз, в долины,
А летний зной — на горные вершины,
То ныне сердце бедное не млело:
Мы были бы едины!
Без боли лейтесь слезы, без предела.

. . . . . .

XV

И камни, услыхав мои рыданья,
Свою смягчают твердость. Сожалея,
Деревья гнут ко мне свои вершины,

И птицы, обо мне душой болея,
Щебечут песни скорби и страданья
О неизбежности моей кончины.
Дубравы и равнины
Звучат в ответ. Усталость
Забыв, питая жалость,
Не спят и звери, хоть не видят света,
Хотя уж ночь. Безжалостная эта
Спокойна и не помнит злого дела!
Я не дождусь привета!
Без боли лейтесь слезы, без предела.

XVI

Тебя уж нет в той роще, где прохлада
Была приятна так. Брось опасенья.
Покинул я, покинут и тобою
Приют любви. Я от тебя спасенья
Уже не жду. Будь счастлива и рада
Там без меня, сраженного судьбою,
Отдайся там покою;
Деревья там ветвисты,
Лужайки так тенисты,
Любимый ключ прозрачен. На чужбину
Я унесу с собой свою кручину.
Простившись здесь и с счастьем и с тобою,
Охотно я покину
То место, где постигнут я судьбою.
. . . . . .

СОНЕТ X

О вы, любви сокровища с мечтами!
Вас бог принес не на одни ль страданья?
Вас берегут мои воспоминанья,
Я околдован вашими дарами.

Кто знал, что безотрадными ночами
Я с вами не найду очарованья,
Что в бедствий миг воздам покорно дань я
Глубокой скорби, сопряженной с вами?

За то, что вы похитили в мгновенье
Все блага, что когда-то мне вы дали,
Похитьте вместе с ними огорченье.

Иль для того вы милость оказали,
Чтоб видеть, как во власти подозренья
Я умираю, преданный печали?

СОНЕТ XI

Прекрасные русалки! Вы с отрадой
Проводите свой век среди хором,
Сверкающих на самом дне речном
Искристою, хрустальной колоннадой.

То отдаетесь ремеслу с усладой,
То ткань прядете за веретеном,
То о любви на поприще земном
Вы делитесь с подружкою — наядой.

Рукомесло оставьте, слыша зов,
И русые головки наклоните
Ко мне, когда брожу вдоль берегов!

А если слушать жалоб не хотите,
Здесь плачущий, найду ваш влажный кров,
Где страждущего скорбь вы утолите!

МОНТЕМАЙОР

Хорхе де Монтемайор (Jorge de Montemayor, ок. 1520—1562 гг.) — испанский писатель и поэт, прославившийся своим пасторальным романом «Диана» (1558/59 г.), сыгравшим значительную роль в развитии европейской пасторальной литературы XVI—XVII вв. Родился в Португалии в еврейской семье, вел жизнь, полную приключений. В качестве поэта был близок кастильской школе лириков-традиционалистов, в противовес поэтам «итальянской школы», отстаивавшим традиционные формы испанской поэзии.

Глоса (Glosa) — распространенная форма старой испанской поэзии: стихотворение, написанное на тему стихотворного отрывка, помещенного в эпиграфе (mote, motto), причем каждый стих mote вплетается в соответствующую строфу глосы.

ГЛОСА

Чьих дело рук, Хуан-пастух,
Печальный взор и лик твой впалый?
А был веселым ты, бывало.

Не удивляюсь я, Хуан,
На взор твой грустный и смущенный,
Ведь каждый искренне влюбленный
От ран сердечных обуян
Тоской безгранной и бездонной.
Тому дивлюсь я, что твой дух
Облагородили мученья;
Сама Любовь, пожалуй, вслух
Готова высказать сомненья:
«Чьих дело рук, Хуан-пастух?»

Природа спутала немного
При лепке человечьих тел:
Тебе был рыцарский удел,
Уверен я, сужден от бога,
А слеплен ты для жалких дел.
Среди влюбленных очень мало
Таких, которые на нас
Глядят всегда из-под забрала,
Нам открывая только глаз
Печальный взор и лик свой впалый.

Хоть всех влюбленных отличает
Насупленная мрачно бровь,
Ты так мрачнеешь вновь и вновь,
Что, думаю, не замечает
Твоей любви сама любовь.
В себе лелея страсти жало,
Ты так в страданье погружен,
Что никому б на ум не вспало. —
С тобой случайно встреться он,
Что был веселым ты, бывало.

КАСТИЛЬЕХО

Кристоваль де Кастильехо (Christóval de Castillejo, 1490—1556) — видный представитель старокастильской школы поэтов. Бо́льшую часть жизни провел вне Испании, умер в Вене, где он был императорским секретарем. Культивируя традиционные формы староиспанской поэзии (глосы, villancicos, canciones и др.) Кастильехо нападал на Боскана, Гарсиласо де ла Вегу, на «всех отвергающих кастильскую стихотворную форму и подражающих итальянской». Стихотворения его отличаются легкостью и живостью. Интересны его сатиры, напр. стихотворный диалог «Жизнь при дворе» (La vida de corte), а также бурлескно-юмористические стихотворения, в которых он набрасывает живые картины современных нравов. Многие его стихотворения, распространявшиеся в рукописях, за свой вольнодумный характер были запрещены инквизицией.

СОНЕТ

Латинян Пиэриды [a]! Музы Рима!
Как в Пиринеях странны ваши лики!
Иль, полевые, новые гвоздики,
Попали вы в Испанию незримо?

Пришли вы по стопам ли пилигрима
Под видом поселянок в край великий?
Прелестницы! На берег Тахо дикий
Кто вас призвал? Влекла ль вас диадима?

Вас привели дон Дьего де Мендоса
И Гарсиласо, Боскан, Луйс де Аро,
И нами ощущалась ваша нега.

Смерть отняла двоих в страде покоса
И третий пал. Но есть один, кто яро
Вас защитит: достаточно дон Дьега!

ПЕСНЯ

Очи милой!.. Вы ль маня,
Для себя приберегли
Только радости земли,
А печали — для меня?

Глядя на меня, живете,
Я ж от взгляда умираю.
Наслаждаетесь вы, — таю
В огорченьях и заботе.

---

[a] *Пиэриды* — музы.

Ясного яснее дня:
Хочет так творец земли,
Чтобы жить вы не могли,
Не убив сперва меня!

ВИЛЬЯНСИКО

Сон очей не отягчает,
Не смежит их сон.

Разгоню ли их тоску,
В миг, когда их окружат
Скорби в облике солдат,
Постоянно — на чеку!
Очи устремлю к стрелку,
Даст им битву тотчас он
И разгонит сон.

Пусть, устав от огорченья,
И уснут, их сны объемлют:
Неожиданно задремлют
И забудут все мученья,
Но тяжелые виденья
Их теснят со всех сторон,
Разгоняют сон.

Если ж очи и сомкну я,
Где ты, сон мой, беспробудный?
Так зеницы безрассудны,
Что, безумный, их дразню я
Милым обликом, тоскуя.
Сплю и вместе пробужден,
Разгоняя сон.

ГЛОСА

О КРАСАВИЦЕ, НЕСЧАСТНОЙ В ЗАМУЖЕСТВЕ

О красавица младая!
С кем сравнишься красотой?
Вижу: ты хандришь, вздыхая;
Вместе сетую с тобой.

Тяжки узы Гименея.
Ах, зачем тебя венчали?
Скрыты поводы к печали
В прелестях твоих, лилея!
Чем печалиться, страдая,
Лучше б ты была уродом.
Ты обречена невзгодам,
О, красавица младая!

Потому-то в час досуга
Страсти волю ты даешь
И наперсника зовешь
Ты в отсутствии супруга.
Ах, досадно мне порой,
Что Амур к тебе жесток.
Ты, ведь, роза; ты — цветок.
С кем сравнишься красотой?

Сладко у тебя в неволе.
Мне твоя любезна сеть
И готов я умереть,
Чтоб не мучилась ты боле.
На тебя лишь уповая,
Прихожу к тебе я кротко,
Но разгневана красотка.
Вижу, ты хандришь, вздыхая,

И клоню я долу взгляды,
И кляну судьбу свою,
Причитаю, слезы лью,
Все — из-за твоей досады.
Ты измучена хандрой,
Умираю я, влюбленный,
И, тобою сокрушенный,
Вместе сетую с тобой.

ЖИЗНЬ ПРИ ДВОРЕ

(Отрывок из «Диалога»)

Лукреций

Вы, Пруденций, правы! Да!
И намерений моих
Станет цель ясна, когда
Разъясню в словах простых:
Часто бродят
Во дворце интригу лица,
И искусно так заводят
Что из малых сих выходят
В люди знатные и, мнится,
Обретают
Счастье, жиром обрастают;
Точно индюки, надуты;
Их, надменных, почитают.
Хорошо они обуты.
Без сомненья,
Им неведомы волненья
Ни на суше, ни на море;
Их минуют приключенья,
Бедствия войны и горе.
Быть при свите
Королевской — вы поймите —
Что на свете веселее,
Что приятней и милее?
А обильные доходы?
Чтоб их славить — мало оды!
На мой взгляд,
Хоть и люди говорят:
Славы, пользы нет особой
В грабежах, в огнях палат
Приютились сладко оба
На одном и том же ложе.
К славе сердцем склонный тоже,
В дело воплощу затею.
Выгоды любя и спесь,
Где, в каких краях сумею
Наслаждаться так, как здесь?

Пруденций

Мне приятен
Ваш рассказ. Он мне понятен.
Все, однако, в божьей воле.
Ведь и солнце не без пятен.
Без забот, живите в холе,
Фаворит,
Как пословица гласит:
«У того счастливый жребий,
Кто в дворце по горло сыт,
В масле плавая и в хлебе».
И дай бог,
Чтобы случай вам помог
Стать придворным, коль хотите.
Под собой не чуя ног,
Поспешите жить при свите,
Процветайте!
Только слово вспоминайте,
Хоть творец вас направляет,
Ах, не все — так вы и знайте
Золото, что там сверкает.
Не всегда
Всем равно блестит звезда,
И фортуна — переменна:
Для счастливцев негорда,
Для несчастных же — надменна
И скупая.
Щедрой дланью отсыпая
Всем счастливцам горы злата,
Ничего не понимая,
Для других нетаровата
И скудна;
Ой, и скаредна ж она!

ЛЕОН

Луис де Леон (Luis de León, 1528—1591) — выдающийся испанский поэт и ученый. Родился в семье юриста, рано окончил Саламанский университет, профессором которого он вскоре стал, в 1561 г. получил степень доктора богословия. В 1572 г. предстал перед судом инквизиции по обвинению в ереси и переводе «Песни песней» на испанский язык. В обвинительном акте указывалось также на его еврейское происхождение. Брошенный в темницу, он провел в заключении около пяти лет. Луису де Леон принадлежит ряд трактатов на богословские темы, многочисленные переводы из античных писателей и библии (Вергилий, Гораций, Пиндар, книга Иова, псалмы и пр.). Как лирик он находился под известным влиянием Горация, оды которого он частью перевел на кастильский язык. С Горацием его роднит и стоический идеал уединенной созерцательной жизни на лоне природы; этот идеал отражен в его знаменитой оде: «Блаженная жизнь» (Qué descansada vida). Широко культивируя форму оды, он достигает в своих лучших стихотворениях подлинно классической законченности и ясности художественного выражения. Его эстетическим идеалом была величавая простота. Любимый размер поэта — старинные испанские quintilas (строфы, состоящие из пяти семисложных стихов). В своих религиозных стихотворениях Луис де Леон является, наряду с Хуаном де ла Крус и Терезой де Хесус, крупнейшим представителем мистической лирики Испании XVI—XVII вв.

БЛАЖЕННАЯ ЖИЗНЬ

Блажен, кто от забот
И грохота мирского убегая,
По той тропе идет,
Где горстка небольшая
Шагает мудрецов, скорбей не зная.

На зданья богачей
Он взор не устремляет удрученный,
Не спрашивает, чей
Дворец позолоченный,
Что яшмами украсил мавр ученый.

Не грезит он о том,
Чтобы везде его гремела слава,
Чтоб лживым языком
Толпы тысячеглавой
Хвалимым быть, хотя б и не по праву.

Нам в том велик ли прок,
Что указуют все на нас перстами,
Коль, не жалея ног,
За этой тенью сами
Должны бежать мы днями и ночами.

Река! Гора моя!
О сельский мой приют уединенный!
Как утлая ладья,
К тебе я, истомленный,
Бегу из волн пучины разъяренной.

Отрада вольных дней
И мирных сновидений мне милее
Нахмуренных бровей
Тех, что меня знатнее
Иль ровня знати, деньгами владея.

Хочу, чтобы меня
Будило пташек сладостное пенье,
А не заботы дня —
Причина пробужденья
Всех тех, чья жизнь проходит в подчиненье.

Хочу наедине
С самим собою жить, благословляя
Судьбу за то, что мне
Дано, как в кущах рая,
Дни проводить, земных страстей не зная.

Разбит моей рукой
Прелестный сад на этом горном склоне,
И каждою весной
Он, полон благовоний,
Несет плоды в своем цветущем лоне.

В мой сад с поднебных круч,
В ущелиях, среди камней синея,
Бежит прозрачный ключ,
То тише, то быстрее,
Как бы любуясь красотой своею.

И, весело сбежав,
Он меж деревьев бег свой замедляет,
Коврами свежих трав
Лужайки устилает
И пестрые цветы на них бросает.

Не ведая оков,
Душистый ветер странствует по саду,
И тихий шум дерев
Столь дивную усладу
Душе дарит, что ей богатств не надо.

Пускай свой множат клад
Те, что пускаются отважно в море;
Пусть без меня кричат
От ужаса и горя,
Когда бушует буря на просторе.

Мрак воцарился днем,
Болтаются изодранные снасти,
Свирепо воя, гром
Рвет небосвод на части,
И все богатства — в злобной моря пасти!

Мне по сердцу простой
И скромный стол; пусть тешатся другие
Посудой золотой, —
Все те, кого лихие
Угрозы не страшат морской стихии.

В то время как они,
Не зная жизни ясной и счастливой,
Свои проводят дни
В погоне за наживой, —
Я, растянувшись под тенистой ивой,
Мечтаю и пою,
Венок из лавра возложив зеленый
На голову свою,
И внемля восхищенно
Смычку, ведомому рукой ученой.

ТЮРЬМА

Здесь ложь и зависть пять лет
Держат меня в заточенье.
Но есть отрада в смиренье
Тому, кто покинул свет,
Уйдя от злого волненья.

И в этом доме убогом,
Как в поле блаженства, он
Равняется только с богом
И мыслит в покое строгом,
Не прельщая, не прельщен.

КАМОЭНС

Луис Камоэнс (Louis Camões, 1525 (?) — 1580) — великий португальский поэт. Родился в Лиссабоне или Коимбре в обедневшей дворянской семье. Получил гуманистическое образование. В 1542—1546 гг. жил в Лиссабоне, вращаясь в придворном обществе, сочиняя многочисленные стихотворения «на случай». Впав в немилость, подвергся высылке в провинцию Сантарем, позднее поступил в армию, два года сражался в Марокко. Вернувшись в 1551 г. в Лиссабон, он во время религиозного праздника ранил одного царедворца, за что был брошен в тюрьму. В 1553 г. он отправляется простым солдатом в Индию (только на этом условии его освобождают из заключения). В Индии он в течение 16 лет ведет жизнь, полную разнообразных приключений, принимает участие в военных экспедициях. В 1570 г. возвращается на родину. Величайшее создание Камоэнса — поэма в октавах «Лузиады» (Os Lusiadas»), над которой он работал на протяжении многих лет (изд. в 1572 г.). Поэма воспевает героическую экспедицию Васко да Гамы в Индию (1497—1498 гг.) и принадлежит к числу ярчайших созданий европейской литературы эпохи Возрождения. Камоэнсу принадлежат также многочисленные стихотворения, в том числе 356 сонетов, в которых поэт достигает высокого мастерства. В качестве лирика Камоэнс отдает дань увлечению Петраркой, охватившему европейскую поэзию XVI в. («петраркизм»). В его стихах звучат мотивы «мировой дисгармонии», характерные для наступающей эпохи Барокко. На русском языке «Лузиады», перевод М. Дмитриева (в «Сочинениях», М., 1865 г.) и «Лузиады», в серии «Русская классная библиотека», под редакцией Чудинова, СПБ, 1897 г. (прозаический перевод).

Камоэнс (с гравюры XVIII в.)

Из «ЛУЗИАД»

ВСТУПЛЕНИЕ

ПЕСНЬ 1-я

1

Отвагу и героев знаменитых,
От Запада прошедших по морям
До берегов, дотоле неоткрытых,
Империю основывая там,
И славою военною покрытых,
Не мыслившейся ранее умам,
Заставив удивляться их победе
Оцепененных ужасом соседей;

2

И также память славных королей,
Завоевавших христианской вере
Всю Африку и Азию до дней,
Вознаградивших доблесть и потери;
И полководцев, в грохоте мечей
Бесстрашию учивших на примере,
Стихами вдохновенно воспою,
Коль окрылит искусство песнь мою.

3

Пусть не гордятся греки и трояне
Прошедшими по множеству дорог;
Молва об Александре и Траяне [1]
Не оживит воинственных тревог;
Я воспою ваш подвиг, луситане [2],
Кому противиться Нептун не мог!
Песнь о героях древних стала тише,
Звезда другая заблестела выше!

МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ

ПЕСНЬ 5-я

8

Вдоль островов Канарских мы прошли [3],
Где жители не ведают обиды,
И открываются уже вдали
Блаженные природой Гесперид [4];
Земля, в которой чудеса цвели

И несравненные для взора виды:
Там остановку сделали в пути,
Припасы на дорогу запасти.

9

Мы к острову причалили, в котором
Сан-Яго[5] оживает, имя дав,
Всегда сиявший пред испанским взором,
Когда в бою он поникал, устав.
Но только ветр повеял над простором,
Нам медлить боле не позволил нрав,
И мы с землею сладкою расстались,
Чтобы вокруг лишь воды расстилались.

10

Часть Африки большую обогнут
Суда, сворачивавшие к востоку;
Провинция Жалофо, где живут
Лишь черные, неведомые оку;
Мандинга, чей великолепный труд
Не уступает золота потоку.
Где Гамбия струит громады вод
И до границ Атлантики течет.

ЖИЗНЬ МОРЯ

16

Рассказывать, как грозен океан,
Который нам постигнуть невозможно,
Когда, прибыв из отдаленных стран,
Гроза огни воспламенит тревожно,
Как ночью завывает ураган
И наполняет ужасом неложно,
Наверно бы подробней не сумел,
Хотя б железный голос я имел.

17

Я видел то, что моряки простые,
Наученные опытом одним,
Считают истиной в часы ночные,
Судить предоставляя остальным;
А изучивший тайны мировые,
Умом и знанием руководим,
Отказывается признать такими
И называет грезами пустыми.

18

Огонь мне вспыхивал из темноты,
Считаемый священным моряками [а],
Когда ревела буря с высоты,
Не умолкая долгими часами.

Открытие Америки (с итальянской гравюры 1493 г.)

Не меньшим страхом было для мечты
Ужаснейшее между чудесами,
Как облака, повиснув над водой,
Пьют волны моря длинною трубой [б].

19

Я видел ясно (и не допускаю,
Чтоб зренье обмануло), как вставал
Дымок, скользивший в небесах по краю,

[а] Огни св. Эльма — электрические световые явления, наблюдаемые на мачтах судов.
[б] Смерч.

И при порыве ветра вырастал:
Трубу спускал на воду, точно сваю,
Столь тонкую, что взор не отличал
Ее сперва от облака большого,
Но быстро вырасти была готова.

20

Подобной мачте делалась она
И, выросшая в длинную дорогу,
Желая волны осушить до дна,
В себя их втягивала понемногу.
Лохматым облаком окружена,
Потом раздулась, вызовя тревогу,
И становилась явно тяжелей
От выпитых чудовищных зыбей.

21

Как пьявка, замершая на животном,
Которое над мчащимся ручьем
Склонилось пить в движеньи беззаботном,
От крови впитанной растет потом,
Вбирая воду прикасаньем плотным,
Все увеличивала свой объем,
Подобная колонне непомерной,
И облако росло над ней безмерно.

22

Когда же стала сытою вполне,
Оставила волнуемую воду
И, расстилаясь вдоль по вышине,
Грозила тяжким ливнем мореходу.
Развеяв соль в воздушной глубине,
Вернула морю влажную природу.
Пускай же одаренные умом
Теперь подумают над естеством!

23

Когда бы знали мудрецы былые
Сверх тайн, представившихся в мире им,
Те чудеса стихийно грозовые,
Которыми на море был томим,
О грандиознейшем слова простые
Они бы заповедали другим:
Влиянье звезд раскрылось бы понятно
В своей загадочности необъятной.

СТОЛКНОВЕНИЕ С НЕГРАМИ

27

Мы пересекли знаки Козерога
И находились ныне между ним
И ледяною южною дорогой,
Которою безвестный мир таим.
Вдруг видим мы объятого тревогой
Туземца с изумлением немым:
Матросы наши силой завладели
Им между зеленеющих ущелий.

28

Себя не чувствовал он никогда
Настолько для него несбъяснимо:
Взор то сюда вращая, то туда,
Смотреть старался не в упор, а мимо.
Мы начали показывать тогда,
Чтоб задержать глаза неодолимо,
То серебра, то золота куски,
То пряности бросали на пески.

29

Но черный озирался безразлично,
И лишь обыкновенное стекло,
Сияющее краскою различной,
Внимание туземца привлекло.
Мы поняли по мимике отличной,
Что виденное в память залегло,
И отпустили тотчас на свободу
Вернуться в горы к своему народу.

30

На утро обнаженные пришли
Его товарищи, прося подарки:
Явились через горы издали
Себе выпрашивать бубенчик яркий.
Настолько смирными себя вели,
Что пожелал Вельозо в утлой барке
Отправиться на эти берега,
Не опасаясь увидать врага.

31

Фернан Вельозо был уверен в силе
И никакой опасности не ждал.
Но, лишь холмы собою их укрыли,

С тревогою на берег я взирал,
Когда глаза внезапно уловили
Отважного, как по горе сбегал
И к морю направлялся торопливо,
Стремясь достигнуть поскорей залива.

32

Коэльо лодку высылать спешит,
Взволнованного видя необычно,
Но эфиоп, преследуя, бежит
И уж натягивает лук привычно,
Другие видны меж скалистых плит,
К сражению готовые отлично.
Я тороплюсь к Вельозо, чтоб помочь
Ему скорее ноги уволочь.

33

Уж дротики и камни полетели,
На нас обрушившиеся дождем,
И знаком, что не все легли без цели,
Я эту ногу двигаю с трудом.
Но мы такой ответ им дать сумели,
Что не забудут никогда о том,
И не один, облившись кровью алой,
Бежал, насколько скорости хватало.

34

Когда Вельозо нами был спасен,
Отправились мы тотчас на армаду,
Увидя зло, которым заражен
Народ, казавшийся безвредным взгляду.
Узнать об Индии среди сторон,
Коварностью плативших за награду,
Конечно, ничего мы не могли
И вновь в дорогу по ветру пошли.

БУРЯ

ПЕСНЬ 6-я

70

Но между тем, как спор еще кипел,
Им кормщик, не спускавший с дали взора,
Дает свисток: едва он прозвенел,
Матросы мчатся спугнутою сворой,
И так как ветер явно посвежел,

Фок-марсы взять приказывает скоро.
«Живей, пока не дует с тех сторон,
Где стал от тучи черным небосклон!»

71

Матросы не покончили с работой,
Как темнотой оделись небеса.
Слова полны тревожною заботой:
«Живее опустите паруса!»
Но порыванья яростного Нота [а],
Покрывшие людские голоса,
На клочья парус разорвали с шумом,
Стенающе протяжным и угрюмым.

72

Под небом заволоченным звучит
Крик ужаса молящихся бесслезно,
А на корабль кренящийся летит
Огромный вал, переливаясь грозно.
«Сливайте же, — им командир кричит, —
Сливайте воду или будет поздно;
Другие пусть возьмутся за насос,
Чтоб погрузиться в воду не пришлось!»

73

Бросаются отважные солдаты
К насосу и откачивать взялись,
Но перелившейся волною сжаты
К другому борту вместе понеслись.
Три моряка, энергией объяты,
Руль поворачивая, напряглись:
Неистовостью ветра так их било,
Что слабою была людская сила.

74

Порывы ветра были так страшны,
Что погребли б средь яростного ло.а
Горой вздымающейся глубины
Огромнейшую башню Вавилона.
Пред вышиной поднявшейся волны
Корабль, на склон взлетающий со склона,
Мог показаться лодкой небольшой,
Едва держащеюся над водой.

[а] *Нот* (греч.) — южный ветер.

75

На корабле большом Пабло да Гама
Наполовину мачта сорвалась,
Исторгнутая безысходной драмой,
Везде молитва к небесам неслась.
Не мене слышалось людского гама
Над кораблем Коэльо, в этот раз
Настроенного боле осторожно
И парус снизившего бестревожно.

76

То в затемнившуюся вышину
Взлетали волны гневного Нептуна,
То сокровеннейшую глубину
Распахивали девственной и юной.
Нот,[a] Австр, Борей и Аквилон ко дну
Все уносили яростью буруна:
Ночь черною и страшною была
И полюс мертвым заревом зажгла.

О ДОБЛЕСТИ

95

Дорогою опасно величавой
Ужасных и томительных трудов
Достигнут, озаряемые славой,
Бессмертной почести во мгле годов;
Ни в упоении молвой лукавой,
Хвалящей нас деяньями отцов,
Ни на постели, где мы засыпаем,
Окутаны московским горностаем;

96

Ни новою изысканной едой,
Ни вялой и расслабленною волей,
Которая пред вставшею бедой
Являет грудь, открытую для боли,
Ни духом, опьяненным новизной
Увеселений и роскошной доли,
Который не позволит никому
Пробиться героически сквозь тьму;

[a] *Австр* (лат.) — южный ветер, *Борей* (греч.) и *Аквилон* (лат.) — северные ветры.

97

Но в отыскании рукой могучей
Наград, к которым конкистадор зван;
В неустрашимом бдении под тучей,
Быть может, затаившей ураган:
В терпении среди зимы трескучей
Меж негостеприимных южных стран,
Довольствуясь испорченною пищей
И позабыв надежное жилище;

98

И закалением лица в бою,
Чтобы оно не поддавалось бедам,
Когда ядро в неведомом краю
Внезапно разорвется над соседом;
Лишь воспитавши так мечту свою,
Летящую к действительным победам,
Заставить можно презирать почет,
Который роскошь праздно достает.
. . . . . .

СОНЕТЫ

* * *

Я прожил мало лет, и в нищете безмерной
Судьба мне выпала безвыходно итти:
Так скоро свет угас в темнеющем пути,
Что пятый люстр[6] еще не кончился наверно.

По морю странствовал и по земле неверной,
Лекарство думая в блуждании найти,
Но не сужденные на счастье набрести
Не возрождаются в опасности чрезмерной.

Меж Португалии, в зеленом Аленкэре
Родился я и рос; дыхание болот
Мне быстро молодость в отчизне отравило

И бросило меня среди ненастных вод
До берегов страны, свирепой, словно звери,
Но сердце родины любимой не забыло.

* * *

Выводишь стадо ты, о Низэ, слишком рано:
Там около горы Амур тебя искал,
С вопросом о тебе к прохожим подбегал
И все выведывал при помощи обмана.

Он громко говорил, что из его колчана
Оружье лучшее твой умысел украл,
И, потрясающий кинжалом, уверял,
Что поразит тебя неисцелимой раной.

Беги! Наверное, он ищет неспроста
И, если встретится с тобой через мгновенье,
Расправа гневная окажется проста.

Увы! Зачем тебе мое предупрежденье:
Ведь несравненная по блеску красота
Повергнет каждого противника в смущенье!

* * *

Созданье милое, в пылающую даль
Ушедшее сиять среди дороги млечной,
Как память о тебе, не истребится вечно
Горенье имени, будящее печаль.

Другая о себе внушила бы едва ль
Так много горести толпе, всегда беспечной!
Ты в состоянии растрогать бесконечно
Грудь, о которую расплющилась бы сталь.

Подобной участи завидуют тревожно,
И сердце жаждою томится навсегда,
Чтоб с мукою твоей моя равна была.

О смерть, нашедшая блаженство без труда!
Что тысячью смертей достигнуть невозможно,
Одною смертью ты осуществить могла.

* * *

Излюбленного вечера прохлада,
Зеленые тенистые каштаны,
Движение реки через поляны,
Где размышлений никаких не надо,

Далеких волн прибой, чужие страны,
В закатном воздухе холмов ограда,
Последний топот согнанного стада,
Птиц в нежной битве радостные станы,

Все, наконец, чем это мирозданье
В разнообразии нас одарило,
Когда тебя не вижу, все — напрасно,

Все без тебя — докучно и постыло,
Я без тебя встречаю ежечасно
В великой радости одно страданье.

ЭРСИЛЬЯ

Алонсо де Эрсилья и Суньига (Don Alonso de Ercilla y Zúniga, 1533—1594) — испанский эпический поэт. Родился в Мадриде. В 1554 г. вступил в испанские войска, отправлявшиеся в Америку, участвовал в подавлении восстания туземцев в Чили. Здесь в условиях лагерной жизни он начал писать свою поэму в октавах «Араукана» (L'Araucana), посвященную войне испанцев с восставшими туземцами (племя арауканцев). В 1562 г. он вернулся в Европу с 15-ю начальными песнями поэмы, в 1569 г. вышла первая часть поэмы, в 1578 — вторая, к 1590 году поэма была закончена (37 песен). Поставив себе задачу воспеть славу испанского оружия, Эрсилья в то же время с нескрываемым восхищением повествует об отваге и героизме туземцев. Внимательный наблюдатель, он описывает нравы и обычаи арауканцев, касается различных перипетий чилийской кампании. Наибольшую творческую силу Эрсилья обнаруживает в речах действующих лиц. Ораторский талант явственно превалирует у него над даром эпического повествования. Соревнуясь с Ариосто, он подчас перегружает поэму сказочно-мифологическим материалом. При всех своих недостатках поэма Эрсильи — крупнейший памятник испанской эпической поэзии эпохи Возрождения.

Из «АРАУКАНЫ»

ВСТУПЛЕНИЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Песнь I

1

Не о любви, не о галантных нравах,
Не о прекрасных дамах я пою,
Не о пирах, турнирах и забавах,
Не о влюбленных ласках. Песнь свою
Я поведу о подвигах кровавых
Воителей испанских в том краю,
Где жил дотоль народ не покоренный,
Испанскою рукой порабощенный.

2

О племени сказанье передам,
Не признававшем королевской власти,
Известном всем по воинским делам,
Победно отразившем все напасти.

В стране той улыбнулось счастье нам:
Добились мы успеха в бранном счастье.
Лишь над врагом отважным принесет
Победа славу, торжество, почет.

РАЗДОРЫ МЕЖДУ АРАУКАНСКИМИ КАЦИКАМИ[а] ПРИ ВЫБОРЕ ВЕРХОВНОГО ВОЖДЯ. РЕЧЬ СТАРОГО КАЦИКА

Песнь II

28

Ни честь, ни власть прельстить меня не в силе,
О кацики — вы это знать должны.
Но все напасти ум мой не сломили,
И многое я сделал для страны.
Хоть я давно одной ногой в могиле,
Хоть слабость и недуг во мне видны,
Я дам совет, как сохранить свободу
И этим пользу принесу народу.

29

Откуда в вас все честолюбье это?
К чему, друзья, ожесточенный спор?
Скажите, можем пред лицом мы света
Укрыть разгром, плененье и позор?
Останутся-ль обиды без ответа?
Меж всеми вами царствует раздор.
Не лучше-ль, бросив распри, укоризны,
Обрушить ярость на врагов отчизны?

30

Вожди Арауко, что случилось с вами?
Безумны вы, как будто яд вам дан.
Черед мечей настанет за словами,
Готовя гибель для родимых стран.
А час настал, вы знаете и сами,
Ударить на тиранов христиан.
Вы для своих готовите секиру,
Не для врагов, на удивленье миру.

31

Стремитесь все к одной великой цели:
Испанцев бейте, не щадите сил!
Они вас в рабство ввергли, не жалели.

[а] *Кацики* — вожди и правители Арауко. В руках шестнадцати кациков была сосредоточена верховная власть в стране.

Нет никого, кто б воли не любил.
Ярмо врага отбросьте! Неужели
Свободный край для вас уже не мил.
Теперь свои несите в жертву жизни,
Когда нужда приспела для отчизны!

32

Всегда я, Арауканцы, видел ясно,
Что ваша мощь и доблесть не мала.
Боюсь, что страстность, хоть она прекрасна,
Без удержу к беде б не привела.
Борьба меж вами всеми столь ужасна,
Что смерть зову, лишь бы не видеть зла.
От вашего пусть я умру кинжала,
Живым мне оставаться не пристало.

33

Старик я ныне дряхлый, изнуренный
Превратностью судьбы. В сраженье пасть
Желал бы я, клинком врага пронзенный
В победный день. О, да, благую часть
Тот получил, кто, в битве пораженный,
Пал юношей, не зная про напасть.
Вас наставлять мне позволяют годы.
Скажу, как добиваться вам свободы.

34

В ответе, в силе, в доблести вы сходны,
По своему рожденью вы равны,
По воле неба вы высокородны,
И каждому богатство, сан даны.
По доблести и по уму способны
Вы миром управлять, но вы должны
Понять, что ваша смелость, сила власти
Стране родной лишь принесла напасти.

35

Я верю, зная мощность вашу в брани,
Что все исправить будет вам дано,
Но высший вождь необходим нам ране,
Чтоб племена сплотились все в одно.
Таким вождем пусть будет тот, кто в длани
Тяжелое дубовое бревно
Продержит дольше. Вы равны судьбою,
Так в силе рук померьтесь меж собою.

СМЕРТЬ ОДНОГО ИЗ ВОЖДЕЙ

Песнь XIII

44

Лаутаро снял тяжелые доспехи,
Желая отдохнуть, хоть ночь одну.
Случилось так, что мог он без помехи
Забыть свои заботы и войну.
Он, задремав, проснулся без утехи
И уж опять не мог вернуться к сну.
Жена тревожно вопросила: «Милый,
Скажи, какой томим ты злою силой?»

45

«Родная», отвечал ей Арауканец,
«Я только что увидел страшный сон.
Путь преградил мне дерзкий чужестранец.
Вступил со мной в единоборство он.
Сильней меня казался мне Испанец,
И был я им повергнут, поражен,
Ничтожною моя казалась сила,
Но боль меня и ярость пробудила».

46

Гуакольда отвечала: «Я заснула,
Но в ужасе проснулась я от сна.
Мне горе снилось. Неужель минула
Былая радость? Горестей волна
Нахлынула на нас? Хоть обмануло
Нас счастье, знай, я верная жена.
Я смертью сокращу свой путь унылый,
Но жить не буду без тебя, мой милый».

. . . . . .

48

Он со слезами обнимая нежно
Прекрасный арауканки гибкий стан,
Сказал, к груди склонившись белоснежной:
«Уверен я, тобою будет дан
Пример любви, но не томись мятежно:
Быть может, сновиденье лишь обман.
Блаженства миг, нам посланный судьбою,
Не омрачай, когда я здесь с тобою.

49

Не потому, что страх меня тревожит,
Страдаю также я твоей тоской,
Но в нас любовь все опасенья множит,
И ею нарушается покой.
Коль любишь ты меня, пускай не гложет
Тебя печаль: сеньора, никакой
Враг не опасен мне. Напрасны слезы.
Верь, не боюсь я никакой угрозы.

50

Кто возвратил достоинство народу,
Когда сложил он малодушно меч,
И был готов отдать свою свободу
Не побежденный и без грозных сеч?
Я воскресил в нем вольную природу;
Я бремя рабства снял с согбенных плеч,
И ныне у друзей призыв мой бранный
Звучит в ушах родимый и желанный».
. . . . . .

52

Прильнув к его устам, в немом укоре
Руками крепко обняла она,
Моля его с отчаяньем во взоре:
«Я вся — твоя, любовью я полна.
О пожалей безвыходное горе!
Любовь твоя ужели не сильна?
Тебя я заклинаю этой силой
Властитель мой, друг нежный мой и милый.

53

Я заклинаю горестью разлуки,
Терзаньями твоими в этот час,
И ужасом моей сердечной муки,
И верностью, соединившей нас,
Чтоб ты надел броню, взял меч свой в руки,
Пошел к своим, со мною разлучась,
Берег себя, укрывшись за стеною,
Не угрожаемый опасностью иною.
. . . . . .

56

Когда судьба готовит мне лишь горе
И смерть твоя мне роком суждена,
В любви нуждаясь и в твоей опоре,
Я жизни не хочу. К чему она?

И для меня конец наступит вскоре.
Рыданьями душа моя полна.
О мой родной, теперь я б не страдала,
Коль счастием таким не обладала.
. . . . . .

Песнь XIV

13

Пытаясь разогнать ее тревоги,
Спокойствие стараясь ей вернуть,
Лаутаро был то ласковый, то строгий,
Чтоб душу облегчить ей как-нибудь.
Не находя утехи хоть убогой,
Она страдала, но не знала путь,
Как боль смирить его душевной раны.
Вдруг грянула труба и барабаны.

14

Как над своим дрожащий вечно кладом
И все отдавший, чтоб богатым стать,
Его ж утрату мнящий лютым адом,
Бросается скупец, услышав тать;
Как, не колеблясь пред горящим взглядом,
На крик ребенка прибегает мать
Спасать его от зверя, так он смело
Бежит во тьму, где схватка закипела.
. . . . . .

17

Свистящая стрела его сразила.
Она впилася прямо в левый бок
И сердце безупречное пронзила.
Такое сердце! О несчастный рок!
Пропала доблесть, красота и сила!
Печально так герой погибнуть мог!
Смерть пусть ликует! Редко ей, державной,
Торжествовать над гибелью столь славной!

ПЛЕНЕНИЕ ВОЖДЯ. РЕЧЬ ЕГО ЖЕНЫ

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Песнь XXXIII

. . . .

77

«Ты ль витязь тот отваги непомерной,
Чьи подвиги повсюду так славны,
Великий вождь, оплот отчизны верный,

Надежная защита в час войны,
Герой, кто дал обет тот беспримерный,
Испанцев победив, из всей страны
Извергнуть вон, их овладеть державой,
Облечь Арауко почестью и славой?

78

Как заблуждалась я. О горе! горе!
Вот наш защитник, покоритель стран,
Вот он в цепях, в безвыходном позоре
Мой славный муж, наш вождь Кауполикан.
Он дал обет вернуть нам волю вскоре,
Но взят врагом без боя и без ран.
О горе мне! Он не достоин мести!
Он умереть бы мог, но пал без чести!

79

К чему тогда лилася кровь рекою
И подвиги великие к чему?
И все, что куплено ценой такою
В боях упорных — тщетно? Не пойму
К чему ты этой скованной рукою
Разил врагов? Иль это все к тому
Лишь повело, что ты в презренной доле
Окованный, средь черни, в злой неволе?

80

Скажи, ужель в тебе ослабла сила?
Зачем ты смерти не приблизил срок?
Над храбрыми не властвует могила:
Себя убив, бессмертным стать ты мог!
Смотри, вот сын! Его стыдом покрыла
Отцовская трусливость. Твой порок
Ему в позор... А я благой судьбою
Считала гибель разделить с тобою!

81

Вот наш малютка сын. Он наши доли
Связал в одно. Возьми его, возьми!
Изсякла грудь моя от острой боли.
Нет молока. Ты сам его корми,
Стал женщиною ты. По доброй воле
Сдался ты в плен тиранам. Так пойми, —
Не мать уж я. Пусть остается вместе
С отцом бесчестным сын, лишенный чести!

ЭРРЕРА

Фернандо де Эррера (Fernando de Herrera, 1534–1597) — испанский лирик, прозванный современниками «Божественным» (El Divino). Получил отличное гуманистическое образование. Провел жизнь в Севилье. Примыкая к поэтической школе Боскано и Гарсиласо де ла Веги, Эррера явился создателем «высокого стиля» в испанской поэзии, враждебного всему «вульгарному» и «низменному». Опираясь на Пиндара и Вергилия, он разработал формы высокой политической оды, долженствовавшей откликаться на выдающиеся политические события современности. Прославленным образцом этого жанра является «Ода на битву при Лепанто», в которой Эррера в торжественном приподнятом стиле, в терминах библии воспевает победу христианского оружия над неверными. Эррера писал также элегии, канцоны, стансы, сестины, редондильи. Значительный художественный интерес представляют его сонеты, в которых он нередко обращается к темам античной истории. В своей любовной лирике он следует за Петраркой и его подражателями. Поэзия Эрреры оказала значительное влияние на творчество испанских поэтов конца XVI, начала XVII в. Лопе де Вега писал, что в своих поэтических произведениях всегда ставил себе образцом Эрреру.

НА ПОБЕДУ ПРИ ЛЕПАНТО [1]

Сеньора [а] мы поем за то, что он
Разбил Фракийца на морском просторе.
Ты бог войны, его сразил десницей!
Как древле, с колесницей
В пучину ввергнут был кичливый фараон [б].
Со всей громадой войск потоплен в море.
И все военачальники его
Как камень ко дну шли, — до одного.
Тем, на кого Сеньор свой гнев обрушит,
Пощады нет. Так смерч пустыню сушит.

Он слишком верил в свой могучий флот,
Что создан был тираном тем нескромным
Посредством пленников... Дрожа от муки,
Пускали в дело руки
И наши, зная: смерть их близким шлет
Любой, поверженный с усилием огромным

[а] Господа.

[б] Так Эррера называет султана; в дальнейшем он же — «тиран».

На землю знойную красавец стройный кедр,
В чью плоть вонзался их топор до жестких недр.
И наши под бичом, в великом напряженье
Тот снаряжали флот в их воды для сраженья.

Тирана все боятся, все дрожат.
Гнев нечестивца ужас на народы
Наводит. Дерзостный дошел до спора
С самим творцом! Сеньора
На бой он вызвал. По морю кружат
Его суда, спеша туда, в те воды,
Где две Гесперии [а], две западных страны,
У горизонта, тихие, видны.
Они тебе, сеньор, верны. В любви да вере
Вооруженье их, оплот их против зверя.

И нечестивец дерзостный сказал:
«Должно быть, страны те моей не знают силы!
О подвигах отцов моих едва ли
Их жители слыхали...
Пусть с венграми народ их в бой вступал, —
Родос — не то что их далматские могилы [б],
Австрийцев, — говорят, германцев победить
Им удалось? — Ну что-ж? Освободить
От них вассалов их моя десница может, —
А от неё спастись — их бог им не поможет.

Испуган будет Рим — и оробев,
Молитвословия смешает со слезами.
И римские мужи все будут перебиты
И не найдут защиты!
В раздорах Франция [в] Испания мой гнев
Познает, как войду туда с полками
Под полумесяцем, под знаменем моим;
И не помогут ей ни Франция, ни Рим;
Народы заняты своей судьбою каждый...
А если даже нет, — с любым сражусь я дважды!

Народы сильные! повиноваться мне
Заставлю вас я, под ярмо склониться!
И горькую испить придется чашу
Вам всем теперь и вашу

[а] *Гесперии* — от греческого Εσπερ (вечер) — «закатные страны» — главным образом Испания и Италия.

[б] Из-за Далмации была война между Венгрией и Италией. Родос же осаждался турками.

[в] Во Франции длилась междоусобная война католиков с гугенотами (протестантами).

Былую славу позабыть вполне!
Мужчинам храбрым с жизнью распроститься,
А женщинам в тяжелый плен попасть.
Все, что под скипт[а]ром их, мою познает власть:
Не только Нил, Евфрат, — но даже Истр холодный,
Все, что под солнцем есть, — мне отобрать угодно!»

Нет, планов господа не изменить!
Державных прав сеньора не похитить
Властителям лукавым и неверным,
Кто в хвастовстве безмерном
Грозится алтари сеньора осквернить!
Бог не допустит, чтоб зверей насытить,
Победу одержав, телами христиан
И жажду утолить их кровью мог тиран!
И с надругательством воскликнуть громко: «Где был
Их бог? Он спрятался? Он с ними не был?»

Во славу имени сеньора, чтоб народ
Твой был отмщен и чтоб утихли стоны
Умученных, чтоб отплатить за муки,
Подъяты наши руки
На оскорбителя, что казни ждет.
Готовы для войны, для славной обороны,
Отринули мы всякую боязнь.
О, трижды ждет его, четырежды ждет казнь! —
За то, что он дерзнул твое позорить имя,
Он будет умерщвлен!... Кем? — Слугами твоими!

Вот поднял голову твой ненавистник вновь
И вот, неся нам смерть, большой совет сзывает;
И на совете том довольно планов злобных,
Друг другу столь подобных,
Развито было... «Эй! плывите! — Ваша кровь
(Тот крик — про нас) пусть в море вся стекает,
В нем образуя озеро. Пуста
От вас тогда, равно ж — от имени Христа
Земля останется; добычу ж мы как надо
Поделим; ваша смерть — для наших глаз услада!»

На тот совет летят арабские вожди,
Египет дивный шлет своих князей туда же;
А Греция своих, — что и для нас нежданно!
Все задирают чванно
Кадык; у всех войска без счета позади.
И речь про нас у них у всех одна и та же.

[а] *Скипетр* или *скиптр* (исп. cetro) — символ власти монарха.

Все жаждут вторгнуться в пределы наши, все;
Мужчин — тех перебить, а дев, во всей красе, —
Прекрасных наших дев и мальчиков проворных
Лишить их чистоты, вот смысл речей зазорных!

И ринувшись на нас, в залив они вошли.
Мы ж, высадке их войск помех не создавая,
Готовились, в волнениях и страхе,
Класть головы на плахи...
Да, было так, пока сын дружеской земли
На помощь не пришел, пока рука благая
Творца из Австрии вождя не привела,
И тот не поднял нас на славные дела...
Не потерпел сеньор победы Вавилона!
Он жизни восхотел для нового Сиона!

Как ждет намеченной добычи хищный лев,
Так ждали нечестивцы нас, кому ты
Защитой был, господь. А мы — мы ждали сами
С бесстрашными сердцами
Ладони к небесам молитвенно воздев,
В круг веры и любви божественной замкнуты!
И в мышцы наши мощь ниспослана с небес —
Ты расточил на нас добро твоих чудес.
И в каждой из десниц сверкающая шпага
Решала каждый бой спасителю во благо.

Великие легли и сильные сдались, —
Так было, будто вдруг всех сил они лишились,
Твоя же пребывала мощь — живою...
Так вихорь над травою
Бессильно стелется... Все сразу подались,
Все тысячи твердынь внезапно сокрушились.
И как лесной пожар среди горящих чащ
Распространяется, и страшен и блестящ, —
Так ты преследовал пожаром гнева скорым
Врага, покрывшего лицо свое позором.

Дракона грозного ты победил! ему
Подрезал пару крыл, что в трепете взмывали,
И лапу перешиб с концом когтистым.
А он, с протяжным свистом,
С глубоким стоном он в пещеру пал, — во тьму,
Где ядовитые с ним змеи пребывали,
И там от ужаса совсем похолодел...
Так Льва он твоего боялся славных дел!
Испанский этот лев своим могучим рыком
Оставил чудище в смятении великом.

Победоносный вождь коварных сарацин
Был поражен. Удар сеньора верен!
И радость наша, что минули беды,
Что день пришел победы
Твоей — о, наших войск державный властелин,
Над дерзостью того, кто был высокомерен;
Над кедрами, что взор дивили красотой;
Над башнями всех мачт, над всей их высотой;
Над стенами; над Тирскими судами,
Что строить нам во вред мы помогали сами.

Египет колдовской, развратный Вавилон
Пальбы и римских копий убоятся,
И полог копотный, которым свет завешен,
Спадет. И безутешен
Твой, боже, будет враг. И скорбной песнью он
Оплачет замыслы и гибель святотатца.
Но ты-то, Греция? Все упованья ты
С Египтом делишь, все его мечты!
Злосчастная, ты бога отвергаешь,
Ты назначением святым пренебрегаешь!

Почто, презренная, ты дочерей своих
Способна обряжать для пакостного брака
С неверными, что топчут беспощадно
Твои плоды? И жадно
Взирая на разврат, итти путями их,
Как за хозяином идет его собака,
Все норовишь? Господь во гневе справедлив.
Тебя он обречет на смерть, позор отмстив.
Пощады нет. Вам ждать спасенья не придется,
И шпаги мстителя затылок ваш дождется!

А ты, краса морей, а ты, надменный Тир [а],
Который был так горд своим огромным флотом,
Всю землю в ужасе в былые дни держал ты,
И если угрожал ты
Войной, — то потрясал угрозою весь мир...
Чем кончил ты, гордец? Каким кровавым потом?
Чья сокрушила мощь главу твою, палач?
Бог превратил твое высокоумье в плач,
И, покарав тебя в таких смертях обильных,
Великих он твоих искоренил и сильных!

Восплачьте же вы там, ко дну на корабле
Идущие! Конец вам всем, высокомерным!

[а] *Тир* здесь и выше — Константинополь. Воспоминание о финикийских городах Тире и Сидоне, разрушенных древними римлянами.

Кто, Азия, подарит хоть одною
Слезой, — тебя, с луною
Твоей погрязшую в пороках и во зле?
Кто сострадание питает к вам, неверным?
Кто за тебя молиться будет, кто?..
Наказывает бог коварную за то,
Что ты ему обид немало наносила.
Так месть себе самой содержит злая сила!

И те, кто слышал вопль предсмертный твой,
И видел, как освободилось море
От сосен, что неслись по бурным во́лнам, —
Те, с облегченьем полным,
Так скажут про конец, про твой последний бой:
«Кто страшных устращил? — в беду поверг и горе? —
Господь, который встал за принца потому,
Что тот христианин, что верен тот ему,
Что имени его распространяя славу,
Бьет супротивников Испании по праву!»

Благословенно, бог, величие твое.
Вы, милости его, гремите в род из рода! —
За то, что грешных нас ты, покарав, прославил
И от врага избавил
Надменного, — и тот сложил свое копье
У ног — тобой для слав избра́нного — народа!
О, наш уте́шитель, наш бог. По всем краям
В честь господа да к небу фимиам
Восходит — души же упрямцев осужденных, —
В геенне огненной. Я вижу их сожженных!

РЕДОНДИЛЬЯ

Фаэтон в безумстве яром
Захотел себя прославить
И обрек он мир пожарам,
Не сумев квадригой [а] править.

Был он сброшен в наказанье
В реку и уснул в пучине
Эридана, чье названье
В памяти живет поныне.

Я, влюбленный в блеск лучистый
Моего светила, здесь я,

[а] *Квадрига* — у римлян двухколесная колесница, запряженная четырьмя лошадьми.

На моей вершине чистой,
Не теряю равновесья.

Если ж хочешь, чтобы с неба
Пал я замертво на землю,
Упаду, питомец Феба:
Я во всем Амуру внемлю.

К МАРКУ БРУТУ

СОНЕТ

Почиешь ты! Твой вечный сон спокоен,
О, слава Рима! Волю дланью правой
Ты мнил завоевать в борьбе кровавой,
Меж тем как мир свободы недостоин.

И ты погиб, о безупречный воин,
Но доказал ты доблестью и славой:
Ты не мирился с Римскою державой,
Единственный, кто предка был достоин.

И если бы ты, честолюбью чуждый,
Не обнажил свой меч окровавленный,
Достиг бы высших почестей твой гений.

Никто тебе не равен был... Что нужды!
Хотя презреньем рока облеченный,
Ты действовал из чистых побуждений.

К СЕВИЛЬЕ

СОНЕТ

Счастливая царица Океана,
Испании величие и сила!
Ты гением высоким покорила
Сердца, сияя в мареве тумана.

И как тебя не славить неустанно,
Европы луч? И разве долы Нила
И землю всю природа наградила
Так, как тебя, земли фатаморгана?

С тревогою взирает соглядатай
На мощь твою, о город изобилья!
Он слышит и молве не доверяет.

Ты копишь, град, щедротами богатый,
То что соседний город — мот теряет,
О ты, страны жемчужина, Севилья!

СОНЕТ CXXXII

Горю, от пламени не тает лед
И льдом я погасить не в силах пламень.
Льду мертвому живой враждебен пламень.
Весь пламень я живой, и мертвый лед.

На полюсе не столь холоден лед;
Не столь в небесной сфере жарок пламень.
Так я скорблю, что сердца больше пламень
Не опалит, ни заморозит лед.

Я в жизни мертв и жив в духовной смерти,
И длится бесконечно смерть и жизнь,
Затем что жизни есть росток и в смерти.

Ты, в мертвый дух вселяющая жизнь!
Зачем, живой, сражен стрелой я смерти
И мертвому зачем сулишь ты жизнь?

ИСПАНСКАЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЗА XVI В.

ТИМОНЕДА

Хуан де Тимонеда (Juan de Timoneda, ум. в 1583 г.), новеллист, драматург и собиратель фольклора. В Валенсии у него было собственное книжное дело. Как драматург он культивирует преимущественно жанр бытовой комедии, переделывает Плавта, продолжает традиции Лопе де Руэды (интермедии) и итальянской ренессансной комедиографии. Немалое значение для развития испанской культуры эпохи Возрождения имели его прозаические сборники новелл и фацетий. В книге «Десерт или утеха путника» (Sobremesa y alivio de caminantes, 1569) собрано 165 небольших рассказов и фацетий, заимствованных у Боккаччо, Поджо, Гевары и др. Книга «Притчи» (Patrañuelo, 1576) представляет собой собрание повестушек, почерпнутых из «Римских деяний», итальянских новеллистов, Ариосто и пр. В сборнике заметны отголоски испанского плутовского романа (приводимая нами «притча» о слепых, разработанная также Тимонедой в форме интермедии).

«ДЕСЕРТ, ИЛИ УТЕШЕНИЕ ПУТНИКА»

РАССКАЗ I

Один барабанщик имел жену, которая настолько противоречила его мнениям, что он никогда не мог добиться от нее, чтобы она исполнила какую-либо его просьбу. Однажды, он странствовал из одного места в другое, чтобы играть на помолвке; жена его сидела с барабаном на осле. Когда они должны были перейти через реку, он ей сказал: «Жена, пой, не трогай барабана, потому что это испугает осла». Когда они были на середине реки, она ударила в барабан, осел испугался, опустился на дно и сбросил женщину в реку; муж хотя и хотел помочь жене, но не мог ее спасти. Видя, что она утонула, он отправился искать ее вверх по течению реки. Один, стоявший там, увидевши его сказал ему: «Добрый человек, чего ты ищешь?» Он ответил: «Мою жену, так как она утонула». «Сеньор, разве ты ее должен искать против течения?» «Да, сеньор, так как моя жена всегда противоречила моим мнениям».

РАССКАЗ XVII

Один дворянин, ехавший из столицы, остановился отдохнуть в корчме. Хозяйка корчмы была вдовой и имела дочь пятнадцати лет. Так как дело было зимой, то после того, как он поужинал, все стали греться вокруг очага. Хозяйка корчмы спросила у дворянина: «Что нового при дворе, сеньор?» Дворянин, чтобы посмеяться над нею, ответил: «Нового, сеньора, то, что его величество потребовал, ввиду недостатка людей для войны, чтобы старые женщины вышли замуж за юношей, а девушки за стариков». «Ах», — сказала дочка, — «поистине, сеньор, король делает не то, что нужно, нехорош этот приказ». Хозяйка корчмы ответила, «Молчи, ты слишком маленькая, не говори так; что его величество приказывает, то хорошо, и кажется хорошим всему свету и пусть бог продлит ему жизнь».

РАССКАЗ XL

Два посла английского короля пришли с поручением к германскому императору; после того как они оказали ему должные почести, более благоразумный из них изложил свое требование так кратко и сжато, как только возможно было. Другой был столь надоедлив и словообилен, что император был в высшей степени раздражен. Его товарищ, заметив недовольство императора, толкнул его локтем, чтобы он сократил свою речь. После того как он закончил, император ответил, что он посмотрит. Тогда более благоразумный ответил ему: «Умоляю, ваше величество, уступить нашему требованию, в противном случае мой товарищ начнет опять докладывать свое поручение». Это так понравилось императору, что он ответил: «Я предпочитаю уступить, чем повиноваться».

Из «ДВЕНАДЦАТИ РАССКАЗОВ ХУАНА АРРАГОНСКОГО»,

включенных в издание «Утешения путника» Хуана де Тимонеды, в 1576 г.

РАССКАЗ I

Князь феррарский имел шута; когда однажды князь сказал, что во всей Ферраре имеется не больше пятнадцати или двадцати врачей, шут стал ему противоречить, говоря, что их имеется больше четырехсот. Князь сказал, что дело обстоит не так. Шут ему ответил, что он бьется об заклад с его светлостью на двести эскудо, что имеется больше четырехсот врачей, как он сказал. Князь, смеясь, ответил, что он согласен, и они побились об заклад. На другой день утром шут завязал себе щеку множеством платков, притворившись, что у него болят зубы; вставши у двери церкви, куда князь должен был пойти послушать обедню, он взял с собой своего сына и велел ему, чтобы он записал на бумажку имена

всех тех, которые будут ему давать советы по поводу его болезни. Когда князь пришел к обедне и встретил своего шута в повязке, то он спросил у него: «Что с тобой человек?» Шут ему ответил: «У меня так болят зубы, что я вне себя». Тогда ему князь сказал: «Для этой болезни возьми такую-то траву и сделай пластырь таким-то образом и наложи его так; и клянусь головой, что ты тотчас же выздоровеешь». После того как все это было записано, князь пошел к обедне; все, которые входили и выходили, давали шуту советы по поводу его болезни, и он записал в своем мемориале больше шестисот врачей. Затем шут, бросивши свои тряпки, пошел тотчас же во дворец и сказал князю: «Настаивает ли ваша светлость на том, что в Ферраре имеется не больше пятнадцати или двадцати врачей?» «Так, — сказал князь, — я согласен биться с тобой снова об заклад». «Так как ваша светлость продолжает настаивать на этом, то я желаю вам доказать противоположное», и вытащивши свой мемориал, он доказал ему, что сам князь был врачом, как и все те, которые давали ему советы по поводу его болезни. Князь, признавши его правоту, велел ему выдать двести эскудо, на которые он бился с ним об заклад.

РАССКАЗ VII

То было во времена короля Фердинанда; когда двор должен был въехать в Мадрид, то город потребовал, чтобы все жители занавесили коврами фасады своих домов по всем улицам, где должен был проехать король, под угрозой наказания в несколько тысяч мараведи. Веласкильо, знаменитый шут того же самого короля, жил на улице, но не имел ковров, чтобы занавесить ими фасад своей двери. Для того чтобы не подвергнуться наказанию, назначенному городом, он взял кривой нож и повесил его на окно, над дверью, острием вниз. Когда король проехал и увидел висящий нож, он очень смеялся и спросил, кто его повесил там. Ему ответили, что это сделал Веласкильо, его шут. Он приказал его позвать и спросил у него, почему он повесил свой нож. Он ему ответил: «Государь, так как у меня не было ковров, чтобы услужить вашему высочеству, то я пожелал вам услужить, повесивши мой нож в виде украшения для того, чтобы вас принять». Это так понравилось королю, что он потребовал его во дворец и предложил ему выбрать ковры, которые ему понравятся, для того чтобы при въезде короля в город он мог его принять с почетом. И так как это было сказано не глухому и не ленивому, то он тотчас же пошел во дворец и обзавелся коврами.

«ПРИТЧИ»

ПРИТЧА XII

Один слепой был столь скуп, что вследствие своей крайней скупости ходил сам по городу, не беря с собой мальчика-поводыря. Когда ему надо было есть, он ел там, где чувствовал голод,

для того чтобы сберечь расход и не есть много. Для того чтобы уединиться ночью, он снял убогий домик; и в нем, когда он возвращался ночью, он запирался, не зажигая света, как человек, которому нечего делать. Заперев двери, он вынимал из ножен короткую шпагу и, чтобы узнать, есть ли кто-нибудь в доме, наносил ею удары по углам и под кроватью, говоря: «Негодные воры, страшитесь, берегитесь, вы здесь?» Видя, что никого нет, он вынимал из сундука мешок с реалами и пересчитывал деньги для того, чтобы поиграть и порадоваться ими и проверить, не пропало ли что. Он столько раз предавался этому корыстолюбивому занятию, что об этом узнал его сосед, который проделал дырочку в стене, чтобы посмотреть оттуда, кто это мог быть, который наносит удары в доме. Когда наступила ночь, слепой, по своему глупому и привычному обычаю, продолжал наносить удары в воздухе, и тот ничего не мог видеть из-за темноты; потом стало тихо, и когда он прислушался, то услышал, как слепой считает реалы и затем запирает свой сундук. Он поэтому решил, что утром, когда слепого не будет в доме, он войдет через плоскую крышу и похитит деньги. Похитивши сколько он мог, он в следующую ночь стал подсматривать, что будет делать слепой.

После того как слепой заметил, что денег стало меньше, он стал жаловаться и проклинать свою участь, говоря: «Ах, деньги моего сердца! где вы теперь? Я вас получил молитвами, почему и называл вас благословенными. Вы не должны были допустить чтобы обо мне злословили». Произнесши эти и другие жалобы, он улегся на свою кровать. Когда он встал утром и вышел из дому, вор пошел за ним, чтобы посмотреть, не пойдет ли он жаловаться в суд. Он увидел, что тот встретил другого слепого, бывшего его кумом; когда он рассказал ему, что у него украли его деньги, тот ему ответил: «Держу пари кум, что меня не обкрадут так, как вас». Он ему сказал: «Почему?» Тот ответил: «Потому что я их ношу с собой». Когда вор услышал, что слепой сказал, что носит деньги с собой, он придвинулся к ним поближе, чтобы лучше услышать. Когда первый стал приставать ко второму, чтобы тот ему сказал, где он их носит, тот сказал. «Кум, вы должны знать, что я их ношу в подкладке моей шапки». Не успел он кончить, как вор схватил его шапку и пустился наутек. Слепой, почувствовав, что у него похитили шапку, сорвал шапку с другого слепого, говоря ему, чтобы он ему вернул шапку, которую он у него похитил. Тот ему сказал, что он врет; они вступили по поводу этого в такой спор, что стали колотить друг друга палками, вор же скрылся с деньгами обоих слепых.

Из «ЖИЗНИ ЛАСАРИЛЬО СТОРМЕСА»

«Жизнь Ласарильо с Тормеса» («La vida de Lasarillo de Tormes» 1554 г.) — один из первых образцов европейского плутовского романа. Автор книги, оказавшей такое решающее влияние на развитие европейской повествовательной литературы, неизвестен (по вопросу об авторстве существуют различные предположения). Написана книга, повидимому, в 30 х годах XVI в., опубликована в 1554 г. Об успехе романа свидетельствует тот факт, что уже в 1555 г. появляется его продолжение, явно не принадлежащее перу автора «Ласарильо». В 1559 г. севильский архиепископ, раздраженный антиклерикальными тенденциями произведения, вносит его в список запрещенных книг. А в 1573 г. по инициативе властей публикуется новое издание «Ласарильо», из которого изъяты наиболее «крамольные» эпизоды («Исправленный Ласарильо»). Тем временем «Ласарильо» переводят на ряд иностранных языков, он вызывает подражания, оказывает огромное влияние на развитие европейского плутовского романа (Алеман, Эспинель, Кеведо, Сорель, Скаррон, Гриммельсгаузен и др.).

Роман повествует о похождениях бойкого мальчугана Ласаро, который, рано потеряв отца, становится поводырем слепого, а в дальнейшем, сменив ряд хозяев и профессий и возмужав, достигает обеспеченного положения, становясь городским глашатаем. В романе дана широкая картина жизни Испании XVI в., страны обнищавшего народа, алчного духовенства, продажного чиновничества и деградирующей аристократии. С большой реалистической силой роман вскрывает язвы феодальной Испании, зло осмеивает паразитизм господствующих сословий и тепло изображает злоключения маленького Ласаро, выходца из народа.

На русском языке: «Ласарильо», переводы И. И. Гливенко, СПБ, 1897 г., и К. Н. Державина, Academia, 1931 г.

LIBROS DEL SIGLO XVII

VIDA DE

LAZARILLO

DE TORMES.

CORREGIDA, Y EMENDADA

Por H. DE LVNA Caſtellano,
Interprete de la lengua
Eſpañola.

En Zaragoça,

Por PEDRO DESTAR, a los Señales
del Fenix.

M. DC. LII.

Ласарильо с Тормеса, титульный лист издания 1652 г.

ТРАКТАТ ВТОРОЙ

КАК ЛАСАРО УСТРОИЛСЯ У ЦЕРКОВНИКА И ЧТО С НИМ СЛУЧИЛОСЬ

На другой день, не чувствуя себя там в безопасности [1], я отправился в местечко, называемое Македа, где грехи мои столкнули меня с одним попом, который, когда я подошел за милостыней, спросил, умею ли я прислуживать за обедней. Я ответил, что умею, как оно и было, ибо этот грешник слепой, хотя и дурно со мной обращался, все же научил меня тысяче полезных вещей, в том числе и этой. В конце концов церковник принял меня к себе, и я попал из огня да в полымя, ибо слепой по сравнению с ним казался прямо Александром Великим, несмотря на то, что это была сама олицетворенная скупость, как я уже рассказывал. Вся скаредность мира заключалась в этом человеке. Не знаю уж, родилась ли она с ним или он усвоил ее, надев духовное платье.

Был у него старый сундук, запертый на ключ, который он носил на ремне своего одеяния. Принося из церкви освященный хлеб, он собственноручно бросал его туда, и сундук снова запирался. Во всем доме не было ничего съестного, как это бывает в других домах, ни сала, подвешенного в трубе, ни сыра в столе или в шкафу, ни корзиночки с кусками хлеба, остающимися от еды, ибо мне казалось, что, даже не пользуясь ими, я бы утешился их созерцанием. Только и было всего, что одна связка лука под ключом в кладовке наверху. Из нее я получал одну луковицу на каждые четыре дня, и, когда просил у него ключ, чтобы итти за нею, если кто-либо присутствовал при этом, он протягивал руку к ремню, с великой осторожностью его отвязывал и давал мне со словами:

— Бери и тотчас же верни его. Ты все только лакомишься! — Как будто бы там были заперты все пряности Валенсии [2], хотя в этой кладовке, как я сказал, не было ни черта, кроме этих подвешенных на гвозде луковиц, которым он вел счет, так что, превысь я, нагрянь, полагавшийся мне паек, мне бы это дорого обошлось.

В конце концов я стал помирать с голода. А вот, будучи ко мне не очень щедрым, с собою обращался он получше: на пять бланок [a] мяса кушал он обычно за обедом и ужином. Правда, он делился со мной супом, но мяса я не видал, как своих ушей, получая лишь немного хлеба, которого, дай бог, хватало мне наполовину!

По субботам в этих краях едят бараньи головы, и он посылал меня покупать одну такую, ценой в три мараведи. Он варил ее и съедал глаза, язык, затылок, мозги и мясо на щеках, а мне оставлял на блюде одни обглоданные кости, говоря:

— Бери, ешь и ликуй! Владеешь ты целым миром и живешь получше самого папы!

---

[a] *Бланка* — старинная мелкая испанская монета, равная ½ мараведи.

«Тебе бы послал господь такую жизнь», — думал я про себя.

К концу трех недель, проведенных мною у него, я так отощал, что от голода уже не мог держаться на ногах. Я бы так и сошел в могилу, если бы господь и моя сообразительность не помогли мне. Приложить мою ловкость не было случая, ибо нечего было украсть, да если бы и было, то я не мог отвести ему глаза, как это случалось с предыдущим хозяином, да простит ему господь, если он помер от удара, ибо при хитрости своей тот был лишен бесценного чувства зрения и не видел меня. Что же касается этого, то никто не обладал столь острыми глазами, как он. Когда мы совершали проскомидию, то ни одна полушка не падала в раковину[3], чтобы он не замечал ее. Одним глазом он смотрел на народ, а другим на мои руки, и глаза его вертелись, как будто были из ртути.

Он вел счет всем подававшимся монетам и после приношения тотчас же отбирал у меня раковину и ставил ее на алтарь, так что я никак не мог стянуть у него ни одной бланки за все время, пока я у него жил, или, лучше сказать, умирал. Из харчевни я никогда не приносил ему вина ни на грош, но то немногое, что сохранялось от приношения запертым в его сундуке, соразмерял он таким образом, что хватало ему на всю неделю. А для того чтобы скрыть от меня свою жадность, он говорил мне:

— Знай, мальчик, священнослужители должны быть весьма умеренными в еде и питье, и поэтому я не распускаюсь, как другие.

Но жадина этот бесстыдно лгал, ибо на обедах братий и на поминках, где мы служили, на чужой счет, он жрал, как волк, и пил побольше любого знахаря.

Раз уж я упомянул о поминках, то пусть господь бог простит меня, ибо никогда я не был врагом рода человеческого, кроме как в те дни, а было это потому, что мы только тогда хорошо ели, и я насыщался, желая и даже прося господа, чтобы он каждый день поражал кого-либо из рабов своих.

Когда же мы причащали больных или совершали помазание и духовник мой велел всем присутствующим молиться, я, конечно, не был последним в молитве и от всего сердца и по доброй воле просил господа бога, чтобы он, как говорится, не отвергал от себя слугу своего, а убрал бы с этого света. Когда некоторые из них избегали смерти, я, прости меня господи, тысячи раз посылал их ко всем чертям, а тот, кто умирал, вызывал у меня столько же благословений. И вот за все время, пока я пробыл у попа, а именно почти шесть месяцев, скончалось только двадцать человек, и их, думается, убил я, или, лучше сказать, умерли они по моему ходатайству. Полагаю, что, видя мою злую и непрестанную смерть, господь рад был прикончить их, чтобы даровать мне жизнь.

Но все же я находил средства от претерпеваемого мною голода, ибо если в дни похорон я и жил, то в дни, когда покойника не было, привыкнув к сытости и возвращаясь к каждодневной своей голодовке, еще больше страдал от нее. Так вот ни в чем не находил я себе утешения, разве что в смерти, которую я иной раз желал

и себе и другим, но не видел ее, хотя она всегда во мне пребывала.

Много раз подумывал я бросить этого жадного хозяина, но по двум причинам оставлял эту мысль: во-первых, по недоверию к моим ногам и страху перед их слабостью, которая являлась следствием голодовки, а во-вторых, обдумывал и говорил себе: «Было у меня два хозяина. Первый морил меня голодом, и, оставив его, попал я к другому, который уже довел меня им до могилы. И вот, если расстанусь я и с этим да попаду к еще худшему, то мне остается, значит, только помереть». Поэтому и не смел я ничего предпринять, ибо был уверен, что дальнейшие ступени будут для меня еще более горшими, а если спуститься по ним вниз, то о Ласаро уже не упомянут и не услышат на белом свете.

И вот, находясь в таком удручении, от которого избави бог всякого верного христианина, не зная, как помочь себе, и видя, что дела мои идут все хуже и хуже, однажды, когда злосчастный и скаредный хозяин мой ушел из дому, увидел я у наших дверей какого-то медника, который показался мне ангелом, посланным свыше в таком обличьи. Он спросил у меня, нет ли у нас какой починки.

«Хватило бы тебе работы и немало, чтобы починить меня», заметил я про себя, так что он не слышал, а так как не было времени для шуток, по наитию духа святого я обратился к нему:

Дяденька, я потерял ключ от этого сундука и боюсь, что хозяин меня накажет. Ради вашей жизни, посмотрите, нет ли у вас с собою подходящего, а я вам заплачу.

Этот ангел в виде медника стал пробовать один за другим ключи из большой связки, которая была при нем, а я помогал ему моими слабыми молитвами, как вдруг внезапно явился мне в образе хлебов, как говорится, лик господен в сундуке, и, открыв его, сказал я меднику:

Нет у меня денег заплатить вам за ключ, но возьмите плату отсюда.

Он выбрал показавшийся ему лучшим хлеб и, отдав мне мой ключ, ушел очень довольным, но еще более довольным оставив меня.

Поламест я не притронулся ни к чему, чтобы недостача не была замечена, и, видя себя обладателем такого добра, полагал, что голод не посмеет больше напасть на меня. Пришел мой злосчастный хозяин и, угодно было богу, не заметил нехватки хлеба, что унес ангел.

На другой день, как только ушел он из дому, открываю я мой хлебный рай, беру в руки и в зубы один из хлебов и уничтожаю его скорее, чем можно успеть прочесть два «Верую», не забыв закрыть потом сундук. После этого стал я прибирать дом с великой радостью, ибо был уверен, что отныне избавлен я от моей несчастной жизни. Так я блаженствовал этот день и следующий, но блаженство это длилось недолго, ибо уже на третий день схватила меня снова моя возвратная голодная лихорадка: в недобрый час увидел я моего мучителя у сундука, перекладывавшего и пересчитывавшего

хлебы. Я прикинулся ничего не знающим, но втайне молил бога и взывал: «Святой Хуан, ослепи его!»

Он же, после того как долго вел счет по дням и по пальцам, сказал:

— Если бы этот сундук не был так надежно заперт, я бы подумал, что у меня из него похитили хлебы. Отныне только затем, чтобы избегнуть подозрений, буду вести им счет. Остается девять хлебов и один кусок.

«Девять болячек пошли тебе господь», — подумал я. При его словах показалось мне, что охотничья стрела пронзила мне сердце, и желудок мой стал разрываться от голода, ибо я понял, что снова придется мне поститься, как и раньше. Он вышел из дому, а я, чтобы утешиться, открыл сундук и начал любоваться хлебом, не смея его взять. Я пересчитал хлебы в надежде, что проклятый поп ошибся, но нашел счет его более правильным, чем мне хотелось. Самое большее, что я мог сделать, — это тысячу раз расцеловать хлебы и осторожненько взять немного от отрезанного куска, с чем провел тот день, не столь радостный, как предыдущий.

Но, так как голод рос, тем более, что за указанные два-три дня желудок мой привык уже к большему количеству хлеба, я прямо помирал лютой смертью и ничего не делал наедине, как только открывал и закрывал сундук, созерцая этот божий лик, как говорят дети. Но сам бог, который помогает сокрушенным, видя меня в таком тяжелом положении, осенил голову мою небольшой выдумкой, и я, раздумав, сказал себе: «Этот сундучище стар, ветх и разбит в нескольких местах. В нем есть кое-какие маленькие дырочки. Можно заставить попа подумать, что мыши, забираясь в него, наносят ущерб хлебу. Вытащить хлеб целиком не годится, так как тот, кто заставляет меня жить в подобных лишениях, заметит недостачу его. А так можно будет перебиться».

И я стал крошить хлеб на некоторых из бывших там не особенно драгоценных скатертях так, что от каждого из трех или четырех отковырял понемногу. Затем, подобно тому как принимают пилюли, съел все это и несколько утешился. Он же, придя обедать и открыв сундук, увидел убыток и, конечно, подумал, что его причинили мыши, потому что все было очень похоже на то, как обычно грызут они. Он осмотрел сундук со всех сторон и, заметив в нем несколько отверстий, решил, что через них мыши забирались внутрь. Он позвал меня и сказал:

— Посмотри, Ласаро, посмотри, какому нападению подвергся этой ночью наш хлеб.

Я сделал вид, что очень удивился, спросив его, что бы это могло быть.

— Что же это может быть? — ответил он: — Мыши, которые ничего не оставят в целости.

Начали мы обедать, и соизволил господь, чтобы и тут была мне удача. Он отрезал мне больше хлеба, чем ту малость, что давал обычно, отделив ножом все, что считал попорченным мышами, говоря:

— Кушай это, ибо мышь — зверь чистый.

Итак, в этот день, увеличив мой паек трудами рук моих, или, лучше сказать, моих ногтей, покончили мы с обедом, хотя я, по правде говоря, и не начинал его.

Вскоре новый удар поразил меня, когда он стал заботливо вытаскивать гвозди из стен и собирать дощечки, которыми заколотил и забил все дыры старого сундука.

«Боже мой!—думал я тогда.—Каким превратностям и несчастиям подвержены мы, и как мало длятся радости в нашей многотрудной жизни! Вот я думал при помощи этого бедного и жалкого способа подправить и пережить мою голодовку и был хоть немного доволен и счастлив. Но злая судьба моя захотела разбудить этого скупца, моего хозяина и заставила его быть еще внимательнее, чем он был по природе, хотя и такие, как он, злосчастные люди по большей части не страдают недостатком бдительности! Злая судьба, заколотив дыры в этом сундуке, закрыла двери перед моим утешением и открыла их моим страданиям».

Так плакался я в то время, как мой заботливый плотник при помощи гвоздей и дощечек окончил свою работу, говоря:

— Теперь, вероломные господа мыши, должны будете вы изменить ваши намерения, ибо туго придется вам в этом доме.

Едва он вышел, я поспешил осмотреть его работу и увидел, что в этом несчастном и старом сундуке он не оставил даже щелки, в которую мог пролезть хотя бы москит. Открыл я сундук моим теперь бесполезным ключом, без надежды попользоваться, увидел два или три начатых хлеба, которые хозяин мой принял за попорченные мышами, и взял самую малость, слегка коснувшись их, подобно ловкому фехтовальщику. Так как нужда — это великий учитель, а я ее достаточно претерпевал, то день и ночь обдумывал я средства для поддержания моей жизни, и полагаю, что в поисках этих проклятых средств голод мой освещал мне путь, ибо говорят, что выдумка вдохновляется им, а не сытостью. Так, во всяком случае, было со мною.

И вот, однажды ночью, разбуженный своими мыслями и размышляя о том, как бы овладеть и попользоваться содержимым сундука, услыхал я, что хозяин мой почивает. Это свидетельствовалось храпом и громкими вздохами, которые он всегда издавал во сне. Я осторожно поднялся, еще днем обдумав свои действия и запасшись старым ножом, направился к несчастному сундуку и с той стороны, где, как мне показалось, он был менее защищен, напал на него, пользуясь ножом своим, подобно бураву. А так как ветхий сундук, проживший уже много лет, не обладал ни силой, ни стойкостью, а наоборот, был слаб и податлив, он скоро сдался, и я провертел в боку его хорошую дырку. Сделав это, я потихоньку открыл израненный сундук, ощупью отковырял кусочек от начатого хлеба, как уже было описано, и, удовлетворившись этой малостью, снова запер хранилище и вернулся на свою солому, где растянулся и немного поспал. Плохо, однако, удавалось мне это из-за недоеда-

ния, ибо, конечно, в то время не должны были лишить меня сна даже те заботы, что тревожат французского короля.

На другой день хозяин мой, увидя как урон, нанесенный хлебу, так и дыру, что я провертел в сундуке, стал посылать мышей ко всем чертям, восклицая:

— Что тут скажешь! Никогда в этом доме не было и слыхано о мышах до сих пор.

И, конечно, говорил он правду, ибо если и мог существовать во всем королевстве дом, поистине почитаемый ими, так это только наш, ибо мыши не водятся там, где им нечего есть. Он снова стал искать гвоздей по стенам и дощечек и заколачивать дыры. С наступлением же ночи, едва он засыпал, я тотчас же вставал со своими инструментами и то, что он заколачивал в течение дня, расколачивал ночной порой. Так оно и шло, и так мы состязались, что поистине следовало сказать: едва одна дверь закрывается, как другая распахивается. Казалось прямо, что взяли мы подряд на тканье Пенелопы, ибо то, что он ткал за день, я распарывал по ночам. В короткий срок поэтому мы привели несчастное хранилище в такой вид, что если кто и захотел бы говорить о нем, так назвал бы его не сундуком, а древними латами, так много было на нем заплат и гвоздей.

Видя, что средство его не приносит пользы, хозяин сказал:

— Сундук этот так испорчен и сделан из столь ветхого и гнилого дерева, что не может противиться никакой мыши. А как бы он ни был плох, без него будет еще хуже, новый же сундук обойдется мне в три или четыре реала [а]. Лучшее средство, по-моему, раз это не приносит пользы, вооружиться на проклятых мышей изнутри.

Вскоре он занял мышеловку и, снабдив ее кусочками сыра, выпрошенного у соседей, поместил ее на время внутри сундука. Мне это послужило особым подспорьем, так как хотя я и не очень нуждался в приправе, чтобы лучше кушать, но был рад сыру, который тянул из мышеловки, не забывая также продолжать грызть хлеб.

Он, видя, что хлеб изгрызен, а сыр съеден и мышь, съедавшая его, не попадалась, злился и расспрашивал соседей, как это может случиться, что сыр вытащен из мышеловки и съеден, а мышь не осталась там, несмотря на то, что защелка упала.

Соседи решали, что это не мышь, причиняет ему столько вреда, ибо должна была она хоть раз да попасться. Один из соседей сказал ему:

— Помнится мне, что в доме вашем водилась змея, и это, наверное, она и есть. И понятно, что раз она длинна, то может взять приманку и выползти, хотя бы защелка и упала, так как она не вся влазит внутрь.

[а] *Реал* — испанская серебряная монета.

Все согласились с этим, а хозяин мой встревожился и с этого дня стал спать не столь спокойным сном, принимая за змею, грызущую его сундук, всякого червяка, что бывают слышны ночью. Он тотчас же вставал и особой палкою, что держал у своего изголовья, с тех пор как это ему сказали, изо всех сил принимался колотить по злосчастному сундуку, думая напугать змею. Этим грохотом он будил соседей и не давал спать мне. Он подходил к моему сеннику, ворошил его и меня с ним, думая, что змея заползла ко мне и спряталась в соломе или в моей одежде, так как ему сказали, что иногда эти животные ночью в поисках тепла забираются в люльки к детям и даже кусают их, подвергая большой опасности. Я обыкновенно прикидывался спящим, и на следующее утро он спрашивал меня:

— Этой ночью, мальчик, ты ничего не слыхал? Я следил за змеей и думал даже, что она заползла в твою постель, ибо они очень холодны и ищут тепла.

— Дай бог, чтобы она меня не укусила,—отвечал я,—я страшно боюсь этого.

Таким образом, пока хозяин мой столько раз поднимался и пробуждался, змея или, лучше сказать, змей уже не осмеливался ни грызть по ночам, ни подбираться к сундуку. Зато днем, когда он был в церкви или в городе, я совершал свои нападения. Видя причиняемые убытки и скудность средств против них, он бродил по ночам, как домовой. Я боялся, как бы в этом рвении он не поймал меня с ключом, что хранился под моим сенником, и решил, что самое надежное держать его ночью во рту. Рот свой еще с тех пор, как жил я у слепого, я превратил в кошель, где случалось хранить мне десять или пятнадцать мараведи, все в мелкой монете, и они не мешали мне есть. Другим же способом я не мог владеть ими, ибо проклятый слепец обязательно нашел бы их, так как постоянно обыскивал меня.

И вот, как я говорю, каждую ночь клал я ключ себе в рот и спал спокойно, не боясь, что мой колдун-хозяин нападет на него. Но когда приходит несчастье, все предосторожности тщетны. Решила моя судьба, или, лучше сказать, грехи мои, чтобы однажды ночью, когда я спал, спрятав ключ во рту, случилось, что воздух от дыхания во сне, проходя через отверстие пустого внутри ключа, производил, к моему несчастью, очень отчетливый свист. Напуганный хозяин мой, услыхав его, решил, что это свистит змея, да свист и был похож на это. Он потихоньку встал с палкой в руке, направившись на звук, очень осторожно, чтобы не услыхала змея, приблизился ко мне, полагая, что она находится в соломе у моего тела.

Тут, подняв свою дубину и решив наградить змею смертельным ударом, он изо всех сил так треснул меня, что я свалился в беспамятстве и с разбитой башкой. Сообразив, что удар достался мне, он, как рассказывал потом, наклонился и, громко окликая, пытался привести меня в чувство. Дотронувшись же до меня рукою и обнаружив причиненное мне сильное кровотечение, он поспешно пошел за светом, и, придя с ним, нашел меня стонущим, с торчавшим во

рту ключом, которого я не выронил, а держал наполовину наружу, как и тогда, когда свистел в него.

Истребитель змей, удивленный при виде ключа, рассмотрел его, вытащив из моего рта, и понял, что он оказался у меня потому, что ничем не отличался от его собственного, которым запирался сундук. Он признал это и убедился в моем преступлении. Должно быть, сказал тогда себе жестокий охотник:

«Я нашел мышь и змею, что воевали со мной и поедали мое добро».

О том, что произошло в следующие три дня, я ничего не могу сказать, ибо провел их как будто во чреве китовом, а о том, как это вообще все случилось, я узнал уже после того, как пришел в себя, от хозяина, который рассказывал все это очень подробно всем приходившим.

Через три дня я очнулся и увидел, что лежу на моем сеннике с головой в пластырях, намасленной и намазанной, и в испуге спросил, что это со мной приключилось. Жестокий поп ответил мне:

— По правде, я переловил змей и мышей, которые разоряли меня.

Увидя себя в столь жалком состоянии, я тотчас же догадался о моем несчастьи. В это время вошла одна старуха-знахарка и соседи и начали снимать у меня с головы повязки и врачевать рану. Видя, что я очнулся, они очень обрадовались и сказали:

— Ну, раз он пришел в сознание, даст бог, ничего не будет.

Тут они снова стали описывать мои несчастья и смеяться над ними, а я, грешный, стал их оплакивать. Затем они накормили меня, ибо я совсем ослаб от голода и с трудом подкрепился. Так, понемногу, через две недели я стал на ноги и был уже вне опасности, но не без голода и лишь наполовину здоровым.

На другой день после того как я поднялся, хозяин мой взял меня за руку, вывел за порог и, поставив на улице, сказал:

— Ласаро, с сегодняшнего дня ты свой, а не мой. Ищи себе хозяина и ступай с богом, ибо я не хочу иметь при себе столь ревностного слугу. Тебе только и можно быть поводырем у слепого,—и, открестившись от меня, как если бы я был одержим бесами, он вернулся в дом и запер за собою дверь.

АЛЕМАН

Матео Алеман (Mateo Aleman, 1548—1609?) — крупнейший мастер испанского плутовского романа. Сведения о его жизни весьма скудны. Он родился в Севилье, в 1565 г. получил звание баккалавра, служил в государственном казначействе, в 1594 г. подвергся преследованиям по службе, в 1607 г. уехал в Америку, остаток своих дней посвятил литературным трудам, проживая то в Мексике, то в Испании. Основное произведение Алемана — плутовской роман «Гусман де Альфараче» (Guzman de Alfarache) (первая часть — 1599, вторая часть — 1605), имевший огромный успех как в Испании, так и за ее пределами. В 1623 г. роман был переведен на английский язык, в связи с чем Бен-Джонсон написал стихотворение в честь «испанского Протея», автора «прекрасной и полезной книги». В 1732 г. появился популярный французский перевод, сделанный Лесажем, высоко ценившим талант Алемана. «Гусман де Альфараче» — яркая картина быта и нравов Испании конца XVI, начала XVII в. Продолжая литературные традиции «Ласарильо с Тормеса» Алеман повествует о похождениях хитроумного плута, попадающего в самые разнообразные положения в различных слоях общества. Герой романа — Гусман, еще мальчиком потеряв отца, убегает от матери и погружается в мир приключений. В Мадриде он служит поваренком, посыльным и пр. Присвоив себе значительную сумму денег, он бежит в Толедо, где выдает себя за аристократа, но вскоре в свою очередь падает жертвой мошенничества (см. первый из приводимых отрывков). Лишившись почти всех средств к существованию, он превращается в вора, а затем в уличного нищего (см. второй из приводимых отрывков). В Риме ему вновь улыбается счастье, он становится пажем у одного кардинала, однако, увлекшись мошенническими проделками (см. третий из приводимых отрывков), теряет свое место, разоряет себя карточной игрой и вновь влачит жалкое существование. Далее следует длинный ряд разнообразных приключений. В конце второй части романа (за которой должна была следовать третья часть, так и не появившаяся) Гусман попадает за воровство на галеры, но раскрывает заговор, за что получает помилование и свободу. Алеман вплетает в повествование многочисленные нравственные рассуждения (которые Лесаж опустил в своем переводе, как «совершенно излишние»), а также вводит в текст романа вставные новеллы.

МАТЕО АЛЕМАН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ЖИЗНЬ ГУСМАНА де АЛЬФАРАЧЕ, СВЕТОЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Ч. 1. КН. 2, ГЛ. 8.

Каким образом Гусман де Альфараче, одеваясь очень нарядно в Толедо, завязал любовные истории с некоторыми дамами. Рассказывает, что у него произошло с ними и какие шутки они с ним сыграли.

Говорят обыкновенно, что если одеть обезьяну в шелк, она все же останется обезьяной; это до такой степени непогрешимая истина, что не терпит исключений. Человек может очень хорошо одеться в нарядное платье, но благодаря этому он не изменит того зла, которое он содержит; он может развлекать и обманывать, благодаря своему платью, но он сам останется обнаженным. Я могу быстро сделаться галантным, но вскоре вновь стану грубияном; ибо тот, кто не умеет зарабатывать свой хлеб в поте лица, тот легко погибает, как ты увидишь дальше.

Первое, что я сделал утром, это было придать новый вид куртке, башмакам и шляпе; я заменил тафту воротника другой, другого цвета; пришил к куртке новые пуговицы, заменил суконные рукава новыми из хорошей тафты, и таким образом при небольших издержках я изменил костюм до неузнаваемости. Я боялся, чтобы по моим грехам или несчастной судьбе не попал в ловушку, где мне пришлось бы расплачиваться за старые и новые грехи; я опасался, чтобы люди, разыскивающие паренька [а], увидев на мне его одежду, не обвинили меня в убийстве его с целью ограбления и не потребовали у меня отчета о нем.

Таким образом я провел два дня в городе, пытаясь узнать, в каком месте находятся солдатские компании, но никто не мог мне дать определенных сведений. Так я шлялся без дела. Я выходил из гостиницы редко и поздно и не спал трех ночей сряду в одной, чтобы не быть выслеженным.

Однажды, пересекая Сокодовер [б] (я проходил по нему редко и со страхом), я увидел, как по улице едет на муле дворянин, столь нарядный, что он внушил мне зависть. Он носил штаны из темномалинового бархата, с разрезами и широкими перехватами, с подкладкой из серебряной материи; куртка была из золотой материи, колет из выделанной лосиной кожи с ярким миланским позументом в три пальца ширины; шляпа была очень нарядная, окаймленная и изукрашенная перьями, галун был из золотых камней, эмалированных чернью. В его свертке была шинель

[а] В предыдущей главе рассказывалось, как Гусман де Альфараче по дороге в Толедо встретил одного юношу, у которого он купил его костюм.

[б] *Сокодовер* — центральная площадь в Толедо.

из толстого темномалинового сукна с золотым позументом, таким же, как и на колете и штанах.

Его одежда вызвала во мне страстное желание приобрести такую же, и хотя у меня не было денег, однако, я решил удовлетворить своей страсти. «Хорошо, — сказал я себе, — если хочешь плясать, то я буду подпевать, и если ты не хочешь итти со мной охотно, то тем хуже, если я буду таскать тебя на спине; исполни же это мое желание, удовлетвори его быстро и немедленно.

Я оттуда пошел в палатку к торговцу, выложил всю наличность, позвал портного и заказал ему платье; я сказал ему, чтобы он его сделал быстро и чтобы об этом, как говорится, не было ни слуху, ни духу. Через три дня одежда была готова; не имея хорошей лосиной кожи для колета, он сделал его из темномалинового атласа, украшенного золотыми галунами, подвязка была соломенного цвета с золотыми точками. Костюм был великолепный, и все было в порядке. Он был мне к лицу, так что нечего больше желать, и действительно для юноши я выглядел прекрасно.

Увидев себя таким нарядным солдатом, я сделал несколько коротких прогулок по Толедо, будучи хорошо одет и имея вид сына знатного человека. Я тотчас-же взял себе парня, имевшего более приличный вид; он стал у меня пажем, который должен был меня сопровождать. Увидевши себя столь важным и хорошо одетым, мне показалось, что мой отец еще жив и что вернулись времена его благополучия. Я был так доволен, что желал бы не раздеваться по ночам и расхаживать целый день по улицам для того, чтобы все видели меня, даже и те, которые не знают меня.

Наступило воскресенье. Желая выставить себя напоказ, я пошел со всей своей пышностью в большую церковь, чтобы послушать мессу, хотя я подозреваю, что меня больше влекло желание привлечь всеобщее внимание. Я прошел ее всю три или четыре раза, посетил часовни, где собиралось много народу, пока я наконец не пришел к месту между двумя хорами, где находилось много дам и кавалеров. Я воображал себе, что я являюсь королем празднества и старался выставить свой костюм со всех сторон, желая, чтобы все видели мою одежду, вплоть до лент, которые были из Германии. Я вытягивал шею, выпячивал живот, выставлял ноги; я в такой степени обнаруживал свое тщеславие, что все заметили мои гримасы и жесты и смеялись над моей глупостью. Но я ничего не замечал, не видел, как другие смеялись надо мной, наоборот, я думал, что их восхищало мое изящество и что я им казался достопримечательностью.

Относительно мужчин мне нечего больше сказать. Но с дамами у меня вышел приятный казус, конечно, вполне достойный такого глупца, как я. Дело в том, что из двух дам, стоявших там, одна, бывшая уроженкой города и в высшей степени красивой, загляделась на меня или, говоря правильнее, на мои деньги, думая, что, будучи столь хорошо одет, я обладаю ими. Но я не замечал ее

по причине того, что был пленен другою, которая стояла с другой стороны. Я делал ей знаки, а она лукаво смеялась мне.

Мне казалось, что этого уже достаточно и что дело налаживается; я упорствовал в своем неведении, а она в своей хитрости. Когда мы вышли из церкви, она направилась к своему дому, а я пошел следом за нею, говоря ей по дороге разные глупости; она же как будто была из камня, ничего не отвечала и не обнаруживала никакого чувства, однако, время от времени поворачивала голову, показывая мне лицо, которое живо воспламеняло меня. Таким образом мы дошли до улицы, близкой к улице св. Киприана, где она жила; при входе в ее дом мне показалось, что она мне сделала реверанс и вежливый поклон головой, причем глаза ее смеялись, а лицо было оживленное.

Так я ее оставил и направился к своей гостинице. Пройдя несколько шагов, я заметил на углу улицы девушку, следовавшую за мной; она была покрыта плащом, так что видны были только глаза, и кивала мне двумя пальцами руки и головой. Я спросил у нее, что ей нужно; она держала ко мне длинную речь, говоря, что она служанка некоторой очень знатной замужней сеньоры, которую я должен отблагодарить за любовь, которую она ко мне питает, как вследствие этой любви, так и вследствие ее достоинств и знатных родственников; я бы доставил ей удовольствие, если бы сказал, где я живу, так как ей нужно переговорить со мной по некоторому делу.

Я был вне себя от радости; я не поменялся бы своей участью с Александром Великим, так как мне казалось, что все дамы тоскуют по мне. Таким образом, я ей ответил с важностью, благодарил за предложенную милость, говоря, что с великой охотой готов служить. Разговаривая так, мы понемногу приблизились к моей гостинице. После того как она узнала, где я живу, мы попрощались. Я пошел к себе, чтобы пообедать, так как уже была пора.

Так как я не знал, кто эта сеньора и никогда не видел ее, то я не столько мучился ожиданием, сколько страстным желанием увидеть ее; время для меня тянулось медленно. Наконец, я пошел на улицу, где она жила. Я прошелся несколько раз по ней, возвращаясь туда и обратно, подобно кляче у водокачки; уже очень поздно мне удалось тайком поговорить с нею у окошка. Мы обменялись несколькими словами, и, наконец, она мне сказала, чтобы я пришел этой ночью поужинать с нею. Я послал своего слугу купить мне каплуна в молоке, двух куропаток, паштет из кролика, вина св. Мартина, лучшего хлеба, который он найдет, фруктов и сластей для десерта и велел ему все это снести туда.

Когда наступила ночь и я явился в условный час, она меня приняла очень хорошо. Так как уже была пора ужинать, то я просил ее, чтобы она велела приготовить еду; но она все откладывала, расспрашивая меня о разных новостях и развлечениях. Она меня запутала в лабиринт, говоря мне, что она девушка знатного рода и что она имеет распутного брата, обладающего дурным характером, который входит в дом только для того, чтобы обедать и ужи-

нать, так как все остальное время дня и ночи он занят тем, что играет и гуляет.

В то время как мы вели беседу, вдруг в дверь стали громко стучать. «Ах, боже мой, — сказала она, — я пропала!» Она очень беспокоилась и изобразила мнимое волнение так хорошо, что обманула бы и другого, более ловкого, чем я; хотя, будучи хозяйкой, она должна была знать все входы и выходы, тем не менее она себя показала смущенной до такой степени, что как будто не знала, что делать. Найдя вдруг выход, она заставила меня войти в бочку без воды, на дне которой, однако, было немного грязи. Бочка находилась при входе во внутренний двор.

После того как я сделал то, что от меня потребовали, она прикрыла ее затычкой и вернулась в свою гостиную. Вошел брат, который, заметив чад, сказал: «Сестрица, что это у вас в доме такой дым и чад, что прямо удирать надо! Как можно ужинать при таком чаде?» Он вошел на кухню и когда увидел все, что там готовилось, то он вышел оттуда, говоря: «Что это за новости? Кто из нас венчается в эту ночь? Откуда все это в доме? Что это за пышный пир и кто приглашен на него? Вот как я могу быть уверен в вас! Вот какова та честь, которую я защищаю и о которой заботятся ваши родители и несчастный брат! Я должен узнать правду или все кончится плохо этой ночью».

Она привела, не знаю какие, оговорки, которых я не мог ни понять, ни услышать от страха и от того, что я был прикрыт. Я слышал только голоса. Брат, сделавши вид, что он раздражен, потребовал от нее, чтобы она села к столу. После того как они поужинали, он со своей стороны спустился со свечой, осмотрел дом и закрыл дверь на улицу щеколдой. После этого они вошли оба в комнату и остались там; я же оставался в бочке.

Я ко всему прислушивался очень внимательно и с трепетом, так что я не пропустил ни одной, известной мне, молитвы, прося бога ослепить брата, чтобы он не заметил, где я нахожусь. Когда я увидел, что очутился вне опасности, то вынул затычку и высунул понемногу голову, всматриваясь, не пришла ли сеньора, не кашлянет ли она или плюнет. Когда двигалась кошка или какой-либо другой предмет, то мне все мерещилось, что это она; но увидя, что стало поздно и что в доме все спокойно, я вышел из чрева моей бочки, как другой Иона из чрева кита, не чище...

К счастью, я сохранил свою новую одежду для дневного употребления, пользуясь ночью старою, купленною мною раньше, так что мне не пришлось о ней беспокоиться. Я ходил по дому туда и обратно, доходил до комнаты, начинал царапать в дверь, стучать пальцем по полу, чтобы она меня услышала: но она была глуха и ничего не слышала. А между тем, прошла ночь и начало светать; когда я увидел, что наступило утро, то полный гнева, печальный, отчаявшийся и охлажденный, я открыл дверь на улицу и вышел. Я был вне себя, изрыгал проклятия и обходил все переулки с твердым намерением никогда больше не пересекать их.

Думая о своих несчастиях, я достиг площади. Около нее была открыта паштетная. Я вошел туда и наелся пирожков, чтобы притти в лучшее настроение; благодаря им я протолкнул в желудок гнев, который душил мне горло. Недалеко оттуда была моя гостиница; я постучал к себе, мне открыл мой слуга, ожидавший меня; он раздел меня и уложил в кровать.

Будучи раздражен, я не мог успокоиться и заснуть: то я обвинял себя самого, то даму, то мою злую участь. В это время, уже при полном свете, вдруг стали стучать в мою комнату: то была служанка, которая следовала за мной накануне, вместе со своей хозяйкой. Хозяйка села на стул у моего изголовья, служанка же на пол около двери.

Сеньора спросила у меня подробный отчет о моей жизни, кто я такой, куда направляюсь и сколько времени думаю пробыть в этом городе. Все, что я ей говорил, было ложью, я не сказал ей ни слова правды. Но думая обмануть ее, я сам попался в ловушку; отвечая, я не рассчитал того, что для меня было особенно важно: я должен был сказать ей, что предполагаю пробыть здесь несколько месяцев, а сказал ей, что живу здесь проездом. Тогда ей не надо было бы добиваться любви наспех. Теперь же, она, не желая терять игры, решила приступить к делу сразу и начала протягивать свои сети, чтобы пленить меня. Таким образом, в то время как я был беспечен, она начала обхаживать меня весьма тщательно. Она стала показывать мне свои наряды, которые были хороши, золотую отделку платья и другие вещи, которые она носила под юбкой из цельного итальянского шелка. Затем она вынула несколько кораллов из кармана, стала играть ими, а через некоторое время сделала вид, как будто у нее нехватает футляра для них.

Она была очень огорчена, говоря, что он ей подарен мужем. После этого она встала, как будто ей нужно было тотчас вернуться домой, чтобы поискать, не находится ли там пропавшая вещь; и хотя я ей обещал дать взамен другую, сказал ей много приятных вещей и делал всякие предложения, я все же не мог добиться того, чтобы она успокоилась. Она ушла, давши мне слово посетить меня в другой раз и прислать ко мне свою служанку после того как она придет домой, чтобы сообщить мне, не найдена ли драгоценность. Я остался весьма опечален, что дело приняло такой оборот, так как она была, как я уже говорил, в высшей степени красива, щедра и остроумна. Мне захотелось спать, но я не мог спать больше двух часов.

Так как я был озабочен, то я встал, чтобы начать хлопотать. Пока я одевался, наступил час обеда. Во время обеда ко мне пришла ее служанка, которая, будучи весьма ловкой, развлекала меня во время еды. Она мне сказала, что вернулась для того, чтобы узнать, не упала ли случайно вещица в то время, как ее госпожа играла с четками; мы все ее искали, но она не появлялась, так как она не исчезала. Она настойчиво уверяла меня, что не столько важна ценность вещи, сколько то лицо, которому она принадле-

жала; она мне описала величину и размеры ее, ласковыми речами убеждая меня купить другую на мои деньги. Она мне обещала, что на рассвете следующего дня ее госпожа будет со мной.

Я пошел с нею затем к ювелиру и купил ей очень изящный золотой футляр, который выбрала служанка и который охотно взяла бы и госпожа; у кого из них он остался, я так и не узнал ни от госпожи, ни от служанки.

А между тем, наступило три часа после полудня. Я был в большом нетерпении, и хлеб в моем теле не варился, так я желал знать обстоятельства прошлой ночи и не послужил ли я предметом насмешек: забывши об обиде, нанесенной мне, я отправился на свидание. Меня ждала госпожа; у нее было печальное лицо; она поманила меня рукой, положивши палец на рот и повернув назад голову, как бы боясь кого-то. Когда мы дошли до ее двери, она мне сказала, что пойдет впереди меня к большой церкви. Я послушался ее, она накинула свой плащ, и мы оба дошли почти в одно время; она прошла между двумя хорами и вышла на улицу Чапинерии, мигнув мне глазом, чтобы я следовал за нею. Я пошел вслед за нею, она вошла в палатку торговца на Альканье [a], и я за нею; там она удовлетворила мое любопытство, уверяя тысячью клятв, что она ни в чем не виновата и что прошлое было не в ее власти. Она надула мне голову ветром, я поверил ее хорошо составленной лжи; она обещала мне, что этой ночью она все исправит и что, если ей даже будет угрожать потеря жизни, она будет рисковать ею для того, чтобы угодить мне. Она покорила меня настолько, что я был в ее руках, как воск.

Она купила несколько вещей, сумма которых достигла ста пятидесяти реалов. В то время когда надо было расплачиваться, она сказала торговцу: «Сколько мне надо платить за этот долг каждую неделю?» Он ей ответил: «Сеньора, я вам не могу дать на эту сумму в кредит; если ваша милость имеет деньги, пусть она возьмет то, что она купила, если же нет, то извините». Я ему сказал: «Сеньор, эта сеньора шутит, так как имеет деньги, чтобы уплатить; у меня ее кошелек, я ее эконом». Я вынул из кармана несколько эскудо, чтобы похвастать ими. Таким образом я избавился от стыда, а моя дама от долга.

В тот момент мне казалось, что я совершил большую хитрость, уплативши наперед и не оставшись высмеянным, как это случается с некоторыми. Я не жалел о сделанном, так как мне казалось, что своим поведением я ее обязывал, и я бы не променял своих двух заслуг перед двумя дамами в этот день за Мексику и Перу. Я ее спросил, верно ли ее обещание и к которому часу мне притти. Она меня уверяла, что без всякого сомнения, в десять часов ночи.

Она ушла в свой дом, а я начал проводить свой день: мне казалось, что я держу оба копья в руке. В назначенный час я оделся в свое платье и стал опять крутиться, как лошадь вокруг

[a] *Альканья* — улица или квартал, где находятся лавки.

водокачки. Я делал условленный знак, состоявший в том, чтобы дать несколько ударов камнем под ее окошком, но это было все равно, что кидать камни в колодезь Алькантары. Мне казалось, что, может быть, еще не наступил час или что она не могла ничего сделать; я подождал еще немного и таким образом я оставался до двенадцати часов ночи, делая время от времени условленные знаки; но говори с Сан-Хуаном из Королей, который из камня! [6]

Мое ожидание было тщетно, все это было издевкой, так как тот, кого она выдавала за своего брата, был ее кавалером; они жили, благодаря этим плутовским проделкам, действуя в полном согласии между собой. Они были из Кордовы и умели хорошо обхаживать людей. Между новыми дроздами, которых они поймали в свои силки, был молодой писарь, недавно женатый, который, будучи завлечен сеньорой, дал ей несколько драгоценностей. Как и меня, она его долго водила за нос, заставляя его надеяться, привлекая его и отталкивая. Но когда он узнал, что все это обман, он решил отомстить.

Когда этой ночью я стоял, усталый от ожидания, и когда я уже решил уходить, я вдруг увидел, что идет большая толпа народа, которая прошла мимо меня; мне показалось, что это полиция. Я услышал, как они стали стучать в ту же дверь. Я повернулся и приблизился к ним, чтобы узнать, чего хочет это множество народу; полицейский агент назвал себя и потребовал, чтобы открыли дверь. Когда они вошли, я прислонился к двери, чтобы лучше увидеть то, что там происходит: альгвасил осмотрел все жилище и не нашел того, что искал. Я уже хотел им сказать: «осмотрите бочки» и броситься потом на утек. Но клянусь, писец хорошо знал, были ли они осмолены, потому что он начал осматривать их весьма тщательно. Так как такие дела не могут быть сделаны настолько скрытно, чтобы ничего не было замечено, то нашелся один, увидевший на полу накладную манжету, которая осталась там в то время, как прятали платье брата. Полицейский агент сказал: «И эта манжета имеет хозяина». Дама хотела ее скрыть. Но они стали после этого осматривать помещение еще более тщательно; и альгвасилу показалось, что в большом сундуке, стоявшем там, может поместиться человек. Он заставил открыть сундук и там нашли кавалера. Их обоих одели и вместе повели в тюрьму.

Я остался столь же удовлетворенным, сколь и рассерженным: удовлетворен я был тем, что меня не нашли там, рассержен же я был тем, что был так обманут ими.

Ч. 1, кн. 3, гл. 2. Каким образом Гусман де Альфараче, отправившись из Генуи, начал нищенствовать и, соединившись с другими бедняками, выучил статуты и законы нищих.

---

6 Подразумевается статуя Сан-Хуана.

Я отправился из Генуи в таком состоянии [а], что если бы жена Лота поступила подобно мне, то не превратилась бы в камень. Я не повернул назад головы ни на мгновение [б]. Когда человек бывает рассержен до такой степени, то не чувствует даже смертельных ран; но когда он успокаивается, он начинает понимать свое состояние. Я ускользнул из Ронсеваля, подобно собаке с волдырями [в]. Не было ни одного цельного места во всем моем человеческом механизме. Но я ничего не чувствовал, пока не отдохнул, достигши местечка в десяти милях оттуда; я пошел туда, не зная, куда иду, расстроенный, обнаженный, без гроша и избитый. О, нужда! Какими трусливыми ты делаешь души, как расслабляешь ты тела, и все же верно то, что ты изощряешь ум и разрушаешь силы, уменьшая чувствительность до такой степени, что люди погибают терпеливо!

Справедливость требует, чтобы каждый получал свое. Я признаю, что в Италии очень распространена благотворительность, до такой степени, что у меня не было никакого желания бросить мою новую должность. В течение немногих дней, я стал зажиточным, так что весь путь от Генуи, откуда я вышел, до Рима, куда я прибыл, я проделал, не истратив ни гроша. Я сохранил все деньги, пища была постоянно в изобилии. Я был еще новичком и часто выбрасывал собакам то, за что получил бы потом много денег, если бы продал это. Я хотел сначала переодеться, но мне это показалось плохим советом, и я сказал себе: «Братец Гусман, не будет ли с тобой опять того же, что было в Толедо? Если, будучи одетым, ты не найдешь хозяина, то как же ты будешь кушать? Оставайся спокойным; если ты будешь хорошо одет, то тебе не дадут милостыни; береги то, что ты имеешь, не будь тщеславным». Я согласился; я сделал второй узел на моем мешке с монетами, говоря: «Теперь вы можете лежать спокойно, так как я не знаю, когда буду опять нуждаться в вас».

На мне были старые тряпки, не годные даже для оберточной бумаги [г], лохмотья на мне висели клочьями. В таком виде я начал просить милостыню, посещая в полдень те места, где давали милостыню, иногда же получая ее со всех сторон света. Я посещал дома кардиналов, послов, князей, епископов и других вельмож. Не было ни одного дома, куда бы я не бегал; мною руководил другой ловкий паренек, у которого я начал брать уроки. Он меня научил, согласно каким принципам я должен просить милостыню у одних и у других, так как нельзя ко всем обращаться одинако-

[а] В предыдущей главе рассказывалось о том, как героя романа в Хенове подбрасывали на одеялах.

[б] Согласно библейскому сказанию, ангелы, спасавшие Лота и его семью при гибели Содома и Гоморры, запретили им оглядываться назад во время бегства. Жена Лота преступила это запрещение, почему была обращена в соляной столб.

[в] Во время карнавала к хвосту собаки привязывали палку.

[г] Писчую бумагу делают, между прочим, из тряпок.

вым тоном или с одинаковой речью. Мужчины не любят жалоб, а предпочитают простое обращение «ради бога». Женщины же преданы деве Марии, нашей владычице: они любят, чтобы к ним обращались следующим образом: «Пусть бог вас наставит к своей святой службе и освободит вас от смертного греха, от ложного свидетельства, от власти изменников и злых языков». Это, будучи выразительно произнесено и горячо повторено, легко вырывает у них деньги. Он меня научил, как разжалобить богатых, досаждать общинам и принуждать благочестивых. Я приобрел такую ловкость, что в короткое время научился доставать много еды.

Я узнал всех — от папы, до того, кто был без плаща; бегал по всем улицам и, чтобы не докучать людям, прося у них часто, разделил город на кварталы, а церкви по праздникам, ничего не пропуская. Чаще всего я получал куски хлеба; я их продавал и получал за них хорошие деньги; часть хлеба я продавал бедным, которые не занимались нищенством, потому что стеснялись, но которым благотворители давали деньги тайно; я продавал его также рабочим и лицам, разводившим и откармливавшим кур. Но лучше всего мне платили пекари, продавцы миндальных печений. Получал я также некоторые старые украшения от лиц, в которых я возбуждал жалость своей молодостью и оборванным видом. После этого я ходил в сопровождении других, старших по факультету, которые были искусны в деле и умели управлять; я вместе с ними получал милостыню, которую некоторые по своему благочестию распределяли по утрам в особых домах.

Идя раз получать милостыню в доме французского посла, я услышал, как за моей спиной один из бедняков говорил: «Этот испанский мальчик, который сейчас просит милостыню, новичок в этом деле; он знает мало и портит нам, потому что я видел, как, покушавши раз, он отказывался во многих местах от пищи, которую ему предлагали; он вредит нашей профессии, показывая образец того, что мы, бедняки, живем в изобилии; он нам причиняет ущерб, не принося пользы себе самому». Другой из бедняков, который был там, сказал им: «Оставьте его и молчите, я его научу всему, что нужно, и он не так скоро забудет мои уроки».

Он позвал меня тотчас и уединился со мной. Он был чрезвычайно ловок во всем. Первым делом он, как бы будучи главарем бедняков, расспросил меня о моей жизни, узнал, откуда я пришел, как зовут, когда я пришел и куда направляюсь. Он рассказал мне об обязанностях бедных, которые должны соблюдать приличия, давать советы и помогать друг другу, как будто бы они были братьями. Он сообщил мне любопытные секреты и ухищрения, которых я раньше не знал; потому что, действительно, то, что я узнал от первого юноши и от других, менее значительных бедняков, было сущим пустяком по сравнению с теми величественными вещами, которые он мне открыл. Он мне давал некоторые советы, которых я не забуду, пока буду жив; между прочим, он меня научил, каким образом можно проглотить три или четыре порции

без всякого ущерба для желудка. Он научил меня изрыгать съеденное, что давало двойной эффект; во-первых, я возбуждал жалость, так как окружающие думали, что я болен, а во-вторых, если бы даже я проглотил два горшка бульону, то все еще оставалось достаточно места для других. Таким образом, я способствовал тому, что распространялось мнение о голодном и несчастном состоянии бедняков.

Я узнал, сколько укусов я должен был сделать в хлеб, который мне давали, как я должен был его беречь и хранить, какие жесты я должен был делать, какой тон придавать голосу, в какие часы я должен был приходить к определенному месту, в какие дома я мог заходить вплоть до кроватей и каких я должен был избегать, минуя даже двери, кому я мог докучать и у кого я должен был просить только один раз. Он написал мне устав нищих, которым я должен был пользоваться для того, чтобы избегнуть скандала и стать образованным.

УСТАВ НИЩИХ

Ввиду того, что все нации имеют свои методы просить милостыню и они могут быть узнаны по этим различиям, — так, немцы поют толпой, французы молятся, фламандцы кланяются, цыганы пристают, португальцы плачут, тосканцы говорят речи, а кастильцы обращаются с угрозами, почему они и нелюбимы, и вступают в пререкания, вследствие чего делаются невыносимыми, — то мы повелеваем, чтобы они сдерживались, не богохульствовали и соблюдали порядок.

Точно так же: мы повелеваем, чтобы ни один нищий, изъязвленный и искалеченный, какой-либо из этих наций не соединялся с нищими другой нации и ни один из них не заключал союза или договора со слепыми богомольцами, праздношатающимися продавцами снадобий, музыкантами, поэтами, освобожденными пленными, хотя бы богородица освободила их из-под власти турок, со старыми солдатами, которые выходят инвалидами из крепости, с моряками, которые потерпели кораблекрушение. Ибо хотя все просят милостыню, но способ просить милостыню и красноречие у них разные. И мы повелеваем, чтобы каждый из них соблюдал свой устав.

Точно так же: чтобы бедные каждой нации, в особенности на своей земле, имели определенные таверны и харчевни, где председательствуют обычно трое или четверо старшин с посохами в руках; мы их командируем для того, чтобы они там обсуждали те дела и случаи, которые там совершаются, высказывали свои мнения и играли в карты, могли рассказывать чужие подвиги, свои и своих предшественников, о войнах, в которых они не участвовали, для того, чтобы они могли таким образом развлекать других.

Чтобы каждый нищий имел в руках дубину или палку, по возможности окованные железом, для событий и случаев, которые

могут представиться; в противном случае он может потерпеть ущерб.

Чтобы никто не носил новой или целой вещи, без заплат и починок, ввиду плохого примера, который он может подать этим, за исключением того случая, когда он получит эту вещь в виде милостыни; мы даем ему разрешение пользоваться ею только в течение того дня, когда он получил ее, после чего он должен уничтожить ее.

Что в общественных местах и на площадях, где собираются нищие, все должны соблюдать давность владения, причем каждый сохраняет свое место, не взирая на лица; никто не должен похищать у другого его места или завладеть им обманом.

Что двое больных или калек могут соединиться вместе и называться братьями; они могут просить милостыню поочередно, запевая попеременно, причем один начинает там, где кончает другой; они могут ходить парами, — причем каждый сохраняет свою линию домов вдоль улицы, — и не должны перебивать друг друга; каждый должен петь свою особую жалобу, а прибыль они должны разделить между собой под страхом лишения нашей милости.

Что ни один нищий не должен носить с собой ни оборонительного, ни наступательного оружия, кроме ножа, не должен носить перчаток, туфель, кандалов, цепей, под страхом наказания.

Что каждый нищий может носить грязную тряпку, привязанную к голове, ножницы, нож, шило, пряжу, наперсток, иголку, деревянную миску, тыквенную бутылку, котомку и сумку; они не должны носить мешка для зерна, большой корзины и чего-либо подобного, поскольку они не являются котомками.

Что они могут носить кошель, кошелек, тайный кошелек и собирать милостыню в шляпу. Мы требуем, чтобы они не делали скрытого кошелька в шапке, шинели или блузе, под страхом, что если они будут выслежены, то они потеряют деньги вследствие своей глупости.

Чтобы никто не раскрывал уловок, не распространял их и не передавал тому, кто не принадлежит к этой профессии. И кто узнает про какое-либо новое ухищрение, тот должен сообщить об этом нищей братии для того, чтобы она узнала об этом, поскольку все блага должны быть общие и не должно быть монополии между нищими. Но в порядке доброго управления мы даем автору привилегию пользоваться своим изобретением в течение года и никто не должен пользоваться им без его распоряжения под страхом нашей немилости.

Пусть одни сообщают другим о домах, где дают милостыню, в особенности о местах, где играют и где кавалеры разговаривают со своими дамами, ибо там можно наверно рассчитывать на получение милостыни.

Чтобы никто не держал охотничьей собаки, борзой или таксы; он может держать в своем доме только шавку, на что мы даем

разрешение; он может водить ее с собой, привязанную за веревочку или цепочку, прикрепленную к поясу.

Чтобы тот, кто водит собаку, заставлял ее плясать и прыгать через обруч, не занимал места у двери церкви или при паломничестве, или при юбилее, а просил милостыню, только проходя по улице; в противном случае он может быть объявлен упорствующим мятежником.

Чтобы ни один нищий не покупал на рынке ни рыбы, ни мяса, за исключением случаев крайней необходимости и с разрешения врача; он не должен ни петь, ни плясать, ни играть и ни прыгать, ввиду скандала, который он может возбудить, делая это.

Мы даем разрешение нищим брать напрокат детей в количестве до четырех, в зависимости от возраста; двое из них могут быть единоутробными, причем старшему должно быть не больше пяти лет; женщина может носить одного из детей у своей груди, мужчина же на руках, остальных же он должен водить за руку или каким-либо другим способом.

Мы требуем, чтобы те, кто имеет детей, делали их ищейками, чтобы они рыскали по церквам и просили милостыню для своих родителей, которые лежат больные в кроватях; это они должны делать, пока им исполнится шесть лет; если же им больше, то дают им летать и они становятся нищими, которые кормятся самостоятельно и собираются в доме вместе с нищей братьей в назначенные часы.

Чтобы ни один нищий не разрешил своим детям служить, не научил их какому-нибудь ремеслу и не отдал их в услужение хозяину; ибо в таком случае они будут зарабатывать мало и работать много и потеряют уважение к своим предкам.

Чтобы никто не оставался в своей кровати или в своем обиталище зимой после семи часов, а летом после пяти часов утра; при восходе солнца или за полчаса до него нищие должны выйти на работу, а за полчаса до наступления ночи они должны при всякой погоде собраться и запереться, за исключением тех случаев, на которые они получат разрешение.

Мы разрешаем нищим завтракать по утрам, употребляя хлеб, полученный в этот день, а не раньше, ибо в противном случае пропадает время, выбрасываются деньги и теряется основная выручка; перед выходом они должны покушать для того, чтобы не было плохого запаха изо рта.

Бедные не должны показывать на улицах и в домах различные фехтовальные фигуры, под страхом, что они будут объявлены неправоспособными.

Чтобы никто не осмелился совершать обмана, похищая драгоценности и помогая кому-либо менять украшения; чтобы никто не раздевал ребенка и не совершал иной низости, под страхом, что он будет исключен из нашего братства и сообщества и будет предан в руки светской власти.

Кто, имея возраст свыше двенадцати лет, прошел в течение

трех лет полный курс науки, тот должен быть признан усвоившим наш устав, хотя до сих пор требовалось еще два года для усовершенствования в ремесле; он считается профессионалом и пользуется свободой и привилегиями, дарованными нами; он не должен впредь отказываться от нашей службы и повиновения, соблюдая наши правила под страхом наказания.

Часть 1, кн. 3, гл. 6. Каким образом, после возвращения Гусмана де Альфараче в Рим, сжалившийся над ним кардинал приказал лечить его в своем доме и в своей кровати.

Естественной истиной является то, что молодые люди близоруки в деликатных вещах, требующих важности и веса, не вследствие недостатка разумения, а вследствие недостатка благоразумия: последнее требует опыта, а опыт времени. Подобно этому, зеленый, невызревший плод не имеет хорошего вкуса, а кислый и неприятный. Точно так же юноша, не ставший зрелым, не имеет вкуса, у него нет истинного рассмотрения и познания вещей; и не удивительно, что он ошибается, а было бы удивительно, наоборот, если бы он все делал удачно. Тем не менее, хорошие природные способности делают человека более пригодным для размышления.

Я узнал на себе, что очень часто мой дух подымал меня выше моих лет; подобно тому как орел подымает своих птенцев, так мой дух подымал меня с очами, направленными к солнцу истины. Я увидел, что все мои планы и способы обманывать приводили к тому, что я обманывал самого себя, грабя действительно нуждающегося и бедного калеку, не имеющего возможности работать, которому должна была принадлежать эта милостыня; я увидел, что бедный никого не обманывает, хотя и стремится к этому. Ибо тот, кто дает, не смотрит на того, кому он дает, а тот, кто просит, является приманкой, привлекающей птиц, причем он сам остается безопасным в своем силке. .....

Удалившись, я направился к Риму. Когда я прибыл туда, я заплакал от радости; я бы хотел, чтобы мои руки были способны обнять эти ветхие стены. Первое действие, которое я там совершил, состояло в том, чтобы поцеловать эту святую почву; та земля, которую знает человек, является его матерью, — я же хорошо знал город, был в нем известен и начал попрежнему изыскивать себе средства к жизни, хотя то, что я называл жизнью, было моей смертью. Но для меня такая жизнь была всем.

Мы как бы обручены с нашими страстями, и то, что не является ими, кажется нам странным, хотя бы оно было истинным и верным! Так, мне казалось высшим счастьем то, что на самом деле было несчастьем; и хотя я все это видел, тем не менее, склонялся к худшему и его считал за лучшее [а].

[а] Несколько видоизмененное изречение из Метаморфоз Овидия (кн. 7, ст. 20): «Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь». Это изречение было популярно в XVII в., оно приводится Гоббсом и Спинозой (Этика, ч. 4, т. 17, сх.).

Я встал однажды утром, согласно своему обычаю. Я придал своей ноге такой ужасный вид, что она могла выдержать испытание лучших хирургов. Выставляя свою ногу, я стал просить милостыню у двери кардинала. Когда он вышел из священного дворца, он услышал, как я просил милостыню громким голосом и в необыкновенном тоне, а не октавой простого голоса, говоря: «Дайте милостыню, благородный христианин, друг Иисуса Христа, имей жалость к угнетенному и изъязвленному грешнику, члены которого парализованы, посмотри на несчастье моего возраста, на позор этого грешника. О, преподобный отец, высокопреосвященный монсеньор! Пусть сжалится ваша высокопреосвященная милость над этим несчастным юношей, каким я себя вижу и чувствую; пусть будут прославлены страсти нашего учителя и спасителя Иисуса Христа».

Кардинал, после того как он внимательно выслушал меня, был охвачен крайней жалостью ко мне; я ему казался не человеком, а представителем самого бога. Он тотчас же приказал своим слугам, чтобы они меня взяли на руки, внесли в его дом, сняли с меня эти старые, рваные одежды и положили в его собственную кровать; он велел, чтобы поставили ему кровать в другую комнату, соседнюю с этой. Все это было сделано в один момент.

О, великая милость бога! О, великодушие дворянина! Меня раздели для того, чтобы одеть, помешали просить милостыню для того, чтобы дать мне и для того, чтобы я мог дать. Если бог кого и покидает, то только для того, чтобы оказать ему еще бóльшую милость. Ты просишь милостыню ради бога; я ее окажу тебе. Ты лежишь утомленный в полдень у источника, просишь кувшин воды, которую пьют животные; я тебе дам вместо нее живую воду, и когда ты будешь пить ее, то возрадуешься вместе с ангелами.

Святой муж подражал богу. Он тотчас же послал за двумя лучшими хирургами и, предлагая им хорошие деньги, поручил им лечить меня и заботиться о моем здоровье, и таким образом, оставив меня в руках двух палачей, во власти моих неприятелей, он пошел своей дорогой.

Мы могли изображать язвы многими способами. Для тех, которые у меня были тогда, я пользовался некоторой травой, которая придавала им такой ужасный вид, что все считали их неизлечимыми и требующими длительного лечения, так как они казались злокачественными. Однако, если я только в течение трех дней не употреблял этого средства, то собственная природа делала опять тело совершенным и здоровым, как раньше.

Оба хирурга сразу сочли это дело очень важным: они скинули плащи, попросили жаровню с огнем, коровье сало, яйца и другие вещи. Когда все было принесено, они сняли с меня повязки. Они стали меня спрашивать, сколько времени я страдаю этой болезнью, помню ли я, каким образом она началась, пью ли я вино, какие

вещи кушаю и тому подобные вопросы, которые предлагают обыкновенно в таких случаях люди, опытные в этом искусстве.

Я молчал, как мертвый, и я действительно был полуживой, видя такие приготовления, чтобы резать и прижигать; если бы мне даже удалось ускользнуть от этого, в таком случае обнаружилась бы моя низость. То, что я претерпел в Гаэте [а] казалось мне теперь цветочками; и я боялся, чтобы кардинал не наложил на меня тяжелого наказания за издевательство над ним.

Я не знал, как избавиться от опасности, что делать, к какому посредничеству обратиться, так как во всех святцах и в «Цветке святых» нет ни одного святого, защитника плутов, который хотел бы меня извинить. Они меня осматривали и поворачивали сотни раз. Я же себе говорил: «Я пропал, я погиб, если даже не умру; мне нужно потерпеть только два часа (если меня не похоронят в Тибре), я их проведу, как могу, и если мне отрежут ногу, я останусь в лучшем положении: мне будет обеспечен заработок, если я останусь в живых. Но если со мной случится такое несчастье, я примирюсь с ним и мне не придется выносить его во второй раз. Что я могу сделать еще, несчастный! Я рожден «терпеть и тасовать».

Так я колебался, когда алчность и жадность хирургов открыли мне двери избавления. Один из них, более опытный, понял, что мои раны мнимые и что они происходят вследствие той самой травы, которой я пользовался. Он смолчал про себя, но сказал своему товарищу: «Эта часть тела поражена злокачественной язвой. Необходимо прижечь ее, пока вырастет новое мясо для того, чтобы приостановить заражение». Другой сказал: «Это лечение требует длительного времени, а мы пока будем кормиться».

Более ученый взял другого за руку и вывел его в приемную. Когда я увидел, что они вышли, то выскочил из кровати, чтобы подслушать, о чем они говорят. Я услышал, как один говорит другому: «Сеньор доктор, я не думаю, чтобы ваша милость разобралась в этой болезни, и я не удивляюсь этому; ибо я умею лечить другие болезни, подобные этой, но немногие их знают. Но я желаю вам сказать, что я открыл великую тайну». «Что такое, чорт возьми», — сказал другой. «Я говорю вашей милости, — ответил ему тот, — что это величайший плут: язвы его мнимые. Что же нам делать? Если мы его оставим в таком виде, из наших рук уйдет польза вместе с честью и прибылью. Если же мы пожелаем его лечить, то лечить его не от чего, и он будет смеяться над нашим невежеством. И так как мы не знаем никакого способа выйти из положения, то самое лучшее будет сказать кардиналу об этом случае».

Другой ему сказал: «Нет, сеньор, этого пока не нужно делать.

[а] В предыдущей главе рассказывалось, как правитель Гаэты убедился в том, что болезнь Гусмана де Альфараче мнимая; в наказание он велел ему немедленно покинуть город.

Меньшее зло будет, если он будет о нас невысокого мнения в виду того, что он шельма, чем если мы упустим из рук такой прекрасный случай. Мы не покажем вида, что мы поняли, в чем дело, а будем его лечить при помощи медикаментов, которые затягивают болезнь. Если будет необходимо, то мы будем применять едкие вещества, которые будут разъедать здоровое тело. Это займет у нас достаточно времени». Другой сказал: «Нет, сеньор, для этого было бы лучше тотчас же применять огонь, прижигая пораженные места».

Между ними начались разногласия по поводу того, какой способ лечения надо начать применять и каким образом разделить между собой прибыль, так как тот, кто понял мою болезнь, требовал большей части. Дело дошло до того, что они готовы были рассказать обо мне кардиналу.

Увидя, что они замышляют подобные планы, я понял, что мне угрожает гибель. Я решил спастись какой бы то ни было ценой. Я вошел к ним нагим, как был и, простершись к их ногам, сказал им: «Сеньоры, от ваших рук, от вашего языка зависит моя жизнь и смерть, мое спасенье или моя гибель; мое несчастье вам ни к чему не послужит, мое же избавление принесет вам пользу и увеличит вашу репутацию. Вы знаете, в какой нужде находятся бедняки и как жестоки сердца богачей. Для того чтобы побудить их дать нам скудную милостыню, нам необходимо поражать нашу плоть всякого рода мучениями, терпя страдания и горести; нам приходится выносить еще бо́льшие страдания. Великое несчастье быть вынужденным терпеть то, что мы терпим, для того, чтобы получить скудное пропитание. Сжальтесь надо мной, ради бога, так как вы люди, знающие свет, из такой же плоти, как и я, и то, что принуждает меня, может принудить и вас. Не допустите того, чтобы я был разоблачен; исполняйте вашу волю, ибо я всеми силами буду служить и помогать вам, так что вы получите большие преимущества от моего лечения. Доверьтесь мне; если бы не было никакого другого средства, кроме страха наказания, то и его достаточно для того, чтобы я сохранил тайну. О прибыли не стоит спорить. Лучше получить, чем потерять. Будем играть трое против одного, ибо больше стоит нечто, чем ничто».

Эти мои просьбы и преимущества, которые я им предлагал, были достаточны для того, чтобы они приняли мой совет, в особенности, когда они увидели, что я иду им навстречу. Они были так довольны, что понесли меня обратно в кровать на плечах. Мы сговорились, так как все были заинтересованы в успехе этого дела.

В этих переговорах и спорах прошло столько времени, что меня едва успели прикрыть, как вошел кардинал через дверь. Один из обоих хирургов сказал ему: «Ваша высокопреосвященная милость, поверьте, что болезнь этого юноши очень тяжелая; это великое благодеяние для него, что он попал к вам, так как его тело поражено злокачественной язвой во многих местах, и вред так укоренился, что благодетельное влияние лекарства скажется

только по истечении долгого времени. Но я уверен и без всяких колебаний удостоверяю, что по милости бога он встанет здоровым и бодрым».

Другой сказал: «Если бы этот юноша не попал в милосердные руки вашей высокопреосвященной милости, то в течение немногих дней его болезнь стала бы безнадежной и он бы умер. Но мы вылечим его болезнь, так что через шесть месяцев, — или даже раньше, — его тело станет таким же чистым, как и мое».

Добрый кардинал, которого побуждало одно только милосердие, сказал: «В шесть или десять месяцев, лечите его, как надо, а я позабочусь обо всём необходимом». С этими словами он их оставил и пошел в другую комнату.

Когда я услышал это, то почувствовал облегчение, как будто с меня сняли громадную тяжесть; потому что до тех пор я не доверял этим предателям. Я все боялся, что они предпримут такие шаги, которые погубят меня. Но когда я увидел, что они разговаривают так в моем присутствии, то я оживился и повеселел.

Трудно отказаться от привычки клясться, играть и плутовать. Я чувствовал большую досаду от того, что был заключен и не мог пользоваться тем благами, которые получал, прося милостыню. Однако, я это считал меньшим злом, в виду хорошего обращения со мной, еды, кровати, которые я имел. Все было самое лучшее, меня обслуживали, как князя, лечили, как будто я был самим кардиналом. Он требовал этого от своих слуг. Он сам приходил ко мне, посещал меня каждый день и иногда задерживался у меня, беседуя о вещах, которые ему было приятно слушать.

Таким образом, я вылечился от своей болезни, и когда наступил срок, хирурги попрощались, будучи хорошо и богато вознаграждены за свои малые труды. Меня же одели и отправили в квартал пажей для того, чтобы в качестве одного из них я с тех пор служил его высокопреосвященной милости.

ПЕРЕС ДЕ ИТА

Хинес Перес де Ита (Ginés Perez de Hita). Родился в Мурсии около 1544 г. Еще мальчиком поступил пажем к маркизу Велесскому Луису де Фахардо и в 1568 г. участвовал под его знаменами в подавлении восстания морисков. Сведения о дальнейшей его жизни крайне скудны. Известно только, что после недолгого пребывания в Лорке, он вернулся в родную Мурсию, где и написал свою «Гражданскую войну в Гранаде». Год смерти его не известен; во всяком случае он был еще жив в 1619 г., поскольку сохранились подписанные им документы, относящиеся к этому году.

«Гражданская война в Гранаде» («Guerras civiles de Granada») состоит из двух частей. Первая часть вышла в 1595 г. в Сарагосе и затем выдержала множество переизданий. Полное ее название гласит: «История вражды Сегри и Абенсеррагов, мавританских рыцарей из Гранады, гражданских войн, бывших в ней и славных сражений, происходивших в Гранадской долине между христианами и маврами до тех пор, пока король Дон Фернандо Пятый не завоевал этого королевства. Извлечена (история) из арабской книги, автором коей был, повидимому, мавр по имени Абен Амин, уроженец Гранады. Переведена на испанский Х. Пересом де Итой, жителем города Мурсии». Ссылка на мавра Абен Амина не более как литературная мистификация. «Гражданская война в Гранаде» по своему жанру — явление смешанное: элементы исторической хроники (для последних глав первой части автор широко использовал хронику Эрнандо Пульгара — летописца «королей-католиков») сочетаются в ней с романтическим вымыслом, а в прозаическое повествование как своеобразные эмоциональные усилители вставлены народные и псевдонародные романсы. Тем не менее «Гражданскую войну» можно смело отнести к жанру исторического романа и считать за родоначальника этого явления в европейской литературе. Влияния этой книги, уже в течение XVII в. переведенной на английский и французский языки, были очень сильны. Известно увлечение ею Вальтер Скотта. Мадам де Лафайет, Шатобриан, Вашингтон Ирвинг отдали ей дань прямого подражания.

Во второй части «Гражданской войны» автором описано подавление восстания морисков 1568 г., в котором он сам участвовал. Эта часть во всех отношениях уступает предыдущей.

А. С.

Из «ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ГРАНАДЕ»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В ней рассказывается про торжественный праздник и игры в кольцо, устроенные в Гранаде, и про то как разгорелась вражда Зегри и Абенсеррагов.

...Король и рыцари, не принимавшие участия в игре, поместились на балконах, выходивших на Новую площадь, чтобы оттуда смотреть на игру рыцарей в кольцо. В конце площади, около

фонтана львов, они заметили красивый шатер из дорогой зеленой парчи, а рядом с ним высокую подставку под балдахином из зеленого бархата. На подставке были разложены многочисленные драгоценности, а посреди них — прекраснейшая и драгоценная золотая цепь, стоившая тысячу золотых эскудо. То была цепь, предназначенная, вместе с портретом дамы, в награду победителю.

В целом городе Гранада не осталось ни одного человека, кто бы не пришел посмотреть на этот праздник, и даже из всех окрестных селений собрался народ. Все знали, что в день святого Хуана в Гранаде всегда устраиваются великолепные и пышные празднества. Скоро зазвучали сладостные звуки флейт, доносившиеся из улицы Сакатин. Храбрый Абенамар — владелец кольца и устроитель праздника — шел занять свое место. И выехал он на площадь следующим образом: впереди четыре красивых мула, нагруженные копьями для игры в кольцо, на копьях были стяги из зеленого дадамаса, все усыпанные множеством золотых звезд; на мулах, на шнурах из зеленого шелка, было подвешано множество серебряных колокольчиков. Их сопровождали конные и пешие слуги. Мулы остановились у шатра хозяина праздника и тут же, по его приказанию, слуги раскинули еще один шатер из зеленого шелка и сложили в него все копья. После этого нарядных мулов увели. За ними следовало тридцать рыцарей, богато одетых в зеленые и алые одежды, с серебряными нашивками, с белыми и желтыми перьями на шлемах. Пятнадцать рыцарей ехало с одной стороны, пятнадцать с другой, а посредине — храбрый Абенамар, одетый в зеленую парчу, марлоту и плащ большой ценности. Он ехал на очень красивом коне в серых яблоках; украшения коня также были из зеленой парчи; на голове же его — плюмаж, очень дорогой, из зеленых и пурпуровых перьев. По всей одежде отважного мавра были разбросаны многочисленные золотые звезды, а слева — на богатом плаще его — сияющее солнце, с такой надписью:

С нами может кто сравниться?
С дамой избранной — красою,
Иль отвагою — со мною?
Нашей славе мир дивится.

Этот же самый девиз был написан и на площади. За отважным Абенамаром следовала красивая триумфальная колесница, обшитая дорогим шелком. Она состояла из шести богато разукрашенных ступеней. На самой верхней ступени была сделана триумфальная арка причудливой формы, а под аркой стоял трон, к которому с великим искусством было прикреплено изображение прекрасной Фатимы, столь похожее, что, если бы не было известно, что это портрет, его можно было бы принять за самый оригинал. Изображение было столь прекрасно и столь богато украшено, что не нашлось ни одной дамы, которая при взгляде на него не замерла

бы от зависти, и ни одного рыцаря, не сраженного любовью. Она была одета по турецкому образцу очень странной, никогда невиданной формы. Половина светложелтая, другая половина — лиловая и обе затканы золотыми звездами со многими золотыми нашивками и украшениями. Платье было сшито с большим вкусом, подкладка его была из серебристой парчи; ее волосы были распущены, подобно золотым нитям; поверх них гирлянда из белых и алых роз, настолько естественных, что казалось, будто их только что сорвали в саду. Над головой ее парил бог любви — дагой ребенок с распростертыми крылышками — каким его изображали древние; оперение крыльев — тысячи цветов. Казалось, точно этот ребенок опускает прекрасный венок на прелестный образ; у ног его лежали лук и колчан Купидона, как бы трофеи победы. В руках портрет держал букет чудесных фиалок, будто только что сорванных в саду Хенелерифе. Так следовало прекрасное изображение Фатимы, являя собою никогда невиданное зрелище. Колесницу ее везли четыре красивые кобылицы, белые, как снег. Возница был одет в такую же одежду, что и рыцари. За колесницей следовало тридцать рыцарей, одетых в зеленые и алые одежды, с плюмажами тех же цветов. Так прибыл на место состязаний храбрый Абенамар — владелец заклада. Под звуки гобоев и других музыкальных инструментов он сделал круг по всей Новой площади, проехав под самыми балконами Короля и Королевы, и настолько восхитил всех присутствующих своим видом и великолепием выезда, что ничто в мире не смогло бы превысить это восхищение; ибо никакой властелин, как бы он богат ни был, не смог бы превзойти великолепия этой процессии. Когда колесница проезжала мимо балкона Королевы, последняя и ее дамы испугались при виде портрета прекрасной Фатимы: так он был похож. Фатима стояла рядом с королевой и тут же находились Дараха, Саррацина, прекрасная Галиана и ее сестра Зелима, Коайда Арболея и еще много прекрасных дам. Все они поздравляли Фатиму и говорили ей, что она очень обязана доброму рыцарю Абенамару. И если он сумеет служить ей и защищать ее портрет в игре в кольцо так же хорошо, как он устроил триумфальный выезд, — она сможет считать себя самой счастливой дамой в мире. Фатима отвечала им, что ей ничего неизвестно об этом деле, и она тут не при чем; если же Абенамар сам захотел все это устроить, то ее никак не занимает, будет ли он отстаивать ее изображение или нет.

«Так значит тайно, спросила Харифа, рыцарь Абенамар решил совершить свой подвиг и выставил ваш портрет?»

«Это дело Абенамара, — ответила Фатима, — касается его одного и пусть он совершает подвиг или не совершает, как ему только захочется. Посмотрите лучше на вашего Абиндарраеса, ибо он ради вас совершил уже много подвигов, достойных запоминания».

«Мои отношения с Абиндарраесом, — возразила ей Харифа, открытое дело, и всем известно, что он мой рыцарь, но дело с Абенамаром нам всем представляется совершенно новым, и по-

истине мне было бы очень тяжело, если бы Абиндарраес и Абенамар стали сегодня соперниками».

«Станут они или не станут, что вам до этого за дело?» — сказала Фатима.

«Мне потому было бы это тяжело, — ответила ей Харифа, — что мне не хотелось бы, чтобы ваш портрет, прибывший сюда сегодня с такой пышностью, попал в мои руки».

«Так вы настолько твердо уверены в успехе вашего Абиндарраеса, что уже считаете мой портрет своим? — сказала Фатима, — ну, так не беспокойтесь же преждевременно и не оценивайте столь высоко доблесть вашего рыцаря, ибо судьба сможет сделать как раз обратное тому, что вы сейчас предполагаете; нельзя слишком верить в рыцарей: ведь они тоже подвластны произволу судьбы».

Королева, очень хорошо слышавшая спор, сказала:

«Зачем вести бесплодные разговоры? Вы обе одинаково прекрасны. Сегодня мы узнаем, кому из вас достанется венец и слава красоты; а пока умолкнем и подождем, покуда не кончился праздник, ибо конец венчает дело».

На этом спор закончился.

Тем временем Абенамар, объехав кругом площадь, достиг красивого шатра. И когда его богатая колесница остановилась около подставы с многочисленными драгоценностями, он приказал поставить среди них портрет прекраснейшей Фатимы, что и было выполнено под музыку многих флейт и гобоев, после чего он соскочил со своего коня, отдал его слугам и сел у входа в шатер на красивое и дорогое кресло, где стал дожидаться появления какого-нибудь рыцаря-оспаривателя. Все прибывшие с храбрым Абенамаром рыцари расположились вокруг него. Судьи заняли места на помосте, откуда можно было очень хорошо видеть состязание на копьях. Все ждали, чтобы выступил какой-нибудь оспариватель. Судьями были двое рыцарей, очень честных, двое рыцарей Гомелов и один рыцарь Абенсерраг, по имени Абенсаррас. Последний был главным альгусилом Гранады, должность, поручавшаяся лишь очень знатным и уважаемым рыцарям. Недолго пришлось ждать, и из улицы Гомелов донеслась громкая музыка аньяфилов и труб, и скоро показалась красивая кавалькада всадников, одетых в богатые одежды из малинового и белого дамаса, со множеством золотых и серебряных вышивок. Все перья и ленты тоже были белые и малиновые. За кавалькадой ехал рыцарь, пышно одетый по-турецки, на прекрасном вороном коне; одежда рыцаря была из пурпурной парчи с золотыми вышивками; плюмаж того же самого цвета. Марлота и шлем обильно украшены драгоценными каменьями. В этом рыцаре тотчас же все узнали храброго Саррацина. За ним ехала пышная колесница, очень богато отделанная, с четырьмя триумфальными арками чрезвычайной красоты, и на них изображение всех столкновений и сражений, когда-либо происшедших между маврами и христианами в долине Гранады; среди этих

изображений имелась и битва славного Гарсиласа де ля Вега с храбрым мавром Аудалья, битва из-за четок, которые мавр привязал к хвосту своего коня; а кроме этого, еще целое множество изображений, сделанных весьма искусной рукой. Под четырьмя триумфальными арками находился круглый трон, хорошо видимый отовсюду, сделанный из лучшего алебастра с великолепными на нем украшениями. На троне помещалось изображение великой красы, облаченное в голубую парчу, со многими золотыми вышивками и оборками. У ног этого красивого образа были сложены огромные военные трофеи и среди них — сам бог любви, побежденный и поверженный, со сломанными луком, стрелами и колчаном, рассеянными повсюду перьями его прекрасных крыльев. Эмблемой храброго Саррацина было море, в нем скала, омываемая множеством волн, и надпись:

В сердце веры крепость со скалой сравнится,
Что ни ветра ни прибоя не страшится.

Такая же надпись была помещена на площади, чтобы все ее видели.

Так выступил храбрый Саррацин со своей колесницей, не менее красивой, чем колесница хозяина праздника. Ее везли четыре красивых гнедых коня в очень богатой упряжке с украшениями пурпурового цвета. За колесницей ехал нарядный отряд рыцарей в таких же пурпурных одеждах. Так, под торжественную музыку, объехал Саррацин площадь, доставив своим видом удовольствие всем зрителям. Тотчас же все узнали, что́ за дама изображена на портрете: все узнали прелестную Галиану и восхищались ее красой. Все говорили: достойный оспариватель у хозяина заклада!

Королева взглянула на стоявшую около нее Галиану и проговорила:

«На этот раз, прекрасная Галиана, не скрыть вашу любовь. Очень меня радует, что вы себе избрали столь знатного и славного рыцаря. Хотя, говоря по правде, достоин был избрания и храбрый Абенамар, а вы его, тем не менее, отвергли».

Прекрасная Галиана молчала вся зардевшаяся от смущения.

Король же сказал своим рыцарям:

«Сегодня предстоит нам увидеть великие дела, потому что рыцари, участники игры, обладают великой храбростью, и каждый из них постарается сделать наилучшее. Посмотрим же, что сделает храбрый Саррацин».

Тем временем колесница Саррацина уже успела объехать площадь; он велел остановить ее рядом с колесницей Абенамара и затем, сойдя с коня, пешком отправился к шатру храброго Абенамара и сказал ему:

«Знай, рыцарь, что я сегодня явился соревноваться в метании трех копий в кольцо, и если судьбе будет угодно, чтобы я выиграл у тебя все три раза, — я возьму тогда портрет твоей дамы, а вместе с ним и выставленную тобою цепь, ценою в тысячу дублонов; если же выиграешь ты у меня, твоим будет портрет моей дамы и нару-

кавник, вышитый ее рукой, который господа судьи оценили в четыре тысячи дублонов».

Правду говорил честный Саррацин: нарукавник, облегавший его правую руку, был драгоценный и вышит собственноручно прелестной Галианой. И про тот нарукавник сложили такой романс, весьма всем понравившийся:

Наверху Комарес башни
Раз сидела Галиана,
С прилежаньем и уменьем
Нарукавник вышивала.
Саррацин ее любимый
В дар получит нарукавник,
Он играть поедет в копья,
А его в заклад поставит.
Чистым золотом оборка
Нарукавник украшает,
Изумрудов и рубинов
В нем горит нарядный пламень.
Блеск алмазный, ясный жемчуг
Пылью звездною рассыпан,
Не найти на целом свете
Драгоценности прекрасней.
Как отрадно Саррацину
Дамы избранной вниманье,
Сколько чувствует он в сердце
Благодарности и страсти!
Пусть любовь его безмерна, —
Галиана любит равно, —
Саррацин любви достоин
И владеет ей по праву.
Галианы верен выбор:
Заслужил тот рыцарь славный,
Чтоб ему вручила сердце
Лучший цвет девиц Гранады.
Много мавров безуспешно
Галианы добивалось,
Одному лишь Саррацину
Улыбнулась здесь удача.
Для него она презрела
Все усилья Абенмара.
Полны радостной надежды
Саррацин и Галиана.
Свадьбы близок день счастливый,
Близок пир, и близки замбры,
И на брак есть позволенье
Альмарийского алькайда.
Тот алькайд — отец невесты.
Сам король устроит праздник.
«Будет свадьба непременно»,
Говорят по всей Гранаде.

Короче говоря, не было цены нарукавнику. И могучий Саррацин, уверенный в своей силе и ловкости, захотел поставить залогом драгоценный нарукавник, не считаясь с тем, какого он имел перед собой опасного противника. Последний, выслушав смелого Саррацина, ответил, что он принимает условия состязания: три копья, брошенные в кольцо, решают, кому владеть закладом. Затем он потребовал себе коня, и ему подвели одного из восьми, нарочно для этого приготовленных и крытых богатой попоной. Он вскочил в седло, не коснувшись ногою стремени. Ему подали копье для игры, и он поехал вдоль площади, посадкой и ловкостью своей восхищая всех зрителей.

Король сказал окружавшим его рыцарям: «Теперь никто не сможет отказать Абенамару в том, что он преискусный наездник, но и Саррацин ему не уступит. Так что сегодня в игре в кольцо нам предстоит увидеть великие дела».

Тем временем доблестный Абенамар достиг конца ристалища, назначенного для разбега и, повернув коня, сделал на нем большой прыжок, поднявшись от земли не менее как на три локтя. И затем конь помчался, будто молния, направляемый рукой такого отлич-

ного наездника, каким был Абенамар. Достигнув кольца, Абенамар на всем скаку вытянул вперед копье и с силой ударил им в кольцо; он задел его верхнюю часть и только нехватило какихнибудь полпальца, чтобы воткнуть его в самое отверстие. Так, коснувшись кольца, но не выиграв его, он промчался мимо, чрезвычайно раздосадованный своей неудачей. Постепенно сдержав скач коня, он шагом отъехал к своему шатру, откуда стал наблюдать, чего достигнет могучий Саррацин.

Саррацина смутил и рассердил меткий удар Абенамара, едва не выигравший тому кольцо. Но, уверенный в собственной ловкости, он попросил себе копье и, получив его, сдержанным шагом, гарцуя, поехал к концу ристалища. Отсюда, повернув на ходу, он помчался с невиданной быстротой, точно он был молнией. Достигнув кольца, он вытянул копье настолько ровно, как если бы его конь в бешеной скачке оставался совсем без движения, и, метко вонзив его в середину кольца, промчался, как ветер, унося кольцо надетым на конце копья. И тогда весь народ, присутствовавший на площади, и все, смотревшие из окон и с балконов громко воскликнули:

«Абенамар проиграл свой заклад!»

А доблестный Саррацин, гордый своим успехом, заявил, что он победил. Но благородный Муса, бывший секундантом Абенамара, возразил, что еще нет, ибо по условию они должны были состязаться три раза, так что двух еще недоставало. Однако секундант Саррацина, рыцарь из рода Азарков, возразил на это, что приз уже выигран с первого копья. Тут все подняли крик, и каждый настаивал на справедливости своего решения. Но судьи приказали всем замолчать, заявив, что решают они; и они решили, что заклад еще не выигран, так как остается еще два копья.

Ярым гневом запламенел могучий Саррацин из-за того, что ему не давали награды, хотя и был неправ; но страсть превозмогала в его мужественном сердце над справедливостью. Но если недоволен и разгневан был Саррацин, то Абенамар был не менее его раздосадован: ему хотелось умереть от досады и гнева: так огорчил его проигрыш первого копья.

Кто взглянул бы в ту минуту на прекрасную Галиану, тот сразу бы узнал по ее лицу про радость, которой переполнилось ее сердце при выигрыше ее рыцарем первого копья. Совсем противоположные чувства испытывала Фатима, и хотя она их и скрывала тщательно, все же совершенно их скрыть ей не удалось. Харифа, насмешница и хитрая придворная дама, заметила ей:

«Друг мой Фатима! Не повезло вашему рыцарю с самого начала; если так будет с ним продолжаться до конца, не выиграть ему приза».

«Меня не печалит это начало, — ответила Фатима, — не удалось ему сейчас, удастся после. И удастся настолько, что вам станет завидно его удаче. Я уже говорила вам, что славу поют под конец».

«Сейчас вы хорошо разговариваете, — ответила Харифа, — подождем лучше конца».

И, обратив взоры на состязание, они увидели, как Абенамару подали другого коня и новое копье. С клокочущим внутри гневом, но наружно совершенно спокойный, точно не кипели в нем страсти, он красиво, шагом доехал до конца ристалища и, взяв таким образом нужный разбег, с неслыханной стремительностью повернул коня и полетел, точно птица. Он вытянул копье, недрогнувшей стрелой вонзилось оно в кольцо, и с быстротою мысли оказалось кольцо на острие копья.

Народ закричал:

«На этот раз выиграл владелец заклада!»

Во второй раз подали тогда копье могучему Саррацину. Он поехал к концу ристалища, повернул коня, помчался на нем, словно ветер, и хотя он и хорошо нацелил копье, на этот раз ему не удалось задеть кольца, и он промчался мимо.

Могучий Абенамар сказал тогда:

«Нам остается еще по одному копью; третье копье решит наше состязание. Так выполним же его, не откладывая». И с этими словами он потребовал себе новое копье, взял разбег, повернул коня, молнией налетел на кольцо, ударил в него копьем, и кольцо оказалось у него на копье.

Тут снова поднялись крики и шум, и все утверждали, что безусловно победил Абенамар.

И теперь было хорошо видно по лицу прекрасной Галианы, что она, видя как ее Саррацин проигрывает, далеко не так довольна, как раньше. А Саррацин, почти потеряв надежду на победу, взял новое копье, проехал к концу, птицей помчался и на этот раз задел кольцо сбоку, сбил его на землю, но на копье не нанизал.

Тут судьи объявили ему, что он проиграл и должен отдать заклад.

«Пусть сегодня я проиграл кольцо, — отвечал могучий Саррацин, — настанет день и я выиграю в настоящем поединке на копьях с двойным острием. И утраченное сегодня тогда себе верну».

Абенамар, затаивший против него злобу за старое, о чем мы уже рассказывали, возразил на это, что если он в поединке собирается вернуть себе проигранное, то незачем это откладывать. Но тут вмешались судьи и секунданты и помешали им продолжать распрю. После этого могучий Саррацин, его секундант и все явившиеся с ним на состязание рыцари покинули площадь, оставив портрет прекрасной Галианы и драгоценный нарукавник. И портрет и нарукавник, под веселые звуки гобоев и других музыкальных инструментов, сложили к подножию портретов прекрасной Фатимы, испытывавшей не малую радость, но старавшуюся ее не выказывать. Саррацин покидал площадь печальный и недовольный. Придворные рыцари провожали его, ибо он был отменным и знатным рыцарем, смелым и сильным мужем.

РОМАНС О ПОЕДИНКЕ МЕЖДУ ЮНЫМ ГАРСИЛАСО ДЕ ЛА ВЕГА И МАВРОМ

Санта Фе одеты станы
Навощенной белой тканью.
Шелком, золотом, парчею
Разукрашены палатки.
Там собрались полководцы,
Кто явился с Дон Фернандо
Осадить Гранаду — город,
Покорить навеки мавров.
В той войне — как вам известно —
Много рыцарей испанских,
Не один, свершили подвиг,
Что покрыл их вечной славой.
Раз пред Санта Фе стеною,
Часом утренним и ранним,
Появился всадник дерзкий
На коне чернейшей масти.
Конь свирепый скалил зубы,
Угрожал врагам оскалом,
Словно рвать готовый в клочья
Встречных воинов христианских,
Мавр одет стальной кольчугой
Под марлотою нарядной,
Что окрашена в три цвета:
Белый, голубой и алый.
Острие копья двойное
И крепчайшего закала,
Щит по плотности не может
Ни с одним щитом равняться.
Привязал к хвосту кобылы
Вере правой в посмеянье,
Привязал святые четки
В оскорбленье христианам.
К Санта Фе стенам подъехал
И с насмешкою взывает:
«Кто из рыцарей посмеет,
Кто достаточно отважен,
Чтоб принять со мною битву, —
Пусть немедля выезжает.
Пусть один, пусть будет двое,
Будет трое, больше даже,
Пусть алькайд Донселес будет,
Чья известна миру храбрость.
Пусть то будет искушенный
В ратном деле граф де Кабра,
Или Кордовы надежда —

Рыцарь доблестный Фернандес.
Пусть спешит Мартин Галиндо —
Украшенье поля брани,
Иль Пуэрто де Карреро —
Властелин могучий Пальмы.
Мануэль пускай то будет —
Рыцарь Львов кого прозвали
(Ибо он, душой не дрогнув,
Раз посмел поднять перчатку,
Что нарочно уронила
Злая дама в ров со львами).
А когда б они не вышли, —
Пусть выходит Дон Фернандо!
Сам тогда он убедится,
Сколько мужества у мавров!»
В молчаливом внемлет гневе
Мавра дерзкого бахвальству
Цвет воителей Кастильи:
С ним сразиться хочет каждый.
В королевской был там свите
Гарсиласо — храбрый мальчик.
Короля о позволенье
Он просил сразиться с мавром.
«Слишком молод для такого
Ты деянья, Гарсиласо:
Для него найдется в войске
Взрослых рыцарей немало».
Гарсиласо прочь уходит,
Огорчен его отказом.
Но к себе в шатер вернувшись,
Он берет копье и латы,
Поскорей вооружился,
На коня вскочил и тайно —
Чтоб никто его не видел
При опущенном забрале,
Чтоб лицо закрыть от взоров —
В поле едет против мавра.
Так сказал, пред ним явившись
И подняв с лица забрало:
«Ну, теперь увидишь, дерзкий,
Есть иль нет у Дон Фернандо
Рыцарь сильный, кто сумел бы
Проучить тебя, бахвала!
Из всех рыцарей Кастильи
Пред тобою самый младший,
Но его вполне довольно
Учинить тебе расправу!»
Гарсиласо речь услыша,

Тот с презреньем засмеялся:
«У меня вошло в обычай
Только с мужами сражаться;
Потому дождуся мужей,
Ты же, мальчик, возвращайся!»
Загорелся ярым гневом
Юный храбрый Гарсиласо
И, в коня вонзивши шпоры,
Налетел грозой на мавра.
Мавр стремительней, чем молнья,
Гарсиласо встретил натиск.
Бой жестокий, бой упорный
Между ними завязался.
Гарсиласо метко в сердце
Поразил копьем собаку,
И с коня упал язычник,
Распростерся бездыханным.
Соскочил на землю быстро
Победитель Гарсиласо,
Обезглавил труп недвижный,
Головой седло украсил.
Снял с хвоста коня он четки,
Приложился к ним губами,
На конец копья надел их,
Как торжественное знамя.
На коня затем вскочивши,
Под уздцы другого взявши,
Он со славой возвратился
В Санта Фе к дворцу Фернандо.
Изумил великий подвиг
Войско, рыцарей и грандов,
Санта Фе единодушно
Гарсиласо прославляет.
Сам король и королева
В удивленье пред отвагой:
Одержал в бою победу,
Тот, кто мальчиком считался,
Гарсиласо де ля Вега [a]
С этих пор его прозвали,
Ибо он в долине бился
С злой языческой собакой.

---

[a] Vega (исп.) — долина, поле.

СЕРВАНТЕС

Мигель де Сервантес Сааведра (Miguel de Servantes Saavedra, 1547—1616) — великий испанский писатель. Родился в Алкала де Энарес в семье бедного дворянина-лекаря. Образование, повидимому, получил в Мадриде. Несколько лет он провел в Италии (1568 или 1569—1575 гг.), сперва на службе у кардинала Аквавива, затем избрав карьеру воина. В 1571 г. он принимал участие в знаменитой морской битве при Лепанто, во время которой получил тяжелое увечье левой руки. За годы своего пребывания в Италии он внимательно изучал итальянскую литературу эпохи Возрождения. В 1575 г. Сервантес на пути в Испанию был захвачен в плен алжирскими пиратами. Пятилетнее пребывание Сервантеса в алжирском плену представляет собою волнующую эпопею. Став рабом мусульман, он постоянно выказывал исключительную силу воли, энергию и преданность товарищам по несчастью. Не раз ему грозила лютая смерть. Только в 1580 г. он возвратился на родину. Однако Испания холодно приняла героя Лепанто. Материальное положение его семьи было тяжелым. В это время Сервантес начинает писать для театра. Его крупнейшим драматическим созданием явилась трагедия «Нумансия» (Numancia), опубликованная в XVIII в. (1784 г.). В 1585 г. он издает первую часть своего пасторального романа «Галатея». К этому времени относятся также стихотворения, продолжающие традиции итальянского Ренессанса. В 1587 г. он получил пост провиантского комиссара и по долгу службы иногда разъезжал по стране. Внезапное банкротство купца, которому он поручил доставить по назначению казенные деньги, привело Сервантеса к двукратному тюремному заключению (в 1597 и 1602 гг.). В 1605 г. он опубликовал первую часть своего бессмертного романа «Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский» («El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha»). С 1608 г. Сервантес жил в Мадриде. Здесь он вступил в члены «Братства святейшего таинства». В 1613 г. вышли его «Назидательные новеллы» (No-

Сервантес (с гравюры XVIII в.)

velas ejemplares»), в 1614 г. — сатирическая поэма «Путешествие на Парнасс», в 1615 г. — «Восемь комедий и интермедий». В том же 1615 г. Сервантес опубликовал второй том «Дон Кихота». Уже после смерти писателя увидело свет его последнее крупное произведение — авантюрный роман в манере Гелиодора (греческий писатель эпохи эллинизма) «Персилес и Сикизмунда».

На русском языке лучшие переводы «Дон Кихота» принадлежат М. Ватсон, и Б. Кржевскому и А. Смирнову (изд. Academia). «Назидательные новеллы» вышли в изд. Academia (перевод и примечания Б. Кржевского, вступительная статья Ф. Кельина, 1934 г.). Интермедии переведены Н. А. Островским.

Из трагедии

«НУМАНСИЯ».

[Сюжетом трагедии Сервантеса является четырнадцатилетняя героическая борьба жителей испанского города Нумансии с римским войском, возглавлявшимся Сципионом Африканским. Римские силы, осаждавшие город, состояли из восьмидесяти тысяч человек, защитников Нумансии было всего 4 тысячи. Когда римляне, наконец, вступили в город, они не нашли в нем ни одного живого человека. В героический сюжет Сервантес вплетает патетическую историю любви Морандро и Лиры. В пьесе выступают аллегорические фигуры: Война, Голод, Испания, Слава и др. Белый стих сочетается в пьесе с октавами, терцинами и редондильями. Время действия трагедии приурочено к последним дням осады. В городе свирепствует голод, силы защитников истощаются.]

ХОРНАДА ТРЕТЬЯ.

Морандро.

О Лира, не беги бегом,
Прошу тебя остановиться.
Дай перед смертью насладиться
Благами жизни нам вдвоем.
Дай мне хотя бы на мгновенье
На красоту твою глядеть.
Так много мне пришлось терпеть;
Так я страдал от нетерпенья.
Тебя не видя на яву,
Я видел сны; но исходила
Гармонии такая сила
В них от тебя, что я живу!
Душа души моей! Но тучи
Собрались на твоем лице...

Лира.

Они — от дум о том конце,
Что предстоит нам, неминучий.
Конец, не связанный с войной,
Не в ней конец твоей надежде
Расстаться нам придется прежде
Конца войны — тебе со мной.

[a] Родители Лиры отложили свадьбу дочери и Морандро до конца войны.

Морандро.

О солнце дней моих! Ужели...

Лира.

Я голодаю до того,
Что скоро справит торжество
Царь-голод у моей постели.
Какое наслажденье дать
Могу, когда я смерти лютой,
Голодной, с каждою минутой
Должна покорно ожидать?
Брат — в обмороке. И причина —
Все тот же голод. Умерла
Мать от того же. Так была
Мучительна ее кончина.
Меня же только потому
Убить не мог доныне голод,
Что дольше — кто здоров и молод —
Сопротивляется ему.
Но так как столько долгих дней
Нет неоткуда подкреплений, —
Напор дальнейших наступлений
Снести ли юности моей?

Морандро.

Отри глаза! Сдержи рыданья!
Пусть реки слез из глаз моих
Текут, чтобы посредством их
Я облегчил твои страданья.
Какой ты тяжкий груз несешь!
Но к бодрости тебя зову я.
Знай, Лира, ты — пока живу я —
Голодной смертью не умрешь!
И ров и стену перепрыгнуть
Берусь, и в смерти дверь войти,
Чтоб от нее тебя спасти,
И чтоб на жизнь тебя воздвигнуть.
Тот хлеб, что римлянин берет
Чтоб есть, я вырву не робея,
И изо рта его — тебе я
Переложу в любимый рот.
Я жизни Лиры дать опору
Хочу хоть через смерть мою:
Мне смерть вдвойне, что застаю
В таком отчаяньи сеньору.

Парча и пурпур, смятые жестоко,—
У самого костра в огромных грудах...
И все сгорит... Ничто не уцелеет!
Рук у костра враг жадный не нагреет.

(Проходит женщина; один ребенок у нее на руках, другого она ведет за руку.)

Мать.

Не жизнь, агония у нас!
Кто вынести такую может?

Сын.

Мать, мать! Вдруг кто-нибудь предложит
Кусочек хлеба нам сейчас...

Мать.

Ни хлеба, ни чего другого,
Что можно есть, нельзя нам ждать...

Сын.

Нельзя? — Я погибаю, мать,
От голода такого злого!
Я замолчу, когда дадите
Кусочек маленький один!

Мать.

Как мучаешь меня ты, сын!

Сын.

Так как же, мать? — вы не хотите?

Мать.

Хочу! Но где мне отыскать? —
Никто ни крошки не уступит.

Сын.

Купить вы можете. Иль купит
Сын, если не умеет мать.
Но чтобы продавцу отдать я
За одолженье тем же мог,
За маленький один кусок,
Мать, суну я все наше платье.

Мать.

Несчастное созданье! вновь
К моим соскам ты присосалось?
В них много ль молока осталось?
Да ничего! А пьешь ты кровь.

Ну, тело матери кусками
Глотай; ну, рви на части мать.
Тебя не может поднимать
Она иссохшими руками.
Сыны души моей! Чего
От матери вы захотели,
Вот плоть моя! Но в этом теле
Нет для еды вам ничего!

Сын.

Куда мы шли, идем скорей.
Я умираю, мать, и ноги
Закоченели. На дороге
И голод кажется сильней.

Мать.

Вот, близко перед нами дом,
Откуда мы в огонь уж сбросим
Ту тяжесть, что с собою носим,
Мой милый сын, с таким трудом.

(Входят.)

Конец третьей хорнады.

ХОРНАДА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сципион, Югурта, Квинт Фабий, Кай Марий; с ними несколько римских солдат.

Сципион.

Но если только я не ошибаюсь,
И ложными нельзя назвать те знаки,
Что подаются нам о положеньи
У осажденных, — в этом громком шуме,
В рыданьи, в плаче, в пламени высоком, —
То места нет для страха и сомненья,
И ясно всем, что варварская ярость
Врагов на них самих же обратилась.
Нумансианцев не видать на стенах,
Нет часовых обычной переклички;
И лагерь их ведет себя спокойно
По отношенью к нам, как будто в мире
Свирепый враг, а не воюет с нами.

Марий.

Ты скоро можешь все узнать наверно. —
Не хочешь ли тебе я предлагаю —
Хоть знаю все опасности, что могут
Представиться, — я на стену залезу

С той целью, чтобы рассмотреть получше
Чем заняты сейчас нумансианцы.

Сципион.

Итак, о Марий! лестницу достанешь
И сделаешь мне все, что обещаешь.

Марий.

Несите лестницу скорей. Эрминий,
Распорядитесь мне доставить панцырь
И белый шлем с забралом мой пернатый.
Клянусь, что если жизни не лишусь я,
Так о врагах наш лагерь все узнает.

Эрминий.

Изволь взглянуть: вот шлем тебе и панцырь...
А вот и лестницу несет Олимпий.

Марий.

Вы за меня Юпитеру молитесь
Великому. Готовлюсь я исполнить
Обещанное вам.

Сципион.

Колена выше
Приподымай, когда полезешь, Марий.
Все тело подбирай, спусти забрало.
Доволен я, что так уж высоко ты...
Что видишь?

Марий.

Что это, святые боги!

Югурта.

Чему ты изумляешься?

Марий.

Тому, что
Передо мной озера красной крови;
По улицам Нумансии простерты
Тысячи трупов.

Сципион.

А живых не видно?

Марий.

Живых, должно быть, нет. По крайней мере
Никто не попадает в поле зренья.

Сципион.

Так спрыгни вниз; все рассмотри подробно.
(Кай Марий прыгает со стены в город.)
За ним последуй ты, мой друг Югурта,
И все последуем.

Югурта.

Такая спешка
Не отвечает положенью дела.
Умерь свой пыл, начальник храбрый. Будем
Ждать возвращенья Мария с отчетом
О том, что происходит в этом дерзком
Их городе. Держите хорошенько
Мне лестницу. О, праведное небо,
Вот зрелище ужасное и вместе
Прискорбное встает перед глазами...
Какое странное! Горячей кровью
Вся полита земля. И всюду трупы,
На площадях, на улицах... Хочу я
Сам спрыгнуть вниз и разглядеть получше.

(Югурта прыгает в город, а Квинт Фабий говорит:)

Фабий.

Сомненья нет, зверей нумансианских
Их варварская ярость побудила,
Когда увидели, что не спастись им,
Свои подставить головы железу
Своих мечей... Предпочитают это
Тому, чтобы отдаться в руки наши
Победоносные, — чего возможность
Особенно отвратна им, конечно.

Сципион.

Когда один единственный остался
Из них в живых, — могу добиться в Риме
Признания того, что покорил я
Народец дерзкий тот, что римской славе
Врагом смертельным был; всегда упрям был
Во мненьях и бросался на любую
Опасность, как на праздник... Ни единый
Похвастаться не может римский воин,
Что шпагу повернуть нумансианца
Заставил он когда-нибудь. И храбрость
Отчаянная их на ратном поле
Причиною была, что применил я
К ним средство, применяемое к диким

Зверям. Я запер их [а]. И эта хитрость
Мне принесла триумф, который силой
Не мог я взять. Но кажется, однако,
Что Марий возвращается... Что скажешь?

(Кай Марий возвращается, соскакивая со стены. Он говорит:)

Марий.

Напрасно, хитроумный вождь и славный,
Громады войск у крепости столпились,
И часовых напрасен труд исправный.
О, наши в дым и в ветер превратились
Надежды на победу, на конечный
Исход счастливый, — что у нас родились.
Исход войны — нежданно быстротечный —
Нумансии конец без поражения, —
О них в народе память будет вечной.
Из тяжкого сумели положенья
Достойно выйти, вырвав твой заветный
Триумф из рук, — и смерти приближенье
Ускорив вольно. Оказались тщетны
Все наши планы. Римской мощи мало,
Коль с силой духа встретимся несметной.
Ужасной смертью тот народ усталый
Подвел итог страданию, что длится,
Счет бедствий предъявляя небывалый.
Нумансия успела превратиться
В озера крови; и в озера эти
На тело тело так и громоздится.
От тех цепей, которых нет на свете
Страшней и тяжелей, освобожденье
Народ их добыл, — от бичей и плети.
На площади горит без огражденья
Костер и пожирает скарба кучи
Домашнего — и тел нагроможденье.
И зрелище мне предоставил случай:
Я видел и могу вам рассказать я,
Как умирал Теогенес могучий [б].
Как посылая страшные проклятья
Своей короткой жизни, сразу прыгнул
Он яростному пламени в объятья
И закричал: «О, если б я подвигнул
Тебя, о Слава! — чтоб из наших мук ты
Песнь создала о том, какой достигнул

[а] Дабы сломить наконец сопротивление нумансианцев, Сципион велел окружить город высоким валом, и таким образом отрезать его от внешнего мира.

[б] *Теогенес* — нумансианский воин, умертвивший собственных детей, дабы они не попали в руки римлян.

Народ наш власти! Римлянин, вокруг ты
Гляди: твоя добыча дымом стала,
Тебе репье, а не цветы и фрукты!»
По городу я побродил немало,
То и другое на пути заметил,
Нумансианцев же — как не бывало, —
Ни одного я жителя не встретил,
Не мог к тебе ни одного живого
Взять пленника, который бы ответил
Нам толком, под влиянием какого
Чудовищного бреда те решили
Конца ускорить наступленье злого.

Сципион.

Они, как видно, чувств меня лишили
Мне свойственных, и варварски жестоким
Убийцею меня вообразили.
И я к ним с состраданием глубоким
Проникнуться — по мненью их — не в силах?..
Мне долгом продиктовано высоким
Прощать врагов, когда я победил их! —
Нумансианцам Сципион окажет
Большую милость. Он уже простил их.

Фабий.

Тебе Югурта поподробней скажет,
Сеньор, про все, что только знать желаешь...
Вот он спешит. Он все тебе расскажет.

(Югурта возвращается с той же стены.)

Югурта.

Напрасно, вождь, здесь ум свой напрягаешь!
В другом бы применение краю ты
Нашел тем знаньям, в коих ты не знаешь
Соперника. Нумансию свою ты
Оставь в покое. Все мертвы там. Только
Один там жив до нынешней минуты.
На этой башне угловой, насколько
Мне видно, в нерешимости парнишка
Стоит. Ну, щеголь! — Посмотреть изволь-ка!

Сципион.

Вот этого и хватит без излишка,
Чтоб Рим себя с победой мог поздравить
По праву; нам достаточен мальчишка.
Пойдем к нему, его в живых оставить
Нам важно; в виде пленника возможно
Живое доказательство представить...

(Вириато с башни:)

Вириато.

Что, римляне, ко мне так осторожно
Подходите? Боязнь свою умерьте:
В Нумансию войти теперь несложно.
Но я вам говорю, а вы мне верьте,
Что города ключи теперь ношу я
С собою, — города, где царство смерти.

Сципион.

За ними, юноша, и подхожу я;
Ужель сомненье у тебя явилось,
Что милости тебе не окажу я?

Вириато.

Не поздно ли ты предлагаешь милость?
Мне нечего с ней делать! И решенье
Суровое во мне уж укрепилось...
Я горькое имею утешенье:
Конец, моих родителей постигший
И родину, встает в воображеньи.

Фабий.

Ты, юноша, к скорбям и злу привыкший,
Ослеп! — Да, к свсему не видишь благу
Дороги — жизни цвет едва возникший!

Сципион.

Умерь, о юноша, свою отвагу,
И власти больше твоего размера
Вручи свою ты доблестную шпагу.
Словам моим крепка в народе вера.
Не грешен я обманом ни единым. —
Ждут не тюрьма тебя и не галера,—
Но сам себе ты будешь господином;
И будет у тебя богатств довольно,
На сколько станет жизни впереди нам...
Сойди ко мне — и сдайся добровольно.

Вириато.

Вся ярость нашего всего народа, —
Вот от него ты видишь пепла груды, —
Вся ненависть и вся его свобода,
Следы которой чуются повсюду;
Все это — кровь моя, моя природа,
В моей груди носить все это буду...

Наследник сил Нумансии не сдастся,
И покорить его вам не удастся.

О мой народ, любимый и несчастный,
Меня родивший, — сам же ставший прахом, —
Я на поступок с честью несогласный
Не отклонюсь посулами, ни страхом.
Пусть мне земля, пусть небосвод ненастный,
Пусть весь мне мир грозит бедой и крахом, —
Не будет так, народ, чтоб я не воздал
Сторицей тем, кто крепкий дух мой создал!

Хоть скрыться в башне страх меня заставил,
Страх смерти близкой, смерти неизбежной, —
Мне много сил и мужества прибавил
Народа моего конец мятежный.
Необходимо, чтобы я исправил
Невинный грех, грех молодости нежной...
Так будет: страх свой подлый, недостойный,
Я дерзкой смертью искуплю спокойный.

О храбрый мой народ! Мое вам слово, —
Помех решенью вашему не будет
Из-за меня и Рим у нас иного
Триумфа, кроме пепла, не добудет!
Коварный враг на мне споткнется снова,
Пусть мне предложит все что ни рассудит, —
Пусть к жизни дверь мне распахнет он шире
Ко всем благам, что существуют в мире.
Сдержитесь, римляне, уймите страсти,
И приступом брать стену не старайтесь!..
Будь больше сил у вас, — не в вашей власти
Меня вам взять, — вы в этом убеждайтесь!
Мое намеренье, хотя отчасти,
Вы поняли: итак, не поражайтесь,
Когда сейчас свергаюсь со стены я —
С любовью к вам, места мои родные!

(Он бросается со стены, а Сципион говорит:)

Сципион.

Гордиться можешь, юноша, по праву
Героев древности достойным делом.
Да! не одной Нумансии ты славу
Завоевал, Испании всей в целом!
Мне доблесть быть не может не по нраву,
Хотя себя своим паденьем смелым
Возвысил ты и спас свои знамена,
Победы честь отняв у Сципиона.

Ты будешь жить, мне славы не прибавит
Победа над страною непокорной.
Тебя в веках История прославит
Как победителя в войне упорной.
Высоко в памяти людской поставит
За то, что ты, отважный и проворный,
Упав с той башни, победитель вышел
Над тем, кто ниже пал, хоть был и выше...

(Гудит труба и выходит Слава.)

Слава.

Мой нежный голос, по земле греми,
И, в душах всех рождая отклик встречный,
Распространяй желанье меж людьми
Покрыть Нумансианца славой вечной.
Ты римлянин, восстань и подними
Прах юноши, что в жизни быстротечной
Мгновенным подвигом своим успел
Отнять у Рима славу громких дел.

Я, Слава, твердую питаю веру:
Вот как из мира, что лежит во зле,
На высшую восходит Небо сферу,
Давая силу бодрую земле, —
По этому высокому примеру
Нумансии — в единственном числе —
Провозгласить я доблесть буду в силе
На Полюс — с Полюса, от Батра к Тиле.
И в подвигах невиданных страны —
Залог той славы, что в веках грядущих
Все доблестной Испании сыны
Стяжают в испытаниях, их ждущих.
Ни времена, ни сроки не должны
Мешать мне в этом. Не боюсь идущих
С косою смерти призраков. Мою
Нумансию и мощь ее пою.

И эта гибель всех так велика, —
Нумансианцев гибель, — что по праву
Поэты в воспеваньи их века
Соревноваться будут по уставу.
Я выше вознесу, за облака,
Непобежденной силы павших славу, —
И в памяти народов навсегда
Засветится Нумансии звезда.

Конец хорнады четвертой и всей трагедии.

Из «НАЗИДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ»

ОБМАННАЯ СВАДЬБА

Из госпиталя воскресения христова, находящегося в Вальядолиде [1], за воротами Поединка, вышел военный. Уже по тому, что он опирался на шпагу, как на палку, по слабости его ног и по желтизне лица ясно было, что, несмотря на прохладную погоду, ему пришлось, должно быть, потеть дней двадцать, выпуская из себя болезнь, которую нагулял он, пожалуй, всего в один час. Он шел мелкими шагами и волочил ноги, как выздоравливающий. При входе в городские ворота, он заметил, что навстречу ему идет знакомый, которого он не видел по меньшей мере месяцев шесть. Этот последний стал часто осенять себя крестным знамением, как если бы увидел какое-нибудь страшное видение, и, подойдя ближе, сказал:

— Что я вижу, господин поручик Кампусано! Неужели вы живете здесь, в нашем городе? А я, честное слово, думал, что вы во Фландрии и уж, конечно, работаете там пикой, а не волочите по родной земле свою шпагу. Что означает ваша бледность и расслабленность?

Кампусано на это ответил:

— В вашем ли я городе или нет, сеньор лиценциат[a] Перальта, вы можете решить сами, так как вы меня здесь видите, а на другой ваш вопрос могу ответить, что я иду прямо из госпиталя, где только что «потел» от жестоких последствий дурной болезни, которою наградила меня женщина, взятая мною в жены, ну, а связываться с нею мне, конечно, не следовало.

— Так, вы, значит, женились? — осведомился Перальта.

— Да, — отвечал Кампусано.

— Должно быть, дело это началось с любовных проказ, — заметил Перальта, — а такие браки неизбежно приводят к раскаянию.

— Не знаю, стоит ли тут говорить о проказах, но женился я

---

[a] *Лиценциат* — баккалавр (низшая академическая ступень), допущенный до чтения лекций.

во всяком случае себе на горе, ибо от брака этого или, вернее, от докуки моей много терзаний претерпели душа и тело; и если от борьбы с телесными недугами сошло с меня сорок потов, то от духовных страданий не нашел я ни одного облегчающего средства. Однако простите меня, ваша милость, я не в состоянии вести долгую беседу на улице; как-нибудь в другой раз я с бо́льшим удобством изложу вам свои приключения, где попадаются такие необычайные и странные вещи, какие вашей милости вряд ли приходилось слышать.

— Нет, дело нужно устроить иначе, — сказал лиценциат. — Вы должны сейчас отправиться ко мне и закусить, что бог послал; олья[a] больному повредить не может, и хотя ее было заказано на двоих, слуге моему достаточно будет и пирога. Если же состояние здоровья вашего позволит, мы сдобрим олью несколькими кусками рутской ветчины, а главное — искренним расположением, с каким я все это предлагаю, и не только сейчас, но и всегда, когда будет угодно вашей милости.

Кампусано поблагодарил и принял приглашение. Они сходили к Сан-Льоренте, прослушали мессу, затем Перальта повел знакомца к себе домой, угостил, как обещал, еще раз повторил, что всегда будет рад ему служить, и по окончании еды пожелал узнать про события, которыми так прихвастнул военный.

Кампусано не заставил себя просить и начал рассказ следующим образом:

— Вы, конечно, хорошо помните, сеньор лиценциат Перальта, что в этом самом городе я снимал комнату вместе с капитаном Педро де-Эррера, находящимся ныне во Фландрии?

— Отлично помню, — ответил Перальта.

— Так вот однажды, — продолжал Кампусано, — когда мы за канчивали нашу трапезу в гостинице на улице Ла Солана, где м проживали, туда вошли две по виду знатные женщины с двумя сл жанками. Одна из них, прислонившись к окну, стала беседовать с капитаном, другая села в кресло рядом со мной, опустив покрывало до самого подбородка и показывая лицо лишь настолько, насколько позволяла прозрачность ткани. Хотя я учтиво просил ее об одолжении откинуть покрывало, уговорить ее было невозможно, и это еще сильнее разожгло мое желание ее увидеть.

Как бы для того, чтобы желание это возросло еще больше, сеньора (не знаю, умышленно или случайно) высвободила из-под плаща одну руку, очень белую и с отличными перстнями.

Был я тогда весьма наряден, в большой цепи, которую ваша милость, должно быть, видели, в шляпе с перьями и с дорогим убором, в костюме ярких цветов, как полагается солдату, а неразумие мое мне нашептывало, что я ферт-фертом и что мне сам чорт не брат.

И вот я просил ее откинуть плащ, а она на это ответила: «Оста-

[a] *Олья* — горячий винегрет с мясом.

вим это. У меня свой дом; ваш слуга может сходить следом за мной и узнать, где я живу; хотя я гораздо серьезнее, чем можно подумать на основании такого ответа, мне хочется все же посмотреть, такой ли вы умница, как и щеголь, а поэтому я буду очень рада, если вы меня навестите».

Я рассыпался в благодарностях за оказанную мне великую честь и, чтобы не остаться в долгу, посулил ей золотые горы. Капитан окончил беседу, дамы ушли, и один из моих слуг отправился следом за ними.

Капитан сообщил мне, что дама просила его передать несколько писем во Фландрию другому капитану, который, по ее словам, приходился ей двоюродным братом, тогда как товарищ мой знал, что то был ее возлюбленный.

Белоснежные ручки, увиденные мной, зажгли во мне пожар; я умирал от желания взглянуть на лицо незнакомки. На следующий день слуга провел меня, и меня беспрепятственно впустили. Я увидел отлично обставленный дом и женщину лет тридцати, которую угадал по рукам. Необычайно красивой она не была, но была красивой в такой мере, что при знакомстве можно было в нее влюбиться, ибо голос ее отличался столь нежным тоном, что через уши проникал до самой души.

Пошли у меня с нею долгие любовные речи: я хвастал, сочинял, привирал, предлагал, обещал и делал все, что находил нужным, для того чтобы ей понравиться, а так как она, очевидно, привыкла слушать такие, а то, пожалуй, и более лестные речи и предложения, то показалось мне, что она только из любезности преклоняла к ним слух, но не придавала им особенной веры. Одним словом, беседы наши за несколько дней постоянных посещений проходили больше «в цветочках», и все не удавалось сорвать «ягодку», которой хотелось. За то время, что я ее навещал, я ни разу не видел в доме посторонних: не появлялось там ни подставных родственников, ни настоящих друзей дома. Ей прислуживала одна девушка, скорей продувная, чем простушка.

И вот, поступая в любви, как солдат, которому завтра нужно в поход, я стал осаждать донью Эстефанию де-Кайседо (это имя той, что довела меня до нынешнего состояния), и она сказала мне следующее:

«Господин поручик Кампусано, было бы глупо с моей стороны выдавать себя за святую: грешницей я была и теперь ею являюсь, но не такой все же грешницей, чтобы обо мне судачили соседи и осуждали люди со стороны. Ни от родителей своих, ни от родственников я не получила никакого наследства, а между тем обстановка моего дома стоит добрых двух с половиной тысяч эскудо [3], и все это в вещах, которые, если продать их с торгов, так же нетрудно

[3] *Эскудо* — испанская золотая монета, равная 11 серебряным реалам, 400 мараведисам.

обратить в деньги, как сказать, что они продаются. Имея такое состояние, я хочу найти себе мужа, чтобы поручить ему себя и во всем его слушаться; я обещаю ему исправить свое поведение, а также служить и угождать ему с величайшим старанием, ну, а более искусного повара, умеющего так приправить жаркое, как это делаю я, когда захочу показать себя хозяйкой и возьмусь за дело, и у иного князя, пожалуй, не сыщешь. В доме я веду себя что твой дворецкий; на кухне — я кухарка, в комнатах — сеньора; я умею приказать и умею сделать так, чтобы меня слушались. Деньгами я не сорю; а откладывать умею много; когда по моему указанию тратится реал, стоит он не меньше, а, пожалуй, побольше реала. Белье, какое у меня есть, — а его у меня много и хорошего, — не покупала я ни в лавках, ни у торговцев, а пряла сама со своими служанками, и если бы можно было дома ткать, то и соткали бы сами. Я сама произношу себе похвалы и не вижу в этом ничего позорного, ибо это вызывается необходимостью; одним словом, я хочу сказать, что ищу себе мужа для того, чтобы он меня защищал, распоряжался мною и приумножил мою честь, а не любовника, который бы только ухаживал и ронял мое доброе имя. Если вашей милости угодно принять мое предложение, я во всем пойду вам навстречу и подчинюсь всем вашим приказаниям, но я ни в коем случае не стану «продавать себя с торгов», а ведь к этому сведется дело, если мы обратимся к сватам, да к тому же лучшего свата, чем сами заинтересованные стороны, для окончательного соглашения не сыщешь».

Так как разум у меня находился в то время не в голове, а где-нибудь под пяткой, предстоящее блаженство рисовалось мне еще заманчивее, чем подсказывало воображение, а размер состояния обозначался с такой очевидностью, что я мысленно уже переводил его на деньги. Уступив мыслям, которые нашептывала мне жажда наслаждений (а она набросила на мой ум свои путы), я объявил даме, что, поскольку небо чудесным образом посылает мне такую спутницу жизни, я почту за великую удачу и счастье сделать ее госпожей души моей и моего состояния, которого, несмотря на всю его скромность, наберется вместе с шейной цепью, драгоценностями, находящимися у меня дома, и с тем, что можно будет выручить от продажи моих военных нарядов, больше чем на две тысячи дукатов. Если соединить их с ее двумя с половиной тысячами, получится сумма, достаточная для того, чтобы удалиться на житье в деревню, откуда я был родом и где была у меня кой-какая недвижимость; прибавив ее к деньгам, мы составим такой капитал, что при условии своевременной продажи урожаев нам будет обеспечено приятное и беспечальное существование.

Итак, в этот день мы порешили, что вступим в брак, и уговорились о том, каким образом следует законно установить свое холостое состояние: три праздничных дня, случившихся подряд, были употреблены на оглашение, а на четвертый день мы повенчались.

На свадьбе присутствовало двое моих знакомых и еще один юноша, которого донья Эстефания назвала своим двоюродным братом.

Я обошелся с ним по-родственному и обратился к нему с самыми учтивыми словами; впрочем, надо сказать, что только такие слова и слышала от меня тогда моя супруга. Делалось все это с умыслом, и таким коварным и нечистым, что хочу я о нем умолчать, ибо, конечно, говорю я вам всю правду, но все-таки не так, как на исповеди, когда ничего пропускать не полагается.

Слуга принес мой сундук из гостиницы в дом моей жены. На ее глазах я положил туда свою чудесную цепь, показал ей еще три-четыре цепи, не такие большие, но зато более тонкой работы, а также несколько щляпных уборов разных фасонов; я разложил перед ней свои наряды и страусовые перья и вручил ей для расходов по дому около четырехсот реалов.

Шесть дней вкушал я от радостей медового месяца; хозяйничал так, «как поганый зять в доме богатого тестя», ступал по роскошным коврам, спал на голландском полотне, светил себе серебряными подсвечниками, завтракал в постели, вставал в одиннадцать, закусывал в двенадцать, а в два часа справлял сьесту[а] в гостиной, где донья Эстефания с прислужницей наперерыв старались мне угодить.

Слуга мой, который раньше всегда отличался леностью и неповоротливостью, вдруг обратился в резвого оленя.

Если донья Эстефания хотя бы на минуту не была подле меня, это значило, что она находится на кухне и вся ушла в приготовление рагу, которое должно было оживить мой вкус и возбудить аппетит.

Мои рубахи, воротники и платки превратились в цветники Аранхуэса[3]: так они благоухали от опрыскивания английской и апельсинной водой, проливавшейся на них в изобилии.

Дни эти не прошли, а пролетели так, как летят годы, покорные непреложному течению времени. Увидев, что меня так холят и пестуют, я стал менять в эти дни дурное намерение, с которым начал было это дело, на хорошее. Однако к концу этих дней раздались однажды утром (когда мы с доньей Эстефанией были еще в постели) сильные удары в наружную дверь.

Служанка выглянула в окно, тотчас же отошла от него и сказала:

А, добро пожаловать! Но скажите, как же это она приехала раньше, чем на-днях нам в письме писала?

— Что это за особа приехала, девушка? — осведомился я.

— Кто приехал? — отвечала она. — Это сеньора донья Клемента Буэсо, а с ней вместе сеньор дон Лопе Мелендесде Альмендарес с двумя слугами и дуэнья Ортигоса, которую она брала с собой.

— Беги, девушка, и открой им, пожалуйста, — проговорила в это время донья Эстефания, — а вы, сеньор, если меня любите, не волнуйтесь и не вступайтесь за меня, что бы вы тут ни услышали.

— Да кто же посмеет говорить оскорбительные для вас вещи,

[а] *Сьеста* — полуденный отдых.

ос обливо когда здесь присутствую я? Объясните мне, кто эти лю оди; я вижу, прибытие их вас взволновало.

— Сейчас не время объяснять, — сказала донья Эстефания, — за метьте, однако: что бы тут ни произошло, все это делается на рочно и имеет в виду определенное намерение и цель, о которых вы уз знаете позже.

Я хотел было возразить ей, но мне помешала это сделать се еньора донья Клемента Буэсо, вошедшая в залу в платье из тис не ного зеленого атласа со множеством золотых позументов, в плаще из той же материи с зеленой отделкой, в шляпе с желтыми, белыми и красными перьями, украшенной богатым золотым убором, причем

Группа испанских дворян (с картины Веласкеса, 1569—1660 г.)

половина лица ее была закрыта тонкой вуалью. С нею вместе по явился сеньор дон Лопе Мелендесде Альмендарес в пышном и богатом дорожном наряде.

Первой заговорила дуэнья Ортигоса, воскликнувшая:

— Господи Иисусе, что я вижу? Ложе госпожи моей, доньи Клементы, занято, да к тому же еще мужчиной! Чудеса творятся сегодня в этом доме! Поистине, сеньора донья Эстефания хватила через край и зло потребила дружбой моей госпожи.

— Вспомни мое слово, так оно и есть, Ортигоса, — произнесла донья Клемента. — Впрочем, я сама во всем виновата; боюсь, как бы мне не пришлось раскаяться в выборе подруги, вошедшей ко мне в доверие тогда, когда это ей показалось выгодным.

На эти слова донья Эстефания ей ответила:

— Не сердитесь, сеньора донья Клемента, помните, что во всем происходящем есть некоторая тайна, а когда вы ее узнаете, я уверена, вы не станете винить меня и гневаться больше не будете.

В это время я уже надел штаны и камзол. Донья Эстефания взяла меня за руку, вывела в другой покой и там открыла, что подруга ее желает одурачить дона Лопе, который прибыл вместе

с нею и которого она наметила себе в мужья; что вся шутка в том, чтобы убедить его, будто этот дом и вся обстановка принадлежат ей, и сделать вид, будто это — ее приданое. Если брак будет заключен, донья Клемента не побоится огласить свой обман, так как она уверена в безграничной любви дона Лопе.

— Добро мое тотчас же отойдет ко мне обратно, и никто, конечно, не поставит в вину ни ей, ни всякой другой женщине, подыскивающей себе хорошую партию, что она готова ради того сплутовать, — закончила донья Эстефания.

Я возразил ей, что она чересчур далеко заходит в своей дружбе и что дело это следует тщательно обдумать, а иначе ей придется, чего доброго, обращаться к суду для получения обратно своего имущества.

В ответ на мои слова она привела столько доводов и столько всевозможных обязательств, вынуждавших ее быть к услугам доньи Клементы в самых серьезных делах, что я — правда, неохотно и вопреки голосу разума — должен был уступить желанию доньи Эстефании, а она стала уверять меня, что комедия эта продлится только неделю, которую мы проведем в доме одной ее знакомой.

После того как мы окончательно оделись, донья Эстефания пошла проститься с сеньорой Клементой Буэсо и сеньором Лопе Мелендесде Альмендарес, а я, велев слуге забрать наш сундук и итти следом за женой, покинул дом, ни с кем, разумеется, не прощаясь.

Донья Эстефания вошла в дом своей приятельницы и перед тем, как впустить меня, долго разговаривала с нею наедине; после этого появилась служанка и сказала, что я и мой слуга можем войти. Она провела нас в тесную комнату с двумя кроватями, стоявшими так близко, что казалось, будто это одна кровать; промежутка между ними не было, и простыни их касались друг друга.

Мы прожили там шесть дней, и за все время у нас часу не проходило без ссоры, причем я доказывал жене, что оставлять свой дом и имущество — глупо; глупо даже тогда, когда делается это для родной матери.

Каждую минуту я снова твердил ей то же самое, так что однажды наша хозяйка в отсутствие доньи Эстефании, заявившей, что она пойдет посмотреть, в каком положении находится дело, пожелала выведать у меня причину моих неладов с женой и понять, какую такую вещь она сделала, чтобы ее так попрекать и говорить, что «это, мол, беспримерная глупость, а совсем не сердечная дружба». Я изложил ей все по порядку, и когда я начал рассказывать, как я обвенчался с доньей Эстефанией, какое приданое она принесла с собой и как неразумно предоставила свой дом и имущество донье Клементе, желая помочь ей заполучить такого родовитого мужа как дон Лопе, хозяйка моя стала часто призывать имя божие и так часто креститься и бормотать «господи Иисусе, ну, и женщина», что повергла меня тем в большее смущение.

Потом она сказала:

— Сеньор поручик, вряд ли я поступлю против совести, если открою вам всю правду; могу я, конечно, и промолчать, но на душе у меня будет неспокойно. Ну, будь, что будет; да здравствует истина и да сгинет обман! Дело в том, что законной собственницей дома и имущества, принесенного вам в приданое, является донья Клемента Буэсо; все, что вам рассказала донья Эстефания, — ложь, ибо нет у нее ни денег, ни имущества, нет даже другого платья, кроме того, что на ней надето; время и место для этого обмана нашлось потому, что донья Клемента отправилась навестить своих родственников в город Пласенсию и ездила на богомолье к Гуадалупской богоматери. Присмотр за своим домом она поручила донье Эстефании, которая, действительно, ее большая приятельница; за всем тем, однако, если здраво рассудить, не приходится строго взыскивать с бедной женщины, сумевшей залучить себе в мужья такую особу, как сеньор поручик.

Этим она закончила свою речь, а я едва не впал в жестокое отчаяние, и так бы оно, конечно, и было, если бы хоть на ничтожную толику пренебрег мой ангел-хранитель делом моей охраны и не поспешил шепнуть моему сердцу, что я — христианин и что величайшим грехом для человека является отчаяние, ибо это есть грех дьявольский.

Эта мысль или, вернее, счастливое озарение меня несколько успокоило, но не настолько, однако, чтобы помешать мне схватить свой плащ и шпагу и отправиться на поиски доньи Эстефании с намерением учинить над ней примерную расправу; впрочем, случайность, про которую не смогу сказать, ухудшила ли она или улучшила мое положение, сделала так, что ни в одном из тех мест, где я думал повстречать донью Эстефанию, ее не оказалось.

Я отправился в Сан-Льоренте, помолился богоматери, сел там на скамью, и от тоски напал на меня такой тяжелый сон, что, если бы меня не разбудили, я бы не скоро проснулся. Полный раздумья и уныния, я направился к жилищу доньи Клементы и увидел, что она тихо и спокойно владеет своим добром; я не посмел сказать ей ни слова, ибо тут же стоял дон Лопе. Я вернулся домой и узнал от хозяйки, что она уже рассказала донье Эстефании про то, как мне стало известно про ее обман и хитрость. Донья Эстефания, оказывается, справилась, какой у меня был вид при этом известии, и узнала, что вид был очень плохой и что я отправился искать ее с недобрыми намерениями и мыслями; в заключение хозяйка сказала, что донья Эстефания забрала с собой все, что было у меня в сундуке, оставив мне только дорожное платье.

Минута была ужасная; и снова удержал меня бог своею рукой; я пошел взглянуть на сундук и увидел, что он открыт и пуст, как могила, ожидающая тела покойника; мне несомненно пришел бы тогда конец, если бы в ту минуту у меня хватило сил осознать и почувствовать столь великое несчастье.

— Еще бы не несчастье! — произнес лиценциат Перальта. — Ведь сеньора Эстефания унесла с собой целый ворох цепей и

шляпных уборов; все мы отлично знаем пословицу: были бы деньги, а с ними всякое горе стерпится.

— Пропажа эта меня нисколько не огорчила, — возразил поручик, — я ведь тоже могу сказать: «решил наш дон Симуэке, что подсунул мне кривую дочку, а я, ей-богу, сам кривобокий».

— Не понимаю, в каком смысле вы употребили эту поговорку, — заметил Перальта.

— А в том смысле, — ответил поручик, — что весь мой ворох цепей, уборов и украшений стоил всего-навсего десять-двенадцать эскудо.

— Не может быть! — воскликнул лиценциат. — Ведь в той цепи, которую вы носили на шее, золота было не меньше, чем на двести дукатов.

— Да, пожалуй, если бы только ее достоинство соответствовало видимости, но «не все то золото, что блестит»: цепи, уборы, драгоценности и украшения были просто-напросто из латуни, но сделаны так хорошо, что разве только пробный камень или огонь могли бы обнаружить подделку.

— Итак, — произнес лиценциат, — про вашу милость и сеньору Эстефанию можно сказать: «вор у вора дубинку украл».

— Украсть-то украл, — ответил поручик, — но, собственно, не грех было бы начать сначала. Вот что плохо, сеньор лиценциат: она сумела, конечно, разделаться с моими цепями, а вот мне от лживости ее нрава не легко: что там ни говори, а она все-таки моя избранница.

— Возблагодарите господа, сеньор Кампусано, — сказал Перальта, — что избранница ваша оказалась с ногами и ушла от вас сама и что вы не обязаны ее разыскивать.

— Так-то оно так, — заметил поручик, — а из головы она у меня не идет, хотя сам я ее не ищу; где бы я ни находился, а обида всегда со мной.

— Не знаю, что вам на это сказать, — произнес Перальта, — разве напомнить двустишие из Петрарки, гласящее:

Che chi prende diletto di far frode,
Non si de'lamentar s'altri l'inganna, —

что в переводе на наш язык означает: «кто имеет привычку обманывать и находит в том удовольствие, тот не должен пенять на человека, который обманет его самого».

— Я и не пеняю, я о себе самом сокрушаюсь, — возразил поручик, — ведь от одного сознания своей вины виновный не перестает еще чувствовать боль наказания. Отлично понимаю, что хотел обмануть, а обманутым оказался сам и что побили меня моим же собственным оружием, но я не могу в такой мере владеть своими чувствами, чтобы не пожалеть самого себя. Итак, чтобы подойти к самому главному в этой истории (изложенные мною события вполне уместно назвать историей), добавлю следующее. Я узнал, что донью Эстефанию увез ее двоюродный брат, который, как я

уже упоминал, присутствовал при нашем браке и который уже с давних пор был ее другом во всех обстоятельствах жизни. Разыскивать ее я не стал, не желая навлекать на себя новых бед. Я переменил место своего жительства, а немного дней спустя пришлось переменить и «шорстку»: стали у меня выпадать брови и ресницы, а затем мало-помалу выпали все волосы, и сделался я раньше времени лысым, ибо объявилась у меня болезнь, называемая луписия, а если назвать более прозрачным именем — «пеларела» [a]. Оказался я в полном смысле слова «голышом», потому что и причесывать и тратить мне было нечего. Полезнь моя шла нога в ногу с бедностью, и так как бедность губит нашу честь и приводит кого на виселицу, кого в госпиталь, а иного заставляет с просьбами и унижениями стучаться в дверь своего врага (что является самым горьким испытанием для человека несчастного), я, дабы не истратить на лекарства свое платье (от которого по выздоровлении будет мне тепло и почет), дождался времени, когда начинается пора «потения» в госпитале воскресения христова, получил там койку и отпотел сорок потов. Говорят, что если буду беречься, то выздоровлю. Шпага моя при мне, а все прочее бог пошлет.

ПРЕЗРЕНЬЕ.

Как аспид злой отравой
Питается своею,
Так, я, о друг жестокий,
Живу твоим презреньем.

Желал бы я забыться,
Пылать твоим гореньем,
Но я страшусь иного:
Ты снега холоднее.

Не штиль мне нужен — буря,
Не гавань, а крушенье.
Я от тебя погибну,
Как бабочка от свечки.

Презренье я глотаю,
Как страусы — железо.
Его даешь мне вволю.
Чем заслужил я это?

Хоть делом оскорбляешь
Меня немилосердно,
Но у меня не сыщешь
И в мыслях оскорбленье.

Весна с своей отрадой
Уж наступает третья,
Но в сердце — зимний холод,
Хоть зелены деревья —

Нальется плод их сочный;
Они живут надеждой.
Что породить могу я?
Лишь горечь, вздохи, пени!

Согласен! Виноват я,
Что флюгер — я, ты — ветер.
Так насылай ты пору
Ненастья, града, снега.

Чтоб с этим злом бороться,
Как шубою из меха,
Страданьем охранюсь я
И огражусь терпеньем.

Все также я страдаю;
Хоть уж тридцатый месяц
Луна свой цикл проходит,
Всегда она в ущербе.

[a] *Луписия, пеларела* («линяние», «линючка») — синонимы сифилиса.

Все терпит перемену,
Одна ты неизменна:
К моим словам нема ты,
Глуха к моим моленьям.

Пусть будет так, как было,
Боюсь я изменений.
Боюсь, чтоб не настала
Взамен презренья — ревность.

О, нет, я не согласен,
Уж я привык к презренью,
Хоть это и печально,
Но ревность тяжелее.

Я счастья недостоин,
Твоя пугает прелесть.
Стремленья все бессильны.
Не для меня все это.

Как это в снах бывает,
Приснится ль мне блаженство,
Я просыпаюсь в страхе
За дерзкое виденье.

Вот до чего я дожил, —
Не мучусь лишь во сне я,
Мечты ж мои преступны,
И видеть сны не смею.

Что мило мне, я знаю
Тебе уж не по сердцу,
И мне осталось только
Забыть свои хотенья.

Смотри вперед, назад, далече 363
Долги людей порабощают . . . . . —
19. *Белло:*
Апрель — пер. Ю. Н. Верховского 364
Луна, несущая среди ветвей лампаду — пер. М. М. Казмичова 365
Камень цвета воды — пер. С. Пинуса . . . . . —

Драматургия французского Возрождения

20. *Жодель:*
Монолог Дидоны из трагедии «Дидона, приносящая себя в жертву» — пер. С. Пинуса. 367
21. *Гарнье:*
Диалог Цезаря и Антония из трагедии «Корнелия» — пер. С. Пинуса 369
Хор из трагедии «Седекия, или Взятие Иерусалима» — пер. Ю. Н. Верховского 370
22. *Лариве:*
Из комедии «Духи» — пер. Г. И. Ярхо 371

Поэзия гугенотов

23. *Пророчество о злоупотреблении священников, монахов и бритых* — пер. С. Н. Протасьева 376
24. *Песня трубачей французской армии* — пер. С. Н. Протасьева 377
25. *Дю Барта:*
Из «Недели» — пер. С. Н. Протасьева. 378
26. *Д'Обинье:*
Ветров и волн изведав ад 380
Надгробные стихи на смерть Э. Жоделя — пер. В. Я. Парнаха 381
Из «Трагических поэм» — пер. В. Я. Парнаха . . . . . —
27. Из *«Менипповой сатиры»* — пер. и прим. Г. И. Ярхо, стихи в пер. О. Б. Румера 391
28. *Монтень:*
Из «Опытов» — пер. Г. И. Ярхо 397

IV. АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Томас Мор:*
Из «Утопии» — пер. А. И. Малеина 406

Народные баллады

2. *Сэр Патрик Спенс* — пер. О. Б. Румера 417
3. *Два ворона* — пер. О. Б. Румера 420
4. *Увы, Увы!* — пер. О. Б. Румера 421
5. *Дочь исполнителя баллифа* — пер. О. Б. Румера 422
6. *Робин Гуд и Гай Гисборн* — пер. Н. С. Гумилева 423
7. *Скельтон:*
Из «Колин Клаута» — пер. О. Б. Румера 430

Поэзия английского Возрождения

8. *Уайет:*
Лютня любовницы — пер. О. Б. Румера. 432
Жизнь при дворе — пер. О. Б. Румера. 433
9. *Серрей:*
Сонет — пер. О. Б. Румера. 435
Затворение в Виндзоре — пер. О. Б. Румера. 437
Размышления о том, как достигнуть счастливой жизни — пер. О. Б. Румера. 439
10. *Спенсер:*
Сонет — пер. О. Б. Румера 409
Из «Пастушеского календаря» — пер. О. Б. Румера 4
Из «Королевы фей» — пер. С. Н. Протасьева. 426
11. *Сидней:*
Сонеты — пер. О. Б. Румера. . . . .
Из «Апологии поэзии» — пер. Г. И. Ярхо . . . . .
12. *Шекспир:*
Сонеты 66, 130, 132, 133, 137, 139, 141, 143. пер. О. Б.

13. Ралей:
Сонет — пер. О. Б. Румера 456
Ложь — пер. О. Б. Румера 457
14. Донн:
Песнь — пер. О. Б. Румера 458
Прощание без слов — пер. О. Б. Румера. 459
Экстаз — пер. О. Б. Румера 460

Роман английского Возрождения:

15. Лили:
Из «Эвфуэса» — пер. Б. И. Ярхо 461
16. Лодж:
Из «Розалинды» — пер. С. Н. Протасьева 467
17. Нэш:
Из «Злополучного странствователя» — пер. В. Лесевича 476
18. Делони:
Джек из Ньюбери — пер. О. М. Новиковой 481
19. Бекон:
Из «Новой Атлантиды» — пер. Н. В. Хвостова 487

Елизаветинская драма

20. Гейвуд:
Забавная комедия о муже Джоане Джоане, о жене его Тиб и священнике сэр Джане — пер. С. Н. Протасьева 497
21. Грин:
Веселая фантастическая комедия о Джорже Грине, полевом стороже Уэкфильда — пер. С. Н. Протасьева 512
22. Марло:
Из «Трагической истории д-ра Фауста» — пер. К. Д. Бальмонта 540
23. Бен Джонсон:
Из Варфоломеевой ярмарки — пер. З. Соколовой 550
24. Вебстер: . . . .
Из трагедии «Белый дьявол, или Виттория Коромбона» — пер. И. А. Аксенова 563
25. Бомонт и Флетчер:
Из комедии «Рыцарь пламенеющего пестика» — пер. А. А. Аникста и М. Д. Заблудовского 573
26. Деккер:
Из комедии «Добродетельная шлюха» — пер. И. А. Аксенова 582

V. ИСПАНСКАЯ И ПОРТУГАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Народные испанские романсы:
Романс о Химене Гомес — пер. Б. И. Ярхо 603
Сид и папа римский — пер. Б. И. Ярхо 604
Романс о мавританском короле, который потерял Альгаму — пер. С. Н. Протасьева 605
Романс об утренней розе — пер. С. Н. Протасьева 607

XV век

Сантильяна:
Сонет — пер. О. Б. Румера 608
Пословицы — пер. О. Б. Румера . . . . —
Карвахаль:
Песнь — пер. О. Б. Румера 610
Серранилья — пер. О. Б. Румера . . . . —
Хорхе Манрике:
Стансы на смерть отца, капитана дон Родриго — пер. О. Б. Румера. 611
[illegible]звестные авторы XV в.:
Песня [illegible] Ма[illegible]ченного — [illegible]В. Я. Парнаха 616
[illegible] — пер. В. Я. [illegible]аха . . . . —

6. Анонимные строфы против короля Генриха IV — пер. С. Н. Протасьева 616
7. Из «Селесгины» — пер. и прим. А. И. Рубина 619

XVI век

Первые опыты ренессансной драмы в Испании и Португалии

8. Энсина:
Эклога об оруженосце, который сделался пастухом — пер. С. Н. Протасьева 637
9. Висенте:
Ауто о святом Мартине — пер. С. Н. Протасьева 645
Из фарса «Погонщики мулов» — пер. О. Б. Румера 648
Если спишь, моя голубка — пер. О. Б. Румера. 652
10. Лопе де Руэда:
Оливы (интермедия) — пер. С. С. Игнатова. 653

Испанская и португальская поэзия XVI в.

11. Гарсиласо де ла Вега:
Эклога — пер. С. Н. Протасьева 656
Сонет X — пер. М. В. Талова 660
Сонет XI — пер. М. В. Талова 661
12. Монтемайор:
Глоса — пер. О. Б. Румера 662
13. Кастильехо:
Сонет — пер. М. В. Талова 663
Песня: Очи милой — пер. М. В. Талова . . . . . —
Вильянсико — пер. М. В. Талова 664
Глоса о красавице, несчастной в замужестве — пер. М. В. Талова . . . . —
Жизнь при дворе — пер. М. В. Талова 665
14. Луис де Леон:
Блаженная жизнь — пер. О. Б. Румера 666
Тюрьма — пер. В. Я. Парнаха 668
15. Камоэнс:
Из «Лузиад» — пер. М. И. Травчетова 670
Сонеты: Я прожил мало лет и в нищете безмерной — пер. М. И. Травчетова 678
Выводишь стадо ты, о Низа, слишком рано — пер. М. И. Травчетова . . —
Созданье милое, в пылающую даль — пер. М. И. Травчетова 679
Излюбленного вечера прохлада — пер. В. Я. Парнаха . . . . . —
16. Эрсилья:
Из «Арауканы» — пер. С. Н. Протасьева 680
17. Эррера. На победу при Лепанто — пер. В. А. Пяста 687
Редондилья — пер. М. В. Талова 692
К Марку Бруту — пер. М. В. Талова 693
К Севилье — пер. М. В. Талова . . . . . —
Сонет CXXXII — пер. М. В. Талова 694

Испанская повест[illegible] XVI в.

18. Тимонеда:
Десерт, или утешение [illegible] 695
Притчи — пер. А. И. Ру[illegible] 697
19. Из «Жизни Ласарил[illegible] 699
20. Алеман:
Гусман де Альфар[illegible] . . . 709
21. Перес де Ита:
Из «Гражданско[illegible] 726
Романс о пое[illegible]
А. Э. Сипови[illegible]
22. Сервантес:
Из трагедии «[illegible]
Из «Назидател[illegible]
Презренье — пе[illegible]

ЦЕНА 12 РУБ.